

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЬ

при ближайшем участии:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева

LXVI

1938
ПАРИЖЪ

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. В. Сиринъ. — ДАРЪ.	5
2. М. Иванниковъ. — ДОРОГА.	43
3. М. Алдановъ. — НАЧАЛО КОНЦА.	97
4. СТИХОТВОРЕНИЯ: Вяч. Иванова, Д. Кнута, А. Ладинскаго, В. Лебедева, Ю. Мандельштама, С. Прегель, Ю. Софьева, Ю. Терапиано, М. Цвѣтаевой, А. Штейгера.	176
5. А. Ремизовъ. — ФИЛОСОФСКАЯ НАТУРА (Вл. Соловьевъ- женнхъ).	193
6. П. Бицилли. — ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЗАМѢТКИ.	205
7. С. Лифарь. — О ШАЛЯПИНЪ.	220
8. П. Милюковъ. — ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ВЪ ЕВРОПѢ?	230
9. К. Крофта. — Т. Г. МАСАРИКЪ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВО- ПРОСЪ.	264
10. Ю. Рапопортъ. — СВОБОДА И ТЕХНИКА.	279
11. А. Цилига. — ВЪ ЛЕНИНГРАДѢ. Предисловіе В. Р.	294
12. X. — ИЗЪ ДРУЖЕСКОЙ ПЕРЕПИСКИ.	343
13. Г. Федотовъ. — ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ.	353
14. Ф. Степунъ. — ВЪ ПОСЛѢДНІЙ РАЗЪ (Памяти Ф. И. Ша- ляпина.	370
15. А. Герценъ. — ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА КЪ ДОЧЕРИ. Предисловіе В. Руднева.	378

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.

16. Ю. Сазонова. — АНДРЕИ БЪЛЫИ.	417
17. В. Ходасевичъ. — «СОБЫТІЕ» В. СИРИНА ВЪ РУССКОМЪ ТЕАТРѢ.	423
18. В. Зиньковский. — ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПО- ЛОГИИ.	427
19. Л. Сабанъевъ. — МОРИСЬ РАВЕЛЬ.	436
20. Р. Гуль. — ЦЕНЗУРА И ПИСАТЕЛЬ ВЪ СССР.	438

21. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

М. Цетлинъ. — Монахиня Марія: Стихи.	450
П. Бицилли. — В. Смоленскій: Наединѣ.	451
В. Варшавскій. — Леонидъ Зуровъ: Поле.	453
П. Бицилли. — В. Федоровъ: Канареечное счастье.	454
П. Бицилли. — Д. Скобцовъ-Кондратьевъ: Гремучій Родникъ.	456
Н. Кульманъ. — Бѣлградскій Пушкинскій Сборникъ.	458
Н. Кульманъ. — Centenaire de Pouchkine, 1837-1937.	460
М. Лотъ-Бородинъ. — Прот. Георгій Флоровскій: Пути русскаго богословія.	461
И. Левинъ. — S. M. Ginsburg: Historische Etuden.	464
П. Берлинъ. — В. Nicolaievski et O. Maenchen-Helfen: Karl Marx.	466
М. Вишнякъ. — Ст. Ивановичъ: А. Н. Потресовъ:	468
С. Мельгуновъ. — С. Постниковъ: Библиографія русской революціи и гражданской войны (1917-1921).	470
Т. Чернавина. — Eugene Lyons: Assignment in Utopia.	473
П. Бицилли. — Ю. Иваскъ: Сѣверный Берегъ.	476
Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію «Современныхъ Записокъ».	478

Д а р ь *)

Черезъ день было воскресенье, и около четырехъ вдругъ выяснилось, что она одна дома: онъ читаль у себя, она была въ столовой и изрѣдка совершала короткія экспедиціи къ себѣ въ комнату черезъ переднюю, и при этомъ посвистывала, и въ ея легкомъ топотѣ была топографическая тайна, — вѣдь къ ней прямо вела дверь изъ столовой. Но мы читаемъ и будемъ читать. «Долѣе, долѣе, какъ можно долѣе буду въ чужой землѣ. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будутъ принадлежать Россіи, но самъ я, но бранный составъ мой, будетъ удаленъ отъ нея» (а вмѣстѣ съ тѣмъ, на прогулкахъ въ Швейцаріи, такъ писавшій, колотилъ перебѣгавшихъ по тропѣ ящерицъ, — «чертовскую нечисть», — съ брезгливостью хохла и злостью изувѣра). Невообразимое возвращеніе! Строй? Вотъ ужъ все равно какой. При монархіи — флаги да барабанъ, при республикѣ — флаги да выборы... Опять прошла. Нѣтъ, не читалось, — мѣшало волненіе, мѣшало чувство, что другой бы на его мѣстѣ вышелъ къ ней съ непринужденными, ловкими словами; когда же онъ представлялъ себѣ, какъ самъ выплыветъ и ткнется въ столовую, и не будетъ знать, что сказать, то ему начинало хотѣться, чтобы она скорѣе ушла, или чтобы вернулись домой Щеголевы. И въ то самое мгновеніе, когда онъ рѣшилъ больше не прислушиваться и нераздѣльно заняться Гоголемъ, Федоръ Константиновичъ быстро всталъ и вошелъ въ столовую.

Она сидѣла у балконной двери и, полуоткрывъ блестя-

*) См. «Совр. Зап.» № № 63, 64, 65

щія губы, цѣлилась въ иглу. Въ растворенную дверь былъ виденъ маленькій, безплодный балконъ, и слышалось жестяное позваниваніе да пощелкиваніе подпрыгивающихъ капель, — шелъ крупный, теплый апрѣльскій дождь.

«Виновать, — не зналъ, что вы тутъ, — сказалъ Федоръ Константиновичъ лживо. — Я только хотѣлъ вамъ насчетъ моей книжки: это не то, это плохіе стихи, т. е. не все плохо, но въ общемъ. То, что я за эти два года печаталъ въ «Газетѣ», значительно лучше».

«Мнѣ очень понравилось то, что вы разъ читали на вечерѣ, — сказала она. — О ласточкѣ, которая вскрикнула».

«Ахъ, вы тамъ были? Да. Но у меня есть еще лучше, увѣрю васъ».

Она вдругъ вскочила со стула, бросила на сидѣнье штопку и, болтая опущенными руками, наклоняясь впередъ, мелко переставляя какъ бы скользящія ноги, быстро прошла въ свою комнату и вернулась съ вырѣзками изъ «Газетъ», — его и кончеевскіе стихи.

«Но у меня, кажется, не все тутъ», — замѣтила она.

«Я не зналъ, что это вообще бываетъ», — сказалъ Федоръ Константиновичъ, и добавилъ неловко: «Буду теперь просить, чтобы дѣлали вокругъ такія дырочки пунктиромъ, — знаете, какъ талоны, чтобъ было легче отрывать».

Она продолжала возиться съ чулкомъ на грибѣ и, не поднимая глазъ, но быстро и хитро улыбувшись, сказала:

«А я знаю, что вы жили на Танненбергской семь, я часто бывала тамъ».

«Да что вы», — удивился Федоръ Константиновичъ.

«Я знакома еще по Петербургу съ жной Лоренца, — она мнѣ когда-то давала уроки рисованія».

«Какъ это странно», — сказалъ Федоръ Константиновичъ.

«А Романовъ теперь въ Мюнхенѣ, — продолжала она.

— Глубоко противный типъ, но я всегда любила его вещи».

Поговорили о Романовѣ. О его картинахъ. Достигъ полного расцвѣта. Музеи приобрѣтали... Пройдя черезъ все, нагруженный богатымъ опытомъ, онъ вернулся къ выразительной гармоніи линій. Вы знаете его «Футболиста»? Вотъ какъ разъ журналъ съ репродукціей. Потное, блѣдное, напряженно-оскаленное лицо игрока во весь ростъ, собирающагося на полномъ бѣгу со страшной силой шутовать по голу. Растрепанные рыжие волосы, пятно грязи на вискѣ, натянутые мускулы голой шеи. Мятая, промокшая фіолетовая фуфайка, мѣстами обтягивая станъ, низко находитъ на забрызганные трусики, и на ней видна идущая по нѣкой удивительной діагонали мощная складка. Онъ забираетъ мячъ сбоку, поднимая одну руку, пятерня широко распялена — соучастница общаго напряженія и порыва. Но главное, конечно, — ноги: блестящая бѣлая ляжка, огромное израненное колѣно, толстые, темные буцы, распухшіе отъ грязи, безформенные, а все-таки отмѣченные какой-то необыкновенно точной и изяшной силой; чулокъ сползъ на яростной кривой икрѣ, нога ступней влипла въ жирную землю, другая собирается ударить — и какъ ударить! — по черному, ужасному мячу, — и все это на темно-сѣромъ фонѣ, насыщенномъ дождемъ и снѣгомъ. Глядящій на эту картину уже слышалъ свистъ кожанаго снаряда, уже видѣлъ отчаянный бросокъ вратаря.

«И я еще кое-что знаю, — сказала Зина. — Вы должны были мнѣ помочь съ однимъ переводомъ, вамъ это передавалъ Чарскій, но вы почему-то не объявились».

«Какъ это странно», — повторилъ Федоръ Константиновичъ.

Въ прихожей ухнуло, — это вернулась Марианна Николаевна, — и Зина неспѣша встала, собрала вырѣзки и ушла къ себѣ, — только вполслѣдствіи Федоръ Константиновичъ понялъ, почему она сочла нужнымъ такъ посту-

пить, но тогда это ему показалось безцеремонностью, — и когда Щеголева вошла въ столовую, то случилось такъ, словно онъ кралъ сахаръ изъ буфета.

Еще черезъ нѣсколько дней, вечеромъ, онъ изъ своей комнаты подслушалъ сердитый разговоръ — о томъ, что сейчасъ должны придти гости, и что пора Зинѣ спуститься внизъ съ ключемъ. Когда она спустилась, онъ послѣ краткой внутренней борьбы придумалъ себѣ прогулку, — скажемъ, къ автомату около сквера за почтовой маркой, — надѣлъ для полной иллюзіи шляпу, хотя почти никогда шляпы не носилъ, и пошелъ внизъ. Свѣтъ погасъ, пока онъ спускался, но тотчасъ стукнуло и зажглось опять: это она внизу нажала кнопку. Она стояла у стеклянной двери, поигрывая ключемъ, надѣтымъ на палецъ, ярко освѣщенная, — блестяла бирюзовая вязка джемпера, блестяли ногти, блестяли на рукѣ выше кисти ровные волоски.

«Отперто», — сказала она, но онъ остановился, и оба стали смотрѣть сквозь стекло на темную, подвижную ночь, на газовый фонарь, на тѣнь рѣшетки.

«Что-то они не идутъ», — пробормотала она, тихо звякнувъ ключемъ.

«Вы давно ждете? — спросилъ онъ. — Хотите, я смѣню васъ?» — и въ эту минуту погасло электричество. — «Хотите, я всю ночь тутъ останусь?» — добавилъ онъ въ темнотѣ.

Она усмѣхнулась и порывисто вздохнула, словно ей надоѣло ожиданіе. Сквозь стекла пепельный свѣтъ съ улицы обливаль ихъ обоихъ, и тѣнь желѣзнаго узора на двери изгибалась черезъ нее и продолжалась на немъ наискось, какъ портулея, а по темной стѣнѣ ложилась призматическая радуга. И, какъ часто бывало съ нимъ, — но въ этотъ разъ еще глубже, чѣмъ когда-либо, — Федоръ Константиновичъ внезапно почувствовалъ — въ этой стеклянной тѣмѣ — странность жизни, странность ея волшебства, будто на мигъ она завернулась, и онъ уви-

дѣлъ ея необыкновенную подкладку. У самаго ёго лица была нѣжно-пепельная щека, перерѣзанная тѣнью, и когда Зина вдругъ, съ таинственнымъ недоумѣніемъ въ ртутномъ блескѣ глазъ, повернулась къ нему, а тѣнь легла поперекъ губъ, странно ее мѣняя, онъ воспользовался совершенной свободой въ этомъ мѣрѣ тѣней, чтобы взять ее за призрачные локти; но она выскользнула изъ узора и быстрымъ толчкомъ пальца включила свѣтъ.

«Почему?» — спросилъ онъ.

«Объясню вамъ какъ-нибудь въ другой разъ», — отвѣтила Зина, все не спуская съ него взгляда.

«Завтра», — сказалъ Федоръ Константиновичъ.

«Хорошо, завтра. Но только хочу васъ предупредить, что никакихъ разговоровъ не будетъ у насъ съ вами дома. Это — рѣшительно и навсегда».

«Тогда давайте»... — началъ онъ, но тутъ выросли за дверью коренастый полковникъ Касаткинъ и его высокая, выцвѣтшая жена.

«Здравія желаю, красавица», — сказалъ полковникъ, однимъ ударомъ разрубая ночь. Федоръ Константиновичъ вышелъ на улицу.

На другой день онъ устроился такъ, чтобы застать ее на углу при ея возвращеніи со службы. Условились встрѣтиться послѣ ужина, у скамьи, которую онъ высмотрѣлъ наканунѣ.

«Почему же?» — спросилъ онъ, когда они сѣли.

«По пяти причинамъ, — сказала она. — Во-первыхъ, потому что я не нѣмка, во-вторыхъ, потому что только въ прошлую среду я разошлась съ женихомъ, въ-третьихъ, потому что это было бы — такъ, ни къ чему, въ-четвертыхъ, потому что вы меня совершенно не знаете, въ-пятыхъ...» — она замолчала, и Федоръ Константиновичъ осторожно поцѣловалъ ее въ горячія, тающія, горестныя губы. «Вотъ потому-то», — сказала она, перебирая и сильно сжимая его пальцы.

Съ той поры они встрѣчались каждый вечеръ. Маріан-

на Николаевна, не смѣвшая ее никогда ни о чемъ спрашивать (уже намекъ на вопросъ вызвалъ бы хорошо знакомую ей бурю), догадывалась, конечно, что дочь ходитъ къ кому-то на свиданія, тѣмъ болѣе, что знала о существованіи таинственнаго жениха. Это былъ болѣзненный, странный, неуравновѣшенный господинъ (такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ представлялся Федору Константиновичу по Зининымъ рассказамъ, — впрочемъ, эти рассказы нынѣ люди обычно надѣлены однимъ основнымъ признакомъ: отсутствіемъ улыбки), съ которымъ она познакомилась въ шестнадцать лѣтъ, три года тому назадъ, причемъ онъ былъ старше ея лѣтъ на двѣнадцать, и въ этомъ старшинствѣ тоже было что-то темное, непріятное и озлобленное. Опять же въ ея передачѣ, ея встрѣчи съ нимъ проходили безъ всякаго выраженія влюбленности, и оттого что она не упоминала ни объ одномъ поцѣлѣ, выходило, что это была просто безконечная череда нудныхъ разговоровъ. Она рѣшительно отказывалась открыть его имя и даже родъ занятій (хотя давала понять, что это былъ человѣкъ въ нѣкоторомъ родѣ гениальный), и Федоръ Константиновичъ былъ ей втайнѣ признателенъ за это, понимая, что призракъ безъ имени и безъ среды легче гаснетъ, — а все-таки онъ чувствовалъ къ нему отвратительную ревность, въ которую силился не вникать, но она всегда присутствовала гдѣ-то за угломъ, и отъ мысли, что гдѣ-нибудь когда-нибудь онъ, чего добраго, можетъ встрѣтиться съ тревожными, скорбными глазами этого господина, все вокругъ принималось жить по ночному, какъ природа во время затменія. Зина клялась, что никогда не любила его, что тянула съ нимъ вялый романъ по безволю, и что продолжала бы тянуть, не случись Федора Константиновича. Но особаго безволія онъ въ ней не замѣчалъ, а замѣчалъ смѣсь женской застѣнчивости и не женской рѣшительности во всемъ. Несмотря на сложность ея ума, ей была свойственна убѣдительнѣйшая простота, такъ что она могла позволить себѣ многое.

чего другимъ бы не разрѣшалось, и самая быстрота ихъ сближенія казалась Федору Константиновичу совершенно естественной при рѣзкомъ свѣтѣ ея прямоты.

Совершенно такъ же естественно она дома держалась такъ, что дико было представить себѣ вечернюю встрѣчу съ этой чужой, хмурой барышней, но это не было при творствомъ, а тоже своеобразнымъ видомъ прямоты. Когда онъ однажды, шутя, задержалъ ее въ коридорчикѣ, она поблѣднѣла отъ гнѣва и не явилась на свиданіе, а затѣмъ заставила его клятвенно обѣщать, что это никогда не повторится. Очень скоро онъ понялъ, почему это было такъ: домашняя обстановка принадлежала къ такому низкопробному сорту, что, на ея фонѣ, прикосновеніе рукъ мимоходомъ между жильцомъ и хозяйской дочерью обратилось бы попросту въ шашни.

Отецъ Зины, Оскаръ Григорьевичъ Мерцъ, умеръ отъ грудной жабы въ Берлинѣ четыре года тому назадъ, и немедленно послѣ его кончины Маріанна Николаевна вышла замужъ за человѣка, котораго Мерцъ не пустилъ бы къ себѣ на порогъ, за одного изъ тѣхъ бравурныхъ російскихъ пошляковъ, которые при случаѣ смакуютъ слово «жидъ», какъ толстую винную ягоду. Когда же симпатяга отсутствовалъ, то запросто появлялся въ домѣ одинъ изъ его темноватыхъ дѣловыхъ знакомцевъ, тощій балтійскій баронъ, съ которымъ Маріанна Николаевна ему измѣняла, — и Федоръ Константиновичъ, раза два барона видѣвшій, съ гадливымъ интересомъ старался себѣ представить, что могутъ другъ въ другѣ найти, и, если находятъ, то какова процедура, эта пожилая, рыхлая, съ жабьимъ лицомъ, женщина и этотъ немолодой, съ гнилыми зубами скелеть.

Если бывало мучительно знать порою, что Зина одна въ квартирѣ, и по уговору къ ней не выходить, было совсѣмъ въ другомъ родѣ мучительно, когда одинъ въ домѣ оставался Щеголевъ. Не любя одиночества, Борисъ Ивановичъ начиналъ скучать, и Федоръ Константиновичъ

слышалъ изъ своей комнаты шуршащій ростъ этой скуки, точно квартира медленно заростала лопухами, — вотъ уже подступавшими къ его двери. Онъ молилъ судьбу, чтобы что-нибудь Щеголева отвлекло, но (до того, какъ появился радіо-аппаратъ) спасенія ниткуда не приходило. Неотвратно раздавался зловѣщій, деликатный стукъ, и, бочкомъ, ужасно улыбаясь, втискивался въ комнату Борисъ Ивановичъ. «Вы спали? Я вамъ не помѣшалъ?» — спрашивалъ онъ, видя, что Федоръ Константиновичъ пластомъ лежитъ на кушеткѣ, и затѣмъ, весь войдя, плотно прикрывалъ за собой дверь и садился у него въ ногахъ, вздыхая. «Тошища, тошища», — говорилъ онъ, и начиналъ что-нибудь рассказывать. Въ области литературы онъ высоко ставилъ «L'homme qui assassina» Клода Фаррера, а въ области философіи — «Протоколы сионскихъ мудрецовъ». Объ этихъ двухъ книжкахъ онъ могъ толковать часами, и казалось, что ничего другого онъ въ жизни не прочиталъ. Онъ былъ щедръ на рассказы изъ судебной практики въ провинціи и на еврейскіе анекдоты. вмѣсто «выпили шампанскаго и отправились въ путь», онъ выражался такъ: «раздавили флаконъ — и айда». Какъ у большинства говоруновъ, у него въ воспоминаніяхъ всегда попадался какой-нибудь необыкновенный собесѣдникъ, безъ конца рассказывавшій ему интересныя вещи, — («второго такого умницы я въ жизни не встрѣчалъ», — замѣчалъ онъ довольно неучтиво), — а такъ какъ нельзя было представить себѣ Бориса Ивановича въ качествѣ молчаливаго слушателя, то приходилось допустить, что это было своего рода раздвоеніемъ личности.

Однажды, замѣтивъ исписанные листочки на столѣ у Федора Константиновича, онъ сказалъ, взявъ какой-то новый, прочувствованный тонъ: «Эхъ, кабы у меня было времечко, я бы такой романъ накаталъ... Изъ настоящей жизни. Вотъ представьте себѣ такую исторію: старый пестъ, — но еще въ соку, съ огнемъ, съ жадной счастья, — зна-

комится съ вдовицей, а у нея дочка, совсѣмъ еще дѣвочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходитъ такъ, что съ ума сойти. Блѣдненькая, легонькая, подъ глазами синева, — и конечно на стараго хрыча не смотреть. Что дѣлать? И вотъ, недолго думая, онъ, видите ли, на вдовицѣ женится. Хорошо-съ. Вотъ, зажили втроемъ. Тутъ можно безъ конца описывать — соблазнь, вѣчную пыточку, зѣдъ, безумную надежду. И въ общемъ — просчетъ. Время бѣжить-летить, онъ старѣетъ, она расцвѣтаетъ, — и ни черта. Пройдетъ, бывало, рядомъ, обожжетъ презрительнымъ взглядомъ. А? Чувствуете трагедію Достоевскаго? Эта исторія, видите ли, произошла съ однимъ моимъ большимъ пріятелемъ, въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ самоварствѣ, во времена царя Гороха. Каково?» — и Борисъ Ивановичъ, обратя въ сторону темные глаза, надулъ губы и издалъ меланхолическій лопающійся звукъ.

«Моя супруга-подпруга, — рассказывалъ онъ въ другой разъ, — лѣтъ двадцать прожила съ іудеемъ и обросла цѣлымъ кагаломъ. Мнѣ пришлось потратить немало усилий, чтобы вытравить этотъ духъ. У Зинки (онъ попеременно, смотря по настроенію, называлъ падчерицу то такъ, то Аидой) нѣтъ, слава Богу, ничего специфическаго, — посмотрѣли бы на ея кузину, — такая, знаете, жирная брюнеточка съ усиками. Мнѣ иногда даже приходится въ башку мысль, — а что, если моя Маріанна Николаевна, когда была мадамъ Мерць... Все-таки, вѣдь тянуло же ее къ своимъ, — пускай она вамъ какъ-нибудь расскажетъ, какъ задышалась въ этой атмосферѣ, какіе были родственнички — ой, Бозэ мой, — гвалтъ за столомъ, а она разливаетъ чай: шутка ли сказать, — мать фрейлина, сама смолянка, а вотъ вышла за жида, — до сихъ поръ не можетъ объяснить, какъ это случилось: богатъ былъ, говоритъ, а я глупа, познакомились въ Ниццѣ, бѣжала съ нимъ въ Римъ, — знаете, на вольномъ то воздухѣ все ка-

залось иначе, ну а когда потомъ попала въ семейную обстановочку, поняла, что влипла».

Зина объ этомъ рассказывала по другому. Въ ея передачѣ, обликъ ея отца перенималъ что-то отъ прустовскаго Свана. Его женитьба на ея матери и послѣдующая жизнь окрашивались въ дымчато-романтической цвѣтъ. Судя по ея словамъ, судя также по его фотографіямъ, это былъ изящный, благородный, умный и мягкій человѣкъ, — даже на этихъ негибкихъ петербургскихъ снимкахъ съ золотой тисненой подписью по толстому картону, которые она показывала Федору Константиновичу ночью подъ фонаремъ, старомодная пышность свѣтлаго уса и высота воротничковъ ничѣмъ не портили тонкаго лица съ прямымъ смѣющимся взглядомъ. Она рассказывала о его надушенномъ платкѣ, о страсти его къ рысакамъ и къ музыкѣ; о томъ, какъ въ юности онъ однажды разгромилъ заѣзжаго грессмейстера, или о томъ, какъ читалъ наизусть Гомера: рассказывала, подбирая то, что могло бы затронуть воображеніе Федора, такъ какъ ей казалось, что онъ отзывается лѣниво и скучно на ея воспоминанія объ отцѣ, т. е. на самое драгоценное, что у нея было показать. Онъ самъ замѣчалъ въ себѣ эту странную заторможенность отзывчивости. Въ Зинѣ была черта, стѣснявшая его: ея домашній бытъ развилъ въ ней болѣзненно заостренную гордость, такъ что даже говоря съ Федоромъ Константиновичемъ она упоминала о своей породѣ съ вызывающей выразительностью, словно подчеркивая, что не допускаетъ (а тѣмъ самымъ все-таки допускала), чтобъ онъ относился къ евреямъ, если не съ неприязнью, въ той или иной степени присущей большинству русскихъ людей, то съ зябкой усмѣшкой принудительнаго доброхотства. Въ началѣ она такъ натягивала эти струны, что ему, которому вообще было рѣшительно наплевать на распредѣленіе людей по породамъ и на ихъ взаимоотношенія, становилось за нее чуть-чуть неловко, а съ другой стороны, подъ влияніемъ ея горячей, насто-

роженной гордыни, онъ начиналъ ощущать какой-то личный стыдъ, оттого что молча выслушивалъ мерзкій вздоръ Щеголева и то нарочито гортанное коверканіе русской рѣчи, которымъ тотъ съ наслажденіемъ занимался, — напримѣръ, говоря мокрому гостю, наслѣдившему на коврѣ: «ой, какой вы наслѣдникъ!».

Въ теченіе нѣкотораго времени послѣ кончины ея отца, къ нимъ, по привычкѣ, продолжали ходить прежніе знакомые и родственники съ отцовской стороны; но мало-по-малу они рѣдѣли, отпадали... и только одна старенькая чета долго еще являлась, — жалѣя Маріанну Николаевну, жалѣя прошлое и стараясь не замѣчать, какъ Щеголевъ уходитъ къ себѣ въ спальню съ чаемъ и газетой. Зина же сохранила до сихъ поръ связь съ этимъ міромъ, который ея мать предала, и въ гостяхъ у прежнихъ друзей семьи необыкновенно мѣнялась, смягчалась, добрѣла (сама отмѣчала это), сидя за чайнымъ столомъ среди мирныхъ разговоровъ стариковъ о болѣзняхъ, свадьбахъ и русской литературѣ.

Въ семьѣ у себя она была несчастна и несчастье свое презирала. Презирала она и свою службу, даромъ, что ея шефъ былъ еврей, — нѣмецкій, впрочемъ, еврей, т. е. прежде всего — нѣмецъ, такъ что она не стѣснялась при Федорѣ его поносить. Она столь живо, столь горько, съ такимъ образнымъ отвращеніемъ, рассказывала ему объ этой адвокатской конторѣ, гдѣ уже два года служила, что онъ все видѣлъ и все обонялъ такъ, словно самъ тамъ бывалъ ежедневно. Азѣр ея службы чѣмъ-то напоминалъ ему Диккенса (съ поправкой, правда, на нѣмецкій переводъ), — полусумасшедшій міръ мрачныхъ дылдъ и отталкивающихъ толстячковъ, каверзы, чернота тѣней, страшные носы, пыль, вонь и женскія слезы. Начиналось съ темной, крутой, невѣроятно запущенной лѣстницы; которой вполнѣ соотвѣтствовала зловѣщая ветхость помѣщенія конторы, что не относилось лишь къ кабинету главнаго адвоката, гдѣ жирныя кресла и стеклянный

столь-гигантъ рѣзко отличались отъ обстановки прочихъ комнатъ. Канцелярская, большая, неказистая, съ голыми, вздрагивающими окнами, задыхалась отъ нагроможденія пыльной, грязной мебели, — особенно былъ страшенъ диванъ, тускло-багровый, съ вылѣзшими пружинами, — ужасный и непристойный предметъ, выброшенный, какъ на свалку, послѣ постепеннаго прохожденія черезъ кабинетъ всѣхъ трехъ директоровъ — Траума, Баума и Кэзебира. Стѣны были до потолка заставлены исполинскими регалами съ грудой грубо-синихъ папокъ въ каждомъ гнѣздѣ, высунувшихъ длинные ярлыки, по которымъ иногда ползалъ голодный сутяжный клопъ. У оконъ располагались четыре машинистки: одна — горбунья, жалованіе тратившая на платья, вторая — тоненькая, легкомысленнаго нрава, «на одномъ каблучкѣ» (ея отца-мясника вспылчивый сынъ убилъ мясничнымъ крюкомъ), третья — беззащитная дѣвушка, медленно набиравшая приданое, и четвертая — замужняя, сдобная блондинка, съ отраженіемъ собственной квартиры вмѣсто души, трогательно разсказывавшая, какъ, послѣ дня духовнаго труда, чувствуетъ такую потребность отдохнуть на трудѣ физическомъ, что, придя вечеромъ домой, растворяетъ всѣ окна и принимается съ упоеніемъ стирать. Завѣдующій конторой, Хамекке (толстое, грубое животное, съ вонючими ногами и вѣчно сочащимся фурункуломъ на затылкѣ, любившее вспоминать, какъ, въ бытность свою фельдфебелемъ, оно заставляло нерасторопныхъ новобранцевъ зубной щеткой вычищать казарменный полъ), двухъ послѣднихъ угнеталъ особенно охотно — одну потому, что потеря службы для нее значила бы отказъ отъ брака, другую потому, что она сразу начинала рыдать, — эти обильныя, звучныя слезы, которыя такъ легко можно было вызвать, доставляли ему здоровое удовольствіе. Едва грамотный, но одаренный желѣзной хваткой, сразу соображающій наименѣе привлекательную сторону всякаго дѣла, онъ высоко цѣнилъ хозяева-

ми, Траумомъ, Баумомъ и Кэзебиромъ (цѣлая нѣмецкая идиллія, со столиками въ зелени и чуднымъ видомъ). Баума рѣдко было видно; конторскія дѣвицы находили, что онъ дивно одѣвается, т. е. пиджакъ, какъ на мраморной статуѣ, каждая складка — навѣки, и бѣлый воротничекъ къ цвѣтной рубашкѣ. Кэзебиръ подобострастно благоговѣлъ передъ состоятельными клиентами (впрочемъ, благоговѣли всѣ трое), а когда сердился на Зину, говорилъ, что она слишкомъ задается. Главный хозяинъ, Траумъ, былъ коротенькій человекъ, съ проборомъ займомъ, съ профилемъ, какъ внѣшняя сторона полумѣсяца, съ маленькими ручками и безформеннымъ тѣломъ, болѣе широкимъ, чѣмъ толстымъ. Онъ любилъ себя страстной и вполне раздѣленной любовью, женатъ былъ на богатенькой, пожилой вдовѣ и, имѣя нѣчто актерское въ натурѣ, норовилъ все дѣлать «красиво», тратя на фасонъ тысячи, а у секретарши сторговывая полтинникъ; отъ служащихъ онъ требовалъ, чтобъ его супругу называли «дигнедиге фрау» («барыня звонили», «барыня просили»), вообще же кичился величавымъ незнаніемъ того, что въ конторѣ творится, хотя на самомъ дѣлѣ зналъ черезъ Хамекке все, до послѣдней кляксы. Состоя однимъ изъ юрисконсультовъ французскаго посольства, онъ часто ѣздилъ въ Парижъ, и, такъ какъ отличительной его чертой была гладчайшая наглость въ преслѣдованіи выгодныхъ цѣлей, онъ тамъ энергично заводилъ полезныя знакомства, никогда не стѣсняясь попросить рекомендацію, приставая, навязываясь и не чувствуя щелчковъ, — кожа у него была, какъ броня у нѣкоторыхъ насѣкомоядныхъ. Для пріобрѣтенія популярности во Франціи, онъ писалъ нѣмецкія книжки о ней («Три Портрета», напримѣръ, — императрица Евгенія, Бріанъ и Сарра Бернаръ), причемъ собраніе матеріаловъ обращалось у него тоже въ собраніе связей. Эти торопливо-компилятивные труды, въ страшномъ стилѣ-модернѣ нѣмецкой республики (и въ сущности мало чѣмъ уступавшіе трудамъ Людвига и

Цвейговъ), онъ диктоваль секретаршѣ между дѣлъ, внезапно изображая вдохновеніе, которое, впрочемъ, у него всегда совпадало съ досугомъ. Какой-то французскій профессоръ, въ дружбу къ которому онъ втирался, какъ то отвѣчалъ на его нѣжнѣйшее посланіе крайне невѣжливой для француза критикой: «Вы фамилью Клемансо пишете то съ accent aigu, то безъ онаго. Такъ какъ тутъ необходима извѣстная единообразность, было бы хорошо, если бы вы твердо рѣшили, какой системы желаете придерживаться, чтобы затѣмъ отъ нея не уклониться. Если же вы почему-либо захотѣли бы писать эту фамилью правильно, то пишете ее безъ accent». Траумъ немедленно на это отвѣтилъ восторженно-благодарственнымъ письмомъ, продолжая заодно напирать. Ахъ, какъ онъ умѣлъ округлять и подслащивать свои письма, какіе были тевтонскіе рокоты и свисты въ безконечной модуляціи обращеній и окончаній, какія учтивости: «Vous avez bien voulu bien vouloir...».

Его секретарша, Дора Витгенштейнъ, прослужившая у него четырнадцать лѣтъ, дѣлила небольшую, затхлую комнату съ Зиной. Эта старѣющая женщина съ мѣшками подъ глазами, пахнувшая падалью сквозь дешевый одеколонъ, работавшая любое число часовъ, изсохшая на траумовской службѣ, похожа была на несчастную, заѣженную лошадь, у которой смѣстилась вся мускулатура, и осталось только нѣсколько желѣзныхъ жилъ. Она была мало образована, строила жизнь на двухъ-трехъ общепринятыхъ понятіяхъ, но руководствовалась какими-то своими частными правилами въ обращеніи съ французскимъ языкомъ. Когда Траумъ писалъ очередную «книгу», то вызываль ее къ себѣ на домъ по воскресеньямъ, торговался съ ней за оплату, задерживаль на лишнее время; и, бывало, она съ гордостью сообщала Зинѣ, что его шоферъ ее отвезъ (правда, только до трамвайной остановки).

Зинѣ приходилось заниматься не только переводами, но такъ же, какъ и всѣмъ остальнымъ машинисткамъ,

переписываемъ длинныхъ приложений, представляемыхъ суду. Часто случалось также стенографировать, при клиентѣ, сообщаемыя имъ обстоятельства дѣла, нерѣдко бракоразводнаго. Эти дѣла были все довольно мерзостныя, комья изъ всякихъ слипшихся гадостей и глупостей. Нѣкто въ Коттбусѣ, разводясь съ женщиной, по его словамъ ненормальной, обвинялъ ее въ сожигательствѣ съ догомъ, а главной свидѣтельницей выступала дворничиха, будто бы слышавшая черезъ дверь, какъ та громко выражала псу восхищеніе относительно нѣкоторыхъ деталей его организма.

«Тебѣ только смѣшно, — сердито говорила Зина, — но, честное слово, я больше не могу, не могу, — и я бы тотчасъ всю эту мразь бросила, если бъ не знала, что въ другой конторѣ будетъ такая же мразь или хуже. Эта усталость по вечерамъ — это что-то феноменальное, это не поддается никакому описанію. Куда я сейчасъ гожусь? У меня такъ хребетъ ломить отъ машинки, что хочется выть. И главное, это никогда не кончится, потому что, если бы это кончилось, то нечего было бы ѣсть, — вѣдь мама ничего не можетъ, — она даже въ кухарки не можетъ пойти, потому что будетъ рыдать на чужой кухнѣ и бить посуду, а гадъ умѣетъ только прогорать, — по моему онъ уже прогорѣлъ, когда родился. Ты не знаешь, какъ я его ненавижу, этого хама, хама, хама...»

«Такъ ты его съѣшь, — сказалъ Федоръ Константиновичъ. — У меня тоже былъ довольно несимпатичный день. Хотѣлъ стихи для тебя, но они какъ то еще не очистились».

«Милый мой, радость моя, — воскликнула она. — Неужели это все правда, — этотъ заборъ и мутненькая звѣзда? Когда я была маленькой, я не любила рисовать ничего некончающагося, такъ что заборовъ не рисовала, вѣдь это на бумагѣ не кончается, нельзя себѣ представить кончающійся заборъ, — а всегда что-нибудь завершенное, — пирамиду, домъ на горѣ».

«А я любилъ больше всего горизонтъ и такіе штрихи — все мельче и мельче: получалось солнце за моремъ. А самое большое дѣтское мученье: неочиненный или сло-манный цвѣтной карандашъ».

«Но зато очиненные... Помнишь — бѣлый? Всегда са-мый длинный, — не то, что красные и синіе, — оттого что онъ мало работалъ, — помнишь?»

«Но какъ онъ хотѣлъ нравиться! Драма альбиноса. L'inutile beauté. Положимъ, онъ у меня потомъ разо-шелся всласть. Именно потому, что рисовалъ неви-димое. Можно было массу вообразить. Вообще — неогра-ниченныя возможности. Только безъ ангеловъ, — а если ужъ ангель, то съ громадной грудной клѣткой и съ крыль-ями, какъ помѣсь райской птицы съ кондоромъ, и душу младую чтобъ не съ объятыхъ, а въ когтяхъ».

«Да, я тоже думаю, что нельзя на этомъ кончить. Не представляю себѣ, чтобы мы могли не быть. Во всякомъ случаѣ, мнѣ бы не хотѣлось ни во что обращаться».

«Въ разсѣянный свѣтъ? Какъ ты насчетъ этого? Не очень, по моему? Я-то убѣжденъ, что насъ ждутъ не-обыкновенныя сюрпризы. Жаль, что нельзя себѣ предста-вить то, что не съ чѣмъ сравнить. Гений, это — негръ, ко-торый во снѣ видитъ снѣгъ. Знаешь, что больше всего поражало самыхъ первыхъ русскихъ паломниковъ, по лу-ти черезъ Европу?»

«Музыка?»

«Нѣтъ, — городскіе фонтаны, мокрая статуя».

«Мнѣ иногда досадно, что ты не чувствуешь музыки. У моего отца былъ такой слухъ, что онъ, бывало, лежитъ на диванѣ и напѣваетъ цѣлую оперу, съ начала до конца. Разъ онъ такъ лежалъ, а въ сосѣдную комнату кто-то вошелъ и заговорилъ тамъ съ мамой, — и онъ мнѣ ска-залъ: Этотъ голосъ принадлежитъ такому-то, двадцать лѣтъ тому назадъ я его видѣлъ въ Карлсбадѣ, и онъ мнѣ обѣщалъ когда-нибудь пріѣхать. Вотъ какой былъ слухъ».

«А я сегодня встрѣтилъ Лишневскаго, и онъ мнѣ раз-

сказаль про какого-то своего знакомаго, который жаловался, что въ Карлсбадѣ теперь совсѣмъ не то, — а раньше что было! пьешь воду, а рядомъ съ тобой король Эдуардъ, прекрасный, видный мужчина... костюмъ изъ настоящаго англійскаго сукна... Ну что ты обидѣлась? Въ чемъ дѣло?»

«Ахъ, все равно. Нѣкоторыхъ вещей ты никогда не поймешь».

«Перестань. Почему тутъ горячо, а тутъ холодно? Тебѣ холодно? Посмотри лучше, какая бабочка около фонаря».

«Я уже давно ее вижу».

«Хочешь, я тебѣ расскажу, почему бабочки летятъ на свѣтъ? Никто этого не знаетъ».

«А ты знаешь?»

«Мнѣ всегда кажется, что я вотъ-вотъ догадаюсь, если хорошенько подумаю. Мой отецъ говорилъ, что это больше всего похоже на потерю равновѣсія, какъ вотъ неопытнаго велосипедиста притягиваетъ канава. Свѣтъ по сравненію съ темнотой пустота. Какъ она вертится! Но тутъ еще что-то есть, — вотъ-вотъ пойму».

«Мнѣ жалко, что ты такъ и не написалъ своей книги. Ахъ, у меня тысяча плановъ для тебя. Я такъ ясно чувствую, что ты когда-нибудь размахнешься. Напиши что-нибудь огромное, чтобъ всѣ ахнули».

«Я напишу, — сказалъ въ шутку Федоръ Константиновичъ, — біографію Чернышевскаго».

«Все, что хочешь. Но чтобы это было совсѣмъ, совсѣмъ настоящее. Мнѣ нечего тебѣ говорить, какъ я люблю твои стихи, но они всегда несовсѣмъ по твоему росту, всѣ слова на номеръ меньше, чѣмъ твои настоящія слова».

«Или романъ. Это странно, я какъ будто помню свои будущія вещи, хотя даже не знаю, о чемъ будутъ онѣ. Вспомню окончательно и напишу. Скажи-ка, между прочимъ, какъ ты въ общемъ себѣ представляешь: мы всю

жизнь будемъ встрѣчаться такъ, рядкомъ на скамейкѣ?»

«О нѣтъ, — отвѣчала она пѣвуче-мечтательнымъ голосомъ. — Зимой мы поѣдемъ на балъ, а еще этимъ лѣтомъ, когда у меня будетъ отпускъ, я поѣду на двѣ недѣли къ морю и пришлю тебѣ открытку съ приборемъ».

«Я тоже поѣду на двѣ недѣли къ морю».

«Не думаю. И потомъ, не забудь, мы какъ-нибудь должны встрѣтиться въ Тиргартенѣ, въ розариумѣ, тамъ гдѣ статуя принцессы съ каменнымъ вѣеромъ».

«Пріятныя перспективы», — сказала Федоръ Константиновичъ.

А какъ-то черезъ нѣсколько дней ему подъ руку попался все тотъ же шахматный журнальчикъ, онъ перелисталъ его, ища недостроенныхъ мѣстъ, и, когда оказалось, что все уже сдѣлано, пробѣжалъ глазами отрывокъ въ два столбца изъ юношескаго дневника Чернышевскаго; пробѣжалъ, улыбнулся и сталъ сызнава читать съ интересомъ. Забавно-обстоятельный слогъ, кропотливо вкрапленные нарѣчія, страсть къ точкѣ съ запятой, застрѣваніе мысли въ предложеніи и неловкія попытки ее оттуда извлечь (причемъ она сразу застрѣвала въ другомъ мѣстѣ, и автору приходилось опять возиться съ занозой), долбящій, бубнящій звукъ словъ, ходомъ коня передвигающійся смыслъ въ мелочномъ толкованіи своихъ мельчайшихъ дѣйствій, прилипчивая нелѣпость этихъ дѣйствій (словно у человѣка руки были въ столярномъ клѣбѣ, и обѣ были лѣвыя), серьезность, вялость, честность, бѣдность, — все это такъ понравилось Федору Константиновичу, его такъ поразило и развеселило допущеніе, что авторъ, съ такимъ умственнымъ и словеснымъ стилемъ, могъ какъ-либо повліять на литературную судьбу Россіи, что на другое же утро онъ выписалъ себѣ въ государственной библиотекѣ полное собраніе сочиненій Чернышевскаго. По мѣрѣ того, какъ онъ читалъ, удивленіе его росло, и въ этомъ чувствѣ было своего рода блаженство.

Когда, спустя недѣлю, онъ принялъ телефонное приглашеніе Александры Яковлевны («Что это васъ совсѣмъ не видать? Скажите, вы сегодня вечеромъ свободны?»), то «8X8» съ собой не захватилъ: въ этомъ журнальничкѣ уже была для него сентиментальная драгоценность, воспоминаніе встрѣчи. Въ гостяхъ у своихъ друзей онъ нашелъ инженера Керна и объемистаго, съ толстымъ старомоднымъ лицомъ, очень гладкощекаго и молчаливаго господина, по фамильѣ Горяинова, который былъ извѣстенъ тѣмъ, что, отлично пародируя (растягивалъ ротъ, причмокивалъ и говорилъ бабьимъ голосомъ) одного стараго, несчастнаго журналиста со странностями и неважной репутаціей, такъ свылся съ этимъ образомъ (тѣмъ отомстившимъ ему), что, не только такъ же растягивалъ книзу углы рта, когда изображалъ другихъ своихъ знакомыхъ, но даже самъ, въ нормальномъ разговорѣ, начиналъ смахивать на него. Александръ Яковлевичъ, осунувшійся и притихшій послѣ своей болѣзни, — цѣной этого потускнѣнія выкупившій себѣ на время здоровье, — былъ въ тотъ вечеръ какъ будто оживленнѣе, и даже появился знакомый тикъ; но уже призракъ Яши не сидѣлъ въ углу, не облокачивался сквозь мельницу книгъ.

«Вы все попрежнему довольны квартирой? — спросила Александра Яковлевна. — Ну, я очень рада. Не ухаживаете за дочкой? Нѣтъ? Между прочимъ, я какъ-то вспоминала, что когда-то у меня были общіе знакомые съ Мерцемъ, — это былъ отличный человекъ, джентльменъ во всѣхъ смыслахъ, — но я думаю, что она не очень охотно признается въ своемъ происхожденіи. Признается? Ну, не знаю. Думаю, что вы плохо разбираетесь въ этомъ».

«Барышня, во всякомъ случаѣ, съ характеромъ, — сказала инженеръ Кернъ. — Я разъ видѣлъ ее на зазданіи бальнаго комитета. Ей было все не по носу».

«А носъ какой?» — спросила Александра Яковлевна.

«Знаете, я, по правдѣ сказать, не очень ее разгляды-

валъ, вѣдь въ концѣ концовъ всѣ барышни мѣтять въ красавицы. Не будемъ злы».

Горяиновъ, тотъ молчалъ, держа руки сцѣпленными на животѣ, и только изрѣдка странно поднималъ мясистый подбородокъ и тонко откашливался, точно кого-то призывалъ. «Покорно благодарю», — говорилъ онъ съ поклономъ, когда ему предлагали варенья или еще стаканъ чаю, а если онъ что-нибудь хотѣлъ повѣдать сосѣду, то придвигалъ голову какъ-то бокомъ, не обращая къ нему лица, и, повѣдавъ или спросивъ, медленно опять отодвигался. Въ разговоръ съ нимъ бывали странные провалы, оттого что онъ ничѣмъ не поддерживалъ вашу фразу и не смотрѣлъ на васъ, а блуждалъ по комнатамъ каримъ взглядомъ небольшихъ слоновьихъ глазъ и вдругъ судорожно прочищалъ горло. Когда онъ говорилъ о себѣ, то всегда въ мрачно-юмористическомъ духѣ. Весь его обликъ вызывалъ почему-то такія ассоціаціи, какъ, напри- мѣръ: департаментъ, селянка, галоши, снѣгъ «Мира Искусства» идетъ за окномъ, столпъ, Столыпинъ, столоначальникъ.

«Ну что, братъ, — неопредѣленно проговорилъ Чернышевскій, подсѣвъ къ Федору Константиновичу, — что скажете хорошаго? Выглядите вы неважно».

«Помните, — сказалъ Федоръ Константиновичъ, — какъ-то, года три тому назадъ, вы мнѣ дали благой совѣтъ описать жизнь вашего знаменитаго однофамильца?»

«Абсолютно не помню», — сказалъ Александръ Яковлевичъ.

«Жаль, — потому что я теперь подумываю приняться за это».

«Да ну? Вы это серьезно?»

«Совершенно серьезно», — сказалъ Федоръ Константиновичъ.

«А почему вамъ явилась такая дикая мысль? — вмѣшалась Александра Яковлевна. — Ну, написали бы, — я не знаю, — ну, жизнь Батюшкова или Дельвига, — вооб-

ще, что-нибудь около Пушкина, — но приче́мъ тутъ Чернышевскій?»

«Упражненіе въ стрѣльбѣ», — сказала Федоръ Константиновичъ.

«Отвѣтъ по меньшей мѣрѣ загадочный», — замѣтилъ инженеръ Кернъ и, блеснувъ голыми стеклами пенснэ, попытался раздавить орѣхъ въ ладоняхъ. Горяиновъ передалъ ему, таща ихъ за ножку, щипцы.

«Что жъ, — сказалъ Александръ Яковлевичъ, выйдя изъ минутной задумчивости, — мнѣ это начинаетъ нравиться. Въ наше страшное время, когда у насъ попорана личность и удушена мысль, для писателя должно быть дѣйствительно большой радостью окунуться въ свѣтлую эпоху шестидесятыхъ годовъ. Привѣтствую!»

«Да, но отъ него это такъ далеко! — сказала Чернышевская. — Нѣтъ преемственности, нѣтъ традиціи. Откровенно говоря, мнѣ самой было бы не очень интересно возстановлять все, что я чувствовала по этому поводу, когда была курсисткой!»

«Мой дядя, — сказалъ Кернъ, щелкнувъ, — былъ выгнанъ изъ гимназіи за чтеніе «Что дѣлать?»»

«А вы какъ на это смотрите?» — отнеслась Александра Яковлевна къ Горяинову.

Горяиновъ развелъ руками. «Не имѣю опредѣленнаго мнѣнія, — сказалъ онъ тонкимъ голосомъ, какъ будто кому-то подражая. — Чернышевскаго не читалъ, а такъ, если подумать... Прескучная, прости Господи, фигура!»

Александръ Яковлевичъ слегка откинулся въ креслахъ и, дергая лицомъ, мигая, то улыбаясь, то потухая опять, сказалъ такъ:

«А вотъ я все-таки привѣтствую мысль Федора Константиновича. Конечно, многое намъ теперь кажется и смѣшнымъ и скучнымъ. Но въ этой эпохѣ есть нѣчто святое, нѣчто вѣчное, Утилитаризмъ, отрицаніе искусства и прочее, — все это лишь случайная оболочка, подъ которой нельзя не разглядѣть основныхъ чертъ: уваженія ко

всему роду человѣческому, культъ свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации, крестьянъ — отъ помѣщиковъ, гражданина — отъ государства, женщины — отъ семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшіе завѣты русскаго освободительнаго движенія, — жажда знанія, непреклонность духа, жертвенный героизмъ, — но еще, именно въ ту эпоху, такъ или иначе питаясь ею, развились такіе великаны, какъ Тургеневъ, Некрасовъ, Толстой, Достоевскій. Ужъ я не говорю про то, что самъ Николай Гавриловичъ былъ человѣкъ громаднаго, всесторонняго ума, громадной творческой воли, и что ужасныя мученія, которыя онъ перенесъ ради идеи, ради человѣчества, ради Россіи, съ лихвой искупаютъ нѣкоторую черствость и прямолинейность его критическихъ взглядовъ. Мало того, я утверждаю, что критикъ онъ былъ превосходный, — вдумчивый, честный, смѣлый... Нѣтъ, нѣтъ, это прекрасно, — непременно напишите!»

Инженеръ Кернъ уже нѣкоторое время какъ всталъ и расхаживалъ по комнатѣ, качая головой и порываясь что-то сказать.

«О чемъ рѣчь? — вдругъ воскликнулъ онъ, взявшись за спинку стула. — Кому интересно, что Чернышевскій думалъ о Пушкинѣ? Руссо былъ сквернымъ ботаникомъ, и я ни за что не сталъ бы лечиться у Чехова. Чернышевскій былъ прежде всего ученый экономистъ, и какъ такового его надобно разсматривать, — а при всемъ моемъ уваженіи къ поэтическому таланту Федора Константиновича, я нѣсколько сомнѣваюсь, сможетъ ли онъ оцѣнить достоинства и недостатки «Комментаріевъ къ Миллю».

«Ваше сравненіе абсолютно неправильно, — сказала Александра Яковлевна. — Смѣшно! Въ медицинѣ Чеховъ не оставилъ ни малѣйшаго слѣда, музыкальныя композиціи Руссо — только курьезы, а между тѣмъ никакая исторія русской литературы не можетъ обойти Чернышевскаго. Но я другого не понимаю, — быстро продолжала она,

— какой Федору Константиновичу интересъ писать о людяхъ и временахъ, которыхъ онъ по всему своему складу бесконечно чуждъ? Я, конечно, не знаю, какой будетъ у него подходъ. Но если ему, скажемъ, просто хочется вывести на чистую воду прогрессивныхъ критиковъ, то ему не стоитъ стараться: Волынский и Айхенвальдъ уже давно это сдѣлали».

«Ну, что ты, что ты, — сказала Александръ Яковлевичъ, — *das kommt nicht in Frage*. Молодой писатель заинтересовался одной изъ важнѣйшихъ эръ русской исторіи и собирается написать художественную біографію одного изъ ея самыхъ крупныхъ дѣятелей. Я въ этомъ ничего страннаго не вижу. Съ предметомъ ознакомиться не такъ трудно, книгъ онъ найдетъ болѣе, чѣмъ достаточно, а остальное все зависитъ отъ таланта. Ты говоришь — подходъ, подходъ. Но, при талантливомъ подходѣ къ данному предмету, сарказмъ а пріори исключается, онъ ни при чемъ. Мнѣ такъ кажется, по крайней мѣрѣ».

«А Кончеева какъ выбрали на прошлой недѣль, — читали?» — спросилъ инженеръ Кернъ, и разговоръ принялъ другой оборотъ.

На улицѣ, когда Федоръ Константиновичъ прощался съ Горяиновымъ, тотъ задержалъ его руку въ своей большой, мягкой рукѣ и, прищурившись, сказалъ: «А шутникъ вы, доложу я вамъ, голубчикъ. Недавно скончался социаль-демократъ Бѣленькій, — вѣчный, такъ сказать, эмигрантъ: его выслали и царь и пролетаріатъ, такъ что, когда онъ, бывало, предавался реминисценціямъ, то начиналъ такъ: У насъ, въ Женевѣ... Можетъ быть, о немъ вы тоже напишете?»

«Не понимаю?» — полувопросительно произнесъ Федоръ Константиновичъ.

«Да, но зато я отлично понялъ. Вы столько же собираетесь писать о Чернышевскомъ, сколько я о Бѣлень-

комъ, но зато одурачили слушателей и заварили любопытный споръ. Всего добраго, покойной ночи», — и онъ ушелъ своей тихой, тяжелой походкой, опираясь на палку и слегка приподнявъ одно плечо.

Для Федора Константиновича возобновился тотъ образъ жизни, къ которому онъ пристрастился, когда изучалъ дѣятельность отца. Это было одно изъ тѣхъ повтореній, одинъ изъ тѣхъ голосовъ, которыми, по всѣмъ правиламъ гармоніи, судьба обогащаетъ жизнь примѣливаго человѣка. Но теперь, наученный опытомъ, онъ въ пользованіи источниками не допускалъ прежней неряшливости и снабжалъ малѣйшую замѣтку точнымъ ярлыкомъ ея происхожденія. Передъ государственной бібліотекой, около камснаго бассейна, по газону среди маргаритокъ разгуливали, гулюкая, голуби. Выписываемыя книги пріѣзжали въ вагонеткѣ по наклоннымъ рельсамъ въ глубинѣ небольшого, какъ будто, помѣщенія, гдѣ онъ ожидали выдачи, причемъ казалось, что тамъ, на полкахъ, лежитъ всего нѣсколько томовъ, когда на самомъ дѣлѣ тамъ набирались тысячи. Федоръ Константиновичъ обнималъ свою порцію и, борясь съ ея рассказывающей тяжестью, шель къ остановкѣ автобуса. Съ самаго начала образъ задуманной книги представлялся ему необыкновенно отчетливымъ по тону и очертанію, было такое чувство, что для каждой отыскиваемой мелочи уже уготовано мѣсто, и что самая работа по вылавливанію матеріаловъ уже окрашена въ цвѣтъ будущей книги, какъ море бросаетъ синій отсвѣтъ на рыболовную лодку, и какъ она сама отражается въ водѣ вмѣстѣ съ отсвѣтомъ. «Понимаешь, — объяснялъ онъ Зинѣ, — я хочу это все держать какъ бы на самомъ краю пародіи. Знаешь эти идиотскія «біографи романсэ», гдѣ Байрону преспокойно подсовывается сонъ, извлеченный изъ его же поэмы? А чтобы съ другого края была пропасть серьезнаго, и вотъ пробираться по узкому хребту между своей правдой и карриатурой на нее. И главное, чтобы все было однимъ

безостановочнымъ ходомъ мысли. Очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа».

По мѣрѣ изученія предмета, онъ убѣждался, что, для полного насыщенія имъ, необходимо поле дѣятельности расширить на два десятилѣтія въ каждую сторону. Такимъ образомъ ему открылась забавная черта — по существу пустынная, но оказавшаяся цѣннымъ руководствомъ: за пятьдесятъ лѣтъ прогрессивной критики, отъ Бѣлинскаго до Михайловскаго, не было ни одного властителя думъ, который не произдѣвался бы надъ поэзiей Фета. А какими метафизическими монстрами оборачивались иной разъ самыя тверезыя сужденія этихъ матеріалистовъ о томъ или другомъ предметѣ, точно слово мстило имъ за пренебреженіе къ нему! Бѣлинскій ..., любившій лиліи и олеандры, украшавшій свое окно кактусами (какъ Эмма Бовари), хранившій въ коробкѣ изъ-подъ Гегеля пятакъ, пробку, да пуговицу и умершій съ рѣчью къ русскому народу ..., поражалъ воображеніе Федора Константиновича такими перлами дѣльной мысли, какъ, напримѣръ: «Въ природѣ все прекрасно, исключая только тѣ уродливыя явленія, которыя сама природа оставила незаконченными и спрятала во мракѣ земли и воды (моллюски, черви, инфузоріи и т. п.)», — точно такъ же, какъ у Михайловскаго легко отыскивалась брюхомъ вверхъ плавающая метафора вродѣ слѣдующихъ словъ (о Достоевскомъ): «...бился, какъ рыба объ ледъ, попадая временами въ унизительнѣйшія положенія»; изъ-за этой униженной рыбы стоило продираться сквозь всѣ писанія «докладчика по дѣламъ сегодняшняго дня». Отсюда былъ прямой переходъ къ современному боевому лексикону, къ стилю Стеклова («...разночинецъ, ютившійся въ порахъ русской жизни... тараномъ своей мысли клеймилъ рутинныя взгляды»), къ слогу Ленина, употреблявшему слова «сей субъектъ» отнюдь не въ юридическомъ смыслѣ, а «сей джентльменъ» отнюдь не примѣнительно къ англичанину, и достигшій въ полемическомъ пылу высша-

го предѣла смѣшного: «...здѣсь нѣтъ фиговаго листочка... и идеалистъ прямо протягиваетъ руку агностику». Русская проза, какія преступленія совершаются во имя твое! «Лица — уродливые гротески, характеры — китайскія тѣни, происшествія — несбыточны и нелѣпы», писалось о Гоголѣ, и этому вполне соответствовало мнѣнiе Скабичевскаго и Михайловскаго, о «г-нѣ Чеховѣ»; то и другое, какъ зажженный тогда шнуръ, нынѣ разрывало этихъ критиковъ на мелкiя части.

Онъ читалъ Помяловскаго (честность въ роли трагической страсти) и находилъ тамъ компотъ словъ: «малиновыя губки, какъ вишни». Онъ читалъ Некрасова, и, чуя нѣкій газетно-городской порокъ въ его (часто восхитительной) поэзи, находилъ какъ бы объясненiе его куплетнымъ прозаизмамъ («какъ весело притомъ дѣлиться мыслию своею съ любимымъ существомъ» — «Русскiя Женщины»), когда открывалъ, что, несмотря на деревенскiя прогулки, онъ называлъ овода шмелемъ (надъ стадомъ «шмелей неугомонный рой»), а десятию строками ниже — осой (лошади «подъ дымъ костра спасаются отъ ось»). Онъ читалъ Герцена и, опять-таки, лучше понималъ порокъ (ложный блескъ, поверхностность) его обобщенiй, когда замѣчалъ, что Александръ Ивановичъ, плохо знавшiй англiйскiй языкъ (чему осталась свидѣтельствомъ его автобiографическая справка, начинающаяся смѣшнымъ галлицизмомъ «I am born»), спутавъ по слуху слова «нищiй» (beggar) и «мужеложникъ» (bugger — распространеннѣйшее англiйское ругательство), сдѣлалъ отсюда блестящiй выводъ объ англiйскомъ уваженiи къ богатству.

Такой методъ оцѣнки, доведенный до крайности, былъ бы еще глупѣе, чѣмъ подходъ къ писателямъ и критикамъ, какъ къ выразителямъ общихъ мыслей. Что же съ того, если не нравился сухощоковскому Пушкину Бодлеръ, и правильно ли осудить прозу Лермонтова, оттого что онъ дважды ссылается на какого-то невозможнаго

«крокодила» (разъ въ серьезномъ и разъ въ шуточномъ сравненіи)? Федоръ Константиновичъ остановился во время, и пріятное чувство, что онъ открылъ легко примѣнимый критерій, не успѣло испортиться отъ приторности злоупотребленій.

Онъ читалъ очень много — больше, чѣмъ когда-либо читалъ. Изучая повѣсти и романы шестидесятниковъ, онъ удивлялся, какъ много въ нихъ говорится о томъ, кто какъ поклонился. Раздумывая надъ плѣненіемъ русской мысли, вѣчной данницы той или другой орды, онъ увлекался диковинными сопоставленіями. Какъ въ параграфѣ 146 цензурнаго устава 1826-го года, въ которомъ предлагалось наблюдать, чтобы «сохранилась чистая нравственность и не замѣнялась бы одиѣми красотами воображенія», можно было вмѣсто «чистая» поставить «гражданская» или что-нибудь въ этомъ родѣ, — чтобы получить негласный цензурный уставъ радикальныхъ критиковъ, такъ письменное предложеніе Булгарина придать лицамъ сочиняемаго имъ романа угодный цензору цвѣтъ, чѣмъ-то напоминало заискиваніе такихъ авторовъ, какъ даже Тургеневъ, передъ судомъ общественнаго мнѣнія; и Щедринъ, дравшійся телѣжной оглоблей, издѣвавшійся надъ болѣзью Достоевскаго, или Антоновичъ, называвшій его же «прибитой и издыхающей тварью», мало отличались отъ Буренина, травившаго бѣднягу Надсона; и его смѣшило предвкушеніе нынѣ модной теоріи въ мысляхъ Зайцева, писавшаго задолго до Фрейда, что «всѣ эти чувства прекраснаго и тому подобные насъ возвышающіе обманы суть только видоизмѣненія полового чувства...» — это былъ тотъ Зайцевъ, который называлъ Лермонтова «разочарованнымъ идиотомъ», разводилъ въ Локарно на эмигрантскомъ досугѣ шелковичныхъ червей, которые, впрочемъ, у него мерли, и по близорукости часто грохался съ лѣстницы.

Онъ старался разобраться въ мутной мѣшанинѣ тогдашнихъ философскихъ идей, и ему казалось, что въ

самой перекличкѣ именъ, въ ихъ карикатурной созвучности, выражался какой-то грѣхъ передъ мыслью, какая-то насмѣшка надъ ней, какая-то ошибка этой эпохи, когда бредили, кто — Кантомъ, кто — Контомъ, кто — Гегелемъ, кто — Шлегелемъ. А съ другой стороны онъ понемножку начиналъ понимать, что такіе люди, какъ Чернышевскій, при всѣхъ ихъ смѣшныхъ и страшныхъ промахахъ, были, какъ ни верти, дѣйствительными героями въ своей борьбѣ съ государственнымъ порядкомъ вещей, еще болѣе тлетворнымъ и пошлымъ, чѣмъ ихъ литературно-критическіе домыслы, и что либералы или славянофилы, рисковавшіе меньшимъ, стоили тѣмъ самымъ меньше этихъ желѣзныхъ забіякъ.

Ему искренне нравилось, какъ Чернышевскій, противникъ смертной казни, напавъ высмѣивалъ гнусно-благодное и подло-величественное предложеніе поэта Жуковскаго окружить смертную казнь мистической таинственностью, дабы присутствующіе казни не видѣли (на людяхъ, дескать, казнимый нагло храбрится, тѣмъ оскверняя законъ), а только слышали изъ-за ограды торжественное церковное пѣніе, ибо казнь должна умилять. И при этомъ Федоръ Константиновичъ вспоминалъ, какъ его отецъ говорилъ, что въ смертной казни есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человѣкомъ, странная и старинная обратность дѣйствія, какъ въ зеркальномъ отраженіи превращающая любого въ лѣвшу: недаромъ для палача все дѣлается наоборотъ: хомутъ надѣвается верхомъ внизъ, когда везутъ Разина на казнь, вино кату наливается не съ руки, а черезъ руку; и, если по швабскому кодексу, въ случаѣ оскорбленія кѣмъ-либо шпильмана позволялось послѣднему въ удовлетвореніе свое ударить тѣнь обидчика, то въ Китаѣ именно актеромъ, тѣнью, исполнялась обязанность палача, т. е. какъ бы снималась отвѣтственность съ челоуѣка, и все переносилось въ изнаночный, зеркальный міръ.

Онъ живо чувствовалъ нѣкій государственный обманъ

въ дѣйствіяхъ «Царя-Освободителя», которому вся эта исторія съ дарованіемъ свободъ очень скоро надоѣла; царская скука и была главнымъ отгѣнкомъ реакціи. Послѣ манифеста, стрѣляли въ народъ на станціи Бездна, и эпиграмматическую жилку въ Федорѣ Константиновичѣ щекоталъ безвкусный соблазнъ, дальнѣйшую судьбу правительственной Россіи разсматривать, какъ перегонъ между станціями Бездна и Дно.

Постепенно, отъ всѣхъ этихъ набѣговъ на прошлое русской мысли, въ немъ развивалась новая, менѣ пейзажная, чѣмъ раньше, тоска по Россіи, опасное желаніе (съ которымъ успѣшно боролся), въ чемъ-то ей признаться, и въ чемъ-то ее убѣдить. И, нагромождая знанія, извлекающая изъ этой горы свое готовое твореніе, онъ еще кое-что вспоминалъ: кучу камней на азіатскомъ перевалѣ, — шли въ походъ, клали по камню, шли назадъ, по камню снимали, а то, что осталось навѣки — счетъ падшимъ въ бою. Такъ въ кучѣ камней Тамерланъ провидѣлъ памятникъ.

Къ зимѣ онъ уже расписался, едва замѣтно перейдя отъ накопленія къ созиданію. Зима, какъ большинство памятныхъ зимъ, и какъ всѣ зимы, вводимыя въ рѣчь ради фразы, выдалась (онъ всегда «выдаются» въ такихъ случаяхъ) холодная. По вечерамъ, встрѣчаясь съ Зиной въ маленькомъ, пустомъ кафе, гдѣ стойка была выкрашена въ кубовый цвѣтъ, и, мучительно прикидываясь сосудами уюта, горѣли синіе гномы лампъ на шести-семи столикахъ, онъ читалъ ей написанное за день, и она слушала, опустивъ крашенныя рѣсницы, облокотившись, играя перчаткой или портсигаромъ. Иногда подходила хозяйская собака, толстая сучка безъ всякой породы, съ низко висящими сосцами, клала голову къ ней на колѣни, и, подъ глядящей, улыбающейся рукой, сдвигающей назадъ кожу на шельковомъ кругломъ лобикѣ, глаза у собаки принимали китайскій разрѣзъ, а когда ей давали кусокъ сахара, то, взявъ его, она неторопливо, въ развалку, шла въ уголь, тамъ сворачивалась и грызла со страшнымъ хрустомъ.

«Очень чудно, только по-моему такъ по-русски нельзя», говорила иногда Зина, и, поспоривъ, онъ исправлялъ го-нимое ею выраженіе. Чернышевскаго она сокращенно на-зывала Чернышомъ и настолько свыклась съ его принад-лежностью Федору и отчасти ей, что подлинная его жизнь въ прошломъ представлялась ей чѣмъ-то вродѣ плагіа-та. Идея Федора Константиновича составить его жизне-описаніе въ видѣ кольца, замыкающагося апокрифиче-скимъ сонетомъ (такъ, чтобы получилась не столько фор-ма книги, которая своей конечностью противна кругооб-разной природѣ всего сущаго, сколько одна фраза, слѣ-дующая по ободу, т. е. безконечная), сначала казалась ей невоплотимой на плоской и прямой бумагѣ, — и тѣмъ болѣе она обрадовалась, когда замѣтила, что все-таки по-лучается кругъ. Ея совершенно не занимало, прилежно ли авторъ держится исторической правды, — она принима-ла это на вѣру, — ибо, если бы это было не такъ, то про-сто не стоило бы писать книгу. Зато другая правда, прав-да, за которую онъ одинъ былъ отвѣтствененъ, и кото-рую онъ одинъ могъ найти, была для нея такъ важна, что малѣйшая неуклюжесть или туманность слова каза-лась ей зародышемъ лжи, который немедленно слѣдова-ло вытравить. Одаренная гибчайшей памятью, которая какъ плющъ обвивалась вокругъ слышаннаго ею, она, повтореніемъ ей особенно понравившихся сочетаній словъ, облагораживала ихъ собственнымъ тайнымъ заво-емъ, и когда случалось, что Федоръ Константиновичъ почему-либо мѣнялъ запомнившійся ей оборотъ, разва-лины портика еще долго стояли на золотомъ горизонтѣ, не желая исчезнуть. Въ ея отзывчивости была необычай-ная грація, незамѣтно служившая ему регуляторомъ, ес-ли не руководствомъ. А иногда, когда набиралось хотя бы трое посѣтителей, за пианино въ углу садилась старая та-перша въ пенснэ и какъ маршъ играла оффенбаховскую баркароллу.

Онъ уже подходилъ къ окончанію труда (а именно къ

рожденію героя), когда Зина сказала, что не мѣшало бы ему развлечься, и что поэтому они въ субботу вмѣстѣ пойдутъ на костюмированный балъ на дому у знакомаго ей художника. Федоръ Константиновичъ танцевалъ плохо, нѣмецкой богемы не переносилъ, а кромѣ того, наотрѣвъ отказывался превращать фантазію въ мундиръ, къ чему въ сущности сводятся балные маскарады. Сошлись на томъ, что онъ пойдетъ въ полумаскѣ и смокингѣ, года четыре тому назадъ сшитомъ и не болѣе четырехъ разъ надѣванномъ. «А я пойду...» — начала она мечтательно, но осѣклась. «Только умоляю не боярышней и не коломбиной», — сказалъ Федоръ. «Вотъ именно», — презрительно возразила она. «Ахъ, увѣряю тебя, будетъ страшно весело, — добавила она мягко, видя, что онъ пріунылъ. — Въдь въ концѣ концовъ мы будемъ одни среди всѣхъ. Мнѣ такъ хочется! Мы будемъ цѣлую ночь вмѣстѣ, и никто не будетъ знать, кто ты, и я придумала себѣ костюмъ специально для тебя». Онъ добросовѣстно представилъ себѣ ее съ голой нѣжной спиной и голубоватыми руками, — тутъ же контрабандой проскользнули чужія возбужденныя хари, хамская дребедень громкаго нѣмецкаго веселья, обожгли пищеводъ поганые спиртные напитки, отрыгнулось крашенымъ яйцомъ бутербродовъ, — но онъ опять сосредоточилъ вращающуюся подъ музыку мысль на ея прозрачномъ вискѣ. «Конечно, будетъ весело, конечно, пойдёмъ», — сказалъ онъ съ убѣжденіемъ.

Было рѣшено, что она отправится туда въ девять, а онъ послѣдуетъ черезъ часъ. Стѣсненный предѣломъ времени, онъ не сѣлъ послѣ ужина за работу, а проваландался съ новымъ журналомъ, гдѣ дважды вскользь упоминался Кончеевъ, и эти случайныя ссылки, подразумевавшія общепризнанность поэта, были драгоценнѣе самаго благожелательнаго отчета: еще полгода тому назадъ это бы возбудило въ немъ сальеріеву муку, а теперь онъ самъ удивился тому, какъ безразлична ему чужая слава. Посмо-

трѣвъ на часы, онъ медленно сталъ раздѣваться, затѣмъ вытащилъ сонный смокингъ, задумался, разсѣянно досталъ крахмальную рубашку, вставилъ увертливья запонки, влѣзъ въ нее, содрагаясь отъ ея угловатаго холодка, замеръ на минуту, безсознательно натянулъ черные съ лампасами штаны и, вспомнивъ, что еще утромъ надумалъ вычеркнуть послѣднюю изъ наканунѣ написанныхъ фразъ, нагнулся надъ и такъ измараннымъ листомъ. Перечтя, онъ подумалъ, — а не оставить ли все-таки? — сдѣлалъ птичку, вписалъ добавочный эпитетъ, застылъ надъ нимъ, — и быстро всю фразу похерилъ. Но оставить параграфъ въ такомъ видѣ, т. е. повисшимъ надъ бездной, съ заколоченнымъ окномъ и обвалившимися ступенями, было физически невозможно. Онъ просмотрѣлъ подготовленный для данного мѣста замѣтки, и вдругъ — тронулось и побѣжало перо. Когда онъ опять взглянулъ на часы, былъ третій часъ утра, знобило, въ комнатѣ все было мутно отъ табачнаго дыма. Одновременно донесся звякъ американскаго замочка. Мимоходомъ изъ передней, въ его полуоткрытую дверь Зина увидѣла его, блѣднаго, съ разинутымъ ртомъ, въ разстегнутой крахмальной рубашкѣ, съ подтяжками, висящими до пола, въ рукѣ перо, на бѣлизнѣ бумагъ чернѣющая полумаска. Она съ грохотомъ у себя заперлась, и все стало опять тихо. «Хорошъ, — вполголоса проговорилъ Федоръ Константиновичъ. — Что я надѣлалъ?» Онъ такъ никогда и не узналъ, въ какомъ Зина ѣдила нарядѣ; но книга была дописана.

Спустя мѣсяцъ, въ понедѣльникъ, перебѣленную рукопись онъ понесъ Васильеву, который еще осенью, зная о его изысканьяхъ, полупредложилъ ему напечатать «Жизнь Чернышевскаго» въ издательствѣ, прикосновенномъ къ «Газетѣ». Затѣмъ, въ среду, Федоръ Константиновичъ былъ въ редакціи, мирно бесѣдовалъ со старичкомъ Ступишинымъ, носившимъ въ редакціи ночныя туфли, любовался на горестно и скучно кривившійся ротъ секретаря,

кого-то отшивавшаго по телефону... Вдругъ открылась дверь кабинета, наполнилась до краевъ громадой Георгія Ивановича, который съ минутою черно смотрѣлъ на Федора Константиновича, а затѣмъ безстрастно сказалъ: «Пожалуйте ко мнѣ», — и посторонился, чтобы дать ему проскользнуть.

«Ну что — прочли?» — спросилъ Федоръ Константиновичъ, сѣвши по ту сторону стола.

«Прочелъ», — отвѣтилъ Васильевъ угрюмымъ басомъ.

«Я бы собственно хотѣлъ, чтобы это вышло еще весной», — бодро сказалъ Федоръ Константиновичъ.

«Вотъ ваша рукопись, — вдругъ проговорилъ Васильевъ, насуливъ брови и протягивая ему папку. — Берите. Никакой рѣчи не можетъ быть о томъ, чтобы я былъ причастенъ къ ея напечатанію. Я полагалъ, что это серьезный трудъ, а оказывается, что это безпардонная, антиобщественная, озорная отсебятина. Я удивляюсь вамъ».

«Ну, это, положимъ, глупости», — сказалъ Федоръ Константиновичъ.

«Нѣтъ, милостивый государь, вовсе не глупости, — взревѣлъ Васильевъ, гнѣвно перебирая вещи на столѣ, катая штемпель, мѣняя взаимоположеніе безответныхъ, случайно и безъ всякихъ надеждъ на постоянство счастья сочетавшихся книгъ «для отзыва». — Нѣтъ, милостивый государь! Есть традиціи русской общественности, надъ которыми честный писатель не смѣетъ глумиться. Мнѣ рѣшительно все равно, талантливы ли вы или нѣтъ, я только знаю, что писать пасквиль на человѣка, страданіями и трудами котораго питались миллионы русскихъ интеллигентовъ, недостойно никакого таланта. Я знаю, что вы меня не слушаетесь, но все-таки (и Васильевъ; поморщившись отъ боли, взялся за сердце) я какъ другъ прошу васъ, не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните мое слово, отъ васъ всѣ отвернутся».

«Предпочитаю затылки», — сказалъ Федоръ Константиновичъ.

Вечеромъ онъ былъ приглашенъ къ Чернышевскимъ, но Александра Яковлевна въ послѣднюю минуту его отменила: ея мужъ «лежалъ въ гриппѣ» съ очень высокой температурой. Зина ушла съ кѣмъ-то въ кинематографъ, такъ что онъ встрѣтился съ нею только на слѣдующій вечеръ. «Первый клинъ бокомъ, — какъ сострилъ бы твой вотчимъ», — отвѣтилъ онъ на ея вопросъ о книгѣ и (какъ писали въ старину) передалъ ей вкратцѣ разговоръ въ редакціи. Возмущеніе, нѣжность къ нему, желаніе чѣмъ-нибудь тотчасъ помочь выразились у нея порывомъ возбужденной и предпримчивой энергіи. «Ахъ, такъ! — воскликнула она. — Хорошо же. Я добуду денегъ для изданія, вотъ что я сдѣлаю». «Ужинъ ребенку и гробикъ отцу», — сказала онъ, и въ другое время она бы обидѣлась на эту вольную шутку.

Она гдѣ-то заняла полтора ста марокъ, добавила семьдесятъ своихъ, съ трудомъ отложенныхъ за зиму, — но этой суммы было недостаточно, и Федоръ Константиновичъ рѣшилъ написать въ Америку дядѣ Олегу, постоянно помогавшему его матери, присылавшему изрѣдка и ему по нѣсколько долларовъ. Составленіе этого письма онъ со дня на день откладывалъ, такъ же, какъ откладывалъ, несмотря на Зинины уговоры, попытку помѣстить свою вещь въ толстомъ журналѣ, выходящемъ въ Парижѣ, или заинтересовать ею тамошнее издательство, напечатавшее кончеевскіе стихи. Она затѣяла въ свободное время переписку рукописи на машинкѣ, въ конторѣ родственника, и набрала у него же еще пятьдесятъ марокъ. Ее сердила вялость Федора, — слѣдствіе ненависти ко всякой практической суетѣ. Онъ, между тѣмъ, беззаботно занялся сочиненіемъ шахматныхъ задачъ, разсѣянно ходилъ на уроки и ежедневно звонилъ Чернышевской: у Александра Яковлевича гриппъ перешелъ въ острое воспаление почекъ. Черезъ нѣсколько дней въ книжной лав-

къ онъ замѣтилъ рослаго дороднаго господина съ крупными чертами лица, въ черной фетровой шляпѣ (изъ подъ нея — каштановый клокъ), привѣтливо и какъ-то даже поощрительно взглянувшаго на него; — «гдѣ я встрѣчалъ его?» — быстро подумалъ Федоръ Константиновичъ, стараясь не смотрѣть. Тотъ подошелъ, подаль ему руку, щедро, наивно, безоружно распяливъ ее, заговорилъ, и Федоръ Константиновичъ вспомнилъ: Бушъ, два съ половиной года тому назадъ читавшій въ кружкѣ свою пресу. Недавно онъ ее выпустилъ въ свѣтъ, — и теперь, толкая Федора Константиновича бокомъ, локтемъ, съ дѣтской дрожащей улыбкой на благородномъ, всегда слегка потномъ лицѣ, онъ досталъ бумажникъ, изъ бумажника конвертъ, изъ конверта вырѣзку, — бѣдненькую рецензію, появившуюся въ рижской газеткѣ.

«Теперь, — сказалъ онъ съ грозной многозначительностью, — эта Вещь выйдетъ и панѣмецки. Сверхъ того я сейчасъ работаю надъ Романомъ».

Федоръ Константиновичъ попробовалъ уйти отъ него, но тотъ вышелъ изъ лавки съ нимъ и предложилъ себя въ попутчики, а такъ какъ Федоръ Константиновичъ шелъ на урокъ и, значить, былъ связанъ маршрутомъ, то единственное, чѣмъ онъ могъ попытаться избавиться отъ Буша, было ускорить ходъ, но при этомъ такъ участилась рѣчь спутника, что онъ въ ужасѣ замедлил шагъ снова.

«Мой Романъ, — сказалъ Бушъ, глядя вдаль и слегка протянутой вбокъ рукой въ дребежащей манжетѣ, выпиравшей изъ рукава чернаго пальто, останавливая Федора Константиновича (это пальто, черная шляпа и кудря дѣлали его похожимъ на гипнотизера, шахматнаго маэстро или музыканта), — мой Романъ это трагедія философа, который постигъ абсолютъ-формулу. Онъ разговаривается и говоритъ (Бушъ, какъ фокусникъ, извлекъ изъ воздуха тетрадь и сталъ на ходу читать): «Нужно быть

набитымъ осломъ, чтобы изъ факта атома не дедуцировать факта, что сама вселенная лишь атомъ, или, правильнѣе будетъ сказать, какая-либо триллионная часть атома. Это еще геньяльный Блэзъ Паскаль интуитивно познавалъ. Но дальше, Луиза! (при этомъ имени Федоръ Константиновичъ вздрогнулъ и ясно услышалъ звуки гренадерскаго марша: «Гра-щай, Луиза, отри слезы съ лица, не всяка пуля бьетъ молодца», — и это затѣмъ продолжало звучать, какъ бы за окномъ дальнѣйшихъ словъ Буша). Напрягите, дорогая, вниманіе. Сперва поясню на примѣрѣ фантази. Допускается, что нѣкто физикъ сумѣлъ разыскать среди абсолютъ-немыслимой суммы атомовъ, изъ которыхъ скомпановано Все, фатальный атомъ тотъ, къ которому примѣняется наше разсужденіе. Мы предполагаемъ, что онъ додробился до самой малѣйшей эссенціи этого какъ разъ атома, въ который моментъ Тѣнь Руки (руки физика!) падаетъ на нашу вселенную съ катастрофальными результатами, потому что вселенная и есть послѣдняя частичка одного, я думаю, центрального, атома, изъ которыхъ она же состоитъ. Понять не легко, но, если вы это поймете, то вы все поймете. Прочь изъ тюрьмы матматики! Цѣлое равно наимельчайшей части цѣлаго, сумма частей равна части суммы. Это есть тайна міра, формула абсолютъ-безконечности, но сдѣлавъ таковое открытіе, человѣческая личность больше не можетъ гулять и разговаривать. Закройте ротъ, Луиза. Это онъ обращается къ одной малюткѣ, своей подругѣ жизни, — снисходительно-добродушно добавилъ Бушъ, пожавъ могучимъ плечомъ.

«Если вы интересуетесь, я вамъ когда-нибудь съ начала почитаю, — продолжалъ онъ. — Тѣма колоссальная. А вы, смѣю спросить, что дѣлаете?»

«Я? — проговорилъ Федоръ Константиновичъ, усмѣхнувшись. — Я тоже написалъ книгу, книгу о критикѣ Чернышевскомъ, а найти для нея издателя не могу».

«А! Популяризаторъ германскаго матеріализма — пре-

дателей Гегеля, гробіановъ-философовъ! Очень почтено. Я все болѣе убѣждаюсь, что мой издатель охотно возьметъ вашъ трудъ. Онъ комическій персонажъ; и для него литература — закрытая книга. Но я у него въ положеніи совѣтника, и онъ выслушиваетъ меня. Дайте мнѣ вашъ телефонъ-номеръ, я завтра съ нимъ свижусь, — и если онъ въ принципѣ соглашается, то пробѣгу вашъ манускриптъ и, смѣю надѣяться, что рекомендую его самымъ лъстивымъ образомъ».

«Какая чушь», — подумалъ Федоръ Константиновичъ, а потому былъ весьма удивленъ, когда, на другой же день, добрякъ дѣйствительно позвонилъ. Издатель оказался поленькимъ, съ жирнымъ носомъ, мужчиной, чѣмъ-то напоминавшимъ Александра Яковлевича, съ такими же красными ушами и черными волосиками по бокамъ отшлифованной лысины. Списокъ имъ уже изданныхъ книгъ былъ малъ, но чрезвычайно разнообразенъ: переводы какихъ-то нѣмецкихъ психо-аналитическихъ романовъ, сдѣланные дядей Буша, «Отравительница» Аделаиды Свѣтозаровой, сборникъ анекдотовъ, анонимная поэма «Азъ», — но среди этого хлама были двѣ-три настоящія книги, какъ, напримѣръ, прекрасная «Лѣстница въ Облакахъ» Германа Лянде и его же «Метаморфозы Мысли». Бушъ отозвался о «Жизни Чернышевскаго», какъ о пощечинѣ марксизму (о нанесеніи коей Федоръ Константиновичъ при сочиненіи нимало не заботился), и, при второмъ свиданіи, издатель, человекъ повидимому милѣйшій, обѣщалъ книгу напечатать къ Пасхѣ, т. е. черезъ мѣсяцъ. Аванса онъ не давалъ никакого, съ первой тысячи проданныхъ экземпляровъ предлагалъ пять процентовъ, но зато со слѣдующей доводилъ авторскіе до тридцати, что показалось Федору Константиновичу и справедливымъ, и щедрымъ. Впрочемъ, къ этой сторонѣ дѣла онъ чувствовалъ полнѣйшее равнодушіе. Другое заняло его. Пожавъ влажную руку сіяющаго Буша, онъ вышелъ на улицу, какъ балерина вылетаетъ на сиренево-

освѣщенные подмостки. Моросившій дождь казался ослѣпительной росой, счастье стояло въ горлѣ, радужные ореолы дрожали вокругъ фонарей, и книга, написанная имъ, говорила съ нимъ полнымъ голосомъ, все время сопутствуя ему, какъ потокъ за стѣною. Онъ направился къ конторѣ, гдѣ служила Зина; противъ этого чернаго дома, съ добрымъ выраженіемъ оконъ наклоненнаго къ нему, онъ нашель пивную, ею указанную.

«Ну что?» — спросила она, быстро войдя.

«Нѣтъ, не беретъ», — сказалъ Федоръ Константиновичъ, внимательно, съ наслажденіемъ, слѣдя за угасаніемъ ея лица, играя своей властью надъ нимъ, предвкушая восхитительный свѣтъ, который онъ сейчасъ вызоветъ.

В. Сиринъ. .

(Конецъ третьей главы).

Д о р о г а *)

Первыя, совсѣмъ зачаточныя подозрѣнія въ прочности моихъ душеспасительныхъ походовъ начали пошевеливаться во мнѣ еще дорогой. Ъхали же мы изнурительно долго: Пафнугій, сберегая деньги для настоящихъ дѣлъ, выбралъ путь неспѣшный, подешевле, съ ночными пересадками, съ долгими ожиданіями на вокзалахъ, гдѣ истомленные вояжной пыткой, въ чуткомъ безпамятствѣ ожидали самага главнаго—своего—звонка пассажиры, и когда съ перрона доносилась ледяная колокольная тревога — всѣ разомъ бросались къ выходу, потыкивали другъ друга чемоданами въ зады и колѣнные сгибы, и, выдравшись наконецъ изъ проклятыхъ дверей наружу, притруской, съ отягощенными чемоданами руками, метались възлѣ вагоновъ, ужъ необъяснимо до верхнихъ полокъ полныхъ болѣе удачливыми и отвратительными людьми... — «Искушеніе!..» — плевался архимандритъ и съ честной страстностью простолюдина укорялъ кондукторовъ за безобразіе; я же только потирала вѣко — затлевалась желтая боль, и я не то на нее, не то на бессонницу и взваливалъ вину за изсяканіе моего душевнаго благополучія, — вѣрнѣе, могъ еще взваливать: такой недавней сытой увѣренности въ своей правотѣ у меня уже не было. И я даже не примѣтилъ, когда тронулась, начала подтаивать она. Можетъ быть, съ первой же станціи.

На третій день, когда глазная боль емко и развѣдающе разверзлась во всю глазницу до мозга, и за окномъ кончилось истеченіе европейскихъ пейзажей: на диво рас-

*) См. «Совр. Записки» кн. 65.

чесанныхъ пашень и одеографически уютныхъ городовъ съ костелами и хвостатыми жестяными пѣтухами на опрятныхъ крышахъ; когда за окномъ съ грохотомъ замелькала снѣжными горбами насыпь, пошелъ пунктирный, наискосокъ, снѣгъ, и надъ косогорами закружилось захолустнаго, степного, російскаго вида воронье, поѣздъ, подвывая и загибаясь въ дугу на частыхъ, крутыхъ поворотахъ, доползъ съ грѣхомъ попаламъ — дорогой дважды его закуворило въ туннель снѣжными обвалами — доползъ-таки до послѣдней станціи. Передъ вокзаломъ насъ дождался мужикъ старокраининъ, въ шубѣ съ чудными разводами по борту и въ робинзоновской шапкѣ; онъ насъ долженъ былъ везти дальше, въ глушь.

Помню, однажды въ Прагѣ мы съ Пафнутіемъ были по какому-то дѣлу у одного русскаго профессора, и профессоръ, сумрачно влюбленный въ русскую старину, съ ученой увѣсистою выкрикнулъ: «Старый Край — это Русь шестнадцатаго вѣка», — и смѣтливый Пафнутіи на ходу такъ и подхватилъ этотъ шестнадцатый вѣкъ и пользы извлекъ изъ него немало: упоминаніе о темной, богомольной Руси одинаково умиляло всѣхъ: и социалистическаго земгорца и бывшаго посланника, корректнѣйшаго остзейца, и балетную актрису, по невѣдомымъ причинамъ впадшую въ мистическую тихость — всякому такая необязательная Россія была впору. И Пафнутіи, въ глубинѣ души почитая всѣхъ городскихъ людей какими-то мудреными недодѣлками, особенно не любопытствуя ими — праздно, молъ, занятіе — мужицкимъ, продувнымъ чутьемъ подходилъ къ нимъ. Шестнадцатый вѣкъ дѣйствовалъ на нихъ неотразимо; «добре», — думалъ Пафнутіи, и разводилъ такіе турусы на колесахъ о богобоязненности и дѣвственной чистотѣ старокраинцевъ, что я только поматывалъ про себя головой, когда онъ съ напускной конфузливостью душевнаго простачка и земгорцу и дипломату и балеринѣ — всѣмъ одинаково — выпѣвалъ: «Цѣ-жь Россія шешнадцатаго вика»... Но Старый Край; кажется, и во-

истину былъ старымъ краемъ; даже въ привѣтствіяхъ были отзвуки этой медлительной, оцерковленной жизни: «Слава Иисусу Христу», — сказалъ Пафнутій, и возница, сдирая свою робинзоновскую шапку, цѣлуя Пафнутія въ двупалую шерстяную руку, отвѣтилъ: «Слава и во вѣкъ»;

День былъ солнечный и студеный; надъ широкой, раскидистой улицей невысоко круглились вальжѣныя огромности облаковъ; клубили въ небеса хохлацкія — уютно; по самый носъ въ сугробахъ — хатенки, и лаутиновыя тѣни отъ дыма рѣяли, зыбились на невыносимомъ, для воупаленнаго зрачка, снѣгу. Погодя, подъ бубенцовое будыканье, потянулись къ оставленному, вопіющему, ухающему намъ вслѣдъ вокзалу: улица; — хатенки; — два мужика съ кнутами подъ мышками и съ люльками до кушаковъ неторопливую ведутъ бесѣду; — старый еврей въ лапсердакъ и бѣлыхъ чулкахъ, вслѣпую, пятясь, спускаясь съ крылечка корчмы, счиркиваетъ метлой со ступенекъ снѣгъ; — казенное зданіе, довершенное жандармомъ съ сиреневымъ штыкомъ за плечомъ; — колодець: возносится въ небо обезображенная на концѣ увѣсистымъ камнемъ тонкая поперечина журавля, и баба въ кацавейкѣ рукой придерживаетъ истекающую въ колодець веревку, глядитъ на насъ и не слѣша, вмѣстѣ съ изумленнымъ, задранымъ журавлемъ, оттягивается назадъ за сани; и мужицкій конекъ недоростокъ колышется въ оглобляхъ, перебираетъ ногами и волнуется на немъ въ пришепку шлея, и уютна и смѣшна послѣ рвущейся желѣзнодорожной быстроты неторопливость лошадинаго бѣга и замедленное чередованіе хать, заборовъ, мужиковъ, евреевъ и прочаго, чему издревле полагается быть въ каждомъ пограничномъ мѣстечкѣ, все равно, будь оно русское, польское или чешское.

Булькаль бубенчикъ; пахло горнимъ холодомъ свѣговъ; взъерошенная, взбитая сугробцами дорога пронырливо вилась между сизыми холмами такъ и эдакъ, и я, увилывая отъ главнаго, приноравливаясь къ будущей мо-

ей жизни, набрасывалъ, предполагалъ примѣрно такое: душевный, маленькій монастырекъ съ округлыми куполами; засахаренные остовы меланхолическихъ деревьевъ; по аллеякъ, тыкая въ снѣгъ посошкомъ, плетется мшистый, благостный столѣтній грибокъ монашекъ, ну, скажемъ, лѣтописецъ старокраинскій — такую картину я гдѣ-то на медни видѣлъ въ русскомъ иллюстрированномъ журналѣ и, неясно умилвшись, припряталъ въ памяти про запасъ — и вотъ, пригодилась... Послѣ вечерней со «Свѣте тихій» службы (маслянистые, продольные блики лампадъ, малиновое небо въ рѣшеткахъ) неторопливая трапеза; потомъ въ жарко натопленной (о теплѣ, тутъ, въ саняхъ, и къ вечеру, я возмечталъ особливо вождедѣнно) библиотечкѣ Пимень въ скуфейкѣ и круглыхъ очкахъ, съ гусинымъ — стальныхъ онъ не признаетъ — перомъ въ рукахъ носкрипываетъ, поохиваетъ, покрякиваетъ надъ папирусами шестнадцатаго вѣка, а я, съ бородой и тоже въ скуфейкѣ, весь чисто, съ пріятностью скорбный, перебираю, сортирую документы, до полей заполненные буквами древняго письма — усатыми, хвостатыми, раскудрявленными; Пафнуйтій, внизу, въ книгопечатнѣ, съ воздыхающими («о-хо-хо-хо, Господи») отъ смиренія чернецами, изготавливаетъ разные богослужебные фоліанты. Благостно, важно, тихо, тепло вокругъ; желателенъ сверчекъ. Дальше, повинуваясь ужъ узаконенному, ужъ привычному теченію воображенія, довершая мечтательное плаванье, я съ «о-хо-хо-хо, Господи...» смыкаю воедино грудь къ груди распяленную до внутренностей колоду древняго фоліантища, крещусь и иду по витой лѣсенкѣ на колокольную; но на этотъ разъ восхожденіе по вѣковымъ, ноющимъ ступенямъ получилось безъ обязательной шаркающей, монашеской неторопливости: тащиться, даже и мысленно, по ледяному проходу было ужасно зябко — ужъ давно полегчало до кисейной невѣсомости мое городское, непривычное къ степной, скифской стужѣ пальто — и я скоренько и безъ смака прошмыгнуть это неуютное, сквоз-

някавое мѣсто, и сразу же, мечтательнымъ прыжкомъ, добрался до главнаго: до колокольни; и только тутъ, подѣ вечерній звонъ, мнѣ удалось наладить свирѣльную, созерцательную меланхолю, достойно завершающую иноческій безгрѣшный день, — и пора было: вечерѣло. Ревущій въ полнеба закатъ полыхалъ на западѣ; пыжилась въ сторонѣ первая бѣлая, лохматая звѣзда. Все синѣло, леднѣло, меркло; гдѣ-то маялись, голосили въ вечерней тревогѣ собаки, и возница, булькая бубенцомъ — казалось, что онъ булькаетъ у него во рту — плавно и безшумно обогнувъ курганъ, разомъ въѣхалъ въ село, — мелькомъ нахнуло прѣсвой хлѣбной сытостью и тепломъ. Потомъ долго плыли по синей, длинной улицѣ; по бокамъ ея желтѣлись оконца. Потомъ возница цокнулъ, держась за вожжи, малость поотвалился навзничь, и тотчасъ же, будто получивъ въ шею, сунулся носомъ впередъ: стали, я оглянулся. Пафнутій, высоко задирая ноги, вылѣзалъ изъ сани.

...И какъ это было все-таки ужасно: никакого душевнаго монастырька не оказалось, — это былъ домъ крестьянскаго кооперативнаго общества, многоутробный, неопрятный домъ наймитъ-стяжатель, готовый за деньги приютить у себя кого угодно: и внизу прижилась лавка съ рыжими бородами вѣшниковъ въ окнахъ — дюжее мужицкое подражаніе городскимъ витринамъ — и корчма; сверху, бокъ-о-бокъ, квартировали столовая для профессихъ и цирюльня; а насупротивъ — нашъ скитъ «Всѣхъ скорбящихъ радость»: три ужасныхъ ажекомнаты. Все это, съ грустью и страхомъ, набѣло, я разглядѣлъ ужъ на другой день. Но ужасно было и намедни: когда мы съ Пафнутіемъ вошли въ помѣщеніе, тамъ не оказалось ни библиотечки, ни папирусовъ, ни Пимена лѣтописца старо-краянскаго, никого: зіяя порожними утробами, на задахъ стояли тамъ какіе-то ящики, и на нихъ — грязныя типо-

графскія соты для буквъ; поодаль навзничъ лежали два испорченные съ боковъ тюка, и тутъ же, очень криминально поблескивая, валялся позабытый потрошителемъ перочинный ножъ; дальше же—я даже замигалъ отъ наважденія — въ глубинѣ комнаты знакомо поколыхивались каменные стѣны восточнаго замка, емкія, съ честными бликами въ чугунныхъ нѣбахъ, пасти страшныхъ мортиръ, и то вздувалась, то опадала выразительная, съ выразительными шляпками гвоздей, тяжкая, окованная дверь — и: вотъ сейчасъ она, легонько попяченная изнутри осторожной рукой, распахнется, и на сцену, хватаясь за чалму, потрясая скрюченными пальцами, задирая восточное лицо кверху, выскочитъ пантомимно нѣмотствующій Кирюша—горестный отецъ персидской княжны, которую во второй картинѣ Коко - Стенька Разинъ, бывало, бросалъ съ чепца... Но Кирюша все не появлялся; въ замкѣ, въ закулискомъ цутрѣ его, что-то, вѣрно столъ, передвигали, и кто-то, хлопоча, перекошеннымъ отъ старанія голосомъ, тревожился, предупреждалъ: «шклянки, шклянки дѣржить»...

Пафнутій остановился, подался впередъ; я мелькомъ, съ дурной жадностью, въ предчувствіи скандала, глянулъ на него: лицо его было тихое, мертвое, страшное, борода почернѣла. Въ замкѣ съ растопорщеннымъ, тыркающимъ грохоткомъ отъ несогласія всѣхъ четырехъ ногъ двигаться вкупѣ и плавно, пророкотало и стихло — столъ отодвинули; ворота замка ворохнулись и внутри загалдѣли: «вдарте, вдарте, батько Карпо»... — Батька Карпо (я и черезъ перегородку по стукамъ, скрипамъ, хохоткамъ угадывалъ всѣ его удалые выкрутасы) подпихнулся кулакомъ, выставилъ ногу, поигралъ для разминки носочкомъ, и кудрявя, завертывая въ колечки тенорокъ, началъ: «Гопъ, кума, не журыся», и тогда Пафнутій замоталъ головой, закатилъ глаза, рванулся къ двери замка, пихнулъ дверь саногомъ, она впопыхахъ заметалась туда сюда, архимандритъ въ бѣшенствѣ лягнулъ ее еще разъ и ворвался въ замокъ, подъявъ трость — и внезапно откры-

тый, огорошенный, оглушенный плясунъ бородачь въ яр-ко зеленомъ пиджакѣ шустро подобралъ подъ себя вы-брошенную плясовую ногу, вскочилъ, попятился назадъ; двое другихъ, что за столомъ, встали и выпучились на пафнүтїеву трость. На столѣ миловидно сіяла бутылка и стаканы; тутъ же, на пергаментѣ, желтѣли распластанныя лодочками огурцы — утѣха русскихъ бражниковъ! и Пафнүтїй, глянувъ на столъ, рыча и всхлипывая, началъ хлестать по нему палкой, — со второго удара, булькая изъ пробитой головы, упала бутылка, архимандритъ хва-тилъ еѣ по пузу, по пузу; плясунъ, подъ шумокъ, въ не-разберихѣ, натягивалъ на себя рясу, и когда Пафнүтїй, сокрушивъ все на столѣ, крутнулся къ нему, онъ ужъ не въ зеленомъ пиджакѣ, но въ рясѣ и при іерейскомъ кре-стѣ, тѣмъ же попалъ на мѣстѣ глаза — глаза такъ и рва-лись по заклепкамъ — ухвативъ обѣими руками кѣльня своей великолѣпной бороды, сгорбился и сказалъ: «Съ прїѣздомъ, отецъ архимандритъ!», — при этомъ глазь все-таки не удержалъ: они порскнули въ разныя стороны. Пафнүтїй, костлявый, бѣлый, глазастый, метнувъ пальцемъ въ дверь, гаркнулъ: «Геть съ цего святого мѣста, окаян-ный!» — и отецъ Карпъ, хватаясь за все, что попадалось подъ руку—за бороду, за крестъ, за пуговики на рясѣ, вы-шелъ, присѣдая, опасаясь. Возлѣ дверей онъ прїостановил-ся и сказалъ вихлявымъ голосомъ: «Попросилъ бы безъ выражений: на мнѣ санъ». — «Вонъ», — топнулъ, вскинудся Пафнүтїй, — Карпъ пропалъ. За нимъ тихонько вышелъ одинъ изъ тѣхъ, которые стояли за столомъ, его псалом-щикъ, узналъ я позже; другой же не ушелъ: подумавъ, онъ вынулъ изъ кармана офицерскаго кителя головную щетку и принялся безъ особаго шуршанья взбадривать ежикъ — это для того, чтобъ не стоять ужъ совсѣмъ ду-ракомъ. Пафнүтїй, широко раздираясь подъ рясой нога-ми, заходилъ по комнатѣ. «Сотруднички», — бормоталъ онъ. Изъ дверей просунулся отецъ Карпъ и сказалъ: «Этого я вамъ не прощу». Пафнүтїй дернулся къ дверямъ;

Карпъ высунулъ языкъ и пропалъ; человекъ-ежикъ споримъ движеніемъ насытившагося аккуратиста впихнулъ щеточку въ карманъ. Пафнутіи поглядѣлъ на него со вкусовымъ отвращеніемъ, густо плюнулъ себѣ между сапогъ и ушелъ за фонтаны: поперечная кулиса, за которой была его комната, изображала паркъ, и въ невозможной его перспективѣ косматились добротные, на совѣсть, водяные каскады. Я сѣлъ на стулъ; ежикъ шаркнулъ маленькой ножкой въ чистомъ сапожкѣ: «Позвольте представиться, Василь Матвѣюкъ». — «Встрѣчались», — скучно, съ душевной отрыжкой, сказалъ я. Матвѣюкъ перебралъ сапожками, — и не вспомнилъ. Я сказалъ: «Въ Прагѣ. Въ украинской громадѣ»... — И взялся за високъ: все это было какъ-то сумасшедниенко, ужасно.

Право, все это было ужасно: на трезвомъ зимнемъ свѣту еще возмутительнѣе выглядѣлъ убогій полотняный фасъ замка, запущенныя ввысь безчувственной рукой декоратора самоучки купины фонтановъ, — оказалось, что тутъ до скита квартировалъ какой-то русскій бродячій («рыжковскій», сразу, безъ промаха, подумалъ я) театрикъ, затѣмъ, конечно, онъ прогорѣлъ и сгинулъ, оставивъ и надувательскій замокъ и фонтаны за долги; да и все прочее внушало тревогу: «влипли мы съ вами», — бодро горевалъ за чаемъ Матвѣюкъ, и для вищей выразительности, выдирая изъ поджатаго кулака одинъ за другимъ пальцы, говорилъ, что жрать нечего — разъ, дровъ нѣтъ — два, уніатскіе поны заѣдаютъ — три; и такъ постепенно раззвѣздить онъ кулакъ въ пятерню, и по всѣмъ пяти торчмя поставленнымъ пальцамъ выходило: влипли. И тихое, безмятежное монастырское житіе и Пимень старокраянскій и мое предполагаемое иночество — все оборачивалось совѣстнымъ вздоромъ; и я съ мстительной, изысканной злостью уязвленнаго мечтателя еще разъ ускоренно пропустилъ въ себѣ и монастырь, и Пимена и иночество, но ужъ въ совсѣмъ иной, вывороченной наизнанку глумливой видимости, ловко накрывая мечты

замухрыщивъ этой правдой, — и монастырекъ презабавно скисаль по нахлобученнымъ на него халтурными декорациями замаскированныхъ ерники и льянчуга Карпъ былъ неподражаемъ въ роли старокраянскаго лѣтописца, съ успѣхомъ дублировалъ послушнаго чернеца печатника юркій Матвѣюкъ. Я потѣшалъ самого себя коровьей задумчивостью «вечерній звонъ, бомъ-бомъ-бомъ» на колоколенкѣ: кооперативномъ окнѣ съ рыжими вѣниками, сирѣчь. Кое что изъ того, что творилось во мнѣ, перепало и Матвѣюку: нехорошо вдохновясь издѣвкой, я въ лицахъ представилъ ему вчерашнюю сцену убіенія бутылки и изгнанія отца Карпа, и Матвѣюкъ съ восхищеніемъ — онъ обожалъ смѣшныхъ актеровъ — хохоталъ: «ой, комыкъ...», и ругательски ругалъ Пафнутія, который въ Прагѣ обѣщаль ему священнической санъ, приходъ и сытую жизнь, а теперь морилъ картошкой и глупой работой: послѣ чая мы копались въ свинцовой увѣсистой нечисти разноликихъ типографскихъ шрифтовъ. На стѣнѣ на видномъ мѣстѣ была приколотая записка: отсутствующій Пафнутія — онъ неизвѣстно куда уѣхалъ еще утромъ — непрестанно съ восклицательнымъ знакомъ, повелѣвалъ: «Разбирать шрифты!»

Разбиралъ ихъ на самомъ-то дѣлѣ только я; Матвѣюкъ двумя пальцами покопался полчаса въ ящикахъ, похоталъ, чистенько вымылъ руки, надѣлъ поддѣвку, вздернулъ за уши сапожки и убѣжалъ куда-то хлопотливо озабоченный, позабывъ обо мнѣ ужъ на порогѣ — это я съ мгновенной острой тоской и обидой почувствовалъ. И теперь, одинъ, безъ Матвѣюкова сочувствія, хоть и извилистаго, хоть и мелкаго, но которое какъ-то все-таки умягчало мою злость, отчаяніе и одиночество, одинъ, со съмъ одинъ, сызнова вскиная злостью, я подъ лихую руку порѣшилъ покончить и съ тѣмъ неяснымъ безпокойствомъ, которое нудило меня вотъ ужъ третій день: дорогой и тутъ. И вообще покончить все.

Расхаживая по ледяной, дикой комнатѣ, мысленно пя-

тась въ подозрительное пражское прошлое (при этомъ внутри у меня что-то вырывалось, оступалось, норовило грохнуться въ безпамятствѣ среди дороги), я ужъ почти дойтался до истоковъ, откуда бы и полагалось пройти, теперь ужъ не задомъ напередъ, но со слѣдопытческой зоркостью, весь путь отъ первой моей встрѣчи съ Пафнутіемъ и доньнѣ; и кто знаетъ, кто знаетъ, припоздай Пафнутій на полчаса, можетъ быть на этомъ бы и закончились мои душеспасительныя походы. Но Пафнутій вернулся въ самый разъ.

И потомъ, проживая въ скитѣ, сколько разъ, обуянный уныніемъ, искусительнымъ зубоскальствомъ надо всѣмъ, что творилось вокругъ и во мнѣ самомъ, томясь подъ тяжелой броней, въ которую я такъ неосмотрительно, съ отчаянія, сгоряча влѣзь (она меня не столько защищала, сколько давила, эта броня не по плечу), я съ жутью и облегченіемъ думалъ, что все уже кончено и что никакими ухищреніями нельзя наладить въ душѣ хоть относительную стройность — и все какъ-то образовывалось опять: Пафнутій, когда было надо, бралъ меня за шиворотъ, встряхивалъ, ставилъ на нужную ему (и мнѣ?) дорогу, и, подпихнувъ волей, взглядомъ, заставлялъ идти дальше; зоркій, попечительный гнетъ его стоялъ за мной неотстѣпно. Вернувшись неизвѣстно откуда съ огромной иконой (два мужика внесли ее, раздувая щеки), онъ, съ порога же одной рукой крестясь, пальцами вылуцивая изъ пегель пуговики полушубка, обозвалъ меня принцемъ индѣйскимъ, приказалъ затопить печку и приготовить ужинъ, и я, мигомъ и съ надеждой покорившись ему, рьяно захопотаалъ надъ печуркой, принялся строгать картонку; какъ разъ во время приближавшій Матвѣюкъ схватился за метлу: его такъ и подергивало рабочими судорогами. Пафнутій, отпустивъ мужиковъ, захопотаалъ надъ иконой — устраивалъ что-то вродѣ иконостаса, и устроилъ-таки, упрямый. Потомъ служили вечерню: Пафнутій,

ДОРОГА

теперь уже не хлопотунъ, но важный, богослужебный, съ каменнымъ лицомъ, въ лазоревой епитрахили, вдоль и поперекъ полосоваль воздухъ кадильными радугами; Матвѣюкъ бойко дѣль: онъ былъ изъ семинаристовъ. И я безъ труда, поспѣшно и съ готовностью, позабывъ недавнiе надъ собой смѣшки и похмѣльную тоску мечтателя, во время, по взгляду Пафнутія, по мановенiю его руки, съ пристойными полупоклонами давалъ и принималъ отъ него кадило и даже усочнилъ своимъ баритономъ начало «Свѣте тихій», такъ трогательно и подробно обсматкованнаго по дорогѣ въ скитъ. Правда, и «Свѣте тихій» передъ рыжковскими декораціями излучался, истекалъ не совсѣмъ такъ, какъ излучался и истекалъ бы онъ въ церквушкѣ шестнадцатаго столѣтiя, и вечернiя занятiя послѣ службы мало чѣмъ походили на сладостно-меланхолическое корпѣнiе надъ папирусами (мы опять копались въ ящикахъ съ буквами), все же была во всемъ этѠмъ доля давно и неясно желаннаго: жизни простой, трудовой и нѣкоего, можетъ быть и воистину свѣта тихаго. Вечеръ прошелъ въ молчанiи и работѣ.

Затѣмъ очень кстати подоспѣла цѣлая недѣля, когда ни думать, ни рыться въ себѣ и вовсе не хватало времени: изъ Праги прибыла знаменитая машина, разъятая на части, и части надобно было смазывать и свинчивать; вдохновенно озабоченный, безъ рясы, въ одной фуфайкѣ, узкоплечій, въ ватныхъ штанахъ, повязавъ вокругъ головы бечевочку, чтобы волосы не лѣзли на глаза, подшмыгивая для пушей дѣловой уютности, Пафнутiй съ легкостью и наслажденiемъ разгадывалъ анатомическія ухищренiя конструктора, завинчивалъ, закручивалъ, мазалъ, гдѣ надо, масломъ металлическіе суставы — и машина вскорѣ была готова: собранная, она оказалась приземистой, на подогнутыхъ чугунныхъ лапахъ, и, если крутнуть за рукоятку колеса, что съ праваго бока, огромно раздѣвала чугунную ластъ и съ причмокиванiемъ опять смыкала могучiя челюсти. «Будѣмо друкаты слово Божiе», — со вку-

сомъ посулилъ намъ Пафнутій и самъ набралъ первую страницу молитвослова. Хлюпая пастью, машина выплюнула оттискъ-первенецъ; Пафнутій, конфузясь въ усы, поглядѣлъ на оттискъ и приказалъ мнѣ крутить дальше, и я, пыжась — вотъ оно, корбокрутство — крутилъ еще съ полчаса. Кромѣ страницы молитвослова, отпечатали также воззваніе къ православнымъ русскимъ людямъ. На утро листки разослали, куда надо; на марки потратили послѣдніе гроши, — Пафнутій, помолясь, надѣлъ клобукъ, рясу и приказалъ Матвѣюку созвать мужиковъ въ печатню: пришла пора обратиться за помощью къ народу. Мужики щупали, похлопывали машину, какъ лошадь, дивились, шептались и тутъ же порѣшили міромъ: выдать два мѣшка картошки, сотню яицъ и масла. Пафнутій сказалъ: «помогите, люди, руському дилу», — и важно поклонился мужикамъ въ поясъ. Пятясь, мужики вышли. Вѣсть о машинѣ и Пафнутіи, распухая по дорогѣ отъ небылицъ, покатила по всему Старому Краю. Встревоженные униатскіе попы устроили съѣздъ: Пафнутій становился опаснымъ. Мы набирали молитвословъ.

Впервые за десять лѣтъ за границей я дѣлалъ настоящее дѣло — вполне осязательное и всюду, куда ни глянь, пристойное, и это былъ медовый мѣсяцъ моей жизни въ скитѣ: оглушенные новизной, занятостью, а по вечерамъ непорочной рабочей усталостью, смирно, рядкомъ лежали всякіе бѣсы: печальные — съ волоокостью во зорѣ; то скливые — кожа да кости; шустрые — шлетники, и копошились въ углу бѣсенята, зачатые уже тутъ, по неосмотрительности, мимоходомъ — мыслишки-подкидыши. Добра отъ бѣсовъ ждать не приходилось: тронь, — зашинить, загалдеть, перегрызутся, и я, оберегая непрочный и недолговѣчный — это я все-таки всегда потаенно предчувствовалъ — миръ во мнѣ, нарочито во всю и весь занялся одолженіемъ коварнаго и разсыпчатаго ремесла ручного набора и машиной, которая на новомъ мѣстѣ, еще не обжившись, хандрила и кривлялась, несмотря на свою буд-

то бы и непритязательную — дюжий, плечистый плебей — наружность: брызгала краской, упрямилась при изрыгании листовъ и однажды ненарокомъ сжевала съ полсотни буквъ: не доглядѣлъ Матвѣюкъ. На умиротвореніе машины уходили вечера. Пафнутій началъ поглядывать на меня поемче, позагребистѣе, съ нѣкими, про себя, примѣрками, соображеніями и, вѣрно, по своему истолковывая мою дѣловую хмурость, съ каждымъ днемъ все усугублялъ разницу въ отношеніи своемъ ко мнѣ и къ Матвѣюку: Матвѣюка угнеталъ, меня похваливалъ. И вышло такъ, что назрѣвшее наше съ хохликомъ пріятельство захирѣло; не вышло даже союза: Матвѣюкъ полагалъ, что я къ Пафнутію подлизываюсь и, чего добраго, перехвачу какой-нибудь лакомый, отбитый у уніатовъ приходъ — и глядѣлъ въ оба, хитрющій, суетливый, досадно недовѣрчивый, какъ воробей. И, кто знаетъ, гдѣ-то, съ какой-то стороны онъ былъ правъ: я и на самомъ дѣлѣ льнулъ (хотя тутъ же и опасался его) къ Пафнутію, только въ иномъ, не въ топорномъ, Матвѣюковскомъ пониманіи, но въ смыслѣ болѣе туманномъ, и ужъ, конечно, безъ всякихъ поползновеній на безмятежное поповство.

И игра, такъ неосторожно, такъ безоглядно начатая въ Прагѣ, продолжалась; порою, въ минуты грустнаго, страшнаго, нагого раздумья, я брался за голову, и смутный гулъ ошибокъ и не такой ужъ далекой разоблачительной погони густѣлъ, сокрушительно приближался, и расплату можно было оттянуть только продолжая игру: такъ зарвавшійся, ужъ безъ гроша въ карманѣ, картежникъ идетъ ва-банкъ, и увѣсистая, вороненая мысль о револьверѣ чернѣетъ сквозь кисейныя мысли о возможной удачѣ, которая покроетъ все: и прошлыя ошибки и нечестность. О револьверѣ, впрочемъ, подумалъ я только разъ, больше для острастки: завершить игру пулей у меня никогда бы не хватило послѣдняго, самаго главнаго волоска рѣшительности, — палить, и очень эффектно, я умѣлъ только въ одноактной пьесѣ «Герой Кавказа»; но вотъ одно

только воспоминаніе объ этомъ «Героѣ Кавказа» (Шамиль — Кириуша, я — джигитъ, Настенька — прекрасная черкешенка) и разверзающіяся отъ него видѣнія желѣзнодорожныхъ путешествій, гостиницъ, фиксовъ, релетицій, актерской грызни, общежитій, каховцевъ и прочаго такого неизбѣжнаго, въ случаѣ пораженія тутъ, въ скитѣ, повергали меня въ изступленное отчаяніе. «Нѣтъ, нѣтъ», — вопилъ я про себя и, багровѣя, дрожа щеками, въ мертвую затягивалъ, завинчивалъ нужныя гайки. «До конца, до конца». Но все было непрочно, ахъ какъ непрочно, шатко, неясно, — и былъ на свѣтѣ только одинъ человѣкъ, который могъ бы во время все подхватить, утвердить — Пафнутій. И Пафнутій, принявъ наконецъ меня всерьезъ — и было это для меня не то опасно, не то спасительно, я и самъ не зналъ еще — ужъ не говорилъ больше о моемъ душевномъ разладѣ, и втайнѣ, восхищая и ужасая меня своей летучей понятливостью, словно нехотя, мимоходомъ, между дѣломъ намѣчалъ убѣжища, гдѣ надлежало мнѣ укрыться въ случаѣ душевныхъ непогодъ — дьявольскихъ искушеній: уныніемъ или чѣмъ нибудь инымъ. При этомъ, также мимоходомъ, онъ накадилъ, наклубилъ нашей встрѣчѣ съ нимъ на площадкѣ въ «Земгорѣ» — перстъ Божій, указанье свыше; и не успѣлъ я неуютную эту встрѣчу пріять — она, какъ облатка, тошно мыкалась у горла, не глоталась — Пафнутій тутъ же, не мѣшкая, съ хвостатымъ кулакомъ у подбородка, косясь, рассказалъ мнѣ исторію объ одномъ безумномъ юношѣ по имени Маркъ и о мудромъ старцѣ Амфилохія — пошелъ напрямикъ.

Разсказъ былъ простъ и благолѣпенъ — обычный разсказъ изъ Житій Святыхъ, которыми такъ неумѣренно напихивалъ меня Пафнутій вполслѣдствіи, когда я ужъ ходилъ въ послушническомъ подрясникѣ, очень сценически, совсѣмъ какъ въ «Вечернемъ Звонѣ»; обросъ рыжеватой

бородой и своровалъ у старика манеру кланяться въ поясъ, уютно подшмыгиваться и козырять монашескими и хохлацкими словечками. До всего этого я докатился за какойнибудь мѣсяць; а началось мое обращеніе съ разсказа — прозрачнаго приглашенія послѣдовать примѣру благоразумнаго юноши; себя же Пафнутій предлагалъ въ спасительные водители. Коряво, но точно, сведя въ повѣствованіи концы съ концами (юноша принялъ монашество, а старецъ, наказавъ юношѣ продолжать дѣло любви и спасенія, сложилъ на груди безгрѣшныя руки и съ миромъ отошелъ ко Господу), Пафнутій отпустилъ выжатую за время разсказа бороду, взялся за поясицу и, загребая сапожищами, удалился къ себѣ за фонтаны: читать вечернія правила. Я же долго сидѣлъ на корточкахъ подъ машинной осью, гдѣ ужъ давно всѣ гайки были накрѣпко завинчены, и, вращая туда-сюда валикъ французскаго ключа (ключъ отъ этого зѣвалъ), неясно думалъ, прикидывалъ къ себѣ обликъ кающагося, благоразумнаго юноши, — и какъ будто бы и получалось что-то. Но все было такъ путано, вязко, неясно, все зыбилось, зыбилось, и я, такъ и не надумавъ ничего путнаго, глядя на ключъ, зѣвнулъ и самъ, и пошелъ спать.

Помнится, на другое утро, на свѣжую голову, ночной разговоръ предсталъ у меня въ памяти, какъ опасная, непристойная и не безъ страшка нелѣпица, и я, твердо порѣшивъ не вводить больше старика во искушеніе, дня три избѣгалъ говорить съ нимъ о чемъ-либо, кромѣ какъ о работѣ — настороженно сулился; молчалъ и Пафнутій. Ощущеніе прорыва и зіянія въ нашихъ отношеніяхъ заполнили два событія: одно мелкое, развлекательное — появленіе въ скитѣ русскихъ бродягъ перекасти-поле, Сережи и Вани; другое крупное и дурное — измѣна отца Карпа. Сережа, бывший офицеръ, и вѣрный его слуга, другъ и сопутникъ, томясь бѣженскою неуживчивостью, неизвѣстно зачѣмъ, пробирались изъ Финляндіи въ Африку; въ дорогѣ, поизмотавшись, поистратившись и узнавъ

про Пафнутія, они рѣшили, буде имъ то позволятъ, зазимовать у него въ скитѣ, — они пришли вечеромъ, оба въ англійскихъ шинеляхъ, съ палками, съ сумками, банно малиновые, одичавшіе отъ ненастья, и Ваня, приземистый, безбородый, жирный, подгибая ноги для смиренія и несчастности, сказалъ голосомъ гурюна: «Ваша преосвященства, помагитя бѣднымъ русачкамъ»... Сережа офицерски сдержанно наклонилъ голову. И ихъ оставили: люди были нужны; Сережу Пафнутій опредѣлилъ въ наборщики, Ваню въ повара. Ваня, не мѣшкая, пылая услужить, мигомъ сварила крутой солдатскій кандеръ; Пафнутій, отужинавъ, похвалилъ Ваню и ушелъ писать письма. Сережа выбрился, вынулъ изъ мѣшка мандолину и, заломивъ брови и вобравъ вовнутрь ротъ, зазвенѣлъ, вѣрно любимое: «Накиннувь плаццъ, съ гитарой подь полою...» Изъ-за перегородки неспѣша вышелъ Пафнутій, заложилъ назадъ руки, закинулъ голову, закрылъ глаза — слушалъ; когда же Сережа кончилъ играть, и, облегчаясь отъ музыкальнаго средоточія, покашлялъ, старикъ взялъ у него мандолину и, постукавъ пальцемъ по ея лакированному зубу, сказалъ гундосо: «Ман-да-лина, и названіе даже неприличное...» — и унесъ ее къ себѣ за перегородку. Сережа нахмурился; къ нему бочкомъ подсѣлъ, подлипъ Матвѣюкъ, и, выдирая изъ кулака пальцы, зашепталъ, что жрать нечего — разъ, дровъ нѣтъ — два, и такъ далѣе: до пяти. Мандолина же такъ и осталась у Пафнутія.

И поскольку это первое событіе никакъ, собственно, не сказалося на моей судьбѣ, настолько второе — измѣна Карпа — или, вѣрнѣе, водоворотъ обстоятельствъ, которыя эта измѣна породила, по роковому притянули меня къ Пафнутію, ужъ окончательно сблизили съ нимъ. Случилось такъ: обиженный Пафнутіемъ и во время соблазненный уніатами, отецъ Карпъ начисто сбрилъ бороду, всенародно каялся въ схизмѣ и читалъ символъ вѣры по уніатски — обо всемъ этомъ донесъ Пафнутію псаломщикъ Лычко, который не подался-таки на уговоры Карпа,

хотя тотъ, пьяный, веселый и отчаянный и безбородый, и искушалъ его: «Саш-ша, пойми, намъ надо жить!» Лычко выпрыгнулъ въ окно, растерялъ калоши и едва спасся отъ избіенія: за нимъ гнались торжествующіе, злые уніаты и пьяный Карпъ. За переходъ въ Унію Карпу будто бы заплатили тысячу кронъ. Деньги Лычко видалъ своими глазами: бахвалясь и соблазняя, Карпъ помахивалъ кредитками передъ его носомъ. «Сотруднички, сотруднички», — сжимая кулаки, трясся Пафнутій.

Признаться, исторія съ отцомъ Карпомъ вначалѣ развеселила меня немало; такъ потѣшало меня въ черныя минуты откровенности (пока еще трусоватой, неполной, не отъ начала и не до конца) вообще все вздорное, развѣдающее въру въ обстоятельность затѣи Пафнутія со скитомъ: вѣдь въ случаѣ крушенія этой затѣи, само собою и безъ моей вины пресѣклась бы и моя, уточненная намереніи душе-спасительнымъ рассказомъ, тяжкая дорога. Теперь же, пока еще не поздно, все могло бы кончиться, какъ съ «Голубымъ Козодоемъ», относительно безболѣзненно: легкимъ скандаломъ и прощальными фотографіями. Но когда дѣло доходило до прощальныхъ фотографій, и передо мною, всегда въ одинаковой послѣдовательности, все густѣя и мрачнѣя, раскидывалась колода воспоминаній о халтурахъ, мытарствахъ, общежитіяхъ, я шарахался назадъ и опять, и ужасаясь и на что-то надѣясь, опять лънулъ къ Пафнутію: двѣяться мнѣ было больше некуда; и, можетъ быть, поэтому съ какою-то даже отчаянной то-ропливостью, презрѣвъ въ себѣ зубоскала, я и предложилъ сопутствовать архимандриту въ село, гдѣ буйствовалъ грѣшный, бунтующій Карпъ: оттуда къ намъ ночью пришелъ ходокъ: сбитые съ толку обращеніемъ Карпа, мужики звали, требовали къ себѣ Пафнутія. Но было подозрѣніе, что ходокъ, отчаянный забулдыга, нарочито посланъ уніатами: они ужъ давно собирались безпокойнаго чужака и схизматика поколотить. Отъ мужика несло водкой; туманясь и мѣя въ теплѣ, онъ стучалъ палкой

и требовалъ идти немедленно; Матвѣюкъ нѣжно уговаривалъ его погодить. Пафнутій, кряхтя, охая, собирался за перегородкой: идти спросонокъ на муку и ему было не охота.

Съ забулдыгой пошли Пафнутій и я; прочіе, съ вялой заботливостью постращавъ насъ вражеской засадой въ лѣсу, остались дома. И точно: поколотить могли насъ очень легко; и я, слегка потрухивая дорогой, неувѣренно прикидывался то хмурымъ храбрецомъ, то незыблемымъ религіозникомъ, готовымъ, пожалуй, даже и къ мученичеству (правда, не очень ужъ тяжелому), но потомъ, такъ и не довершивъ въ себѣ ни храбреца, ни религіозника, просто и не безъ стыда просилъ Бога о томъ, чтобы все обошлось благополучно. И все обошлось благополучно: никакой засады въ лѣсу не оказалось — было тамъ кладбищенски тихо, объято все голубой, каменной стужей; въ ужасающе лѣдномъ, просторномъ небѣ надъ ватными деревьями стыла крупная луна, синѣлъ сухой, писклявый снѣгъ, и легконогій забулдыга, играючи кроткимъ, послѣднимъ отъ луннаго великолѣпія фонаремъ, въ какіе нибудь полчаса напрямикъ провелъ насъ черезъ гору къ селу, и на околицѣ мертвенно голубѣло мохнатое лѣшачье колесо мельницы и горбился черезъ слюдяную, загогулинами рѣчку милый, пушистый мостикъ. Никакого подвоха не было и съ мужиками: они и на самомъ дѣлѣ ждали Пафнутія въ старостиной хатѣ, и Пафнутій, похавъ въ лиловые пальцы, фукнувъ въ платокъ, проворно разодралъ гребешкомъ бороду и заговорилъ о томъ, что нужно постоять за вѣру истинную; мужики галдѣли: постоимъ-де. Разошлись поздно.

А утромъ, для окончательнаго взбодренія растерянныхъ и малодушныхъ, Пафнутій тутъ же, въ старостиной хатѣ, служилъ утреню, и мужики, бабы и дѣвки по-католически, съ молитвенниками въ рукахъ, диковато, чудно, рѣзко и согласно выпѣвали какіе полагается тропари и кондаки; псаломщикъ, истязая ударенія, бухающимъ на

красныхъ строкахъ голосомъ, частиль похожее на то, что читаль въ скитѣ Матвѣюкъ, — только весьма обезображенное. Во время службы изъ настоящей церкви нѣсколько разъ звонили: это, одинокій, похмѣльный Карпъ призываль своихъ сторонниковъ; къ нему, однако, никто не шель. Смѣшливые бѣсы поднимали во мнѣ невозможную возню (конкурирующій звонъ что-нибудь да стоиль!), но я, хмурясь, разглядывая одинаковыя, въ клѣтчатыхъ морщинахъ, шеи мужиковъ, отгоняль искушеніе и, то сбиваясь, то опять налаживая скольженіе нужныхъ мыслей, думаль о томъ, что и древнее лѣніе это и бѣдные домотканые штаны и свитки мужиковъ, убогая утренняя — просты, трогательны, почти и воистину изъ шестнадцатаго вѣка.

До настоящей же теплыни моя симпатія къ мужикамъ подошла за завтракомъ, послѣ второй рюмки палюнки; отъ смѣшливыхъ бѣсовъ не осталось и слѣда — сгнули; закусивъ нѣмѣющую губу, смутно и широко расплываясь въ мечтахъ о служеніи этому бѣдному и чудесному народу, я слушалъ мужицкіе разговоры, и дальнѣйшая жизнь моя складывалась безъ сучка, безъ задоринки, и похеренный было монастырекъ — твердыня православія — возставъ, какъ ни въ чемъ не бывало, печаталь книги, разливался въ вечернемъ звонѣ, и я широкимъ и благодетельнымъ жестомъ прозрачной святительской руки благословляль закатныя долины, горы, — прелестный, кроткій и убогій Старый Край. Все закруглялось, подбиралось съ чудесной ладностью, и только одно нѣсколько затмило погожее мое настроеніе: когда мы съ Пафнутіемъ шли домой, возлѣ моста насъ встрѣтилъ невозможный господинъ въ шубѣ, новенькомъ котелкѣ, лицомъ биллиардный маркеръ; уперевъ въ задъ трость, сверкая калошами, онъ драль голову кверху, норовя казаться великолѣпнымъ и побѣдительнымъ: онъ былъ тяжело пьянъ. Это былъ отецъ Карпъ. Онъ долго и невнятно, все перемявъ, перепутавъ во рту, ругался намъ вслѣдъ и грозилъ блистающей на солнцѣ, какъ сабля, тростью. Пафнутій плевался, крестился.

Дальнѣйшее же слѣдовало съ роковой, скользящей гладкостью и стремительностью: Пафнутіи, учуявъ мою податливость, еще основательнѣе углубилъ между въ отношеніяхъ ко мнѣ, будущему иноку, и къ остальнымъ обитателямъ скита — людямъ случайнымъ, залетнымъ; я съ этимъ молчаливо согласился и, ловко хватаясь за все, что попадалось по пути, ободренный послѣдней находкой — служить страждущему народу — ужъ безъ оглядки, со скомканнымъ, засунутымъ подальше отчаяніемъ, какъ могъ, поспѣшалъ за старикомъ. И послѣ этого глупо было бы отказаться отъ подрясника, который очень искусно и твердо онъ мнѣ подарилъ; не къ чему было и бриться: «отпустивши бороду, по головѣ не плачутъ», — невесело и не очень то остроумно поиздѣвались увядающіе во мнѣ голодные бѣсы. Кромѣ того, переменна внѣшняго облика какъ бы завершала и охраняла внутреннюю мою настроенность, — психологическую силу грима я почиталъ еще со сцены. И вотъ, потаенно наслаждаясь новизной, я надѣлъ подрясникъ и отпустилъ бороду, и она, подросши, святорусской повадкой своею напомнила прежнюю мою бородушку изъ «Вечерняго Звона» — это не безъ смущенія и не безъ опаски подглядѣлъ я однажды въ зеркалъ. Но такъ или иначе, всѣми правдами и неправдами, бытіе брата Андрея — это я — утверждалось, и я ужъ не говорилъ «спасибо», но «спаси Христось»; кланялся въ поясъ — чудесно, если въ это время похрустывало въ поясницѣ: было въ этомъ что-то благочестиво старческое, Пафнутіево; строго заказалъ себѣ во время службъ касаться еще гимназической мыслишки, неразлучной и нетерпѣливой сопутницы всѣхъ богослуженій: «скоро ли конецъ» и унылой спиной припадать къ стѣнкамъ — стоялъ ровно, смиренно, пристойно, надѣвъ на лицо каменное Пафнутіево обличье. Всего этого, новаго и занимательнаго, съ лихвою хватало на мѣсяць; когда же и подрясникъ, и борода, и поклоны, и окаменѣлость попривыкли ко мнѣ, сжились со мной, растворились во мнѣ, а бѣсы,

приободрясь (о бѣсахъ, кстати сказать, предусмотрительный Пафнуцій говорилъ мнѣ съ самаго начала, и я разомъ и легко увѣровалъ въ нихъ, зналъ ихъ наперечетъ, этихъ своихъ искусовыхъ бѣсовъ), нѣтъ-нѣтъ, да и лѣзли куда не надо, я во время ринулся въ работу по сочиненію обличительныхъ, противъ уніатовъ, летучекъ (плоскій и плотскій уродецъ мечтаній о папирусахъ). Однако, особенной святой ярости къ недоувѣркамъ у меня не было; вскорѣ летучки начали мнѣ надоѣдать, и я загодя, напередъ, ужъ приглядывалъ себѣ дѣло позанимательнѣе, и ужъ нашель его, и ужъ соображалъ, какъ бы поухватистѣе и повкуснѣе облапить его. Прочитавъ намеренныя записки какого-то афонскаго старца, я и самъ порѣшилъ вести дневникъ и даже придумалъ заголовокъ для него: «Дорога мытаря» — звучало хорошо: впору.

Вполнѣ и до конца я не зналъ, почему потянуло меня къ писанію дневника, — было тутъ, конечно, первичное, самое простое желаніе вообще еще чѣмъ нибудь послѣ бороды, рясы, экклезіастическихъ размышленій заняться; была мимолетная, жалкая въ своемъ худосочномъ апломбѣ мысль объ историчности и значительности скита «Всѣхъ скорбящихъ радость», и было, наконецъ, самое главное, что само собою обнажилось впоследствии — желаніе во что бы то ни стало усыпить и похерить давнее, непонятное безпокойство и ужъ окончательно, протокольно зрительно, на бумагѣ, утвердить благополучный конецъ своихъ колебаній — благополучное, такъ сказать, прибытіе въ жизнь новую. Конечно, вся затѣя эта закончилась страшнымъ душевнымъ погромомъ; и дивлюсь только, какъ могъ я надѣяться и быть даже увѣреннымъ въ благопріятномъ исходѣ ея. Впрочемъ, говоря съ послѣдней честностью, я и самъ не знаю, чего я собственно хотѣлъ, чего добивался: можетъ быть, гдѣ то ужъ въ совѣмъ недоступныхъ мнѣ тайникахъ жуликоватой, несчастной и извилистой души моей, тамъ, съ жаркимъ нетерпѣніемъ и ожидался этотъ позорный конецъ, такъ или иначе осво-

бождавшій меня отъ жизни не по плечу. Не знаю, ничего не знаю...

Внѣшнѣе же, принимаясь за писаніе, я былъ ясенъ, благолѣпно несокрушимъ — именно такимъ яснымъ и несокрушимымъ и полагалось быть вполнѣ' завершенному иноку, въ прошломъ своемъ великому грѣшнику, а вотъ сейчасъ, тутъ, у стола, передъ окномъ съ зимнимъ пейзажемъ, смиренному, умудренному долгой борьбой съ искушеніями черноризцу.

Во всю — почти ужъ съ привычной безсовѣстностью составителя бранныхъ реляцій — раздувая въ себѣ, въ мудромъ черноризцѣ, хмѣль побѣды надъ повергнутыми во прахъ дьявольскими кознями, и въ то же время какой-то тыловой частью своего существа предчувствуя послѣднее, предгибельное смятеніе, и, елико возможно, заглушая его побѣднымъ гомономъ, я въ тотъ же вечеръ, подъ горячую якобы руку, набросалъ, закрѣпилъ на бумагѣ планъ «Дороги мытаря», — и получалось такъ: чистому младенцу черезъ двѣ, три страницы въ стилѣ «счастливая, невозвратная», съ описаніями русской природы, полагалось превратиться въ отрока велосипедиста со ржавчинкой грѣха; на слѣдующихъ десяти, примѣрно, страницахъ герой долженъ былъ возрасти до ломкаго баса и дурныхъ прыщей и охотно поддаться соотвѣтствующимъ своему возрасту порокамъ (гангрена грѣха): невѣрію и блуду съ многострадальной горничной; засимъ, загодя и со смысломъ предопредѣленный авторомъ къ передрягамъ гражданской войны, онъ (тутъ по хитрѣйшему плану его полагалось помѣтить надъ носомъ горестной морщинкой — зрительнымъ слѣдомъ переживаній) болѣе или менѣе благополучно уносилъ свои ноги за границу и превращался тамъ въ халтурнаго актера — все это, впрочемъ, только предшествовало самому главному: истинному и всерьезъ возрожденію юноши, вѣрнѣе, уже не юноши, но забуддыги среднихъ лѣтъ: время то вѣдь шло и шло. Дальнѣйшее же въ повѣсти было бы благочестивымъ отраженіемъ разсказа изъ Житій Свя-

тыхъ: о честномъ инокъ и старцѣ Амфилохіи. Все, словомъ, было готово; оставалось только, помолясь и чисто-плотно стежками («охо-хо-хо, Господи») передохнувъ, приняться за писаніе, но тутъ меня прервали: препираясь, въ комнату входили Пафнугій и Матвѣюкъ, и Пафнугій обличалъ Матвѣюка въ нерадѣніи, а Матвѣюкъ вилялъ незримымъ хвостомъ и путано и задушевно оправдывался; за ними слѣдовалъ бровастый, ледяной Сережа. Я мигомъ собралъ исписанныя бумажки («днэвнычекъ пышйтэ», — сочувствующе, въ скобкахъ, примѣтилъ, слюбезничалъ Пафнугій) и горя стыдомъ пойманнаго съ личнымъ прелюбодѣя, ничего толкомъ, даже пальцевъ, не разбирая, принялся зажигать свѣчи: пора было служить вечерню. И Пафнугій, добывая извивающагося Матвѣюка, поносилъ его еще нѣкоторое время, а затѣмъ, грустно шмякнувъ по нему «дуракомъ» — добивъ его, просунулъ головой въ епитрахиль, вздохнулъ, выдралъ наружу изъ полукруглаго вырѣза одѣянія бороду, троекратно съ хрустомъ окунулъ передъ иконой и возгласилъ ровнымъ, уставнымъ голосомъ: «Благословень Богъ нашъ всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ...» — «Аминь», — смаху закрылъ іерейскій возгласъ Матвѣюкъ, залисталъ, заворошилъ разомъ три книги и зачистилъ съ перехватами: «Придите, поклонимся цареви нашему Богу», ухитряясь при этомъ не только шмыгать глазами по страницамъ, но и подслюнивать о губу бойкій свой перстъ.

И служба разгоралась: Пафнугій, когда было надо, точно и неукоснительно подавалъ свое, Матвѣюкъ ловко, налету подхватывалъ вызовъ и чистилъ, разсыпалъ тексты изъ всѣхъ трехъ книгъ поочередно; и такъ все перекликались и перекликались они, удалясь отъ знакомаго мнѣ начала въ глухія и узорныя дебри древняго обряда, и я, и самъ этого не замѣчая, подплывалъ невнимательностью, скукой, терялъ ощущеніе бороды и подрясника, и вскорѣ ужъ совѣмъ, окутавшись туманностью, мысленно прищурясь, пробѣгалъ еще ненаписанныя страницы

дневника, прикидывая къ нимъ концы съ убѣдительною моралью, которую полагалось, по замыслу моему, противопоставить отчаянію отрицательной — мытарской — части сочиненія. Выходило, однако, неясно.

Вечерня была великопостная, неумѣренно разбухшая отъ вставныхъ чтеній и пѣснопѣній, и такая запутанная, что терялся даже и дошлый Матвѣюкъ: и онъ, случалось, заплутавъ въ какойнибудь Трїоди или Миней, въ отчаяніи, съ раззявленнымъ до бровей глупымъ пѣвческимъ ртомъ, запѣвалъ не то, что надо — лишь бы юркнуть куданибудь; но тогда Пафнутій, вспугивая по пути и меня, рѣзко ловилъ, хваталъ его и подталкивалъ къ нужному тропарию или кондаку, и Матвѣюкъ мученически, въ одиночку истекалъ своимъ теноромъ: Сережа (басъ) и я (баритонъ) малодушно оставляли его — терялись; и кхекались, трепыхался, изрыгалъ въ кулакъ хохотки рыхлый и смѣшливый Ваня. И получалось нехорошо — вонистину искушеніе; кромѣ того, нарушеніе дремотной плавности богослуженія мѣшало думать. И когда, наконецъ, Матвѣюкъ, оправившись, опять бойко закатывался на верхахъ осьмигласныхъ распѣвовъ, выдохотавшись, замиралъ Ваня, усаживался съ бороною въ кулакъ на стульчикъ возлѣ престола Пафнутій; когда все, словомъ, какъ-то утихомиривалось, я опять осторожно отодвигался, уходилъ изъ этого шумнаго, досаднаго вечера, и все искалъ, вызывалъ въ себѣ нѣкую мощную и благостную силу послѣдняго прозрѣнія, всепоясняющаго, всеоправдывающаго.

Но, какъ на зло, вечеръ выдался какой-то дикій: послѣ долгой, то и дѣло разваливающейся на коварныхъ кондакахъ службы былъ скудный — картошка безъ масла — постнической ужинъ, и Пафнутій, въ тоскѣ, оттого что все шло такъ неблаголѣпно, припомнилъ вдругъ Матвѣюку всѣ его провинности, опять бранилъ его и, распался, не доужинавъ, отпихнулся отъ стола и съ подняты-

ми руками — «о сотруднички, о сотруднички...» — убѣжалъ въ типографію; Матвѣюкъ, исподлобья выглядывая сочувствіе, подбоченился, завертѣлъ головой и посмѣялся и такъ и эдакъ: и добродушно, и со злостью: онъ былъ остороженъ. Но Сережа, укрѣпляя его, подстрекая къ мести, сказалъ: «Старикъ хамитъ», и Матвѣюкъ, разсердившись, и блаженно душою перекинувшись въ дивное прошлое, когда онъ былъ какимъ-то революціоннымъ делегатомъ, заявилъ: «Предлагаю коллективно обсудить создавшееся положеніе...» — и тутъ же, съ мгновеннымъ, чистымъ и дурацкимъ вдохновеніемъ, предложилъ семь договорныхъ пунктовъ, которые архимандритъ долженъ былъ подписать, и пунктомъ первымъ было требованіе объ уваженіи къ личности, а послѣднимъ — возвращеніе Сережиной мандолины. Подъ требованіями подписались Матвѣюкъ, Сережа и Ваня; я, морщась, прочиталъ бумажку и молча ушелъ въ типографію, — тамъ стихавшій, грустный Пафнутій поклевывалъ пальцами изъ наборныхъ ящиковъ буквы, набиралъ воззваніе къ американскимъ эмигрантамъ изъ Стараго Края: дѣла у насъ были неважные. И впервые за все это время Пафнутій, и самъ поуставъ и пообмякнувъ, ничего не говорилъ мнѣ ни объ искушеніяхъ, ни о мудромъ старцѣ Амфилохіи — вздыхалъ, покашливалъ, помалкивалъ; и тутъ впервые примѣтилъ я его тѣлесную немощность, почти отроческую хрупкость плечей, груди, и еще что-то выжидательное и немного изумленное, что бываетъ въ обликѣ очень уставшихъ или долго и тяжело больныхъ людей. Чудесно, какъ то вкось, ухмыляясь, стыдясь, онъ, вѣрно въ благодарность за то, что я пришелъ къ нему, неспѣша, рассказалъ мнѣ о томъ, что отецъ его, сельскій попъ, — и упоминаніе объ отцѣ, почти невообразимомъ у старика монаха, тоже было чудесно и трогательно — не признавалъ никакихъ докторовъ, а лечился черной рѣдкой и молитвой. «Вмѣрь же винъ чи въ 12, чи въ 13 году...» — вздыхалъ, тянулъ онъ, смакуя хвостъ воспоминанія, и вдругъ началъ

поднимать брови, настораживаясь, забывая про рассказъ: въ комнату одинъ за другимъ, гуськомъ, входили Матвѣюкъ, Сережа и, позади всѣхъ, Ваня. Въ рукахъ у Матвѣюка бѣлѣлъ листокъ; поклонившись, онъ подалъ его Пафнутію и важно вышла; за нимъ вышли Сережа и Ваня, котораго ужъ поколыхивало зачаточнымъ, утробнымъ хохотомъ.

...И, какъ и слѣдовало ожидать, ничего путнаго изъ поданной бумажки не вышло; все обернулось еще глупѣе и постыдиѣе, чѣмъ я ожидалъ: прочитавъ бумажку, Пафнутій безъ воплей, молча — ему вѣрно захлестнуло горло — съ грохотомъ истопталъ ее ногами, такъ же молча одѣлся, схватилъ палку и былъ таковъ; не было его ночью, не было и на другой день и на третій. Потомъ Матвѣюкъ дознался, что старикъ перебрался къ старостѣ и отъ огорченія заболѣлъ. Скитъ остался безъ призора, и искусно и плотно нагруженный работой и скрѣпленный расписаніемъ на стѣнѣ трудовой день сразу же потерялъ плавность свою и емкость: отвалились богослужебные начало и конецъ, ибо служить было некому; обмельчала съ четырехъ часовъ до двухъ предобѣденная работа въ типографіи: Матвѣюкъ бѣгалъ къ своей невѣстѣ, которую онъ тутъ, соблазняя великолѣпіемъ будущей поповской жизни, нашель; Сережа подолгу писалъ какія-то письма; вечеромъ же, разрыхлясь отъ вольныхъ разговоровъ, и вовсе ничего не дѣлали. Пафнутій не показывался; его поругивали. Скитъ былъ наканунѣ гибели. До смерти боясь и самъ заразиться удалой бездумностью, съ которой, подбоченясь, бахвалясь, не безъ тайной, однако, тревоги, плыли въ неизвѣстность и Матвѣюкъ и Сережа и Ваня, я одинъ кос-какъ еще что-то набиралъ, волновался и ходилъ къ Пафнутію, — уговаривалъ его вернуться; но Пафнутій возвращаться не желалъ: бѣлѣя ноздрями, едва дыша, онъ говорилъ: «Василью передайте, шобъ и глаза мои его больше не видали...», — и, устрашая меня, предрекать скорую свою кончину. Вздохнувъ, я уходилъ ни съ

чѣмъ; и на улицѣ отъ угрюмыхъ мужицкихъ взглядовъ меня пробирало испариной и было совѣстно своей нечистоплотности на воздухѣ волосатымъ зудомъ зудящей бороды и ужаснаго сочетанія подрясника, клѣтчатого пальто и артистической широкополой шляпы. Намедни припекло солнце, осѣлъ къ землѣ, позернистѣлъ, полипчалъ снѣгъ; вытянулись, заблестали, источая по каплямъ ледяныя слезы, сосульки на карнизахъ, и теплой, парной мутью завело просторы надъ огородами и видъ изъ окна — крыши, трубы, желѣзный мостъ; и послѣ парной, солнечной благодати въ типографіи было сумрачно, воняло тусклой прѣсностью машиннаго масла и краски, тлѣніемъ бумажныхъ тюковъ; кое-гдѣ поблескивали еще острые запашки ладана; и не было, ничего не было такого, что бы располагало изъ самой душеньки передохнуть и, омочивъ перо въ чернильницу, ударяя про себя на «о», благолѣбно начертать: «Господи, благослови во святой часъ», — и затѣмъ: «Я, недостойный послушникъ Андрей, родился», и такъ далѣе и такъ далѣе. Отложивъ неплодное перо, я томился неопредѣленностью, сочинительскимъ голодомъ; впрочемъ, голодъ былъ не только сочинительскій, — ѣсть хотѣлось и повсамдѣлишному: безъ архимандрита, а, можетъ быть, и по его приказу, намъ перестали отпускать въ долгъ въ кооперативъ; прекратились — и тоже, вѣрно, съ вѣдома архимандрита — и доброхотныя мужицкія подавнїя. Бунтовщики только поплевывали да головами поматывали; Пафнутій же все не возвращался — выжидалъ чего то. Работа совсѣмъ стала; уніаты изъ-подъ полы распускали разные слухи, и прїѣзжалъ Карпъ — уговаривалъ переметнуться къ уніатамъ, и Матвѣюкъ можетъ быть и переметнулся бы, но побаивался за свое образованіе: со свидѣтельствомъ учительской семинаріи уніаты въ попы, кажется, не посвящали. Карпъ, бодро пообщавъ со свидѣтельствомъ уладить, угостилъ братію водкой и укатилъ, задирая въ саняхъ бритую маркерскую рожу: на зло и напоказъ мужикамъ. Вѣстей отъ него больше не было;

Матвѣюкъ молчалъ, взбадривалъ щеточкой ежикъ; Сережа съ горя выкралъ изъ-подъ Пафнутіевой койки мандолину, и по вечерамъ къ нему приходили парубки съ палюнкой — слушать музыку; Ваня спутался со стряпухой изъ чиновничьей столовой. Все шло вкривь, вкось, ужасно; я по два раза въ день бѣгалъ къ Пафнутію, и у меня отъ тоски, недоѣданія, весенней густой теплыни — ужъ втягивало съ причмокиваніемъ, взасось сапоги на талыхъ мѣстахъ и, горбясь на камняхъ, сверкали, жужжали оловянные ручки — слабѣло, холодѣло въ поджилкахъ, болѣло въ паху и страшно было глядѣть на свои слабыя, восковыя въ зеленыхъ жилахъ руки.

Потомъ, давъ дозрѣть безобразію до полного цвѣтенія, вернулся въ скитъ Пафнутій, вернулся нарочито неожиданно: еще намедни онъ охалъ, немощно пошлепывалъ губами, говорилъ о скорой своей кончинѣ, — и теперь, ужъ не охая и не упоминая о кончинѣ, жесткой рукой навелъ порядокъ: Матвѣюку, какъ зачинщику и главному смутьяну, было наказано бить по триста поклоновъ ежевечерне, до самой Пасхи, и Матвѣюкъ каялся и билъ поклоны; у Сережи олять была отобрана мандолина; Ванѣ за прелюбодѣяніе тоже полагались поклоны. Расхлябанный день опять закрѣпился, втянулся въ сѣтчатую рубрику расписанія; но было теперь не до работы: какъ заведено, — повадилъ было мокрый снѣгъ, потомъ, конечно, сбился, спутался, обернулся студенымъ, въ клѣточку, дождемъ — наступила страстная седмица, и службы съ черной, кагафалочной медлительностью тинулись съ утра до вечера: для окончательнаго усмиренія братіи Пафнутій повелѣлъ служить ужъ по какому-то особливо строгому монастырскому уставу, и кадилъ, пѣлъ и читалъ съ аввакумовской, неумной истовостью. На взглядъ, словомъ, все какъ будто бы уладилось: благорѣпія наплыло хоть отбавляй, — лучшей поры для писанія «Дороги Мы-

таря» и придумать было нельзя; но вышло иное: неожиданно, мгновенно, неодолимо проняло меня вдруг такую вязкой и долгой скукой, что я только сморщился, зѣвнул и руками развелъ — такъ, оказывается, надоѣла мнѣ вся эта канитель и со скитомъ, и со службами и мука съ моими каучуковыми искушеніями, которыя, какъ я ни сдерживалъ, при первомъ же попущеніи упруго раздавались до истиннаго своего объема. И ничѣмъ, рѣшительно ничѣмъ не отличался я теперешній отъ того долговязаго паренька въ гимназической шинели (по плану повѣсти: юноша въ гангренѣ грѣха), который совершенно такъ же, какъ и я теперешній, съ мутнымъ безчувствіемъ переминался во время такой же великопостной службы. Глядя на взбухающую спину Пафнутія, я думалъ: «ничѣмъ, ничѣмъ не отличаюсь...» И это грустное, мычащее, съ зѣвкомъ, мгновение и было началомъ гибели повѣсти «Дорога Мытаря». И моей гибели.

Передъ тѣмъ, какъ ужъ окончательно ринуться вспять, я все-таки пріостановился, взялся за лобъ, но подумать, уцѣлиться ни за что не успѣлъ (а, можетъ быть, и нарочито проворонилъ), и воспоминанія, губительную силу коихъ я ужъ осозналъ, тронулись, пошли самотекомъ по неосторожно уготованному для повѣсти каналцамъ. Сколь убоги, горестны и непримѣтны были мои дѣтскія чувства къ Богу; а потомъ, когда въ долгоногихъ и узкоплечихъ уродахъ ужъ проступаетъ, костенѣетъ будущій обликъ, въ которомъ имъ (съ нѣкоторыми добавленіями и украшеніями по пути) и надлежитъ пребывать до могилы, — въ юности, совлавшей съ вольными временами революціи, я выступалъ въ гимназій съ докладомъ о сотвореніи міра — бойко, горловымъ голосомъ утверждалъ, что въ Библии написана совершеннѣйшая челуха. А раздѣлавшись, не безъ тайнаго опасенія — а вдругъ влетитъ? — съ Господомъ Богомъ, я вскорѣ и совсѣмъ позабылъ о Немъ, — благо по новому гимназическому распорядку посѣщеніе церкви стало необязательнымъ; въ иное же

время о Немъ не думалось. Впрочемъ, разъ я все-таки вспомнилъ Его — это ужъ на войнѣ, когда на насъ наметомъ, лавой, блистая ворохами шашекъ, съ матерной руганью шли въ атаку буденовцы; но какимъ могучимъ запасомъ безсовѣстности — кривясь, думалъ я — какою изворотливостью надо было обладать, чтобы изъ того столбняковского ужаса, который воистину остолбилъ меня, изъ нутряного воля «Господи, спаси!..» — помаявшись съ перомъ въ рукахъ, выжать заднимъ числомъ, что нибудь такое, что бы соотвѣтствовало въ сочинительскомъ планѣ помѣткѣ «проблески рел. пробужд.» (была, была такая безстыжая помѣтка).

А потомъ, со сквернымъ весельемъ — оно и самому мнѣ было отвратно, это гробокопательское веселье — взвѣсивъ свою эмигрантскую жизнь отъ перваго константиноцольскаго дня и донинѣ, я и въ ней не нашелъ, конечно, ничего такого, что предопредѣляло бы религіозное фортиссимо повѣсти: «проблеск. рел. возрожд.» и тутъ было незамѣтно. И даже послѣднее пражское отчаяніе, которымъ я такъ гордился, даже оно было не очень-то добротнаго качества — просто мелкая тоска средней руки неудачника: такъ же, не хуже меня и съ такимъ же правомъ могъ похандрить Кирюша. Поэтому то я такъ ревниво и хранился отъ него, своего омерзительнаго двойника, въ которомъ извнѣ и ярче проглядывала наша обоюдная, тайная, связующая насъ неясная порочность.

Конечно, ничего, ничегошеньки отъ жажды духовнаго преображенія не было и въ моей встрѣчѣ съ Пафнутіемъ: подвернись мнѣ тогда на площадкѣ какой нибудь предприимчивый русакъ-фермеръ, я бы пылко возлюбилъ безгрѣшное дѣло сельскаго хозяйства; подвернись политическій громохатель, ищущій вѣрнаго секретаря, меня мгновенно бы распроло преданностью и къ нему и къ дѣлу, которому онъ служилъ; кромѣ того, я съ охотой согласился бы сотрудничать въ собачьей санаторіи или рускомъ отдѣлѣ Арміи Спасенія. Короче: я просто очень,

очень усталъ; я пошелъ бы за всякимъ, кто былъ напористѣе, удачливѣе, сильнѣе меня. И только по волѣ случая получилось такъ, что въ тотъ день и въ тотъ часъ по лѣстницѣ шелъ не русакъ фермеръ, — онъ въ это время, можетъ быть, прицѣпился къ плугу на складѣ сельскохозяйственныхъ орудій; не собачій добрякъ докторъ, по всей вѣроятности спѣшно вызванный къ недужному, зажиточному бульдогу; не генераль изъ Арміи Спасенія, увлекшійся, надо полагать, проповѣдью двумъ безработнымъ проституткамъ, — прошелъ бѣглый монахъ. Остальное еще проще: природно жуликоватый, легкій, природный выюнъ (не спроста же, еще съ гимназии, тянуло меня къ страшному и порочному искусству актерства), я миломъ горячо и чистосердечно овладѣлъ кстати подвернувшейся ролью.

...Такъ, казнясь, я добрался, наконецъ, и до пражскихъ походовъ съ Пафнудіемъ, до которыхъ не довелось мнѣ добраться въ первый день приѣзда, — и теперь, добравшись, едва дотронулся до нихъ, все повалилось, расплозлось, рухнуло; отовсюду изъ-подъ обломковъ зіяло жульничество. Чего стоила только сцена съ дракой, гдѣ я съ такимъ успѣхомъ выступалъ, какъ миротворецъ? А дальнѣйшее?

...Похохатывая, я захрустѣлъ пальцами, схватился за голову и тутъ же на бисъ, густо, всплескомъ припомнилъ еще одно: прощаніе съ сожителями передъ отъѣздомъ въ Старый Край. «Прощевайте и молитесь о насъ грѣшныхъ», — съ неожиданной хмурой довѣрчивостью про бурчалъ казакъ, выворачиваясь вдругъ изнанкой, гдѣ таилась такая, казалось, невозможная въ немъ наивность. И я — ахъ, подлець, подлець — не усовѣстившись даже и тутъ, низко, низко поклонился ему: какъ бывало, Пафнудій.

Обо всемъ этомъ думалъ я и во время службъ и послѣ нихъ, на койкѣ, разомлѣвая, оттаивая, околѣнѣвшій

отъ долгаго стоянiя; думалъ ночью, думалъ старательно — отъ событiя къ событiю, норовя похлеще, пожестче разоблачить ихъ, погдумиться надъ ними; и такъ же жарко и настойчиво, какъ еще совсѣмъ намереннiи, убѣждалъ себя — и убѣждался вѣдь! — въ неслучайности встрѣчи съ Пафнутиемъ и въ нѣкой чудесной законности всего происшедшаго послѣ нея, теперь столь же жарко и настойчиво убѣждалъ себя — и убѣждался — въ противномъ. Но чудно: и тогда (что совершенно неудивительно) и теперь (что меня досадно беспокоило) во всѣхъ моихъ самоубѣжденiяхъ (тогда) и самообличенiяхъ (теперь) не хватало какого-то самаго послѣдняго завершающаго рошчерка, послѣдней правды. Этого не было, какъ я ни бился; самое главное, сокрушительное, все не попадалось подъ руку: и я начиналъ злиться, уставать отъ постоянныхъ самоистязанiй — съ тоской выстаивалъ службы, дурно спалъ, изъ-за вздора, дергаясь и едва не плача, поругался съ Матвѣюкомъ и сердито ждалъ Пасхи: конца истязательныхъ службъ. Худой, легкiй, изнуренный постомъ и молитвой Пафнути въ аскетическомъ упоенiи съ четверга и вовсе отказался отъ пищи; братiи же полагался только чай безъ сахара и картофель, и когда Матвѣюкъ, не стерпѣвъ, поддавшись искушенiю, хлопнулъ внизу въ корчмѣ чарку палюнки и закусилъ ее селедкой, Пафнути сразу же непогрѣшимымъ чутьемъ постника, раздувъ ноздри, учуялъ у него изо рта мерзкiй духъ и едва допустилъ къ исповѣди чревоугодника. А исповѣдывалъ онъ долго, твердо, сурово, напирая больше на грѣхи поядренѣ: съ блудомъ и стяжательствомъ, — всякiе иные были для него не столь уже страшны; и я, прикрытый епитрахилью, съ каменной скукой и безчувствiемъ разглядывалъ чудовищные сапоги старика и посапывалъ. Потомъ глядѣть на сапоги надоѣло; невольно проникаясь вниманiемъ къ тому, что съ причмокиванiемъ и воздыханiемъ шилѣлъ онъ мнѣ на ухо (покончивъ съ грѣхами настоящими, онъ ужъ по вольному, простецки говорилъ

о разныхъ разностяхъ) и попустивъ въ себѣ что то, я помягчалъ, легонько передохнулъ, и если бы Пафнугій эдакъ пошипѣлъ еще немного, я, можетъ быть, и доразмякъ бы до очистительной, подобно пражской, откровенности, — единственной, къ слову сказать, чистой страницы моихъ походовъ — и, можетъ быть, послѣднимъ откровеніемъ и потряслась бы темная и углая моя душа. Но Пафнугій бодро и твердо уже постукивалъ, черезъ эпитрахиль, костяшками, — бормоталъ: «Азъ, недостойный іерей...», — и подходилъ къ аналойчику, подгибая ноги, потупивъ долу блудливые, бѣлесые глаза, другой говѣльщикъ — Ваня. Исповѣдь кончилась; на другой день, вяло ужасаясь кощунственному своему равнодушію, я причащался. Потомъ была долгая, съ зябкостью, отъ разберяженнаго сна, пасхальная заутреня.

И какъ всегда въ церкви, ощущая и свою скверность и отщепенство и непричастность къ общему торжеству, я съ тоскою и страхомъ слушалъ древніе напѣвы старокраянъ. (служилась заутреня не въ скитѣ, а въ церкви), часто выходилъ въ ограду, — и было наружи черно, влажно, тихо; пахло землей; на нестрашномъ и убогомъ мужицкомъ кладбищѣ сѣрѣли, если взглядѣться, кресты; горѣла на дальней могилѣ лампадка — и точно: шестнадцатый, темный и глухой вѣкъ былъ вокругъ. И тутъ за все время впервые я съ быстрой и грустной нѣжностью, уколомъ, подумалъ о городѣ, свѣтѣ, уютѣ кофеенъ: можетъ быть, и грѣшной, можетъ быть, и жалкой, но близкой жизни. Но ужъ рѣзко и дико пѣли погребальное «Святый Боже» — терзали ухо силой и безчувствіемъ высокіе голоса бабъ и дѣвокъ; мужики постепеннѣе и побогаче хмуро, какъ передъ боемъ, несли святости, и малиновыя полотнища, пожарно озаренныя свѣчами, плыли надъ толпой; было во всемъ этомъ тревожное, жуткое, чуждое. Обойдя церковь трижды, крестный ходъ сіяющей, огненной головой втянулся въ церковь, запѣли «Христось Воскресе»; прѣхавшій наемни изъ Америки старокраянинъ-

эмигрантъ въ котелкѣ запустилъ ракету: огненная гадючка, пошипывая, искрясь, вскинулась кверху, покнула, обратилась въ синій тюльпанъ и угасла. Началась литургія.

...Послѣ службы Пафнутія посадили въ повозку и увезли къ себѣ мужики изъ сосѣдняго села: повздоривъ со своимъ привередливымъ и стяжательнымъ уніатскимъ попомъ, они не прочь были обзавестись попомъ православнымъ. Попроще и подешевле.

Мы пошли въ скитъ разговляться.

А на утро въ селѣ закружилась, занграла, засвистѣла, заорала, заржала ярмарка: на выгонѣ вздулся полотняный циркъ; возлѣ него, пестро и ярко сверкая зеркалами, клинками ножей, какими-то цѣплями, мучительной пестроты матеріями, навѣшавъ на себя бусь, пряничныхъ сердецъ и свадебныхъ свѣчей, — рядкомъ встали ряды бродячихъ лавокъ; поодаль, подъ переливы и дрынканье органа, которымъ дирижироваль, подагрически встряхивая палочкой, восковой херувимъ въ костюмѣ паж, кружились на оскаленныхъ, алонѣбыхъ деревянныхъ конькахъ ражіе, расписные, какъ на календаряхъ, парни и дѣвки — кружились, гоготали, загребали другъ друга ручищами; ужасно хитрые мужики со скучными лицами прицѣпывались, приглядывались къ разнымъ хозяйственнымъ справамъ; бабы съ невѣстами, коихъ легко было признать по натужливо придурковатымъ лицамъ — грядущая обрядовая торжественность ужъ проступала въ нихъ — покупали сундуки и деревянныя кровати; было душно, суетливо, шумно, и особенно мерзко зудѣли какіе-то жестяные пѣтухи-свистульки: дули въ нихъ, не переставая, безоглядно влекомые родителями за руки мальчишки, — они, не поспѣвая за взрослыми, волоклись бокомъ, на отлетѣ, дую, супясь, позабывъ все на свѣтѣ; и пахло пылью, ситцемъ, навозомъ и дешевой, сладкой дрянью, отъ которой уже загодя вспоминались сверляція зубныя мученія. И я вскорѣ, ужъ ненавидя толпу, отстаивъ отъ Матвѣюка, Вани и Сережи, вернулся домой,

долго весь сырой и вялый лежалъ у себя на койкѣ, и стоило только прикрыть глаза — все опять гудѣло, орало, колыхалось пестрой кашей, и Матвѣюкѣ, Ваня и Сережа неспѣша, вольготно, въ развалку шли себѣ и шли между рядами... Но постепенно тифозная яркость ярмарочныхъ видѣній тускѣла, гложла и когда, наконецъ, все утихломирилось, почернѣло, я нѣкое время отдыхалъ въ потемкахъ, а потомъ неожиданно, будто нашаривъ нужное, вспомнилъ — впервые — о Кирюшѣ; и мысль эта, какъ-то непонятно и мнѣ самому, была продолженіемъ вчерашней острой, летучей мысли о городѣ. И впервые за много лѣтъ мысли о Кирюшѣ не сопутствовала, не окружала ее черная дымность неприязни къ пріятелю; впервые я ощутилъ пашу общую съ нимъ (такую же общую, какъ и порочность) жалкость, несмотря на его нахрапистую повадку, анекдоты, почти львиное (безъ самой главной, впрочемъ, малости) лицо. Потомъ въ дремѣ, жалѣя и его и себя, я долго и невнятно думалъ что-то очень печальное, которое, если умѣючи додумать до конца, можно довести до облегчающихъ слезъ (позывы къ слезности у меня что-то очень участились), но дѣлать этого сейчасъ никакъ, никакъ не слѣдовало, потому что ужъ шумѣли, потыкивали въ увиливающее отверстие ключомъ сожители и могли помѣшаты, ворваться... — и ворвались: наружная дверь съ хохотомъ и топотомъ распахнулась, и хохотъ и топотъ густѣлъ, пересыпался, лавиной грохоталъ въ типографіи, а потомъ, приблизившись, ужъ во всю навалился, хватилъ въ другую, мою полотняную дверь замка, она распахнулась и въ комнату полѣзли люди, и впереди всѣхъ Карпъ, задирая непристойное лицо свое. «Заспался, святитель», — вольно оралъ онъ и несло отъ него винищемъ. Всѣ очень смѣялись.

Карпъ гостилъ у насъ цѣлый день; за обѣдомъ онъ привѣтствовалъ братію виномъ, хвастался и подмигивалъ Матвѣюку; и тотъ тоже подмигивалъ ему, бодрый: нѣкое темное новорожденное дѣлѣе лежало между ними и ихъ

разбирало довольствомъ — вѣрно Матвѣюка принимали въ Унію и съ невыразительнымъ свидѣтельствомъ учительской семинаріи. «Держись, Василь!» — мигаль Карпъ, и Матвѣюкъ отвѣчалъ прищуромъ. А послѣ обѣда, запутавшись въ поискахъ шапокъ, всѣ начали собираться на ярмарку — покататься на каруселяхъ; дома оставался только я, хотя Карпъ, наваливаясь мнѣ на плечо и ораль, что на коникахъ можно покататься и въ подрясникѣ и въ бородѣ; а, въ крайнемъ случаѣ, бороду легко и похерить: цирюльникъ подѣ бокомъ. Но я, помутясь дурацкой важностью и загадочностью, проникновенно сказалъ: «Еще не настало время. Повѣсть еще не кончена...» — хотѣлъ поднять брови и заложить мою не мою ногу на мою не мою ногу, и ничего не вышло: брови не поднялись, нога не заложилась, — гогоча, какъ гусь, я показалъ Карпу кукишь. «На мнѣ сань!» — жестко, по трезвому сказалъ Карпъ и всѣ разомъ закрыли рты — перестали смѣяться; я разъялъ кукишь, смущенный. Карпъ заскрипѣлъ зубами; лицо его стало каторжнымъ; онъ ударилъ кулакомъ по столу — вскинулись тарелки, зазвенѣли нѣжно истерическіе стаканы, а потомъ въ окно билась твердой головой неизвѣстно откуда взявшаяся муха, кругами плыли кукольные звуки далекой карусели, и я смутно и близко ощущалъ тяжело дышащее желаніе Карпа хватить меня по уху. Но къ Карпу ластясь, журча, приникъ Матвѣюкъ и обвивалъ, обвивалъ его дружеской нѣжностью, и Карпъ, хотъ и отпихивался отъ него локтемъ и глядѣлъ на меня не въ силахъ оторваться — мягчалъ, пьянѣлъ опять, мутнѣлъ, забывалъ, въ чемъ дѣло; и забылъ, упустилъ, растерялъ все — замахался, попятился; возлѣ дверей опять всѣ запутались, но потомъ ихъ всѣхъ разомъ грохочущей кучей втянуло въ типографію, поволокло дальше къ выходнымъ дверямъ, вытянуло и оттуда, прихлопнуло, и сверзающійся лѣстничный гулъ покотился, укатился внизъ и угасъ. Опять забилась твердоголовая муха, закружилась карусель. И какъ всегда во время подпитія, об-

рѣтая могучую крылатость и даръ думать широко, точно, главное, я порѣшилъ: «Довольно. Нужно бѣжать».

На другой день спозаранку Карлъ и Матвѣюкъ уѣхали; Пафнутій, какъ это устраивается въ детективныхъ романахъ и фильмахъ, припоздалъ на роковыя пять минутъ; и не разминись они въ этомъ узкомъ ущельицѣ времени, завязался бы любопытный узелъ — встрѣча враговъ, и пользы изъ этой завирухи я бы извлекъ немало, не меньше, скажемъ, чѣмъ извлекъ въ свое время и для цѣлей прямо противоположныхъ изъ всякихъ иныхъ происшествій въ скитѣ. Разница была только въ томъ, что прежде, карабкаясь за Пафнутіемъ, я подбиралъ по дорогѣ событія обличія пристойнаго и важнаго: богослуженіе въ бѣдной русинской хатѣ, смерть ближняго своего и прочее; но теперь мнѣ вотъ какъ на руку были сюжетцы соблазнительные. Такія происшествія только укрѣпляли меня въ желаніи отойти отъ мѣста, все равно, обреченнаго. казалось, на гибель. Гибель скита страховала меня отъ сожалѣнія и раскаянія — если бы они вдругъ появились — въ будущемъ; и сожалѣть и раскаиваться было бы не о чемъ и не въ чемъ. И хотя «Дорога Мытаря» и провалилась, какой-то послѣдній, завершающій ударъ изнутри былъ мнѣ нуженъ: безъ него, этого удара изнутри, въ чистую оторваться, отчаяться, уйти изъ скита было все-таки нельзя: отравленная, взѣрошенная, подыхающая повѣсть какимъ-то чудомъ еще жила, и, кто знаетъ, могла еще отдышаться на короткую, дохловатую, мучительную жизнь. И какъ я ни досадовалъ, какъ ни язвилъ, какъ ни сокрушалъ скверныя, трухлявыя подпорки, поднапиханныя прежде со всѣхъ сторонъ, все же, все же, когда Пафнутій вернулся, во мнѣ всплыли чувства совершенно неожиданныя: похожія на раскаяніе за душевное свое буйство. И произошло это, можетъ быть, оттого, что Пафнутій, выслушавъ холодноватый докладъ Сережи о бѣгствѣ

Матвѣюка, не взревѣлъ, не плевался, какъ въ послѣдней надеждѣ на безобразный скандалъ ожидалъ я, — поковавшись указательнымъ перстомъ въ бороденкѣ, онъ надолго заглядѣлся въ окно, одинъ, и даже не одинешенекъ, но разодинешенекъ, въ старой съ перхотными ключицами рясѣ, такъ, что у меня стянуло подъ кадыкомъ и я проворно вышелъ вонъ. «Люды, д-эжь люды! Нѣма людій», — напослѣдокъ услышалъ я грустное его сѣтованіе. Потомъ, и самъ не знаю отчего, — вѣрно потому, что теперь это было ужъ необязательно — меня тронула вдругъ удачно сошедшая короткая пасхальная вечерня, огоньки, воздыханія умаявшагося съ дороги и отъ тревогъ Пафнутія; и все это: огоньки, воздыханія, вечерня — такъ впору было вправлено въ теплый, молчаливый вечеръ, который, подстрекая сердце къ кроткимъ и хорошимъ мыслямъ, нѣтъ, нѣтъ, да и вздыхалъ въ отворенное окошко неизвѣстнымъ мнѣ, горожанину, полевымъ запахомъ, и безшумно задиралось и опадало бѣлое крыло листа, забытаго на печатной доскѣ передъ печатной машиной. И было — такъ же, какъ и на исповѣди — одно такое мгновенье, когда я ослабѣлъ, и грусть, и жуть и раскаяніе съ половодной размашистостью ужъ заливали душевные просторы, и я ужъ готовъ былъ бухнуться на колѣни съ мытарскимъ воплемъ: «Боже, прости меня, окаяннаго»; но тутъ вдругъ само собою выскользнуло, само подвернулось подъ руку то послѣднее, увѣсистое, всесокрушающее — то самое, что тишечно искалъ я ужъ который день... Внутри у меня беззвучно екнуло, ударило; я схватился за щеку, охнулъ: «Скандалъ, скандалъ». Я же не вѣрилъ въ Бога — и, наконецъ-то, все рухнуло, зазвенѣло мѣднымъ, торжествующимъ и позорнымъ гомономъ. «Скандалъ, скандалъ...»

И додумайся я до этого кимвальнаго скандала раньше, когда у меня еще были силы къ сопротивленію, я ужаснулся бы вѣрно, а потомъ, не мѣшка, началъ бы

рыться во всѣхъ закоулкахъ, выискивая тамъ что-нибудь похожее на крупинку вѣры и, можетъ быть, нашелъ бы и приумножилъ, елико возможно, скромный свой даръ; теперь же ничего, кромѣ дикаго стыда, ненависти къ себѣ и — чудеснаго облегченія я не ощущалъ, — такъ было со мной однажды послѣ провала на экзаменѣ по-латыни. Погодя, позже, были и длительное сожалѣніе и горечь; но первое послѣ позора звенящее ощущеніе ничего такого въ себѣ не содержало.

И вотъ, что-то похожее на избавленіе отъ латинскаго истязанія было и теперь: и теперь такъ же, какъ около полутора десятковъ лѣтъ тому назадъ, провалившись съ трескомъ, я ухнулъ, полегчалъ: кончено. И теперь ужъ совсѣмъ издали, ужъ совсѣмъ не моя, бездыханная «Дорога Мытаря» ничего, кромѣ зудящаго — какъ горе-бородушка моя на весеннемъ солнцѣ — отвращенія къ себѣ не вызывала; и самое нелѣпое, почти фарсово непристойное было въ томъ, что, учтя въ легкокрылой моей затѣѣ все до мелочей, до межбровныхъ морщинъ, долженствующихъ обозначать слѣды религиозныхъ размышлений, я въ прожекторскомъ ражѣ и вполыхахъ такъ и не удосужился подумать, хоть разъ, о самомъ главномъ: о Б о г ѣ, въ котораго я не вѣрилъ, оказывается, съ третьяго класса.

Года черезъ полтора послѣ моего отъѣзда изъ скита, барахтаясь, выбиваясь изъ силъ въ водоворотѣ очередного крушенья, я не разъ, ужъ совсѣмъ издали, съ чистой, безкорыстной грустью пробѣгалъ мою скитскую повѣсть — и думалъ: иначе кончиться, конечно, у меня она и не могла: душевный уродъ, духовная бездарность, я все въ жизни сбивалъ на водевиль, правда, не очень веселый. У такихъ, какъ я, людей нѣтъ самаго главнаго — нутряной серьезности, устойчивости: вѣдь совершенно такъ же, какъ «Дорога Мытаря», погибла бы у меня и повѣсть сельско-хозяйственная и повѣсть «Мои четвероногіе друзья» и трактатъ «Борьба до конца» — сочиненія, кото-

рля бы я, тщась утвердить себя въ сельско-хозяйственной или какой нибудь иной вѣрѣ, и при иныхъ обстоятельствахъ, писалъ; а Кирюшѣ черезъ Рыжкова, свернутый въ катышокъ адресъ котораго таился до поры до времени въ карманѣ пиджака, было бы отправлено письмо удалое, отчаянное, но съ грустью въ закоулкахъ ухарскихъ строчекъ. Больше дѣлать мнѣ было нечего.

А скитъ готовился рухнуть и разползтись; Пафнугій вздыхалъ: «Эхъ, сотруднычки, сотруднычки...» — Сотруднычки же втихомолку писали письма, поглядывали на календарь, ожидая отвѣтовъ; склонивъ твердое, упрямое лицо надменнаго сумасшедшаго, Сережа разглядывалъ большую географическую карту и краснымъ карандашомъ помѣчалъ лазейки, гдѣ предприимчивые россияне ненаказуемо проходили запретныя для нихъ границы большихъ и малыхъ государствъ; Ваня безмятежно водилъ по пятнистой шкурѣ Европы пальцемъ и вспоминалъ знакомыя мѣста: шатался онъ по бѣлу свѣту съ конца войны. Африка влекла ихъ неудержимо. И ужъ не знаю отчего: оттого ли, что и Сережа и Ваня такъ вкусно разглядывали карту, вспоминали всякія бродяжьи забавности, предвосхищая новыя, не менѣе заковыристыя; оттого ли, что съ весною у cadaго даже самаго смирнаго русскаго начинается подрагивать какая-то шальная страстишка по вольности и по волюшкѣ; не знаю ужъ и самъ отчего, но я ужъ безъ унынія и даже съ рѣзвостью думалъ о новой дорогѣ, которая вотъ-вотъ должна была коврикомъ раскинуться передо мной. Но отъ Кирюши письмо все не приходило; рвать сейчасъ со скитомъ и Пафнугіемъ было бы неблагоприятнымъ, и я попрежнему много и молчаливо работалъ, сочинялъ летучки, смирно скучалъ на службахъ и, какъ могъ, остерегался опасныхъ разговоровъ, на которые такъ и напрашивался, подбивалъ меня Пафнугій: онъ еще не хотѣлъ признаться самому себѣ въ моемъ отщепенствѣ, отходѣ отъ него, и пробовалъ приладиться ко мнѣ то такъ, то эдакъ — хитрилъ. Вначалѣ онъ попробо-

валъ захватить меня врасплохъ, налетомъ, и, якобы о дѣлѣ ужь давно рѣшенномъ, сказалъ: «ну шожь, недѣльки черезъ двѣ-три можно було бы и постригаться...»; но я тугимъ выюномъ выскользнулъ, ушелъ: «дайте же одуматься, отецъ архимандритъ», — и Пафнутій, шурясь, отступилъ, взялся за бороду: выходило неладно. Потомъ, подумавъ, онъ припугнулъ меня равнодушіемъ: «Господь, молъ, съ тобой, если ты такой нехорошій» и, пытаясь всколыхнуть у меня ревность, приголубилъ Ваню, разглагольствуя за ужиномъ такъ: «Интелигентность вещь хорошая, но главное чистота сердца... Не люблю я людей съ кандибоберомъ...» Ваня кхекалъ въ кулакъ, помалкивалъ, на ласку шелъ охотно; но на умѣ у него было свое: Африка и стряпуха; и со стряпухою его Пафнутій вскорѣ и засталъ въ темномъ уголку въ коридорѣ. Отплевываясь, осѣняя себя крестными знаменіями, архимандритъ рыдалъ, трясся отъ застарѣлой ненависти и омерзѣнія къ прельстительному блюду: «Люды, дэжь люды...» — и хотѣлъ Ваню изгнать вонъ, но не изгналъ: работники были нужны. Отдѣлался Ваня поклонами. Все валилось въ скитѣ.

Потомъ, дымно и пепельно сизѣя въ тѣни и гуцахъ, распушились окрестные холмы; пониже, на скатахъ зазеленѣла почти ядовитой яркости трава; еще ниже, по чернымъ полямъ, вдоль и поперекъ ползали мужики въ бѣлыхъ порткахъ и лошади, и вспыхивали то тамъ, то сямъ стеклянными сверканіями лезвія плуговъ — все это было видать изъ окна. Ровно безъ четверти двѣнадцать, ужасая гусей, которые погогатывали, шатались по дорогѣ, съ горки безшабашно стремглавъ скатывался желтый автобусъ; полосатся тѣнями, погукивая, онъ плавно бѣжалъ по желѣзному мосту и охнувъ, осѣвъ и вскинувъ задомъ во виадинѣ, что возлѣ таможенной будки, пропадалъ за тополями. Автобусъ привозилъ почту; черезъ часъ мужикъ въ форменномъ картузѣ доставлялъ въ

скить письма и прочее. Письма были для архимандрита; однажды пришло письмо съ чудными марками — изъ Африки на имя Сережи; мнѣ же ничего не было: ни отъ Рыжкова, ни отъ Кирюши, и я думалъ: позабыли, погибъ; и теперь дорога отсюда представлялась мнѣ ужъ не страшной, но спасительной, и ужъ не тихой пристанью, но каторгой казался скить. Я ходилъ тоскливый, растерянный, не спорилась постылая работа; Пафнутій, обратясь въ деспота, — онъ пробовалъ теперь строгость — грубо и рѣзко, какъ бывало Матвѣюка, ругалъ меня за оплошности и все жестче, все крѣпче норовилъ забрать въ руки. Я хмурился, терпѣлъ, и какъ-то былъ даже радъ открытой враждебности старика: этимъ я глушилъ опасную жалость къ нему, послѣднюю нить, еще связующую меня и съ нимъ и со скитомъ. И теперь ужъ не было ничего раздѣляющаго меня отъ Сережи и Вани: мы втроемъ были угнетенными, Пафнутій — общій сильный врагъ; и мы сообща, обороняясь, угрюмо глядѣли себѣ въ переносицы, когда онъ язвилъ Ваню или укорялъ меня и Сережу въ никчемности: «И що вы по свиту мотааетесь, только воздухъ портите. Шли бы вы, убогіе, чи въ чернецы, чи въ попы». Особливо нужны были ему попы: мужики все больше и больше склонялись къ православію, хотя униаты и грозили всяческими карами и даже устроили чудо: будто бы плыла какъ-то на облакъ надъ Старымъ Краемъ Пресвятая Богородица, роняя слезы, печалась. Но чудо по случаю рабочей страды успѣха не имѣло: за недосугомъ мужики имъ не прельстились. Чудо провалилось; Пафнутій написалъ язвительную листовку: «Якъ паны превелебные роблять чудеса». На Пафнутія донесли куда надо, обвиняя его въ большевизмъ; его вызвали въ полицію, и онъ, задирая бороду, опираясь на посохъ, ходилъ ругаться и обличать чиновниковъ въ неблагодарности Россіи. Чиновники едва отъ него отдѣлались. Для вящаго же посрамленія враговъ въ ближайшее воскресенье Пафнутій поднялъ народъ и крестнымъ ходомъ съ хо-

ругвами прошелъ черезъ село къ могиламъ русскихъ солдатъ, погибшихъ въ Великую Войну, и отслужилъ тамъ заупокойную службу. Черезъ недѣлю, въ отместку, уніаты устроили свой крестный ходъ, и мимо скита въ пыли, съ ревомъ псалмовъ шли мужики со всего уѣзда, множество поповъ и между ними Карпъ и Матвѣюкъ — оба въ уніатскихъ ризахъ, съ крестами, голощекіе, надменно безстыжіе. Пафнутій изъ окна погрозилъ имъ пальцемъ.

И все это: и разговоры о поповствѣ и сочиненіе о томъ, «Якъ паны превелебные роблять чудеса», и крестные ходы съ ихъ аляповатой, церковной пышностью и убогостью — все это безъ сожалѣнія и ужъ какъ бы издали представилось мнѣ совсѣмъ ненужнымъ, отъ чего надобно было освободиться во что бы то ни стало — и поскорѣе. Но дѣваться было некуда: Кирюша молчалъ. Потомъ, получивъ изъ Африки деньги отъ пріятеля — онъ служилъ тамъ какимъ-то надсмотрщикомъ, этотъ дошлый Сережинъ пріятель — ушли изъ скита Сережа и Ваня; и я, тоскуя и завидуя имъ, какъ не завидовалъ еще никогда (можетъ быть, только въ дѣтствѣ, слезной, горячей, клубкомъ наматывающейся въ сердцѣ завистью), провожалъ ихъ до моста, и когда они, горбатые отъ сумокъ, пуская черезъ плечи дымки закуренныхъ на прощанье папиросъ, сбивая палками головки съ придорожныхъ одуванчиковъ, скрылись за курганомъ — вѣрно тѣмъ самымъ, который мы такъ плавно объѣхали тогда, зимой — сълъ на траву, укололся, ерзнулъ, и едва не заревѣлъ: такой несчастный. Теперь мы въ скитѣ остались вдвоемъ: Пафнутій и я; и старикъ еще грубѣе требовалъ смиренія и клобука. И теперь я его ужъ ненавиждѣлъ; жалости къ нему не было даже, когда онъ однажды, поднимая чугунную раму съ наборомъ, охнулъ, осѣлъ, заскрипѣлъ зубами, замоталъ бордой — надорвался, и пролежалъ потомъ у себя за фонтанами два дня съ пепельными губами и вострымъ носомъ. Я работалъ одинъ, задеревѣвъ въ нѣкомъ пустынномъ отчаяніи. Но эти дни и завершили собой черный часто-

коль незадачь: какъ-то утромъ принесли письмо отъ Кирюши, которое искося, глядя на разношерстный ворохъ конвертовъ, я сразу же призналъ по почерку — раскидистому, ложно значительному, со вздыбленной шевелюрой заглавныхъ буквъ.

«Дорогой другъ...» — напористо, баритономъ, со сдержанной торопливостью и благородствомъ говорилъ мнѣ Кирюша, не довершая задковъ словъ, наспѣхъ прикрывая ихъ беззадія свинными загогулистыми хвостиками — «Рыжковъ пересла (хвостъ загогулина) твое письмо. Очень радъ, что ты жи (загогулина) и здоро (загогулина), хотя положеніе твое и вѣсьма печально. Но надѣюсь, что все образуетъ (загогулина) и мы поработаемъ вмѣст (загогулина). Дѣло въ томъ, что...»

А дѣло было въ томъ, что Настенька разошлась со своимъ инженеромъ, который оказался «звѣремъ и негодяемъ» («что я всегда и пред...» — ткнувшись въ переносное тире, замолкала Кирюша, но тотчасъ же, перекинувшись на другой листъ, раскатывался, какъ ни въ чемъ ни бывало: «...чувствовалъ и предупреждалъ»). Обманутая Настенька потребовала отъ инженера двадцать тысячъ кронъ единовременно и тысячу кронъ въ мѣсяць; «негодяй» долженъ былъ согласиться на это: въ противномъ случаѣ Настенька развода давать не желала. На эти двадцать тысячъ кронъ Кирюша и Настенька собирались сбить небольшую трупку съ лѣтней программой въ Ужгородѣ, куда ихъ зазывалъ Рыжковъ... «И дѣло, кажется, на мази...»

Заканчивалось благополучно и почти (излишняя раскидистость въ строчкахъ все-таки была) честно до послѣдней синеватой линіи записанное письмо конфузливимъ, съ лирической поволокой, описаніемъ взбудораженныхъ любовью Кирюшинныхъ чувствъ: онъ вѣдь, оказывается, всегда любилъ Настеньку. Описывалось совмѣстное ихъ катанье въ лодкѣ и значительный и темный разговоръ, смысла коего я не уразумѣлъ. «Будетъ буря,

но поспоримъ и помѣримся мы съ ней», — бодро грозился счастливый Кирюша и исполински, съ брызгами, расшаркивался: «Твой Кирилль Осокинъ-Каминскій». Свою настоящую фамилію онъ не уважалъ.

Письмо это я перечиталъ попозже на свободѣ нѣсколько разъ; живой, осязаемый, знакомый до послѣдней запятой (онъ щедро, гдѣ надо и не надо, лѣпилъ ихъ), Кирюша всякій разъ, какъ ванька-встанька, расшаркнувшись и повалившись въ концѣ письма, бодро вставлялъ въ началъ его и безъ устали опять начиналъ свое: «Дорогой другъ...» — и такъ далѣе, до конца, безъ конца. У меня кругомъ шла голова: чудно сказать, но теперь я завидовалъ Кирюшѣ, тому самому Кирюшѣ, отъ котораго полгода тому назадъ готовъ былъ бѣжать безъ оглядки, какъ отъ сквернаго и обиднаго своего отображенія; завидовалъ его вольности, тому, что онъ живетъ въ городѣ, въ отелѣ (миль былъ сердцу даже горьковатый запахъ чемоданной кожи — вѣчный запахъ людныхъ, большихъ отелей); завидовалъ, наконецъ, его счастьемъ обладанія, хоть и не Богъ вѣсть какой замѣчательной, но настоящей женщиной, на которую даже отдаленно не были похожи старокраянскія бабы и дѣвки: коротконогіе крѣпыши въ сапогахъ и лентахъ. И недаромъ же я, женолюбивый, чувственный человѣкъ, за все это время даже и въ мысляхъ не прельстился ни одною изъ нихъ — столь неприглядны были онѣ. «Нѣтъ!» — сказалъ я Пафнутію, когда тотъ пыталъ меня, не прелюбодѣйствовалъ ли я въ сердцѣ своемъ, и онъ, кажется, не очень то повѣрилъ мнѣ: прелестью женской искушались бывало иноки и покрѣпче меня. Помните, меня это тогда позабавило: и въ самомъ скверномъ я не былъ похожъ на инока: и искушался то не по чину. «Съ кандибоберомъ человѣкъ», — говорилъ мнѣ теперь не разъ Пафнутій, вкладывая въ это неясное, тарбарское словцо немало и яду и насмѣшки и неуважительнаго недовѣрія къ тому непонятному, что творилось во мнѣ.

А потомъ, перепробовавъ все отъ лести до угрозъ, онъ махнулъ рукой и на меня и на мое иночество: челоуѣкомъ я оказывался явственно неподходящимъ. «Якысь дурашный», думалъ онъ вѣрно иногда, между дѣломъ, встрѣтившись со мной глазами или распекая меня за невнимательность при разборкѣ шрифтовъ: разсѣянъ я сталъ и точно до непристойности. «И шо вы тамъ соби думаете?» — дивился Пафнутій.

Да и на самомъ дѣлѣ: о чемъ думалъ я, безмятежно сбрасывая при разборкѣ шрифта букву «у» въ ящичекъ, предопредѣленный для твердаго знака, а твердый знакъ вселяя куда нибудь къ тире или запятымъ; о чемъ думалъ я за утренними и вечерними службами, искушая и мучая до зубного скрипа Пафнутія затянутымъ не къ мѣсту тропаремъ или не во время поданнымъ кадиломъ.

Мысли были плывущія, тянулись вразбродъ — инья побыстрѣе, инья помедленнѣе; но, какъ головной корабль, водительствовавшая ими самая громоздкая и помѣстительная мысль о Кирюшѣ; за нею тянулись остальные: о городѣ, о Настенькѣ, о новомъ нашемъ театрѣ, о постановкѣ скетча, который, Богъ его знаетъ когда, успѣлъ произрасти въ моемъ сознаниіи и съ каждымъ днемъ все легчалъ, становился подвижнѣе, гибче, оперялся подробностями ловкими, нарядными и смѣшными. У скетча острота чудесно сожительствовавшая съ простотой; у него были всѣ данныя стать гвоздемъ программы — публика не могла не проглотить его; и я ужъ ощущалъ первые, предопредѣляющіе успѣхъ хохотки и хлопки самыхъ понятливыхъ и смѣшливыхъ, когда Кирюша въ бѣлыхъ штанахъ, въ синемъ виджакѣ и канотье, подъ лягушачье кряканье саксофона, вертя палкой, раскидывая врозь колѣни, выкрикивая стишокъ, эдакимъ вихляющимъ, бѣло-синимъ тузомъ подергивается къ рампѣ. Безстыжая наивность его партнерши — обычная роль Настеньки въ скетчахъ — бы-

да отпущена въ нужной мѣрѣ: на волосокъ до неприличія. Въ время и хорошо съ куплетцами и чечеткой появлялся я. Простая и прилипчивая музыка довершала остальное. Для лѣтней программы желать лучшаго было нечего.

Порою, увлекшись ловлей и связываніемъ мотивчиковъ и куплетовъ, я подмурлыкивалъ, притоптывалъ ногой, плечомъ заводилъ послушныя мелодіи въ нужный уголокъ; а однажды, не примѣтивъ за перегородкой Пафнутія, прорепетировалъ чечоточное свое вторженіе въ пьесу, и Пафнутій, изумясь, попятился: видъ мой въ рясѣ, съ подергивающимися, погрохатывающими ногами былъ, вѣроятно, дикъ. Пафнутій перекрестился; меня обдало стыдомъ, и потомъ на нѣкоторое время я даже охладѣлъ къ своему скетчу: малопочтенное было это все-таки занятіе. Но тутъ во время пришло второе Кирюшино письмо — и взбодрило: двадцать тысячъ Настенькой были получены; Кирюша собирался подписать контрактъ съ ужгородскимъ предпринимателемъ, и тотчасъ же по подписаніи контракта я долженъ былъ получить деньги на дорогу въ Ужгородъ, — тамъ ужъ писалъ декорации Рыжковъ. Все, словомъ, шло, какъ обычно: съ контрактами, съ декорациями, со спѣшкой; и все это было предопределено, конечно, къ гибели, какъ обычно. Но отъ Кирюшинаго письма густо несло дѣловой, несомнѣвающейся бодростью, предусмотрительностью, и, какъ знать, можетъ быть, на этотъ разъ примадонну нашу и не утопятъ на рѣчной прогулкѣ гарнизонныя весельчаки; можетъ быть, она не соблазнится, счастливо избѣжавъ водяной гибели, замужествомъ съ обеспеченнымъ инженеромъ; авось Рыжковъ не переругается изъ-за фикса съ Кирюшей; можетъ статья, не опишутъ насъ и за долги — такъ думалъ я — и наборные знаки летѣли туда, куда имъ попадать бы не надлежало. И Пафнутій даже не бранился теперь — помалкивалъ, кряхтѣлъ: «Охо-хо, искушеніе» — и изъявъ какойнибудь приبلудный твердый знакъ изъ иноплеменнаго гнѣзда, говорилъ: «И що цѣй окаянный человекъ»

думаетъ. Дыблюсь». И подносилъ букву къ моему носу, держа ее, какъ пойманнаго жука, двумя пальцами: «Цѣжь еры, а нэ що иное...»

И я, слегка помучившись обидой и стыдомъ, мутиль ихъ туманомъ мечтаній о городѣ, о театрѣ, о Кирюшѣ; а потомъ одинаковые, мутно опаловые отъ постоянныхъ думъ, невнимательности ко всему вокругъ, дни пресѣклись однимъ неожиданнымъ утромъ — это когда живой, не воображаемый Кирюша, въ нужномъ мнѣ нарядѣ — бѣлые штаны, синій пиджакъ, канотье — настоящей и не ожидаемый до того, что я не сразу увѣровалъ въ его подлинность и даже подеревянѣлъ весь на секунду, отворилъ дверь и, наступивъ на порогъ одной толстой, бѣлоснѣжной ногой, потянулся къ шляпѣ, нища глазами, чтобы спросить кого нибудь, въ нужное мгновенье обрѣтши полный ротъ вольнаго баритона: «Не откажите въ любезности сообщить мнѣ, тутъ ли проживаетъ господинъ такой-то?» Пафнутій глядѣлъ на него съ поднятыми бровями то черезъ очки, то поверхъ стекло — прикидывалъ про себя: что за пышный такой человекъ? За Кирюшей, лучась любопытствомъ, вошла Настенька; она была въ бѣлой шляпѣ и бездумные, прелестные глаза ея агатово сіяли въ тѣневомъ обрѣзѣ подъ полями. И было все такъ, точно такъ, какъ я когда-то давно и потаенно страшился: Кирюша, строгій, съ выраженіемъ солидно вѣрующаго человека, подошелъ къ Пафнутію подъ благословеніе, потомъ покрестился на иконы; потомъ Пафнутій въ чайнѣ пожертвованія заговорилъ о Россіи шестнадцатаго вѣка и о прочемъ такомъ, и Кирюша съ понимающими, хмуроватыми глазами — точь-въ-точь прежніе мои, незыблемаго религіознаго — глоталъ слюну и мрачнѣлъ отъ сочувствія святому дѣлу — все это теперь я просмаковалъ, тая подъ бородой ухмылочку совершеннѣйшаго озорного довольства. Очень хорошъ былъ Кирюша на вечернѣ: на «Свѣте Тихій» онъ сталъ на колѣни, закрылъ глаза, поникъ головой, и, какъ я и ожидалъ, съ особеннымъ

вибрирующимъ чувствомъ подтянулъ: «видѣвше свѣтъ вечерній» и пустилъ въ носъ остальное: дальнѣйшіе стихи были извѣстны ему по неясной наслышкѣ. Истомленная службой и страхомъ смерти, вся хрустя, шелестя, продливъ сзади длиннымъ, льющимся движеніемъ юбку на бѣлые каблуки, стала на колѣни и Настенька. Пафнутій ладно кадилъ, неукоснительно точно козломъ выпѣвалъ положенное. Свершивъ вечерню, мы перешли на службу поскучиѣе — утреню; отъ кондаковъ и тропарей Кирюша, какъ ни крѣпился, заскучалъ: искося за нимъ подсматривая, я подмѣтилъ, какъ подъ скулой у него покатился зажатый зѣвокъ; Настенька сѣла на стульчикъ, ловко спихнула носкомъ правой ноги тѣсную лѣвую туфлю, и, ужъ перебожавшись разныхъ темныхъ мыслей, которыя ей всегда приходили въ церкви, заскучала. Кирюша бѣлымъ, осторожнымъ задомъ оперся на перегородку, — она крикнула, Настенька чмыкнула; Кирюша вильнулся, сгорбился. Пафнутій со вкусомъ затынулъ зачало новаго тропаря. Черезъ часъ служба кончилась; я погасилъ свѣчи. И когда все ужъ было позади, Кирюша на сокровенныхъ радостяхъ опять проникся благочестивымъ любопытствомъ; опять нахмурился, онъ твердо и съ почтительной благодарностью согласился раздѣлить нашу скудную трапезу и за картошкой говорилъ о религіозномъ возрожденіи русскаго народа и объ обновленіи куполовъ. Пафнутій осторожно соглашался. Настенька глядѣла мнѣ въ бороду. Я съ наслажденіемъ слушалъ Кирюшу: вотъ, вотъ по моимъ расчетамъ онъ долженъ былъ сорваться, плюхнуться, — и онъ, конечно, сорвался-таки, и, конечно, на анекдотъ, коими по давней привычкѣ завершалъ каждое собесѣдованіе, все равно, какое, все равно, съ кѣмъ; и Пафнутій, выслушавъ анекдотъ о благочестивой, но не въ мѣру экономной просвирнѣ, вѣжливо, какъ китаецъ, одними усами, улыбнулся, а Кирюша, спохватясь, побурѣлъ. Настенька закрыла ладонью розовый, глупый ротишко, зѣвнула. Кирюша раздулъ щеки, шмякнулъ себя

по ляшкамъ, всталъ со стула, выжидая заминку, чтобы въ разговорный промежутокъ впахнуть обрядъ благословенія. И кое-какъ все обошлось: Пафнутіи ушелъ къ себѣ читать правила, мы отправились въ чиновничью столовую: Кирюша былъ голоденъ. Тамъ же, въ столовой, я выхлопоталъ имъ и комнату для ночлега. На утро съ девятичасовымъ автобусомъ мы должны были ѣхать въ Ужгородъ — такъ понялъ я изъ неясныхъ, рваныхъ между службой и трапезой фразъ въ ночь, которыя съ нарочитой неясностью ронялъ мимоходомъ Кирюша: тяжкое хамство сидѣло въ немъ неистребимо; кромѣ того, онъ мстилъ мнѣ за пражскія мои надъ нимъ побѣды, за таинственность, которой я тогда такъ помучалъ, унизилъ его. И теперь мнѣ надобно было немного полебезить передъ нимъ — загладить вину.

Для начала, раската разговора я разбросилъ передъ жующимъ Кирюшей скроенный, наметанный скетчъ и скетчъ Кирюшѣ, видимо, приглянулся, — кое-что и видоизмѣнилъ онъ въ пьесѣ не потому, что прощупалъ въ ней недобротныя мѣста, а такъ: для пущей важности, чтобы подпихнуть меня за прошлое; засимъ, будто бы нехотя, намекая на возможность примиренія, онъ предложилъ сообща поглумиться надъ моей скитской жизнью, и я принялся рассказывать; но чудно: смѣшного въ рассказѣ ничего не оказалось, какъ Кирюша ни хрюкалъ, береда и взбадривая во мнѣ рассказчицкое вдохновеніе. Рассказъ провалился; стыдясь вывороченнаго сокровеннаго, я насулился, и тогда Кирюша, по горло сытый моимъ униженіемъ и жалкостью, повилялъ пальцемъ, призывая почтительнаго хозяина, и заказалъ вина; и послѣ второй бутылки, наконецъ, все наладилось: нальзая другъ на друга носами, мы понесли пьяный вздоръ о нашей дружбѣ. Обругавъ насъ пьянчугами, ушла спать Настенька. Мы же разстались въ часъ ночи, ужъ предчувствуя похмѣльное отвращеніе другъ къ другу. У себя за пере-

городкой я содрала съ ногъ сапоги, бокомъ рухнулъ на койку и грузно уснулъ.

А утро было чудесное — тихое и съ лѣтухами; и свѣжую, матовую, лѣтнюю прелесть его я оцѣнилъ уже какъ въ воспоминаніяхъ: вполнѣ, грустно, съ сожалѣніемъ: вотъ пройдетъ оно, и я не разъ буду вспомнить, грустить о немъ, объ этомъ невозвратимомъ, божественно тихомъ, безпорочномъ утрѣ — такъ плавно думалъ я, подложивъ ладонь подъ щеку, искоса глядя на пару солнечныхъ безголовыхъ зайцевъ, которые подрагивали, пыжились другъ передъ дружкой на дорожкахъ кошунственного бутафорскаго парка... Но вдругъ меня всего передернуло испугомъ; ужасно и безтолково спѣша, я сбросилъ подрясникъ, надѣлъ рубаху, галстухъ, который съ отвычки все выворачивался изъ-подъ пальцевъ, пиджакъ; похлопавъ себя по карманамъ, оглядѣлся, вспомнилъ, ахнулъ и бросился черезъ коридоръ къ сосѣду парикмахеру: бороду надо было сбрить еще, бороду... Парикмахеръ круглымъ, шетинистымъ валомъ уминалъ голову ранняго кліента, кволога писарька изъ уѣзднаго правленія, и писарекъ, топырясь, упираясь въ подлокотники кресла, кряхтѣлъ, какъ въ банѣ — съ наслажденіемъ; потомъ ему залѣпливали кровоточащій прыщъ на подбородкѣ, потомъ онъ потребовалъ легкой поправки въ проборѣ, и только тогда, резедово воня маленькой, облизанной, глянцевитой головой, ушелъ, наконецъ, этотъ проклятый писарекъ. Я рванулся на его мѣсто подъ сверкающій наклонъ трюмо — густобородый, съ блѣднымъ, узкимъ лбомъ, весьма, весьма-таки похожій на меланхолика изъ «Вечерняго Звона», и парикмахеръ, пожакавъ — изъ профессиональнаго кокетства — въ воздухъ ножницами, густо кромсанулъ бороду съ одного бока, съ другого, и на колѣни мнѣ упали два рыжихъ клока. Погодя, взмыленный до глазъ, я лежалъ, запрокинувъ голову на подставку, выставивъ кадыкъ; а еще немного погода, съ кресла поднялся человекъ лѣтъ тридцати, востроносенкій, миловидный, съ ни-

тянымъ вдоль головы пробормомъ, какой-то потерянный; онъ расплатился съ парикмахеромъ, косясь на самого себя, шагнулъ изъ зеркальныхъ предѣловъ, гдѣ все — онъ самъ, стѣнка, вѣшалка съ лакированными рожками — было нѣсколько наклонено впередъ, взялся за холодную, рахатъ-лукумную на ощупь щеку, и вышелъ въ коридоръ. Тамъ я остановился, шибко потеръ щеку — прибирался, вспоминалъ: что-то нужно было сдѣлать еще очень неприятное, но обязательное. Но тутъ изъ дверей показался архимандритъ (ахъ! — мгновенно вспомнилось) и сказалъ уже, какъ постороннему, съ важностью: «Пожалуйте сюда...», — и я поспѣшилъ къ нему, совсѣмъ растерявшись: я еще не успѣлъ обжиться въ себѣ, въ новомъ своемъ голощекомъ обликѣ.

Признаться, я всегда опасался этой минуты, и въ размышленіяхъ все спихивалъ ее на конецъ — успеется, молъ; во всякомъ случаѣ, разстаться со старикомъ я рѣшилъ холодно, вѣжливо, хотя увѣренности въ томъ, что это произойдетъ именно такъ, не было: Пафнугій на прощанье могъ полить меня черной руганью, очень могъ бы. Но опасался я напрасно: Пафнугій не бранился, ни въ ни въ чемъ не укорялъ меня; былъ онъ тихъ, печаленъ и поохивалъ, — поохивая, онъ задралъ полу подрясника, выпросталъ изъ кармана кошелекъ, — мѣдное ухо, — вынулъ изъ кошелька сто кронъ, полученные наемни изъ Америки за молитвословы, и сказалъ: «Во на дорожку. Простите, Христа ради, шо такъ не богато...» — И протянулъ бумажку. И какъ я, устыженный и смятенный, ни отпихивался въ воздухъ ладонями, какъ ни вралъ льющимся, задушевымъ голосомъ: «Да мнѣ же, отецъ архимандритъ, не надо...» — деньги пришлось-таки взять: ровнымъ, неотступнымъ упрямствомъ своимъ Пафнугій могъ довести до изступленія человѣка и покрѣче меня. Я же нынче былъ совсѣмъ никуда: и съ похмѣлья, и передъ дброжной неизвѣстностью; и мнѣ будто бы уже не хотѣлось и ѣхать, но ужаснымъ и нелѣпымъ было бы

отъ этой дороги отказаться — все было опять неясно, неясно, тревожно, зыбилось. И я все куда-то спѣшилъ, спѣшилъ, что-то вспоминалъ, теръ лобъ; подъ щекой дергался живчикъ. И возьми меня сейчасъ Пафнутіи за плечи, скажи онъ что-нибудь простое, ласково бранное, вродѣ: «ну, принцъ индѣйскій, пора бы и за работу...» — я, можетъ быть, опять, какъ и прежде, съ охотой и довѣрїемъ покорился бы ему; но Пафнутіи ужъ прїялъ мой отъѣздъ, потужилъ малость и ужъ соображалъ что-то рабочее, дѣловое, а мнѣ пора было укладываться. Когда мы прощались, я свирѣпо скосоротился, по лицу потекли слезы, и тутъ Пафнутіи спохватился было, взялся за бороду, соображая; но ужъ бодро и нахраписто требовалъ благословенія Кирюша, оборвалась ручка Настенькинаго чемодана, влѣзъ мужикъ насчетъ какого-то молебна, загавкалъ внизу, возлѣ корчмы автобусъ — все безалаберно спуталось, нужное мгновенье въ шумѣ и гамѣ погибло; и мы ужъ рысиди къ автомобилю по жаркой юньской улицѣ, и въ одной рукѣ у меня былъ мой легкій чемоданъ, а въ другой бѣсяще, каменно тяжелый Настенькинъ, и у меня ломило въ груди, по вискамъ лился потъ и впереди рѣзво на толстыхъ и кривыхъ сангвиническихъ ногахъ несея Кирюша, позади квохтала Настенька, и смѣялся во всѣ зубы, подхлестывая насъ гудками, застекленный шоферъ; а потомъ долго и блаженно билось загнанное сердце и автобусъ валился на ухабахъ то на одинъ, то на другой бокъ — и вдругъ покотился совсѣмъ ровно, и по лицамъ и рукамъ пассажировъ замелькало вперемежку черное — бѣлое, черное — бѣлое, черное — бѣлое: отъ перилъ и скрѣпъ моста, того самаго, который былъ виденъ изъ нашего окошка, — оно отсюда казалось маленькимъ, чужимъ, сверкало однимъ откинутымъ стекляннымъ крыломъ, и его непрестанно заслоняло желѣзными балками, сваями, рябило въ глазахъ. Глаза надобно было прикрыть, — я закрылся ладонью. Потомъ подъ колесами

заготали гуси; автобусъ скрежетнулъ въ нѣдрахъ, мѣняя форсистую третью скорость на тихосапную мощную первую и полѣзъ на подъемъ.

...Я быстро всталъ, сдернулъ съ сѣтки свой чемоданъ, шмыгнулъ къ дверямъ, придавилъ книзу тугую ручку, и подъ всплескъ удивленныхъ и тревожныхъ голосовъ выпрыгнулъ вонъ, на дорогу — въ пятки ударило черными, тупыми огнями (это случалось и въ гимназии на гимнастикѣ, когда, прыгая черезъ кожаную кобылу, не успѣешь, бывало, угодить ткнуться на носки). И вотъ, выпрыгнувъ такъ, превозмогая боль, я помахалъ ручкой Кирюшѣ и Настенькѣ, которые высывались изъ окна съ мертвыми отъ изумленія лицами; махнулъ шоферу (веселый шоферъ гукнулъ гудкомъ, захохоталъ) и автобусъ покатился дальше, а я пошелъ назадъ, блудный и прозрѣвшій сынъ. Пафнутій молча распахнулъ руки и поцѣловалъ меня въ чело; пахло отъ него кипарисомъ и старческой кислотинкой. Потомъ вечеромъ мы служили вечерню и утреню съ тропарями и кондаками, смыслъ коихъ темень, тягучъ и неуловимъ, и я вдругъ жадно, съ позднимъ, сосущимъ сожалѣнiемъ вспомнилъ Кирюшу, Настеньку, свѣтлый городъ, кафе, гдѣ, обсуждая мой скетчъ съ Рыжковымъ, они ѣдятъ сливочное мороженое, которое я такъ люблю и котораго не ѣлъ уже вотъ полгода — и прозѣвалъ кадило. Пафнутій затрясся въ старческой ярости. Я сжалъ зубы, замоталъ головой, открылъ глаза: Кирюша напротивъ жевалъ яблочко.

Автобусъ катился ужъ въ полѣ, на просторѣ; шоферъ, держа руки на трясущемся рулѣ, ловко и точно поспѣвалъ за поворотами, — дорога вилась между рыжими хлѣбами, вползала на холмы, сверзалась долу, вихлялась, текла ровно, опять вихлялась и лилась, лилась подъ колеса...

И доколѣ же?

Мих. Иванниковъ.

Начало конца *)

XVII.

— ...Если на то пошло, дорогой Вермандуа, — сказала финансистъ, — то не можете ли вы заодно сообщить мнѣ дату конца міра? Она должна имѣть нѣкоторое значеніе для биржи.

— Которая, кстати, кажется, сегодня ужасна, — въ полувопросительной формѣ замѣтилъ небрежно Серизье. Финансистъ, улыбаясь, пожалъ плечами и возвелъ глаза къ потолку. Онъ о дѣлахъ всегда говорилъ такъ, точно они его совершенно не интересовали и развѣ только немного веселили: будто занимался онъ ими въ шутку, или подчиняясь Божьей волѣ, или чтобы сдѣлать кому-то одолженіе. — Отличное вино хересь, его можно въ сущности пить къ любому блюду.

— Отчего же вы не вѣрите, господа, въ близкій конецъ міра? — спросилъ Вермандуа съ полуулыбкой, соотвѣтствовавшей его полушутливому тону: для серьезнаго разговора о такихъ предметахъ отдѣльный кабинетъ ресторана былъ мѣстомъ неподходящимъ. — Наука, конечно, избѣгаетъ обсужденія этого вопроса, такъ какъ ей совѣстно: зачѣмъ же въ такомъ случаѣ ее держать? Но, я помню, въ свое время между двумя моими друзьями, очень почтенными стествоиспытателями, шелъ споръ на страницахъ научнаго журнала. Одинъ, исходя изъ мысли объ истощеніи солнечной энергіи, утверждалъ, что земля непременно погибнетъ отъ холода. Другой, ссылаясь

*) См. «Совр. Зап.» кн. 63 и 65.

на работы великаго Клаузіуса, говорилъ, что земля погибнетъ не иначе, какъ отъ жара.

— Это разногласіе насъ все-таки нѣсколько утѣшаетъ, — вставилъ Серизье. — Можетъ быть, чтобы примирить двухъ великихъ ученыхъ, температура земли останется болѣе или менѣе нормальной.

— Я предпочитаю холодъ. Обожаю зимній спортъ и нигдѣ не чувствую себя лучше, чѣмъ въ Сентъ-Морицѣ, — сказала графиня де Белланкомбръ. — А вы?

— Въ общемъ, — продолжалъ Вермандуа, — такъ называемыя точныя науки, т. е. науки, нѣсколько менѣе неточныя чѣмъ другія, предусматриваютъ немало печальныхъ возможностей, при которыхъ жизнь на нашей милой планетѣ непремѣнно должна погибнуть. Потеря кислорода въ воздухѣ, — разъ; погруженіе материковъ, — два; столкновеніе двухъ солнць, — три; столкновеніе земли съ кометой, — четыре... Другихъ не помню, но...

— Не трудитесь вспоминать, cher Maître, первыкъ четырехъ совершенно достаточно, чтобы отбить у насъ аппетитъ.

— Тогда я протестую, — сказалъ Кангаровъ, — насъ ждетъ утка съ апельсинами.

— О-о!

— Будемъ надѣяться, что земля не столкнется съ кометой до того, какъ намъ подадутъ утку.

— Графиня, вы напрасно шутите. Извѣстно ли вамъ, что земля чуть было не столкнулась съ кометой 1811 года, которая впрочемъ болѣе замѣчательна тѣмъ, что дала Толстому возможность закончить томъ «Войны и мира» однимъ изъ лучшихъ эффектовъ въ исторіи литературы; онъ даже и назвалъ ее, для большаго эффекта, кометой 1812 года. Если-бы столкновеніе произошло, то совершенно одинаково сгорѣли бы, по сосѣдству, Наполеонъ и Александръ, а съ ними заодно и все челоуѣчество.

— По радостному случаю избавленія отъ такой ката-

строфы надо выпить еще, — предложил финансист. — Темъ болѣе, что та же комета дала намъ знаменитое вино.

— Да, но что, если она вернется? По моему, она непременно должна вернуться. Это шло бы къ общему разумному характеру нынѣшнихъ событій.

— Какъ досадно, — сказала Серизье, отпивая глотокъ вина. — Я совершенно не чувствую себя способнымъ къ карьерѣ Жанны д'Аркъ или Джордано Бруно. А вы?

— Почему такое пренебреженіе къ рейнвейну, господа? Въ вопросѣ о бѣлыхъ винахъ я германофилъ, — заявилъ Кангаровъ. — Нѣтъ, ради Бога, не курите до сыра...

— Я буду курить и въ минуту конца міра.

— Если говорить безъ шутокъ, — сказала графиня, — то я во всѣ эти ужасы совершенно не вѣрю. Богъ этого не допуститъ! — Она положила руку на рукавъ смокинга Кангарова. — Я знаю, вы безбожникъ. Въ политикѣ я вамъ сочувствую по крайней мѣрѣ на семьдесятъ пять процентовъ, меня всѣ считаютъ большевичкой. Но Бога я вамъ ни за что не отдамъ, — съ улыбкой сказала она, — ни за что!

— Дорогая графиня, я не потребую отъ васъ такой... Дѣтка, какъ по-французски жертва? — по-русски обратился посолъ къ Надеждѣ Ивановнѣ, сидѣвшей противъ него на другомъ концѣ стола.

Надежда Ивановна въ этотъ день послѣ долгихъ и мучительныхъ колебаній выщипала себѣ брови; ей было очень совѣстно, вдобавокъ, она не знала, какъ къ этому отнесутся. Къ нѣкоторой ея досадѣ, Тamarinъ совершенно не замѣтилъ новшества: былъ очень смущенъ, когда, по дорогѣ изъ кофейни въ ресторанъ, она, не вытерпѣвъ, сама ему объ этомъ сообщила. — «Нѣтъ, я нисколько не сержусь», — смѣясь, говорила Надя, въ отвѣтъ на его сконфуженныя слова, — «до того ли вамъ, Константинъ

Александровичъ»... — «Правда, не сердитесь? Но, милая, зачѣмъ же вы это сдѣлали? У васъ были очаровательныя брови». — «Да, да, такъ я вамъ теперь и повѣрю, что вы помните, какая я вообще. Но я еще и другое безуміе сдѣлала! Меня надо связать». — «Что такое?» — «Да вотъ купила»... — она вынула изъ сумки эмалевую коробочку, — «vanity case». — «Что?» — «Vanity case, такъ это называется». Тамаринъ смѣялся. — «Вотъ такъ всегда: какой-нибудь острякъ выдумаетъ странное выраженіе, а затѣмъ оно пріобрѣтаетъ право гражданства, и странности больше никто не замѣчаетъ. Такъ было и съ «адской машиной». Сто лѣтъ тому назадъ»... Адская машина не интересовала Надежду Ивановну.

Въ отличіе отъ командарма, Кангаровъ тотчасъ замѣтилъ революцію въ лицѣ дѣтки, замеръ отъ восторга и, улучивъ минуту, незамѣтно погрозилъ ей пальцемъ. Но Надя даже не улыбнулась въ отвѣтъ, — такъ она была взволнована. «Буржуевъ испугалась!» — презрительно ругнула она сама себя. Глаза у нея разбѣгались. Столъ, длинный и узкій, какъ и кабинетъ, былъ убранъ ослѣпительно. «Съ кѣмъ меня посадятъ? Вотъ бы хорошо, если-бы со своими!.. А тамъ за второй дверью что?» Въ кабинетъ, кромѣ небольшой передней, выходила отдѣленная портьерой комнатка съ диваномъ. «Вѣрно, тутъ устраиваются оргіи!» — съ жаднымъ любопытствомъ подумала Надежда Ивановна. На стѣнахъ были зеркала; Надя еще въ передней увидѣла свое изображеніе въ зеркалѣ кабинета. «Нѣтъ, кажется, все какъ слѣдуетъ», — рѣшила она, довольная и бровями, и туалетомъ, и эмалевой коробочкой въ сумкѣ.

Тѣмъ не менѣе, когда въ кабинетъ появилась графская чета, Надежда Ивановна сначала пріуныла. Графиня была женщина среднихъ лѣтъ, — «и красоты совсѣмъ средней», — но на ней были пелерина изъ чернубурой лисицы и черное платье — «тоже черное, а другое! Ахъ, Боже мой!» — со вздохомъ подумала Надя. Сотуаръ на шеѣ у графи-

ни былъ совершенно неправдоподобный по длинѣ нити и по качеству жемчужинъ, а браслетовъ она носила столько, что Надежда Ивановна чуть не ахнула; если-бъ это была какая-нибудь банкирша, то Надя приписала бы множество браслетовъ безвкусию: ей, и по книгамъ, и по кинематографу было извѣстно, что жены банкировъ одѣваются безвкусно, въ отличіе отъ аристократокъ. «Однако вѣдь настоящая графиня!» Браслеты, сотуаръ и чернобурая лисица графини де Белланкомбръ были виѣ предѣловъ возможностей и мечтаній Надежды Ивановны; зато она замѣтила для себя все остальное: сумку, чулки, особенно перчатки, какія-то странныя, зеленноватая, которыхъ Надя, опасаясь безвкусиа, никогда не купила бы въ магазинѣ. «Ничего, старушкѣ никакіе браслеты не помогутъ!» — утѣшала себя она.

Послѣ прихода Вермандуа, сѣли за столъ. Кангаровъ не расаживалъ гостей, съ улыбкой предложивъ всѣмъ садится, «кто какъ и гдѣ хочетъ». Но само собой вышло такъ, что наиболѣе почетные гости, графиня и Вермандуа, оказались справа и слѣва отъ хозяина. По другую сторону графини сѣлъ Вислиценусъ, за нимъ докторъ Майеръ, графъ, Надежда Ивановна. За Вермандуа размѣстились финансистъ, Серизье, Тamarinъ. Такимъ образомъ желаніе Надежды Ивановны исполнилось лишь наполовину: справа отъ нея оказался Константинъ Александровичъ; но слѣва былъ французъ, да еще графъ! — ни съ какимъ графомъ Надежда Ивановна никогда за столомъ не сидѣла. «О чемъ же разговаривать съ этимъ старичкомъ?» — съ ужасомъ подумала она и бросила умоляющій о помощи взглядъ Тamarinу. Старичекъ однако оказался совершенно не страшный. Онъ любезно занималъ ее несложными вопросами, — давно ли она во Франціи? нравится ли ей Парижъ? Иногда заговаривалъ со своимъ сосѣдомъ слѣва, нѣмцемъ; повидимому, не видѣлъ ничего неприличнаго и въ томъ, чтобы помолчать минуту-другую.

Лакей разлилъ хересъ. Надежда Ивановна выпила зал-

помъ и лишь потомъ подумала, что это неблагоразумно. Ей тотчасъ стало легче и веселѣе. Въ Москвѣ она, случалось, выпивала и пять, и шесть рюмокъ водки или наливки, и только разъ въ жизни была пьяна, — въ тотъ день, когда се въ первый разъ поцѣловаль Сашка Павловскій, говорившій, что она пьетъ съ нимъ «нога въ ногу». Къ рыбѣ подали еще какое-то бѣлое вино въ красивыхъ длинныхъ и узкихъ бутылкахъ, которыхъ Надя никогда не видѣла. Надѣ хотѣлось его попробовать, но она не знала, какъ это сдѣлать: передъ ней стояло нѣсколько стакановъ, — въ какой наливать? — опять она стыдилась и того, что не знаетъ правилъ буржуевъ, и того, что это ее конфузить: «стоитъ ли обращать вниманіе на ихъ китайскія церемоніи!..» Лакей налилъ ей вина, оно оказалось горьковатымъ — водка вкуснѣе, — но зато стало совсѣмъ легко. Надя искоса поглядывала, какъ ѣстъ графъ трудную рыбу, и поступала такъ же, какъ онъ, и все выходило отлично, и она не только больше не боялась старичка, но сама задавала ему свѣтскіе вопросы. «Ничего, графъ какъ графъ. Смѣшные они, французы», — шепнула Надежда Ивановна Тамарину. Старички на нее смотрѣли гораздо больше, чѣмъ на графиню; ей показалось даже, что графиня не совсѣмъ этимъ довольна. Это очень обрадовало Надежду Ивановну. «Такъ ей и надо, старой вѣдьмѣ!..»

— Какое заблужденіе, дорогая! — сказала Вермандуа. — Пророкъ Исайя говоритъ: «*Vox multitudinis in montibus quasi populorum frequentium. Ululate quia prope est dies Domini: quasi vastitas a Domino veniet... Ecce dies Domini veniet crudelis. Et visitabo super orbis mala. Et pretiosior erit vir auro et movebitur terra de loco suo...*»

— Какая память у этого человѣка! Но снизойдите къ нашему невѣжеству и переведите.

— Цитирую и перевожу не дословно: «Шуменъ въ горахъ гуль многихъ народовъ. Войте, ибо близокъ день Господень. Почти все будетъ истреблено. Воздамъ все-

ленной за зло ея, и будетъ челоѡкъ рѣже золота, и задрожитъ земля на мѣстѣ своемъ»... Нѣтъ злободневнѣе публицистовъ, чѣмъ библейскіе пророки: вѣдь это написано точно о нынѣшнемъ днѣ. — «Шакалы», — говоритъ еще Исайя, — «будутъ жить въ пустыхъ чертогахъ, и змѣи въ увеселительныхъ садахъ...» Тутъ онъ, можетъ быть, и преувеличиваетъ. Но и у пророка Юлія сказано: «Оставшееся отъ гусеницъ съѣла саранча, оставшееся отъ саранчи съѣли кузнечики, оставшееся отъ кузнечиковъ доѣли мошки... Рыдайте, пьяницы, о винѣ, которое отнято отъ устъ вашихъ». — Пока нѣтъ ни кузнечиковъ, ни мошекъ, выпьемъ еще рейнвейна, — добавилъ Вермандуа. Всѣ смѣялись, кромѣ Вислиценуса и Тамарина. «А мнѣ казалось, что это черта только русскихъ людей: богохульствовать, выпивши», — подумалъ командармъ.

Ему было скучновато. Думалъ, что хорошо было бы поскорѣе вернуться въ свой привычный, удобный, одинокій номеръ и лечь въ постель, съ книгой. Впрочемъ, попавъ на этотъ обѣдъ, Константинъ Александровичъ старался извлечь изъ него, что можно, и отдавалъ должное винамъ, особенно красному. «Съ потопа такого не пилъ»... Вначалѣ онъ потчевалъ Надю: «Надежда Ивановна, еще полстаканчика?». — «Только для васъ, чтобы васъ не обидѣть», — говорила Надя, все смѣлѣя отъ винъ. — «За палу... А теперь за маму»... Потомъ Тамарину показалось, что его сосѣдка выпила больше, чѣмъ нужно, и онъ пересталъ ее угощать.

— Ваши цитаты неубѣдительны, мосье Вермандуа, — сказалъ Серизьс, не желавшій употреблять слова «мѣтры»: они оба были «мѣтры», хотя и въ разномъ качествѣ. — Еврейскіе пророки имѣли въ виду опредѣленные событія въ жизни одного еврейскаго народа, — кажется, разрушеніе Іерусалима, или Вавилонъ, или что-то еще такое, — но никакъ не конецъ міра.

— Бѣдный челоѡкъ! — отвѣтилъ Вермандуа, сокрушенно качая головой. — А это, изъ другого источника,

что, тоже о Вавилонѣ? «*Audituri enim estis praelia et opiniones praeliorum. Videte ne turbemini, oportet enim haec fieri, sed nondum est finis. Consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum; et erunt pestilentiae et fames, et terrae motus per loca. Haec autem initia sunt dolorum*».

— Лицо его немного поблѣднѣло и голосъ зазвучалъ необычно. Всѣ замолчали, хотъ никто цитаты не понялъ. — Кажется, тутъ цитирую безъ ошибокъ. Во всѣхъ отношеніяхъ, даже просто по звуку, по удѣльному вѣсу слова, нѣтъ ничего сильнѣе и значительнѣе этихъ строкъ. До сихъ поръ я никогда не могъ понять, не могъ охватить прямого смысла загадочной главы. Начинаю понимать только теперь: *Nondum est finis. Haec autem initia...* Забудьте, вся настоящая литература, церковная и свѣтская, художественная и философская, все вообще, надъ чѣмъ три тысячи лѣтъ думаютъ умнѣйшіе изъ людей, это эсхатологія въ самомъ подлинномъ и достаточно страшномъ смыслѣ. Обратитесь ли вы къ литературѣ богословской, — она необъятна, я едва ли знаю ея тысячную долю, — всѣ отцы церкви за исключеніемъ, кажется, св. Иренея, утверждали, что міръ старъ, что міръ дряхлѣ, что міръ идетъ къ концу, что міръ — издыхающее тѣло, которое передъ смертнымъ часомъ грызутъ неизлечимыя болѣзни, что міръ — готовый рухнуть домъ, отъ котораго уже отваливаются камни, что насталъ закатъ міра: *in occasu saeculi summus...*

— Можно найти примѣры и ближе, — на очень дурномъ французскомъ языкѣ вставилъ докторъ Зигфридъ Майеръ, давно чувствовавшій, что надо и ему сказать хотъ что-нибудь. — Фридрихъ Ницше прямо говоритъ, что скоро наступятъ конвульси міра и что онъ послѣдній философъ: «*Den letzten Philosophen nenne ich mich, denn ich bin der letzte Mensch*»...

— Страшная мысль: что если всѣ они несутъ постыдную ерунду? — шопотомъ сказала Тамарину Надя. Командармъ посмотрѣлъ на нее и вздохнулъ.

— Какъ замѣчательны эти слова Ницше! — сказала графиня, обращаясь къ нѣмцу. Она задумалась: ужъ не пригласить ли его на одинъ изъ ближайшихъ вторниковъ. — «Но онъ такъ плохо говоритъ по-французски... Посмотримъ»... Графиня была въ хорошемъ настроеніи духа. Обѣдъ совѣтскаго посла очень удался. Въ этой философской бесѣдѣ необыкновенно лѣвыхъ людей было что-то очень поэтическое, что-то отъ послѣднихъ римлянъ, или отъ византійцевъ, или еще отъ какихъ-то древнихъ богослововъ, которые вели хитрый ученый споръ въ какомъ-то городѣ, осажденномъ какими-то варварами. Графиня не вполне ясно представляла себѣ, кто варвары и кто кого осаждаетъ, но она была очень довольна.

Высокимъ свѣтскимъ положеніемъ графиня де Белланкомбръ была обязана главнымъ образомъ своей необычайной способности волноваться, и какъ-то особенно напористо выражать волненіе, по самымъ разнымъ, преимущественно политическимъ, поводамъ. У нея были и другія данныя для блестящаго положенія; но безъ этой способности ни одно изъ нихъ ей такого положенія создать не могло. Происхожденія она была южно-американскаго. Вериаидуа, считавшійся у нея въ домѣ своимъ человекомъ и потому позволявшій себѣ ироническія замѣчанія о хозяйкѣ не только за глаза, но и въ глаза, говорилъ, что свою біографію она должна начинать со дня пріѣзда въ Парижъ: «Вашу раннюю юность надо пропускать, какъ Моммзенъ въ своемъ знаменитомъ трудѣ пропускаетъ весь начальный періодъ исторіи Рима, не заслуживающій, по своему легендарному характеру, вниманія серьезнаго историка». Графиня притворно сердилась: она, по ея словамъ, принадлежала къ знатной испанской семьѣ, почему-то потерявшей титулъ и давно переселившейся въ Южную Америку; до паденія монархіи имѣла право на табуретъ при мадридскомъ дворѣ; отецъ же ея могъ оставаться въ шляпѣ въ присутствіи испанскаго короля. Воспитывалась она во французскомъ католическомъ мона-

стырь и была набожна: благочестіе въ ней уживалось съ необыкновенно лѣвыми взглядами. Бракъ ея съ графомъ де Белланкомбръ былъ устроенъ родителями по расчету. Она принесла въ приданое мужу состояніе большое, но не огромное. Мужъ, бывший много ея старше, далъ ей титулъ звучный, но не исключительный по блеску. Бракъ оказался несчастливомъ: друзья говорили, что графъ измѣнялъ женѣ «сколько могъ и пока могъ»; говорили также, что супруги терпѣть не могутъ другъ друга; они это го почти и не скрывали.

Политическіе дѣятели, бывавшіе въ салонѣ графини, приписывали ея высокое положеніе знатности и богатству; знатные и богатые люди приписывали его уму и образованію графини. Ея салонъ называли то «первымъ политическимъ салономъ Парижа», разумѣя качество, то «послѣднимъ политическимъ салономъ Парижа», исходя изъ принятаго взгляда, будто салоны исчезаютъ или могутъ когда-либо исчезнуть. Впрочемъ, говорили это и о десяткѣ другихъ домовъ. Занимались въ салонѣ не политическими идеями, а политическими людьми, причеиъ признаннаго властителя, какимъ въ другихъ, сходныхъ, гостинныхъ былъ Клемансо, или Жюль Лемэтръ или Анатоль Франсъ, у графини не было. Считался салонъ лѣвымъ, но бывали въ немъ и люди консервативныхъ взглядовъ. Графъ де Белланкомбръ принадлежалъ къ республиканскому союзу, иными словами былъ монархистомъ. Впрочемъ, о немъ никто не говорилъ и не думалъ. Интервьюерамъ, безпрестанно обращающимся къ графинѣ и, по ея словамъ, отравлявшимъ ей жизнь, никогда и въ голову не пришло бы обратиться къ графу, — развѣ только съ анкетой о бриджѣ, въ которомъ онъ пользовался большимъ авторитетомъ. Но такъ какъ графиня себя называла «большевичкой на 75 процентовъ», а графъ сочувствовалъ монархистамъ, то въ салонѣ встрѣчались люди, едва между собой раскланивавшіеся въ другихъ мѣстахъ, — говорили, что такое сочетаніе гостей можетъ себѣ по-

зводитъ только госпожа де Белланкомбръ. Это было особенностью ея салона, благодаря которой имъ дорожили и лѣвые, и правые: и тѣмъ, и другимъ ихъ собственная среда достаточно надеѣла: общество враговъ въ не-вражеской атмосферѣ было по ощущеніямъ острѣе; многіе предпочитали говорить любезности врагамъ, а не друзьямъ. У графини де Белланкомбръ помирились два знаменитѣйшихъ политическихъ дѣятеля, и это упрочило славу салона, придавъ ему почти историческій характеръ.

Возраста у графини до недавняго времени не было. Ея специальностью была молодость духа; она прочно причислилась къ молодымъ, и до нѣкоторыхъ поръ это шло отлично; но въ послѣднее время юныя дамы, съ которыми она продавала шампанское на благотворительныхъ базарахъ, говорили ей съ искреннимъ жаромъ: «вы моложе насъ всѣхъ!», и что-то въ ихъ сіяющихъ улыбкахъ было не совсѣмъ пріятно графинѣ; молодость духа дѣйствовала все же лишь до нѣкотораго предѣла. Графиня была очень добра, часто устраивала разные благотворительные вечера, разсылала билеты, ѣздила съ подписными листами; жертвовала и сама деньги, однако немного: большая часть ея вклада была натуральной и заключалась въ инициативѣ, въ совѣтахъ, въ общественной бодрости. Говорили впрочемъ, что она благодѣтельствуетъ нѣкоторымъ людямъ тайно, но тутъ же добавляли, что это всего лучше и въ религіозномъ, и въ экономическомъ отношеніи.

Имѣлъ салонъ графини нѣкоторыя второстепенныя особенности. Обѣдали въ ея домѣ по старинному, на полчаса раньше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Въ числѣ блюдъ два или три были изобрѣтены специально для салона бывавшимъ въ немъ извѣстнымъ гастрономомъ. Иностранцамъ было легче попасть въ салонъ, чѣмъ французамъ, вродѣ какъ иностранцамъ легче, чѣмъ французамъ, получить орденъ Почетнаго легіона. Салонъ и вообще не считался особенно замкнутымъ, — карьера была открыта

талантамъ, — въ домъ графини могъ попасть всякій знаменитый, или подающій твердыя надежды на славу, челоуѣкъ, если онъ умѣлъ прилично себя вести и если все же не выходилъ изъ нѣкоторыхъ, хоть очень широкихъ, политическихъ предѣловъ. Предѣлы же эти не были установлены разъ навсегда и понемногу раздвигались въ связи съ общимъ ходомъ исторіи. Такъ, знаменитые нѣмцы и мечтать не могли бы о салонѣ графини еще въ 1920 году, но были въ него допущены въ 1922-омъ. Такъ и большевики появились въ домѣ не сразу, притомъ сначала лишь къ чаю, а не къ обѣду, — графиня была одной изъ пяти или шести дамъ, каждая изъ которыхъ гордилась тѣмъ, что первая начала принимать у себя большевиковъ и что именно ей подражали въ этомъ другія (какъ версальскіе придворные стали вырѣзывать у себя фистулу послѣ того, какъ эта операція была сдѣлана Людовику XIV). Для совѣтскихъ дѣятелей условіе славы замѣнялось условіемъ виднаго положенія въ партіи или большой освѣдомленности въ международной политикѣ: совѣтскіе дипломаты въ послѣднее время цѣнили на вѣсъ золота. Французскихъ коммунистовъ графиня еще не принимала. Ея большевистскія симпатіи отчасти вытекали изъ симпатій къ Россіи, отчасти съ ними сплетались. Вермандуа совѣтовалъ ей душиться смѣсью «Amou Dagia» и «Cuir de Russie», а на маленькомъ столикѣ въ гостиной держать томикъ Достоевскаго: «но, Боже васъ избави, не большіе его романы, — сейчасъ лучше всего «Вѣчный мужъ», онъ въ страшномъ повышеніи».

Говорилъ онъ это благодушно, такъ какъ любилъ графиню де Белланкомбръ или, по крайней мѣрѣ, относился къ ней съ меньшимъ отвращеніемъ, чѣмъ къ большинству другихъ людей. Вдобавокъ, привыкъ къ ея удобному, хорошо поставленному дому. Особенности ея снобизма были не очень ему интересны, зналъ онъ ее наизусть, да и думалъ, что знать собственно нечего. Удивляли его въ графинѣ лишь ея глаза, — прекрасные, глубокіе, черные.

обведенные кругами, — «не тѣми, что бываютъ при бо-лѣзни почекъ», — и еще больше удивляло, что она была необыкновенно музыкальна, притомъ безъ всякой рисовки, безъ оглядки на моду, безъ желанія непременно открыть своего генія, какъ Полина Меттернихъ «открыла Вагнера». Графиня могла часами, съ неподдѣльнымъ наслажденіемъ, слушать самую трудную, мало доступную музыку. Въ ея салонѣ изрѣдка устраивались музыкальные вечера, всегда очень хорошіе, ставившіе слушателямъ требованія, которыхъ многіе не выдерживали: незамѣтно исчезали или переходили въ билліардную. Графиня слушала, сидя на стулѣ, въ странной, не свѣтской, позѣ, какъ-то на-бокъ, охвативъ правой рукой лѣвое плечо, и глаза ея при этомъ принимали выраженіе, обычно называемое потустороннимъ. «Фальшиво-духовные глаза? Или что-то затерялъ Господь Богъ, создавая душу этой неумной женщины», — думалъ тогда, глядя на нее, Вермандуа.

— Миѣ было неизвѣстно это выраженіе Ницше; — сказалъ онъ нѣмцу, лицо котораго тотчасъ приняло такое выраженіе, точно онъ радъ былъ сдѣлать цѣнный подарокъ знаменитому человѣку. — Но я именно и хотѣлъ сказать, что, наряду съ религіозной литературой, то же самое говорила литература, въ отношеніи благочестія весьма подозрительная. Первой можно дать конформистское истолкованіе, хоть слишкомъ и въ ней велика сила неконформистскаго выраженія. Вторая же такому истолкованію не поддается никоимъ образомъ. Смутное или опредѣленное сознаніе близости конца было у величайшихъ мыслителей міра. Они утѣшались, какъ могли. Платонъ гдѣ-то высказываетъ надежду, что черезъ пять или черезъ десять тысячъ лѣтъ міръ возродится; чело-вѣческая душа выберетъ для себя новое тѣло и снова воскреснетъ для земной жизни... Будемъ надѣяться, что это такъ, — вздыхая, вставилъ онъ, — пять или десять тысячъ лѣтъ какъ-нибудь переждать можно. На нѣкоторое время я, пожалуй, теперь и не прочь бы закрыть гла-

за, заткнуть уши. Въ самомъ дѣлѣ было бы хорошо въ первые пять тысячъ лѣтъ послѣ нынѣшнихъ событій не читать никакихъ газетъ («и романовъ моего друга Эмиля», — хотѣлъ было добавить онъ, но удержался изъ товарищеской корректности). Съ другой стороны, воскреснуть въ новомъ, чужомъ и чуждомъ мѣрѣ, съ воспоминаніемъ о мѣрѣ прошломъ — это тоже можетъ быть нѣсколько скучновато. Какъ вы думаете, дорогой другъ? Помните, кстати, что срокъ для каждой души, по Платону, можетъ зависѣть отъ ея качествъ и отъ заслугъ носителя ея перваго тѣла. Имѣйте это въ виду, — обратился онъ къ финансисту, давно чувствуя, что надо понизить тонъ разговора.

— Не думаете ли вы однако, что тутъ есть нѣкоторое противорѣчіе? — спросилъ въ томъ же весело-ироническомъ тонѣ Серизье. — По вашимъ словамъ, рѣшительно всѣ умные и ученые люди всегда думали, что мѣръ идетъ къ концу. Однако, мѣръ, слава Богу, еще кое-какъ существуетъ. Неужели были правы люди глупые и невѣжественные?

— Это, конечно, доводъ не лишенный силы. Климентъ Римскій отвѣчалъ на него такъ: «Безумцы говорятъ: «слышали мы это въ дни отцовъ нашихъ, и вотъ мы состарились, и ничего этого не было». — «Взгляните же на дерево», — отвѣчаетъ безумцамъ Климентъ, — «сначала оно теряетъ листья, потомъ...»

— Ради Бога, довольно Климентовъ! — воскликнулъ Серизье, весьма сомнѣвавшійся въ томъ, что Верамндуа, или вообще кто бы то ни было, могъ серьезно читать Климента Римскаго. «Едва ли онъ и цитируетъ по первоисточнику. А впрочемъ, отъ него станется»...

— Тѣмъ болѣе, что мы совершенно не знаемъ, кто былъ этотъ почтенный человекъ. Я, по крайней мѣрѣ, понятія не имѣю, — сказала графъ де Белланкомбръ. Надежда Ивановна расхохоталась. Всѣ взгляды обратились на нее. Кангаровъ ласково погрозилъ ей пальцемъ.

— Дети должны вести себя тихо, — по-русски сказалъ онъ, — особенно когда рѣчь идетъ о такихъ предметахъ. Слышала, что скоро вездѣ будутъ шакалы и змѣи? А ты еще говоришь о прибавкѣ жалованья! Монетки надо собирать, вотъ что... Прошу меня извинить, — весело обратился онъ къ гостямъ, — я прочелъ наставленіе этой дѣвочки.

— Она совершенно права, что кохочеть, — заступился за Надю Вермандуа. — Такъ, вѣрно, въ Троѣ молоденькія дѣвочки кохотали, слушая доносившееся изъ башни гнѣе безумной Кассандры.

— Я такъ и думалъ, что вы Кассандра, — сказалъ финансистъ. — Нѣтъ ничего благодарнѣе и пріятнѣе этой роли.

— «Je combien que idigne y fuz appellé», — какъ говорить нашъ учитель Раблэ.

— Я несогласна, — возразила графиня. — Она сидѣла въ башнѣ и пѣла грустныя пѣсни, да? Что же тутъ хорошаго?

— Мало, мало, — смѣясь, подтвердилъ Вермандуа. — У Эврипида эта безтактная женщина даже танцуетъ на развалинахъ Трон: все вышло такъ, какъ она предсказывала. Зато потомъ Аяксъ и Агамемнонъ поступили съ ней очень нелюбезно. Не уточняю въ присутствіи милой барышни, — добавилъ онъ, сладко улыбнувшись Надѣ («еще одинъ старичекъ!» — побѣдно подумала она и опустила глаза, очень похоже изобразивъ дѣвичью стыдливость).

— Надо быть богословомъ или Вермандуа, чтобы помнить все это: и Эврипидовъ, и Климентовъ, — восторженно сказала графиня, сгоряча относя къ богословамъ и Эврипида.

— Повторяю мое смиренное, нехитрое возраженіе, — сказалъ Серизье, не вполне довольный выпавшей ему скромной ролью въ застольной бесѣдѣ: знаменитый адвокатъ стоилъ знаменитаго писателя. — Вы утверждаете,

что міръ идетъ къ чорту и что всѣ великіе мыслители такъ говорили во всѣ времена. Я на это отвѣчаю: во-первыхъ, міръ еще къ чорту не пошелъ; во-вторыхъ, едва ли такъ говорили всѣ великіе мыслители; въ-третьихъ, великимъ мыслителямъ свойственно ошибаться въ сужденія о своей эпохѣ, — они, случалось, громили ее и проклинали и предсказывали всевозможные ужасы, а позднѣе, черезъ пятьдесятъ или черезъ сто лѣтъ послѣ такихъ утверждений, оказывалось, что эпоха была славной, великой, благодѣтельной, что она сыграла огромную роль въ шествіи человѣчества къ лучшему будущему. Такъ было и съ англійской революціей, и еще больше съ нашей.

— Разумѣется! — энергично сказалъ Кангаровъ и стеръ съ лица улыбку, почувствовавъ, что, послѣ философскихъ пустяковъ, разговоръ становится политическимъ, слѣдовательно серьезнымъ, и теперь какъ-то касается большевиковъ. — Разумѣется! Эти эпохи и создали царство духа, — почему-то брякнулъ онъ съ еще бѣльшей силой.

— Забудьте, господа, что мы, какъ почти всегда бываетъ, нѣсколько измѣнили въ спорѣ проблему спора, — сказалъ съ улыбкой Вермандуа, бывший тоже въ добромъ настроеніи. Данное имъ себѣ обѣщаніе говорить только о погодѣ было забыто въ самомъ началѣ вечера. Онъ велъ бесѣду въ привычномъ ему стилѣ тѣхъ ученыхъ благопристойныхъ шуточекъ, которыми обмѣниваются, на торжественныхъ засѣданіяхъ, старый и вновь принимаемый члены Французской Академіи. Но Вермандуа здѣсь, считаясь съ низкимъ уровнемъ аудиторіи, нѣсколько упрощалъ этотъ стиль, что доставляло ему удовольствіе: такъ Маллармэ мечталъ о сотрудничествѣ въ «Пти Журналь». — Мы говорили о концѣ міра. Вы теперь говорите о шествіи человѣчества къ лучшему будущему. Поставимъ же вопросъ такъ: міръ продолжается, развиваясь въ твердо имъ принятомъ нынѣшнемъ направленіи. Я съ искреннимъ вѣдохомъ спрашиваю: такъ ли ужъ ему необходимо

для этого продолжаться? Недолгое царство духа, о которомъ вы говорите, дорогой посоль, — обратился онъ къ Кангарову съ нѣжной улыбкой, — собственно всегда было вполнѣ конституціоннымъ, съ весьма ограниченными правами монарха. Но теперь монархъ лишился и фиктивной видимости власти. Міру было дано то, что въ новѣйшей педагогіи, кажется, называется предметнымъ урокомъ. У человѣка есть очень большія достоинства; однако, къ сожалѣнію, онъ чрезвычайно глупъ. И вамъ, большевикамъ, принадлежитъ безспорная заслуга: вы первые въ новѣйшей исторіи выяснили намъ это съ такой педагогической наглядностью (Кангаровъ слабо улыбнулся, не зная, какъ отнестись къ словамъ Вермандуа). Теперь о всеобщемъ избирательномъ правѣ лучше не говорить, а бормотать, по возможности не глядя въ глаза собесѣднику. Бормотать же, конечно, можно и дальше: это единственное утѣшеніе, которое намъ остается. Да еще, пожалуй, то, что человѣкъ, нынѣ лишенный всѣхъ правъ состоянія, въ награду и утѣшеніе себѣ до поры до времени (скажемъ, до столкновенія съ кометой) быстро увеличиваетъ свою такъ называемую «власть надъ природой»; да, да, аэропланы дѣлаютъ пятьсотъ километровъ въ часъ, а скоро будутъ дѣлать, вѣроятно, тысячу. Однако мнѣ противны и эти аэропланы, и люди, которые на нихъ летаютъ. Чудеса эти служатъ для того, чтобы, съ бѣшенымъ рискомъ для почтальона, перевозить почту изъ Австраліи, и еще для того, чтобы, при случаѣ, сжечь Парижъ. Но изъ Австраліи я получаю весьма мало писемъ, и въ нихъ нѣтъ ничего особенно спѣшнаго; а Парижемъ я, по привычкѣ, нѣсколько дорожу. У науки плюсы и минусы стоятъ рядышкомъ, какъ *marriages* и *deuils* въ свѣтской хроникѣ газетъ...

— Вопросъ о томъ, нужно ли міру продолжаться, не имѣетъ разумнаго смысла, — прервалъ его адвокатъ. — Міръ существуетъ и, не въ обиду вамъ будь сказано, будетъ существовать и дальше. Тогда возникаетъ вопросъ

и о социальномъ, и о духовномъ прогрессѣ. Хоть убейте меня, я не вижу признаковъ близящагося столкновения земли съ кометою; но если это столкновение неизбежно, то мы съ вами тутъ рѣшительно ничего подѣлать не можемъ. Устройство общества — другой вопросъ.

— Вы увидите, будетъ такъ: земля столкнется съ кометою какъ разъ послѣ того, какъ, при участіи французской социалистической партіи и нашемъ, дорогой другъ, на землѣ наступитъ идеальный общественный строй. Тотъ я повеселюсь, когда столпотвореніе выброситъ меня изъ могилы, — сказалъ Вермандуа, снова снижая тонъ разговора; онъ всегда это дѣлалъ во время, оправдывая свою репутацію превосходнаго causeur'a.

— Вы и въ могилѣ будете лежать съ саркастической улыбкой, — сказала графиня. «Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire — Voltige-t-il encor sur tes os décharnés?..» Любите ли вы эти божественные стихи? — «...Eh bien, qu'il soit permis d'en baiser la poussière — Au moins crédule enfant de ce siècle sans foi, — Et de pleurer, ô Christ! sur cette froide terre — Qui vivait de ta mort, et qui mourra sans toi!» — прочла она негромко. — Вы видите, я тоже могу приводить цитаты.

— Цитаты съ такими нелюбезными словами! «Hideux sourire»! Не ожидалъ!

— Сравненіе съ Вольтеромъ, даже при этомъ словѣ, не можетъ быть нелюбезнымъ, — сказалъ графъ. — Кроме того я, какъ вы знаете, не отвѣчаю за мою жену. Поэтому, пожалуйста, не посылайте мнѣ секундантовъ.

— Господа, идетъ утка! — воскликнулъ Вермандуа. — Объявляется небольшой антрактъ въ нашей бесѣдѣ.

— Налейте мнѣ еще вина, вонъ того, — негромко сказала Надя Тамирину.

— Не много ли будетъ, Надежда Ивановна?

— Что же тутъ дѣлать, если не ѣсть и не пить?

— Кушайте на здоровье, а много пить нехорошо.

— Только попробовать: я этого еще не пила...

XVIII.

Убийство было назначено на 9 часовъ 15 минутъ. Время онъ разсчиталъ точно и составилъ расписание: въ такомъ дѣлѣ очень важенъ темпъ. Этотъ поѣздъ изъ Парижа въ Лувесьеннъ былъ почти всегда полонъ, какъ и обратный, привозившій запоздавшихъ на дачъ парижанъ. Поѣздъ приходилъ на лувесьеннскую станцію ровно въ девять, отъ вокзала до виллы надо было идти семь минутъ. Приблизительно столько же онъ считалъ на разговоръ: нельзя же прямо въ передней, съ перваго слова стрѣлять. Затѣмъ четверть часа отводилась на поиски денегъ, минутъ десять въ запасъ, на всякій случай, семь минутъ на возвращеніе. Дачные поѣзда по этой линіи шли съ совершенной точностью.

Позднѣе Альвера съ удивленіемъ вспоминалъ, что провелъ этотъ день въ общемъ довольно спокойно, съ внѣшней стороны почти такъ, какъ всегда. Наканунѣ легъ въ постель въ одиннадцать. Передъ сномъ, замирая, думалъ: не отказаться ли? Еще съ мѣсяць тому назадъ это было вполне возможно, хоть и нелегко. «Теперь нельзя. И почему же отказываться? Его что-ли жаль? Старикъ скряга, отсчитывалъ саятими за пробѣлы внизу страницъ, но зла я отъ него не видѣлъ... Однако, если съ этимъ считаться, то никого нельзя убивать. Съ точки зрѣнія Дарвина, его надо убить въ первую очередь, такъ какъ онъ дегенератъ: это видно и по его тикю». У мосье Шартъе въ самомъ дѣлѣ часто дергались лицевые мускулы вокругъ лѣваго глаза. Повидимому, тикъ отравлялъ ему жизнь: онъ всегда поспѣшно отворачивался, стыдяся своего недостатка и стараясь его скрыть. «Странно все-таки, какія вещи отравляютъ существованіе людямъ»... Обо всемъ этомъ Альвера думалъ такъ, не серьезно, не по настоящему: умѣстны были по настоящему только соображенія о технической сторонѣ дѣла. Тутъ тоже все было передумано:

онъ не оставилъ безъ вниманія ни одной подробности. Теперь перебиралъ ихъ въ мысляхъ бѣгло, конспективно, почти механически. «Да, конечно, отступить поздно», — еще разъ сказалъ онъ себѣ. Самъ не могъ бы объяснить, почему именно поздно и съ какихъ поръ поздно. Но это было такъ. Въ постели заставилъ себя еще почитать книгу: мемуары Ласенэра. Хотя Альвера совершенно презиралъ этого человѣка, но, когда дошелъ до фразы: «Въ это время начался мой поединокъ съ обществомъ. Я рѣшилъ стать общественнымъ бѣдствіемъ», — чуть не прослезился отъ радости и умиленія. Послѣднія колебанія у него исчезли. «Да, разумѣется, все рѣшено!» Онъ тотчасъ заснулъ и спалъ, если не вполнѣ хорошо, то едва ли не спокойнѣе, чѣмъ обычно.

Все же проснулся онъ утромъ въ ужасѣ, поднялся на постели и нѣсколько минутъ просидѣлъ съ широко раскрытыми глазами: «Сегодня!..» Зналъ, что ужъ теперь рѣшенія ни за что не переменить. Ему даже казалось, что это больше отъ него не зависитъ. Съ утра весь день его беспокоила зѣвота, точно онъ провелъ бессонную ночь. Альвера умылся, выбрился, ни разу себя не порѣзавъ, — «значить, руки не дрожали и не будутъ дрожать», — одѣлся и, когда застегивалъ запонку, подумалъ, что такъ надо будетъ прожить еще двѣнадцать часовъ. Силы на мгновенье его оставили. Справившись съ собой, онъ постановилъ ни въ чемъ не отступать отъ своего наго времяпрепровожденія: отступленіе отъ привычекъ могло бы вдобавокъ оказаться противъ него косвенной уликой. «Хоть ужъ если дѣло дойдетъ до такихъ уликъ, значить, я погибъ»... Альвера напился кофе; ѣсть ему не хотѣлось, и все беспокоила зѣвота. Написалъ письмо портному, — обстоятельство обоюдоострое: «Съ одной стороны, человѣкъ, идущій на убійство, не станетъ торговаться съ портнымъ изъ-за двадцати франковъ; но съ другой стороны, въ случаѣ провала, фактъ отягчающій: «какое хладнокровіе! закоренѣлый злодѣй!»

Въ десять часовъ онъ, тоже какъ всегда, отправился къ Вермандуа. Старикъ, вопреки своему обыкновенію, былъ, повидимому, увлеченъ работой. Разсѣянно поздоровался съ секретаремъ, не отрываясь отъ стола, разсѣянно сказалъ: «да, да, такъ имъ и отвѣтите, мой другъ», и видимо очень желалъ, чтобы его возможно скорѣе оставили въ покоѣ. Передъ нимъ на столѣ лежала раскрытая папка отъ греческаго романа, онъ что-то необычно-торопливо писалъ. Изъ обращенія «*mon ami*» Альвера сдѣлалъ выводъ, что старый маниакъ чѣмъ-то доволенъ, вѣроятно работой: иначе сказалъ бы болѣе сдержанно: «*mon cher ami*».

Впослѣдствіи Вермандуа не могъ себя простить, что не обратилъ въ то утро никакого вниманія на своего секретаря: это былъ, конечно, единственный случай поговорить съ человѣкомъ, который рассчитывалъ вечеромъ того же дня совершить уголовное убійство. «Но какъ же я, профессиональный наблюдатель, ничего въ немъ не замѣтилъ?!» Надо было признать правду: онъ не замѣтилъ рѣшительно ничего, всѣ его мысли были заняты коринфской встрѣчей Лисандра. Альвера смотрѣлъ на старика съ совершеннымъ презрѣніемъ: къ собственному его удивленію, замыселъ внушалъ ему сознаніе большого моральнаго превосходства надъ людьми, неспособными ни на что подобное. И опять онъ весело себя представилъ изумленіе Вермандуа въ случаѣ, если-бъ завтра внезапно явилась полиція и сообщила, что его секретарь убилъ человека съ цѣлью грабежа. Было почти досадно, что этого не будетъ: преступленіе останется нераскрытымъ.

Закончивъ секретарскую работу, Альвера погулялъ по улицамъ, не переставая нервно зѣвать, затѣмъ позавтракалъ въ дешевомъ ресторанѣ: насильно себя заставилъ поѣсть въ мѣру (онъ зналъ, сколько калорій даетъ каждое блюдо), не пилъ вина, — «алкоголь для такого дѣла всего опаснѣе», — но воды выпилъ очень много. Купилъ на ужинъ ветчины, отправился домой. Дома дѣлать

было нечего: обычно онъ въ эти часы занимался перепиской или чтеніемъ. Попробовалъ читать, оказалось невозможнымъ. Только пробѣжалъ газету, думая о томъ, что въ ней будетъ напечатано завтра, вотъ здѣсь, на этомъ мѣстѣ... Сѣлъ за письменный столъ и, за отсутствіемъ другого дѣла, сталъ снова конспективно провѣрять цѣпь своихъ умозаключеній.

Способы уличенія преступниковъ сводились, какъ ему было извѣстно, къ сознанію, къ свидѣтельскимъ показаніямъ, къ прямымъ и косвеннымъ уликамъ. «О сознаніи рѣчи нѣтъ, — пусть сознается кретинъ Достоевскаго. Свидѣтельскія показанія? Въ этотъ поѣздъ на станціи садится, въ среднемъ, человѣкъ восемь или десять. Если они всѣ запомнятъ другъ друга въ лицо, то подозрѣнія должны распредѣлиться между четырьмя или пятью людьми: въ самомъ дѣлѣ, можно предположить, что остальные, по той или иной причинѣ, окажутся внѣ подозрѣній. Но почему слѣдъ долженъ вести именно къ этому поѣзду? Убийство будетъ обнаружено на слѣдующее утро, если по денщица въ этотъ день приходитъ къ мосье Шартье. Въ противномъ случаѣ узнаютъ объ убійствѣ еще позднѣе. Врачи устанавливаютъ часъ смерти лишь съ приближительной точностью... — «Меньенъ, основныя данныя, танатологическая фауна...» — мелькали у него въ головѣ обрывки изъ прочитанныхъ научныхъ трудовъ, — «хотя тутъ едва ли можетъ идти рѣчь о танатологической фаунѣ... Предположимъ, они установятъ, что убійство произошло между семью и десятью вечера. За это время черезъ Лувесьеннъ проходитъ около десяти поѣздовъ. Значитъ, подозрѣнія уже распредѣлятся приблизительно между сорока или пятьюдесятью людьми. Это можно было бы даже разсчитать математически точно... Впрочемъ, математически точно разсчитать нельзя, такъ какъ неточны предпосылки: почему именно половина пассажировъ окажется внѣ подозрѣній? можетъ быть, только треть или двѣ трети? И какъ, на основаніи поѣздовъ, совершавшихъ

ся въ разное время, въ разные дни, въ разные часы, сказать съ увѣренностью, что въ среднемъ на станціи въ поѣздъ садится именно десять человѣкъ, а не восемь и не пятнадцать?.. Какъ бы то ни было, это неопасно. Гораздо хуже, если кто-нибудь обратитъ вниманіе въ Лувесьеннѣ. Гдѣ же именно? На тропинкѣ, что идетъ отъ большой дороги къ виллѣ мосье Шартъе, я ни разу никого не встрѣтилъ. Неужели сегодня встрѣчу въ первый разъ? (тогда, разумѣется, страшно усиливается подозрѣніе). На большой дорогѣ, напротивъ, въ лѣтній вечеръ всегда шляется немало людей, и мѣстныхъ, и парижанъ, — это не страшно, именно потому, что ихъ много. Самый опасный моментъ: переходъ съ тропинки на дорогу. Но, во-первыхъ, освѣщеніе тамъ плохое, фонарь далеко. А, во-вторыхъ, я постараюсь прошмыгнуть быстро, когда на дорогѣ никого не будетъ. Полиціи же и вообще, должно быть, три человѣка на всю деревню. Я за все время только разъ встрѣтилъ циклистовъ, да и тѣ, кажется, ѣхали въ Сентъ-Жермэнъ»... Онъ вышелъ въ корридоръ, налилъ въ графинъ воды, выпилъ залпомъ стаканъ и вернулся къ своимъ мыслямъ:

«Допустимъ, однако, что кто-нибудь почему-либо обратитъ вниманіе. Допустимъ, что онъ, прочитавъ затѣмъ объ убійствѣ, заявитъ о своихъ подозрѣніяхъ полиціи, — хотя люди очень неохотно дѣлаютъ такія заявленія: хлопотливо, придется выступать на допросъ, на судъ, да вдругъ еще навлечешь подозрѣнія на себя! (Другое дѣло, если меня поймаютъ. Тогда мои фотографіи появятся въ газетахъ, и тогда меня опознаютъ даже люди, никогда меня въ глаза не видѣвшіе). Все же допустимъ, что кто-то замѣтитъ и отправится въ полицію. Что же онъ покажетъ? Что видѣлъ молодого человѣка въ темномъ костюмѣ и въ очкахъ? Но темнаго костюма я носить больше не буду нѣсколько мѣсяцевъ, а очки — примѣта ложная, которая слѣдовательно только собьетъ слѣдствіе...

Вначалѣ, къ тому же, они вѣрно, будутъ искать среди лувесенскихъ...»

Онъ опять примѣрилъ очки. Уже выработалась нѣкоторая привычка: теперь носить ихъ было не такъ странно и неприятно, какъ раньше. Покупка сошла не совсѣмъ гладко. Оптикъ совѣтовалъ сначала посоветоваться съ врачомъ: «у васъ какъ будто конъюнктивитъ». — «Да, я и лечусь у врача; онъ мнѣ велѣлъ носить за работой очки... — «Какой же номеръ?» — «Этого я не помню, но у меня близорукость очень слабая». — «Врачъ не указалъ номера?» Оптикъ пожалъ плечами и усадилъ его противъ доски съ рядами буквъ разныхъ размѣровъ. Альвера притворился, что не разбираетъ только самыхъ мелкихъ буквъ. Очки были приобрѣтены, но осталось смутно-неприятное чувство: продѣлано необдуманно, въ научномъ убійствѣ и такая мелочь должна тщательно обдумываться впередъ. Носить очки было странно, и тутъ тоже вышла неожиданность. Онъ опасался, что въ очкахъ будетъ видѣть хуже; оказалось напротивъ, что видитъ лучше и по новому: люди, деревья, вещи стали иными. Рѣшилъ все же снять очки при входѣ въ домъ мосье Шартье, такъ какъ въ очкахъ никогда не стрѣлялъ. «Да еще у него могли бы возникнуть подозрѣнія... Въ общемъ, очки были наиболѣе слабой технической выдумкой: не такъ они и мѣняютъ обликъ человѣка.

Походилъ, зѣвая, по комнатѣ, выпилъ еще воды, поправилъ книгу, выдвинувшуюся изъ ряда на полкѣ. Подумалъ даже, не поработать ли надъ «Энергетическимъ міропониманіемъ»? Это было бы высшимъ торжествомъ воли и духа: въ такой день работать, какъ ни въ чемъ ни бывало! Однако за работу не взялся, — уже не стоило, — и вернулся къ уликамъ. Дактилоскопическихъ отпечатковъ не будетъ. Онъ зналъ, что это самое страшное, и рѣшилъ все продѣлать въ перчаткахъ. Мѣра элементарная, безошибочная, и если преступники къ ней прибѣгаютъ сравнительно рѣдко, то это лишній разъ показыва-

еть, на какой низкой ступени стоит техника преступленія. У сыска есть свои Шерлоки Хольмсы, но ихъ дѣло неизмѣримо легче: они не убиваютъ, а выслѣживаютъ, не нарушая ни человѣческихъ, ни такъ называемыхъ божескихъ законовъ. Убійца, въ отличіе отъ сыщика, связанъ всѣмъ: законами, страхомъ, обстановкой, срокомъ, отсутствіемъ аппарата, «угрызеніями совѣсти», — Альвера засмѣялся. «Быть можетъ, мое преступленіе будетъ первымъ научнымъ убійствомъ въ исторіи!..» Къ перчаткамъ онъ тоже привыкъ: въ послѣдній разъ стрѣлялъ въ лѣсу въ перчаткахъ, дома въ перчаткахъ вынималъ бумаги изъ ящиковъ. Чтобы не вызвать какъ-нибудь подозрѣній у заказчика, не снялъ перчатокъ, отдавая ему позавчера работу: сослался на какое-то кожное заболѣваніе и тотчасъ пожалѣлъ, что сослался: «вдругъ онъ мнительный человѣкъ, испугается заразы; не дастъ продолженія рукописи?..» Но у мосея Шартье какъ разъ дернулось лицо: онъ быстро отвернулся и не спросилъ ни слова о кожной болѣзни.

Не могло быть и косвенныхъ уликъ. Старику его фамилія извѣстна не была. Альвера къ нему обратился по газетному объявленію, работу всегда приносилъ, — только при знакомствѣ пробормоталъ очень невнятно нѣчто вродѣ имени. По тому мычанію, которымъ Шартье, обращаясь къ нему, сопровождалъ слово мосея, ясно было, что онъ совершенно не знаетъ, какъ зовутъ переписчика. «Да и не можетъ знать. Едва ли этотъ одинокій дѣловой человѣкъ сообщилъ кому бы то ни было, что даетъ въ переписку бумаги: это все дѣловые документы, люди о такихъ вещахъ распространяются небхотно. А если кому-либо и сказалъ, то какая же можетъ быть связь между перепиской бумагъ и преступленіемъ? Но предположимъ опять худшее: допустимъ, онъ сообщилъ, напимѣръ, своей поденщицѣ, что переписчикъ возитъ къ нему работу на домъ. Людей, занимающихся перепиской профессионально, въ Парижѣ тысячи, и меня среди нихъ нѣтъ, ни-

кто не знаетъ, что я этимъ занимаюсь: я секретарь писателя Вермандуа, больше ничего. Пусть полиція и начнетъ поиски среди профессиональныхъ переписчиковъ, — лишній ложный слѣдъ, отлично. Правда, у каждой пишущей машины есть нѣчто вродѣ своего почерка. Но почеркъ моего Ремингтона они могутъ узнать только послѣ того, какъ произведутъ у меня обыскъ. Тогда это можетъ быть важной уликой, но тогда лишняя улика не идетъ въ счетъ... Почему вообще попадается большинство преступниковъ? Прежде всего, по неопытности и легкомыслію: ничего заранѣе толкомъ обдумать они не могутъ. Потому — болтовня; это люди изъ milieu, гдѣ у полиціи множество освѣдомителей. Затѣмъ дактилоскопическіе отпечатки. Научное преступленіе въ девяти случаяхъ изъ десяти должно сходить безнаказаннымъ. Въ моемъ дѣлѣ самое опасное: сбытъ».

Онъ вздохнулъ: здѣсь было самое слабое мѣсто такъ хорошо разработаннаго замысла. Альвера предполагалъ, что его заказчикъ человѣкъ состоятельный: это какъ будто вытекало и изъ отдававшихся имъ въ переписку дѣловыхъ бумагъ. Жилъ онъ небогато: правда, своя вилла въ Лувесеннѣ, — должна стоить тысячь полтора, — но прислуги у него не было: нѣсколько разъ въ недѣлю приходила поденщица. Завтракалъ онъ въ Парижѣ, гдѣ проводилъ утро и часть дня. Ужиналъ, повидимому, у себя, по-стариковски. «Холостякъ или вдовецъ? Скорѣе, вдовецъ... Знакомства у него вѣрно только въ Парижѣ. Но если мосье Шартъ и богатъ, то какія же доказательства, что у него дома хранятся большія деньги? Въ бумажникѣ, когда онъ расплачивался, были довольно толстыя пачки, и не только сотенныя: была позавчера пачка крупныхъ. Но можетъ быть, сегодня ея уже нѣтъ? Почему же однако всѣ три раза бумажникъ былъ полонъ, а сегодня не будетъ? Конечно, должны быть деньги и въ томъ сѣромъ ящикѣ на комодѣ. Относительно письменнаго стола еще могли быть сомнѣнія, но сѣрый ящикъ

другого назначенія и не могъ имѣть. «Если не деньги, то цѣнныя бумаги»... — Альвера имѣлъ очень смутное понятіе о цѣнныхъ бумагахъ. — «Еще можно ли будетъ продать? Можетъ быть, номера гдѣ-нибудь записаны?.. Во всякомъ случаѣ нѣсколько тысячъ обезпечены, а съ цѣнными бумагами, при удачѣ, тысячъ пятьдесятъ»... Онъ съ усмѣшкой вспомнилъ, что, по даннымъ какого-то криминалиста, уголовное убійство во Франціи въ среднемъ приноситъ убійцѣ сорокъ франковъ. «Ну, а у меня будетъ не въ среднемъ: все другое, и это будетъ другое... Сѣрая шкатулка — разъ, ящики стола — два. Стального шкафа я у него не видѣлъ. Но мало ли какіе тайники могутъ быть у стараго буржуа? Тысячъ шесть-семь, если не больше, можно положить на его брилліантовое кольцо. Должны быть и другія цѣнныя вещи... Да, конечно, это слабое мѣсто... По теоріи вѣроятности, думаю, можно было бы вывести, что я вправѣ рассчитывать на десять тысячъ, какъ на минимумъ (тогда, конечно, не стоитъ!), а какъ на максимумъ, тысячъ на пятьдесятъ, пожалуй, даже на сто, если сбывать рационально». У него и относительно сбыта была тщательно разработанная схема, на ней онъ теперь не остановился: все въ свое время. «Во всякомъ случаѣ, въ первые шесть мѣсяцевъ не мѣнять въ образѣ жизни рѣшительно ничего. На этомъ-то и попадаютъ мальчишки: убилъ, ограбилъ и побѣждалъ въ веселый домъ, гдѣ его и ловятъ. Потомъ объявить Вермандуа, консьержкѣ, всѣмъ, что я переѣзжаю въ провинцію: климатъ и воздухъ Парижа разстроили здоровье: это, вдобавокъ вѣрно, любой врачъ подтвердитъ. А изъ провинціи еще такъ черезъ полгода, реализовавъ все, начать настоящее большое дѣло»... Тутъ опять было нѣкоторое подобіе слабаго мѣста въ цѣпи: «Стоитъ ли? Обманывать себя незачѣмъ: въ концѣ концовъ все должно кончиться гильотиной, должно почти математически»...

И опять, уже безъ прежняго увлеченія, въ тысячный, вѣроятно, разъ онъ себя представилъ арестъ, тюрьму,

судь, ожиданіе гильотины, казнь, со всѣми тѣми же подробностями, которыя прежде его волновали, съ «Мужайтесь, Альвера, часъ искупленія насталь!», съ рюмкой рома, со своими улыбками и отвѣтами. «Да, страшнаго, кажется, ничего нѣтъ, но и радости тоже мало. И если ремесло убійцы безопаснѣе ремесла углекопа, то все-таки степень безопасности не такова, чтобы избирать это ремесло, безъ вполне разумныхъ провѣренныхъ основаній». Такъ же лѣниво спросилъ себя: «ужь не вздоръ ли все это? не навязчивая ли идея сходящаго съ ума человѣка?», — и такъ же отбросилъ это предположеніе. «Теперь во всякомъ случаѣ разсуждать поздно», — тяжело зѣвнувъ, сказалъ онъ вслухъ — и испугался: «надо во что бы то ни стало отучиться отъ этой дурной и опасной привычки».

Бсть ему попрежнему не хотѣлось, но онъ подумалъ, что нельзя уходить на дѣло, не подкрѣпившись: «вдругъ головокруженіе, обморокъ или что-нибудь такое, — и пропаль!..» Заставилъ себя съѣсть кусокъ ветчины. Затѣмъ взглянулъ на часы, зѣвнулъ, почти весело потянулся, провѣрилъ револьверъ, надѣлъ перчатки и вышелъ. Въ дорогѣ онъ, подойдя къ книжному магазину и какъ бы внимательно разсматривая близорукими глазами книги, вынулъ футляръ и надѣлъ очки. Никто на это не обратилъ вниманія, — «совершенно естественно»... Этотъ пріемъ былъ маленькой импровизаціей: строгая научная предусмотрительность все же должна оставлять кое-что и на долю находчивости. Онъ остался собой доволенъ. Съ чувствомъ нѣкоторой неловкости, происходившей отъ очковъ, все же не совсѣмъ еще привычныхъ, онъ отправился на вокзалъ. Альвера былъ спокоенъ, только зѣвота стала нестерпимой. И было пріятное сознаніе, что никто изъ безчисленныхъ проходившихъ мимо него людей ничего не можетъ прочесть въ его намѣреніяхъ и чувствахъ. «Да, да, иду нарушать человѣческіе и божескіе законы, и никто изъ васъ этого не видитъ, и я всѣхъ васъ совершенно презираю, какъ, вѣрно, волкъ презираетъ овецъ»...

XIX.

...— Мозгъ Кювье вѣсилъ 1800 граммовъ, и на этомъ была въ спѣшномъ порядкѣ построена гипотеза о связи между гениальностью человѣка и вѣсомъ его мозга. Но позднѣе оказалось, что мозгъ лакея Кювье вѣситъ еще на 200 граммовъ больше. Боюсь, какъ бы съ вашей исторической миссіей пролетаріата не случилось того же: вдругъ окажется, что какая-нибудь другая социальная группа еще лучше, чѣмъ пролетаріатъ? Ну, не на много, но лучше? Напримѣръ, гитлеровскіе дружинники, а?

— Вы нѣсколько упрощаете дѣло. Думаю, что и та психо-физиологическая теорія строилась не только на мозгѣ Кювье. Что до научной теоріи прогресса, то она создана Марксомъ на основѣ вполне достаточнаго числа фактовъ.

— Научная теорія прогресса совершенно невозможна. дорогой мосье Серизье, — сказалъ Вермандуа. — Она невозможна потому, что въ основѣ социальныхъ явленій лежитъ человѣкъ, т. е. нѣчто неопредѣленное, переменчивое и противорѣчивое. Между тѣмъ ваша наука рассматриваетъ человѣка, какъ единицу опредѣленную и неизмѣнную, по крайней мѣрѣ въ теченіе довольно большого промежутка времени. Ваша наука, правда, дѣлаетъ, что въ пору каменнаго вѣка или хотя бы пятьсотъ лѣтъ тому назадъ человѣкъ былъ не таковъ, какъ теперь. Но для нашего времени она пользуется совершенно фиктивнымъ понятіемъ, — скажемъ, новаго человѣка — произвольно его дѣля по классовымъ признакамъ и произвольно считая неизмѣнными общія человѣческія свойства. Ваша наука исходитъ изъ понятій буржуа, крестьянинъ, пролетарій, приблизительно такъ, какъ химія пользуется понятіями кислорода или азота. Но азотъ и кислородъ всегда одинаковы; они черезъ тысячу лѣтъ будутъ точно такіе же, какъ сейчасъ. Человѣкъ же, все равно пролетарій или бур-

жуа, только въ томъ и неизмѣненъ, что мѣняетъ свою коллективную душу каждый день. Сегодня онъ хочетъ демократіи, завтра гитлеровщины, послѣзавтра чего-нибудь еще (Вермандуа покосился на Кангарова). На такомъ шаткомъ понятіи никакой теоріи прогресса построить нельзя. Ваша наука думаетъ, что человѣкъ знаетъ, чего хочетъ, а онъ совершенно этого не знаетъ. Ваша наука думаетъ, что человѣкъ руководится своими интересами, а онъ руководится чортъ знаетъ чѣмъ.

— Напротивъ, — сказалъ Серизье, съ трудомъ скрывая раздраженіе. — По моему, и сравненіе ваше говоритъ противъ васъ же. Азотъ и кислородъ, при температурѣ въ 500 градусовъ и при давленіи въ 500 атмосферъ, проявляютъ, вѣроятно, не тѣ свойства, что при нормальномъ давленіи и при нормальной температурѣ. Точно также поведение человѣка опредѣляется условіями, въ которыя его ставитъ исторія. При ненормальной температурѣ общества, при ненормальномъ социальномъ давленіи, изъ рабочаго можетъ выработаться гитлеровецъ. Соціологія изучаетъ воздѣйствіе социальныхъ условій на человѣка, какъ химія изучаетъ свойства веществъ въ разныхъ физическихъ условіяхъ.

— Вы забываете, что свойства кислорода при определенной температурѣ, при определенномъ давленіи всегда одинаковы. Химикъ ихъ знаетъ или можетъ изучить съ точностью. Соціологъ же не знаетъ рѣшительно ничего: въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ, человѣка одной и той же социальной категоріи, скажемъ одного и того же класса, — хоть границы между классами теперь совершенно не такія, какими были при Марксѣ, — этого человѣка можетъ потянуть и на строй Гитлера, и на строй Сталина, — сказалъ, не удержавшись, Вермандуа.

— Не думаете ли вы, господа, — поспѣшно вмѣшался Кангаровъ, — не думаете ли вы, что лакей Кювье могъ быть гениальнымъ человѣкомъ, которому помѣшалъ развиваться несправедливый общественный строй?.. Развѣ не-

льзя допустить, что онъ... Миѣ трудно выразить эту мысль настоящимъ словомъ... Какъ сказать, что лакей Кювье былъ гениальнымъ человѣкомъ въ потенціи? — по русски обратился онъ къ Надѣ. — Какъ по французски «въ потенціи»? Переведи этимъ красавцамъ.

— Я и не русски не знаю, что это такое, — со смѣхомъ сказала Надежда Ивановна.

— Дерзкая дѣвчонка, кажется, ты напилась? Погоди...

— Я знаю, что теперь принято иронически относиться къ марксизму, — началъ Серизье, ясно показывая тономъ, что теперь намѣренъ говорить онъ и не дастъ себя перебить. «У него голосъ кинематографическаго спикера», — подумалъ Вермандуа и изобразилъ на лицѣ вниманіе. — Марксизмъ, конечно, не берется объяснить все на свѣтъ...

— Напротивъ, именно онъ берется.

— Позвольте мнѣ говорить, я не кончилъ, — сердито сказалъ адвокатъ. Всѣ съ удивленіемъ на него взглянули. — Если сторонниками марксизма и допускались нѣкоторыя увлеченія, то вѣдь нѣтъ молодыхъ ученій безъ крайностей. Но что же, господа, вы противопоставляете нашимъ взглядамъ? Не буду говорить о столкновеніи солнць, объ исчезновеніи кислорода и о прочихъ ужасахъ: право, это не такъ интересно. А виѣ этого вы противъ насъ выдвигаете идеи, отличающіяся тѣмъ, что спорить о нихъ совершенно невозможно. Слова «Богъ», «верховное начало», «разумное начало», «руководящее начало», имѣютъ каждое по нѣсколько смысловъ, и всякій употребляющій ихъ человѣкъ, какъ я много разъ убѣждался, самъ употребляетъ ихъ въ разныхъ смыслахъ, въ зависимости отъ того, съ кѣмъ онъ говоритъ и что ему удобнѣе для его словесныхъ конструкцій. Здѣсь съ сотворенія міра ничего, кромѣ общихъ мѣстъ, не было, — это были общія мѣста и при Адамѣ, — вставилъ онъ съ улыбкой, какъ прибѣгалъ иногда къ шуткѣ и къ улыбкѣ въ самыхъ патетическихъ рѣчахъ на судѣ. — Дѣло лишь въ томъ, что

въ одни историческіе періоды обладаютъ агрессивной силой общія мѣста мосье Омэ, а въ другіе періоды агрессивная сила переходитъ къ общимъ мѣстамъ противоположнымъ. Сейчасъ именно такой періодъ, періодъ в аш и хъ общихъ мѣстъ, — закончилъ онъ, показывая интонаціей, что теперь готовъ предоставить слово à son honorable adversaire et ami. Но и тонъ его, и улыбка, и слова были такъ неприятны, что всѣмъ стало неловко. «Озлобленный человѣкъ. Ахъ, да, опять не попалъ въ со-вѣтъ», — подумалъ Вермандуа.

Люди, знавшіе Серизье, радостно говорили, что изъ-за неудачъ у него все портится характеръ. Причислить его къ неудачникамъ было съ внѣшней стороны трудно. Серизье зарабатывалъ большія деньги адвокатской практикой, занималъ немалое положеніе и въ политическомъ мірѣ. Неудачникомъ онъ могъ считаться никакъ не по сравненію съ большинствомъ другихъ людей, а лишь по сравненію съ тѣмъ человѣкомъ, которымъ онъ долженъ былъ стать по надеждамъ (или опасеніямъ) людей, знавшихъ его лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Въ первый десятокъ лицъ своей профессіи онъ не попалъ; во второмъ десяткѣ занималъ мѣсто по праву. Серизье недавно въ третій разъ баллотировался въ совѣтъ парижскихъ адвокатовъ и получилъ довольно приличное число голосовъ, настолько однако недостаточное, что недоброжелатели съ торжествомъ поясняли: «Это для него катастрофа! Онъ совершенно убитъ!» Побывалъ онъ министромъ, но безъ блеска, на второстепенной должности, и вдобавокъ попалъ въ исключительный по недолговѣчности кабинетъ, такъ что и называться потомъ въ обществѣ «Monsieur le Ministre» ему было нѣсколько совѣстно, хоть и приятно. Вождемъ социалистической партіи Серизье также не сталъ. Напротивъ, его отношенія съ партіей становились понемногу все холоднѣе; въ послѣднее время онъ даже и состоялъ въ ней какъ-то на отлетѣ. Тутъ имѣло

значение многое. Для главы социалистов Серизье былъ слишкомъ занятъ адвокатской практикой, имѣлъ слишкомъ мало свободнаго времени, зарабатывалъ слишкомъ много денегъ. Въ злополучный кабинетъ онъ пошелъ не вопреки волѣ партіи, но безъ ея благословенія; и теперь собственно уже было не совсѣмъ ясно, социалистъ ли онъ еще или нѣтъ: въ партійныхъ изданіяхъ его пока называли товарищемъ; однако ясно чувствовалось, что въ любой день, и даже очень скоро, могутъ, чего добраго, поставить передъ его фамиліей роковую букву М. Серизье оказался въ партіи ненужнымъ, или не очень нужнымъ, человѣкомъ. Болѣе молодые, болѣе напористые люди, безъ шума, безъ скандаловъ, вначалѣ медленно, съ почетомъ и съ поклонами, затѣмъ понемногу все скорѣе и нелюбезнѣе, отгѣснили его внизъ по наклону партійной карьеры. Такъ онъ и самъ въ свое время поступалъ съ прежнимъ партійнымъ вождемъ Шазалемъ, но ему казалось, что тогда было совершенно другое дѣло: тогда борьба была идейная.

А главное, съ Серизье случилось худшее изъ карьерныхъ несчастій: безъ всякой видимой причины, его вдругъ перестали принимать въ серьезъ. Онъ вель большія и громкія дѣла, получалъ огромные гонорары, имѣлъ законное право до конца своихъ дней называться въ обществѣ «Monsieur le Ministre» и какъ будто состоялъ на верхахъ французской парламентской жизни. Но при упоминаніи его имени у всѣхъ появлялась легкая улыбка, — непоправимая катастрофа для человѣка. Улыбка эта словно означала, что о немъ извѣстно нѣчто смѣшное, больше ни у кого споровъ не вызывающее по своей явной и общепризнанной забавности. Ничего такого въ дѣйствительности не было: особенныхъ грѣховъ за Серизье не значилось, отъ своихъ политическихъ убѣжденій онъ не отказывался, грязныхъ дѣлъ никогда не вѣлъ (хоть вель иногда такія дѣла, отъ которыхъ отказался бы, если-бъ гонораръ былъ значительно меньше). Его

репутацію нельзя было считать подмоченной, но она стала несерьезной, — это было еще хуже. Какъ на бѣду, онъ еще очень, почти до смѣшного, растолстѣлъ. И теперь всѣмъ было ясно, что изъ второго десятка въ первый Серизье никогда не перейдетъ. Въ болѣе свѣтлыя минуты онъ и самъ это чувствовалъ. У него въ жизни было три честолюбивыхъ мечты: стать главой адвокатскаго общества въ Парижѣ, стать главой партіи, стать главой правительства. Онъ видѣлъ, что ни одной изъ нихъ осуществиться не суждено.

Вермандуа развелъ руками.

— Вы собственно напрасно обращались ко мнѣ, дорогой другъ, — сказала онъ, какъ бы нарочно подчеркивая любезной интонаціей неучтивость тона адвоката. — Я за «разумныя силы» въ мѣръ никакой отвѣтственности принять не могу. Что «до вашего молодого ученія, которому безъ малаго сто лѣтъ, то я противъ него ничего не имѣю, да если-бъ и имѣлъ, то не сталъ бы огорчать васъ и нашего гостепріимнаго козьяина. Всѣ другія социальныя религіи провалились въ такой же мѣръ, какъ оно; вѣроят- любезной интонаціей неучтивость тона адвоката. — Я но, провалятся и социальныя религіи, идущія имъ на смѣну. Крушеніе общественныхъ ученій сводится къ тому, что исторія неизмѣнно оказывается глупѣе самаго глупаго изъ нихъ... Вы любите кинематографъ, графиня? — спросилъ онъ, стараясь, по привычкѣ опытнаго говоруна, придавать монологу характеръ разговора, и, не дослушавъ ея отвѣта «Терпѣть не могу, никогда не хожу!», — продолжалъ. — Я очень люблю, но, видно, ничего не понимаю: за всю жизнь ни разу не улыбнулся, глядя на Шарло и на *dessins animés*, при видѣ которыхъ и толпа, и элита одинаково гогочутъ отъ радости. Мнѣ доставляютъ удовольствие и даже пользу тѣ фильмы, гдѣ люди несутся на жоняхъ, стрѣляютъ изъ браунинговъ и выскакиваютъ изъ аэроплановъ. Это, правда, школа гангстеровъ, но одно-

временно и школа энергій. Въ умные театры я не хожу никогда, а въ кинематографъ бываю не менѣе одного раза въ недѣлю. Но въ чемъ разница между моей консъержкой и мной? Моя консъержка всегда все схватываетъ налету въ самомъ запутанномъ любовномъ или полицейскомъ фильмѣ: она сразу понимаетъ, и что происходитъ, и какими побужденіями руководятся дѣйствующія лица, и зачѣмъ баронетъ хочетъ отравить разбойника, и почему модистка обвиняетъ себя въ преступленіи, котораго она не совершала. Я же начинаю понимать интригу не скоро, иногда ухожу изъ кинематографа, такъ и не понявъ нѣкоторыхъ ея пружинъ. Происходитъ это оттого, что я не могу поспѣть за глупостью фабулы: мнѣ трудно изъ всѣхъ неправдоподобныхъ и глупыхъ комбинацій сразу напасть на ту, самую неправдоподобную, самую глупую, совершенно идиотскую, которую обычно избираетъ сценаристъ. По такой же точно причинѣ меня до сихъ поръ удивляютъ историческія событія. Ничего умнаго, ничего хорошаго я отъ исторіи, кажется, не жду. Но она неизмѣнно выбираетъ нѣчто настолько чудовищное по глупости и мерзости, что мнѣ остается лишь разводять руками: не догадался, не подумалъ, не предвидѣлъ!

— Позвольте мнѣ, такъ сказать, въ качествѣ консъержки, съ этимъ не согласиться, — раздраженно смѣясь, сказалъ Серизье. — Или ужъ тогда напишите свой собственный курсъ міровой исторіи. Предлагаю вамъ заголовки нѣкоторыхъ главъ: «Возстаніе 14 іюля 1789 года подавлено властями. Комендантъ Делонэ нѣсколькими мѣткими выстрѣлами разогналъ взбунтовавшуюся чернь»... Или такъ: «Нѣмецкія войска 11 ноября 1918 года вступаютъ въ Парижъ. Вильгельмъ II въ Версалѣ объявляется повелителемъ міра»...

— Я предлагаю и заключительную главу, — сказала графиня. — «По приговору возстановленнаго инквизиціоннаго трибунала, книги Луи-Этьенна Вермандуа сжигаются

на кострѣ. Затѣмъ сжигается и онъ самъ, причемъ предварительно ему отрѣзываютъ языкъ».

— Сжечь его на кострѣ не худо, — вставилъ финансистъ, — но зачѣмъ же отрѣзать языкъ? Онъ говоритъ довольно занимательно.

— Лучше пусть его заставятъ отречься, какъ Галилея. Пусть онъ подъ пыткой признаетъ, что исторія представляетъ собой подлинное торжество разума.

— Обѣщаю вамъ оглушительное *errur si mouve...* — Нельзя ли ананасъ препарировать по моей системѣ? — обратился Вермандуа къ мэтръ-д'отелю. — Двѣ ложки кирша, затѣмъ сахаръ, мараскинъ и одна капля арманьяка, только одна капля.

— Вполнѣ одобряю. Это лучше, чѣмъ ваша философія исторіи, дорогой мосье Вермандуа, — сказала Серизье, смягченный успѣхомъ своей шутки. — Вы, очевидно, поставили себѣ цѣлью въ жизни — лишить людей надеждъ.

— Я, напримѣръ, только и живу надеждой на переходъ общества къ социалистическому строю, а онъ хочетъ лишить меня и этой надежды, — замѣтилъ финансистъ. Всѣ смѣялись.

— Однако, господа, у насъ и въ самомъ дѣлѣ жгутъ теперь книги на кострахъ, — выговорилъ съ трудомъ докторъ Зигфридъ Майеръ. — Можетъ быть, даже и ваши? — обратился онъ къ Вермандуа.

— Неужели?! Какая реклама для его издателя!

— Кажется, я еще не удостоился этой чести, — небрежно сказалъ Вермандуа, не совсѣмъ довольный фамильярнымъ тономъ бесѣды: теперь не только финансистъ, но и другіе, мало съ нимъ знакомые, гости говорили о немъ онъ. — Очень радъ вашему замѣчанію, мосье... — обратился онъ къ нѣмцу, фамиліи котораго не зналъ. — Вѣдь, правда, вы были бы удивлены, если-бъ вамъ десять лѣтъ тому назадъ сказали, что въ Германіи установится гитлеровскій строй?

— Лично я не был бы удивлен, — встрепенувшись, отвѣтил Майеръ. — Зная Германію, зная тѣхъ якобы республиканцевъ, которые у насъ правили, я всегда говорилъ, что...

— Тогда вы человекъ исключительной проницательности. А я этого не могъ себѣ представить, какъ въ кинематографѣ не могу предвидѣть, что маркиза себя нататуируетъ и бросится въ море, дабы навести подозрѣнія своего мужа на преступную красавицу.

— И все-таки, съ отступленіями назадъ, съ уклонами въ сторону, исторія идетъ къ социалистическому строю, какъ бы вы надъ этимъ ни насмѣхались, дорогой другъ, — сказала Серизье. — Что прошло, то прошло. Замѣйте, даже австрійскій маляръ, который, прочно засѣвъ на престолѣ Гогенцоллерновъ, видимо не прочь присоединить къ нему еще и престолъ Габсбурговъ, все же монархи не возстановилъ, капиталистовъ старается не баловать, по крайней мѣрѣ, открыто, и къ идеямъ манчестерской школы не вернулся. Несправедливыя социальныя формы понемногу отживаютъ вездѣ.

— Онѣ лежать въ исторической могилѣ и затѣмъ, быть можетъ, благополучно, хоть не безъ червей, воскреснуть: дайте только отдохнуть одному поколѣнію или подлости другому. Историческія гробницы, въ отличіе отъ настоящихъ, строятся съ расчетомъ на воскресеніе.

— «И возвратится вѣтеръ на круги свои»? Это нѣсколько старо.

— И не вполне вѣрно. Возвращающійся вѣтеръ не совсѣмъ таковъ, какимъ былъ прежній: онъ хуже или, по крайней мѣрѣ, противнѣе, у него нѣтъ прежней свѣжести, нѣтъ наивности перваго зефира... Быть можетъ, эта милая барышня увидитъ возстановленіе капитализма у себя на родинѣ. Но боюсь, новый капитализмъ будетъ безъ мягкихъ гуманныхъ заводчиковъ и безъ свободы стачекъ.

— Никогда у насъ никакого капитализма не будетъ!

— бойко сказала Надя, довольно свободно справляясь съ французской фразой. «Ничего, отлично вышло».

— Слышите, неисправимый мизантропъ, — съ легкой тревогой вставилъ Кангаровъ, неопредѣленно бѣгая по столу глазами.

— Никто не можетъ сказать съ увѣренностью, что именно соблазнить человѣческую романтику послѣ установленія социалистическаго строя. Вподлинъ допускаю, что душу людей потянетъ именно къ восстановленію социальнаго неравенства, посредствомъ ли переворота или неспѣшной эволюціи. Появятся капиталисты-революционеры и капиталисты - эволюціонисты; каждая изъ этихъ группъ создастъ свою теорію социальнаго прогресса. Кто же имъ можетъ помѣшать имѣть о прогрессѣ свое мнѣніе?.. Но во всякомъ случаѣ, что бы съ міромъ ни случилось, можно сказать съ увѣренностью: хуже, чѣмъ теперь, не будетъ. Еще никогда, кажется, въ исторіи не было столь мерзкаго, какъ въ наши дни, противорѣчія между красивыми рѣчами и скверными поступками. Въ былыя времена — нисколько ихъ не идеализирую — одинъ приносили хорошія слова и не дѣлали сознательно нехорошихъ дѣлъ; другіе дѣлали сознательно нехорошія дѣла, но не произносили хорошихъ словъ. Или, по крайней мѣрѣ, прежде это противорѣчіе было менѣ замѣтно. Если все будетъ идти по нынѣшнему, и если 21-ое столѣтіе наступитъ, то наши политическія, наши философскія идеи окажутся до смѣшнаго бесполезны, — вродѣ какъ въ странахъ полярнаго климата были бы до смѣшнаго бесполезны красивые южные дворцы съ террасами, со сквозными галлереями. Диктаторы далекихъ вѣковъ ставили себѣ опредѣленную цѣль, въ большинствѣ случаевъ разумную, — у римлянъ даже въ законѣ указывалась цѣль избранія диктатора: *dictator rei gerundae causa*. Теперь въ Европѣ негритянскимъ нравамъ соответствуютъ негритянскіе царьки. Все это, какъ говоритъ одинъ мой пріятель, кончится какъ Марна: въ Шарантонѣ. Разумѣется, въ мировомъ

Шарантонъ. И, право, не надо бы кричать ни о 14-омъ іюля, ни объ 11-омъ ноября теперь, когда въ Берлинѣ сидитъ Гитлеръ, а... (онъ хотѣлъ добавить: «а въ Москвѣ Сталинъ», но опять въ время спохватился). Отъ идей обѣихъ этихъ дать уже не сохранилось ничего; можетъ быть, скоро ничего не сохранится, къ несчастью, и отъ ихъ матеріальнаго содержанія. Эльзась два раза переходилъ отъ нѣмцевъ къ французамъ и обратно, и, вѣрно, будетъ переходить еще двадцать два раза. Въ концѣ концовъ же имъ завладѣютъ какіе-нибудь монголы, такъ какъ отъ Европы останутся болѣе или менѣе интересныя, хоть смѣшныя, идеи, но не останется живыхъ людей.

— Кассандра, не танцуйте надъ развалинами еще не развалившейся Трои. Что бы вы ни говорили, отжившее не вернется.

Вермандуа оглянулся на графиню и ласково ей улыбнулся.

— Знаю, что я всѣмъ надоѣлъ. Стоитъ ли намъ огорчаться и огорчать другихъ? Есть прекрасныя женщины, прекрасныя книги, прекрасныя земли. Отжившее не вернется? Готовъ объ этомъ пожалѣть. Мнѣ досадно, что я, по главной неосторожности своей жизни, явился на свѣтъ Божій въ 19-омъ вѣкѣ. Надо было родиться лѣтъ триста тому назадъ. Я былъ бы любовникомъ Нинонъ де Ланкло, зналъ бы рыцарей въ латахъ, видѣлъ бы папъ, носившихъ бороду. Въсто жуликовъ-издателей меня кормилъ бы Людовикъ XIV.

— Можетъ быть, вблизи все это было и не такъ ужъ мило.

— Даже навѣрное. Но люди любятъ разнообразіе. Гете говорилъ: «Человѣчество, точно больной въ постели, все мечется съ одного бока на другой, какъ бы улечься покойнѣе». Еще ярче выразилъ эту мысль Лютеръ: «Миръ что пьяный мужикъ: поддержишь его слѣва, онъ падаетъ направо; поддержишь его справа, онъ падаетъ налѣво»...

— Дорогой другъ, вы положительно злоупотребляете цитатами.

— Это худшій изъ моихъ пороковъ... И я нисколько не удивлюсь, если въ Германіи на смѣну Гитлеру придетъ нѣмецкій Сталинъ...

— Аминь! — воскликнулъ Кангаровъ. Но французы не поняли его восклицанія, такъ какъ онъ произносилъ «amigne».

— ...А въ Россіи на смѣну Сталину придетъ русскій Гитлеръ, — закончилъ за Вермандуа финансистъ, не очень церемонившійся съ хозяиномъ: договоръ о сдѣлкѣ уже былъ подписанъ.

— Это вы сказали, неисправимый буржуа, — примирительно произнесъ Вермандуа.

— Какъ вы совѣтуете, *cher maitre*? киршъ, мараскинъ и арманьякъ? — опять поспѣшно спросилъ Кангаровъ, съ неприятнымъ чувствомъ оглянувшись на Вислиценуса.

XX.

На большой дорогѣ онъ встрѣтилъ на этотъ разъ очень мало людей. Только изъ кофейни, расположенной по близости отъ вокзала, доносился гулъ веселыхъ голосовъ. Было даже не совсѣмъ пріятно, что людей на дорогѣ оказалось такъ мало: это не соответствовало его предположеніямъ. «Все неожиданное досадно: ошибся въ этомъ, могу ошибиться и въ болѣе важномъ»... Альвера почти никакого волненія не испытывалъ и очень этимъ гордился; прошла даже и зѣвота. Только когда онъ подошелъ къ углу боковой тропинки, дыханіе у него чуть прервалось. Какъ было предусмотрѣно, онъ сначала прошелъ по большой дорогѣ дальше, лишь бросивъ искоса быстрый взглядъ на тропинку. Тамъ, приблизительно на ея срединѣ, мягко выдѣлялось на землѣ свѣтовое пятно: свѣтъ падалъ изъ окна виллы мосье Шартье, никакого

другого дома на тропинкѣ не было. Альбера прошелъ по дорогѣ шаговъ сто (это входило въ расписание), затѣмъ, съ движеніемъ досады, будто что-то забывъ (хоть никого по близости не было), повернулъ назадъ. «Никого! Все въ порядкѣ»... Онъ быстро свернулъ на тропинку и пошелъ въ направленіи къ неправильному, расширявшемуся четырехугольнику мягкаго свѣта.

Вдругъ онъ услышалъ музыку и замеръ: ничто не могло бы поразить его больше. «Что это? Какая музыка? Откуда музыка?» Въ ту же секунду Альбера почувствовалъ, что его заливаетъ невыразимая радость, причину которой онъ понялъ не сразу. «Если у него гости, значить, дѣло откладывается: нѣтъ, срывается, безъ всякой моей вины!.. Но вѣдь никакого инструмента у него нѣтъ!» — подумалъ онъ и ахнулъ: «Радио!...» Сердце сразу упало. «Если радио, то, быть можетъ, онъ слушаетъ въ одиночествѣ... Сейчасъ все рѣшится»... Альбера остановился шагахъ въ пятнадцати отъ калитки, не вполне естественнымъ, опернымъ жестомъ приложилъ руку къ сердцу: оно почти не стучало. Пѣлъ мужской голосъ, ясно были слышны и слова. «...Et puis, cher, ce qui me décide — A quitter le monde galant...» — съ шутовски-поддѣльной интонаціей веселья, подчеркнуто выкрикивалъ пѣвецъ. Радиоаппаратъ поразилъ Альбера: онъ еще не могъ себя уяснить, выгодно ли это или нѣтъ, чувствовалъ однако, что было бы лучше безъ радиоаппарата. «Ну, да онъ закроетъ»... Сдѣлалъ нерѣшительно нѣсколько шаговъ и увидѣлъ, что окно кабинета мосье Шартъе отворено! «Но какъ же я этого не предусмотрѣлъ! Что удивительнаго въ томъ, что окно отворено въ теплый вечеръ! Это очень важно, очень важно!.. Вѣдь, если такъ, выстрѣлъ можетъ быть слышенъ. Однако по близости никакого жилья нѣтъ, по тропинкѣ никто не ходитъ... Теперь радио можетъ оказаться полезнымъ: заглушить... Звукъ вѣдь очень слабый»... Альбера снялъ очки, нѣсколько разъ мигнулъ, надѣлъ перчатки. Взглянулъ на часы: противъ

рописанія было опозданіе въ двѣ минуты; оно не имѣло значенія: запасъ былъ болѣе, чѣмъ достаточный. — ...«C'est que ma bourse est vide, vide, — Vide que c'en est désolant», — пѣлъ голосъ. Еще разъ оглянулся, — нигдѣ никого не было видно, — и перевелъ предохранитель револьвера движеніемъ теперь совершенно привычнымъ. «Я скажу: «Кажется, у васъ гости, мосье Шартъе? Тогда не безпокойтесь: вотъ рукопись, мы сочтемся въ слѣдующій разъ...» Этого слѣдующаго раза ужъ навѣрное никогда не будетъ: когда же онъ мнѣ снова назначить свиданіе вечеромъ? И развѣ я выдержу еще мѣсяцъ или хотя бы только недѣлю такой жизни?...» — ...«*Oh peu qu'on y réfléchisse, — Quand on n'a pas le sou, vois-tu...*» Альвера быстро отворилъ калитку, прошелъ черезъ палисадникъ и позвонилъ. Послышались заглушаемые музыкой неторопливые шаги. «Кто тутъ?» — спросилъ за дверью старикъ. — «Это я. Переписчикъ», — отвѣтилъ Альвера (только дыханіе было все-таки не совсѣмъ такое, какъ всегда). — «Ахъ, это вы, м-м... Я и забылъ», — сказалъ мосье Шартъе, отворяя дверь. «...*Il est temps de lâcher le vice — Pour revenir à la vertu*...» — «Здравствуйте, молодой человѣкъ, я совсѣмъ забылъ, что вы должны пріѣхать. Входите... На вѣшалкѣ была только одна шляпа. «Его или чужая?»

— Но, кажется, я вамъ помѣшалъ? У васъ гости, мосье Шартъе, — спросилъ Альвера и даже улыбнулся. «Голосъ дрогнулъ, но лишь чуть-чуть, а улыбка совсѣмъ приличная»...

— Какіе гости у старика въ десятомъ часу вечера! — весело сказалъ мосье Шартъе, повышая голосъ, чтобы покрыть доносившуюся изъ кабинета музыку. — Нѣтъ, я одинъ, это у меня радіо: обзавелся аппаратомъ на старости лѣтъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Поздравляю васъ, — сказала Альвера. Дыханіе у него на мгновеніе пересѣклось совсѣмъ. «Ну, и отлично. Сейчасъ конецъ!..»

— Отличный аппарат. Семь ламп, три гаммы волн...
Входите.

— Мне совѣстно беспокоить васъ...

— Какое же безпокойство? Это мне совѣстно, что вы сюда для этого прѣехали. Правда, работа срочная, но можно было въ концѣ концовъ и послать по почтѣ. Вы говорили впрочемъ, что прѣезжаете сюда подышать свѣжимъ воздухомъ? Пожалуйте.

Они вошли въ кабинетъ. Это была довольно большая высланная бобрикомъ комната, съ обыкновенной недорогой мебелью, съ окномъ выходившимъ въ палисадникъ. Сѣрый ящикъ попрежнему находился на комодѣ, а на немъ стоялъ новенькій, сіявшій лакомъ палисандра радиоаппаратъ. Мосье Шартье подвелъ къ нему гостя, онъ видимо все еще наслаждался покупкой. «Стрѣлять, когда вынетъ бумажникъ», — вспомнилъ Альвера, — «но окно? Не затворить ли незамѣтно? Нѣтъ, нельзя».

— Все привезли? Спасибо, — сказалъ старикъ и, не слушая отвѣта, наклонился надъ ящикомъ. «Вотъ теперь... Нѣтъ, не отступать отъ плана: когда полѣзеть за бумажникомъ»... — Мосье Шартье повернулъ ручку и съ улыбкой оглянулся. Звуки стали нѣсколько менѣе сильными. — Антифаддингъ, супергетеродинъ, — сказалъ онъ, наслаждаясь какъ будто и новой терминологіей, — послѣднее слово техники.

— Я, къ сожалѣнію, ничего въ этомъ не понимаю... Но если семь гаммъ волнъ, то вы, вѣрно, можете слушать и Америку?

— Три гаммы волнъ, — отвѣтилъ, засмѣявшись, мосье Шартье. — Семь лампъ. Разумѣтся, и Америку, и колоніи, и Москву, все могу слушать. Ну, давайте вашу штуку Тридцать двѣ страницы. Значить, вамъ слѣдуетъ сорокъ восемь франковъ. Сейчасъ хотите или все сразу?

— Если можно, сейчасъ. Мне надо платить за квартиру.

— За квартиру? — удивленно спросилъ старикъ. — Кто же теперь платитъ за квартиру? Въдь у насъ не октябрь.

— У меня комната. Я плачу помѣсячно.

— Отчего же вы лучше не снимете небольшую квартиру? Вамъ будетъ стоить дешевле.

— Тогда надо платить сразу за три мѣсяца впередъ, да еще залогъ, а у меня никогда нѣтъ свободныхъ денегъ.

— Нѣтъ денегъ, — недовѣрчиво протянулъ мосье Шартье. Ему, очевидно, было трудно повѣрить, что есть люди, у которыхъ нѣтъ такихъ денегъ. — Да много ли для этого нужно? Вы сколько платите?

— Сто пятьдесятъ въ мѣсяць... «Что же это? Время уходитъ», — со злобой подумалъ онъ, чувствуя, что не можетъ выйти выстрѣломъ изъ этой неожиданной, не входившей въ расписаніе, бесѣды. — Сто пятьдесятъ въ мѣсяць.

— Ну, вотъ видите, — сказалъ мосье Шартье. — Это значитъ тысяча восемьсотъ въ годъ. А квартиру вы можете получить съ кухней за тысячу двѣсти, даже, при удачѣ, за тысячу. Теперь, вѣрно, можно найти и такую, чтобы безъ залога. Неужели у васъ нѣтъ трехсотъ франковъ?

— Нѣтъ, — отвѣтилъ глухимъ голосомъ Альвера и, холодѣя, опустилъ руку въ карманъ. Мосье Шартье задумался.

— Послушайте, — сказалъ онъ (Альвера разжалъ въ карманѣ рукоятку револьвера, точно это «послушайте» обязывало его къ продолженію разговора). — У меня будетъ еще очень много работы. Вы переписываете отлично, это что и говорить. Хотите, я вамъ дамъ впередъ франковъ двѣсти? Вы снимете квартиру и понемногу мнѣ все выплатите, а? Вы славный молодой человекъ, вотъ и работу вы мнѣ привозите на домъ, это мнѣ очень удобно. Я вамъ потомъ заплачу и за проѣздъ, не думайте, что я не помню,

— сказала онъ, видимо находясь въ порывѣ великодушія, и снова шагнулъ къ комоду. Аппаратъ засипѣлъ. «Turlututu», — прогоготалъ хоръ. Послышался женскій голосъ:

«Hier à midi, la gantière
Vit arriver un Brésilien»...

Мужской голосъ отвѣтилъ:

«Il lui dit: Voulez-vous, gantière,
Vendre des gants au Brésilien?»

— Прелестъ! — сказалъ мосье Шартъе и засмѣялся. — Любите оперетку, молодой человекъ? Это одна изъ лучшихъ. Оффенбаха... — Онъ повернулъ ручку аппарата, звуки стали громче. — Нѣтъ никакого смысла снимать комнату помѣсячно, — убѣжденно сказалъ старикъ, опять нѣсколько повышая голосъ и съ улыбкой, прислушиваясь къ пѣвцамъ. «...C'est mon état, dit la gantière, — Quelle couleur, beau Brésilien?» — повторилъ онъ за пѣвицей, изображая пѣние и улыбкой, и поднятiемъ плеча, и легкимъ подтаптыванiемъ. — Полтораستا - двѣсти франковъ я вамъ могу дать, а остальное вы гдѣ-нибудь достанете. Обзаведетесь своимъ угломъ, это отлично. «...Sang de bœuf, charmante gantière, — Lui riposta le Brésilien...» — Такъ вамъ сорокъ восемь? Дайте мнѣ два франка сдачи. — Онъ опустилъ руку въ карманъ за бумажникомъ. Вдругъ лѣвая часть его лица исказилась страшной гримасой, мускулы дернулись разъ, затѣмъ жутко-быстро еще и еще. Мосье Шартъе поспѣшно отвернулся. И точно такъ разрѣшилъ послѣднiя колебанiя Альвера, — онъ выхватилъ револьверъ и выстрѣлилъ въ затылокъ старика. Выстрѣлъ прозвучалъ гулко, гораздо громче, чѣмъ тамъ, въ лѣсу. Мосье Шартъе ахнулъ, повернулся, лицо его все дергалось, глаза выкатились. Онъ открылъ ротъ, сдѣлалъ шажокъ, поднялъ руку и упалъ. Альвера съ ужасомъ взглянулъ въ сторону окна. Мосье Шартъе, дергаясь, судорожно повернулся на бокрикъ, какъ-то скрючившись на бокъ, и затихъ. Онъ былъ убитъ

наповалъ. Въ комнату ворвался оглушительный хоръ, радостно, съ торжествомъ, повторившій слова пѣвца:

...«Et dans la main de la gantière
Tremblait la main du Brésilien»...

Полицейскіе велосипедисты, проѣзжавшіе по большой дорогѣ, услышали гулкой, четкій звукъ: не то выстрѣлъ, не то разрывъ шины. Они замедлили ходъ, прислушиваясь. Ничего тревожнаго слышно не было. — «Какъ будто со сторонывиллы отца Шартье»... Издали донеслась музыка. «Это онъ на дняхъ купилъ радиоаппаратъ», — съ завистью сказалъ одинъ полицейскій, мечтавшій о радио и собиравшій рекламныя объявленія магазиновъ, — «даль двѣ тысячи двѣсти, все сразу, безъ разсрочки». — «Нажился на биржѣ, игралъ на пониженіе», — проворчалъ другой. — «Развѣ послушать? кажется, что-то веселенькое»... — «По тропинкѣ ѣхать неудобно, а впрочемъ все равно». — Они свернули на тропинку и подѣхали къ виллѣ. Ничего подозрительнаго не было. Изъ раствореннаго окна неслись веселые куплеты. — «Отличный аппаратъ! Электродинамическій громкоговоритель, пушпюль», — огорченно сказалъ первый полицейскій. — «Мнѣ бы такой! Хорошо богатымъ людямъ». — «Я даромъ бы не взялъ, это еще хуже, чѣмъ купить канарейку»... Съ музыкой внезапно произошло нѣчто странное, послышался дикій ревъ. «Эхъ, старый болванъ! Купилъ такой аппаратъ и не умѣетъ съ нимъ обращаться! Мосье Шартье!» — закричалъ онъ въ окно, — «да вы не ту ручку вертите!»... Какая-то тѣнь скользнула по стѣнѣ и исчезла. — «Мосье Шартье!», — прокричалъ снова полицейскій. Тѣнь метнулась въ сторону, — что-то слишкомъ быстро для стараго человѣка. Полицейскіе переглянулись. Первый съ рѣшительнымъ видомъ отвелъ свой велосипедъ къ дереву.

Минута испуга, вызваннаго въ особенности неожиданной силой выстрѣла, прошла. Онъ прислушивался къ се-

бѣ, испытывая необыкновенное торжество. Экзаменъ былъ выдержанъ превосходно. Альвера не чувствовалъ ни раскаянія, ни ужаса. Какъ онъ и думалъ, все оказалось вздоромъ: особенно эти имъ выдуманныя угрызенія совѣсти. Только дышать ему какъ будто было немного труднѣе, чѣмъ всегда.

Позднѣе ему казалось, что сдѣланное имъ еще не дошло въ ту минуту до его сознанія, что онъ просто еще не воспринималъ случившагося. Но самъ отвѣчалъ, что этого не могло быть: все произошло по плану, ощущенія убійцы были имъ до убійства перечувствованы сто разъ, и при провѣркѣ оказались вѣрными. Сохраняя хладнокровіе, онъ положилъ револьверъ въ карманъ, наклонился надъ тѣломъ: старикъ былъ мертвъ. «Смотрѣть, разумѣется, неприятно, но вѣдь такъ же неприятно было бы смотрѣть, если-бъ я убилъ его въ бою или на дуэли». Еще подумалъ, что въ чисто-техническомъ отношеніи все сошло прекрасно: убилъ однимъ выстрѣломъ, сразу, во второй разъ стрѣлять не пришлось: предусматривалась и такая возможность, — придется до б и в а т ь, тогда, конечно, тоже выстрѣломъ, хоть это увеличиваетъ рискъ: за ножъ, на кастетъ, онъ чувствовалъ, у него не хватило бы нервовъ.

Альвера взглянулъ на часы: почти никакого опозданія. На поиски денегъ оставалось еще тринадцать минутъ. Онъ осмотрѣлся, осторожно (хоть крови было мало) подвѣялъ выроненный старикомъ бумажникъ, бѣгло-равнодушно заглянулъ въ него, — «да, кажется, денегъ порядочно. Считать? Нѣтъ, потомъ». Сунулъ бумажникъ въ карманъ, оглянулся и подумалъ, что начать поиски надо съ сѣраго ящика, — ключъ торчалъ въ замкѣ. «Да, все идетъ отлично», — мысленно повторилъ онъ, переводя дыханіе, снова взглянулъ на старика, вздрогнулъ и поспѣшно отошелъ, точно старикъ могъ схватить его съ полу.

Прокрался къ двери (подумалъ, что красться соб-

ственно незачѣмъ), заглянулъ въ сосѣдную комнату, оказалось, что это столовая. «Здѣсь что же можетъ быть? Серебро?.. Серебра, конечно, не трогать, его сбыть будетъ очень трудно. Значить, осмотрѣть ящики стола и пройти въ спальную, она, очевидно, тамъ, за столовой. Но какъ все это сдѣлать за четверть часа?» Только теперь онъ понялъ, что расписание составилъ неправильно: въ пятнадцать минутъ обыскать домъ, совершенно не зная, гдѣ что можетъ храниться, невысказано! «Какъ же я могъ допустить такую грубую ошибку?» — тревожно подумалъ онъ, и въ первый разъ хладнокровіе ему измѣнилось. «Отлично идетъ, отлично»... Опять оглянулся, прошелъ снова на цыпочкахъ мимо тѣла, взглянулъ на лицо старика. Ему показалось, что оно искажено тикомъ. Почему-то это ударило его по нервамъ, руки стали дрожать.

Растворенное окно вызывало у него все большую тревогу. «Съ тропинки заглянуть невозможно, окно слишкомъ высоко. Подойти и затворить? Рискованно: вдругъ кто-либо пройдетъ и увидитъ. Выстрѣла никто не слышалъ, никакого жилья по близости нѣтъ. Да и радио!..» Онъ ахнулъ: точно сейчасъ только замѣтилъ, что радио продолжаетъ орать! «...Partez, s'écrit la gantière, — Partez, séduisant Brésilien...» — пѣла женщина. Альвера вдругъ затрясся слабой дрожью. «Что за вздоръ!» — подумалъ онъ, стараясь успокоить себя, — «все сошло отлично. Опозданіе? Въ крайнемъ случаѣ, я могу остаться до слѣдующаго поѣзда. Онъ проходитъ полчасомъ позднее. Правда, въ немъ пассажировъ меньше, но это не такъ важно... Тогда на поиски останется сорокъ пять минутъ, болѣе чѣмъ достаточно. Но мысль о томъ, чтобы провести здѣсь еще три четверти часа, показалась ему очень непріятной, почти нестерпимой: онъ испытывалъ потребность что-то дѣлать, дѣлать очень быстро и энергично: «Сейчасъ приступить къ поискамъ, сейчасъ же, сію секунду! Если за тринадцать — теперь уже за двѣнадцать — минутъ найду, — уйти; если нѣтъ, — остаться до слѣ-

дующаго поѣзда... И тогда, разумѣется, уйти ровно за семь минутъ. Не забыть передъ уходомъ закрыть это проклятое радио!.. Иначе оно будетъ орать всю ночь, сосѣди обратятъ вниманіе, темль будетъ потерянь. Но собственно его можно закрыть уже и сейчасъ: если кто и пройдетъ, вполнѣ естественно, что старикъ въ десятомъ часу прекратилъ музыку. Да, конечно, сейчасъ закрыть», — подумалъ онъ съ нарастающей смутной безотчетной тревогой; руки дрожали все сильнѣе. Альвера на цыпочкахъ приблизился къ аппарату и опять прислушался. «...Tu veux donc, cruelle gantière...» — пѣлъ шутовской голосъ. «Странно, что гдѣ-то идетъ оперетка, люди слушаютъ, хочутъ, и я тоже слушаю... Но вѣдь и они могутъ меня слышать!..» Онъ тутъ же выругалъ себя за глупость: его слышать по радио никакъ не могли. «Кажется, начинаю терять самообладаніе... Да, непременно сейчасъ, сейчасъ закрыть это проклятое радио!..» Альвера наудачу повернулъ одинъ изъ кружковъ аппарата. Къ крайнему его смятенію, аппаратъ не только не замолкъ, а, напротивъ, загремѣлъ страшно, все пронзительнѣй. Альвера отдернулъ руку отъ кружка, снова за него схватился и сталъ вертѣть. Голосъ бразильца ревѣлъ совершенно дико, точно въ насмѣшку. Имъ овладѣлъ ужасъ. «Что-же это?!» — задыхаясь, подумалъ онъ, — «вѣдь люди нагрянутъ! Бросить? Пусть оретъ? Нѣтъ, нельзя, нельзя, сбѣгутся»... Онъ схватился обѣими руками за кружки, потянулъ ихъ, нажалъ на нихъ. Бразилецъ, издѣваясь, ревѣлъ все страшнѣе: «...Tu veux la mort du Brésilien»... Съ яростью онъ изо всей силы ударилъ кулакомъ по аппарату, толкнулъ его къ стѣнѣ, схватился за сердце, уже не опернымъ, а настоящимъ движеніемъ: чувствовалъ, что задыхается. И въ ту же минуту не изъ аппарата, а изъ окна послышался голосъ: не механической, не мертвой, а живой, настоящей, сильный: «Мосье Шартъ»...

Дальше онъ не слышалъ. Альвери застылъ на мгновенье отъ ужаса. Затѣмъ, низко согнувшись, скользнулъ

куда-то въ сторону, затѣмъ перебѣжалъ въ уголъ. Онъ прислонился къ стѣнѣ, вынулъ изъ кармана револьверъ, судорожно-крѣпко сжалъ рукоятку. «Еще есть четвѣре патрона»... Теперь понялъ то, что кричали съ тропинки. Мысль его работала напряженно. «Прокричать: «я ложусь спать, оставьте меня въ покоѣ»?.. Но они узнаютъ по голосу. Не отвѣчать ничего? Подойти къ окну и убить его? Лучше всего не отвѣчать... Можетъ, онъ покричитъ и пройдетъ мимо. Если позвонить, тоже не отзываться. Пойдетъ за полиціей? Но пока онъ придетъ, я успѣю скрыться. «...Et voilà comment la gantière...» оралъ дикимъ голосомъ бразилецъ. За окномъ послышался шумъ уже не съ тропинки, а изъ палисадника; кто-то какъ будто пытался вскарабкаться на окно. Альвера поднялъ револьверъ. Въ окнѣ, какъ постепенно слагающіяся фигуры на экранѣ кинематографа, появилось кепи, усатое лицо, синія плечи. «Полиція!» — съ остановившимся дыханіемъ подумалъ онъ. «Почему же полиція!» На усатомъ лицѣ скользнулъ испугъ. Раздался выстрѣлъ, полицейскій вскрикнулъ и не то нырнулъ, не то свалился. Альвера бросился къ двери. Вдогонку завылъ гогочущій хоръ:

«...Et voilà comment la gantière
Sauva les jours du Brésilien...»

Онъ отворилъ дверь, перебѣжалъ черезъ палисадникъ. Кто-то у калитки отшатнулся въ сторону. Альвера понесся по тропинкѣ. За нимъ, разрѣзая ревъ радио, раздался пронзительный, протяжный, непрекращающійся свистокъ. «Погоня! Все пропало!» — успѣлъ подумать онъ, задыхаясь. Выбѣжалъ на большую дорогу, кто-то шарахнулся къ стѣнѣ. «Господи, что это!» — взвизгнулъ женскій голосъ. Гдѣ-то зажглись огни, гдѣ-то стали отворяться ставни. «A l'assassin!» — раздался отчаянный крикъ. Альвера бѣжалъ, уже понимая, что бѣжать некуда, что спастись невозможно: гильотина! Крики за нимъ все учащались. Особенно страшень былъ этотъ злобный,

непрерывный, все усиливающийся свистъ. Вдали мелькнули огни кофейни. Сбоку, со стороны желѣзнодорожнаго полотна, послышался свистокъ паровоза. «Это мой поѣздъ!.. Вскочить... билетъ... заплачу штрафъ», — обезумѣвъ, думалъ онъ. Сзади прогремѣлъ выстрѣлъ. Альвера оглянулся на бѣгу: полицейскій на велосипедѣ былъ шагахъ въ двадцати отъ него. Онъ выстрѣлилъ въ полицейскаго, почти не цѣлясь, бросилъ въ него револьверомъ и снова побѣжалъ, уже изъ послѣднихъ силъ. Кто-то въ ужасѣ прижался къ забору. Альвера вспомнилъ объ электрическомъ рельсѣ. «Да, больше ничего не остается... Сингъ-Сингъ... Только бы добѣжать!..» «A l'assassin!» — неся гулъ злобныхъ, отчаянныхъ голосовъ. На порогѣ кофейни появился человекъ съ поднятой бутылкой. «Но если я не убилъ полицейскаго, можетъ гильотины не будетъ», — подумалъ Альвера. Онъ почувствовалъ ударъ, острую боль во рту, въ головѣ, схватился за подбородокъ, пошатнулся, обливаясь кровью, и упалъ.

XXI.

Къ кофе гости за столомъ перемѣстились. Кангаровъ покинулъ свое мѣсто и, перенося съ собой стулъ, сталъ подсаживаться то къ одному гостю, то къ другому: говорилъ съ графиней, съ Серизье, сѣлъ между Тамаринымъ и Надей; это была конечная цѣль его маневра. Обѣдъ удался на славу, приглашенные получили все, на что могли рассчитывать, отъ мыслей Вермандуа до хереса и шампанскаго; теперь хозяинъ могъ подумать и о своемъ удовольствіи, тѣмъ болѣе, что общій разговоръ не умолкалъ ни на минуту. Не принималъ въ немъ участія только Вислиценусъ. «Хоть бы изъ приличія слово сказалъ. Ну, да чортъ съ нимъ!..» — подумалъ Кангаровъ, но не очень сердито: такъ былъ доволенъ своимъ вечеромъ.

— Правда, объѣдъ былъ недурной, Командармъ Ивановичъ? — спросилъ онъ, садясь между Тамаринымъ и Надеждой Ивановной. — Я думаю, можно теперь поболтать и по-русски, они не слышать.

— Отличный объѣдъ, тутъ кормятъ на славу, — отвѣтилъ Тамаринъ и на всякій случай добавилъ: «По крайней мѣрѣ, если судить по нынѣшнему»; не надо было думать, что онъ иногда и одинъ заходитъ въ столь дорогой ресторанъ. Тамаринъ въ самомъ дѣлѣ тутъ не былъ двадцать пять лѣтъ; въ началѣ объѣда онъ старался вспомнить, когда именно и съ кѣмъ былъ въ этомъ ресторанѣ въ послѣдній разъ. Воспоминаніе о потонувшемъ мирѣ было теперь ему такъ странно.

— Вотъ куда уходятъ народныя деньги! — сказала Надя. Вѣрнѣе, чуть заплетавшійся языкъ ея самъ выговорилъ почему-то эти слова, — вѣроятно, по принципу наименьшаго усилія: ей часто случалось ихъ произносить. Если-бъ не вино, она и въ шутку не позволила бы себѣ здѣсь такихъ словъ, несмотря на отеческое отношеніе къ ней Кангарова. Посоль однако не разсердился.

— А что, если я тебѣ ушки надеру за такія за слова? — ласково сказалъ онъ. — По существу ты, конечно, права, но съ волками жить по волчьи выть... Все-таки вкусно, — добавилъ онъ съ легкимъ вздохомъ, какъ бы показывавшимъ, что мысль о народныхъ деньгахъ отравляетъ ему удовольствіе отъ объѣда. — Въ будущемъ всѣ такъ будутъ ѣсть каждый день. У меня въ жизни, — не скрываю, хоть немного и стыдно, — это большое удовольствіе. Тебѣ какъ понравилась утка съ апельсинами?

— Вкусно-то вкусно, но апельсины тутъ ни къ чему, а утки у насъ, въ Москвѣ, бываютъ и пожирнѣе.

— «Пожирнѣе», — передразнилъ Кангаровъ, чувствуя снова, что улыбка этой дѣвочки, ея глаза, — «сейчасъ пьяненькіе, нагленькіе», — для него дороже и важнѣе всего на свѣтѣ. — «Пожирнѣе»!.. — Кто-то тронулъ его сзади за плечо, онъ съ неудовольствіемъ оглянулся; за его

стуломъ стоялъ съ заговорщическимъ видомъ докторъ Зигфридъ Майеръ.

— Moment, — сказалъ онъ, — ein Moment. — Кангаровъ неохотно всталъ и отошелъ съ нимъ къ окну.

— Въ чемъ дѣло?

— Вы, надѣюсь, не забыли? — таинственнымъ тономъ спросилъ нѣмецъ, показывая взглядомъ въ сторону Вислиценуса.

— Не забылъ чего? Ахъ, да, вы хотѣли съ нимъ поговорить. Но вѣдь я нарочно посадилъ васъ рядомъ, — солгалъ Кангаровъ.

— Я хотѣлъ бы поговорить съ нимъ наединѣ... Двое составляютъ компанію, а трое нѣтъ, — любезно осклабясь, сказалъ Майеръ.

— Такъ выйдите въ корридоръ, — съ досадой предложилъ посоль. Его раздражало это дѣло, которое упорно держали отъ него въ секретѣ. — Онъ, кажется, говоритъ по-нѣмецки, лакеи вашихъ тайнъ не поймутъ... А то еще проще, ступайте въ этотъ кабинетикъ, васъ тамъ никто подслушивать не будетъ, — добавилъ онъ, сдѣлавъ рукой движеніе въ сторону портьеры. Майеръ одобрительно кивнулъ головой. — Я ему сейчасъ скажу.

Когда Вислиценусъ мрачно вышелъ съ Майеромъ въ комнатку за портьерой, Кангаровъ занялъ его мѣсто рядомъ съ графиней, немного съ ней поговорилъ, втравилъ ее въ разговоръ мужинъ объ испанскихъ дѣлахъ и вернулся къ Надеждѣ Ивановнѣ. «Теперь бы еще этого сплавить», — подумалъ онъ и обратился къ Тамарину:

— Эти красавцы все жаждутъ узнать ваше мнѣніе о паденіи Бадахоса, Командармъ Ивановичъ. Я-то его знаю. Можетъ, вы имъ освѣтите?

— Не посрамите совѣтской земли, Константинъ Александровичъ, — сказала Надя, сама удивляясь своей развязности.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, постоитъ за нашу стратеги-

ческую школу. Въдь вы первый знатокъ. Блесните, блесните передъ ними.

— Да какая же въ этой войнѣ стратегія! — возразилъ Тamarinъ, вмѣстѣ и польщенный, и сконфуженный. Онъ и вообще не умѣлъ блистать, а тутъ надо было блистать по-французски. Однако онъ послушно пересѣлъ на мѣсто Вислиценуса и вмѣшался въ разговоръ, который черезъ минуту его увлекъ, несмотря на полную увѣренность командарма въ совершенной некомпетентности штатскихъ слушателей. Ужасы испанской войны вызывали у Тамарина сожалѣніе, — «хоть какія же войны безъ ужасовъ?» — но война радостно его волновала. Онъ слѣдилъ за ней по газетамъ, какъ шахматный игрокъ, не участвующій въ международномъ турнирѣ, слѣдитъ за тѣмъ, провѣряется ли другими его идея.

— Я имъ подкинулъ Бадахось, теперь у насъ есть добрыхъ полчаса! — сказалъ тихо Кангаровъ, наклоняясь къ Надеждѣ Ивановнѣ. Почему-то онъ на этотъ вечеръ возлагалъ большія надежды. Съ ужасомъ и счастьемъ онъ почувствовалъ, что почти собой не владѣеть. «Все равно! Все другое мнѣ все равно! Теперь или никогда!» — Я надѣюсь, Бадахось тебя не такъ интересуешь?

— Нѣтъ, не такъ. А васъ?

— Меня интересуешь только ты, и ты отлично это знаешь, скверная дѣвченка, — сказалъ онъ, не смягчая теперь своихъ словъ обычной сладкой улыбкой. Она наивно-изумленно открыла ротъ. «Эти губки, я съ ума схожу!» Замирая, онъ совсѣмъ приблизилъ къ ней лицо.

— Хочешь, дѣтка, еще бенедиктина?.. Это мой любимый ликеръ.

— Хочу.

— Пей... Не такъ пьешь, дурочка. И я съ тобой выпью... А потомъ я тебѣ что-то скажу...

— Ничего не скажете, и не надо... Да вы что-жъ себѣ въ мою рюмку наливаете! У васъ есть своя.

— Узнаю всё твои мысли. А хочешь узнать мои? — почти прошептала Кангаровъ. Верманда издали бросилъ на нихъ свой профессиональный взглядъ. «Уже его любовница или только скоро будетъ?», — съ завистью спросилъ себя онъ. «Онъ смотритъ на нее, какъ Фрагонаровскій амуръ, снимающій рубашку съ красавицы»...

Вислиценусъ дѣйствительно молчалъ все время обѣда, несмотря на попытки графини ввести его въ разговоръ. Мрачное настроеніе имъ овладѣло тотчасъ послѣ прихода въ ресторанъ. Еще въ дверяхъ кабинета онъ увидѣлъ Надежду Ивановну и самъ испугался своей радости. «Какъ похорошѣла!..» Радостно помахавъ ей рукой, онъ поздоровался съ хозяиномъ, еле назвалъ гостямъ (которые, глядя на него, старались скрыть удивленіе) одну изъ своихъ фамилій, — первую, что пришла въ голову, — и подошелъ къ Надѣ. Ему однако показалось, что она совершенно не обрадовалась встрѣчѣ. Это было невѣрно: напротивъ, Надеждѣ Ивановнѣ въ ея первоначальномъ смущеніи было приятно всякое знакомое лицо; но отъ растерянности она изображала свѣтское спокойствіе.

— Я такъ радъ васъ видѣть! — произнесъ Вислиценусъ, крѣпко пожимая ей руку.

— Я тоже очень рада, — холодно отвѣтила она и подумала: «Какъ онъ постарѣлъ! Совсѣмъ старикъ. Или боленъ?» — Давно ли вы здѣсь?

— Я? Нѣтъ, не очень давно... Совсѣмъ недавно, — осыпшись, отвѣтилъ Вислиценусъ.

— И надолго въ Парижъ?

— Да... А вы цвѣтете, — сказалъ Вислиценусъ и поразился пошлости своихъ словъ. — Вы надолго въ Парижъ? — спросилъ онъ то же самое, что она. — Но какъ же... Какъ живемъ?

— Вашими молитвами, — столь же развязно отвѣтила Надежда Ивановна. Къ нимъ подошелъ Тамаринъ, тоже державшійся русскихъ въ этомъ смѣшанномъ, непри-

вычномъ обществѣ. Онъ привѣтливо поздоровался съ Вислиценусом, кое-какъ завелъ съ нимъ вполголоса, порусски, не очень оживленный разговоръ; Надя изрѣдка вставляла невпопадъ свѣтскія замѣчанія. Затѣмъ появился старый французскій писатель, и всѣ стали разсаживаться. Вислиценусъ на минуту замѣшкался, мѣста рядомъ съ Надеждой Ивановной оказались занятыми. Онъ сѣлъ на первый свободный стулъ, рядомъ съ графиней де Белланкомбръ. По рыжему пиджаку и по виду сосѣда графиня догадалась, что онъ здѣсь былъ самый лѣвый, — «большевистскій фанатикъ!» Она уже перевидала немало большевиковъ, но ни одного фанатика до сихъ поръ не встрѣчала и была поэтому особенно любезна. Кангаровъ, вначалѣ съ тревогой на нихъ поглядывавшій, скоро успокоился. «Въ самомъ дѣлѣ ее фраками и смокингами не удивишь. Для нея, быть можетъ, въ этомъ пиджачкѣ, въ мягкомъ воротничкѣ, въ желтыхъ ботинкахъ есть даже какое-то очарованіе».

За обѣдомъ Вислиценусъ мало ѣлъ и много пилъ, пилъ все, что наливалъ лакей: хересь, рейнвейнъ, красное вино, шампанское, ликеры. Въ молодости у него бывали періоды, когда онъ пилъ запоемъ, потомъ бросалъ совершенно; въ Москвѣ какъ-то снова запилъ, взялъ себя въ руки и въ послѣдніе годы не пилъ ничего. Нѣкоторая устойчивость къ вину у него оставалась; Вислиценусъ не опьянѣлъ и не повеселѣлъ, только сталъ еще блѣднѣе, и сердце начало постукивать. Онъ до грубости односложно отвѣчалъ графинѣ и что-то невнятно бормоталъ въ отвѣтъ сосѣду справа, который на нѣмецкомъ языкѣ излагалъ ему соображенія о неминуемомъ близкомъ паденіи Гитлера.

Впрочемъ, уже съ хереса, гостямъ, не желавшимъ разговаривать, необходимости въ этомъ и не было. Вермандуа овладѣлъ бесѣдой и почти не умолкалъ, такъ что командармъ съ удовлетвореніемъ думалъ: «Ну, у этого инициативы не вырвешь». — «Собственно, чего же я ждалъ? Что она бросится мнѣ на шею? Разумѣется, я ей чужой чело-

вѣкъ, и надо совершенно утратить надъ собой контроль, чтобы мечтать о какомъ-то вздорѣ... Обидно? Но жизнь подавляющаго большинства людей состоитъ изъ обидъ, униженій, оскорбленій. Однимъ больше, однимъ меньше». Вислиценусъ старался не смотрѣть на Надежду Ивановну и все время ее видѣлъ: противъ него на стѣнѣ висѣло зеркало. Ну, да, пора забыть о вздорѣ, когда стоишь одной ногой въ могилѣ, и слава Богу, что стоишь»... Иногда онъ заставлялъ себя прислушиваться къ тому, что говорилъ Вермандуа, и раздражался еще больше, быть можетъ потому, что находилъ въ его мысляхъ нѣкоторое сходство со своими.

«Плоско не то, что онъ говорить, плоско, какъ онъ говорить», — думалъ Вислиценусъ, искоса бросая мрачные взгляды на Вермандуа. — «Одна кокетливая улыбочка чего стоитъ! Онъ, великій, гениальный писатель, любитъ кинематографъ! Онъ ходитъ въ кинематографъ, какъ простой смертный! но, разумѣется, все же не такъ, какъ простой смертный... Конецъ міра, конецъ цивилизаціи, — отчего же не поговорить и объ этомъ? Такъ же легко онъ могъ бы доказывать и обратное: что міръ никогда не кончится и что цивилизація переживаетъ небывалый расцвѣтъ. Лучшій доводъ въ пользу конца цивилизаціи — это онъ самъ. И серьезнѣйшія изъ его мыслей, какъ кровь въ Человѣческаго тѣла, свертываются оттого, что онъ ихъ произносить... Эти салонные болтуны говорятъ объ инквизиторахъ съ полной увѣренностью въ своемъ моральномъ превосходствѣ. Но первые, настоящіе инквизиторы оклеветаны, — какъ бы ли оклеветаны первые, настоящіе большевики. Вопреки тому, что о нихъ думаютъ, они, конечно, вѣрили въ то, что дѣлали и говорили. Не сразу и мы превратились въ инквизицію безъ вѣры въ Бога. Настоящіе злодѣи проливаютъ кровь изъ выгоды, по привычкѣ, равнодушно»... — Вислиценусъ вспомнилъ со злобной радостью то, что прочелъ передъ обѣдомъ о мировыхъ событіяхъ въ вечерней газе-

тѣ. — «У нихъ крови меньше, но грязи, пожалуй, больше, чѣмъ у насъ. Да не меньше и крови: у нихъ нѣтъ чрезвычайскъ, но та война, которую они теперь готовятъ, унесетъ уже не десять миллионѣвъ людей, какъ прошлая, а двадцать или тридцать. С а л д о крови еще, пожалуй, окажется въ нашу пользу, хотъ мы и уморили голодомъ, частью сознательно, частью по глупости, по неумѣнню, по безтолковщинѣ, нѣсколько миллионѣвъ крестьянъ... Но если и правъ этотъ ученый болтунъ, если цивилизація кончается, то не все ли равно для тѣхъ, кто, какъ я скоро, очень скоро, долженъ сыграть въ ящикъ?..» Вислиценуса вдругъ поразило это ходячее въ Москвѣ выраженіе, точно онъ его услышалъ въ первый разъ въ жизни. «Сыграть въ ящикъ...» Наглое, циничное, прекрасное выраженіе, одно изъ лучшихъ приобрѣтеній нашего языка...

Раза два его черезъ столъ о чемъ-то спрашивалъ Тамаринъ, разъ и Надя спросила: «Какъ же вы все-таки проживаете?» — «Кажется, и имя-отчество забыла», — подумалъ онъ и хотѣлъ было отвѣтить: «Ничего, думаю скоро сыграть въ ящикъ», — но отвѣтилъ: «Ничего, спасибо, вы какъ?» Однако она уже заговорила со старикомъ-французомъ. Потомъ, къ концу обѣда къ ней подсѣлъ Кангаровъ, и почему-то это было Витлиценусу чрезвычайно неприятно. Онъ отвернулся, сталъ мраченъ, какъ туча, и пилъ все больше. «Вздоръ, конечно... Какъ многія грубыя натуры, онъ склоненъ къ платоническимъ увлеченіямъ. Противенъ этотъ запахъ ѣды, вина, папирось... Все противно!..» Вдругъ у него закружилась голова, и сердце застучало страшно, какъ никогда до того не стучало. «Если сейчасъ сыграю въ ящикъ здѣсь, большая будетъ неприятность этому прохвосту», — подумалъ онъ. Зато у насъ кое-кто будетъ очень доволенъ»...

И снова, какъ тогда въ кофейнѣ, но по яному, его пронзала мысль о разстрѣлянныхъ въ Москвѣ людяхъ, старыхъ товарищахъ, теперь уже гнившихъ въ безвѣстной

могилѣ. «Я почти никого изъ нихъ не любилъ. Но какіе бы они ни были, эти люди прожили всю жизнь во имя революціонной идеи — и умерли опозоренными, купаясь въ грязи. Былъ до войны революціонеръ, просидѣвшій двадцать лѣтъ въ Шлиссельбургѣ и затѣмъ, по выходѣ изъ крѣпости, поступившій на службу въ охранку. Они свою жизнь наладили почти столь же разумно... Въ этой обстановкѣ дорогого ресторана, за уставленнымъ бутылками столомъ, мысль о погибшихъ въ застѣнкѣ людяхъ, была по неожиданности особенно дика и страшна. Сердце у него стучало все сильнѣе. Вислиценусъ взглянулъ въ зеркало и, надъ лысиной финансиста, увидѣлъ свое лицо. «Да, краше въ гробъ кладутъ, въ ящикъ»... Внезапно въ зеркалѣ показался ящикъ, — не гробъ, а именно ящикъ и какой-то странный, грубый, неоструганный, желтоватый, точно изъ-подъ посуды, съ соломой. Имъ овладѣлъ непонятный ужасъ. «Кажется, я въ самомъ дѣлѣ начинаю сходить съ ума. Вторая галлюцинація за день!».

— Товарищъ Дакочи, съ вами хотѣлъ бы уединиться этотъ почтенный тевтонъ, — сказалъ за нимъ непріятный голосъ. — Что съ вами? Вы нездоровы?

— Нѣтъ, пустяки, выпилъ чуть больше, чѣмъ нужно. Ну, что-жъ, я готовъ съ нимъ поговорить. Но гдѣ же?

— Если хотите, пройдите съ нимъ вонъ туда. Тамъ вамъ никто не помѣшаетъ. Этотъ кабинетикъ съ диваномъ, вѣрно, служилъ грандюкамъ и ихъ дамамъ не для политическихъ бесѣдъ. Были грандюки, товарищъ Вислиценусъ, а теперь мы съ вами... Лучше всего туда пройдите. Если ненадолго, то никто и не замѣтитъ.

Пока Кангаровъ говорилъ съ Майеромъ и Вислиценусомъ, Надежду Ивановну очень любезно занималъ графъ де Белланкомбръ. Но, въ отличіе отъ другихъ старичковъ, онъ отъ ея близости явно не испытывалъ ни волненія, ни радости, — Надя, какъ всегда, это тотчасъ почувствова-

ла съ легкой досадой. — «Можетъ быть, для него существуютъ только графини и герцогини? Ну, и пусть радуется на свою красавицу». Впрочемъ, на свою красавицу графъ радовался тоже не слишкомъ: почти на нее не смотрѣлъ, а когда смотрѣлъ, то безъ особой нѣжности. Графъ очень мало ѣлъ, пилъ только минеральную воду и совершенно не слушалъ того, что говорили за столомъ. «Вѣрно, недоволенъ, что попалъ въ дурное общество», — подумала Надя, съ неудовольствіемъ сознавая, что, несмотря на ея взгляды, ей внушаетъ — не уваженіе, конечно, но какой-то повышенный интересъ — графскій титулъ этого старичка.

Она ошибалась. Графъ дѣйствительно всѣхъ участниковъ обѣда, въ ихъ числѣ и свою жену, считалъ людьми дурного общества; но это было ему совершенно безразлично, такъ какъ въ столь же дурномъ обществѣ онъ находился почти всегда: и въ разныхъ правленіяхъ, въ которыхъ состоялъ или числился членомъ, и въ клубахъ, гдѣ игралъ въ бриджъ съ банкирами, съ промышленниками, съ мнимыми, да и съ настоящими, аристократами, которые, съ точки зрѣнія его дѣда, были бы немногимъ лучше большевиковъ и социалистовъ. Разговоры за столомъ не интересовали графа: онъ такіе же, или немного лучшіе, или немного худшіе, разговоры слышалъ раза два въ недѣлю въ салонѣ своей жены. Вермандуа, какъ хорошо зналъ графъ, могъ такъ же гладко и учено, съ цитатами и съ афоризмами, говорить о чемъ угодно. Женщины давно волновали графа лишь теоретически, да и то не очень. У него къ нимъ теперь было ласково-ироническое отношеніе, осложненное пріятными воспоминаніями, да еще тѣмъ, что почти всѣ онѣ необыкновенно безтолково играли въ бриджъ (не вѣрили, что не имѣютъ объ игрѣ и понятія). А такъ какъ врачи строго запретили графу спиртные напитки, предписали діету, на ночь же настойчиво совѣтовали ѣсть очень мало и, по возможности, лишь фрукты и овощи, то онъ скучалъ на

всѣхъ обѣдахъ, одинаково съ большевиками и съ герцогами.

Занималъ его главнымъ образомъ вопросъ: когда кончится обѣдъ? Если-бъ гости разошлись въ одиннадцать, онъ могъ бы еще заѣхать въ клубъ и тамъ сыграть нѣсколько робберовъ. Графъ считался однимъ изъ лучшихъ знатоковъ бриджа во Франціи, его именемъ была названа какая-то импровизация, и въ клубахъ его участія въ партіи добивались, какъ особой чести и радости; онъ это шутиливо приписывалъ «мазохизму»: люди, игравшіе съ нимъ, имѣли развѣ двадцать шансовъ изъ ста на выигрышъ при случайной партіи, и ни одного шанса при партіи постоянной. Игралъ онъ всегда очень спокойно, безъ споровъ (впрочемъ, спорить съ нимъ никто и не рѣшился бы), безъ попрековъ, безъ замѣчаній, самыя трудныя комбинаціи разыгрывалъ, какъ будто почти не думая, чрезвычайно быстро, и притомъ такъ, что обычно и въ этотъ, и на слѣдующій день въ клубѣ почтительно обсуждали его розыгрышъ.

Шансовъ, что вечеръ совѣтскаго посла кончится въ одиннадцать, было, онъ чувствовалъ, очень мало. Первую, не серьезную, предварительную заявку о томъ, что пора по домамъ, сдѣлаетъ кто-либо, скорѣе всего Вермандуа, еще не скоро: для выраженія благодарности хозяину за обѣдъ потребуется полтора или два часа послѣобѣденной бесѣды. Графъ зналъ также, что эта первая предварительная заявка объ уходѣ будетъ сразу рѣшительно отклонена, даже почти безъ словъ, просто выраженіемъ ужаса, обиды и отчаянія на лицѣ хозяина. Потомъ, минутъ черезъ двадцать, можно будетъ сдѣлать вторую заявку, на которую хозяинъ отвѣтитъ уже менѣе рѣшительнымъ протестомъ, а еще минутъ черезъ десять гости по настоящему простятся и разъѣдутся. Но тогда, въ первомъ часу ночи, жена, конечно, потребуетъ, чтобы онъ съ ней вернулся домой. Такимъ образомъ, на партію въ этотъ вечеръ рассчитывать не приходилось. Графъ

ѣлъ салатъ, пилъ Виши, говорилъ изрѣдка нѣсколько словъ сосѣдямъ, иногда, не очень похоже, дѣлалъ видъ, будто съ интересомъ прислушивается къ умной бесѣдѣ, и думалъ, что, если-бъ не проклятое приглашеніе и не его жена, можно было бы теперѣ въ клубѣ, за столомъ, съ надеждой сдавать карты или разыгрывать трудную партію, при общемъ сосредоточенномъ вниманіи, — у него за спиною, слѣдя за его игрой, обычно толпились люди; онъ принималъ это какъ должное и не раздражался даже тогда, когда подходили лица, завѣдомо приносящая несчастье. — «Какъ все-таки нѣтъ у людей мужества откровенно разъ навсегда предпочесть настоящія, искреннія, неподдѣльные удовольствія — глупымъ и притворнымъ?..»

Встрѣтившись взглядомъ съ Тамаринымъ, который думалъ о постели и о томикѣ Клаузевица, графъ инстинктомъ почувствовалъ въ немъ союзника и улыбнулся: зналъ, что на всѣхъ званныхъ обѣдахъ существуютъ правительственная партія, вполне довольная обѣдомъ, и оппозиція, иронически порицающая или даже (въ зависимости отъ темперамента) проклинаящая обѣдъ и хозяевъ. Здѣсь, онъ чувствовалъ, оппозицію составляли онъ самъ, этотъ старый генералъ и странный человѣкъ, сидѣвшій рядомъ съ его женой. Онъ видѣлъ также, что странный человѣкъ интересуется графиню. «Вѣрно, скоро будетъ у насъ въ салонѣ». Графъ вздохнулъ и тихо спросилъ сосѣда слѣва, кто этотъ человѣкъ. Узнавъ, что это извѣстный революціонеръ, членъ Коммунистическаго Интернаціонала, называющійся въ настоящее время Вислиценусомъ, графъ одобрительно кивнулъ головой, нѣсколько поднявъ брови кверху, въ доказательство того, что слышалъ, понимаетъ и цѣнитъ. Теперѣ было ясно, что человѣкъ въ рыжемъ пиджакѣ непременно будетъ почетнымъ гостемъ ихъ дома. «Все-таки, чего ей нужно? Можно было понять, когда она гонялась за лордомъ Бальфуромъ... Но теперѣ, кажется, у насъ перебывали всѣ». Онъ

дѣлнво еще подумаль, что слѣдовало бы у кого-нибудь узнать, кто сосѣдь дѣлва. «А впрочемъ, совершенно все равно».

Надежда Ивановна незамѣтно вышла въ переднюю, вынула у зеркала изъ сумки эмалевую коробочку, снова ею полюбовалась, полудрила носъ, лобъ, ямочку подбородка, съ наслажденіемъ вдыхая еще не привычный запахъ новой, дорогой пудры; что-то поправила въ волосахъ, не вполне увѣренно провела одной новенькой штучкой по бровямъ, другой — по губамъ. Видѣла, что ничего по настоящему поправлять не надо, все отлично. Голова у нея кружилась, ей было весело, такъ весело, какъ давно не было. «Да что же собственно хорошаго случилось? Ну, прекрасный обѣдъ, вино, ликеры. Не успѣхъ же у старичковъ! У амбассадера успѣхъ сегодня даже слишкомъ большой... Зачѣмъ они такъ разставили зеркала: одно здѣсь, а другое въ кабинетъ? Отсюда видно, что тамъ происходитъ, даже въ той комнаткѣ... Если оргіи, то это неудобно»... Ей почему-то вспомнился красивый молодой человѣкъ, сидѣвшій въ кофейнѣ рядомъ съ ней и Тамиринымъ. «Неужели бѣлогвардеецъ? Жаль»...

Въ зеркалѣ отразилась фигура входившаго въ переднюю Кангарова. Видѣ у него былъ какой-то особенный, ухарскій, игриво-разбойничій, точно онъ подкрадывался къ кому-то съ кистенемъ. Надежда Ивановна почему-то сдѣлала сначала видъ, будто его не замѣтила, затѣмъ, будто слабо ахнула, затѣмъ, будто недовольна.

— А, и вы тутъ, — процѣдила она, какъ въ романахъ гордыя неприступныя красавицы «процѣживаютъ сквозь зубы» презрительныя замѣчанія. И такъ какъ въ эту минуту она проводила новенькой штучкой по губамъ, то голосъ ее прозвучалъ комически-неестественно.

— «И вы тутъ», — передразнилъ Кангаровъ, низко къ ней наклоняясь. Отъ него сильно пахло виномъ, но это не было неприятно Надеждѣ Ивановнѣ, какъ не были не-

приятны его близость, выраженіе его глазъ. «Отсюда не видно, а если и видно, мнѣ все равно!» — все набираясь ухарски-разбойничьяго духа, подумаль онъ. — «Скандалъ, такъ скандалъ!..»

— Гостей, значить, бросили? Хорошъ хозяинъ, — сказала Надя, пряча эмалевую коробку въ сумку.

— Значить, бросилъ. Ты довольна, дѣтка? Тебѣ весело? — спросилъ онъ тихо, заколебавшись между игривымъ и отеческимъ тономъ.

— Да, правда, очень весело. Ей Богу! Страшно замъ благодарна, что вы меня пригласили...

— А если благодарна, такъ благодари, — прошепталъ онъ и поцѣловаль ее въ шею, у корней волосъ. Она опять слабо ахнула, теперь уже безъ притворства. «Однако!..» Этого у нихъ никогда не было. Хотѣла было разсердиться, — не вышло, не разсердилась. «Однако, нахаль порядочный!» — сказала она мысленно и собралась было сказать что-то не-мысленно, но Кангарова въ передней уже не было. Взволнованный и счастливый, онъ скользнулъ — именно скользнулъ, точно на конькахъ — назадъ къ гостямъ. Въ ту же секунду Надежда Ивановна встрѣтилась глазами въ зеркалѣ съ входящимъ въ кабинетъ изъ маленькой комнаты Вислиценусомъ. Ей показалось, что онъ остановился у двери какъ вкопанный. — «Неужели видѣлъ?!..»

Вислиценусъ не видѣлъ поцѣлуя и не останавливался у дверей какъ вкопанный. Но онъ видѣлъ, что Кангаровъ вышелъ изъ передней, гдѣ былъ вдвоемъ съ Надеей, видѣлъ, что оба они смущены, что лица у нихъ странныя. И то чувство отвращенія, которое Вислиценусъ испытываль во все время обѣда, которое еще усилилось отъ разговора съ нѣмцемъ, стало совершенно непреодолимымъ. Онъ посидѣлъ нѣсколько минутъ, разговаривая кое-какъ съ Тамиринымъ, — въ этомъ обществѣ одинъ командармъ

не внушалъ ему отвращенія и злобы, — затѣмъ, не прощаясь, вышелъ въ корридоръ, и подалъ вскочившему со стула мальчику свой номерокъ. Въ корридоръ появился вышедшій за нимъ Кангаровъ.

— Что вы, дорогой мой, а-л'англэзъ? — изображая шутливое возмущеніе, сказалъ посоль. — Отчего же такъ рано? Нѣтъ, я васъ не отпускаю.

— Извините, я очень усталъ.

— Но вѣдь еще страшно рано! Надѣюсь, вы успѣли переговорить съ Майеромъ?

— Успѣлъ.

— Очень радъ, что хоть чему-нибудь могъ послужить этотъ мой несчастный обѣдъ, — сказалъ Кангаровъ, покачивая головой съ улыбкой, означавшей: «Охъ, тяжело! Ну, да вы сами понимаете, отчего я вынужденъ заниматься столь непріятными дѣлами»... Онъ съ полминуты подождалъ, какъ бы ожидая, что Вислиценусъ скажетъ: «Нѣтъ, что вы, что вы! Вечеръ былъ очаровательный». Но Вислиценусъ ничего не сказалъ, взявъ помятую, съ выцветшей лентой, сѣрую шляпу, которую съ недоумѣніемъ подалъ ему мальчикъ, и далъ на чай франкъ. «Только компрометируетъ!» — подумалъ Кангаровъ и произнесъ съ крайнимъ огорченіемъ въ голосъ:

— Нѣтъ, вы въ самомъ дѣлѣ уходите? Вы въ метро? Тутъ, направо, вы знаете, въ двухъ шагахъ. Вамъ далеко?

— Далеко.

— Еще рано, времени до послѣдняго метро сколько угодно, хотя бы вамъ и съ двумя пересадками. А то, можетъ, еще посидѣли бы? И Нади вы вѣдь сто лѣтъ не видѣли. Посидѣли бы, право, если вамъ не было слишкомъ скучно? — полувопросительно сказалъ Кангаровъ. Онъ былъ такъ счастливъ, что въ самомъ дѣлѣ почти обрадовался бы, если-бъ согласился еще посидѣть этотъ непріятный гость. Злоба, душившая Вислиценуса, вдругъ прорвалась.

— Скучно не было, а было противно, очень противно, — сказала онъ и направился къ двери, бросивъ на ходу «До свиданья». Кангаровъ нѣсколько оторопѣлъ. «Что это? Или онъ спятилъ?» — спросилъ себя посоль, вначалѣ преимущественно съ изумленіемъ. Хотѣлъ было даже окликнуть Вислиценуса, но дверь уже закрылась. Только черезъ минуту изумленіе посла перешло въ негодованіе. — «Этакій хамъ и негодяй!»

— Мосье тоже желаетъ получить вещи? — небрежно спросилъ мальчикъ, недовольный начаемъ. Кангаровъ озадаченно смотрѣлъ на дверь. Радостное настроеніе съ него какъ рукой сняло. «Что за невѣжа и хамъ! Что онъ имѣлъ въ виду? Какая муха его укусила? Нѣтъ, это ему такъ не пройдетъ!» — съ бѣшенствомъ подумалъ онъ. — Мосье желаетъ получить вещи? — повторилъ мальчикъ.

— Я вамъ не мосье, а ваше превосходительство! — сердито сказалъ Кангаровъ и, повернувшись на каблукахъ, пошелъ назадъ въ кабинетъ. У портье-ры онъ увидѣлъ Надю. «Что, если этотъ господинъ въ нее влюбленъ?! Нѣтъ, все это такъ не пройдетъ этому трюк-кнесту, я его выведу на чистую воду!» — рѣшительно сказалъ себѣ онъ.

— Господа, никто ничего не пьетъ, — упавшимъ голосомъ сказалъ посоль, сдѣлавъ надъ собой усиліе и механически впадая въ свой хозяйскій, гусарски-шутливый, тонъ. — Такъ нельзя, господа, просто безобразіе! Не велѣтъ ли откупорить еще бутылку коньяку, а? Нѣтъ возраженій? Принято.

— Мы вполне оцѣнили это произведеніе эпохи великаго императора.

— О, человѣческое легковѣріе! Вы вправду вѣрите, что въ мірѣ еще существуетъ наполеоновскій коньякъ? У человѣчества должно было хватить разума, чтобы его вымыть и за одно столѣтіе.

— Слышите? Нашъ дорогой Вермандуа заговорилъ о человѣческомъ разумѣ!

— Онъ не вѣрить ни въ социализмъ, ни въ коньякъ.

— Коньякъ очень недурень, но, по моему, настоящее чудо былъ ихъ хересь.

— Онъ не былъ, онъ есть. Я его теперь пью какъ ликеръ.

XXII.

Гости разѣхались нѣсколько раньше, чѣмъ предвидѣлъ графъ. Безъ четверти одиннадцать, Вермандуа нѣршитительно сказала: «Однако, поздно, господа. Не пора ли по домамъ, хоть здѣсь такъ приятно»... Лицо Кангарова дѣйствительно выразило: «Что-жъ, если вы желаете меня погубить, то уходите», — но что-то въ этомъ выраженіи пробудило у графа надежды на клубъ. — «Нѣтъ, нѣтъ, шэръ мэтръ, мы васъ не отпустимъ. Вы не захотите лишить насъ удовольствія слушать васъ и дальше», — сказала Кангаровъ. Вермандуа безропотно подчинился, подумавъ съ досадой, что за автомобиль придется платить по ночному тарифу. Графиня затѣяла напоследокъ съ хозяиномъ политическій споръ, который всѣ слушали вяло: споровъ за вечеръ было достаточно. — «Да, да, вы во многомъ правы, скажу больше, вы правы почти во всемъ», — мягко говорила графиня, — «но я не могу признать, что въ СССР (она произносила URSS слитно: «юрсь») есть полная свобода печати, и намъ, друзьямъ вашимъ, больно, что вы кое въ чемъ слѣдуете фашистскимъ методамъ... Не сердитесь на меня: оговариваюсь, быть можетъ, я недостаточно знаю положеніе въ вашей прекрасной странѣ»... — «У нея видъ кинематографической шпіонки, раскаявшейся вслѣдствіе любви къ непріятельскому контръ-развѣдчику», — подумалъ Вермандуа. — «Было бы хорошо, если-бъ старая дура подвезла меня на своемъ автомобилѣ. Но она не подвезетъ».

Черезъ полчаса графъ сдѣлалъ отчаянную попытку

прорваться въ клубъ: чужая первая заявка облегчала его собственную. Неожиданно графа поддержали другіе гости: «да, въ самомъ дѣлѣ очень поздно, пора». Кангаровъ еще немного поспорилъ, затѣмъ сдѣлавъ таинственный знакъ мэтръ-д'отелю и отошелъ съ нимъ въ уголь кабинета. Гости тотчасъ оживленно между собой заговорили. Посоль взялъ съ подноса счетъ, мысленно ужаснулся — «просто бандиты!» — и заплатилъ. Хотя деньги онъ почти всегда расходовалъ казенныя, у него при всякомъ платежѣ былъ такой видъ, точно онъ отдавалъ свою послѣднюю копѣйку. Затѣмъ хозяинъ съ пріятной улыбкой вернулся къ гостямъ. — «Такъ вы въ самомъ дѣлѣ уходите? Почему же такъ рано?» При очень сильномъ натискѣ, гостей можно было удержать въ повиновеніи еще минутъ двадцать. Но настроеніе у Кангарова было омрачено инцидентомъ съ Вислиценусомъ. — «Какое же рано? Я регулярно ложусь въ одиннадцать», — сообщилъ финансистъ. — «Я въ десять всегда уже лежу въ кровати съ книгой», — добавилъ Серизье: какимъ-то страннымъ образомъ неизмѣнно выходило, что появлявшіеся вездѣ свѣтскіе люди уже лежатъ въ кровати съ книгой кто въ одиннадцать, кто въ десять. — «Необыкновенно пріятный вечеръ. Мы надѣмся, до скорого свиданья», — сказала графиня многозначительнымъ тономъ, не уточняя однако своей надежды: она пока не намѣрена была звать къ обѣду Кангарова; кромѣ того рядомъ съ нимъ стоялъ Серизье, приглашать котораго графиня и вообще не собиралась. Знаменитый адвокатъ отвернулся и заговорилъ съ финансистомъ. — «Непремѣнно... Скоро, очень скоро», — повторялъ съ жаромъ, но неопредѣленно Вермандуа: это ни къ чему не обязывало, да и неясно было, кто кого приглашаетъ. Онъ еще о чемъ-то пошутилъ, не особенно заботясь о блескѣ въ виду позднего времени. Опустилъ руку въ жилетный карманъ, въ надеждѣ найти тамъ три франка, и, не найдя, съ досадой далъ пять подававшему пальто лакею. Внизу тоже все произошло по предусмо-

трѣнному. Финансистъ и графъ любезно, но съ твердымъ въ голосъ расчетомъ на отказъ, сказали: «Хотите мы васъ подвеземъ, cher maître?», и онъ такъ же любезно отвѣтилъ: «что вы, что вы, намъ совсѣмъ не по дорогѣ».

Въ автомобилѣ онъ откинулся на спинку сидѣнья, вытянулъ ноги, и, наконецъ-то, беззабѣчно, цинично зѣвнулъ. «Слава Богу, конечно!.. Сейчасъ ванна, постель... Такъ, въ полублаженномъ состояніи, ожидая состоянія блаженнаго, онъ пролежалъ съ полдороги. Думалъ, что обѣдъ былъ превосходный, что не надо было все же пить такъ много вина, что дѣвочка, называвшаяся секретаршей посла, очень мила, — и досталась такому человѣку! Когда автомобиль проходилъ мимо фонарей, Вермандуа подозрительно-сумрачно вглядывался въ счетчикъ, — но ничего разсмотрѣть на циферблатѣ не могъ. «Будетъ отъ пятнадцати до двадцати франковъ, въ зависимости отъ того, благородный ли человѣкъ, шофферъ и по совѣсти ли выберетъ дорогу»... Думалъ съ лѣнивымъ удивленіемъ, что въ былыя времена любилъ эти двухчасовые обѣды, съ семью блюдами, съ убійственнымъ смѣшеніемъ напитковъ, съ непрекращающейся ни на минуту бесѣдой, которую, по его положенію, всегда требовалось вести блистательно. Не безъ удовольвенія рѣшилъ, что и въ этотъ вечеръ блистать вполнѣ достаточно, особенно для такихъ слушателей. «Общество, разумѣется, было среднее. Но у насъ (онъ разумѣлъ писателей) надо вѣчно держаться насторожѣ: отъ собратьевъ ничего не ждешь, кромѣ колкихъ, неприятныхъ, даже грубыхъ словъ: мы живемъ въ атмосферѣ неуваженія, неприязни, ненависти другъ къ другу. Здѣсь, по крайней мѣрѣ этого не было и слѣдовъ: одни слушали съ вохищеніемъ, другіе равнодушно, третьи совсѣмъ не слушали, какъ дѣвочка, съ которой не удалось обмѣняться десятью словами, — но злобы не было ни у кого, и неприятностей ни отъ кого ждать не приходилось. Разница въ умственномъ уровнѣ?

Но въ своемъ кругу мы разговариваемъ главнымъ образомъ о сплетняхъ, объ издателяхъ, о гонорахахъ. Мнѣ показалось бы просто дикимъ заговорить съ Эмилемъ о концѣ культуры или о социалистическомъ строѣ, — онъ, вѣроятно, радостно подумалъ бы, что я окончательно выжилъ изъ ума!..»

Ночной воздухъ, лежачее положеніе освѣжили Вермандуа. Онъ вернулся мыслью къ роману. «Завтра сяду за столъ въ семь часовъ утра. Лишь бы хорошо выспаться...» Вино обезпечивало, онъ зналъ, не болѣе трехъ или четырехъ часовъ сна. «Развѣ принять гарденаль? Но тогда съ утра работать будетъ нелегко». Ему захотѣлось, чтобы скорѣе наступило утро: такъ тянуло его къ принявшей новый ходъ работѣ. Автомобиль, наконецъ, остановился; счетчикъ показалъ восемнадцать франковъ; шофферъ оказался человѣкомъ среднихъ моральныхъ качествъ.

Вермандуа отворилъ ключемъ дверь и вошелъ въ переднюю съ не совсѣмъ приятнымъ чувствомъ, какъ почти всегда ночью: безлюдность этой сравнительно большой квартиры его немного тяготила. Расположеніе комнатъ было неудобное и неуютное. Изъ передней дверь открывалась въ гостиную, — комнату ненужную и нелюбимую. Отдѣлана она была очень давно, когда появились какъ-то лишнія деньги. Мебель была старинная и, вѣроятно, поддѣльная. На стѣнѣ висѣлъ Ванъ-Лео, въ точности неизвѣстно, какой именно: купленъ былъ какъ Карль, но, по мнѣнію особенно компетентныхъ людей, былъ скорѣе Жанъ-Батистъ, если не Жюль-Сезаръ. Другой достопримѣчателностью комнаты былъ необыкновенный, совершенно ни для чего непригодный, столикъ, изъ тѣхъ, что въ восемнадцатомъ вѣкѣ назывались афинскими: раззолоченной бронзы, съ порфировой доской. Онъ и купленъ былъ едва ли не благодаря названію; болѣе тонкіе изъ гостей, которымъ Вермандуа показывалъ свои старинныя вещи, это понимали и улыбками давали почувствовать, что

понимають: гдѣ же и быть афинскимъ столикамъ 18-го столѣтія, какъ не у Луи-Этьенна Вермандуа?

Въ темнотѣ онъ осторожно прѣшелъ по гостиной; въ ней и электрическіе выключатели были размѣщены неудобно: зажечь свѣтъ можно было только на порогѣ кабинета. Несмотря на привычку, Вермандуа что-то задѣлъ, поскользнулся и пробормоталъ ругательство. Ощупью разыскалъ выключатель и зажечь въ гостиной свѣтъ. На стоявшемъ у двери афинскомъ столикѣ не было ничего. Приходившія съ послѣдней почтой письма старуха обычно клала на столикъ, находя, вѣроятно, что надо же хотъ какъ-нибудь использовать этотъ ни для чего ненужный предметъ. Вермандуа вспомнилъ, что послѣдняя почта пришла еще до его отъѣзда на обѣдъ. Онъ зажечь свѣтъ въ кабинетъ, и погасилъ въ гостиной. «Царство лжи — царство правды: въ гостиной все лживо и претенціозно; въ кабинетъ ничто ни за что другое себя не выдаетъ; обыкновенный красный уютный фобрикъ, полки, вертящаяся этажерка, американскій письменный столъ, все не смѣшная, полезная, искренняя дрянь». Кабинетъ былъ честной комнатой его квартиры.

Съ необыкновеннымъ наслажденіемъ онъ снялъ тугой воротничекъ, туфли, смокингъ, надѣлъ мягкія туфли, разстегнулъ пуговицы жилета и брюкъ и почти повалился въ глубокое кожаное съ темно-желтой подушкой, кресло у письменнаго стола. Это былъ предварительный отдыхъ передъ сномъ. «Въ сущности, лучшія радости жизни — элементарныя: послѣ пяти часовъ мученія снять идиотскій воротничекъ, имѣющій единственной цѣлью рѣзать чело-вѣку шею... И въ жаркій день выпить залпомъ стаканъ ледяной воды»... Въ поискахъ другихъ элементарныхъ радостей подумалъ о секретаршѣ совѣтскаго посла и вздохнулъ. «О чемъ я думалъ? не записать ли? Да, кабинетъ честная комната. Здѣсь я въ своей естественной и законной обстановкѣ, какъ звѣрь въ лѣсу или какъ папа въ Сикстинской капеллѣ... Хотя папѣ, быть можетъ, въ Сик-

стинской капеллѣ бываетъ иногда и немного совѣстно»...

Лежать такъ, безъ воротничка, опустивъ подбородокъ на шею, было очень хорошо. Вермандуа все же лѣнливо подумалъ, что пора пойти въ ванную; въ постели будетъ еще лучше. «А то не съѣсть ли за работу? Сначала будетъ трудно, потомъ понемногу войдешь»... Онъ нерѣшительно взглянулъ на столъ. Сбоку, на видномъ мѣстѣ, лежала въ картонной папкѣ рукопись романа. «Нѣтъ, начинать въ часъ ночи не годится, но просмотрѣть сдѣланное до обѣда, это можно»...

Онъ тяжело всталъ, опираясь на ручки кресла, ужаснулся усилия, которое пришлось для этого сдѣлать, пересялъ на стулъ, надѣлъ очки и придвинулъ къ себѣ папку. Только теперь Вермандуа ясно понялъ, что его пріятное настроеніе во время обѣда, словоохотливость, монологи, — все это держалось въ немъ не только за счетъ вина, но и за счетъ скрытаго полусознательнаго запаса радости, единственной причиной котораго были именно перемены въ романѣ, новыя возможности, открывавшіяся благодаря коринфской встрѣчѣ Лисандра. Въ послѣднемъ счетѣ, настроеніе духа у Вермандуа, несмотря на его презрѣніе къ литературѣ, опредѣлялось преимущественно ходомъ его работы. «Да, это была счастливая мысль!» — опять радостно подумалъ онъ, вынимая изъ папки соединенные зажимомъ исписанные вдоль и поперекъ листки.

Онъ сталъ читать. Лицо его потемнѣло. «Что же это?..» Новая редакція главы была явно не только не лучше, а гораздо хуже старой! Сердце у Вермандуа упало. Онъ бросилъ основной текстъ, сталъ разбирать поправки, сокращенныя указанія, замѣтки для памяти, сдѣланныя на поляхъ, или снизу вверхъ, наискось, пересѣкавшія строчки основного текста. Почти все это никуда не годилось. И ему одно за другимъ стали приходиться въ голову соображенія, вслѣдствіе которыхъ коринфская встрѣча Лисандра была неудачной, нисколько не выигрышной и даже просто невозможной. «Но вѣдь это ужасно! Какъ же я сра-

зу не подумалъ?.. Это было затменіе, настоящее затменіе!..»

Почти съ отчаяніемъ Вермандуа положилъ листы въ папку. «Господи, что же теперь дѣлать?..» Онъ подумалъ въ сотый разъ, что нужно, необходимо разъ навсегда бросить это ужасное, постыдное ремесло выдумщика, — и въ сотый разъ отвѣтилъ себѣ, что бросить невозможно: весь смыслъ жизни былъ въ писательскомъ призваніи, почти вся ея радость — въ томъ, что, частью условно, частью вполне вѣрно, называлось вдохновеніемъ. «А вдругъ, завтра снова все просмотру, и опять покажется инымъ: вѣдь не идиотъ же я былъ пять часовъ тому назадъ! Пойти спать, а завтра съ утра сѣсть за работу, со свѣжей головой!.. Но онъ зналъ, что ужъ теперь никакъ заснуть не удастся. Вермандуа тяжело вздохнулъ, положилъ рукопись назадъ въ папку и прошелъ въ ванную. По дорогѣ съ отвращеніемъ оглядѣлъ нечестную гостиніую. «Да, разумѣется, Жюль-Сезаръ, и скверный! А если и Карль, то радость тоже не велика. И имени такого нѣтъ: почему Карль, а не Шарль? И афинскій столикъ дрянной, и всѣ эти мастера, создавшіе мебель 18-го вѣка, «чудо французскаго вкуса», были инородцы, въ большинствѣ иѣмцы: Ризьеръ, Жакобъ, Крамеръ, Вейсвейлеръ, Бенеманъ, Швердфегеръ... И поскорѣе продать всю эту дрянь, пока за нее еще, по человѣческой глупости, можно получить немалыя деньги!..»

Въ ванной комнатѣ онъ сѣлъ на неудобный, съ прямой спинкой, деревянный стулъ и разсѣянно уставился на лившуюся изъ крана воду. Думалъ о многомъ сразу, но преимущественно о томъ, что жить этой скверной искусственной жизнью больше невозможно и незачѣмъ: нервы обнажены совершенно, любая мелкая неприятность кажется несчастьемъ, а нѣсколько болѣе серьезная — катастрофой. «Въ самомъ дѣлѣ, что же случилось сегодня? Ну, оказалась неудачной мысль о коринфской встрѣчѣ. Но вѣдь еще вчера ея вовсе не было, и ничего!.. Это разсуж-

деніе его не утѣшило. Все представлялось ему въ очень мрачномъ видѣ, особенно люди, особенно онъ самъ. «Вотъ и за этимъ идиотскимъ обѣдомъ распустилъ перья, старый павлинь, несъ вздоръ. Съ душой графиней, съ Серизье, съ жуликомъ-посломъ говорилъ о концѣ міра, «разсыпалъ блестящіе парадоксы», — это моя специальность, какъ утка въ La Tour d'Argent. Цитировалъ сто тысячъ человѣкъ, кого только не цитировалъ! Больше никогда, никогда не буду, даю честное слово!» — съ чувствомъ стыда, тоже въ сотый разъ, совершенно искренно сказалъ себѣ онъ.

Вода, вопреки договору съ хозяиномъ дома, была не горячая, а развѣ чуть теплая; и посидѣть въ ваннѣ нельзя, и сонъ окончательно сорвешь. Это чрезвычайно его раздражило. «Завтра же ему написать: сказать Альвера, чтобы написалъ на машинкѣ, иначе онъ еще продастъ автографъ, мерзавецъ этакой!.. Отъ холодной воды послѣ такого обѣда можетъ случиться ударъ»... Хотя онъ зналъ (или такъ какъ зналъ), что едва ли съ нимъ ударъ случится въ эту ночь, — давленіе крови шестнадцать, — съ полной ясностью себѣ представилъ, какъ будетъ хрипѣть въ ваннѣ до утра, пока не придетъ старуха. «Она бросится за консьержкой, консьержка прибѣжитъ сюда, онъ общими силами постараются поднять меня и перенести на постель»... Безобразіе этой сцены поразило его и заняло. «Черезъ полчаса пріѣдетъ докторъ, констатируетъ смерть, и съ торжественнымъ видомъ позвонитъ куда слѣдуетъ: «Луи-Этьеннъ Вермандуа скончался!» Черезъ часъ прискачутъ журналисты, откуда-то появится какая-то книга (или нѣтъ: кажется, листы съ черной камеркой), и начнутъ расписываться друзья. Тотъ молодой психопатъ сообщить репортерамъ подробности моего образа жизни, борясь между горемъ — «больше не будетъ жалованья», — и радостью — «вотъ, ты отправился къ отцамъ, а я еще лѣтъ пятьдесятъ проживу!» Графиня, какъ «ближайшій другъ», будетъ, сдерживая глу-

хія рыданія, принимать представителей президента республики и министра народнаго просвѣщенія: «еще вчера мы съ нимъ провели вечеръ, онъ былъ веселъ и блестящъ, какъ никогда...» Въ Академіи произойдетъ сильное волненіе: неожиданно открылась вакансія, на которую никто изъ собратьевъ и не надѣялся... Эмиль пріѣдетъ съ постной физиономіей и выдавить, расписываясь со своимъ росчеркомъ: «какая потеря!» — Журналисты тотчасъ запишутъ: «какая потеря!» — сказалъ онъ».

Мысли эти, несмотря на ироническій тонъ, его взволновали: ему показалось даже, что съ нимъ и въ самомъ дѣлѣ произошелъ какой-то припадокъ. Правда, это лишь показалось: все-таки зналъ, что припадка не было и что давленіе крови шестнадцать. «Ну, не сегодня, такъ черезъ годъ, особенно если изъ-за всего волноваться, какъ сумасшедшіе. Нѣтъ, положительно, бросить Парижъ, продать Ванъ-Лео, продать всю эту фарфоровую и порфирную дрянь, выручить что можно, благо цѣнность дряни дополняется моей славой: «изъ коллекціи Луи-Этьенна Вермандуа», и уѣхать, — и пусть романы пишетъ, до самой своей безвременной могилы, мой другъ Эмиль!..» Какъ всегда, мысль, что Эмиль теперь пишетъ плохо, очень плохо, съ каждой книгой все хуже, немного утѣшила Вермандуа. «Если-бъ и вправду сейчасъ умирать, то было бы маленькимъ утѣшеніемъ, что больше никогда не увижу Эмиля... Онъ раздѣлся и, стараясь не глядѣть съ отвращеніемъ на свое старческое тѣло, сѣлъ въ воду.

Въ ваннѣ настроеніе у него становилось все мрачнѣе. Ироническій тонъ чувствъ отлетѣлъ совершенно. Теперь въ самомъ дѣлѣ былъ припадокъ: припадокъ полнаго, казалось бы безпричиннаго, отчаянія. Онъ не видѣлъ просвѣта ни въ чемъ: все было гадко, плоско, ужасно, ни о чемъ безъ стыда нельзя было вспомнить. И по сравненію съ этимъ, собственнымъ, личнымъ, отходило на второй планъ то, что міръ приближался къ безднѣ, — нѣтъ, не отходило на второй планъ, но такъ тѣсно пере-

плеталось, что было невозможно отдѣлить одно отъ другого. Отъ еле-теплой воды у Вермандуа застучали зубы, онъ опять, съ тѣмъ же морально-тяжкимъ усилениемъ, всталъ, закончилъ свой ночной туалетъ, вошелъ въ спальную и легъ въ постель. Погасилъ было свѣтъ и полежалъ съ четверть часа, въ надеждѣ, что заснетъ; затѣмъ почувствовалъ, что заснуть нельзя и что нѣтъ силы бороться съ тоской. Онъ снова зажегъ лампу и взялъ со столика книгу.

Это было французское изданіе разговоровъ Гете съ канцлеромъ Мюллеромъ, — вполне приличная *livre de chevet*, такая, которую можно было смѣло назвать въ задушевно-глубокой бесѣдѣ съ интервьюеромъ. На прошлой недѣлѣ Вермандуа и въ самомъ дѣлѣ сказалъ явившемуся за задушевно-глубокой бесѣдой журналисту, что предпочитаетъ эту книгу Эккерману: «У Эккермана парадный Гете въ пониманіи недалекаго, если не глупаго, юноши. А у Мюллера Гете непричесанный и капризный, въ спорахъ съ умнымъ, пожившимъ и культурнымъ человекомъ». Ему потомъ было совѣстно, что онъ назвалъ Эккермана недалекимъ юношей, — это было клише, и невѣрное клише. А дня черезъ три онъ съ ужасомъ и отвращеніемъ прочелъ украшенное его портретомъ интервью, гдѣ что-то говорилось о «*cet immense bonhomme de Johann-Wolfgang vu par Louis-Etienne Vermandois*», и даже нельзя было понять, что это: просто ли пошлая фраза или въ почтительной формѣ коварная насмѣшка, — глаза и улыбка у интервьюера были хитрые.

Онъ перелисталъ книгу, съ предвзятымъ сознательнымъ недоброжелательствомъ, — «такъ собственно и надо читать всѣхъ замѣчательныхъ писателей, если не хочешь попасть къ нимъ въ рабство»... — «Жизнь госпожи Крюденеръ подобна древеснымъ опилкамъ: изъ нея въ лучшемъ случаѣ можно извлечь немного пепла для производства мыла»... — Образъ изъ тѣхъ, что годятся для бесѣды или для черновика, но въ бѣловую рукопись Гете попасть не

могли. Да и о какой человеческой жизни собственно нельзя было бы сказать того же самого?.. — «Надо было бы, чтобы немцы были разсыяны, как евреи по всему лицу земли: только тогда они и могли бы дать миру своих способностей»... — Это был тоже «сверкающий парадокс», и политический деятель, канцлер Мюллер, вероятно, слушал его с уныло-покорным видом: нельзя же помешать великому человеку, да еще в 80 лет, говорить какой ему угодно вздор... — «Цензура полезна, так как приучает к полускрытому, и потому более тонкому и остроумному, выражению мыслей. Прямое выражение мысли обычно тяжеловато»... — Может быть. Однако это довод, придуманный нарочно для оправдания веймарских цензоров. Он вверил в свободу духа и в блага цензуры, в величие дела французской революции и в величие дома Ротшильдов, издвигая над бессмертием души, но находил, что мир погибнет, если обер-гофмаршал женится церковным браком на еврейке... Впрочем, очень многое говорил, конечно, на зло своим собеседникам: его, должно быть, интеллигентное лицо канцлера Мюллера раздражало еще больше, чем восторженно-наивная физиономия Эккермана: «как бы не пропустить какой-нибудь новой гениальной мысли его превосходительства»... И самое замечательное то, что в такой нелюбимой обстановке, из этих долговечных ежедневных интервью он сумел создать интереснейшие, ценные книги».

Даже в редкие минуты профессиональной мани величия, вообще ему почти не свойственной, Вермандау не сравнивал себя с Гете. Но ему приятно было видеть, что и этот навсегда, на весь мир прославленный, человек жил почти в такой же обстановке, как он, так же тяготился людьми, так же не мог без них обойтись, так же терпел обиды, так же подчинялся требованиям своего общества. «Самый Мефистофель его — общедоступный, конформистский черт: не даром им трепетно

восторгаются десятки поколѣній нѣмецкаго юношества, и недаромъ онъ въ оперѣ теряетъ такъ мало по сравненію съ поэмой»... Вермандуа, въ смертельной тоскѣ, отложилъ книгу. «Да, такъ больше жить невозможно... Чѣмъ жить? Для чего жить? Допустимъ, я сейчасъ умру: пойметъ ли мою душу близость смерти? Нѣтъ, едва ли, и я не могу этого приписывать только собственному ничтожеству, ибо и этотъ человѣкъ, одинъ изъ величайшихъ въ мірѣ, почти такъ же былъ опутанъ жалкими чувствами, — ну не такъ же, пусть по своему, но все-таки былъ опутанъ, — и въ ненужно-откровенныя свои минуты самъ въ этомъ сознавался — не одному себѣ, но и другимъ людямъ. «Если хочешь слѣдовать за мной, не слѣдуй за мной», — вѣрно ли это? Старый, такъ много знавшій, такъ много о разномъ, обо всемъ, о жизни, думавшій человѣкъ, чему ты можешь научить, безъ «парадоксовъ», безъ стиховъ, безъ звонкихъ рѣчей, чему ты можешь по настоящему научить другого стараго человѣка, которому тоже осталось жить недолго? Не заглядывая въ книги, помня только общій твой обликъ, посмѣть думать за тебя, попытаться, не пользуясь твоими словами, проникнуть въ твою не книжную, а настоящую «мудрость»?

-- Дѣлать въ жизни свое дѣло, дѣлать его возможно лучше, если въ немъ есть, если въ него можно вложить, хоть какой-нибудь, хоть маленькій, разумный смыслъ. Пусть писатель пишетъ, вкладывая всю душу въ свой трудъ... Не увѣрять, что трудишься для самого себя, — вѣдь и онъ мечталъ объ огромной аудиторіи и откровенно совѣтовалъ тѣмъ, кто не ждетъ милліона читателей, не писать ни единой строчки... Не задѣвать предразсудковъ, по крайней мѣрѣ, грубо, не сражаться ни съ вѣтранными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не въ этомъ заключается твоя профессія, профессія политическаго донъ-Кихота, такая же по существу профессія, какъ трудъ сапожника или ветерина-

ра... Не потакать улицъ и не бороться съ ней: объ улицъ думать возможно меньше, безъ оглядки на нее, безъ надежды ее исправить. Но въ мѣру отпущенныхъ тебѣ силъ способствовать осуществленію въ мірѣ простѣйшихъ, безспорнѣйшихъ положеній добра. На склонѣ дней знаменитый врачъ говорилъ, что вѣрить только въ пять или шесть испытанныхъ лекарствъ, вродѣ хинина. Безспорные принципы добра почти такъ же немногочисленны... Для себя же, для немногихъ свободныхъ людей, можно пойти и дальше. «Холодное наблюденіе» имѣетъ свою цѣнность. Въ мысли, какъ въ жизни, всего выше можно подняться при пониженномъ душевномъ жарѣ. Рядовые удачники жизни «горятъ»; но у Наполеона сердце билось со скоростью 60 ударовъ въ минуту.

— И какъ кровь возвращается по венамъ въ сердце, отдавъ по пути свои питательныя вещества, такъ всего дороже возвращающіяся въ сердце, больше ничего не питающія, истины. Эти истины беречь про себя и въ то время, когда больше не ждешь ничего, кромѣ пристойныхъ некрологовъ. Жить спокойно, зная, что міръ лежитъ во злѣ. Радоваться рѣдкому добру, принимая вѣчное зло, какъ общее правило міра.

Онъ снова раскрылъ книгу. Въ ней ничего этого не было.

— Требовалъ себѣ права не вѣрить ни во что, въ минуты откровенности не скрывалъ, что ни во что и не вѣрить. — Издѣвался надъ глупостью королей, надъ звѣрствомъ революцій, надъ истинами откровенія, надъ вѣрой, надъ собственнымъ своимъ невѣріемъ. — И больше всего завидовалъ простодушнымъ людямъ, все равно портнымъ или художникамъ. — Гайдна спросили, отчего такъ радостны его мессы. — «Оттого, что, когда я благодарю Творца, я всегда неописуемо счастливъ». — Услышавъ это, престарѣлый Гете прослезился.

(Конецъ первой части).

М. Алдановъ.

ДЕМОНЫ МАСКАРАДА.

Федору Степуву.

«Какъ упонителень и жутокъ,
Могильно-зоркій Маскарадъ,
Загадокъ-вихрей, вздоховъ-шутокъ
Твой жадный шопоть, страстный садъ, —
Очарованій и обмана
Зыбучая фатаморгана,
И блескъ, средь общей слѣпоты,
Твоей кочующей мечты, —
Твой хаосъ пестрый и безликій,
Гдѣ, сердцемъ сердце подмѣня,
Всѣ жаждутъ одного огня,
Какъ мотыльки, — дневной уликой
Страшась забытый ликъ вернуть
И ложь мгновенья обмануть, —

•
«Ложь истины твоей змѣиной
Иль истину змѣиной лжи,
Что съ были божески-звѣриной
Стираеть позднія межи;
Что ваши замкнутыя звенья
На пламени самозабвенья,
О люди, плавить, умъ глушить,
Всѣхъ чашей круговой поить —
Подобіемъ гостепріимной
Той чаши, что въ урочный часъ
Цирцея-Смерть смѣснить для васъ,
Порукой связанныхъ взаимной,

Примѣривъ у загробныхъ вратъ
На каждомъ cadaго нарядъ.

«Личинъ немало вы смѣняли,
И тѣ, что нынѣ вамъ свои,
Нетлѣннѣй ли бывшихъ? Роняли
Вы въ прахъ сухія чешуи.
Есть въ лицедѣйномъ бѣснованьѣ
Высокое знаменованье,
Великодушная игра
Со сфинксомъ Вѣчности. Сестра
Могила маска. Холстъ печальный,
Что ляжетъ въ гробъ, и домино
Вамъ, други Символа, — одно.
Дурманъ любите жъ карнавальнѣй,
И — стародавнихъ тризнь обрядъ —
Змѣиннѣй правте маскарадъ».

Такъ демоны глухой Личины,
Родимый отомкнувъ тайникъ,
Зовутъ на древнѣя гостины,
Забвенный будятъ нашъ двойникъ;
Но вы, которымъ свѣтитъ Ликъ,
Не возвращайтесь въ ночь Личины.

MONTE TARPEO

Журчливый садикъ, и за нимъ —
Твои нагія мощи, Римъ!
Въ немъ лавръ, смоковница, и розы,
И въ гроздіяхъ тяжелыхъ лозы.
Надъ нимъ, межъ книгъ, единый сонъ
Двухъ слившихъ, за рѣкой времянь,

И въ гродяхъ тяжелыхъ лозы,
 Двѣ памяти молитвъ созвучныхъ,
 Двухъ спутниковъ, двухъ неразлучныхъ.

Сквозь сонъ эфирный лицезримъ
 Твои нагія мощи, Римъ!
 А струйки въ заросляхъ играя,
 Журчатъ свой сонъ земного рай.

Вячеславъ Ивановъ.

ПАЛЕСТИНА.

О, бѣдный Кармилъ! Гробовые зубы,
 Блюдутъ гигиеническій уютъ:
 Радиофонъ — и золотые зубы,
 Сквозь кои души мѣдныя блюютъ.
 Фокстротъ, піастры, городская лава,
 Кинематографъ, заводской гудокъ...
 Но надо всѣмъ, но черезъ все — отравой —
 Пронзительный библейскій холодокъ.

2.

Бугры горбатыхъ рыжеватыхъ горъ,
 Верблюдами разлегшихся по склонамъ.
 Безплодыя цвѣтъ, гдѣ рѣдко жадный взоръ
 Утѣшится пятномъ темно-зеленымъ.

Угрюмыхъ горъ осенній караванъ,
 Уставшій отъ безцѣльныхъ путешествій,
 Отъ пестраго однообразья странъ,
 Отъ скуки облаковъ, песковъ и бѣдствій.

Онъ слишкомъ долго несъ — и ночь, и день —
 Людской убогой скарбъ: дома и гробы,
 Тысячелѣтній грузъ и дребедень
 Безсильной вѣры, непосильной злобы.

Тѣснящихся — уступами — домовъ
 Таинственные голубѣють кубы.
 Стада камней, верблюдовъ и ословъ,
 Ослиный ревъ, томительный и грубый...

И вновь — всезаливающій покой
 Надъ вѣчностью библейскою, заклѣтой.
 И, сквозь стеклянный неподвижный зной,
 Мнѣ слышенъ Богъ, склонившійся надъ Цфатомъ.

3.

Мѣрно рубить старикъ неподатливый пласть
 На заброшенной каменоломнѣ,
 Вырубая слова твои, Экклезіастъ,
 Что душа обожженная помнитъ:

Въ міровой суетѣ — всему время свое,
 Время — плакать, и время — смѣяться,
 Время — все отдавать за погибель — вдвоемъ,
 Время — съ самой любимой разстаться.

Время — словно забывъ о парижской веснѣ,
 Легкомысленно-звонкой и щедрой,
 Постоять подъ смоковницей, какъ въ полуснѣ,
 Иль подъ скучною вѣчностью кедра.

Все истлѣетъ. Порвется крѣпчайшая нить,
 Ляжетъ пыль надо всѣмъ и надъ всѣми.
 Но не время еще погигать иль грустить,
 А любить и надѣяться время.

Слава Богу, еще не разбился кувшинъ,
 И виситъ колесо надъ колодцемъ,

И не страшень кружащійся вѣтеръ вершинъ,
И дорожная пѣсня поется.

Вотъ проходитъ красавица, кутаясь въ шаль.
Нѣтъ, не все здѣсь окажется ложью!
Умножающій знаніе, множитъ печаль.
Но любовь укрѣпитъ. И поможетъ.

Довидъ Кнутъ.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЭМА.

1.

Ты — странный міръ, гдѣ руки
Какъ ледъ, и пламень — ротъ,
Гдѣ люди терпятъ муки,
И вѣчный снѣгъ идетъ.

Гдѣ путникъ въ упоеньи
Твердитъ предъ смертью стихъ,
Внимая въ отдаленн
Призывамъ арфъ твоихъ.

Ты — странный міръ, гдѣ груди
Ледокъ, а сердце — садъ,
Гдѣ погибаютъ люди:
Въ цвѣткѣ смертельный ядъ.

На картѣ приключеній
Ты — царство пихтъ для насъ,
Край сѣверныхъ оленей,
Ты — атласъ, гдѣ атласъ.

Но въ стужѣ мирозданья,
Средь ночи міровой,
Какъ тушь для рисованья,
Чернѣющей, глухой,

Ты — все, что есть въ поэтѣ
Съ небесь, — миндаля въ цвѣтахъ,
Смерть лебедя въ балетѣ
И Моцартъ, весь въ слезахъ...

2.

Жилъ смуглый и печальный
Въ Аравіи поэтъ.
Журчалъ фонтанъ хрустальный
Въ садахъ его побѣдъ.

Онъ алгеброю хляби
Поэзию свѣрялъ,
Другъ звѣздъ и астролябій,
Шатровъ и книжныхъ залъ.

Вращался глобусъ въ залѣ.
Планетой голубой,
И звѣзды озаряли
Въ пустынѣ путь ночной.

3.

Шель караванъ верблюдовъ.
И не было воды
На доньшкѣ сосудовъ.
О жажда! Гдѣ жъ сады?

Какъ пальму или воду
Тебя искалъ арабъ.
Такъ воздухъ и свободу
Галерный ищетъ рабъ.

Оазисъ въ отдаленіи
Возникъ — глазамъ обманъ.
Какъ робкое волненье,
Газель мелькнула тамъ.

И онъ съ тоской газели
 Твои глаза сравнилъ,
 Уже средь пальмъ, у цвѣли,
 Уже совсѣмъ безъ силъ.

4.

Я тоже въ катастрофѣ
 Отъ молній погибалъ,
 Но не за чашкой кофе,
 Не средь арабскихъ залъ,

А въ снѣгъ упоенъ,
 Средь сѣверныхъ земель,
 Гдѣ смертнымъ утѣшенъ
 Олень, а не газель.

Верблюды или пирога
 Снѣгъ или виноградъ,
 Одна у насъ дорога,
 Соперникъ и собрать —

Гдѣ музыка и пени,
 Гдѣ арфы, слезы, ледъ,
 Гдѣ пальмы и олени
 И тихо снѣгъ идетъ.

Ант. Ладинскій.

ПРОЛОГЪ.

Лѣто сгорало въ дыму сентября.
 Пепель былъ вѣтромъ по крышамъ развѣянъ.
 И неподвижно стояла заря
 Надъ ледниками прозрачныхъ кофеенъ.
 — О, пожалѣй, не любовь, не себя —

СТИХОТВОРЕНІЯ

Эту поющую вѣчность надъ нами,
Мелкимъ смычкомъ напоказъ теребя
Медленнымъ сномъ нисходящее пламя.
Миръ твой поеть и гудить вокругъ.
Съ этой незримой улыбкою звѣздной
Ты воскресаешь, мой вѣчный другъ,
Блѣдныя руки поднявъ надъ бездной.
— Крылья мнѣ? Крылья... Полуночный сонъ
Дышитъ измѣной надъ кровлями хижинъ.
И высоко въ небеса вознесень,
Черный твой лѣтъ надъ бульварами выжжень.
Но засыпая у лунной груди
Въ тихомъ затменьи полуночной грусти,
Любовь моя, жизнь моя, — о, погоди
Вѣрить таинственнымъ знакамъ предчувствій.
Сложены крылья къ ногамъ твоимъ.
Миръ переполненъ лягомъ оружья.
Видишь, за окнами ночь и дымъ.
Слышишь — ихъ голосъ грозитъ снаружи...
Свищетъ стрѣла. Летитъ копье.
Полночь выходитъ и видитъ развязку:
Это страшное тѣло твое
Молча снимаетъ любовь какъ маску...

СЕРЕНАДА.

Жгучій голосъ трепещетъ на копыяхъ ограды
И алдеи какъ чаши полны
Чернымъ блескомъ горячей твоей серенады
И серебрянымъ ливнемъ луны.
О, Пѣвецъ! О, испытанный голосъ коварства!
Пощади эту жизнь и любовь пощади!
Ты приходишь какъ врагъ, разрушающій царства,
И какъ Демонъ поешь и томишься въ груди.
Вотъ ты названъ. Но ты не боишься названья.
Этотъ мигъ, этотъ вечеръ — онъ больше не мой!

Ты протянешь мнѣ руку, и жаръ разставанья
 Ляжетъ пепломъ на садъ, и пустой, и нѣмой.
 Я его не узнаю — все мелко, все низко...
 Какъ здѣсь жить, какъ здѣсь пѣть, какъ любить навсегда?
 А надъ этой пустыней такъ ясно, такъ близко,
 Такъ пронзительно сладко сіяетъ звѣзда...

Вячеславъ Лебедевъ.

СТИХИ О РОМАНТИКЪ.

1.

Лети, моя надежда,
 Въ далекіе края.
 Какъ юноша-невѣжда
 Тебѣ повѣрилъ я.
 Повѣрилъ я, что все же,
 Хотя бы въ краткомъ снѣ,
 Мое блаженство тоже
 Вадыхаетъ обо мнѣ —

Мечтательно и хрупко,
 Въ томительномъ плѣну...
 Лети жъ, моя голубка,
 Въ безвѣстную страну.

2.

Летить за стаей стая.
 Ты, можетъ быть, средь
 нихъ!
 Тоскуетъ, улетаю,
 Уже безцѣльный стихъ.
 Лети, моя тревога,

Пронзительность моя!
 Трудна твоя дорога
 Въ забытые края.
 Но мнѣ еще труднѣе
 Тебя въ себѣ хранить
 И все же, не жалѣя,
 На волю отпустить.

3.

Юльскимъ сновидѣньемъ —
 Его на свѣтѣ нѣтъ —
 Далекимъ откровеньемъ
 Блеснулъ мнѣ этотъ свѣтъ,

И я повѣрилъ въ прочность
 Романтики земной,
 Въ невѣрность и неточность,
 Какъ въ радость и покой.

Счастливейшею страстью
 Я смѣлъ назвать ее.
 Лети жъ, мое несчастье,
 Безуміе мое!

4.

А мнѣ осталось много
Пустыхъ и свѣтлыхъ дней.
Трудна твоя дорога,
Но мнѣ еще труднѣй.

И боль воспоминаній —
Какъ вѣтеръ дальнихъ
 странъ,
Какъ память о Монбланѣ,
Какъ лѣніе цыганъ.

Отъ нѣжнаго угара
Въ бессонницу очнусь...
Лети жъ, моя гитара,
Моя живая грусть!

5.

И вотъ уходитъ лѣто —
Все дальше и вѣрнѣй.
Лети, моя комета,
Звѣзда души моей!

Лети, какъ птичья стая,
Какъ вѣчный хоръ свѣтилъ!
Тебя преображая,
Я мѣръ преобразилъ.

Лети за грани міра,
Къ истокамъ бытія —
Надежда, вѣрность, лира,
Поэзія моя!

Юрій Мандельштамъ.

Метались лошади сонныя,
Барабаны били отбой,
Падали истомленные
Люди въ снѣгъ голубой.

Штыки живыми аллеями
Колыхались, и только одна
Надъ пустыми жила траншеями
Окровавленная луна.

А въ ночной тиши замороженной,
Средь сосулекъ и свѣтлыхъ льдовъ,
Сколько было пьяныхъ исхожено,
Обездоленныхъ городовъ!

Развѣвался на голой окраинѣ
Одинокій, огненный флагъ,
Стыли улицы, псами облаены,
И снѣгъ небесный оврагъ.

Въ этомъ мѣрѣ, на мукахъ помѣшанномъ,
 Каждый мигъ изживая стократъ,
 Мы въ морозномъ стеклѣ занавѣщенномъ
 Различали шинели солдатъ.

И теперь еще мозгъ неуверенный,
 Одичалый, кладбищенскій умъ
 Помнить грохотъ повозокъ размѣренный
 И команды ревущій шумъ,

Броненосцевъ съдое желѣзо,
 Гулкій лортъ, что сразу затихъ
 И гуляющихъ по волнорѣзу
 Голубей шумливыхъ и злыхъ.

Софія Прегель.

СВОБОДА.

Г. П. Федотову.

На площадяхъ, на улицахъ и въ залахъ
 О ней мы злобно споримъ, безъ конца.
 Она трепала флаги и сердца,
 По лезвію бѣжала стружкой алой.

Съ кадетской парты, съ шелестомъ страницъ,
 Не слабымъ отрокомъ — суровымъ мужемъ
 Я мнилъ себя среди чеканныхъ лицъ
 На площади въ декабрьскую стужу.

То было въ дѣтствѣ безмятежно раннемъ.
 И вотъ въ жестокой юности моей
 Она уже сѣдлала лошадей
 Въ станицахъ на Дону и на Кубани.

Чистѣйшимъ альтомъ отроческимъ пѣла,
 Стаканы поднимала горячо.

И конница по ковылю летѣла,
Клинокъ драгунскій утомлялъ плечо.

И я за эти гибельные годы
И въ помыслахъ ее не предавалъ.
Хоть баловни дѣйствительной свободы —
Рабъ Эпиктетъ и властный феодалъ.

Юрій Софлеъ.

Чугунъ, гранитъ. Рѣки глухія воды.
Конецъ столѣтъя, гордый пустоцвѣтъ.
Шумъ сборищъ, воздухъ споровъ и свободы,
Закатъ, еще похожій на разсвѣтъ —

Империю расцвѣтъ и увяданье,
Осенній дождь, туманъ и мокрый снѣгъ,
Тоска, безвыходность и состраданье —
Серебряный, и все жъ великій, вѣкъ.

Мы научились принимать безъ позы
И свѣтъ и мракъ. Увы, узнали мы
Арктическіе бѣлые морозы
И жаркія объятія Москвы.

Листокъ невѣдомый, листокъ кленовый
Вновь сорванъ съ вѣтки, буря мчитъ его
Вдаль, въ холодъ, въ дождь, къ брегамъ чужбины новой.
Для смутнаго призванья своего.

Но здѣсь цвѣтутъ блаженною весною
Каштаны вдоль бульваровъ, и закатъ
Надъ городской разрушенной стѣною
Прекраснѣе былого во сто кратъ.

Вслѣдъ обреченной гибели Европѣ
Заря встаетъ и утро свѣжесть льетъ,

И, не умѣя думать о потопѣ,
Офелія, безумная, поетъ.

Бредеть, съ полузакрытыми глазами,
Надъ омутомъ... И, стоя на краю,
Съ отчаяньемъ, восторгомъ и слезами
Я гибель и Офелію пою.

Ю. Терапіано.

СТИХИ СИРОТЪ.

«Шель по улицѣ малютка,
Посыпѣлъ и весь дрожалъ.
Шла дорогой той старушка,
Пожалѣла сироту...»

1.

Ледяная тиара горъ —
Только брэнному лику — рамка.
Я сегодня плющу — проборъ
Провела на гранитъ замка.

Я сегодня сосновый станъ.
Обгоняла на всѣхъ дорогахъ.
Я сегодня взяла тюльпанъ —
Какъ ребенка за подбородокъ.

2.

Обнимаю тебя кругозоромъ
Горъ, гранитной короною скалъ.
(Занимаю тебя разговоромъ —
Чтобы легче дышалъ, крѣпче спалъ.)

Феодальнаго замка боками,
Мѣховыми руками плюща —
Знаешь — плющъ, обнимающій камень
Въ сто четыре руки и ручья?

Но не жимолость я — и не плющъ я!
 Даже ты, что руки мнѣ роднѣй,
 Не расплющенъ — а вольноотпущенъ
 На всѣ стороны мысли моей!

...Кругомъ клумбы и кругомъ колодца,
 Куда камень придетъ — съдымъ!
 Круговою порукой сиротства, —
 Одиночествомъ — круглымъ моимъ!

(Т а к ъ в плелась въ мои русыя пряди
 Не одна серебрястая прядь!)

...И рѣкой, разошедшейся на двѣ —
 Чтобы островъ создать — и обнять.

Всей Савойей и всѣмъ Пиемонтомъ,
 И — немножко хребетъ надлома —
 Обнимаю тебя — горизонтомъ
 Голубымъ — и руками двумя!

3.

Могла бы — взяла бы
 Въ утробу пещеры:
 Въ пещеру дракона,
 Въ трущобу пантеры.

Въ пантерины лапы —
 Могла бы — взяла бы:

Природы на лоно, природы на ложе.
 Могла бы — свою же пантерину кожу
 Сняла бы...

— С д а л а бы т р у щ о б ѣ — въ учёбу:
 Въ кустову, въ хвощёву, въ ручьёву, въ плющёву,

Туда, гдѣ въ дремотѣ, и въ смутѣ, и въ мракѣ
 Сплетаются вѣтви на вѣчные браки...

Туда, гдѣ въ гранитѣ, и въ лыкѣ, и въ млекѣ

Сплетаются руки на вѣчные вѣки —
 Какъ вѣтви — и рѣки...

Въ пещеру безъ свѣта, въ трущобу безъ слѣду.
 Въ листьѣ бы, въ плющѣ бы, въ плющѣ — какъ
 въ плащѣ бы...

Ни бѣлаго свѣта, ни чернаго хлѣба:
 Въ росѣ бы, въ листьѣ бы, въ листьѣ — какъ въ
 родствѣ бы...

Чтобъ въ дверь — не стучалось,
 Въ окно — не кричалось,
 Чтобъ впредь — не случалось, —
 Чтобъ — вѣкъ не кончалось!

Но мало пещеры,
 И мало трущобы!
 Могла бы — взяла бы
 Въ пещеру — утробы.
 Могла бы — взяла бы.

4.

На льдинѣ —
 Любимый,
 На минѣ —
 Любимый,
 На льдинѣ, въ Гвіанѣ, въ Гееннѣ — любимый.

Въ коростѣ — желанный,
 Съ погоста — желанный:
 — Будь гостемъ! — лишь зубы, да кости — желанный!

Тоской подкольной
 До тьмы проваленной
 Послѣднею схваткою череа — жалѣнный.

И нѣтъ такой ямы, и нѣтъ такой бездны —
 Любимый! желанный! жалѣнный! бользанный!

5.

Скороговоркой — ручья водой
 Бьющей: — Любимый! больной! родной!
 Речитативомъ — тоски протяжной:
 — Хилый! чуть-живый! сквозной! бумажный!
 Отъ зѣва до чрева — продольнымъ разрывомъ:
 — Любимый! желанный! жалѣнный! болѣзненный!

6.

Наконецъ-то встрѣтила
 Надобнаго — мнѣ:
 У кого-то смертная
 Надоба — во мнѣ.
 Что для юка — радуга,
 Злаку — берлоземь,
 Человѣку — надоба
 Человѣка — въ немъ.
 Мнѣ дождя и радуги
 И руки — нужнѣй —
 Человѣка надоба
 Рукъ — въ рукъ моей.
 Это — шире Ладоги
 И горы вѣрнѣй —
 Человѣка надоба
 Рань — въ рукъ моей.
 И за то, что съ язвою
 Мнѣ принесть ладонь —
 Эту руку — сразу бы
 За тебя въ огонь!

Марина Цвѣтѣева.

**

Это всёмъ извѣстно при прощаньи:
 Длинное нелегкое молчанье
 (Хоть чего-то все-жь не досказалъ)...
 Обѣщанья? Сколько обѣщаний
 Мнѣ давалось... Сколько я давалъ...

О, недаромъ сердце тайно копить
 И отъ всѣхъ ревниво бережетъ
 Самое мучительное: опытъ...
 Онъ одинъ намъ все-таки не лжетъ.

Главное — совсѣмъ не обольщаться,
 Вѣрить только въ этотъ день и часъ.
 Каждый разъ какъ бы навѣкъ прощаться...
 (Каждый разъ, каждый разъ).

**

За 30 лѣтъ, прожитыхъ въ этомъ мѣрѣ,
 Ты могъ понять (и примириться мргъ),
 Что счастья нѣтъ, что дважды два четыре,
 А остальное — трусость и подлогъ...

За ложь, что намъ рассказывала нянька,
 Не разъ, не два мы разбивали лобъ...
 Но, зашатавшись съ горя, ванька-встанька
 Опять встаетъ — и такъ по самый гробъ.

Душа давнымъ-давно окаменѣла,
 Но человѣкъ еще живетъ и ѣстъ
 И даже не торопить, чтобы бѣлый
 Кроили саванъ и стругали крестъ...

А. Штейгеръ.

Философская натура

Владимиръ Соловьевъ — женихъ.



Послано изъ Берлина.

Владимиръ Сергѣевичъ Соловьевъ (1871 г.).

Что рокомъ суждено, того не отражу я
Безсильной дѣтской волею своею,
Пройти я долженъ путь земной тоскуя
По вѣчномъ небѣ родины моею...

Такъ начинаются стихи Владимира Соловьева, посвященные его бывшей невестѣ, Екатерины Владимировны Романовой, въ

последнее свиданіе передъ ея замужествомъ: стихи написаны ей въ альбомъ на первой страницѣ: 31 января 1878 *).

Уже три года, какъ она ему отказала; она давно его разлюбила... да она по-настоящему любить его никогда не могла, она ему была всегда благодарна: его умныя письма доставляли ей «счастье».

Свободолюбивая; дѣтство ей выпало трудное; рано она поняла подлый изворотъ человѣческой жизни; въ душѣ ея, по опредѣленію Соловьева, была «божественная искра», и она отказалась отъ той обыкновенной дороги, по которой идутъ, какъ заведено и принято, подъ знакомъ «человѣкъ есть скотъ». Она потеряла «дѣтскую» слѣпую вѣру, а «сознательной» еще не было, ее тянуло къ «реальнымъ» наукамъ: она мечтаетъ уѣхать учиться въ Петербургъ или въ Москву; единственный, кто ее въ этомъ поддерживалъ, былъ ея двоюродный братъ — Владиміръ Соловьевъ; но отецъ и мать его были противъ: они боялись ихъ сближенія: одна порода: Поликсена Владиміровна Соловьева, урожденная Романова, — сестра отца Екатерины Владиміровны; Вл. С. — въ мать, Ек. Вл. — въ отца.

Если бы она встрѣтилась тогда со Слѣпцовымъ — ей шестнадцать лѣтъ — она была бы въ Знаменской коммунѣ, если бы встрѣтилась съ Брешковской, она пошла бы «въ народъ».

Теперь ей двадцать три; два года она провела за-границей, въ Швейцаріи, потомъ Парижъ, вернулась въ Россію — война, поступила сестрой милосердія и собирается на фронтъ. На нее обратитъ вниманіе Александръ II **). А кончится война и, очертя голову, безъ любви, только изъ жалости (женить изъ-за нея стрѣлялся) замужество: какъ бы исполняя давній завѣтъ Вл. Соловьева.

Она помнитъ, когда-то она отказала кн. Дадіани, котораго

*) Приведенное далѣе въ текстѣ полностью стихотвореніе Владиміра Соловьева, появляющееся въ печати впервые, предоставлено «Современнымъ Запискамъ» Екатериной Владиміровной Селевиной, урожденной Романовой, двоюродной сестрой Вл. Соловьева. Ей же принадлежатъ и воспроизводимыя здѣсь, до сего времени оставшіяся неизвѣстными, двѣ фотографіи Вл. Соловьева той эпохи.

Ред.

**) По воспоминаніямъ Е. М. Лопатиной (К. Ельцовой) («Современныя Записки», 1926, кн. XXVIII) Александръ II взялъ Ек. Вл. Романову за подбородокъ. Было это или не было, Ек. Вл. отрицаетъ: государь ухаживалъ за ней, но не трогалъ; а что, оттираемая другими сестрами, она однажды схватила государя за «фалду»; это было.

она «не настолько любить», чтобы выйти замуж, и вот какой быть отвѣтъ Соловьева:



Воспроизведено по рисунку.
В. Л. Соловьевъ и Е. В. Романова.

«Твой отказъ къ Дадіани меня очень опечалилъ... Мнѣ очень жаль, если ты вѣришь скверной баснѣ, выдуманной скверными писателями скверныхъ романовъ въ нашъ скверный вѣкъ — баснѣ о какой-то особенной, сверхъестественной любви, безъ чего будто-бы невозможно и вступить въ законный бракъ, тогда какъ, напротивъ, настоящій бракъ долженъ быть не средствомъ къ наслажденію или счастью, а подвигомъ и самопожертвованіемъ. А что тебѣ якобы не нравится семейная

жизнь, — то развѣ нужно дѣлать только то, что тебѣ нравится или что ты любишь?» (Письмо 31-XII-1872 съ припиской отъ 1-I-1873): «Если въ этомъ письмѣ, дорогая моя, тебя что-нибудь оскорбитъ, то ты простишь меня, потому что знаешь, что я люблю тебя даже больше, чѣмъ нужно. Прошу тебя пиши мнѣ поскорѣе: меня очень интересуеетъ дѣло съ предложеніемъ, и помимо того ты должна знать, что каждая твоя строчка для меня въ сорокъ тысячъ разъ дороже всей писанной и печатной бумаги въ мірѣ».

Съ этого и началась любовная переписка *).

Она помнитъ, это письмо ее тогда совсѣмъ запутало и на ее «выведи меня изъ этого состоянія, онъ отвѣтилъ:

«Отвѣчаю тебѣ прямо: я люблю тебя, насколько способенъ любить; но я принадлежу не себѣ, а тому дѣлу, которому буду служить и которое не имѣетъ ничего общаго съ личными чувствами, съ интересами и цѣлями личной жизни. Я не могу отдать тебѣ себя всего, а предложить меньше считаю недостойнымъ» (6-VII-1873).

Наконецъ исполнилось ее желаніе, она въ Петербургѣ, она помнитъ, передъ ней — цѣль жизни: «народная школа» (вѣдь и «несколько человекъ, освобожденныхъ отъ того страшнаго невѣжества, въ которомъ находится весь русскій народъ, много значить, когда есть такъ мало выведенныхъ изъ этой ужасной темноты»); и какъ возмутило ее «Преступленіе и наказаніе», не могла дочитать; и какъ она ждала его: прійдетъ и все разъяснитъ; только что это значить: «насколько способенъ любить?» «не могу отдать себя всего?»

«Печально, моя дорогая Катя, что даже при одинаковой взаимной любви мы не совсѣмъ понимаемъ другъ друга. Въ

*) Въ «Русской Мысли», 1910 кн. V. М. Б. (Марья Сергѣевна Безобразова, сестра Вл. Соловьева) напечатала «Оношескія письма Владиміра Соловьева» (1871-1873): 28 писемъ къ Екатериѣ Владиміровнѣ Романовой (по мужу Селевиной). Вл. С. Соловьевъ (1853-1900) — ему было 18-20 лѣтъ; Ек. Вл. (1855 — живетъ въ Парижѣ) — 16-18 лѣтъ. Любовная переписка съ 6-VII-1873 — 8-X-1873 — пять мѣсяцевъ. Подлинники, переплетенные въ черную тетрадь, хранятся въ Кіевѣ; среди нихъ есть ненапечатанные.

К. В. Мочульскій въ книгѣ: «Владиміръ Соловьевъ, жизнь и ученіе». УМСА-Press, Парижъ, 1936, пользовался этими письмами; все, что касается взглядовъ Вл. Соловьева, его смислей, передано имъ съ большой точностью, но въ дѣлахъ житейскихъ (стр. 25, 26) не совсѣмъ.

этомъ впрочемъ, виновать больше я самъ: какъ бы то ни было, постараюсь говорить яснѣ. Я думаю, ты не можешь сомнѣваться въ моей любви: я даже не умѣлъ хорошо скрывать ее до сихъ поръ; теперь же ты даешь мнѣ возможность говорить открыто: я люблю тебя, какъ только могу любить человѣческое существо, а можетъ быть и сильнѣе, чѣмъ долженъ. Для большинства людей этимъ кончается все дѣло; любовь и то, что за нею должно слѣдовать: семейное счастье — составляетъ главный интересъ ихъ жизни. Но я имѣю совершенно другую задачу, которая съ каждымъ днемъ становится для меня все яснѣе, опредѣленнѣе и строже. Ея посильному исполненію посвящу я свою жизнь. Поэтому личныя и семейныя отношенія всегда будутъ занимать второстепенное мѣсто въ моемъ существованіи. Это-то только я и хотѣлъ сказать, когда написалъ, что не могу отдать тебѣ себя всего. Но это, какъ я заключаю изъ твоего послѣдняго письма, не можетъ измѣнить твоихъ чувствъ ко мнѣ. Съ моей же стороны, хотя та задача, о которой я говорю, такого рода, что не можетъ быть ни съ кѣмъ раздѣлена, но, конечно, участіе любящей женщины должно поддерживать и укрѣплять силы въ тѣхъ тяжелыхъ ударахъ и жизненной борьбѣ, съ которыми необходимо связано разрѣшеніе всякой серьезной задачи. Это помощь незамѣнимая и конечно только отъ тебя могу я ее принять. Но ты знаешь, моя дорогая, что не отъ насъ и не отъ нашей любви зависятъ наши отношенія. Ты знаешь, какія препятствія не допускаютъ нашего соединенія *) (хотя мнѣ нѣсколько затруднительно писать объ этомъ такъ прямо, но я долженъ прибавить, что разумѣю единственно только то соединеніе, которое освящается закономъ и церковью: ни о какихъ другихъ отношеніяхъ между нами не можетъ быть и рѣчи). Устранить эти препятствія очень трудно, но возможно. Во всякомъ случаѣ, нужно употребить всѣ средства. Пока я предлагаю слѣдующее: мы подождемъ три года, въ теченіе которыхъ ты будешь заниматься своимъ внутреннимъ воспитаніемъ, а я буду работать надъ заложеніемъ первоначальнаго основанія для будущаго осуществленія моей главной задачи, а также постараюсь достигнуть опредѣленнаго общественнаго положенія, которое бы могъ тебѣ предложить. Если ты согласишься, то объ этомъ еще поговоримъ при свиданіи. Много бы хотѣлъ сказать тебѣ, но слова нѣмы и пошлы» (10-VII-1873).

*) Родители Соловьева не соглашались на бракъ изъ-за близкаго родства.

И еще она помнить: тогда же — Петербургъ — вотъ и лѣто прошло, такъ онъ и не прѣхалъ («поговоримъ при свиданіи!»), а скоро зима; «большая перемѣна произошла за послѣднее время», она ужъ не та, она его не ждетъ...

«Во-первыхъ, пишу «Исторію религіознаго сознанія въ древнемъ мірѣ» (начало уже печатается въ журналѣ). Цель этого труда — объясненіе древнихъ религій, необходимое потому, что безъ него невозможно полное пониманіе всемірной исторіи вообще и христіанства въ особенности. Во-вторыхъ, продолжаю заниматься нѣмцами и пишу статью (также для журнала) о современномъ кризисѣ западной философіи, которая потомъ войдетъ въ мою магистерскую диссертацию; конспектъ этой послѣдней уже мною написанъ. Въ-третьихъ, читаю греческихъ и латинскихъ богослововъ древней церкви. Ихъ изученіе также необходимо для полного пониманія христіанства. Все это только начальныя подготовительныя занятія, настоящее дѣло еще впереди. Безъ этого дѣла, безъ этой великой задачи мнѣ не зачѣмъ было бы и жить, безъ него я бы не смѣлъ и любить тебя. Я не имѣлъ бы никакого права на тебя, если бы не былъ вполне увѣренъ, что могу дать тебѣ то, чего другіе дать не могутъ. Ты видѣла и всегда можешь видѣть у ногъ своихъ множество людей, которые имѣютъ надо мною всѣ внѣшнія преимущества. Пока, въ настоящемъ я ничто...»

*

Есть два начала свѣта и цвѣта жизни: любовь и любва — любить и любиться. «Разожженный уголекъ» въ крови и бѣлый, самый жаркій и пронзительный свѣтъ... но кровь и есть духъ. Самые знойныя пѣсни сложила любва; самые высокие помыслы отъ блага пронзительнаго свѣта. И преступленія до ножа, какъ отъ любви, такъ и въ любви. И у любви и у любви нѣтъ половинокъ: все или ничего.

«Философская натура» на тонкихъ ногахъ — Владиміръ Соловьевъ, не Рогожинъ, не Свидригайловъ — не Достоевскій. Въ его «недоношенной» натурѣ бѣлый жаркій свѣтъ, не «уголекъ». Никакой знойной пѣсни Лермонтова или Некрасова или Блока не можетъ быть въ стихахъ Соловьева, но мысли его сѣмянны и видѣнія его жарки.

Вотъ она съ длинными глазами сверкающей панночки «Вія» — маленькій красный ротъ, а это какъ у Полины въ «Игрокъ» слѣдокъ ноги узкій и длинный — мучительный.

«Сегодня я только къ утру задремалъ и видѣлъ тебя почти какъ наяву. Ощущаю Katzenjammer. Если тебѣ сколько-нибудь дорого мое спокойствіе, если ты меня не на словахъ только любишь, пиши мнѣ хоть разъ въ недѣлю нѣсколько словъ. Прощай, мое сокровище, обнимаю тебя всею силой своего воображенія; придетъ ли, наконецъ, время, когда обниму тебя въ дѣйствительности, радость моя, мученіе мое!» (8-X-1873).

Онъ покорилъ ее своимъ бѣлымъ самымъ жаркимъ и пронзительнымъ свѣтомъ. Но онъ никакой кентавръ, въ его философіи ничего отъ философа Хомы Брута. И если бы онъ осмѣлился не въ одномъ «воображеніи» — судьба его была бы судьбой пса Микиты: куча золы да пустое ведро.

*

Соловьевъ-женихъ — не Чеховъ со своей «собакой»; есть что-то общее съ повадкой и существомъ Андрея Бѣлаго, та же «мудрость змѣя и незлобивость голубя», шитая бѣлыми нитками, и то же прозрачное «лукавство», и путаница и слѣпота.

«Только что отправилъ жалобу на твое молчаніе, дорогой мой другъ Катя, какъ получилъ твое письмо, обрадовавшее меня бесконечно. (Ты однако не думай, чтобы я высказывалъ свою радость; при полученіи твоихъ писемъ я изображаю олицетворенное равнодушіе. Вообще я становлюсь гораздо сдержаннѣе, даже начинаю лукавствовать, увѣряю тебя: хочу быть мудрѣ, аки змѣй и незлобивѣ, аки голубь). Что касается нашихъ отношеній, то хочешь ли ты или не хочешь, я далъ и еще даю тебѣ слово, о которомъ говоришь. Способенъ ли я обмануть, это окажется въ будущемъ, на дѣлѣ, говорить же объ этомъ нечего» (2-VIII-1873). — «Подателю сего письма, если онъ будетъ говорить обо мнѣ, вѣрь не безусловно, не потому, чтобы онъ сталъ нарочно врать (онъ человѣкъ порядочный), но потому, что я не былъ съ нимъ вполне откровененъ, точно такъ же, какъ ни съ кѣмъ другимъ, кромѣ тебя одной. А прогос des bottles: какой невозможный вадоръ слышалъ я про тебя съ разныхъ сторонъ. Удивлялся изобрѣтательности человѣческаго воображенія. Не повѣрилъ ничему ни на минуту. Писалъ тебѣ, что начинаю лукавствовать. Съ непривычки не очень успѣшно: иногда прорываюсь самымъ смѣшнымъ образомъ. А иногда и не хочется притворяться, какъ будто что дурное скрывать» (10-VIII-1873). — «Что ты пишешь мнѣ, дорогая Катя, о сдѣланномъ тебѣ предложеніи, было мнѣ очень непріятно

отчасти по той моей бессмысленной гадкой ревности, вслѣдствіе которой у меня скребетъ на сердцѣ каждый разъ, когда кто-нибудь другой даже только произносить твое имя, не то что дѣлаетъ тебѣ предложение; но еще болѣе потому, что очень, очень тяжело шагать черезъ другихъ и, мечтая о спасеніи чело-вѣчества, по какой-то злой ироніи жизни быть невольной причиной чужого несчастья. Напиши мнѣ, пожалуйста, какъ подѣйствовалъ на него твой отказъ (не Пасекомъ ли его зовутъ?). Все, что ты пишешь о моихъ цѣляхъ, совершенно справедливо. Только ты напрасно воображала, что я мечтаю о какомъ-то мгновенномъ возрожденіи чело-вѣчества. Живого плода своихъ будущихъ трудовъ я во всякомъ случаѣ не увижу. Для себя лично ничего хорошаго не предвижу. Это еще самое лучшее, что меня сочтутъ за сумасшедшаго. Я впрочемъ объ этомъ очень мало думаю. Рано или поздно успѣхъ несомнѣненъ — этого достаточно. Мы должны исполнять свою обязанность — вотъ и все, а опредѣлять времена и сроки — не наше дѣло. Иногда далекое представляется уму близкимъ — тѣмъ лучше — это утѣшаетъ. Что это у тебя за странная фраза: боюсь надоѣсть своей болтовней?»

*

Свиданіе съ женихомъ, по его вычисленіямъ, черезъ 114 дней! Мечту о «народной школѣ» смѣнила музыка — появил-ся кентавръ.

Всеволодъ Соловьевъ *) (въ письмахъ онъ называется «джентльменъ», В. и Х.) будетъ заниматься съ ней исторіей. Онъ старше Вл. С., вотъ ужъ ничего общаго съ братомъ: онъ въ отца, такой же коренастый, широкоплечій. Въ ея альбомъ за августъ написалъ онъ шесть стихотвореній и въ каждомъ самое пылкое признаніе. А когда временно уѣдетъ изъ Петербурга въ Москву между ними начнется переписка.

«За днями дни обычной чередой»

Идутъ — а я письма не получаю,

Другимъ же пишешь ты... Что сдѣлалось съ тобой?

Я этого совсѣмъ, мой другъ, не понимаю!»

«По крайней мѣрѣ спокоенъ, что ты здорова, ибо другимъ пишешь. Видишь однако до чего любовь можетъ доводить даже философскія натуры: еще немного, — и я буду писать настоя-щіе стихи, буду списывать ихъ въ тетрадь и угощать ими сво-

*) Всеволодъ Сергѣевичъ Соловьевъ (1849-1903) романистъ.

ихъ близкихъ, по примѣру извѣстнаго тебѣ джентльмена, о которомъ кстати будетъ и рѣчь. На другой день по его отъѣздѣ, только что я проснулся и еще несовсѣмъ пришелъ въ себя, внезапно является Аполлонъ (не тотъ, которому поклонялись дрепаніе греки, а нашъ лакей Аполлонъ) и подаетъ мнѣ письмо, полученное наканунѣ въ мое отсутствіе. Вижу твою руку и, не разобравши хорошенько адресъ, распечатываю и читаю начало. Изъ сего начала вижу, что упомянутый джентльмень (къ которому оказалось адресовано ваше письмо) вторгается туда, гдѣ его никто не желаетъ. Ты бы очень хорошо сдѣлала, если бы разъ навсегда положила должный предѣлъ его порывамъ. Имѣю слишкомъ достаточное основаніе, постоянно страдая отъ своей довѣрчивости, предупреждать тебя: не довѣрай людямъ вообще, а петербургскимъ джентльменамъ въ особенности. Какъ ни стараюсь во всѣхъ людяхъ видѣть настоящаго человѣка, но долженъ признать начальную и давно извѣстную истину, что въ людяхъ совсѣмъ мало человѣческаго, а гораздо болѣе преобладаетъ образъ различныхъ звѣрей, какъ-то: волка, лисицы, свиньи, гіены, осла и т. п... Ты мнѣ никогда ничего не пишешь о себѣ. Неужели ты не вѣришь, что для меня важно все, что тебя касается. Пиши же, я серьезно беспокоюсь. Въ Сергіевскій посадъ окончательно переселяюсь 8 сентября, когда начнутся академическія занятія. Ты мнѣ должна будешь писать по крайней мѣрѣ 2 раза въ недѣлю. Кромѣ твоихъ писемъ у меня тамъ ничего живого не будетъ» (25-VII-1873). — «В. (Всеволодъ) разъ мнѣ рассказывалъ, какое ты мнѣніе имѣешь» и т. д., я уже писалъ тебѣ, дорогая, чтобы ты относительно меня не вѣрила В., потому что я не былъ съ нимъ искрененъ: я ему дѣйствительно говорилъ то, что онъ тебѣ передавалъ, но говорилъ нарочно, о чемъ тебя и предупреждалъ. Не знаю, почему тебѣ непріятно, что я живу отшельникомъ, т. е. избѣгаю безсмысленныхъ забавъ и не развратничаю. Вѣроятно тебѣ что-нибудь наврало. Относительно твоихъ сомнѣній могу только замѣтить, что наша разлука достаточно долга, чтобы «минутное увлеченіе» успѣло пройти; минутныя увлеченія у меня бывали, и я знаю разницу» (26-VII-1873). — «Не быть мнительнымъ и ревнивымъ я не могу: это болѣзни характера и слѣдовательно неизлѣчима. Но конечно ее можно скрывать. Во всякомъ случаѣ моя ревность остается при мнѣ: ты вѣдь не можешь пожаловаться, чтобы я тебя обвинялъ или упрекалъ въ чемъ-нибудь, а самого себя мучить я конечно имѣю право. Итакъ, объ этомъ больше ни слова. Что касается нашего свиданія, то я самъ думалъ его ускорить. Если ничего особеннаго

не случится, то буду въ Петербургѣ въ началѣ ноября (около десятихъ чиселъ). 7 недѣль еще подожди меня — это сравнительно недолго. Писать не буду часто — времени нѣтъ: нужно хорошенько потрудиться, чтобы сколько-нибудь заслужить радость свиданія съ тобою. Ты же пиши мнѣ, жизнь моя. Очень радъ, что ты будешь заниматься музыкой. Экзаменъ тоже не мѣшаетъ на всякій случай выдержать. Но скажи, пожалуйста, какъ это ты будешь заниматься съ Х. (Всеволодомъ)? Мнѣ кажется забавнымъ. Впрочемъ, объ Х. (Всеволодѣ) я не хочу распространяться, потому что долженъ сказать, что какъ это ни скверно съ моей стороны, я просто не люблю его. Какъ я ни старался себя принудить, какъ ни увѣрялъ себя, что долженъ его любить и что люблю — не удается. Это какая-то инстинктивная антипатія. Напротивъ, я былъ бы очень радъ, если бы представился случай оказать ему какую-нибудь важную услугу, чтобы, по крайней мѣрѣ, не быть неблагодарнымъ, какъ онъ меня въ этомъ упрекаетъ. Тѣмъ не менѣе, у меня къ нему (и странно — къ нему одному) очень нехорошее чувство. Впрочемъ, надѣюсь это со временемъ пересилить, тѣмъ болѣе, что онъ ненависти и вражды ни въ коемъ случаѣ не заслуживаетъ: онъ болѣе пусть, чѣмъ золь. Прости, моя радость, я вѣрю твоей любви и полагаюсь на нее» (23-IX-1873).

«Семь недѣль еще подожди меня — это сравнительно недолго!» И онъ трудился въ Сергѣевскомъ посадѣ, чтобы «заслужить радость свиданія». А ей въ Петербургѣ за музыкой и «исторіей» не до чего: кентавръ побѣдил!

«Сегодня полученное мною письмо твое возбудило во мнѣ такую необычайную радость, что я сталъ громко разговаривать съ нѣмецкими философами и греческими богословами, которые въ трогательномъ союзѣ наполняютъ мое жилище. Они еще никогда не видѣли меня въ такомъ неприличномъ восторгѣ, и одинъ толстый отецъ церкви даже свалился со стола отъ негодованія. Я вѣдь уже былъ вполне увѣренъ, что между нами все кончено, и только не могъ придумать отъ чего и какъ это случилось...»

Эка! и давно все кончено, а случилось очень просто. Говоря житейски: «проворонилъ», а по-просту — «проглупалъ». Хорошъ женихъ! Да надо было тогда же послѣ объясненія (Письмо 11-VII-1873), несмотря ни на что, немедленно ѣхать къ ней въ Петербургъ, а не откладывать, не философствовать и не оправдываться.

И это она помнить, еще бы! «Москва, 25 июля» :

«Пожалѣй меня, дорогая моя, жизнь моя, Катя; еще четыре мѣсяца долженъ я дожидаться свиданія съ тобою. Совсѣмъ собрался ѣхать въ Петербургъ; спрашиваютъ, зачѣмъ ты теперь туда ѣдешь? Для такихъ-то и такихъ-то дѣлъ. «Но въ Петербургѣ лѣтомъ никакихъ дѣлъ сдѣлать нельзя, никого изъ нужныхъ людей не найдешь; всѣ на лѣто разъѣзжаются». «Но мнѣ необходимо заниматься въ Публичной библиотекѣ». «Зимой тамъ заниматься гораздо удобнѣе, а теперь и въ библиотекѣ никого не добьешься». Что же? мнѣ оставалось или признаться, что я ѣду въ Петербургъ единственно для того, чтобъ видѣть тебя, что мнѣ тамъ, кромѣ мое Кати, никого и ничего не нужно, — сказать эту правду прямо было бы глупостью непоправимой; или же приходилось согласиться съ основательными доводами и принять предложеніе папа ѣхать въ Петербургъ съ нимъ вѣсть 1 декабря, въ воскресенье, въ 8½ часовъ вечера. Я согласился и кажется поступилъ благо-разумно. Но только теперь, когда дѣло уже кончено, чувствую я, до чего невыносимо-тяжело мнѣ это благоразуміе, никогда не испытывалъ такой смертельной тоски. Знаю, что и тебѣ невесело одной въ скверномъ пустомъ городѣ. Давно бы пріѣхалъ, несмотря ни на что, если бы можно было это сдѣлать, не компрометируя т е б я ж е. Да, кажется, не много розъ придется намъ сорвать на нашей дорогѣ. Это впрочемъ и хорошо: быть счастливымъ вообще какъ-то совѣстно, а въ нашъ печальный вѣкъ и подавно. Тяжелое утѣшеніе! Есть правда внутренній міръ мысли, недоступный ни для какихъ житейскихъ случайностей, ни для какихъ душевныхъ невзгодъ — міръ мысли не отвлеченной, а живой, которая должна осуществиться въ дѣйствительности. Я не только надѣюсь, но такъ же увѣренъ, какъ въ своемъ существованіи, что истина, мною сознанныя, рано или поздно будетъ сознана и другими, сознана всѣми, и тогда своею внутреннею силою преобразить она весь этотъ міръ лжи... все это исчезнетъ, какъ ночной призракъ передъ восходящимъ въ сознаніи свѣтомъ вѣчной Христовой истины, доселѣ непонятной и отверженной человечествомъ, — и во всей своей сла-вѣ явится царство Божіе — царство внутреннихъ духовныхъ отношеній, чистой любви и радости — новое небо и новая земля, въ которыхъ правда живетъ, но невозможно ничтожному человеку постоянно жить въ этомъ мысленномъ, еще не осуществленномъ для насъ мірѣ. Сердце беретъ свои права, и опять тяжелая тоска, тупое страданіе, и еще невыносимѣе становятся

мелкія препятствія и столкновенія, всѣ эти пощечины обыденной жизни. Радость моя, дорогая моя, въ эти минуты душевной усталости, слабости и отчаянія только твоя любовь можетъ поддерживать, ободрять меня: напоминай мнѣ о ней чаще, умоляю тебя, я еще не вѣрю вполне, прости меня. Твой навсегда».

«Навсегда?» — вотъ когда все было кончено навсегда: живое «безумное» человѣческое сердце — огонь — и... это «благоразуміе»! Или и такъ — по слову протопопа Аввакума: «не имъ было, а быть же было инымъ». Или...

Что рокомъ суждено, того не отражу я
Безсильной дѣтской волею своею,
Пройти я долженъ путь земной тоскуя
По вѣчному небѣ родины моею.

Звѣзда моя вдали сіяетъ одиноко —
Въ волшебный міръ лучи ея манять,
Но недоступенъ этотъ міръ далекій, —
Пути къ нему не радость мнѣ сулятъ.

Прости жъ, и лишь одно послѣднее желанье,
Послѣдній вздохъ души моею больною —
О, если бъ я за горькое страданье,
Что суждено мнѣ волей роковой,

Тебѣ могъ дать златые дни и годы,
Тебѣ могъ дать всѣ лучшіе цвѣты,
Чтобъ въ новомъ мірѣ свѣта и свободы
Отъ злобной жизни отдохнула ты,

Чтобъ смутныхъ сновъ тяжелыя видѣнья
Бѣжали всѣ отъ солнечныхъ лучей,
Чтобъ на всемірный праздникъ возрожденья
Явилась ты всѣхъ чище и свѣтлѣй.

Она стояла передъ нимъ, — и это было наяву, но трепетно, какъ въ видѣніи: на ея головѣ крылилъ бѣлый уборъ сестры милосердія; видитъ ли онъ или не видитъ, какъ тѣнью слѣдитъ она изъ-подъ опущенныхъ глазъ — онъ видѣлъ этотъ непорочный уборъ: его бѣлый цвѣтъ сверкалъ самымъ жаркимъ и пронзительнымъ свѣтомъ, красное, какъ рана, раскаленнымъ углемъ на груди — крестъ. И «рубины усть ея, казалось, прикипали кровью къ самому сердцу».

Алексѣй Ремизовъ.

Литературныя замѣтки

Въ своей статьѣ *Ошибки «начинающихъ»* (Посл. Нов.) М. Осоргинъ приводитъ, между прочимъ, рядъ такихъ въ одной фразѣ неназваннаго имъ автора: «Гдѣ-то далеко-далеко на дорогѣ слышалось пѣнье возвращающихся съ поля жницъ», — замѣчая: «Почему гдѣ-то, когда извѣстно, что на дорогѣ; почему далеко-далеко, когда можно просто далеко; почему пѣнье слышалось на дорогѣ, когда слышалось оно именно здѣсь; какимъ образомъ возвращающихся, когда рассказъ идетъ въ прошедшемъ времени; и зачѣмъ прибавлено съ поля — откуда-же еще жницамъ возвращаться? И слышалось, конечно, не пѣнье, а пѣсня... Возвращающихся — ошибка грамматическая (одна изъ обычныхъ), остальные — ошибки стиля».

Замѣчательно, что начинающіе, повидимому, учатся этимъ ошибкамъ одинъ у другого. Приведенная М. Осоргинымъ фраза, кажется, подтверждаетъ это мое предположеніе, ибо почти точно такую я нашелъ у другого (семидесятилѣтняго) начинающаго: «Съ рѣки слышалось далекое пѣнье возвращающихся вѣрно съ работы рабочихъ». Опять — пѣнье, а не пѣсня, и ненужная оговорка — вѣрно — откуда-же возвращаться рабочимъ какъ не съ работы? И та-же самая грамматическая ошибка. М. Осоргинъ совершенно правъ: она у начинающихъ — «одна изъ обычныхъ». Вотъ еще примѣръ: «Я засталъ рабочаго судорожно извивающимся на дорожкѣ» («Муравьи», Посл. Нов., 15 янв. 1938 г.). Или еще: «Увижу-ль я, друзья, народъ освобожденный и рабство падшее по манію царя?» Какимъ образомъ падшее, когда рѣчь идетъ о будущемъ?

Не знаю, впрочемъ, можно-ли автора, сдѣлавшаго эту ошибку, отнести къ начинающимъ: ему было тогда, правда, всего только 20 лѣтъ, но стихи онъ сталъ писать съ двѣнадцатилѣтняго возраста, а въ то время былъ уже знаменитостью. М. Осоргинъ могъ-бы на это отвѣтить указаніемъ, что «случается всхрипнуть и самому Омиру», — но только: подлинный

Омиръ всхрапывалъ лишь изрѣдка; а вотъ если подсчитать, сколько разъ зигоръ этихъ стиховъ позволялъ себѣ эту грамматическую ошибку (вотъ одинъ изъ множества случаевъ, и какъ разъ опять съ тѣмъ-же злополучнымъ глаголомъ: «...черезъ два часа [мы] увидѣли карабахскій полкъ въ возвращающемся съ восемью турецкими знаменами»), и сколько разъ вслѣдъ за нимъ — множество другихъ, то придется или признать, что российский коллективный Омиръ за всю свою долгую дѣятельность на поприщѣ изящной словесности, во всѣхъ своихъ временныхъ воплощенiяхъ (предоставляю читателямъ установить самоличность авторовъ цитированныхъ мною мѣстъ) только то и дѣлалъ, что храпѣлъ, или-же согласиться съ тѣмъ, что эта грамматическая ошибка — вовсе не ошибка, — по крайней мѣрѣ не-грамматическая ошибка. Дѣло въ томъ, что Грамматика уже давно выдала разрѣшенiе пользоваться причастiями «настоящаго времени», когда «разсказъ идетъ въ прошедшемъ времени», или «въ будущемъ». Выходитъ, что въ этомъ злоупотребленiи виновата сама-же Грамматика. Какъ-же быть? У кого ревнителямъ чистоты и правильности русскаго языка искать опоры? Можетъ быть, у Здравата Смысла, у Логики? Однако, М. Осоргинъ удостоиваетъ, что въ раскритикованной имъ фразѣ Начинающаго — «все понятно». Разъ все понятно, то, можно поручиться, Логика выѣшаться откажется. Она скажетъ, что для этого нѣтъ у нея никакихъ поводовъ. М. Осоргинъ попробуетъ, можетъ быть, убѣдить ее. Онъ приведетъ ей свой вариантъ этого предложенiя: «издалека донеслась пѣсня возвращавшихся жницъ». Такъ, вѣроятно, по его мнѣнiю, понятнѣе. Но Логика откажется понять этотъ доводъ. Она отвѣтитъ, что такъ тоже, конечно, «все понятно», но только, что это «все» — совсѣмъ другое; что одно дѣло слышать пѣсню, а другое — пѣнiе, и также, что когда мнѣ говорятъ о томъ, что кому-то «слышалось пѣнiе возвращающихся съ поля жницъ», я воспринимаю что-то иное, чѣмъ когда мнѣ скажутъ, что тотъ-же нѣкто слышалъ «пѣнiе возвращавшихся жницъ». Если-же мы спросимъ Логикю, въ чемъ тутъ различiе, она отошлетъ насъ къ своей уже лавишной прiятельницѣ, Психологiи. Психологiя-же разъяснитъ, что, кромѣ «чистаго», «отвлеченнаго» времени, всякiй языкъ стремится выразить и реальную длительность, la durée réelle Бергсона, переживанiе времени, и что русскiй языкъ справляется съ этимъ легче, свободнѣе другихъ, благодаря тому, что формы такъ называемыя въ немъ преобладаютъ надъ формами «времени».

**

Свободный и могучий — такими эпитетами определяли русский язык Тургеневъ. Слова известные, постоянно повторяющіяся, на юбилеяхъ, дняхъ русской культуры — и именно оттого, должно быть, стершіяся, обрившіяся въ нѣкое клише, выражающее «превосходную степень». Но Тургеневъ-то зналъ, что онъ хотѣлъ сказать. Великій стилистъ, т. е. ничего не говорившій наобумъ, или «для краснаго словца», онъ навѣрно ужъ просто былъ не въ силахъ, — да къ тому же еще въ этомъ своемъ духовномъ завѣщаніи, въ послѣднемъ своемъ словѣ, — не вложить здѣсь въ понятіе свободы всю полноту того значенія, какое для него, истиннаго гуманиста, оно имѣло всю его жизнь. Свобода для Тургенева и его эпохи не означала произвола. Свобода налагала нравственныя обязательства. Въ плоскости языка свобода, слѣдовательно, не могла быть для него исключочающей «правильность». Но что такое правильность рѣчи? Въ этомъ весь вопросъ. Передо мною маленькая книжечка («памятка») «Въ защиту русскаго языка», изданная въ 1937 г. Союзомъ ревнителей чистоты русскаго языка въ Бѣлградѣ, посвященная — Пушкину. Здѣсь много вѣрныхъ замѣчаній и полезныхъ совѣтовъ, но есть также и кое-что другое. Напримѣръ, указывается, что нѣтъ надобности повторять одни и тѣ же слова, «въ особенности при отрицаніяхъ или утвержденіяхъ: Да, да; нѣтъ, нѣтъ...» Это — «нехорошая привычка». Далѣе сказано, что «многіе ошибочно замѣняютъ усиливающее нарѣчіе «очень» словами «страшно», «ужасно»... Такія выраженія, «конечно, и неправильны и некрасивы», говорятъ составители памятки (можетъ быть, забывши, что тотъ, кому она посвящена, употребляла въ своихъ письмахъ такія выраженія, какъ «мнѣ брюхома хочется», «брюхома хочу», «чудеса, да и только» и т. п.). Я бы еще прибавилъ: неправильно и некрасиво выражаться о комъ-нибудь — особенно при дамахъ и дѣвицахъ, — такъ: «онъ — сукинъ сынъ». Это и звучитъ грубо, и нелогично: какъ-же человѣкъ можетъ быть сукинѣмъ сыномъ? Мы видимъ, что, идя въ этомъ направленіи, говоря о правильности рѣчи, можно уйти очень далеко и проинжнуть въ область вѣдѣнія составителей трактатовъ о «хорошемъ тонѣ». Обращаюсь къ другой книгѣ, весьма авторитетной, — «Правильность и чистота русской рѣчи» Чернышева (1915), и читаю: «Конечно, не умѣстенъ въ провѣ стихотворной: развѣръ». Слѣдуетъ

рядъ примѣровъ — изъ Достоевскаго, Аксакова, Тургенева и Пушкина, впрочемъ, съ оговоркою — съ ссылкой на знаменитаго лингвиста Э. Корша, — что у Пушкина этотъ случай («естъ тѣма обычаевъ, повѣрій и привычекъ...» — шестистопный ямбъ) единственный. Пушкинъ и въ данномъ отношеніи былъ «истинный классикъ, и стиховъ въ его прозѣ вообще нѣтъ», утверждалъ Коршъ. Возьмемъ для провѣрки одно письмо его къ брату (1820): «Нашелъ меня въ жидовской хатѣ»; «въ послѣднихъ отрасляхъ кавказскихъ горъ»; «древняя дерзость ихъ исчезаетъ»; «здѣсь вижу я слѣды Пантикапеи»; «счастливое полуденное небо». Если стать на точку зрѣнія Корша и Чернышева, то придется придти къ выводу, что и въ этомъ отношеніи российский Омиръ храпѣлъ и продолжаетъ храпѣть непрерывно. Не лучше-ли, не утѣшительнѣе-ли для національнаго самолюбія, согласиться съ тѣмъ, что все это не отступленія отъ правилъ русскаго языка и, слѣдовательно, что правильность и чистота русской рѣчи не въ недопущеніи этихъ ошибокъ — ибо никакихъ ошибокъ здѣсь, какъ оказывается, нѣтъ, — а въ чемъ-то другомъ? Но въ чемъ-же? Перечислять всѣ подлинныя «правила» русскаго языка, значило-бы написать цѣлый трактатъ. Здѣсь я позволю себѣ отмѣтить только то, какъ надо было-бы подойти къ вопросу и ограничусь лишь нѣкоторыми, отрывочными, наблюденіями и сопоставленіями.

Прежде всего — о категоріяхъ ошибокъ. Мы видимъ, что ихъ можетъ быть по крайней мѣрѣ три. Первая — грамматическія, вторая — стилистическія, третья, если можно такъ выразиться, — этическая, нарушающія требованія «хорошаго тона», учтивости, добрыхъ нравовъ. Что касается грамматическихъ ошибокъ, я предложилъ-бы такое ихъ опредѣленіе: это ошибки, какихъ говорящій или пишущій на родномъ языкѣ н ѣ ко г да не дѣ л а е т ь , и какія обычно дѣ л а е т ь иностранецъ. Французъ или нѣмецъ можетъ сказать: я буду приходить къ вамъ завтра въ три часовъ. Вотъ только этого рода ошибки — грамматическія, въ силу опредѣленія: грамматика вѣ д ь строитъ свою систему на основаніи фактовъ языка. Правда, всѣхъ фактовъ въ систему не вгонишь, и потому грамматика, наряду съ «правилами», признаетъ и «исключенія».

Итакъ, поскольку дѣло идетъ о памятникахъ русской рѣчи принадлежащихъ русскимъ, мы можемъ считать, что отъ первой категоріи ошибокъ мы отдѣлались: ихъ просто — нѣтъ. Остаются двѣ другихъ. Что здѣсь избрать въ качестве критерія? Обращу прежде всего вниманіе на то, что, какъ оказывается, ни Коршъ, ни Осоргинъ не замѣтили въ рядѣ слу-

чаевъ одинъ одной, другой — другой изъ тѣхъ особенностей рѣчи, какія они сочли ошибками. Остановимся еще разъ на ошибкѣ отмѣченной Коршемъ — стихъ въ прозѣ. «Бандитъ умчался на его машинѣ» — читаемъ въ репортерской замѣткѣ въ «Посл. Нов.». Если я замѣтилъ, что здѣсь — пятистопный ямбъ, то только оттого, что искалъ примѣровъ подобнаго рода, которые-бы подтвердили, что это обычное — и нерѣдко неизбежное — явленіе. Въ художественныхъ произведеніяхъ въ прозѣ метрической строй появляется обычно (такъ въ особенности какъ разъ у Пушкина) во фразахъ, завершающихъ абзацъ («каденціяхъ»), когда высказываніе носить повѣшенно-эмоціональный характеръ, — и тогда опять-таки мы этого не замѣчаемъ. Но когда Андрей Бѣлый заканчиваетъ каждый свой абзацъ метрической — и притомъ всегда почему-то дактилической — каденціей; когда («Котикъ Летаевъ»), вспоминая, какъ часто отецъ его отправлялся въ W. C., поясняетъ: страдать онъ запорами, — это раздражаетъ: здѣсь эти «стихи» воспринимаются сами по себѣ, независимо отъ смысла. Здѣсь они — не у м ѣ ст ны.

Увидѣть Венеру Милосскую значить — и не увидѣть ея носа. Если-бы мы его увидѣли, это служило-бы доказательствомъ, что въ ея обликѣ что-то съ чѣмъ-то не вяжется, что въ замыслѣ скульптора была какая-то фальшь, въ силу чего носъ богини оказался не у м ѣ с т а. Эстетика сводится къ этикѣ; другими словами, вторая категорія ошибокъ сводится къ третьей. Если я скажу при встрѣчѣ съ близкимъ человѣкомъ: я ужасно радъ васъ видѣть — это будетъ вполне умѣстно, и онъ никакой ошибки въ сказанномъ мною не замѣтитъ. Но если я это скажу человѣку, мнѣ почти незнакомому, онъ почувствуетъ не только въ «ужасно», но и въ «радъ» — фальшь, ложь, неумѣстное; онъ эти слова выдѣлитъ, замѣтитъ.

Говорить правильно все равно, что говорить правдиво, отвѣтственно. Нѣтъ словъ или словосочетаній, которыя, разъ они имѣются въ данномъ языкѣ, были-бы сами по себѣ «нехороши», «неправильны». Все зависитъ отъ того, какъ, въ какихъ случаяхъ, для чего мы ихъ употребляемъ. Или — или. Ты долженъ сдѣлать выборъ. Этотъ моральный принципъ Киркегора одинаково обязательенъ какъ для дѣйствующаго, такъ и для говорящаго. Ясно, что чѣмъ больше возможностей для выбора, тѣмъ онъ труднѣе, но тѣмъ выше и заслуга сдѣлавшаго тотъ выборъ, который требовалось сдѣлать. Быть образцовымъ гражданиномъ несравненно труднѣе въ Англии, въ Швейцарии, нежели въ какомъ-нибудь тоталитарномъ государствѣ; но зато

только въ условіяхъ свободы порядочное поведеніе служить мѣриломъ нравственной порядочности.

Вотъ съ этой точки зрѣнія и слѣдуетъ остановиться на вопросѣ о специфической свободѣ русскаго языка. Въ чемъ она состоитъ? Въ чемъ здѣсь отличіе русскаго языка отъ другихъ современныхъ языковъ? Прежде всего — въ свободномъ порядкѣ словъ. Это не значитъ, конечно, что мы вольны тасовать въ какой-нибудь фразѣ слова въ любомъ порядкѣ — и смыслъ будетъ тотъ-же самый. Напротивъ, это значитъ, что отъ порядка словъ зависятъ разнообразнѣйшіе смысловые отѣнки. «Прелесть неизъяснимая» — часто у Пушкина. Въ отвлеченномъ смыслѣ это то-же самое, что «неизъяснимая прелесть». Не лучше-ли такъ? Не «правильнѣе»-ли? Вѣдь обычно прилагательное ставится передъ существительнымъ. Но Пушкинъ зналъ, что дѣлалъ. Затѣмъ-то онъ и ставилъ это прилагательное послѣ «прелести», чтобы подчеркнуть его и тѣмъ придать и «прелести» большую вѣскость. У Пушкина именно въ этомъ порядкѣ оба слова сливаются вмѣстѣ, приобретаютъ одинъ, неопредѣлимый, неизъяснимый смыслъ. Но когда мы встрѣчаемъ такія словосочетанія, какъ, напр., «садъ фруктовый», «ночи майскія», «столъ обѣденный» и т. п. (сейчасъ это въ модѣ), мы здѣсь чувствуемъ покушеніе на красоту, щегольство; прилагательное выпячивается, лѣзетъ на глаза безъ всякой нужды. Мы его замѣтили — и значитъ то, что сказано, сказано плохо.

Возвратимся къ осужденной Осоргинымъ фразѣ: послышалось пѣнье возвращающихся съ поля жницъ, и попробуемъ переставить слова: «послышалось пѣнье жницъ, возвращающихся съ поля». Это можно понять и такъ: ...жницъ, которыя имѣютъ обыкновеніе возвращаться съ поля. Поэтому при такомъ порядкѣ вмѣсто возвращающихся, лучше возвратившихся, во избѣжаніе двусмысленности. Въ первомъ случаѣ этой двусмысленности нѣтъ, такъ какъ причастіе поставлено «прилагательно», прикрѣплено къ «жницамъ», ихъ движеніе и сами онѣ слиты въ одинъ образъ. Это построеніе — синтетическое; а не аналитическое.

Вотъ въ чемъ значеніе свободного порядка словъ. Свобода эта даетъ возможность сплавлять цѣлые ряды образовъ въ одинъ образъ. Вотъ нѣсколько примѣровъ: «На почетномъ мѣстѣ сидѣлъ... человечекъ съ маленькими вѣчно смѣющимися глазами, въ которыхъ... написано было то удовольствіе, съ какимъ куриль онъ свою...люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцемъ вылѣзавшій изъ нея превращенный въ золу

табакъ» (Гоголь). «Заревѣла на выгонахъ облѣзая, только иѣстами еще не передилнаявшая скотина, ...побѣжали быстроногіе ребята по просыхающимъ съ отпечатками босыхъ ногъ тропинкамъ...» (Толстой). «Лодка... несется впередъ... разсѣкая шумно взлетающую и быстро кипящую вдоль бортовъ воду...» (Бунинъ). «На второй остановкѣ... сѣлъ сухошавый, въ полу-пальто съ лисьимъ воротникомъ, въ зеленой шляпѣ и потрепан-ныхъ гетрахъ мужчина...» (Сиринъ).

Логика сознанія, имѣющаго дѣло съ понятіями, требуетъ много порядка. Человѣкъ придавливалъ пальцемъ что? Табакъ (дополненіе). Какой табакъ? Вылѣзавшій изъ люльки... На остановкѣ сѣлъ кто? Мужчина. Какой? Сухошавый и т. д. Табакъ у Гоголя, мужчина у Сирина — прямые «объекты» мысли, засимъ слѣдуютъ ихъ «опредѣленія». Но съ точки зрѣнія конкретнаго сознанія это просто вздоръ. Мы видимъ не табакъ «вообще», не мужчину «вообще», а вотъ этотъ вылѣзавшій изъ люльки табакъ, вотъ этого, сухошаваго и именно такъ одѣтаго мужчину.

Воспріятіе всего даннаго въ условіяхъ реальной длительности, а не абстрактнаго времени, мышленіе идеями, въ букввальномъ смыслѣ, т. е. образами, а не понятіями, — такова сущность поэтическаго, конкретизирующаго сознанія. Теперь, надѣюсь, ясна связь между двумя главными особенностями русскаго языка: свобода въ употребленіи глагольныхъ и отглагольныхъ формъ и свобода расположенія словъ. Русскій языкъ, въ этомъ отношеніи, можетъ быть названъ поэтическимъ по преимуществу.

Языкъ зеркало культуры. Это очевидно и не требуетъ доказательствъ, но принимать это надо лишь съ большими оговорками. Въ силу условій самаго разнообразнаго свойства, языкъ, въ опредѣленный моментъ своего развитія, фиксируется, отвердѣваетъ и далѣе уже развивается лишь очень медленно, отставая отъ развитія сознанія. Его первоначальныя особенности утрачиваютъ тогда для пользующихся имъ свой прямой смыслъ, обезцвѣчиваются, стираются. Русская обиходная рѣчь, конечно, ничуть не болѣе «поэтична» чѣмъ французская или англійская. «Поэтическія» особенности русскаго языка пригодны, какъ таковыя, только поэту. Въ этомъ вся суть дѣла. Для современнаго сознанія существуетъ глубокая, непроходимая пропасть между «поэтомъ» и «чернью». Поэтъ стоитъ внѣ міра и гонитъ отъ себя всякаго, для кого печной горшокъ дороже кумира бельведерскаго, въ которомъ онъ не зреть пользы. Создался-же поэтическій языкъ тогда, когда каждый

человѣкъ былъ поэтомъ; когда лечной горшокъ и кумирь бельведерскій были предметами одной и той-же категоріи, одинаково, каждый по своему, «полезными» и вмѣстѣ съ тѣмъ «поэтическими». Въ эту стадію развитія для человѣка не существовало различія между поэзіей и жизнью, какъ между поэтической мечтою и разсудочнымъ познаніемъ. Для современниковъ Иліада, Божественная Комедія были тѣмъ, чѣмъ для насъ, примѣрно, въ отдѣльности учебники исторіи, географіи, Закона Божія, а также лирика Пушкина. Съ этой точки зрѣнія представляеть исключительный интересъ одна аномалія въ исторіи русской литературы (или, что то-же, русскаго сознанія), ибо аномалія никогда не случайна, а всегда свидѣтельствуетъ объ известной скрытой тенденціи. Я имѣю въ виду Некрасова, — явленіе не имѣющее себѣ аналогій въ исторіи другихъ міровыхъ литературъ. Для Достоевскаго онъ былъ великимъ поэтомъ. Для Тургенева — въ его стихахъ «поэзія и не ночевала». Было-бы легче всего остановиться на средней опѣнкѣ: поэтъ, но не великій. Разъ Любопытный не примѣтилъ въ кунсткамерѣ слона, значить, слонъ, вопреки своей репутациі, животное средней величины. Это опять-таки уклоненіе отъ императива или — или. Достоевскій и Тургеневъ слишкомъ значительны, чтобы мы могли себѣ позволить такимъ способомъ ихъ, въ данномъ случаѣ, примирить. Приходится согласиться или съ тѣмъ, или съ другимъ. И прежде всего необходимо поставить вопросъ: какъ могъ Тургеневъ не увидѣть того, что увидѣлъ Достоевскій? Мы подойдемъ къ разгадкѣ, остановившись на одномъ примѣрѣ, показывающемъ, что и Достоевскій собственно увидѣлъ Некрасова не совсѣмъ по настоящему. Достоевскій особенно восхищался «Власомъ», но объявилъ грубыми и неумѣстными «вѣдъму-егозу», «ефіоповъ» и «крокодиловъ». Но Власъ только такъ и могъ представить себѣ Адь. Достоевскій чувствовалъ, что зотъ бредъ Власа не вяжется съ съ его, Достоевскаго, пониманіемъ послѣдняго, съ тѣмъ, какъ онъ хотѣлъ понять его. Съ Власомъ онъ продѣлалъ примѣрно то-же, что съ Пушкинскою Татьяной. Для него Власъ, послѣ своего обращенія, — идеальный русскій человѣкъ, олицетвореніе «народа-богоносца». На самомъ дѣлѣ Власъ навсегда остался тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, такимъ-же практическимъ, расчетливымъ человѣкомъ, каковъ всякій средній человѣкъ. Отношеніе къ вѣрѣ, къ Богу у него вполне утилитарное. Каждый «средневѣковый» обыкновенный человѣкъ боялся не на шутку неприяностей, ожидающихъ его на томъ свѣтѣ, какъ мы боимся тѣхъ, что связаны съ просроченнымъ паспортомъ, уволь-

неніемъ со службы. Выражаясь по-марксистски, Власъ — человѣкъ періода первоначальнаго накопленія. Сперва брать съ родного, брать съ убогаго, приобретаая себѣ пожизненную ренту; затѣмъ пошелъ собирать на построение божьихъ храмовъ съ цѣлью приобретенія ренты посмертной. Нравственной заслуги здѣсь нѣтъ, но и осуждать человѣка за это нѣтъ оснований. Некрасовъ беретъ Власа такимъ, каковъ онъ есть, и такимъ его и показываетъ, «наивно», безъ тѣни ироніи, какъ это сдѣлалъ-бы Лѣсковъ, но и безъ идеализаціи и стилизаціи, какъ сдѣлалъ-бы, каждый по своему, Толстой (вспомнимъ «Хозяина и Работника») или Достоевскій. Между ними и «Власомъ» — дистанція, между Некрасовымъ и «Власомъ» дистанція нѣтъ. Ему Власъ вполне современенъ, ибо, во многихъ отношеніяхъ, самъ онъ — «средневѣковый» человѣкъ.

Г. Адамовичъ («Совр. Зап.») сравнилъ Некрасова съ Бодлэромъ. Это совершенно, на мой взглядъ, вѣрно, но только въ планѣ вѣчности, не — въ планѣ исторіи. Некрасовъ несовремененъ не только Бодлэру, утонченнѣйшему художнику, но и самимъ своимъ, русскимъ, современникамъ; онъ современенъ духовному предку Бодлэра, Франсуа Виллону. Тѣ-же неуклюжесть, отсутствіе мѣры и отсутствіе дистанціи между поэтомъ и его матеріаломъ, въ силу чего матеріалъ не претворяется цѣлкомъ въ продуктъ творчества, не отливається безъ остатка въ форму; другими словами та-же наивность. И еще одна «средневѣковая» черта: неразграниченіе «родовъ» словесности. Какъ средневѣковые писатели для «мірянъ» совали въ одинъ «романъ» все, что попадется, проповѣди, философскія разсужденія, публицистическіе памфлеты, вперемежку съ тѣмъ, что единственное у нихъ мы воспринимаемъ какъ чистую поэзію, — такъ и Некрасовъ смѣшивалъ формальные и матеріальные элементы былинны, духовнаго стиха, пушкинской и послѣ-пушкинской лирики, «обличительнаго» фельетона; — получалась тяжелая, неудобоваримая каша, и если плотать ее насѣхъ, можно не замѣтить крупинъ чистой поэзіи, сколь-бы часто онѣ тамъ ни попадались. Но вѣдь то же самое приложимо и къ Данте.

Самымъ надежнымъ свидѣтельствомъ духовнаго «климата» поэта служатъ преобладающіе у него образы и его словарь. Образъ, почти никогда не покидающій Некрасова, тотъ-же, что въ самомъ трогательномъ, самомъ человѣческомъ произведеніи французской поэзіи, «Балладѣ, которую Виллонъ сочинилъ для своей матери, дабы она молилась ею Владычицѣ». Мотивъ *Mater terri*, *Mater dolorosa* средневѣковаго гимна, «чье пронзено

мечемъ вопящее, скорбищее, болящее сердце», въ сочетаніи съ мотивомъ больной совѣсти, — вотъ доминанта Некрасовской поэзіи.

«...Ты ушла молчаливо,
принарядившись какъ будто къ вѣнцу,
и черезъ часъ принесла торопливо
гробикъ ребенку и ужинъ отцу.
Голодъ мучительный мы утолили,
въ комнатахъ темной зажгли огонекъ,
сына одѣли и въ гробъ положили...»

Стоить только подойти Некрасову къ этой темѣ — и онъ достигаетъ силы, выразительности, оригинальности равныхъ шекспировскимъ и дантовскимъ. Изумительны по неожиданности и трагизму эти сочетанія — гробикъ и ужинъ, и какъ глубоко мотивированъ этотъ «ростъ» образовъ тогда, когда жуткая мистерія подходит къ своему послѣднему, торжественному моменту: гробъ послѣ гробикъ, сынъ послѣ ребеночка, — и когда всплываютъ ассоціаціи, уясняющія всю смысловую полноту образа вѣнца

Мы любимъ сестру, и жену, и отца,
Но въ мукахъ мы мать вспоминаемъ.

Здѣсь — ключъ ко всему творчеству Некрасова. И опять-таки: какъ умѣстны эти аллитераціи въ послѣднемъ стихѣ, это повтореніе М, первой согласной, выговариваемой ребенкомъ, выражающей страданіе, мольбу, опоры перваго человѣческаго слова.

«Въ насмѣшливомъ и дерзкомъ нашемъ вѣкѣ великое, святое слово Мать не вызываетъ чувства въ человѣкѣ», говоритъ Некрасовъ. Такъ-ли это, или нѣтъ, — во всякомъ случаѣ тема Матери, Мадонны была основною въ поэзіи и въ другихъ искусствахъ преимущественно въ періодъ Средневѣковья.

Что касается словаря, то прежде всего надлежитъ отдѣлится слова, какія служатъ общими «поэтическими» клише — «сомнѣнье», «роковой», «роковыя сомнѣнья» и т. п., отъ собственныхъ словъ поэта. У Некрасова это убогій. Въ народномъ сознаніи убогій сочетается съ Богъ: Богъ милостью не убогъ; бѣденъ бѣсь (потому что, по толкованію Дали, у него Бога нѣтъ), а, человекъ убогъ; и, надо думать, по народной этимологіи убогій тотъ, кто у Бога, съ Богомъ. И у Некрасова первое слово влечетъ за собою второе и связанныя съ нимъ:

Тихонько въ убогую церковь вхожу,
 Смѣшалась съ толпой богомольной...
 Казалось, народъ мою скорбь раздѣлять,
 Молясь молчаливо и строго,
 И голосъ священника скорбью звучать
 Прося объ изгнанникахъ Бога.

Убогой, въ пустынь затерянный храмъ... (Р. Женщ.)

Понагрѣлъ ты Калистратушку.

— Ну, его нагрѣть не грѣхъ:

Самъ снимаетъ крестъ съ убогаго... (Коробейники).

Богъ вѣсть, куда-бы прихоть волнѣ

Прибила мой убогой челнѣ (Несчастные).

И это восходить къ эпохѣ, когда убогіе составляли высшій чинъ общественной іерархіи, когда убогой считался человѣкомъ Божьимъ.

**

Языкъ не только орудіе мысли и творится мыслью. Онъ энергія (опредѣленіе Гумбольдта) и въ томъ отношеніи, что самъ творитъ мысль. Русскій языкъ сложился еще тогда, когда русскій человѣкъ не размышлялъ о вещахъ, которыя не даны намъ въ повседневномъ житейскомъ опытѣ. И вотъ, когда въ Россію проникло европейское «любомудріе», русское мышленіе сохранило свою конкретность. Фактъ тотъ, что отвлеченныхъ мыслителей, равныхъ Томъ Аквинату, Николаю Кузанскому, Спинозѣ и Декарту, Лейбницу, Канту и Гегелю, Россія міру не дала. И это недостаточно было-бы объяснять отсутствіемъ соотвѣтствующей вѣковой традиціи, создавшей на Западѣ благодаря католической церкви и латыни. Вспомнимъ фойвизинскій вопросъ о первомъ портномъ. Слабое развитіе отвлеченнаго философствованія въ Россіи не минусъ, а плюсъ. Конкретная мысль богаче, полнѣе, жизненнѣе, насыщеннѣе содержаніемъ, чѣмъ отвлеченная. Эта мысль, въ силу опредѣленія, не можетъ уложиться въ систему сужденій, расположенныхъ «геометрическимъ способомъ»: въ такомъ случаѣ она перестала-бы быть самой собою. Ея порожденія не понятія, а идеи — живые образы. Величайшіе русскіе мыслители всѣ — поэты.

Жизнь — творческой процессъ, развивающійся свободно, а не движущійся по распisanію. Это исчерпывающе доказано Бергсономъ, а до него — однимъ русскимъ писателемъ, о ко-

торомъ принято отзываться, правда съ осторожностью и намеками, принимая во вниманіе его репутацію, какъ о неслишкомъ умномъ человѣкѣ. Это его разсужденіе находится въ «Войнѣ и Мирѣ». Да весь этотъ романъ цѣликомъ, — что это такое какъ не философія витализма, изложенная убѣдительно, т. е. наглядно, нежели у любого виталиста-теоретика? Залогомъ служить его несравненное художественное совершенство, абсолютная адекватность «формы» и «содержанія». «Война и Миръ» и «Анна Каренина» единственные въ мировой литературѣ романы категоріи *roman-fleuve*, всецѣло оправдывающіе это наименованіе, если возьмемъ «рѣку» въ ея основномъ, гераклитовскомъ, качествѣ: невозможно въ одной и той же рѣкѣ окунуться дважды. Ни у одного изъ величайшихъ европейскихъ романистовъ жизнь-рѣка не течетъ столь непрерывнымъ потокомъ, какъ у Толстого. Неужто можно сомнѣваться въ глубокое, органическое сродствѣ языка, не знающаго категорій абстрактнаго, построеннаго Разумомъ по аналогіи съ геометрическимъ пространствомъ, нереальнаго времени, а знающаго только виды времени реальнаго, творящаго жизнь, съ творимыми художникомъ слова, пользующагося этимъ языкомъ, воспроизведеніями жизни? Такъ оправдывается второй эпитетъ, данный Тургеневымъ русскому языку: *могучій*.

*

**

Конкретное мышленіе охватываетъ жизнь во всей ея полнотѣ; для него нѣтъ объектовъ, а только тенденціи, возможности, энергіи — и потому ему открыто то, что возможно въ будущемъ. Вотъ поражающей, кажушейся невѣроятнымъ, и насколько я знаю, не имѣющей себѣ подобныхъ, примѣръ. Недавно вышла книга Р. Гуля о порядкахъ въ конц. лагерѣ Ораніенбургъ. Въ ней между прочимъ разсказано о попыткахъ видимостью работы, которымъ подвергаются заключенные — напр., вырыть яму и засыпать ее, перетаскивать кучи земли съ мѣста на мѣсто. А въ Запискахъ изъ Мертваго Дома читаемъ:

«Мнѣ пришло разъ на мысль, что если-бъ захотѣли вполне раздавить, уничтожить человѣка, наказать его самымъ ужаснымъ наказаніемъ, такъ что самый страшный убійца содрогнулся бы отъ этого наказанія и пугался его заранѣе, то стоило бы только придать работѣ характеръ совершенной, полнѣйшей безполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжника, то сама въ себѣ, какъ работа, она разумна...; въ работѣ этой есть смыслъ

и цѣль... Но если-бъ заставить его, напримеръ, переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу земли съ одного мѣста на другое и обратно, — я думаю, арестантъ удавился бы черезъ нѣсколько дней или надѣлалъ-бы тысячу преступлений, чтобъ хоть умереть, да выйти изъ такого униженія, стыда и муки».

Поразительно то, что за всю человѣческую исторію не было вѣдь ни одного примѣра подобной пытки (можетъ быть, Достоевскому вспомнился мифъ о бочкѣ Данаидъ?). Принято, по поводу жестокостей и издѣвательствъ надъ людьми, творимыхъ нынѣ, говорить о возвратѣ къ «Средневѣковью», объ «ужасахъ инквизиціи» и т. д. Это только показываетъ пристрастіе къ словеснымъ шаблонамъ. Въ «мрачныя» времена Средневѣковья, инквизиціи, и позже, людей казнили, истязали физически, но никогда не добивались нравственно истерзать человѣка такъ, чтобы навсегда искалѣчить его душу, вытравить ее изъ него, убить его волю. Самое безобразно-жестокое отношеніе къ врагу, преступнику, еретнику, не исключало уваженія въ немъ къ человѣку. Его мучали, лишали жизни оттого, что возмущались несоотвѣтствіемъ между содѣяннымъ имъ и должнымъ, старались заставить его ужаснуться глубинѣ своего паденія и, хотя бы въ послѣднюю минуту, покаяться. Для того же, чтобы додуматься до этого рода истязаній и примѣнить ихъ на дѣлѣ, нужно было перестать самому быть человѣкомъ, достигнуть послѣдней степени — вовсе не жестокости, изувѣрства, даже садистской радости, ощущаемой при причиненіи другому зла, — а бездушія, не безчеловѣчности въ ходячемъ смыслѣ, а нечеловѣчности. Но вмѣстѣ съ этимъ и неживотности, ибо животное никогда не дѣлаетъ зла хладнокровно и съ расчетомъ. Звѣрство предполагаетъ озлобленіе, ярость, и полный отказъ отъ Разума. Въ томъ-то и ужасъ, что человѣкъ, какъ оказывается, можетъ утратить душу, сохранивъ въ неприкосновенности разумъ. Угасаніе начала душевности въ нашихъ условіяхъ механизации, порабощенія человѣка машинѣ, уже давно стало ходячей темой; немало было написано, такъ сказать, утопій на изнанку; но такого буквальнаго совпаденія предвидѣнія съ осуществившимся въ этомъ отношеніи, мы не знаемъ. Даръ ясновидѣнія, присутствующій Достоевскому, никогда и нигдѣ у него, кажется мнѣ, не проявился съ такой несомнѣнностью. Онъ, какъ никто, понималъ самое непонятое, самое невообразимое, самое внутренне-противорѣчивое, что кроется въ человѣческой природѣ. И опять-

таки — только-ли случайность, что этимъ пророкомъ оказался русскій писатель? Не служить-ли это новымъ доказательствомъ связи русской рѣчи съ русскимъ мышленіемъ?..

**

Итакъ, — свободный, могучій, а значить и — великій (третій изъ тургеневскихъ эпитетовъ). Жаль, что неизвѣстны годъ и день, когда радимичи, кривичи, древляне, сѣверяне, вятичи отъ бормотанья, завыванья, мычанья, перешли къ членораздѣльной рѣчи. Можно было-бы отпраздновать юбилей русскаго языка, какъ свидѣтеля «одаренности русскаго человѣка». Но только: существовалъ-ли когда-нибудь и существуетъ-ли этотъ русскій «человѣкъ вообще»? «Конкретный» русскій не постѣняется назвать своего соотечественника идиотомъ, осломъ, бездарностью, не считая нужнымъ сдѣлать оговорку: «хоть онъ и русскій» (любопытно, что при отзывахъ о чужомъ, наблюдается какъ разъ обратное: «онъ хорошій человѣкъ, хоть и жидъ»).

Это, во-первыхъ. Во-вторыхъ, зачѣмъ можно сказать о зѣра и о зера (Пушкинъ, Тютчевъ), водами и водами (Пушкинъ) и т. д.? Затѣмъ, можетъ быть, что русскому языку, какъ «вѣтру и орлу и сердцу дѣвы нѣтъ закона». Вѣтеръ, орелъ, сердце дѣвы — вещи возвышенныя, поэтическія. А вотъ говорить, что и дуракамъ законъ не писанъ. Съ точки зрѣнія взрослога, вѣками воспитывавшагося на Аристотель и Эвклидъ сознанія, «поэтическій» языкъ глуповать, какъ, по слову Пушкина, сама поэзія.

Я говорю это не затѣмъ, чтобы обидѣть русскій языкъ. Крайности сходятся. Если-бы, сказалъ Гете, боги говорили, они говорили-бы только собственными именами. Варвары, значить, ближе къ богамъ, чѣмъ мы, цивилизованные. Я хочу лишь еще разъ подчеркнуть, что чѣмъ больше въ современномъ языкѣ элементовъ характерныхъ для «поэтической» стадіи культуры, тѣмъ, для цивилизованныхъ людей, труднѣе имъ пользоваться такъ, какъ надо, т. е. употреблять «собственные» слова въ ихъ собственномъ значеніи, тѣмъ больше соблазна отказаться отъ истинной свободы — права и обязанности выбора, и понять свободу какъ произволь.

Мы видимъ, что свобода и могущество-языка связаны съ его богатствомъ. Одно изъ условій этого богатства — наличие синонимовъ, которыхъ въ русскомъ языкѣ особенно много.

И это богатство можетъ легко скинуться — какъ сказалъ уже Фонвизинъ — «дурацкимъ богатствомъ». Синонимы обозначаютъ одно и то-же, но выражаютъ разное. Вотъ примѣръ, поясняющій это. У Пушкина, въ «Когда за городомъ», на «публичномъ кладбищѣ» гниютъ мертвецы, а на сельскомъ — дремлютъ мертвые. Мертвецъ — существительное, «субстанціональное», слово и притомъ уже своей формой (ямбъ) выражающее, такъ сказать, самоутверждение качества (ср. удалецъ, молодецъ, борецъ). Самоутверждение мертвеца только и въ томъ, что онъ гниетъ. Въ мёртвый слышится печаль, обреченность. И это слово сохраняетъ отгнѣнокъ «прилагательности», выражаетъ состояніе, т. е. нѣчто преходящее. Мертвые могутъ воскреснуть и оттого они дремлютъ.

Извѣстно, что въ русскомъ языкѣ изобиліе синонимовъ обусловлено въ значительной степени сосуществованіемъ «славянскихъ» формъ наряду съ «русскими» — напр., молодой и молодой. По отношенію къ нимъ, въ поэтической, т. е. выразительной, рѣчи соблюденіе принципа или — или столь же обязательно, какъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. А у Лермонтова находимъ: Онъ душу младую въ объятіяхъ несъ для міра печали и слезъ и звукъ этой пѣсни въ душѣ молодой остался безъ словъ, но живой.

«Быть орудіемъ Бога земнымъ созданьямъ тяжело» — истиннаго Бога, Логоса, Слова-смысла, мысли. Оступиться, измѣнить мысли — эта опасность подстерегаетъ на каждомъ шагѣ. Несравненно легче служить другому Богу, котораго Вяземскій называлъ русскимъ Богомъ: Богъ всего, что есть некстати, вотъ онъ, вотъ онъ — русскій Богъ!

Свобода, могущество, величіе — не качества, а награды за пользованіе извѣстными качествами отвѣтственно и кстати. Качества, свойства сами по себѣ, всегда амбивалентны, хороши или плохи, смотря потому въ какую сторону они направлены, какъ использованы и какъ другъ съ другомъ сочетаются. Услужливый дуракъ, напримѣръ, опаснѣе врага. Итакъ, нечего сожалѣть о невозможности почтить русскій языкъ юбилеемъ. Утѣшимъ себя хотя-бы тѣмъ, что думать приблизительно, говорить и поступать некстати въ наши дни вошло повсюду въ привычку и рекомендуется, и даже предписывается, общественнымъ мнѣніемъ, волею народовъ или ихъ вождей; изъ чего слѣдуетъ, что вторая русская религія стала міровою.

О Шаляпинѣ

Съ Шаляпинимъ, съ великимъ Шаляпинимъ я познакомил-ся только въ 1926 году, но любилъ его, предчувствовалъ и да-же зналъ и чувствовалъ гораздо раньше. Полюбилъ его я, ко-гда мнѣ было десять лѣтъ: концертъ Шаляпина въ Кіевѣ былъ первымъ моимъ художественнымъ впечатлѣніемъ, и впечатлѣ-ніемъ такимъ сильнымъ, что оно заставило меня буквально схо-дить съ ума отъ восторга и бредить имъ. И когда — въ пер-вый мой прїездъ въ Парижъ изъ Монте-Карло въ 1923 году — былъ объявленъ «Борисъ Годуновъ» съ Шаляпинимъ по вы-сокимъ цѣнамъ, я, мальчикъ изъ кордебалета Дягилевской труп-пы, нѣсколько дней отказывалъ себѣ во всемъ, чтобы купить билетъ въ 50 франковъ «на Шаляпина». Спектакль былъ от-мѣненъ, — эта отмѣна была для меня настоящимъ горемъ.

Тогда я только любилъ и предчувствовалъ Шаляпина, пред-чувствовалъ его геній и силу — вліяніе могучаго артистиче-скаго генія на всѣхъ артистовъ всего міра, а, значить, и на се-бя...

Вскорѣ я почувствовалъ трепетаніе его крыльевъ въ своей душѣ, и это трепетаніе направляло мои художественныя иска-нія и въ какой-то мѣрѣ предопредѣляло мой путь...

Знать и чувствовать большого, громаднаго и громадно-рус-скаго человѣка-Шаляпина я сталъ задолго до знакомства съ нимъ — по рассказамъ С. П. Дягилева. Дягилевъ много расска-зывалъ о Шаляпинѣ, о своихъ встрѣчахъ и сотрудничествѣ съ великимъ артистомъ. Особенно волнующими были воспомина-нія Дягилева о первомъ выступленіи Шаляпина въ парижской Grand Opéra въ 1908 году, въ первый, оперный, дягилевскій сезонъ въ Европѣ.

Генеральная репетиція «Бориса Годунова» прошла блестя-ще — на слѣдующій день долженъ былъ состояться первый спектакль — премьера шаляпинскаго «Бориса Годунова» въ Ев-ропѣ, и Дягилевъ, послѣ генеральной репетиціи, былъ спокоенъ за судьбу этого спектакля — откровенія русскаго искусства міру.

Вечеромъ неожиданно приходитъ въ отель къ Дягилеву Ша-ляпинъ — громадный, блѣдный, взволнованный Шаляпинъ:



1875—1938.

— Я завтра не смогу пѣть... У меня тракъ. Боюсь... Не звучить...

И дѣйствительно, голосъ у Федора Ивановича, когда онъ произноситъ эти отрывистыя фразы (Шаляпинъ часто говорилъ отрывистыми фразами), не звучитъ. Безсильно садится Шаляпинъ — его трясетъ лихорадка творческаго волненія и скрытаго ожиданія творческаго мига, который будетъ завтра.

Дягилевъ всѣми силами старается успокоить, разговаривать, развеселить Шаляпина, прогнать дѣтскій страхъ большого человека — все напрасно: и тѣло, и душа, мускулы души у Шаляпина ослабли... Весь вечеръ они провели вмѣстѣ съ отелѣ и только подъ конецъ Шаляпинъ сталъ покойнѣе, увѣреннѣе... Пора уходить. Шаляпинъ подымается, прощается съ Дягилевымъ — и тутъ снова безпокойство, страхъ и безсиліе овладѣваютъ имъ, — онъ не можетъ уйти, боится остаться одинъ, безъ поддержки и безъ ограды Дягилева:

— Я останусь у тебя, Сережа, я переночую здѣсь гдѣ-нибудь на стулѣ у тебя.

И Шаляпинъ проводитъ неспокойную, неудобную, тревожно-лихорадочную ночь въ салонѣ Дягилева, примостившись на маленькомъ диванчикѣ, который былъ, по крайней мѣрѣ, въ два раза меньше громаднаго Федора Ивановича.

На слѣдующій день состоялась премьера «Бориса Годунова» — Парижу, а черезъ Парижъ-столицу міра и всему міру, было открыто новое русское чудо — чудо шаляпинскаго «Бориса Годунова», которое до тѣхъ поръ было извѣстно только одной Россіи. Но и Россія не видѣла еще такого «Бориса Годунова»: Дягилевъ для парижской постановки оперы Мусоргскаго извѣздилъ всю крестьянскую Россію, собирая настоящіе русскіе сарафаны, настоящій старій русскій бисеръ и старинныя русскія вышивки и представилъ Парижу подлинную Русь конца XVI-го вѣка; а Шаляпинъ пѣлъ и воплощалъ Бориса Годунова на этой памятной парижской премьерѣ такъ, какъ, можетъ быть, никогда до того...

Спектакль, по словамъ Дягилева, невозможно было описать. Парижъ былъ потрясенъ. Публика въ холодно-нарядной Орѣга переродилась: люди взбирались на кресла, въ изступленіи кричали, стучали, махали платками, плакали въ несдержанно-азиатскомъ, а не въ сдержанно-европейскомъ восторгѣ. Русскій Геній завоевалъ столицу міра и весь міръ. Европа приняла въ себя, впитала Мусоргскаго, его «Бориса Годунова» (который и по сей день

не сходитъ со всѣхъ европейскихъ и американскихъ сценъ) и приняла, впитала въ себя Ш а л я п и н а, его громадное чудо, его громадный гений. Всѣ артисты всего міра — и не одни оперные артисты, и не въ одномъ «Борисъ Годуновъ» — стали подражать Шаляпину, стали учиться у Шаляпина: послѣ «Бориса Годунова» во всемъ мірѣ стали пѣть и играть и н а ч е, не такъ, какъ до Шаляпина. Появилось множество, можетъ быть, слишкомъ большое множество маленькихъ Шаляпиныхъ—нѣтъ, не Шаляпиныхъ, а шальяпиныхъ, которыхъ громадная бездна отдѣляла отъ великаго и е д и н с т в е н н а г о творца-Шаляпина: они усвоили, переняли, одни лучше, другіе хуже, вишіе приемы Шаляпина, его маску (и это было иногда уже много), но не поняли той тайны шальяпинской магіи, которая приводила въ экстазъ зрителя и слушателя — тайны шальяпинскаго творческаго ритма.

Всѣмъ извѣстны анекдоты о скандалахъ Шаляпина на репетиціяхъ и на самыхъ спектакляхъ, о его бурныхъ столкновеніяхъ-стычкахъ съ режиссерами, дирижерами и съ артистами и исполнителями. Не касаясь и не оправдывая этической стороны и вишіей формы этихъ стычекъ, которая меня просто не интересуеъ и кажется мнѣ совершенно неважною, хотя и она говоритъ о натурѣ Шаляпина, я хочу отмѣтить ихъ неизбежность и ихъ творческое начало. Въ Шаляпинѣ была особенная гениальная интуиція, которой онъ покорялся всѣмъ своимъ существомъ, и совершенно особенное чувство ритма, своего непохожаго ни на какое другое чувство ритма, какое есть у понимающаго по своему произведенію великихъ творцовъ Тосканини, такое, какое есть у всякаго настоящаго, большого артиста-творца-исполнителя. Когда Шаляпинъ выходилъ на сцену, это ритмически-творческое начало овладѣвало имъ, онъ весь преобразался и перевоплощался въ свою роль, индивидуально и интуитивно-гениально понимаемую имъ — и для него были творчески-неизбѣжны свои паузы, свои остановки, свои ускоренія и замедленія. Этого не понимали другіе исполнители, не подчинявшіеся художественной диктатурѣ Шаляпина, который не только не былъ самодуромъ-диктаторомъ, но не могъ бороться съ высшей диктатурой и безусловно подчинялся ей — диктатурѣ своего собственнаго генія, который владѣлъ самимъ Шаляпинымъ. Шаляпинъ въ своей интерпретаціи-воплощеніи роли исходилъ изъ подчиненія гениально-творческой интуиціи и темпераменту, маленькіе шальяпины исходили изъ созданій Шаляпина и еще больше — изъ его приемовъ, изъ его ме-

товою, принципиально болѣе всего спорныхъ и часто ложныхъ: с а м о в о л ь н о е, а не творчески-необходимое нарушение художественной воли творца музыкальнаго произведенія ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть оправдано. Пѣвцы, не обладавшіе ни голосомъ, ни гениемъ Шаляпина, стали ему подражать въ самомъ легкомъ — въ жертву драматической выразительности они приносили музыкальную экспрессию и играли драматически — шопоткомъ, восклицаніями, говоркомъ — и тамъ, гдѣ они по музыкальной партитурѣ могли и должны были достигать того же эффекта ч и с т о - м у з ы к а л ь н ы м и с р е д - с т в а м и и подчиненіемъ волѣ композитора.

Триумфальный весенній лондонскій сезонъ 1927-1928 гг. «Русскаго Балета» Дягилева и спектаклей въ Covent Garden' съ Шаляпинымъ. Федоръ Ивановичъ бывалъ постоянно на нашихъ спектакляхъ и послѣ спектаклей мы всѣ — съ Шаляпинымъ и Дягилевымъ — отпралялись ужинать въ Savoy Grill. Дружески весело и безопасно проходили эти интимные ужины: много шутили, много смѣялись, соперничали въ остроуміи и остроуміи, Дягилевъ небрежно-барски игралъ своимъ богатымъ умомъ, скрывая подъ снобистической улыбкой-усмѣшкой юношески-горячее сердце, Шаляпинъ — въ четверть голоса, но съ какою мастерскою экспрессивностью! — пѣлъ — не для публики, а для друзей и для себя, для своего нутра, требовавшаго этого выраженія себя. Засиживались до поздней ночи — и все не хотѣлось уходить, жаль было разставаться съ тѣмъ полнымъ жизнію настроеніемъ, которымъ заражали другъ друга. Первымъ вставалъ Дягилевъ:

— Ну, теперь пора и на покой!

Шаляпинъ потягивался, дышалъ полною грудью, какъ будто съ воздухомъ вбиралъ въ себя потокъ силы и бодрости, и какъ-то особенно полно, сочно, молодо и заразительно звучали его слова:

— Хороша жизнь! А!..

Особенно шаляпинскимъ — какъ его передать? — было это «А!..»

За этими ночными ужинами я часто спрашивалъ Федора Ивановича, которому на слѣдующій день надо было пѣть:

— Какъ вы можете такъ жить? Какъ вы не устаете? Почему не бережете своего голоса? Вѣдь вы завтра выступаете, а сегодня вы и пѣли, и много курили, и пили.

Федоръ Ивановичъ на минуту задумывался:

— Эхъ! Нужно умѣть жить и нужно жить!.. А что есть здѣсь — и онъ сильно ударялъ по своей богатырской груди, — то выйдетъ само собой! Ты этого, понимаешь... какъ это, чортъ?.. этой изюминки не спрячешь... Эта штука сама тебя потянетъ и вывезетъ... Отъ этой штуки никуда не убѣжишь, и она сама за тебя все скажетъ, если есть... Ну, а если нѣтъ, такъ ничего и нѣтъ, и никакими режимами ее не придумаешь и не вытянешь... Вотъ когда ее не будетъ, — тогда крышка, конецъ всему!

И только что весело смѣявшійся, Шаляпинъ вдругъ становился задумчивымъ и грустнымъ, и его свѣтлые глаза (какіе свѣтлые и дѣтскіе были глаза у Шаляпина!) смотрѣли въ далекую-далекую даль, далеко за насъ. О чемъ онъ думалъ? о чемъ тосковалъ?... Въ мгновенныхъ переходахъ Шаляпина отъ безудержности, бурности, бодрой радости къ молчаливой, затаенной и утаиваемой грусти чувствовался внутренній надрывъ, и чувствовалось, что онъ былъ глубокъ и несчастенъ...

Я любилъ Федора Ивановича и съ гордостью могу сказать, что и онъ меня нѣжно любилъ, но не имѣю права называть наши сердечныя отношенія дружбой. Нашей «дружбѣ» мѣшала не столько разница возрастовъ — онъ былъ больше чѣмъ въ два раза старше меня, — сколько мое благоговѣніе съ дѣтскихъ лѣтъ передъ великимъ именемъ гениальнаго артиста — «Шаляпинъ!» Всякій разъ, какъ я встрѣчался съ Федоромъ Ивановичемъ, у меня бывало чувство, что рядомъ съ нимъ я мальчикъ: я робѣлъ, почти всегда молчалъ и только слушалъ его. А Федоръ Ивановичъ любилъ говорить! Говорилъ, онъ выразительно, увлекательно, заражалъ своимъ голосомъ и глубокимъ, подслупнымъ жизненнымъ токомъ, противъ воли вырвавшимся наружу.

Шаляпинъ любилъ вспоминать свои «минушіе дни», и такъ увлекался своими воспоминаніями, что его рассказъ переходилъ въ игру: его актерскій духъ переходилъ и въ жизни въ феноменъ творческаго разряженія, лики Шаляпина-артиста и Шаляпина-человѣка то чередовались, то сливались въ одномъ могучемъ образѣ.

Иногда Шаляпинъ начиналъ мечтать о новой школѣ искусства:

— Слушай, Сергѣй, мы съ тобой должны создать Академію и найти синтезъ новаго искусства...

— Bravo, Федоръ Ивановичъ! Въ этой Академіи вы долж-

ны будете преподавать пластику и танцы — вѣдь вы лучшей танцоръ нашего времени!..

Разговоры объ «Академіи» начинались серьезно и съ увлеченіемъ, но мы никогда не успѣвали дойти до окончательной формы: вулканической темпераментъ Шаляпина увлекалъ его въ фантазію, въ нереальность, и отвлеченный разговоръ переходилъ въ стремительную и изумительную по своей силѣ декламацию Шаляпина.

Два года тому назадъ отъ имени Пушкинскаго Комитета я обратился къ Шаляпину съ просьбой принять участіе въ пушкинскихъ торжествахъ; кромѣ того, я устраивалъ въ пользу пушкинскаго фонда большой концертъ въ Salle Pleyel и твердо надѣялся на драгоценную артистическую помощь Шаляпина.

— Хотѣлъ бы, но не могу, долженъ ѣхать на востокъ, — тамъ уже давно ждутъ меня. Вотъ когда вернусь въ Парижъ, тогда другое дѣло: тогда я дамъ свое пушкинское gala, свой пушкинскій спектакль, на которомъ я буду не пѣть, а играть.

Шаляпинъ вдругъ разгорѣлся:

— Знаете что, Лифарь? Хотите играть вмѣстѣ со мной? Хотите поставить вмѣстѣ со мною пушкинскій спектакль? Хотите, мы вмѣстѣ съ вами сыграемъ «Моцарта и Сальери»?

Я съ ужасомъ слушаю. Шаляпинъ продолжаетъ:

— Вы, Лифарь, будете Моцартомъ, вы хорошій пианистъ. Вы будете сидѣть за роялемъ вотъ въ такой позѣ (Шаляпинъ показываеъ мнѣ позу) и будете говорить:

Представь себѣ... кого бы?

Ну, хоть меня — немного помоложе;

Влюбленнаго — не слишкомъ, а слегка —

Съ красоткой, или съ другомъ, — хоть съ тобой —

Я веселье... Вдругъ: видѣнье гробовое,

Незайный мракъ иль что нибудь такое...

Ну, слушай же.

— Повторите, Лифарь!

Я начинаю умолять Федора Ивановича уволить меня отъ этой роли, говорю, что я совершенно неспособенъ запомнить стихи и главное, прочесть ихъ при публикѣ, что у меня нѣтъ памяти и что я боюсь говорить, что у меня «не звучитъ» голосъ. Шаляпинъ ничего не желаетъ слушать.

— Теперь говорю я. Слушай, Лифарь:

Ты съ этимъ шель ко мнѣ
 И могъ остановиться у трактира
 И слушать скрипача слѣпого! — Боже!
 Ты, Моцартъ, недостоинъ самъ себя.

Шаляпинъ увлекается все больше и больше: онъ уже не видитъ меня, говорить-играеть и за Моцарта, и за Сальери. И по мѣрѣ того, какъ подымалась его интонація, по мѣрѣ того, какъ онъ преображался, замороженный ритмомъ пушкинскихъ стиховъ, по мѣрѣ того, какъ у него напрягались дыханіе и артистическая воля, мнѣ становилось жутко и страшно.

Когда Шаляпинъ дошелъ до послѣднихъ словъ своего монолога —

Какъ пироваль я съ гостемъ ненавистнымъ —
 Быть можетъ, мнилъ я, злѣйшаго врага
 Найду; быть можетъ, злѣйшая обида
 Въ меня съ надменной грянетъ высоты —
 Тогда не пропадешь ты, даръ Изоры.
 И я былъ правъ! и наконецъ нашелъ
 Я моего врага, и новый Гайдень
 Меня восторгамъ дивно упоилъ!
 Теперь — пора! звѣтный даръ любви
 Переходи сегодня въ чашу дружбы.

— у меня волосы поднялись дыбомъ и мурашки забѣгали по тѣлу... Я забылъ, что нахожусь у него на квартирѣ, что передо мною не Шаляпинъ въ гриммѣ Сальери на сценѣ, а Федоръ Ивановичъ, къ которому я пришелъ поговорить по дѣлу: такъ сильна была его художественная воля и ея напряженіе, что она все перевоплощала въ сценическую иллюзію. Я видѣлъ и слышалъ настоящаго Сальери, который уже раздавилъ меня, слѣлалъ меня неживущимъ. И вдругъ... веселый, довольный хоть Федора Ивановича — ха, ха, ха! — разрушаетъ художественную иллюзію и возвращаетъ къ будничной реальности:

— Ну, довольно! Теперь выпьемъ по рюмочкѣ и будемъ разговаривать.

Но мнѣ больше не о чемъ было говорить, и я не находилъ никакихъ словъ — да и нужно ли было говорить? — Я только могъ его обнять и стремительно выбѣжать.

— и Федоръ Ивановичъ тутъ же имитировалъ жестами, какъ я буду идти впереди похоронной процессіи тенцовальной походкой.

Геніальный художникъ и смерть свою выдѣлъ въ художественно-пластическихъ образахъ...

Въ день смерти Шаляпина я видѣлъ во снѣ шальяпинскую «Русалку» — съ нимъ, чернымъ ворономъ-мельникомъ. Это меня взволновало — уже нѣсколько дней, какъ въ Парижѣ говорили о тяжелой болѣзни Шаляпина.

Окончивъ раньше времени свою работу въ Орѣга, я въ три часа былъ у него на квартирѣ. На улицѣ передъ домомъ у меня упало сердце: передъ домомъ стояла толпа журналистовъ, которыхъ не впускали въ квартиру, — — неужели Шаляпинъ умеръ, неужели его нѣтъ уже?.. Протолкавшись, я быстро вбѣжалъ къ нему и понялъ, что «Борисъ» умираетъ, что уже никакими кислородами его не спасти и не отвоевать... Все, вся обстановка говорило о близкой смерти, и его семья мужественно переживала трагическую развязку. До пяти часовъ я оставался съ семьей Шаляпина — уже не съ Шаляпинымъ, а только съ его семьей — и это было жутко и тяжело; въ пять часовъ я долженъ былъ на часъ уѣхать изъ этой квартиры, въ которую съ каждой минутой явственнѣе и явственнѣе входила страшная, черная пустота.

Въ семь часовъ вечера, вернувшись, я уже не засталъ въ живыхъ того, кто воплощать въ себѣ жизнь, искусство, Россію.

Сергій Лифарь.

Что случилось в Европѣ?

Въ наши дни трудно писать обзоръ международнаго положенія за нѣсколько недѣль до того, когда эти строки будутъ прочтены читателями «Совр. Записокъ». Кажется, самая почва колеблется подъ ногами послѣ того, какъ съ карты Европы исчезла вѣковая монархія, пронесшая черезъ среднѣ вѣка традицію «римской имперіи», ставшую символомъ новаго «священнаго» единства Европы. «Германская нація», принявшая на себя историческое наслѣдство, правда, представляется объединенной вновь подъ властью новаго гегемона, претендующаго завтра-же стать гегемономъ Европы, а послѣзавтра, быть можетъ, гегемономъ міра. Но въ какомъ видѣ представляется намъ этотъ наслѣдникъ древней рах готана, стремящійся поставить на его мѣсто — рах germanica! Гитлеръ въ костюмѣ Карла Великаго или, если угодно, германскаго Наполеона!

Вознесенные на эту историческую высоту властителямъ современной Германіи, мы, однако, яснѣ различаемъ среди kaleidosкопа ежедневныхъ событій тѣ основныя черты, которыя проводятъ поистинѣ историческая дата 13 марта 1938 г., между тѣмъ, что было вчера, — и тѣмъ, что можетъ случиться завтра. Чтобы яснѣ представить себѣ открывшіяся сегодня возможности, достаточно сравнить карту Европы до и послѣ Версальскаго договора и сопровождающихъ его. Теперь вошло въ моду критиковать версальскія ошибки, — и самое безсиліе Лиги Націй объясняется отчасти, какъ слѣдствіе тяжелой, непоносимой необходимости защищать эти ошибки, слѣданныя въ пользу побѣдившихъ державъ и ихъ союзниковъ (только не Россіи). Далека отъ меня мысль защищать но что бы то ни стало условія, продиктованныя побѣжденнымъ побѣдителями. Ошибки въ нихъ были, и нѣкоторыя изъ нихъ грозили и еще грозятъ оказаться фатальными. Но, если считать ошибкой главное дѣло Версальскаго договора — освобожденіе и объединеніе національностей, разъединенныхъ предыдущими договорами и войнами, то съ такимъ сужденіемъ согласиться невозможно. Побѣда союзниковъ въ этомъ отношеніи была побѣдой демократіи надъ будущими фашистскими и тоталитарными го-

сударствами; ошибка состояла не въ томъ, что при этомъ были проведены въ жизнь демократическія начала, а скорѣе въ томъ, что они не были проведены достаточно послѣдовательно. Не ошибкой, а трудностью сохраненія вновь установленнаго европейскаго равновѣсія было то, что для его поддержанія оказалось невозможнымъ сохранить на долгое время соотношеніе силъ, которое привело къ созданію этого равновѣсія. Не будемъ разбирать, по какимъ причинамъ это оказалось невозможнымъ, да причины ясны для всякаго. Главною изъ нихъ была та же самая неизмѣнная потребность реванша, которая вооружила Германію противъ послѣдствій наполеоновскихъ завоеваній. Но тогда Германія была необъединена и слаба, и только дала помощь Россіи дала возможность вернуть общія очертанія до-наполеоновскаго стат'ус-кво. Теперь — положеніе иное. Рѣчь идетъ не о новыхъ «освободительныхъ войнахъ» 1813-1814 годовъ, не о возвращеніи даже къ стат'усу кво 1914 года, а объ осуществленіи давнишнихъ мечтаній германскихъ мегаломановъ, — мечтаній, проигранныхъ Вильгельмомъ и вновь поставленныхъ на очередь — въ чрезвычайно расширенныхъ размѣрахъ — авторомъ «Mein Kampf». Вотъ въ этомъ-то отношеніи дробленіе Европы по національностямъ и новое объединеніе ихъ, притомъ неполное, открыли Гитлеру возможность начать борьбу сызнова, въ ожиданіи (и для подготовки) дальнѣйшихъ перспективъ, болѣе широкихъ.

Первая изъ ближайшихъ подготовительныхъ задачъ — созданіе Grossdeutschland — имъ уже осуществлена. Аншлуссъ былъ чрезвычайно облегченъ тѣмъ, что вмѣсто старой австро-венгерской имперіи съ ея внутренней борьбой національностей, съ ея дуализмомъ, триализмомъ, 1849 годовъ и новыми возстаніями — Гитлеръ имѣлъ дѣло съ готовымъ обручкомъ, населеннымъ одной только германскою народностью, — съ другимъ «германскимъ государствомъ», какъ онъ заставилъ признать Шушница по соглашенію, предшествовавшему разгрому. Въ этомъ видѣ можно было связать аншлуссъ съ давними пан-германскими мечтаніями, представить его крупнымъ шагомъ впередъ къ осуществленію національнаго объединенія. Въ этомъ идеальномъ смыслѣ аншлусса заключалась — и заключается — трудность борьбы противъ конершившагося факта: цѣль здѣсь смѣшалась съ методомъ осуществленія. Именно поэтому демократіи, вопреки очевидной собственной выгодѣ, до конца не рѣшались противопоставить аншлуссу альтернативу восстановленія старой династіи.

Однако, идеальная задача аншлусса оказалась затемненной въ рукахъ Гитлера его реальнымъ значеніемъ. За выдѣленіемъ германской части Австріи въ особую государственную единицу, кругомъ нея создались многочисленныя новообразованія: другія національныя группы, выдѣленные или усиленныя Версалемъ, но такъ и не успѣвшія сговориться между собою на случай нападенія общаго противника — ихъ и Версаля. Аннексія Австріи совершенно мѣняетъ ихъ положеніе, поскольку оно было создано «диктатами» Версаля. Послѣ заявленій Гитлера и Геринга объ исключительномъ интересѣ ихъ къ судьбѣ «десяти милліоновъ» нѣмцевъ, живущихъ внѣ Германіи, каждое изъ этихъ сосѣднихъ и ставшихъ теперь сосѣдними государствъ — Польша, Чехословакія, Венгрія, Югославія, а затѣмъ и Италия, и Франція, Швейцарія, Бельгія, должны заняться арифметическимъ подсчетомъ: сколько изъ этихъ десяти милліоновъ, нѣмцевъ, взятыхъ подъ опеку Гитлеромъ, приходится на ихъ долю. Попробуемъ сами сдѣлать этотъ подсчетъ. Только-что совершивъ свой триумфальный въѣздъ въ оккупированную Австрію, Гитлеръ въ Линцѣ опредѣлилъ объединенный германскій народъ цифрою 75 милліоновъ. Сюда вошли, очевидно, 66,9 милл. нѣмцевъ рейха по официальному счету плюсъ 6.760.000 австрийцевъ. Это даетъ нѣсколько преувеличенную цифру 73.660.000. До «десяти милліоновъ», послѣ аннектированныхъ 6,7 милл., не хватаетъ 3,3 милл. Въ круглыхъ цифрахъ это, приблизительно, нѣмецкое населеніе Чехословакіи. Гитлеръ скромнень: онъ пока не включилъ въ число опекаемыхъ десяти милліоновъ ни 2,5 милл. нѣмцевъ Россіи и Польши, ни 1,9 милл., обитающихъ въ Румыніи, Венгріи, Югославіи, Данцигѣ и въ трехъ балтійскихъ государствахъ. Не будемъ уже напоминать о 107 милліонахъ, живущихъ, по нѣмецкимъ исчисленіямъ, за океаномъ — въ Сѣверной и Южной Америкѣ, Азій, Африкѣ и Австраліи. Все это — музыка будущаго: но, что отложено, то еще не потеряно. Въ настоящемъ не могутъ не встревожиться за послѣдствія гитлеровскихъ заботъ, не говоря уже о Чехословакіи, такія государства, какъ упомянутыя выше, связанныя съ Великой Германіей общими границами! Польская печать уже должна была протестовать противъ заявленія Гитлера, что ея «выходъ къ морю» проходитъ по чисто-германской землѣ. Но пока поляки успѣли вознаградить себя, сбивъ замокъ съ заколоченной двери въ Литву. Имъ, очевидно, предлагается въ дальнѣйшемъ получить въ обмѣнъ Мемель. Размѣнъ чужимъ добромъ, какъ видимъ, будетъ производиться чисто понаполеоновски. Чехословакія ограждена договорами о воору-

женной поддержкѣ Франціи и СССР. Эти договоры послѣ эпизода съ Австріей еще разъ (въ который?) формально были подтверждены обоими контрагентами. Что касается Югославіи, передають слухъ о характерномъ намекѣ, сдѣланномъ Гитлеромъ во время послѣдней бесѣды со Стоядиновичемъ. «У васъ вѣдь тоже есть нѣмцы», напомнилъ между прочимъ Гитлеръ. «Какъ же, какъ же», поспѣшили подхватить любезно Стоядиновичъ: «600.000 нѣмцевъ, всѣ они дояльные граждане, приносящіе своимъ трудомъ пользу странѣ». «Такъ почему-же у васъ нѣтъ нѣмецкаго министра въ кабинетѣ», подхлѣпнулъ его Гитлеръ... Исторія умалчиваетъ о томъ, какъ отвѣтилъ Стоядиновичъ и не пожалѣлъ-ли онъ о своихъ экстратурахъ помимо Малой Антанты... Послѣ примѣра съ проглатываніемъ Австріи, быть можетъ, не одна Югославія пожалѣетъ о своихъ перестраховкахъ... А Италіи съ своимъ Трентино, далеко ещѣ не забывающимъ нѣмецкаго языка и плохо говорящимъ по-итальянски? На эту счетъ, какъ увидимъ, у Гитлера — особое мнѣніе: это — мелочь. А Швейцарія, спѣшно укрѣпляющая свои границы и тренирующая своихъ солдатъ, такъ какъ разсчитъ на уваженіе къ ея традиціонному нейтралитету у ней сильно поколебленъ? А самочувствіе Бельгіи послѣ демонстраціи наци въ Эйпенъ? Не говорю уже о Чехословакіи, цѣликомъ охваченной крѣпкими челюстями германскаго чудовища и въ настоящій моментъ переживающей истинно-трагическія минуты...

Опасностью для непосредственныхъ сосѣдей, число которыхъ теперь увеличилось тремя, конечно, не ограничивается перемѣна въ общемъ международномъ положеніи въ Европѣ послѣ 13 марта. Всей ей одинаково грозитъ увеличеніе германской арміи контингентами присоединенной австрійской территоріи. Могутъ-ли при такомъ положеніи великія демократіи Западна считаться незатронутыми германскими событіями? Германская ирридента въ Эльзасѣ-Лотарингіи официально не введена въ счетъ приведенныхъ выше цифръ; но конечно она не забыта. Объ этомъ свидѣлствуютъ подготовительныя мѣропріятія Германіи по созданію «третьяго» фронта на Пиренеяхъ: ея скрытыя и открытыя работы по укрѣпленію этой границы и ея прямое участіе въ послѣднихъ побѣдахъ Франко, Италія, обойденная на Бреннерѣ, но дѣлающая пріятную мину, остается лояльной союзницей въ Испаніи — и получаетъ картъ бланшъ на свою долю въ походѣ противъ стараго равновѣсія Европы въ Средиземномъ морѣ и на берегахъ Африки. Въ этомъ большихъ размѣровъ процессѣ охватыванія де-

мократій обнаруживается примѣненіе той-же тактики, которую въ меньшемъ масштабѣ мы только-что видѣли примѣненной въ Центральной Европѣ. Но тутъ уже сталкиваются не «национальности», а «имперіи». Грядущее завершеніе борьбы за германскую гегемонію не только приметъ въ будущемъ, какъ планировалъ Гитлеръ, но уже приняло въ настоящемъ — мировой размахъ... Условія благоприятны, и далекія перспективы становятся близкими.

Какъ могла на глазахъ у европейской демократіи, восторжествовавшей двадцать лѣтъ тому назадъ надъ болѣе скромной попыткой гегемоніи стараго рейха, — какъ могла сложиться такая поражающая своей грандіозностью — столько же, сколько и «геніальной» простотой — картина перераспределенія силы и безсилія? Объ этомъ написаны томы историческихъ изслѣдованій и изданы десятки томовъ архивныхъ документовъ. Мы здѣсь касаться этого слишкомъ большого вопроса, конечно, не можемъ. Остановимся только на его послѣднемъ этапѣ: на послѣднемъ пятилѣтіи со времени прихода къ власти Гитлера. Подчеркнемъ лишь, что здѣсь мы имѣемъ не какое-либо совершенно новое начало, а лишь безоглядное, грубое, почти маниакальное продолженіе начатаго раньше. Перемѣна здѣсь произошла — и перемѣна огромная; но она заключалась не столько въ постановкѣ новыхъ цѣлей, сколько въ ихъ хронологическомъ распредѣленіи и въ измѣненіи тактики ихъ осуществленія.

Довольная своею побѣдой Европа не сразу замѣтила эту перемѣну темпа внѣшней политики Гитлера и слишкомъ долго продолжала бороться съ новыми приѣмами старыми методами. Она хотѣла защищать европейскій миръ европейскими средствами, а противникъ, рядомъ съ доисторической религіей, наживалъ себѣ и доисторическіе мускулы. Нѣкоторымъ извиненіемъ этого запозданія служило то обстоятельство, что въ самой Германіи демократія пропустила моментъ водворенія Гитлера, какъ какой-то малозначущій и преходящій фактъ. А между тѣмъ, его пропаганда, заряженная динамизмомъ расизма и пангерманизма, уже создала ему, благодаря республиканской свободѣ пропаганды — а также и лишеніямъ массъ въ годы кризиса — прочный фундаментъ миллионныхъ голосовъ. На этой именно основѣ сыграла, на свое горе, ловкая интрига правыхъ, выдвинувшая «фюрера». Его намѣренія уже тогда были извѣстны единомышленникамъ изъ его волюминознаго памфлета «Mein Kampf», распространеннаго въ сотни изданій послѣ его водворенія. Среди безумствъ и фантастическихъ преувеличеній

туть развернуты начала твердой системы, какъ внутренней, такъ и внѣшней политики. Въ безуміи часто бываетъ система... Событія послѣднихъ лѣтъ бросаютъ мрачный ретроспективный свѣтъ на откровенныя и прямолинейныя планы Гитлера. Аннексія Австріи, какъ первая подготовительная мѣра для укрѣпленія какъ расистской идеологіи, такъ и военно-экономическаго базиса гегемоніи, предусматрѣна туть на первой же страницѣ. «Счастливая судьба опредѣлила мнѣ родиться въ Браунау, на границѣ двухъ германскихъ государствъ, воссоединеніе которыхъ для насъ, молодыхъ, является задачей всей нашей жизни... Одинаковая кровь принадлежитъ общей имперіи. Германскій народъ до тѣхъ поръ не имѣетъ нравственнаго права на колониально-политическую дѣятельность, пока онъ не въ состояніи собрать даже собственныхъ сыновъ въ общее государство».

Теперь этотъ вступительный шагъ сдѣланъ, и перспективы «колониально-политической дѣятельности» (увидимъ, какой) открыты. Но для ея успѣха нужны «цѣлесообразныя союзы». Союзниками должны стать Италия и ...Англія. Эти союзы не должны быть только оборонительными: подобные союзы обыкновенно бываютъ слабы. «Общій успѣхъ долженъ служить общими пріобрѣтеніями». Каждый союзъ имѣетъ своей конечной цѣлью — войну. Англія, правда, не хочетъ, чтобы Германія стала міровой державой; но эта задача и не стоитъ сейчасъ на очереди. Не нужно также ставить на очередь и немедленнаго возвращенія всѣхъ нѣмцевъ и всѣхъ отнятыхъ земель: все это — частности, — и они достигаются не рѣчами, а оружіемъ. «Неумолимымъ смертельнымъ врагомъ германскаго народа была и остается Франція — все равно, кто ею править, Бурбоны или якобинцы, наполеониды или буржуазныя демократы». На Францію слагается отвѣтственность и за кровавительство идейнымъ и кровнымъ врагамъ Германіи: евреямъ, масонамъ — вплоть до «негрской крови на Рейнѣ!» Францію надо «изолировать» и съ нею покончить. Но это еще не окончательная цѣль, — какъ и союзы для ея достиженія. Главнѣйшая цѣль — созданіе для германской гегемоніи мѣста на землѣ, достаточнаго для размноженія и прокормленія германскаго народа. «Между численностью и ростомъ народа, и размѣрами и добротностью почвы должно быть здоровое, жизнеспособное, естественное соотношеніе». «Внѣшняя политика народнаго государства должна (этимъ) обезпечить существованіе на этой планетѣ расы, объединенной государствомъ». Чтобы добиться этой цѣли и прекратить «смѣшное» несоотвѣтствіе между стре-

мленіемъ къ мировому могуществу и какими-нибудь пятьюстами тысячь кв. километровъ, на которыхъ сидитъ германская имперія, тогда какъ другіе обладаютъ цѣлыми континентами, — нужно просто возобновить старую германскую традицію, превращенную триста лѣтъ тому назадъ: колонизацію байуваровъ на Восточной маркѣ (т. е. за предѣлами аннектированной Австріи), дальнѣйшее проникновеніе на востокъ отъ Эльбы (т. е. въ балтійскія государства) и продолженіе начатой гогенцоллернами «кристаллизаціи зерна новой имперіи въ брандербургско-прусскомъ государствѣ». Всему этому новому періоду старая *Drang nach Osten* мѣшаетъ Россія. Но Россія—распадающееся государство, вродѣ тѣхъ, которыя были разрушены нашими германцами, начиная съ великаго переселенія народовъ. Русское государство создано не славянами, а германской династіей. Теперь, когда германское ядро изъ Россіи вытравлено окончательно, а «на его мѣстѣ сидитъ еврей» и правитъ коммунизмъ, Россія «созрѣла для крушенія».

Таковъ общій планъ. Въ немъ возможны перемѣны. То, что было далекимъ, можетъ, по обстоятельствамъ времени, стать близкимъ. И когда мы слышимъ изъ устъ Шахта заявленіе въ Вѣнѣ: «мы переживаемъ сейчасъ исключительной важности историческій моментъ: путь германскихъ нибелунговъ на Востокъ открытъ, и заградить его въ будущемъ мы не позволимъ», то невольно приходитъ въ голову мысль, что эта хронологическая перестановка уже совершилась. Франція изолирована... линіей Мажино. Италія получила свою сферу вліянія въ Средиземномъ морѣ и въ Африкѣ. Англія готова подѣлить съ ней эту сферу, и среди англичанъ сильно теченіе, которое не считаетъ себя заинтересованнымъ тѣмъ, что дѣлается въ срединной Европѣ — и тѣмъ менѣе тѣмъ, что будетъ происходить въ Восточной...

Я не буду здѣсь говорить, такъ-ли все это обстоитъ, какъ представляется изъ Берлина. Въ будущемъ перспективы могутъ сложиться иначе. Но, очевидно, многое должно было случиться въ недавнемъ прошломъ за истекшія пять лѣтъ диктатуры Гитлера, чтобы, при сохраненіи общаго плана, закрѣпленнаго рѣзкими чертами въ памфлетѣ Гитлера, порядокъ осуществленія этого плана претерпѣлъ указанныя измѣненія. Мы теперь займемся тѣмъ, что же именно случилось. Вопросъ этотъ сводится къ тому, какое сопротивленіе смогла оказать демократическая Европа завоевательнымъ планамъ Гитлера — по мѣрѣ того, какъ они выяснялись и приводились въ исполненіе.

О «сопротивленіи», конечно, нечего говорить до появления Гитлера у власти. Не только тогда не было сопротивления, но было каліко несомнѣнное стремленіе устранить необходимость сопротивленія и въ будущемъ, построивъ отношенія между побѣдителями и побѣжденными великой войны на такихъ основаніяхъ, при которыхъ, по тогдашней французской формулѣ, можно было-бы вернуть Европѣ прочный миръ и «разоружиться», не рискуя «безопасностью». На этомъ былъ построенъ рядъ плановъ пониженія «репараций» съ Германіи, — планы Дауса и Юнга; для этого въ теченіе всего 1925 года велись переговоры между Брианомъ и Штресеманомъ, закончившіеся договорами въ Локарно. Германія «добровольно» признала окончательной рейнскую границу, и четыре державы обезпечили эту границу противъ несправедливаго нападенія. Упомяну еще о мораторіи Хувера, о досрочной эвакуаціи рейнской зоны, о признаніи равенства вооруженій. Вступленіе Германіи въ Лигу Націй должно было символически закрѣпить возстановленіе ея равноправія съ другими націями: оно и состоялось 10 сентября 1926 г. Конечно, «слухъ Локарно» просуществовалъ недолго, такъ какъ Германія отнюдь не отказывалась отъ дальнѣйшихъ своихъ требованій — по существу тѣхъ же самыхъ, какъ и требованія Гитлера; а Франція вовсе не находила осуществленными условія своей безопасности. Но только водвореніе Гитлера у власти вывело всё эти разногласія наружу и выяснило ихъ непримиримость съ демократическимъ планомъ замиренія Европы въ рамкахъ пакта Лиги Націй.

Въ январѣ 1933 г. Гитлеръ слѣдился канцлеромъ, 5 марта того-же года онъ одержалъ побѣду на выборахъ, а 12 ноября его образъ дѣйствія былъ санкціонированъ плебисцитомъ. Его разрывъ съ примирительными планами европейской демократіи сказался тогда-же: 14 октября 1933 г. Германія вышла изъ Лиги Націй — какъ разъ въ такой моментъ, когда англичане внесли примирительныя предложенія для ограниченія вооруженій и попытались сблизить германскую точку зрѣнія съ французской. Въ маѣ слѣдующаго 1934 г. потерпѣла окончательное фіаско и сама коммиссія разоруженія при Лиге Націй. Руки Германіи были теперь развязаны для осуществленія собственной программы Гитлера.

Какъ реагировала на эти событія демократическая Европа? Англія — и въ особенности Италія — уже тогда склонялись къ признанію, что требованія Гитлера соответствуютъ жизненнымъ потребностямъ гордаго своимъ національнымъ самосознаніемъ народа и становиться на пути ихъ не слѣдуетъ. Фран-

ція, съ своей стороны, рѣшительно не хотѣла признать свободу дѣйствій Германіи на востокѣ Европы и попыталась осуществить въ международномъ порядкѣ «Восточное Локарно». СССР и Польша должны были замѣнить при этомъ ускользнувшую отъ общеевропейскаго сговора Германію. Получивъ отказъ отъ Германіи и Польши участвовать въ общемъ «Восточномъ пактѣ», Франція рѣшила осуществить его безъ нихъ, въ порядкѣ отдѣльныхъ «регіональныхъ» соглашеній, и ввести СССР въ Лигу Націй (см. ниже). Кромѣ того вниманіе Франціи и СССР обратилось на созданіе изъ балтійскихъ государствъ съ Польшей и Румыніей разграничительной зоны противъ нападенія Германіи на Востокъ. Потомъ, при посредствѣ Польши, Германія рѣшила использовать эту идею съ обратной цѣлью. Литвиновъ въ особенности развилъ въ этомъ 1933 г. большую энергію въ Женевѣ и въ Лондонѣ, проведя свое опредѣленіе понятія «нападающей стороны» и заключивъ тамъ-же, въ Лондонѣ, 3-4 июля 1933 г. рядъ договоровъ о ненападеніи съ Эстоніей, Латвіей, Польшей, Румыніей, Малой Антантой, Афганистаномъ и Турціей. 4 апрѣля 1934 г. пакты СССР о ненападеніи съ балтійскими государствами были продлены на десять лѣтъ, тогда какъ Германія прямо отказалась гарантировать неприкосновенность границъ балтійскихъ государствъ, обнаруживъ тѣмъ свои планы на *Randstaaten*. 17-18 сентября 1934 г. СССР былъ принятъ въ Лигу Націй. 2 мая 1935 г. Франція, а 16 мая Чехословакія подписали пактъ о взаимной помощи въ случаѣ нападенія (см. ниже). Малые государства были особенно обезпокоены ослабленіемъ режима Лиги Націй и началомъ прямыхъ сношеній между великими державами. 16 февраля 1934 г. Малая Антанта скрѣпила свои узы образованіемъ «Постояннаго Совѣта», который долженъ былъ выражать ея коллективную волю. Единственная серьезная попытка противодѣйствія всѣмъ этимъ шагамъ къ возстановленію коллективной безопасности въ Европѣ принадлежала Муссолини, который вовлекъ въ нее Макдональда: его идея была — реформировать Лигу Націй въ смыслѣ усиленія роли четырехъ великихъ державъ (Англія, Італія, Германія и Франція), сговорившихся между собою въ «пактъ четырехъ». Однако послѣ многочисленныхъ поправокъ, внесенныхъ Франціей въ проектъ, договоръ, подписанный 16 іюля 1933 г., потерялъ свой боевой характеръ, былъ введенъ въ рамки Лиги Націй и остался безъ примѣненія. Вообще всѣ отдѣльные договоры 1933 и 1934 гг. всегда предусматривали возможность присоединенія къ числу ихъ участниковъ Германію. Тѣмъ самымъ инициатива замиренія Европы оста-

валась въ рукахъ группы державъ, побѣдившихъ въ великой войнѣ.

Такъ начался и 1935-ый годъ. Онъ открылся франко-итальянскимъ соглашеніемъ 7 января въ Римѣ, содержаніе котораго странно звучитъ въ наши дни, но которое, очевидно, отвѣчало тогдашнимъ надеждамъ на сохраненіе до-гитлеровскаго европейскаго равновѣсія. А именно, по этому соглашенію, никакая страна не могла мѣнять одностороннимъ актомъ свои обязательства и Австрія должна была оставаться независимой и нераздѣльной. По недавнему сообщенію Лавалля былъ даже заключенъ датированный 6 января договоръ о военной поддержкѣ, не получившій однако практическаго осуществленія. За этимъ актомъ скоро послѣдовала болѣе широкая попытка умиротворить всю Европу въ духѣ стараго пацифизма: совѣщаніе 3 февраля въ Лондонѣ. Но оно и показало, въ чемъ заключается основное разногласіе между тѣми двумя державами, договоръ между которыми долженъ былъ получить рѣшающее значеніе на международныхъ вѣскахъ. Англія ставила задачей соглашенія достиженіе общаго равноправія въ рамкахъ Лиги Наций, возвращеніе Германіи въ Лигу и общее разоруженіе. Долья утопизма въ этой чисто англійской точкѣ зрѣнія была и тогда очевидна; но слѣды его, вопреки всѣмъ послѣдовавшимъ разочарованіямъ, сохранились и до настоящаго времени. Франція предложила другую, гораздо болѣе реалистическую программу, связанную съ ея предыдущими стремленіями, — хотя по существу оказавшуюся тоже неосуществимой при сопротивленіи Гитлера. Въ дополненіе къ «Западному» Локарно она предлагала создать уже извѣстное намъ «Восточное»: обезпечить юго-восточную границу Германіи съ сосѣдними государствами при помощи «региональныхъ» пактовъ о взаимной поддержкѣ въ случаѣ незаконнаго нападенія. Сюда относилась, кромѣ «Восточнаго», также и «Дунайскій» пактъ. Литвиновъ придумалъ для всей этой комбинаціи общую формулу мира «единого и недѣлимаго» во всѣхъ своихъ частяхъ: формула, которая имѣла успѣхъ и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ объединяла демократическую Европу. Однако, это «единство» и «нераздѣльность» сразу натолкнулись на сепаратные интересы самихъ «локарнскихъ» державъ — на сопротивленіе Германіи и ея спутниковъ — и въ концѣ концовъ не выдержали этого испытанія. Едва прошелъ мѣсяцъ съ недѣлей послѣ Лондонскаго совѣщанія, какъ Гитлеръ преподнесъ его участникамъ свой очередной сюрпризъ. На торжественномъ собраніи въ Мюнхенѣ онъ объявилъ среди овацій о восстановленіи обяза-

тельной воинской повинности. Это было кричащее нарушение Версальскаго договора и римскаго соглашения 7 января. У демократии нашлось еще достаточно инициативы и воли, чтобы созвать въ Италиі-же, въ Стрезѣ, совѣщаніе 11-14 апрѣля, на которомъ составилъ общій фронтъ Англии, Франціи и Италиі противъ Германіи. Франція настояла на немедленномъ разсмотрѣніи своей жалобы на германское нарушеніе въ Женевѣ, и 17 апрѣля вынесено было общее осужденіе односторонняго германскаго акта. Никакой санкціи этого осужденія однако принято не было. Во всякомъ случаѣ, послѣ германской уступки въ Стрезѣ, вынужденной англичанами, Франція сочла себя вправѣ, уже не настаивая на заключеніи актовъ объ общей безопасности или хотя-бы на общей гарантіи восточно-европейскихъ границъ соглашеніемъ локарнскаго типа, отступить на третью позицію и свести проектированный Восточный пактъ къ отдѣльному договору Франціи съ СССР и съ Чехословакіей, упомянутому выше. Но уже 26 апрѣля она натолкнулась на предупрежденіе Англии «не заключать никакихъ соглашеній, которыя-бы обязывали ее вступить въ войну съ Германіей при условіяхъ недопущенныхъ Локарнскимъ договоромъ». Франціи пришлось уступить. Лаваль измѣнилъ первоначальное содержаніе договора, прибавивъ къ нему протоколъ, въ которомъ «немедленная помощь», обѣщанная жертвамъ несправедливаго нападенія, ставилась въ зависимость отъ выполненія условій предварительной процедуры, установленной параграфомъ 15 пакта Лиги Націй.

Это однако не измѣнило намѣреній Германіи. Тотчасъ по заключеніи франко-совѣтскаго пакта 2 мая 1935 г., Гитлеръ занялъ по отношенію къ нему рѣзко наступательную позицію. Уже въ своей рѣчи 31 мая 1935 года онъ заявилъ, что договоры объ *assistance mutuelle* ничѣмъ не отличаются отъ прежнихъ военныхъ союзовъ, что они несовмѣстимы съ духомъ и съ буквой пакта Лиги Націй и что при такихъ условіяхъ усиленіе войскъ съ другой стороны демилитаризованной зоны дѣлаетъ для него «чрезвычайно затруднительнымъ» ея соблюденіе. Кромѣ того меморандумомъ 21 мая Гитлеръ — и послѣ всѣхъ оговорокъ Лавала — продолжалъ утверждать, что франко-совѣтскій пактъ несовмѣстимъ съ Локарнскимъ. Этимъ онъ развязывалъ себѣ руки для будущаго. Тщетно и послѣ этого Франція, Англія, Бельгія и Італія въ теченіе іюня и іюля 1935 г. старались убѣдить Гитлера, что никакого противорѣчія тутъ нѣтъ. 1 августа германскій посланникъ въ Лондонѣ безцеремонно заявилъ сэру Самюэлю Хору, что Германія съ мнѣніемъ четырехъ державъ несогласна и что дальнѣйшіе переговоры безъ

цѣльны. Отказалась она и вообще продолжать переговоры о Восточномъ пактѣ; безуспѣшна была и послѣдняя попытка возобновить разговоръ въ связи съ вопросомъ объ ограниченіи воздушныхъ вооруженій. Германія послѣдовательно рвала всѣ нити, готовясь къ новой «пробѣ силъ». Она и послѣдовала. 27 февраля 1936 г. Франція ратифицировала франко-совѣтскій пактъ, а недѣлю спустя, 7 марта 1936 г. Гитлеръ послалъ германскія войска въ демилитаризованную зону. Локарнскій договоръ былъ изорванъ въ клочки. Въ отвѣтъ на попытки распространить «коллективную безопасность» на восточную Европу была разрушена единственная хрупкая система безопасности Запада, и затронуты жизненные интересы великихъ державъ — Англии, которая признала, что ея граница лежитъ на Рейнѣ, и особенно Франціи, для которой непосредственное сосѣдство Германіи и постройка новыхъ укрѣпленій у самого берега Рейна ставили подѣ вопросъ всю прежнюю систему обороны.

Моментъ былъ рѣшительный, и отъ того или другого исхода его зависѣлъ весь ходъ дальнѣйшей исторіи Европы. По слухамъ, германскіе генералы считали дерзкій шагъ фюрера слишкомъ рискованнымъ и отговаривали отъ него. Всѣ ожидали немедленной мобилизаціи Франціи. Эта мысль и явилась первой среди правящихъ круговъ и вліятельныхъ политическихъ партій Франціи въ первыя минуты послѣ общаго оцѣпкѣнія. Но... затѣмъ эта крайняя мѣра была признана односторонней и оставлена въ сторонѣ. Франція и Бельгія, наиболѣе задѣтые, ограничились требованіемъ немедленнаго удаленія германскихъ войскъ изъ Ренаній; въ случаѣ отказа они грозили репрессивными мѣрами, начиная съ экономическихъ и финансовыхъ санкцій.

Все зависѣло теперь отъ того, какъ поступитъ четвертая локарнская держава, Англія. Откровенный отвѣтъ-резюме Идена находимъ въ его рѣчи 26 марта въ палатѣ общинъ. Признавая недостаточность принятыхъ въ тѣ дни Англіей мѣръ, онъ ставилъ имъ въ заслугу то, что «они дали намъ время вздохнуть; мы посвящали первую фазу нашихъ усилій на то, чтобы сохранить миръ». Вторая фаза должна была состоять въ томъ, чтобы возстановить переговорами съ нарушителемъ довѣріе. И Германію пригласили прежде всего: 1) перенести споръ на рѣшеніе Гаагскаго трибунала (который послѣ размышленія призналъ себя некомпетентнымъ); 2) пріостановитъ постройку укрѣпленій на оккупированной территоріи; 3) согласиться на это промежуточное время на оккупацию зоны въ 20 километровъ иностранными войсками. Отъ Германіи ожидался взаимнѣ

этихъ предложеній встрѣчный «вкладъ» въ процедуру «возстановленія довѣрія». Иденъ призналъ, однако, въ той же рѣчи, что никакого «вклада» Германія не сдѣлала. Но моментъ возбужденія миновалъ; «опасность войны» была снѣбѣнута, — и Иденъ уже заговаривалъ о «возвращеніи Германіи въ общество націй» и о «созданіи болѣе благоприятной атмосферы для разоруженія»: словомъ, онъ оставался самъ и оставлялъ своихъ соотечественниковъ во власти старыхъ иллюзій. Въ ожиданіи, ему все-же пришлось дать успокоительныя обязательства сочленамъ по Локарнскому договору. Въ случаѣ неудачи затѣянныхъ переговоровъ онъ обещалъ прибѣгнуть къ совѣщаніямъ между генеральными штабами, но... «безъ политическихъ обязательствъ».

Впечатлѣніе какъ отъ занятія зоны, такъ и отъ этой безсильной, чисто словесной реакціи на германскую «пробу силъ» было огромное. Это впечатлѣніе дѣйствительно оказалось началомъ крутого поворота въ международныхъ отношеніяхъ Европы; въ наши дни мы особенно ясно видимъ направленіе этого поворота и можемъ оцѣнить всю серьезность его послѣдствій. Сторонѣ нападающей онъ внушилъ увѣренность въ безнаказанности. Сторонѣ обороняющейся онъ приносилъ полное разочарованіе въ собственныхъ силахъ. А сторонамъ, зависящимъ отъ той или другой, оставалось спѣшно сдѣлать выборъ между силой и безсиліемъ, т. е. перестраховаться. Если за первымъ (правда, уже не первымъ) дерзаніемъ послѣдовала нѣкоторая передышка, то это могло объясняться лишь собраніемъ силъ для дальнѣйшаго шага. Сбирать силы — и притомъ спѣшно — приходилось теперь и всѣмъ тѣмъ, кто до сихъ поръ сохранялъ хотя бы крупницу вѣры въ значеніе международныхъ обязательствъ, въ прочность установившагося соотношенія силъ — и его отраженія въ правѣ.

Печальная картина послѣдовавшихъ затѣмъ дипломатическихъ усилій съ цѣлью сдѣлать приличное лицо въ плохой игрѣ свидѣтельствуетъ объ одномъ, существенной важности фактъ. Инициатива, находившаяся до тѣхъ поръ въ рукахъ демократическихъ государствъ-побѣдительницъ, была отнынѣ ими потеряна. Она постепенно переходила къ лагерю недавнихъ побѣжденныхъ, почувствовавшихъ себя достаточно усилившимся, чтобы диктовать Европѣ свою волю. Дипломатическія приличія и колебанія въ политикѣ Англии, принявшей на себя окончательно роль посредника и признанной въ этой роли какъ Германіей, такъ и Франціей, нѣсколько затуманивали до времени неприглядную сторону картины. Но они-же и задерживали

подготовку къ реальному отпору, становившемуся все болѣе и болѣе необходимымъ. Соотношеніе силъ продолжало мѣняться къ невыгодѣ демократіи и къ вѣщему усилению смѣлости ея противниковъ. Непріятно останавливаться на отдѣльных моментахъ этой унижительной картины. Но это необходимо сдѣлать, чтобы найти связь между тѣмъ, что утеряно — и что совершается въ наши дни.

Франція старается сохранить гордый видъ въ проигранной игрѣ. Фланденъ ставитъ Гитлеру рядъ уничтожающихъ вопросовъ. Всѣ тайныя цѣли Германіи здѣсь безошадно разоблачены. Вопросы Фландена не допускаютъ удовлетворительныхъ отвѣтовъ. Будетъ-ли Германія впредь уважать новые договоры — послѣ того какъ нарушила старые? Противъ кого она строить укрѣпленія на Рейнѣ? Что она разумѣетъ подъ своими «жизненными интересами»? За чей счетъ она хочетъ получить колоніи и земли для переселенія? Не готовитъ-ли Гитлеръ войну, отвергая общее соглашеніе о взаимной поддержкѣ противъ нападающаго? Къ сожалѣнію, эти обличительныя рѣчи содержались не въ дипломатическомъ документѣ, а въ предвыборномъ выступленіи Фландена 29 марта 1936 года въ Vezelay. Чтобы првратить ихъ въ приемлемую для Германіи дипломатическую форму, пришлось обратиться къ посредничеству Англии. Но раньше чѣмъ Англія успѣла что-либо предпринять, германская дипломатія категорически отвергла ея приступъ къ «возстановленію довѣрія» и предложила 31 марта свой собственный «планъ мира». Планъ былъ неосуществимъ и неприемлемъ; но онъ отлично выражалъ основное намѣреніе Германіи — зачеркнуть все прошлое и навязать Европѣ свои взгляды на будущее. Конечно, никакихъ предложеній Англии о «спримирительномъ жестѣ» здѣсь принято не было.

Франція сочла тогда нужнымъ отвѣтить своимъ контрагентамъ планомъ общаго мира. Оглашенный 6 апрѣля, онъ исходилъ, наоборотъ, изъ признанія наличныхъ договоровъ и территориальныхъ границъ, устанавливалъ законный способъ измѣненія тѣхъ и другихъ и противопоставлялъ германскимъ перспективамъ мира традиціонныя требованія демократическаго пацифизма «въ рамкахъ Лиги Націй».

Было ясно, что подобный обмѣнъ принципиально расходящихся между собой точекъ зрѣнія ни къ чему, кромѣ проволокки, вести не можетъ — и что вообще дальнѣйшіе переговоры бесполезны. 10 апрѣля Локарнскія державы принуждены были признать, что для «возстановленія довѣрія» Германія не сдѣлала ничего. Тѣмъ не менѣе, они и теперь рѣшили «исто-

шить всѣ средства примиренія» и для этого поручили британскому представителю запросить у Германіи «выясненія нѣкоторыхъ пунктовъ, затронутыхъ во французскомъ меморандумѣ». Иденъ составилъ на этомъ основаніи свой «вопросникъ» въ духѣ Фландена и 6 мая 1936 г. препроводилъ его Германіи. Уже первый вопросъ заранѣе показывалъ, что отвѣта Германіи ждать бесполезно. «Можетъ ли Германія вообще заключить и скрепленіе договоровъ», перефразировалъ Иденъ Фландена. А затѣмъ слѣдовало: признаетъ-ли Германія территориальный статутъ Европы? Включаетъ-ли она въ свое предложеніе о заключеніи пактовъ о ненападеніи съ государствами, расположенными на сѣверо-восточной и на юго-восточной границѣ Германіи, также и СССР, Латвію и Эстонію? И т. д.

Отвѣта, разумѣется, не послѣдовало. Теперь уже и съ Англіей Гитлеръ не церемонился. И послѣ всего этого Локарнскія державы все еще не угомонились. 23 іюля 1936 г. въ Лондонѣ они рѣшили еще разъ «войти въ сношенія съ Германіей и Италіей, чтобы получить ихъ согласіе» на съездъ съ нѣлью замѣнить нарушенный Локарнскій договоръ — новымъ. На этотъ разъ Германія и Італія согласились (31 іюня), но подъ условіемъ «тщательной подготовки» съезда. Дельбось приѣтствовало въ палатѣ это условное — и никогда не осуществленное — согласіе, чтобы избѣжать «раздѣленія Европы на противоположные блоки и помѣшать Европѣ скатиться по этой наклонной плоскости». Задача момента была правильно и откровенно формулирована, но формулировка запоздала. «Блоки» уже были налицо, и «скатываніе» происходило. Шансы заключенія новаго Локарнскаго договора при такомъ положеніи все уменьшались. Параллельно съ мирными разговорами и болѣе или менѣе краснорѣчивыми рѣчами происходили событія, которыя возвращали разговаривающихъ къ суровой дѣйствительности и дѣлали возстановленіе стараго нарушеннаго равновѣсія въ демократическихъ рамкахъ все болѣе и болѣе неосуществимымъ.

Первымъ рѣшающимъ фактомъ оказалась здѣсь переиѣна позиціи Італіи. Имперіалистская война въ Абиссиніи слѣдила Італію соперницей Англіи въ Средиземномъ морѣ. Англія съ своей стороны не могла отнестись пассивно къ попыткѣ перевязать въ самомъ чувствительномъ мѣстѣ артерію ея мировыхъ сообщеній. Она на этотъ разъ сбросила флегму и сразу перешла отъ разговоровъ къ дѣйствіямъ, переведя втайнѣ свой флотъ къ Египту, — причемъ оказалось, что ея итальянскій соперникъ гораздо сильнѣе, а сама она слабѣе, чѣмъ предпо-

лагалось. Англія тогда побудила и Францію къ одностороннему обязательству поддержать ее въ Средиземномъ морѣ въ случаѣ осложненій. Затѣмъ Англія попыталась оживить и мобилизовать Лигу Націй для того, чтобы получить формальное осужденіе Италіи и примѣнить къ ней экономическія «санкціи» согласно ковенанту Лиги. Осужденіе было вынесено Совѣтомъ Лиги 7 октября 1935 г. Но примѣненіе «санкцій» нагнулось на затрудненія. Примирительное предложеніе сэра Семюэля Хора-Лавала (9-10 декабря 1935 г.) не было принято, и хотя Франція старалась сохранить при этомъ только-что приобретенную «дружбу» Италіи, но было уже поздно. Раздраженная попыткой примѣненія къ ней «санкцій», Италія уже переходила въ другой фарватеръ. 12 июля 1936 г. она заявила тремъ остальнымъ Локарнскимъ державамъ (Британіи, Франціи и Бельгіи), что не приметъ участія въ ихъ предварительныхъ совѣщаніяхъ въ Брюсселѣ и что слѣдуетъ пригласить туда и Германію. Свиданіе состоялось безъ Италіи, какъ упомянуто выше, 23 июля въ Лондонѣ. Послѣ этого уже не было ничего неожиданнаго въ томъ, что Муссолини заговорилъ о прочной «оси», проведенной между Берлиномъ и Римомъ. Задѣвая съ запада и юга Чехословакію, эта «ось» проходила черезъ Австрію и Югославію. Приспособленіе обѣихъ странъ къ новому положенію становилось необходимымъ.

Уже весной 1936 г. Австрія, Венгрія и Италія вошли въ болѣе тѣсныя отношенія, подписавъ дополнительные протоколы къ прежнимъ такъ наз. «римскимъ». Но тутъ явился вопросъ, какъ подѣлать вліяніе на Австрію между двумя участниками «оси», Италіей и Германіей. Мы видѣли, что 6 января 1935 г. Италія была готова заключить съ Франціей военное соглашеніе для защиты Австріи отъ покушеній на ея независимость. Лѣтомъ 1936 г. положеніе деремѣнилось въ пользу Германіи. 11 июля этого года состоялось австро-германское соглашеніе, по которому Германія, хотя и отказалась отъ аншлусса и отъ пропаганды наци въ Австріи, но получила важное принципиальное признаніе, что въ своей политикѣ и въ своихъ отношеніяхъ къ рейху Австрія признаетъ себя «германскимъ государствомъ». Въ наши дни стало ясно, какое практическое значеніе получило это признаніе для политики Гитлера.

Зато въ сферѣ Средиземныхъ отношеній Италія съ своей стороны получила свободу дѣйствій. Она принялась теперь искать себѣ союзниковъ среди государствъ, примыкающихъ къ этой сферѣ ея вліянія. Въ частности, она рѣшила отвлечь Чехословакію изъ орбиты Малой Антанты и сблизить ее съ Бол-

гаріей. Муссолини окончательно убѣдился въ невозможности сыграть на югославскихъ сепаратизмахъ и отторгнуть хорватовъ отъ сербовъ. Онъ готовъ быть смотрѣть теперь на Адриатическое море не какъ на «барьеръ», а какъ на *trait d'union*, — не какъ *mare nostrum*, а какъ общее море, куда югославскія суда должны имѣть свободный выходъ. Не только онъ соглашался признать Далматскій берегъ окончательно за Югославіей и допустить его укрѣпленіе, но даже предлагалъ поѣлѣться территоріей Албаніи (ея внутренней частью, къ Охридскому озеру). Деликатнымъ вопросомъ оставалось, какъ примирить претензіи венгровъ на отошедшую отъ нихъ къ Югославіи территорію. Но аппетиты Венгріи при этой комбинаціи, повидному, имѣлось въ виду отвлечь въ сторону Карпатской Руси.

Переданная свою отдѣльную «ось» черезъ Бѣлградъ въ Софію и Анкару, Италия содѣйствовала и улучшенію отношеній между Югославіей и Болгаріей. Здѣсь также старая международная ненависть, питавшаяся спорами изъ-за Македоніи, должна была уступить мѣсто династической дружбѣ. Жертвуя Македоніей, Болгарія вознаграждалась при этомъ надеждами на выходъ къ Эгейскому морю — для чего приходилось нѣсколько потрѣбовать ея отношеніе къ Балканской Антантѣ. Къ плодамъ этихъ усилій мы еще вернемся.

Переходъ отдѣльныхъ членовъ Малой Антанты къ другой ориентации сказанъ и въ Румыніи, гдѣ король въ самой рѣзкой формѣ отставилъ франкофильскаго министра Титулеско и замѣнилъ его Антонеско. Это былъ уже несомнѣнный переходъ къ тому, что произошло въ наши дни. Какъ извѣстно, фашистскія настроенія чрезвычайно распространены въ Румыніи и достигаютъ крайняго выраженія въ ея правыхъ партіяхъ. Извѣстный вождь одной изъ этихъ партій — самой крайней — Колреану уже въ концѣ ноября 1936 г. подалъ королю мемуаръ объ измѣненіи вѣтшей политики Румыніи.

Эти перемѣны не могли не отразиться на внутреннихъ отношеніяхъ между членами Малой Антанты. На очередной сессіи въ Братиславѣ Малая Антанта подтвердила свою вѣрность Лигѣ Наций, но въ своемъ экспозе 22 октября 1936 г. министръ Крофта принужденъ былъ заявить, «что организація мира на Западѣ недостаточна сама по себѣ, чтобы гарантировать миръ въ Европѣ, ибо частичное рѣшеніе этого вопроса никимъ образомъ не разрѣшитъ проблему общей европейской безопасности. Но такъ какъ нѣтъ увѣренности, чтобы въ близкомъ будущемъ возможно было достигнуть общаго урегулированія

европейской безопасности, то государства Малой Антанты рѣшили сдѣлать самостоятельный шагъ къ организацин безопасности, соединивъ тѣсные и производительныя свои силы и опредѣливъ точныя взаимныя обязанности на случай угрозы къ безопасности». Обратной стороной этого болѣе тѣснаго сговора было признаніе въ томъ же экспозе Крофты, что только что принятія рѣшенія «не мѣшаютъ каждому изъ членовъ Малой Антанты поддерживать добрыя отношенія съ государствами, съ которыми имъ удалось установить таковыя». Этимъ постановленіемъ санкціонировалось сближеніе Югославин съ Италіей и Болгаріей, а Румыніи — въ концѣ концовъ — съ Германіей. Сама Чехословакія также нашла себѣ союзника за предѣлами Малой Антанты, — заключивъ договоръ съ СССР, тогда какъ остальные члены Антанты относились къ этому опасному союзнику или принципиально отрицательно, какъ Югославія, или двусмысленно, какъ Румынія, перешедшая также къ отрицанію послѣ перемѣны своей ориентацин изъ франкофильской на германофильскую.

Труднѣе установить моментъ такого-же сдвига въ политикѣ Польши; но самый фактъ сдвига несомнѣненъ. Союзница Франціи, ей главнымъ образомъ обязанная своимъ независимымъ существованіемъ въ качествѣ объединеннаго національнаго государства, Польша, въ роли новой «великой державы», ведетъ свою собственную независимую политику. Опасаясь двухъ своихъ сильныхъ сосѣдей, она старается сохранить за собой свободу выбора. Ея границы искусственны и угрожаемы съ противоположныхъ сторонъ. Но главное ея вниманіе, естественно, обращено на очередную опасность. Наибольшей опасностью для Польши былъ-бы союзъ СССР и Германіи. Но эта опасность постепенно уменьшалась, по мѣрѣ того какъ выяснялось враждебное отношеніе Германіи къ СССР, а Франція возвращалась къ старой франко-русской политикѣ. Загѣмъ на очередь стала необходимость охранить наиболее угрожаемую границу: таковой была несомнѣнно граница съ Германіей. Договоръ 26 января 1934 года отсрочилъ на десять лѣтъ насильственное разрѣшеніе этого спора Германіей. Но онъ не могъ измѣнить претензій Германіи, особенно опасныхъ при Гитлерѣ, на возвращеніе польскаго корридора. И Польша предпочла предупредить неизбежный грядущій конфликтъ постепеннымъ переходомъ на сторону болѣе сильнаго сосѣда. Уже занятіе Виленской области въ 1920 г. прервало сосѣдство СССР съ Литвой, усиливъ тѣмъ самымъ географическое положеніе Германіи. Отрицательное отношеніе Польши къ проекту

«Восточнаго пакта» явилось доказательствомъ сближенія ея съ политикой Гитлера. Союзъ Франціи съ СССР и съ Чехословакїей еще болѣе укрѣпилъ противоположную ориентацію Польши и облегчилъ для нея переговоры съ Германїей о будущихъ обмѣнахъ территорій. На очередь сталъ затѣмъ вопросъ объ опредѣленіи ориентаціи того восточнаго барьера между СССР и центральной Европой, который могли бы образовать лимитрофныя балтійскія государства. — съ продолженіемъ на сѣверъ до Финляндіи, на югъ до Румыніи включительно. Мы видѣли, что смыслъ созданія этого барьера первоначально усматривался въ огражденіи его частей отъ опасности со стороны Германіи. Претензіи Гитлера на приобрѣтеніе этихъ *Randstaaten* должны были подчеркнуть анти-германскую тенденцію барьера. Но мы видимъ, напротивъ, сперва колебанія предполагаемыхъ участниковъ между восточной и западной ориентаціей, а затѣмъ и поворотъ, пока еще нерѣшительный, въ сторону западной. Раньше попытки Польши возглавить барьеръ служили скорѣе препятствіемъ къ его образованію. Теперь, повидимому, положеніе мѣняется. Балтійскія государства, Латвія и Эстонія, только что собиравшіяся въ 1936 г. войти въ орбиту СССР и даже сговаривавшіяся черезъ военные штабы вести общую оборонительную политику противъ Германіи, начали, по почину Литвы, перестраховываться въ сторону Германіи. Правда, визитъ Хольсти въ Москву имѣлъ, повидимому, цѣлью выровнять линію нейтралитета будущаго барьера. Но отмѣченная перемена настроенія едва-ли случайна.

При этомъ перенѣ отходовъ отдѣльныхъ государствъ — уже въ 1936 г. — отъ системы охраны «коллективной безопасности» Европы при содѣйствіи Лиги Націй къ системѣ перестраховокъ на случай индивидуальной опасности необходимо упомянуть и о перемѣнѣ позиціи государствъ, пользовавшихся до сихъ поръ непререкаемымъ нейтралитетомъ. 14 октября 1936 года бельгійскій король выступилъ съ заявленіемъ: «наша задача не въ томъ, чтобы готовить болѣе или менѣе побѣдоносную борьбу, а въ томъ, чтобы удалить опасность войны съ нашей территоріи. Мы должны вести политику всецѣло и исключительно бельгійскую и поставить себя внѣ конфликтовъ сосѣдей». Это было, другими словами, открытое возвращеніе отъ политики союзовъ къ политикѣ нейтралитета. Идеиное впечатлѣніе, произведенное этимъ заявленіемъ, было огромно. Видѣ здѣсь нарушалась традиція, освященная участіемъ Бельгій въ послѣдней войнѣ. Реально ея отходъ обнажалъ значительную часть французской границы. Бельгійцы укрѣпляли

Антверпенъ и подходъ съ моря, открывая путь германцамъ и перестраховываясь у Англии, которая зато гарантировала имъ защиту берега. Уходъ Бельгии, участницы Локарно, наносилъ окончательный ударъ и прежней Локарнской конвенции. Состоявшаяся переиѣна быда притомъ открыто мотивирована безсиліемъ Франціи, вслѣдствіе ея внутренней политики «народнаго фронта», и заключеніемъ ею пакта съ СССР.

Вопросъ о нейтралитетѣ сталъ на очередь также и для другихъ государствъ, угрожаемыхъ крушеніемъ прежняго европейскаго равновѣсія. Въ теченіе всего слѣдующаго года скандинавскія государства, Голландія, даже Швейцарія рѣшили проблему, какимъ образомъ можно остаться членами Лиги Наций, но не нести, въ случаѣ европейскаго конфликта, налагаемыхъ пактомъ обязанностей. Швейцарія поставила также вопросъ о вооруженной защитѣ границъ своей территоріи и начала слѣшно проводить военныя реформы.

Безпокойство въ Европѣ еще усилилось, когда, рядомъ съ угрозой войны, висящей въ воздухѣ, началась реальная война въ Испаніи. Вначалѣ можно было думать, что это — просто междоусобная война, вызванная борьбой крайнихъ правыхъ и крайнихъ лѣвыхъ партій, и что ее можно будетъ локализовать. Но уже къ концу 1936 г. стало выясняться, что дѣло гораздо сложнѣе, ибо вслѣдствіе поддержки извнѣ съ той и съ другой стороны война приняла характеръ скрытаго международнаго конфликта. Поддержка возставшимъ противъ лѣваго правительства монархистамъ оказывалась все откровеннѣе со стороны Германіи и Италіи, а это явно грозило морскимъ сношеніямъ Франціи и Англии. Первая опасалась за свободу сношеній со своими африканскими колоніями; вторая, уже испытывавшая недостаточность своихъ морскихъ силъ во время абиссинской войны, слѣдила съ возростающимъ безпокойствомъ за попытками возвести новыя укрѣпленія на ея пути къ Суэцкому каналу. Такимъ образомъ, и восточная, и западная половина Средиземнаго моря, Гибралтаръ и Суэць оказались одинаково подъ угрозой.

Какъ всегда бываетъ, когда затронуты жизненные интересы британскаго льва, Англія первая покончила съ политикой выжиданія, съ традиционнымъ wait and see. Характерно и то, что она вышла изъ состоянія пассивности одновременно двумя противоположными путями: путемъ мирнаго стовора съ противникомъ и путемъ военной угрозы. Не ново было и то, что она слѣлала активныя шаги, никого не спросясь и не предувѣдомивъ даже своего французскаго партнера. Когда въ 1935 г.

она почувствовала угрозу со стороны Германии, она заключила 18 июня 1935 г. морское соглашение съ нею, уступивъ Германіи право поднять тоннажъ флота на Сѣверномъ морѣ до 35% англійскаго тоннажа. Теперь, въ самомъ концѣ 1936 г., Англія приняла предложеніе Муссолини сговориться по средиземноморскимъ вопросамъ и 2 января 1936 г. заключила «джентльменское» соглашеніе съ Италіей. Отказавшись въ данномъ случаѣ установить предѣльный тоннажъ англійскаго флота въ Средиземномъ морѣ и отложивъ другой спорный вопросъ — о признаніи аннексіи Абиссиніи — до рѣшенія Лиги Націй, Англія тѣмъ не менѣе согласилась признать, что Средиземное море имѣетъ для обѣихъ странъ одинаковое жизненное значеніе и что входъ и выходъ въ него должны быть свободны; что устройство морскихъ или авіаціонныхъ базъ на Балеарскихъ островахъ, въ испанскомъ Марокко и на побережьи Испаніи не должно быть допущено и что сферы вліянія на Красномъ морѣ должны быть равномерно распределены: восточный берегъ (Геджасъ и Іемень) въ исключительно англійское вліяніе; западный — въ итальянское, по соглашенію съ Франціей. «Джентльменскаго» въ этомъ сговорѣ оказалось въ послѣдствіи очень немного. Какъ бы предвидя это, Англія прибѣгла и къ другой мѣрѣ. 16 февраля 1937 года была опубликована «Бѣлая книга», въ которой, исходя изъ того, что британскія вооруженія запоздали сравнительно съ изменившимся положеніемъ въ Европѣ, набрасывался широкій планъ новаго строительства во флотѣ, авіаціи и «модернизации стратегическихъ пунктовъ». Для этого намѣчалась сумма въ полтора миллиарда на пять лѣтъ. Изъ нихъ кредитъ въ 400 милл. фунтовъ былъ на слѣдующій же день внесенъ въ палату общинъ — и, несмотря на рѣзкія возраженія оппозиціи, былъ принятъ большинствомъ 325 противъ 145 голосовъ. Невиль Чемберленъ признавалъ, что мѣра эта не имѣетъ прецедента въ мирное время; Болдвинъ въ преніяхъ подчеркнул, что Англія не отказывается отъ идеала Лиги Націй, но для укрѣпленія этой же идеи желаетъ располагать достаточной силой.

Такой языкъ былъ понятіе Гитлеру, нежели лондонскіе проекты 3 января 1935 г. И въ годовщину захвата власти, 30 января 1937 года, фюреръ проинвесь въ рейхстагѣ рѣчь, которая поставила точку надъ достижениями, уже полученными, — и тѣмъ, что остается сдѣлать. Германія теперь добилась равноправія — и никогда не подпишетъ договора вродѣ Версальскаго. Но, беря назадъ вынужденную подпись подъ договоромъ, которымъ признавалась виновность Германіи за войну, онъ все

же заявляетъ, что «время такъ называемыхъ сюрпризовъ (faits accomplis) закончено», и обѣщаетъ въ будущемъ «лояльно» сотрудничать съ европейскими державами. Онъ гарантируетъ Бельгii и Голландiи неприкосновенность ихъ территорiй, не имѣетъ спорныхъ вопросовъ съ Францiей, но отказывается отъ предложенiя Идена работать съ Лигой Нацiй и утверждаетъ, что «расколъ не только Европы, но и всего мiра на двѣ половины есть совершившiйся фактъ». Расколъ, помимо версальскаго дѣленiя на побѣдителей и побѣжденных, вызванъ «москвскимъ большевизмомъ». Гитлеръ отказывается отъ всякаго ограниченiя вооруженiй: сама Европа не согласилась на его предложенiе свести армiи къ 300.000. Гитлеръ не договариваетъ, что онъ поднялъ требованiе съ 100.000 дозволенныхъ Версалемъ до 300, потомъ 400, далѣе до 600 и наконецъ довелъ германскую армiю до цифры болѣе миллiона. Вопреки Идену, Германiя не изолирована: Гитлеръ перечисляетъ всѣ свои успѣхи, о которыхъ сказано выше: Польша, Австрiя, Италiя, Венгрия, Югославiя, Болгарiя, Греция, Португалiя, Испанiя: все это составляетъ дружественное окруженiе Германiи. Онъ напоминаетъ также о германскихъ «меньшинствахъ въ чужихъ странахъ», обладающихъ национальнымъ сознаниемъ. Кромѣ того, онъ ставитъ на очередь требованiе колонiй для такой густо населенной страны, какъ Германiя. Словомъ, здѣсь болѣе или менѣе откровенно развита вся программа Гитлера. Этого тогда не замѣтили, обративъ главное вниманiе на обѣщанiе, что «болше не будетъ сюрпризовъ».

На рѣчь Гитлера косвенно отвѣчалъ Иденъ въ палатѣ общинъ 3 февраля. Онъ напомнилъ, что по основному вопросу устройства мирныхъ отношенiй въ Европѣ — о судьбѣ Локарнскаго пакта — Германiя, Италiя и Бельгiя не дали никакого отвѣта на сообщенiе 23 iюля и на обращенiя британскаго правительства 5 и 19 ноября 1935 г. Такимъ образомъ, остался открытымъ вопросъ о замѣнѣ Локарнскаго пакта, послѣ его разрушенiя Германiей, какимъ-либо другимъ. 12 марта этого года подалъ отвѣтъ послѣдовалъ со стороны Германiи, 13 — со стороны Италiи. Бельгiя послѣ своей новой постановки вопроса о нейтралитетѣ уже не могла считаться Локарнской державой. Германiя, въ сущности, также не была заинтересована въ гарантiи рейнской границы, послѣ того какъ противъ линiи Мажино она успѣла построить, по другую сторону Рейна, свою собственную оборонительную линiю («линиа Зигфрида»). Это достаточно обезпечивало ее отъ внезапнаго нападенiя Францiи. Поэтому и предложенiя ея носили теперь совершенно иной ха-

раκτήрь. Она готова была теперь допустить существованіе франко-совѣтскаго пакта — подъ условіемъ его измѣненія, — но хотѣла развязать себѣ руки на востокъ, устранивъ «автоматическое» обязательство взаимной помощи въ случаѣ нападенія третьяго (т. е. самой Германіи) на одного изъ союзниковъ Франціи. Гарантію рейнской границы Германія предлагала возложить на Англію и Италію; этимъ она ставила вопросъ о помощи въ зависимость отъ рѣшенія своего союзника. Создавалась при этомъ европейская директорія четырехъ державъ, т. е. оживлялся не ратифицированный Франціей муссолиниевскій «пактъ четырехъ». Это было черезчуръ уже прозрачно; предложеніе Германіи повело лишь къ тому, что вопросъ о переустройствѣ Европы былъ окончательно отдѣленъ отъ всякой связи съ Лигой Націй и съ проектами коллективной безопасности. Между политикой мира на западѣ и на востокѣ Европы прошла отнынѣ болѣе явственная, чѣмъ прежде, граница.

Похороны Локарно были, кажется, послѣднимъ *coup de grâse*, нанесеннымъ Версальской системѣ. Ея разложеніе наглядно отразилось въ глубокомъ паденіи престижа Лиги Націй. Ея великолѣпный дворецъ въ Женевѣ былъ какъ разъ достроенъ къ тому времени, когда засѣданія Совѣта и пленума Лиги стали особенно безувѣтны, ибо ея членамъ пришлось тщательно избѣгать обсужденія наиболее жгучихъ вопросовъ. 12 декабря 1937 г. Муссолини торжественно позвѣстилъ міру съ своего балкона *Palazzo di Venezia* объ уходѣ Италіи изъ Лиги — послѣ полуторогодичнаго фактическаго отсутствія. Изъ великихъ державъ въ Лигѣ оставались только Англія, Франція и СССР. Вопросъ о реформѣ Лиги — главнымъ образомъ изъ-за параграфа 16, — единственнаго, который давалъ право Лигѣ не только говорить, но и дѣйствовать, получилъ въ 1937 году особенную остроту. Январская сессія Совѣта ограничилась компромиссными рѣшеніями вопросовъ о Данцигѣ и объ Александреттскомъ санджакѣ, причемъ въ обоихъ случаяхъ пошла по теченію. Гарантія международнаго статута города Данцига и правъ верховнаго комиссара Лиги склонилась передъ претензіями сената «вольнаго города», готовившаго его фактическое подчиненіе Германіи. Турція получила независимыя права въ санджакѣ, хотя формально сохранена была его зависимость отъ Сиріи и отъ французскаго мандата. Майская сессія Совѣта и пленума Лиги уклонилась отъ рѣшенія острыхъ вопросовъ объ исключеніи абиссинской делегаціи изъ Лиги и о положеніи въ Испаніи; зато былъ торжественно принятъ Египетъ. Всѣ болѣе сложные вопросы стали рѣшаться, помимо Лиги, въ спеціаль-

ныхъ комиссіяхъ и конференціяхъ, причемъ и тутъ сказалось безсиліе руководящихъ державъ разрѣшить поставленные вопросы. Пресловутый лондонскій комитетъ о невмѣшательствѣ въ теченіе болѣе года безпомощно тащился въ хвостъ за развитіемъ внутренней испанской борьбы, тщетно добиваясь возвращенія иностранныхъ «добровольцевъ» — и игнорируя участіе на сторонѣ Франко регулярныхъ итальянскихъ и германскихъ войскъ. При этомъ Германія категорически заявляла, что не допуститъ образованія въ Испаніи «коммунистическаго» правительства, а Муссолини открыто восторгался успѣхами итальянскихъ солдатъ. Въ концѣ марта 1937 г. «Таймсъ» исчислялъ до 40.000 нѣмцевъ и 15.000 итальянцевъ въ составѣ 60.000 иностранцевъ, боровшихся на сторонѣ Франко, причемъ советскихъ бойцовъ и экспертовъ насчиталъ лишь около 400. Установленіе морского контроля береговъ Испаніи не помѣшало ряду нападеній на британскія и французскія суда, а свѣдѣнія о высадкахъ нѣмцевъ въ испанскомъ Марокко вызвали большую тревогу въ Англии и Франціи. Вопросъ о возраставшей небезопасности Средиземнаго моря наконецъ заставилъ Англію, а вслѣдъ за нею и Францію, проявить особую энергію. По ихъ инициативѣ на 10 сентября была созвана конференція въ швейцарскомъ городкѣ Нюнѣ — опять внѣ Лиги Націй — для обсужденія мѣръ противъ «пиратства» подводныхъ лодокъ и аэроплановъ «неизвѣстной національности». Германія и Италия отказались въ ней участвовать, но это не остановило нюнской демонстраціи независимости политики двухъ демократическихъ державъ. Съ исключительной быстротой, въ пять дней, было обсуждено и подписано англо-французское предложеніе, причемъ вмѣсто предполагаемаго раздѣла Средиземнаго моря на зоны было рѣшено, что Англія и Франція однѣ установятъ надзоръ за всѣмъ Средиземнымъ моремъ, тогда какъ другія подписавшія договоръ государства должны слѣдить за безопасностью лишь въ собственныхъ территориальныхъ водахъ. Послѣ колебаній и бесполезной торговли объ уступкахъ должна была присоединиться къ Нюнскому договору и Италия.

Отголоски этого временнаго подъема настроенія сказались и на точчасъ затѣмъ открывшейся сессіи Лиги Націй. Сессія прошла болѣе оживленно благодаря рѣчамъ Дельбоса и Литвинова и выступленіямъ Негрина по поводу испанскаго вопроса и Веллингтона-Ку по поводу китайско-японскаго конфликта. Но, все-же, дѣловымъ образомъ обсуждался только вопросъ о раздѣлѣ Палестины.

Послѣ своихъ коренныхъ неудачъ въ японско-манчжурскомъ

и итальянско-абиссинскомъ конфликтахъ Лига Націй уже не чувствовала себя въ силахъ предпринимать какія-либо санкціи по поводу нападенія Японіи, безъ объявленія войны; на Китай въ срединѣ іюля 1937 г. А между тѣмъ это было событіе, которое окончательно превращало конфликтъ между двумя европейскими блоками — въ міровой. Собственно, германско-японское соглашеніе противъ коммунистическаго интернаціонала было подписано еще 25 ноября 1936 г.; съ этихъ поръ «ось Римъ-Берлинъ» уже протянулась до Токио. Если это соглашеніе не имѣло никакихъ немедленныхъ послѣдствій, то это объясняется внутреннимъ кризисомъ, наступившимъ въ Японіи въ началѣ 1937 г. вслѣдствіе новаго столкновенія между арміей и парламентомъ. Германско-японское соглашеніе было заключено не министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, а генеральнымъ штабомъ; политическія партіи требовали невмѣшательства арміи въ политику и отказа отъ тайной дипломатіи. Послѣ бурныхъ сценъ въ палатѣ 21 января 1937 г. премьеръ Хирога подалъ въ отставку. Новый премьеръ Гайаши попробовалъ было держаться средней линіи между арміей и партіями парламента и высказался противъ «иностранныхъ политическихъ системъ» (т. е. фашизма). Новый министръ иностранныхъ дѣлъ Сато, франкофилъ и англофилъ, былъ также противъ германско-японскаго соглашенія. Передъ парламентомъ онъ старался смягчить выраженія относительно «мирной» политики съ Китаемъ и отделить борьбу съ коминтерномъ отъ отношеній къ СССР, которыя онъ старался улучшить. Однако, эта уступчивость на словахъ не создала примирительнаго настроенія, а проведеніе огромнаго военнаго бюджета вызвало раздраженіе въ общественномъ мнѣніи. Гайаши пришлось распустить палату. Новые выборы (въ концѣ апрѣля 1937 г.) дали громадный перевѣсъ старымъ политическимъ партіямъ (минсейто 3,7 милл. голосовъ, сеюкай 3,6 милл.) и усилили рабочую партію (1 милл.), тогда какъ правительственная партія получила только 0,4 милл. голосовъ. Хайаши попытался управлять, игнорируя парламентъ, но 31 мая принужденъ былъ подать въ отставку. 4 іюня микадо поручилъ составить кабинетъ принцу Коноэ съ Хиротой въ качествѣ министра иностр. дѣлъ. Эта перемѣна, несмотря на ея умѣренный характеръ, знаменовала собой побѣду арміи, которая и внесла въ кабинетъ немедленно-же проектъ расширенія производительныхъ силъ страны, сопровождавшійся непропорціональнымъ увеличеніемъ военныхъ расходовъ въ бюджетѣ 1937-38 гг. Въ то же время (конецъ іюня) увеличивались численно офицерскіе кадры въ арміи и флотѣ, и японскій послан-

никъ въ Нанкинѣ предъявлялъ требованія о признаніи Манджукуо и объ экономическомъ сотрудничествѣ Китая съ Японіей. Посланникъ въ Москвѣ потребовалъ немедленнаго очищенія совѣтскими войсками двухъ острововъ на р. Амурѣ. 2 июля Москва уступила; острова были очищены, и японцы заключили отсюда, что красная армія на Д. Востокѣ не такъ сильна, какъ предполагалось. Москва приняла и японское предложеніе организовать смѣшанную комиссію для разбора пограничныхъ инцидентовъ. Тотчасъ послѣ этого усилилось японское давленіе въ Шанхаѣ и Нанкинѣ, и участились пограничныя столкновенія въ сѣверномъ Китаѣ. 11 июля, послѣ совѣщанія Коноэ съ тремя безответственными министрами и съ разрѣшенія микадо, кабинетъ послалъ въ Китай войска и потребовалъ, кромѣ извиненій, сотрудничества Китая въ борьбѣ съ коммунизмомъ и съ анти-японскими тенденціями. Положеніе сразу стало угрожающимъ. Обѣ стороны стягивали войска къ Пекину. Цѣль кабинета и стоявшей за нимъ военной партіи была ясна съ самаго начала: «наказать» Китай за анти-японскія чувства и заставить Нанкинѣ, подъ угрозой военнаго разгрома, принять неприемлемыя для Китая условія. Однако, эта цѣль оказалась не столь легко достижимой, какъ это, видимо, предполагалось. Карательная экспедиція приняла формы настоящей большой войны, хотя и не объявленной Японіей. Ея неясный исходъ задержалъ то дѣйствіе на событія въ Европѣ, на которое японско-китайскій конфликтъ, очевидно, заранѣе предусмотрѣнный другими участниками «оси», былъ рассчитанъ. Китайцы сражались неожиданно хорошо. Въ теченіе двухъ съ половиной мѣсяцевъ (до 27 октября) они задерживали японцевъ передъ Шанхаемъ. Правда, къ этому времени японцы успѣли разбросать свою армію по пяти провинціямъ сѣвернаго Китая; затѣмъ они заставили центральное правительство Чанъ-Кай-Чека покинуть Нанкинъ, бомбардировали этотъ городъ и Кантонъ. Общественное мнѣніе Европы раздѣлилось на два лагера. Подкомиссія октябрьской сессіи Лиги Націй попыталась вынести осужденіе Японіи за нарушеніе параграфа 10 ковенанта; но резолюцію пришлось смягчить. Соед. Штаты (въ рѣчи Рузвельта) и Англія считали, что Японія нарушила пактъ Келлога-Бриана и конвенцію девяти державъ, подписанную на Вашингтонской конференціи 1922 г. На этомъ основаніи явилась мысль созвать, «не подъ покровительствомъ Лиги» (чтобы Соед. Штаты могли присутствовать), конференцію девяти подписавшихъ договоръ державъ въ Брюсселѣ. Конференція собралась въ расширенномъ составѣ 3 ноября, но оказалась самой неудачной и безсильной

изъ конференцій этого года. Норманъ Девисъ, представитель Соед. Штатовъ не имѣлъ ничего предложить. Японія и Германія отказались присутствовать. Послѣ того какъ конференція предложила Японіи свое посредничество и получила мотивированный отказъ, ей было нечего больше дѣлать, и она разошлась безъ назначенія срока.

Совершенно иначе поступали державы «оси». По предложенію Риббентропа Италія 6 ноября формально и торжественно присоединилась къ германо-японскому соглашенію 25 ноября 1926-го года; при этомъ всѣ три участника скрѣпленнаго анти-коммунистическаго пакта придали этому соглашенію новый смыслъ, гораздо болѣе серьезный, чѣмъ текстъ прежняго соглашения. Рѣчь шла теперь не только о «совѣщаніяхъ» по поводу борьбы съ коммунизмомъ, но и объ активномъ противодействіи вмѣшательству коммунистическаго интернационала «во внутреннія дѣла народовъ». Надо вспомнить, что Германія на этомъ основаніи уже заявляла, что не допустить торжества лѣвой республики въ Испаніи, а Японія объявила, что будетъ бороться съ коммунизмомъ въ Китаѣ, чтобы оцѣнить широкія возможности, открытыя новымъ тройственнымъ сговоромъ. Италія могла возразить на протестъ совѣтскаго представителя въ Римѣ, что рѣчь идетъ не о СССР, а именно объ «интернаціоналѣ коммунизма»; но вѣдь въ воздѣйствіи интернационала на внутреннія дѣла обвинялась и Чехословакія, и самая Франція... Это была слабо прикрытая декларация новаго этапа агрессивной политики, которую собирался вести теперь «идеологической» блокъ тоталитарныхъ монархій.

Симптомы этой важной перемены не замедлили сказаться. Муссолини уже во время своей весенней поѣздки въ Ливію демонстрировалъ свое дружественное отношеніе къ міру ислама. Теперь, идя дальше по стопамъ Вильгельма II, онъ объявилъ себя покровителемъ ислама и окончательно укрѣпился на мысли о созданіи средиземноморской имперіи. Анти-британское остріе этой политики, проявившееся въ воздѣйствіи на мусульманскія государства востока Средиземнаго моря, было еще болѣе подчеркнуто потомъ систематической пропагандой противъ Англии по радіо. Съ своей стороны и Гитлеръ не замедлилъ формально занять о вступленіи своей политики въ новую фазу. 21 ноября 1937 г. онъ произнесъ въ Аугсбургѣ рѣчь, гдѣ говорилось: «сегодня мы стоимъ передъ новыми задачами, ибо жизненное пространство слишкомъ тѣсно для нашего народа... Я не сомнѣваюсь, что и это право на жизнь германскаго народа будетъ понято всѣмъ міромъ. Я убѣжденъ, что самая труд-

ная подготовительная работа уже закончена... Опираясь на соединенную силу 68-миллионнаго народа, выраженную въ его вооруженномъ могуществѣ, мы сможемъ успешно разрѣшить поставленные намъ задачи». Это былъ явный отходъ отъ той колониальной позиціи, которую безуспѣшно защищала Риббентропъ въ Лондонѣ, и возвращеніе къ задачамъ «пространственнаго» расширенія на востокъ, поставленнымъ въ *Mein Kampf*. Характерно было и то, что эта новая формулировка послѣдовала за посѣщеніемъ лорда Галифакса, къ которому теперь перейдемъ.

Англія, дѣйствительно, должна была первая реагировать на превращеніе внутриевропейскаго конфликта въ міровой. Британскіе интересы, уже затронутые угрозой вооруженій Италіи и Германіи въ Средиземномъ морѣ, теперь окончательно сосредоточились на отдаленной цѣли: на ея сообщеніяхъ съ Дальнимъ Востокомъ. Затрудненія въ Индіи, угроза французскому Индокитаю, японская экспансія въ этомъ направленіи, — все это для Великобританіи было несравненно болѣе существенно, нежели событія въ центральной и восточной Европѣ. Ея цѣлью было теперь по возможности поскорѣе раздѣлаться съ Европой, чтобы сосредоточить все вниманіе на азіатскихъ вопросахъ. Но европейскими дѣлами могла, въ отсутствіи Англій, заняться только Франція съ ея сильной сухопутной арміей и съ ея друзьями и союзниками. Мы, однако, знаемъ, что роль Франціи въ Европѣ, въ виду ея внутренняго положенія и вслѣдствіе ея пацифистской политики, быстро теряла въ значеніи. Въ виду обострившагося къ осени 1937 г. общаго положенія, надо было, слѣдуя британской тактикѣ, немедленно выяснить новое соотношеніе силъ путемъ прямыхъ переговоровъ съ заинтересованной стороной. И Англія съ обычной рѣшительностью вступила на этотъ путь. Она послала лорда Галифакса на развѣдку къ Гитлеру въ Берхтесгаденъ и побудила французскаго министра иностранныхъ дѣлъ Дельбоса посѣтить съ этой цѣлью прежнихъ друзей и союзниковъ Франціи въ центральной Европѣ. Вопросъ ставился прямо: или — или. Или въ Европѣ есть силы, способныя объединиться на отпоръ претензіямъ «идеологическаго» блока, или же ихъ не имѣется. Надо было также съ точностью опредѣлить, каковы, по существу, размѣры этихъ претензій и можно-ли рассчитывать на сговоръ. Отъ отвѣта на поставленный такимъ образомъ вопросъ зависѣло: пытаться-ли разрѣшить европейскій конфликтъ мирнымъ способомъ — путемъ переговоровъ и уступокъ, — или же Европу ожидаютъ ужасы вооруженнаго столкновения?

Лордъ Галифаксъ, истый англичанинъ, іоркширскій помѣщикъ и страстный любитель охоты на лисицъ, а въ политикѣ хладнокровный наблюдатель, который во всемъ любитъ «мѣру» и равнодушенъ ко всякаго рода увлеченіямъ, едва-ли бы былъ подходящимъ собесѣдникомъ для фюрера, если-бы пріѣхалъ для переговоровъ. Но цѣль его была другая. Начавъ съ посѣщенія охотничьей выставки въ Берлинѣ, онъ поѣхалъ въ Берхтесгаденъ не разговаривать, а только ставить вопросы и записывать отвѣты. На такого рода словесный «вопросникъ» нельзя было не отвѣтить, и Галифаксъ добился довольно полной информации. Изъ того, что стало о ней извѣстно, можно заключить, что рѣчь шла, главнымъ образомъ, о троякаго рода вопросахъ: 1) Западомъ и даже «колоніями» въ мировомъ масштабѣ Гитлеръ въ данную минуту не интересуется. Онъ готовъ дать отсрочку въ обменъ на обѣщаніе нейтралитета по другимъ вопросамъ, его интересующимъ и актуальнымъ. 2) Эти актуальные вопросы лежатъ въ сферѣ центральной и восточной Европы, гдѣ онъ хочетъ быть полнымъ хозяиномъ. 3) На этой почвѣ имѣется разграниченіе сферъ вліянія между нимъ и Италіей. Судьба Австріи и Чехословакии Итали не касается. Итали касаются средиземноморскіе вопросы, и по этому поводу Англія и Франція могутъ разговаривать съ Италіей одинъ на одинъ. Гитлеръ въ это не вмѣшивается. Это была готовая схема предательства участника «оси».

Бесѣды Галифакса съ Гитлеромъ, Герингомъ и Геббельсомъ продолжались 17-19 ноября. 24-го Чемберленъ отказался говорить о нихъ въ палатѣ общинъ, ссылаясь на то, что эти бесѣды были «приватными» и «довѣрительными». Но французы о нихъ знали, и 29-30 ноября Шотанъ и Дельбось приглашены были пріѣхать въ Лондонъ, чтобы сообща сдѣлать выводы изъ полученныхъ свѣдѣній. Ихъ бесѣда съ Чемберленомъ и Иденомъ, конечно, не ограничилась обсужденіемъ протокола Берхтесгаденскаго совѣщанія, а коснулась самыхъ основъ франко-англійской политики. Выяснилось, прежде всего, что Англія не стоитъ на точкѣ зрѣнія собственной изоляціи и полной незаинтересованности европейскими дѣлами, какъ того требовала извѣстная часть англійскаго общественнаго мнѣнія. Она не склонна предоставить Германіи свободу рукъ въ центральной Европѣ и признаетъ силу французскихъ обязательствъ въ этой области. Но сама она новыхъ обязательствъ не беретъ и не предопредѣляетъ своего образа дѣйствій въ случаѣ конфликта на континентѣ. О Лигѣ Націй въ Берхтесгаденѣ упоминалось лишь въ связи съ ея реформой въ болѣе или менѣе отдаленномъ

будущемъ. Въ настоящемъ Германія продолжала стоять на точкѣ зрѣнія «двухстороннихъ» договоровъ или «четверного союза» главныхъ державъ. Участники Лондонскаго совѣщанія согласились, однако, что реформа Лиги Націй, вообще приемлемая, не должна затронуть принципа «коллективной безопасности», обезпечиваемой параграфами 10, 16 и 17. Что касается колоній, бесѣда съ Герингомъ выяснила, что претензіи Германіи не затрагиваютъ англійскихъ колоній. Въ виду категорическаго отказа Англій говорить объ этомъ съ Риббентропомъ, колониальный вопросъ пересталъ быть для Англій актуальнымъ, но зато распространился на французскіе Того и Камерунъ, а также на экономическую эксплуатацію португальской Анголы и части бельгійскаго Конго. Впрочемъ, какъ сказано уже, наиболѣе неяснымъ пунктомъ бесѣды оставалась центральная Европа, ближайшая цѣль расправы Гитлера. Англія совѣтовала Дельбосу уговорить Прагу уступить судетскимъ нѣмцамъ. Она, очевидно, ставила свое поведеніе въ зависимость отъ результатовъ развѣдки Дельбоса среди друзей и союзниковъ въ центральной и въ восточной Европѣ. Поѣздка Дельбоса и ея итоги становились, такимъ образомъ, условіемъ для выясненія основнаго пункта англійской политики въ Европѣ. Дальнѣйшее обсужденіе общей политики тѣмъ самымъ отлагалось до возвращенія Дельбоса.

Изъ того, что сказано выше, уже можно заключить, что моментъ для объѣзда недавнихъ друзей и союзниковъ былъ выбранъ крайне неудачно. Если уже со времени германскихъ успѣховъ 1935-36 г. въ этой средѣ усилились колебанія и начались перестраховки, то можно было заранѣе представить себѣ, какъ эволюционировали эти настроенія къ концу 1937 года. Дельбосу предстояло столкнуться съ послѣдствіями пассивной политики Франціи за всѣ эти годы. Можно было предсказать, что его поѣздка превратится въ рядъ неудачъ. Но трудно было ожидать, что эти неудачи будутъ такъ ярко подчеркнуты фактами, какъ это оказалось на дѣлѣ.

Первый визитъ Дельбоса предназначался Варшавѣ. Старый союзъ 1921 года напоминалъ о времени, когда покровительство Франціи дало возможность полякамъ получить не только объединеніе, но и расширенную территорію, на которой новая «великая» держава должна была замѣнить Франціи Россію. Но съ тѣхъ поръ утекло много воды. Совѣтская Россія была разбита поляками — и лишилась трехъ милліоновъ русскаго населенія, отошедшаго къ Польшѣ. Германія стала могущественнымъ военнымъ государствомъ, наиболѣе опаснымъ изъ двухъ

соедѣй, и заключила съ Россіей договоръ въ Рапалло. Союзъ Польши съ Франціей за это время окрѣпъ; но скоро СССР оказался союзникомъ Франціи, и великодержавная роль Польши, рассчитывавшей замѣнить старую Россію, въ той же пропорціи была умалена. Полковникъ Бекъ продолжалъ руссофобскую политику Пилсудскаго; вопреки союзу съ Франціей онъ перестраховался у Гитлера, войдя въ его восточные планы. Дельбось былъ встрѣченъ какъ равный—официально торжественно, но холодно. Ему было дано понять, что онъ не можетъ рассчитывать на Польшу, если сама Франція не захочетъ проявить силы; какъ это было 7 марта 1936 г., когда Польша была готова мобилизовать вслѣдъ за Франціей. Кромѣ того, все отношеніе Польши къ Лигѣ Націй, къ системѣ коллективной безопасности, къ франко-совѣтскому и франко-чешскому пактамъ было систематически отрицательное.

Въ Бухарестѣ французскій министръ пріѣхалъ въ самый разгаръ внутренней партійной борьбы, которая должна была закончиться принятіемъ рѣзко-германофильской оріентаціи. Военный союзъ съ Польшей и дружба съ Югославіей помѣшала хотя-бы заговорить съ Румыніей о взаимопомощи съ Чехословакіей и съ СССР: даже постройка желѣзной дороги, которая должна была соединить СССР съ Чехословакіей черезъ Буковину (на случай войны) была остановлена послѣ отставки Титулеско. Если, тѣмъ не менѣе, пріемъ былъ оказанъ Дельбосу восторженный, то это было лишь свидѣтельствомъ о живости румынскаго темперамента и о воспитаніи высшаго класса на французской культурѣ.

Пока Дельбось ѣздилъ въ Польшу и Румынію, Стоядиновичъ счелъ нужнымъ побывать въ Римѣ. Правда, надежда Муссолини вовлечь его въ новую «ось» Римъ-Бѣлградъ-Бухарестъ не осуществилась такъ же, какъ и попытка привлечь Стоядиновича къ тройственному анти-коммунистическому пакту. Но узлы, завязанные съ Римомъ по договору марта 1936 г., были закрѣплены; отношенія къ Ватикану, испорченные отсрочкой ратификаціи конкордата, исправлены; экономическія и финансовыя выгоды получены. Къ пріему Дельбоса Стоядиновичъ вернулся, какъ представитель самостоятельной югославской политики. Подобно Беку онъ умолчалъ о существованіи Лиги Націй. О ней и о старомъ договорѣ 1927 г. пришлось вспомнить уже самому Дельбосу въ отвѣтномъ тоствѣ. Но въ Югославіи все же были люди, которые помнили о роли Франціи въ ея освобожденіи. Крестьяне и оппозиціонная партія demonstra-

тивно привѣтствовали Дельбоса, и ихъ демонстраціямъ тщетно пыталась помѣшать бѣлградская полиція.

Въ Прагѣ, наконецъ, Дельбосъ получилъ искренній триумфальный пріемъ, въ которомъ слились народъ и правительстве. Болѣе 200.000 человекъ стояли на улицахъ шпалерами, хотя день былъ рабочій. Здѣсь не было спорныхъ вопросовъ, и не нужно было дипломатическихъ тонкостей. Но именно здѣсь грозный вопросъ о реальной поддержкѣ союзниковъ оказался наиболѣе тревожнымъ и наименѣе яснымъ. Общій итогъ поѣздки не уменьшилъ, а скорѣе увеличилъ напряженность положенія и необходимость въ выясненіи обязательствъ о союзной поддержкѣ.

Около трехъ мѣсяцевъ отдѣляютъ поѣздки Дельбоса (3-15 декабря 1937 г.) отъ аннексіи Австріи, съ которой мы начали эту статью. Но намъ не остается прибавить ничего существеннаго за этотъ промежутокъ. Все было подготовлено къ новому германскому акту насилія, затмившему прежніе. Измѣнились только модальности аншлусса. Даже и плебисцитъ въ Австріи Гитлеръ долженъ былъ произвести послѣ надлежавшей подготовки. Въ моментъ вызова Шушнига въ Берхтесгаденъ осталось до намѣченного уже срока плебисцита два мѣсяца, предназначенные на подготовку голосованія. У Шушнига не было иного выбора, какъ, или дожидаться пока германцы на его глазахъ подготовятъ торжество наци, или же предупредить ихъ, когда подготовка не была еще закончена и имѣлась полная возможность получить истинный голосъ большинства австрийскаго населенія — противъ аншлусса. Назначеніе этого настоящаго плебисцита именно потому и послужило сигналомъ для Гитлера рискнуть, ускоривъ аннексію насильственнымъ образомъ, — и оправдать ее *post factum* путемъ своего собственнаго плебисцита. Отсюда и упреки Шушнигу, что онъ «обманулъ» Гитлера. Въ неэффронтомъ стилѣ заявленій Гитлера и Геринга всѣ общепринятія понятія и требованія морали превращаются въ свою противоположность: черное громко объявляется бѣлымъ, и бѣлое чернымъ... при общемъ молчаніи. Единственная дань, которую въ данномъ случаѣ порокъ готовъ отдать добродѣтели, это попытка представить вносимый извнѣ переворотъ въ формѣ поддержки желаній самого внутренняго населенія.

Не хотѣлось-бы думать, что та же форма обмана можетъ быть примѣнена и къ слѣдующему призу, на который уже нацѣливается аппетитъ Гитлера: къ Чехословакіи. Положеніе тутъ, конечно, иное. Народъ, привыкшій къ борьбѣ съ гер-

манскимъ засильемъ, не допустить проглотить себя подъ соусомъ самоопредѣленія. А страна имѣетъ формальную поддержку союзниковъ съ Запада и съ Востока. Нельзя ожидать, чтобы послѣ удара, только что нанесеннаго международной морали, былъ нанесенъ новый, еще болѣе сильный ударъ международному праву. Но Герингъ на своемъ языкѣ уже погрозилъ «пощечиной всему человѣчеству»... И по послѣднимъ даннымъ, когда дописывается эта статья, газеты уже сообщаютъ о новой политикѣ перелицовки внѣшняго путча въ законныя формы внутренней борьбы. Генлейнъ уже идетъ дальше всего, что могло бы быть общано Голжей. Германскія партіи уже мѣняютъ ориентацию, становясь на сторону завтрашняго побѣдителя. Уже находятся люди другихъ національностей, которые въ эту судьбоносную минуту демонстративно соединяютъ свое дѣло съ неправымъ дѣломъ завоевателей. Среди нихъ словацкое меньшинство Глинки вызываетъ особое мое изумленіе. Надо было слишкомъ много забыть въ прошломъ и слишкомъ раздуть свое недовольство чешскимъ управленіемъ въ настоящемъ, чтобы рисковать возвращеніемъ отъ приобретенной свободы къ старому венгерскому порабощенію. И я уже совѣмъ не могу повѣрить, чтобы нашлись русины, такъ быстро поднявшіе при чехахъ свое національное самосознаніе и свое матеріальное благосостояніе послѣ вѣковъ темноты и рабства, которые наканунѣ вводимой у нихъ автономіи могли-бы рискнуть отдѣлить свое дѣло отъ общаго дѣла борьбы противъ новаго захвата и порабощенія. Я понимаю, увы, поляковъ, находящихся своевременнымъ поднять второстепенный и не въ мѣру раздутый споръ о Тешенѣ, и венгровъ, не забывшихъ о потерянномъ ими вчерашнемъ господствѣ. Но оба народа, еще такъ недавно возбуждавшіе симпатію Европы своею любовью къ свободѣ, не рискуютъ-ли окончательно потерять эти симпатіи, связавъ свои національныя претензіи съ варварскимъ наступленіемъ воинствующаго пангерманизма?

Конфигурація чехословацкой территоріи сама по себѣ есть символъ. Она символизируетъ высшее достиженіе разоружившейся Европы, охраняемое, вмѣсто международной арміи, идеей и системой демократическаго мира. Эта система нынѣ въ упадкѣ. Символомъ текущаго момента становится упомянутый контрастъ между громаднымъ зданіемъ новопостроеннаго дворца мира въ Женевѣ и пустѣющими въ немъ креслами половины великихъ державъ — съ соответствующимъ измельчаніемъ доступныхъ Лигѣ рѣшеній по второстепеннымъ вопросамъ. Пророки наступающаго средневѣковья могутъ торжествовать по

этому поводу побѣду своей эсхатологіи. Другіе могутъ любоваться воскресшимъ союзомъ «римскаго мира» съ «священной имперіей германской націи». Демократическая Европа не смѣетъ капитулировать передъ этими «пощечинами человечеству» и подставлять оскорбителямъ «другую щеку». Съ обнаглевшимъ кулакомъ новаго варвара нельзя сражаться невооруженной идеей. Мы видѣли, къ какимъ «безкровнымъ» захватамъ это уже привело Европу. Пора встряхнуться — и волю противопоставить волю, силу противопоставить силу, словесному хвастовству — готовность къ реальному отпору.

П. Миллюковъ.

Т. Г. Масарикъ и національный вопросъ

II *).

Послѣдовательное проведеніе вышензложенныхъ взглядовъ мы находимъ въ позднѣйшихъ работахъ Масарика, — въ опубликованныхъ въ 1905 г. книгахъ «Національная философія новейшей эпохи» и «Проблема малаго народа». Въ первой Масарикъ впервые даетъ очеркъ развитія національнаго мышленія и чувствованія. Анализируя понятіе народа, онъ приходитъ къ заключенію, что «національность заключается въ языкѣ, въ осознаніи особенностей роднаго языка; она опредѣляется политическими, государственными, экономическими, социальными, моральными, религіозными, научными, философскими и художественными факторами жизни. Все, что мы называемъ культурой, имѣетъ отношеніе къ народу. Есть люди, которые воспринимаютъ культуру, какъ явленіе наднаціональное, какъ нѣчто всеобщее, абстрактное. Въ извѣстной степени и культура становится международной, такъ какъ человѣкъ не бываетъ ограниченъ со всѣхъ сторонъ, развивается совместно съ остальными и находится подъ вліяніемъ одинаковыхъ условій. У народовъ все больше и больше становится общаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ они все больше дифференцируются. Каждый народъ работаетъ надъ самобытностью своей культуры и не имѣетъ права жить за счетъ другихъ». Къ этому заключенію присоединяется интересная — особенно въ наше время — критика взгляда, будто сущность національности заключается не въ выше указанныхъ элементахъ, а въ расѣ, въ совокупности свойствъ, данныхъ природой и какъ бы не поддающихся уничтоженію, въ чистотѣ крови. Масарикъ рѣшительно отвергаетъ утвержденіе, будто существуютъ высшія и низшія расы, будто можетъ быть врожденной культурная неспособность у одного народа, тогда какъ другой является по природѣ народомъ-по-

*) См. «Совр. Записки» кн. 65.

велителемъ, для котораго остальные служатъ лишь матерьяломъ. «Въ Европѣ этотъ родъ шоввинизма исчезаетъ, нишетъ онъ, но зато возникаютъ проблемы желтаго и бѣлаго, бѣлаго и чернаго племени. Предугазано ли заранѣ одному изъ этихъ племенъ рабство? Полагаю, что нѣтъ». Въ концѣ этого краткаго разсужденія Масарикъ говоритъ: «Патріотизмъ часто проявляется негативно, т. е. отталкиваніемъ отъ чужого. Очень многіе люди ненавидятъ нѣмцевъ, но для своихъ, для чеховъ, почти ничего не дѣлаютъ. Многіе люди очень скоро не знали бы, что дѣлать со своимъ патріотизмомъ, если бы не могли проявлять свою любовь отвращеніемъ и шовинизмомъ по отношенію къ другому народу. Положительная любовь должна быть дѣйственной, ясной, программной. Тотъ, кто любитъ свое отечество, долженъ знать, что онъ обязанъ для него дѣлать. Дѣйственная любовь означаетъ обязательство, требуетъ работы».

Разобравъ основныя направленія національной философіи нѣмецкой, французской, англійской, русской, польской, Масарикъ заканчиваетъ свои размышленія національной философіей чешской: «Начиная уже съ эпохи Махи, чешская проблема стала проблемой и философской и національной. Национальность выражается не только въ языкѣ, но и въ государствѣ и политикѣ, въ экономикѣ и социальныхъ стремленіяхъ, въ нравственности и религіи, въ наукѣ, философій и искусствѣ. Поэтому наша современная національная программа повелѣваетъ намъ работать концентрически во всѣхъ направленіяхъ».

Въ небольшой работѣ «Проблема малаго народа», изданной также въ 1905 году, Масарикъ снова указываетъ на многообразіе элементовъ, опредѣляющихъ национальность. Говоря въ частности объ элементѣ языковомъ, онъ отмѣчаетъ, что у народовъ, политически независимыхъ, нѣтъ причинъ для заботы о сохраненіи языка, что поэтому они ощущаютъ себя болѣе народами политическими; борьба за национальность для нихъ означаетъ внутреннюю и вѣншнюю политику, экономическія и социальныя проблемы, въ то время, какъ мы, чехи, менѣе сознаемъ себя политически и для насъ народъ является прежде всего моральной личностью». Особая глава посвящена взаимоотношеніямъ между национальностью и гуманизмомъ. На вопросъ: «что больше: народъ или человѣчество?», Масарикъ отвѣчаетъ, что, само собою разумѣется, человѣчество. «Но, добавляетъ онъ дальше, человѣчество нельзя поставить выше народа, человѣчество само по себѣ ничто, человѣчество — это совокупность разныхъ народовъ, собранныхъ вмѣстѣ... Гуманитарная и народная идея сливаются для насъ воедино. Въ идеѣ

гуманитарной заложены все нравственные идеалы, которые мы можем применить на пользу своего народа. Во имя человечности и гуманности мы требуем своих прав, прежде всего права на свой язык». В конце главы находим следующую важную мысль: «Национальное чувство и мышление продолжают развиваться до сих пор, эволюция находится еще в зачаточном состоянии. Чем дальше, тем будет яснее, что народ — это естественный элемент человечества и что последнее должно быть организовано не государственно, но национально». В другой главе, касающейся «народа и совести», встречаем уже известную нам мысль Масарика, что «любовь к своему народу не должна и не может означать ненависть к другому народу». «Я не буду проповедывать, добавляет Масарик, что мы должны любить своих национальных противников. Возможно, что существуют люди, способные любить врагов, но что касается меня лично, то я скажу: необходимо быть по отношению к врагам справедливым и от них требовать тоже лишь справедливости; в таком случае у нас останется довольно свободного времени и для позитивной работы». Далее он защищает необходимость критического отношения к собственному народу, знания и признания его недостатков. «Мне могут возразить, пишет он, что народ должен считать себя непогрешимым, так сказать, идеалом всех идеалов. Я в это не верю. Те народы, которые так чувствовали себя, всегда за это дорого платили. Считать свой народ избранным, по моему, грех. Нет избранных народов, у каждого имеется своя задача, которую он должен по своему осуществить. В этом и заключается разделение труда у человечества. И самый малый народ может обладать своим идеалом и действовать самостоятельно, чтобы его осуществить. И мы по своему будем решать нашу чешскую проблему, наш чешский вопрос. Если я не признаю избранности своего народа, то не буду считать избранными и другие народы».

Далее следует глава о великих и малых народах, в которой особенно интересны строки: «Я не верю, что малый народ не может самостоятельно работать в области культуры и что он не способен добиться независимости. История знает примеры того, как малые народы шли вперед больших. Еще небольшое зло быть малым народом. Подлинная малость заключается в том, когда человек не видит и не ищет средств сбросить свою малость». Разсуждая в особой главе об этих «средствах малаго народа», Масарик осо-

бенно выдвигаетъ обязанность заботиться о воспитаніи и само-воспитаніи и отвѣчаетъ на вопросъ, какую политику долженъ избрать малый народъ: «Мы, граждане малаго народа, часто полагаемъ, что мы должны дѣлать то же, что и остальные; прибѣгать къ насилію. Это неправильно, мы пойдемъ своей дорогой — дорогой труда». Повторяя свои болѣе раннія высказыванія, Масарикъ указываетъ, каково должно быть общее направленіе этой работы. «Одна кровь не создастъ еще народа, его бытіе не можетъ быть обеспечено однимъ лишь языкомъ. Наряду съ этимъ необходимы еще государственное управление и хозяйство, образованіе, литература, нравственность, религія. Изъ этихъ отдѣльныхъ элементовъ необходимо создать идеальныя цѣли и стремиться къ ихъ осуществленію».

Характерно въ этихъ размышленіяхъ Масарика о національной проблемѣ то, что въ нихъ народъ, расцѣпываемый весьма высоко, не воспринимается все же, какъ нѣчто абсолютное, наоборотъ, подчеркивается всегда его неразрывная связь съ челоуѣчествомъ и даже подчиненіе ему. Другой весьма характерной чертой является то, что въ этихъ работахъ Масарикъ почти совсѣмъ не затрагиваетъ важнаго вопроса взаимоотношеній между народомъ и государствомъ. Это впрочемъ было вполне естественно въ эпоху нашей политической зависимости, когда чешское національное мышленіе и чувствованіе опредѣлялись прежде всего интересомъ къ своей народности. Однако, было бы неправильнымъ полагать, что Масарикъ не отдавалъ себѣ отчета въ этой столь важной сторонѣ національной проблемы и не дооцѣнивалъ значеніе государства для жизни народа. Въ одной изъ своихъ рѣчей, произнесенной въ австрійскомъ парламентѣ въ 1892 году, онъ заявлялъ, что чехи хотятъ не толькѣ «права самоопредѣленія чешскаго народа», возможности «снова жить полной жизнью, какъ независимый народъ», но хотятъ и возстановленія «чешскаго государственнаго права, ибо это наше политическое право». «Австрія возникла, продолжаетъ Масарикъ, главнымъ образомъ благодаря соединенію чешскаго и венгерскаго государствъ. Поскольку, въ силу хода исторіи, настало время для возстановленія венгерскаго государства, ясно, что тотъ же историческій процессъ создастъ, долженъ создать и чешское государство».

Еще опредѣленнѣе высказалъ Масарикъ свои взгляды на чешское государственное право въ 1896 году въ анкетѣ о возможности договора между чехами и нѣмцами (организованной ежемѣсячникомъ «Rozhledy»). Заявивъ, что приведеніе въ порядокъ государственныхъ взаимоотношеній Чешской короны и

имперіи является единственно возможной предпосылкой мира между чехами и нѣмцами, онъ писалъ: «Чешское государственное право вовсе не формальность и не ветошь. Споры идутъ о томъ, возможна ли и желательна ли независимость Чехии и для кого она желательна... Палацкій и Гавличекъ признавали, что полная независимость Чехии, какъ и остальныхъ составныхъ частей Австріи, теперь уже недостижима. Поэтому они были за сильную Австрію, но, конечно, Австрію федеративную... Я согласенъ со взглядами Палацкаго. Однако, политическая независимость и суверенность въ новой государственной эпохѣ должны опредѣляться иначе, чѣмъ прежде. Теперь въдъ независимость и крупныхъ государствъ носятъ иной характеръ, чѣмъ та, которою они обладали до введенія современныхъ путей сообщенія для вещей, людей и идей... Независимое чешское государство невозможно по понятіямъ абсолютистическаго централизма, но независимость чешскихъ земель въполнѣ возможна на основаніи современныхъ понятій объ автономіи и федерации. Скажу больше: она не только возможна, но и необходима въ одинаковой степени, какъ для чешскихъ земель, такъ и для самой Австріи».

Хотя, какъ мы видимъ, Масарикъ не перестаетъ признавать чешское государственное право и конечной цѣлью чешской политики признаетъ его утвержденіе, то-есть политическую самостоятельность въ границахъ Габсбургской монархіи, онъ все же, не вѣря при тогдашнихъ условіяхъ въ возможность достиженія этой цѣли, утѣшаетъ свой народъ и самого себя мыслью, что государственная и политическая жизнь не имѣетъ для народа того значенія, которое ей часто приписывается, что одна политическая свобода проблемы народа не рѣшаетъ, но спасти его можетъ нравственность и образованіе. Непрерывная работа надъ повышеніемъ культурнаго уровня казалась тогда Масарику наиболѣе вѣрнымъ средствомъ достиженія политической самостоятельности чешскаго народа. Право его на политическую независимость (въ предѣлахъ имперіи) Масарикъ больше доказывалъ всѣмъ тѣмъ великимъ, что народъ этотъ уже совершилъ въ прошломъ и что онъ еще можетъ и стремится совершить въ будущемъ, а равно и его современными интересами, особенно экономическими, чѣмъ аргументами формальнаго историческаго права.

Къ ясной формулировкѣ своихъ взглядовъ въ этомъ вопросѣ Масарикъ пришелъ лишь тогда, когда въ 1900 году онъ основалъ свою собственную политическую партію. Эту формулировку мы находимъ отчасти въ политической части про-

граммы, которая въ основномъ является произведеніемъ Масарика, отчасти же въ рѣчи Масарика, на организаціонномъ собраніи новой партіи (весной 1901 г.). Въ самомъ началѣ программы выражено убѣжденіе, что «бывшая полная независимость Чехій теперь невозможна, въ виду того, что наша численность, наше континентальное положеніе и фактъ, что на чешской территоріи живутъ также нѣмцы (и поляки), принуждали и принуждаютъ насъ къ ассоціаціи съ другими народами и странами». Поэтому проблема чешской политики заключается въ томъ, «какъ обезпечить культурную и национальную независимость посредствомъ политической независимости, и въ опредѣленіи того, до какихъ предѣловъ эта политическая независимость и самостоятельность могутъ идти». Далѣе программа прямо допускаетъ, что «при современныхъ условіяхъ невозможно сразу создать чешское государство». Правда, «мы не имѣемъ права на основаніи нынѣшней государственной программы распорядиться судьбой грядущихъ поколѣній», но тутъ же высказывается весьма трезвый, даже, пожалуй, отрицательный взглядъ на чешское государственное право и прямо заявляется, что новая партія обращается «прежде всего къ такъ называемому естественному праву, давая при его помощи содержаніе праву историческому», что «при современныхъ условіяхъ чешскій народъ воспринимаетъ государственное право, главнымъ образомъ, съ національной и экономической точки зрѣнія». Въ рѣчи, которой Масарикъ обосновывалъ эту программу, онъ болѣе подробно изложилъ, почему онъ считаетъ историческое государственное право лишь слабымъ оружіемъ въ борьбѣ за нашу государственную независимость. Однако, и здѣсь онъ не отрицалъ государственнаго историческаго права, а лишь «государственный утопизмъ» нѣкоторыхъ тогдашнихъ политическихъ партій. Въ отличіе отъ этого политическаго утопизма Масарикъ очень высоко расцѣнивалъ «государственное сознаніе народа», будучи убѣжденъ, что «плодлинное право не вытекаетъ исключительно изъ права предшествующаго, но и рождается какъ результатъ сознательнаго нравственнаго и политическаго усилія народа».

Точка зрѣнія Масарика на историческое чешское государственное право и на его малое значеніе по сравненію съ правомъ естественнымъ не была совершенно новой въ чешской политической мысли. Тѣмъ не менѣе прямога, съ которой Масарикъ въ 1900 году высказалъ и подробно обосновалъ то, что иные лишь болѣе или менѣе ясно чувствовали, вызвала въ опредѣленныхъ кругахъ сильный протестъ. Въ защиту исто-

рического государственного права выступали противъ него особенно остро проф. В. Ригръ и д-ръ К. Крамаржъ. Въ полемикѣ съ ними Масарикъ развилъ и обстоятельно объяснилъ свой взглядъ на соотношение историческаго и естественнаго права. Значеніе этой борьбы Масарикъ въ нашемъ политическомъ развитіи, мнѣ кажется, вѣрно оцѣнилъ проф. Б. Томса («Борьба Масарика за естественное право», 1928), утверждая, что «въ естественномъ правѣ, которое Масарикъ поставилъ на мѣсто чешскаго государственнаго историческаго права, начинается уже вырисовываться идея будущаго чехословацкаго государства». Мы не можемъ также не согласиться со взглядомъ Томсы и на то, что «если бы наша политика, особенно во время войны, опиралась исключительно лишь на чешское историческое государственное право, то врядь ли наше государство могло бы существовать въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ теперь, ибо «Словакія стала членомъ нашего государственнаго организаціи не на основаніи историческаго права, но на основаніи національнаго принципа, который въ сущности своемъ является естественнымъ правомъ».

Подчиненіе историческаго государственнаго права праву естественному имѣло для нашего народа огромное воспитательное значеніе. Оно учило его, что политическое освобожденіе и его будущая судьба не зависятъ отъ старыхъ привилегій и рескриптовъ, а также отъ тончайшей нити спорной преемственности, но что свою политическую независимость онъ добудетъ лишь личнымъ упорствомъ. Утверждая, что одна политическая независимость не спасетъ насъ, Масарикъ дѣлалъ это не для того, чтобы отвлечь народъ отъ стремленія къ свободѣ, а для того, чтобы придать ему новый вкусъ къ жизни и къ работѣ въ то время, когда не было возможности надѣяться на скорое достиженіе независимости, вдохнуть въ него бодрость, необходимую для ежедневной политической и культурной борьбы, которую наша независимость подготовлялась вѣрнѣе, чѣмъ романтическими мечтами объ историческихъ правахъ.

Въ полномъ соотвѣтствіи съ этимъ естественно-правовымъ обоснованіемъ нашихъ требованій государственной независимости Масарикъ въ 1905 году написалъ въ уже цитированной статьѣ «Национальная философія новѣйшей эпохи», что «народъ обладаетъ чувствомъ государственнаго строительства, или, другими словами: каждый народъ стремится къ политической независимости, которая нужна и малому народу». Убѣжденіе въ необходимости національной независимости для сознательнаго и жизнеспособнаго народа, логически объединенное съ

государственно строительнымъ духомъ національной идеи, окрѣпло у Масарика въ дальнѣйшую эпоху, благодаря эволюции политической обстановки въ Габсбургской монархіи. Внутренняя австрійская политика, политика централизма, все больше и больше подчиняющаяся общенѣмецкимъ стремленіямъ, препятствующая свободному развитію народовъ Австріи, политика недемократическая и непросвѣщенная, скажемъ прямо. — культурно реакціонная — подрывала у Масарика его прежнюю вѣру въ возможность существованія справедливой Австріи, а благодаря этому и въ ея жизнеспособность; не менѣе поваяла на него и печальный опытъ апаменитаго Загребскаго процесса и вообще всей балканской политики Австро-Венгрии. Предчувствіе приближающейся катастрофы, крѣпнувшее въ немъ подъ вліяніемъ всего этого, наводило Масарика на размышленія о неизбѣжности борьбы за политическое освобожденіе его народа, за наше собственное свободное государство.

Борьба за достиженіе этой цѣли достигла своего апогея и приближалась къ концу, когда Масарикъ вновь ясно и подробно изложилъ свой взглядъ на тѣ же вопросы въ известномъ трудѣ «Новая Европа» (1918). Достаточно привести изъ него лишь нѣсколько характерныхъ отрывковъ. «Национальный принципъ проявляется, какъ особое и весьма сильное чувство, какъ любовь къ родному языку и всему быту людей, говорящихъ тѣмъ же или весьма близкимъ къ нему языкомъ, къ землѣ, на которой эти люди живутъ; это не только любовь, возникающая на основаніи естественной привычки... нѣтъ, это любовь болѣе или менѣе сознательная, это въ то же время идея, ибо у народовъ имѣется своя внутренняя политическая программа, выработанная общей исторіей и въ то же время управляющая этой исторіей; это современная любовь къ отечеству (патріотизмъ) въ широкомъ смыслѣ слова, а не только старая лояльность къ династии и къ господствующимъ классамъ. Такимъ образомъ, это подлинный національный принципъ, народная идея и идеаль, а не только національныя чувства и инстинктъ». «Национальный принципъ, пишетъ онъ дальше, сравнительно новъ и не вполне опредѣленъ, въ то время какъ государство является институціей столь старой и всеобщей, что уже по одному этому многимъ людямъ кажется, что государство является наиболѣе цѣнной и необходимой для человечества институціей». Однако, самъ Масарикъ полагаетъ, что «болѣе правильно считать цѣлью всеобщихъ усилій народъ и національность, а государство — лишь средствомъ»; при этомъ

онъ говоритъ, что *de facto* каждый сознательный народъ стремится и къ своему собственному государству».

Въ другомъ мѣстѣ того же труда Масарикъ, отвѣчая тогдашнимъ противникамъ малыхъ государствъ и народовъ, которые указывали на Австрію, «какъ на классическое 'доказательство того, что малые народы должны объединяться в федеративное цѣлое, не будучи въ состояніи сохранить свою самостоятельность», развивалъ свой взглядъ на возможность будущей федераціи народовъ: «Подлинная федерація народовъ наступитъ лишь тогда, когда народы будутъ свободны и сами объединятся. Какъ разъ въ этомъ направленіи идетъ развитіе Европы. Программа союзниковъ вполне соотвѣтствуетъ этому развитію: свободные и освобожденные народы будутъ организовываться въ зависимости отъ своихъ нуждъ въ болѣе крупныя единицы и организуютъ, такимъ образомъ, весь материкъ. Если тогда возникнутъ федераціи малыхъ народовъ, то это будутъ федераціи, созданныя свободно на основаніи подлинныхъ нуждъ народовъ, а вовсе не изъ-за чужихъ династическихъ или имперіалистическихъ интересовъ. Федерація безъ свободы невозможна. Согласно программѣ союзниковъ малые народы и государства должны будутъ въ политическомъ и социальномъ отношеніи пользоваться точно такимъ же значеніемъ, какъ и великіе народы и государства, Малый народъ, народъ сознательный и культурно развивающійся, является такой же полноправной единицей и культурной индивидуальностью, какъ и большой народъ».

Даже въ самые трагическіе моменты великой борьбы за политическую независимость нашего народа Масарикъ, какъ вождь, не отступилъ ни на шагъ отъ своего основного воспріятія народа и національности въ ихъ отношеніи къ человечеству и гуманности. И тогда онъ не отказывался отъ своего убѣжденія въ необходимости достойной, справедливой и разумной организаціи взаимоотношеній съ нашими нѣмецкими согражданами. Этимъ вопросомъ онъ занимался не разъ какъ въ своихъ научныхъ трудахъ, такъ и въ политическихъ выступленіяхъ. Въ этомъ отношеніи интересна его рѣчь, произнесенная на сеймѣ чешскаго королевства въ 1892 году и выражавшая точку зрѣнія Масарика на разрѣшеніе спорныхъ національныхъ вопросовъ въ Чехіи. «Мы хотимъ мира. О себѣ самомъ могу сказать, что съ того момента, какъ я началъ зрѣло смотрѣть на чешскій вопросъ, я честно избѣгалъ всякой дѣятельности, всякаго шага, которые бы могли раздуть въ Чехіи национальный споръ; но въ той же мѣрѣ, въ какой я честно и откровенно

но стремлюсь къ миру, въ такой же степени я требую его на нихъ основахъ. Я охотно допускаю, что организовать миръ въ Чехіи весьма сложно, если даже оставить въ сторонѣ страсти и чувства... Большія затрудненія я вижу въ томъ, какъ уложить въ законы національный и языковой вопросы... Всѣмъ намъ, чехамъ, ясно, что миръ долженъ быть основанъ на равноправіи. Мы должны требовать, чтобы эти основы мира были примѣнены не только у насъ, въ Чехіи, но и на Моравѣ и въ Силезіи». Говоря затѣмъ далѣе о предполагаемыхъ національныхъ границахъ отдѣльныхъ округовъ, Масарикъ заявлялъ: «При всей государственной конструктивности языкового момента, нигдѣ вы не сможете указать мнѣ чисто національное государство; наоборотъ, мы видимъ, что во всѣхъ государствахъ на границахъ имѣются чужія национальности. Я вижу въ этомъ процессъ исторической эволюціи. Опираясь на это, я полагаю, что въ Чехіи намъ нѣтъ надобности устраивать нѣмецкое государство въ государствѣ! Я думаю, что устройство нашихъ границъ, устройство этой китайской стѣны, можетъ быть полезно лишь на извѣстное время, пока люди будутъ находиться въ состояніи *furoris teutonici*, но вѣдь въ Чехіи имѣется достаточно разумныхъ людей и имъ подобная стѣна не нужна». Въ дальнѣйшей части своей рѣчи Масарикъ опровергалъ утвержденія нѣмецкихъ политиковъ, что государство въ наше время становится все болѣе сильнымъ, причемъ личная свобода должна ослабляться. «Въ настоящее время во всемъ культурномъ мірѣ не найдете мѣста, гдѣ бы утверждали, что государство крѣпнеть оттого, что личная свобода подавляется. Да, государство укрѣпляется, укрѣпляется государственный аппаратъ, но одновременно, и какъ разъ благодаря этому, всюду развивается и гражданская свобода, развивается и крѣпнеть личная свобода. А вы хотите какъ разъ ее уничтожить? Наконецъ, отвѣчая депутату, который утверждалъ, что чехи навязываютъ нѣмцамъ борьбу, Масарикъ сказалъ: «Правда, мы ведемъ борьбу, у насъ съ вами вѣчный бой. Но вѣрьте мнѣ, что у насъ много общаго, какъ разъ въ той остротѣ, съ которой мы стоимъ другъ противъ друга. Въ этой борьбѣ становится явной та связь, которую невозможно пресѣчь. Я вамъ говорю, что у васъ съ нами, чехами, гораздо больше общаго, чѣмъ съ вашими единоплеменниками въ Пруссіи; вѣрьте мнѣ или нѣтъ, но я вижу, что мы связаны не только экономически, но и культурно».

Болѣе подробно и конкретно Масарикъ изложилъ свои взгляды на организацію національныхъ отношеній въ Чехіи въ

отвѣтъ на уже упомянутую анкету, предпринятую въ 1896 году журналомъ «Rozhledy»: «Примиреніе чеховъ и нѣмцевъ, примиреніе длительное и постоянное не можетъ быть основано на преходящей политической программѣ націонализма. Наше примиреніе, или, лучше говоря, позитивное, культурное и политическое сотрудничество возможно лишь въ томъ случаѣ, если въ такъ называемый формальный принципъ будетъ введена свобода, а въ принципъ матеріальный — социальная справедливость. Признать эти принципы означаетъ дѣйствовать на ихъ основаніи, невзирая на то, какъ поступаетъ противникъ. Если мы, чехи, дѣйствительно и во что бы то ни стало станемъ на сторону свободы и социальной справедливости, то дѣло будетъ выиграно. Vice versa — это дѣйствительно и для нѣмцевъ. Тѣ изъ насъ, кто сдѣлають это раньше и честнѣе, тѣ первые начнутъ готовить крѣпкія основы мира». Подчеркнувъ затѣмъ принципъ, что тѣ, «кто дѣйствительно хочетъ свободы и социальной справедливости in concreto, должны работать для достиженія политической автономіи», Масарикъ заявилъ свое согласіе съ предложенной организаціей краевыхъ учреждений и сеймовъ. Онъ говорилъ, что территоріи округовъ должны быть распределены, поскольку это возможно, примѣнительно къ языку населенія. Затѣмъ онъ перечислялъ тѣ наиболѣе необходимыя языковыя постановленія, которыя должны были бы быть введены: «въ чешскихъ земляхъ всѣ три мѣстныхъ языка (въ Силезіи и польскій) должны быть признаны языками официальными. Официальный языкъ отдѣльныхъ народовъ зависитъ отъ языка большинства обывателей, которыхъ обслуживаетъ официальное учрежденіе. Официальныя учрежденія ведутъ между собою переписку на своихъ языкахъ. Центральныя государственныя учрежденія ведутъ дѣла съ остальными официальными институціями и корпораціями на языкѣ послѣднихъ. Центральныя официальныя учрежденія должны быть двуязычными. Національныя меньшинства должны быть охраняемы особыми національными законами, созданными на основѣ равноправія... Школы для меньшинствъ устраиваются всюду въ зависимости отъ потребности». Къ этому Масарикъ добавлялъ важное примѣчаніе: «Если желать, чтобы національный принципъ былъ примѣненъ съ пользой, то онъ долженъ быть подчиненъ принципу социальному, ибо подлинное примиреніе чеховъ съ нѣмцами означаетъ социализацію политики нашихъ партій, нашего управленія и всего политическаго аппарата... Чешскій и нѣмецкій вопросы являются для меня, главнымъ образомъ, вопросами социальными: отстраненіе споровъ

о языкѣ и государственномъ строительствѣ будетъ служить социальному прогрессу». Далѣе Масарикъ говорилъ, что «длительному миру чеховъ и нѣмцевъ должна быть сдѣлана предпосылка въ видѣ регулированія государственныхъ отношений чешской короны и имперіи», причемъ онъ добавлялъ, что не слѣдуетъ полагать, будто политическая независимость можетъ обезпечить намъ независимость культурную и экономическую. «Мы не такъ наивны, пишетъ онъ, чтобы думать, будто независимое чешское государство можетъ удержаться рядомъ съ Германіей, если нѣмецкая часть его населенія будетъ постоянно недовольна. Въ чешскихъ земляхъ почти 9 милліоновъ населенія, около трети котораго составляютъ нѣмцы; я увѣренъ, что даже самый крайній шовинистъ не можетъ думать, что мы хотимъ насиловать эту нѣмецкую часть населенія». Въ концѣ Масарикъ перечисляетъ основныя чешскія требованія, которыя считаетъ пріемлемыми для достиженія окончательнаго мира между чехами и нѣмцами. Это — открытіе втораго чешскаго университета, организациі чешскаго культурнаго отдѣленія при образовательномъ центрѣ, учрежденіе высшаго чешскаго суда и чешское большинство въ моравскомъ сеймѣ. «Эти наши требованія, добавляетъ Масарикъ, вполне законны и справедливы, а кромѣ того они вполне исполнимы при существующихъ національныхъ и культурныхъ условіяхъ жизни въ чешскихъ земляхъ. Отъ нѣмцевъ при этомъ никто ничего не беретъ, зато будетъ уничтожено централизованное безправіе, которое никогда не приносило пользы ни нѣмецкой націи, ни культурѣ».

Точную формулировку взгляда Масарика на вопросы, касающіеся чешско-нѣмецкихъ отношений, мы находимъ также въ политической программѣ его партіи, опубликованной въ апрѣлѣ 1902 года. III-й параграфъ программы гласитъ: «соглашеніе съ нѣмецкими согражданами является исторической необходимостью, тѣмъ большей, что чешское населеніе на обширной территоріи, въ важныхъ и многочисленныхъ пунктахъ, сложно переплетается съ нѣмецкимъ. Лишь благодаря такому примиренію возможно будетъ обратить больше вниманія на экономическія, социальныя и вообще культурныя проблемы. Мы желаемъ добиться такого соглашенія, которое намъ обезпечило бы полное равноправіе, а благодаря ему и политическую свободу, особенно же самоуправленіе. Мы хотимъ, чтобы всѣ конституціонныя и государственныя измѣненія, которыхъ мы требуемъ, были осуществлены въ полномъ согласіи съ нашими нѣмецкими соотечественниками. Существен-

ной основой мира должно быть самоуправление: «ты хозяин, я хозяин», какъ сказалъ въ свое время Гавличекъ. Развитие всѣхъ учреждений въ чешскихъ земляхъ указываетъ на національное раздѣленіе; мы принципиально за раздѣленіе, дающее каждому народу возможность вести самому свои дѣла и самому за нихъ отвѣчать. Мы не видимъ въ подобномъ раздѣленіи нарушенія единства страны, а, наоборотъ, видимъ въ немъ возможность подлиннаго и органическаго сотрудничества. Мы не протестуемъ противъ національнаго разграниченія судебныхъ, избирательныхъ и вообще исполнительныхъ округовъ; въ зависимости отъ потребностей могли бы быть раздѣлены по національному принципу даже отдѣльныя коммуны; въ особенности это касается вопросовъ культурныхъ (школы). Мы не выступаемъ и противъ раздѣленія по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ наиболее важныхъ учреждений въ странѣ; однако, каждое такое раздѣленіе и разграниченіе должно имѣть въ виду потребности управленія и волю народонаселенія. Семьи при національномъ раздѣленіи избирательныхъ округовъ могутъ быть раздѣлены на національныя куріи. Национальныя меньшинства, особенно же ихъ школы, должны быть охраняемы и обезпечиваемы».

Эта программа 1900 года въ своей основѣ совпадаетъ съ тѣмъ, что десять лѣтъ спустя (1910) мы узнаемъ о взглядахъ Масарика отъ одного изъ самыхъ близкихъ его сотрудниковъ, редактора Б. Главача. Въ статьѣ, написанной въ сборникъ по случаю 60-лѣтія Масарика, Главачъ приводитъ слова, сказанныя Масарикомъ о нѣмцахъ: «...Они наши сосѣди, у насъ съ ними общія мѣста жительства, мы постоянно сталкиваемся съ ними по политическимъ, экономическимъ и культурнымъ вопросамъ. Иначе это не можетъ и быть, поэтому мы должны искать какой нибудь *modus vivendi*, мирный выходъ. Миръ на ясной основѣ демократическаго равноправія... Наше примиреніе не будетъ ни нѣжничаньемъ, ни братаніемъ, но будетъ договоромъ двухъ мужественныхъ соперниковъ. Грубой ошибкой было бы думать, что вся наша исторія не представляетъ собою ничего иного, какъ только постоянную борьбу съ нѣмцами и правительствомъ — столь ничтожными мы никогда не были и не будемъ». Масарикъ, по словамъ Главача, надѣялся на то, что, если бы когда-нибудь было осуществлено мужественное, серьезное и ни для кого не оскорбительное соглашеніе между нами и нѣмцами, то оно безусловно усилило бы чешско-нѣ-

мецкую коалицію въ парламентѣ и создало бы возможность славнаго и мощнаго развитія чешскаго народа. Видя одно изъ препятствій для этого соглашенія въ вопросѣ о языкѣ, онъ былъ за разрѣшеніе его съ помощью введенія одноязычности вмѣсто существовавшей до тѣхъ поръ двуязычности.

Въ настоящее время не имѣло бы смысла спорить о томъ, насколько было правильно въ то время требованіе Масарика единойзычія въ чешскихъ земляхъ, съ которымъ соглашались и нѣкоторыя другія политическія партіи; большинство чешской политической общественности все же относилось къ нему отрицательно, ибо видѣло въ осуществленіи единойзычія, точно такъ же какъ и въ языковомъ раздѣленіи, большую опасность, грозящую единству самихъ земель. Нельзя забывать, что такое разрѣшеніе языковаго вопроса Масарикъ рекомендовалъ въ эпоху, когда чешскія земли были частью Габсбургской имперіи, что уменьшало бы въ значительной степени опасность внутренняго разложенья, могущаго таиться въ ихъ раздѣленіи на единойзычныя области.

Какъ бы ни судить объ этой части довоенной программы Масарика, надо сказать, что самъ Масарикъ въ періодъ великой борьбы за нашу независимость не порповѣдывалъ ее, а послѣ войны, будучи уже президентомъ Чехословацкой республики, совершенно отъ нея отказался, заявивъ, что двуязычность въ государственныхъ учрежденіяхъ является наиболее практичнымъ разрѣшеніемъ вопроса («Міровая революція»). Въ «Новой Европѣ» 1918 года Масарикъ не касался прямо этого вопроса, останавливаясь лишь на основныхъ принципахъ устройства будущей Европы въ національномъ отношеніи. «Если Европа дѣйствительно должна стать демократической и если долженъ наступить окончательный миръ, необходимо прежде всего разрѣшить національную проблему; несмотря на это, при данномъ положеніи вещей мы должны ожидать, что и въ обновленной Европѣ останутся еще національныя меньшинства», такимъ образомъ, еще будутъ смѣшанныя государства. Однако, задача заключается въ томъ, чтобы эти меньшинства состояли изъ одного народа. При реконструкціи необходимо руководиться правиломъ, что меньшинства должны быть возможно малыми и всѣ ихъ гражданскія права должны быть охраняемы. Поэтому на мирномъ конгрессѣ могъ бы быть принятъ національный законъ меньшинствъ и могъ бы быть организованъ международный национальный трибуналъ (при Лигѣ Націй)... Свободныя меньшинства будутъ играть важную роль въ организованной Европѣ: они будутъ помогать развитію подлинна-

го интернационализма». Въ другомъ мѣстѣ «Новой Европы» мы читаемъ: «Несмотря на то, что мы защищаемъ національный принципъ, мы хотимъ удержать свои меньшинства, особенно же нѣмцевъ. Это можетъ показаться парадоксомъ, но мы хотимъ удержать ихъ какъ разъ на основаніи національнаго принципа. Чехія является весьма своеобразнымъ примѣромъ національно-смѣшанной страны. Этнографическая граница между итальянцами и нѣмцами весьма проста и точно определена. Въ Чехіи нѣтъ ничего подобнаго; во многихъ мѣстахъ и во всѣхъ городахъ (нѣмецкихъ) имѣются чешскія меньшинства. Нѣмцы возражаютъ, что чешскія меньшинства въ сѣверной Чехіи и т. д. состоятъ «лишь» изъ рабочихъ, т. е. изъ людей, живущихъ нѣмецкимъ хлѣбомъ; этотъ почти социальный аргументъ и по существу совершенно неправиленъ и не соответствуетъ индустриализаціи Чехіи, которая требуетъ рабочихъ и главнымъ образомъ приводитъ чешскихъ рабочихъ въ нѣмецкіе города. Между прочимъ, какъ разъ нѣмцы сами звали чеховъ, отдавая преимущество чешскимъ рабочимъ передъ нѣмецкими». Къ этому присоединены слѣдующія общія разсужденія: «Вопросъ о національныхъ меньшинствахъ имѣетъ рѣшающее значеніе не только для Чехіи, но почти для всѣхъ государствъ, такъ какъ почти всѣ они національно смѣшаны. Если новая Европа не будетъ построена на ясномъ національномъ принципѣ, то національныя меньшинства должны будутъ быть обезпечены. Такъ будетъ по крайней мѣрѣ въ Чехіи. Въ виду своего центрального положенія Чехословацкое государство будетъ всегда заинтересовано въ томъ, чтобы нѣмцамъ и остальнымъ меньшинствамъ были обезпечены полныя права. Этого требуетъ здравый смыслъ».

Принципамъ, провозглашавшимся во время борьбы за новую Европу, важной частью которой должно было стать и дѣйствительно затѣмъ стало свободное Чехословацкое государство, Масарикъ остался вѣренъ и какъ первый президентъ республики. Это легко было бы прослѣдить какъ во всѣхъ его высказываніяхъ, такъ и въ дѣйствіяхъ, совершенныхъ имъ за время своего президентства. Разсмотрѣніе ихъ однако выходитъ за предѣлы данной статьи.

К. Крофта.

Свобода и техника

O liberté! Charme de mon existence, sans
qui le travail est torture et la vie une longue
mort!

Proudhon.

1.

Техническая революція, начавшаяся 150 лѣтъ назадъ, представляетъ собой наиболѣе поразительное явленіе изъ всего того, что намъ извѣстно объ исторіи человѣчества. «Въ самомъ буквальномъ смыслѣ вѣрно», говоритъ Рандаль*), «что для обыкновеннаго человѣка основные элементы труда и развлечения не подверглись существеннымъ измѣненіямъ отъ дней Хеопса строителя пирамидъ, до временъ Вашингтона, и что въ промежуткѣ времени отъ Вашингтона до нашихъ дней преобразование было почти волшебнымъ. Въ наше время въ теченіе одного десятилѣтія происходитъ больше перемѣнъ, чѣмъ прежде въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ, и скорость измѣненій все увеличивается».

Совершенно очевидно, что каждое техническое изобрѣтеніе, давая въ руки человѣку новое орудіе, увеличиваетъ для него — по крайней мѣрѣ теоретически — возможность выбора, и, слѣдовательно, расширяетъ его свободу. Находясь у себя дома, человѣкъ можетъ общаться лишь съ нѣсколькими лицами, его окружающими; но если передъ нимъ стоитъ телефонъ, онъ пріобрѣтаетъ возможность общенія съ любымъ изъ тысячъ и миллионныхъ людей; радіо и синема позволяютъ выбирать между множествомъ развлеченій, автомобиль и аэропланъ между множествомъ положеній въ пространствѣ и т. д. Свобода человѣка безконечно увеличивается по отношенію къ физическимъ условіямъ его существованія.

Также очевидно, что это расширеніе физической свободы сопровождается суженіемъ свободы соціальной. Вагнеровскіе

*) L. H. Randall, The making of the modern mind, стр. 594.

герои, живущие среди диких лѣсовъ, ни отъ кого не зависятъ. Но и крестьянинъ, обрабатывающій свой участокъ земли, лишь въ малой степени испытываетъ соціальныя ограниченія свободы. Техническая революція привела прежде всего къ неслыханному росту населенія: мѣръ сталъ тѣснѣе, и неизбѣжно увеличилась зависимость человѣка отъ окружающихъ людей. Усовершенствованные способы передвиженія и сообщенія, расширяющіе сферу дѣятельности каждаго человѣка, увеличиваютъ эту тѣсноту: ежедневное бѣдствіе загроможденія парижскихъ или нью-йоркскихъ улицъ, съ которымъ такъ упорно и такъ безуспѣшно борются, является лишь внѣшнимъ выраженіемъ аналогичныхъ, но болѣе глубокихъ явленій. Указанія полицейской палочки или сигнала автоматовъ становятся необходимыми для того, чтобы люди могли существовать въ тѣснотѣ. Подъ дѣйствіемъ этихъ сигналовъ отдѣльные индивиды сбиваются въ организованныя толпы, двигающіяся, какъ одно цѣлое.

Каждое новое техническое изобрѣтеніе вызываетъ необходимость, ради использования его, подчиниться извѣстному порядку, и сверхъ существующихъ системъ дисциплины налагаетъ свою новую дисциплину. Все будущее человѣка опредѣляется тѣмъ, сможетъ ли онъ преодолѣть это подчиненіе, т. е., освоившись съ нимъ, сохранить внутреннюю свободу и овладѣть могуществомъ, заключающимся въ техникѣ, или же, ставши частью цѣлага, утратить ту цѣль, ради которой только и можетъ быть осмыслена техника. Совершенно естественно поэтому, что важнѣйшая проблема современности (экономическая, политическая, духовная), вокругъ которой происходитъ борьба и раздѣленіе, есть проблема свободы, т. е. взаимоотношеній индивида и коллектива.

Между тѣмъ, принципъ свободы представляется нашему поколѣнію чѣмъ-то безнадежно пустымъ и плоскимъ. Тема свободы, долгое время наполнявшая политическую литературу, давно уже изсякла, будучи исчерпана до конца. Нѣкоторыя ея положенія кажутся смѣшными и старомодными; многія превратились въ школьныя прописи, которыхъ неловко касаться, вслѣдствіе крайней ихъ тривіальности.

Однако, это чувство неловкости приходится преодолѣть: такъ какъ на очередь поставлены и сомнѣнію подвергнуты самыя основы современнаго общежитія, то очевидно нельзя избѣжать повторенія азовъ, т. е. пересмотра формулъ тѣхъ временъ, когда эти основы складывались. Чтобы придти къ правильной постановкѣ современной проблемы, надо связать ее съ

начальными элементами той, — когда-то напряженно-страстной, а теперь полузабытой — дискуссии о свободѣ, которая тянулась въ Европѣ болѣе ста лѣтъ.

2.

«Свобода есть право дѣлать все то, что дозволено законами» — классическое опредѣленіе Монтескье до сихъ поръ сохраняетъ свою свѣжесть.

Подобно современникамъ Монтескье (а можетъ быть и въ большей мѣрѣ, чѣмъ они) мы можемъ оцѣнить дальнѣйшее поясненіе, которое нѣсколькимъ промежуточнымъ поколѣніямъ должно было казаться безсодержательнымъ:

«политическая свобода гражданина состоитъ въ томъ спокойствіи духа, которое происходитъ отъ увѣренности каждаго въ своей безопасности... Нужно... чтобы гражданинъ не могъ опасаться другого гражданина».

Такимъ образомъ, свобода есть психическое состояніе; субъектомъ психическаго состоянія всегда является индивидъ; свобода всегда индивидуальна, т. е. она есть свобода отдѣльнаго человѣка.

Въ настоящее время врядъ ли нужно прибавлять, что эта концепція XVIII-го вѣка вовсе не была поверхностно-формальной. Формалистично воспринимали ее люди вольтеровскаго духа, несклонные къ глубокимъ конструкціямъ и легко мирящіеся съ неправдой сего міра. Но Вольтеръ, несмотря на всю свою славу, никогда не былъ настоящимъ вождемъ школы; для истинныхъ же представителей просвѣщенія за понятіемъ свободы скрываются совершенно опредѣленные социальныя воззрѣнія. Свободное общество рисуется человѣку 18-го столѣтія какъ идеализированная античная община, конечно освобожденная отъ позорнаго института рабства. Это есть общество мелкихъ собственниковъ. Свободный гражданинъ — земледѣлецъ, какъ Цинцинать, или ремесленникъ, какъ Сократъ. Онъ — трудящійся собственникъ.

Идея собственности, для людей Просвѣщенія, не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшаго оттъѣка привилегіи; напротивъ, это есть орудіе для обезпеченія всеобщаго благополучія.

Каждый имѣетъ право на трудовое обезпеченное существованіе; власть была бы обязана, хотя бы путемъ большихъ затратъ, предоставить каждому работу, если бы осуществленіе

этого права не достигалось само собой, благодаря свободному обращению благъ.

Это ученіе XVIII-го вѣка о свободѣ, вызвавшее такія глубокія измѣненія въ мірѣ, рухнуло лишь тогда, когда свобода воплотилась въ жизнь, и стало очевидно, что ея недостаточно для обезпеченія людямъ человѣческаго существованія.

Первая социалистическая литература строится какъ отвѣтъ философамъ Просвѣщенія и ихъ наслѣдникамъ-экономистамъ. «Планъ» сень-симонистовъ грозно возражаетъ — черезъ три четверти вѣка — на ученія энциклопедистовъ и физиократовъ. «Что же намъ говорятъ наши легисты, публицисты, экономисты? Смогутъ ли ихъ наука намъ доказать, что богатство и нищета должны остаться наслѣдственными?... Смогутъ ли она намъ доказать, что сынъ бѣдняка такъ же свободенъ, какъ и сынъ богача? Свободенъ! Когда нѣтъ куса хлѣба...»

Оказалось, что въ свободномъ обществѣ собственность все не распредѣляется между всѣми, или по крайней мѣрѣ между всѣми достойными, а напротивъ — превращается въ монополію меньшинства; что свободная конкуренція, отъ которой ожидали такихъ благотѣльныхъ воздѣйствій, безсильна, потому что участіе въ ней также доступно лишь членамъ этого привилегированнаго меньшинства; что огромная часть населенія лишена собственнаго крова, и какъ бы стоитъ лагеремъ среди чуждаго и враждебнаго ей общества *).

Это положеніе настолько нестерпимо; что нужно немедленно найти какой-то выходъ. Фурье, со своей обезоруживающей наивностью, такъ и говоритъ: «надо изобрѣсти такой режимъ, въ которомъ каждый, даже самый бѣдный плебей, былъ бы соучастникомъ и собственникомъ».

Изобрѣтеніе комивояжера Фурье заключалось, какъ извѣстно, въ расселеніи людей по гостиницамъ (окруженнымъ мастерскими, садами и полями), въ которыхъ номера, а также и рестораны, примыкающіе къ гостиницѣ, были бы разнаго достоинства, въ зависимости отъ капитала и труда, вложеннаго постояльцами въ общее предпріятіе, а жизнь заключалась бы въ быстрой смѣнѣ различныхъ работъ, организованныхъ по артельному-акціонерному принципу.

Надъ Фурье очень легко смѣяться — вѣрнѣе, трудно не смѣяться, — а между тѣмъ, этому несомнѣнно гениальному че-

* По знаменитому выраженію Канта: «le prolétariat campe au milieu de la société occidentale, sans y être encore casé» (Politique positive, t. II ch. 6).

ловѣку дѣйствительно принадлежитъ честь настоящаго изобрѣтенія, хотя и неприложимаго. Объ остальныхъ основоположникахъ социализма и того нельзя сказать, потому что ихъ изобрѣтенія, поскольку они ихъ высказывали съ достаточной ясностью, сводились къ идеѣ, старой, какъ человѣчество: къ тому, чтобы сосредоточить производство и распредѣленіе благъ въ рукахъ правительства.

Сущность этого второго этапа дискуссіи о свободѣ съ достаточной ясностью опредѣлилась къ 48-му году; когда въ исторической рабочей комиссіи въ Люксембургѣ, подъ предсѣдательствомъ Луи Блана, принялись выработать систему организации труда, обнаружилось, что, несмотря на всѣ разглагольствованія объ ассоціацияхъ, ничего конкретнаго и реальнаго, кромѣ огосударствленія производства, придумать невозможно.

Этотъ діалектическій скачекъ середины прошлаго вѣка отъ мечты о счастливой и свободной организации человѣка къ коллективистическому рабству, конечно, производить потрясающее впечатлѣніе *). Отклики его до сихъ поръ сохраняютъ всю свою силу.

У Ламеннэ есть страницы, на которыхъ вопросъ ставится съ непревзойденной ясностью:

«Чтобы свобода была индивидуальной — а свобода можетъ быть только индивидуальной — нужно, чтобы... и собственность, сообразно природѣ своей, была индивидуальной... Между тѣмъ, социалисты и коммунисты... предлагаютъ, какъ средство для уничтоженія пролетаріата и освобожденія пролетарія, абсолютную концентрацію собственности въ рукахъ государства; въ самыхъ общихъ терминахъ, задача, которую надо разрѣшить, и рѣшеніе, которое дають эти двѣ системы, могутъ быть выражены слѣдующимъ образомъ:

Задача: найти организацію, при которой всѣ были бы собственниками.

Рѣшеніе: произвести переустройство, при которомъ никто не былъ бы собственникомъ.

Или же:

Задача: осуществить условія всеобщей свободы.

*) Заключение Шигалева въ «Бѣсахъ», «выходя изъ безграничной свободы я заключаю безграничнымъ деспотизмомъ», въ сущности, даже не карикатура: это глава изъ исторіи идей, сгущенная въ формулу.

Рѣшеніе: учредить основы всеобщаго рабства».

Еще ярче и сокрушительнѣй аргументація Прудона. Этотъ человекъ, прославившійся озорной фразой «la propriété — c'est le vol», создалъ самую глубокую формулировку неразрывной связи между свободой и собственностью.

«Для того, чтобы гражданинъ представлялъ собой нѣчто въ государствѣ, недостаточно, чтобы онъ былъ лично свободенъ; нужно, чтобы его личность, какъ и личность государства, опиралась на частицу матеріи, надъ которой бы онъ господствовалъ суверенно... Это условіе выполняется собственностью.

Служить противомъ власти, уравнивать государство, обеспечивать такимъ путемъ индивидуальную свободу: такова, въ политической системѣ, важнѣйшая функція собственности; уничтожьте эту функцію или, что равносильно, отнимите у собственности ея абсолютный характеръ; обставьте ее условіями, объявите ее неотчуждаемой или недѣлимой, тотчасъ же она теряетъ свою силу, и ничего болѣе не вѣситъ... Государственная власть есть сила стремящаяся къ концентраціи; дайте ей просторъ, и вскорѣ всякая индивидуальность исчезнетъ, поглощенная коллективомъ; общество впадетъ въ коммунизмъ; собственность, напротивъ, есть сила, стремящаяся къ децентрализаціи; будучи сама абсолютной, она анти-деспотична и анти-унитарна *)).

Въ сущности, на этомъ столѣтняя дискуссія заканчивается. Тема исчерпана. Свобода, воплотившаяся въ «принципахъ 89-го года», оказалась мнимой, вѣрнѣе — доступной лишь меньшинству; для освобожденія большинства выдвинуто было только одно средство: коллективизмъ, т. е. полный отказъ отъ свободы, абсолютное рабство.

Выхода какъ будто нѣтъ. Дѣйствительно, съ Прудономъ обрывается такъ наз. утопическій социализмъ, серія такихъ коллективистическихъ системъ, авторы которыхъ предлагали, вмѣсто существующаго экономическаго строя, установить другой, придуманный ими. Наступаетъ эра научнаго социализма, т. е. такого, который рѣшительно ничего не предлагаетъ, а просто призываетъ разрушить существующую экономическую систему (точнѣе — способствовать ея неминуемому разрушенію), въ виду того, что на развалинахъ возникнетъ новый строй, опи-

*) Théorie de la propriété, ch. 6.

сать который заранее невозможно, но который непременно будет соответствовать идеалу, совмеща в себя категории свободы и материального благополучия. Новое социалистическое движение, достигшее неслыханной широты и выработавшее целый ряд временных конкретных программ, в коренном вопросе общественного устройства довольствовалось мистической верой в прыжок из царства необходимости в царство свободы.

3.

Задача уничтожения пролетариата, поставленная в первой половине XIX века, осталась неразрешенной. Во второй половине века, пролетарии, из нищих и беззащитных париев, превратились в полноправных избирателей; путем упорной борьбы целых поколений, они добились больше или меньше человеческой оплаты труда, приобрели пиджаки и галстуки, из вонючих притонов переехали в дешевые квартиры с душем и газом; нередко быть рабочим мог казаться крестьянину образцом комфорта и достатка.

Но при всем том, пролетарий, хотя и вооруженный избирательной карточкой, не стал настоящим гражданином общества, основанного на свободном обращении благ; будучи лишен экономической свободы, выполняя зависимую и рабскую роль в процессе производства, не участвуя в свободной конкуренции, — этой основе гражданского общения — и, следовательно, не имея надежды индивидуальными усилиями обеспечить рост своего благополучия, пролетарий оставался чужеродным элементом, не поддающимся духовной ассимиляции, гражданином фантастического будущего полиса.

Пролетария не удалось сто лет назад приобщить к индустриальному соревнованию, сделать его соучастником общества собственников, свободным тружеником, лично ответственным за свою судьбу. Произошло обратное: пролетарский дух коллективной анонимности и личной безответственности постепенно охватил все общество.

Этот процесс, начало которого лежит еще в XIX в., на наших глазах приводит к полному изменению социальной структуры; в самой сердцевине общественных отношений — в области гражданского права — с неслыханной быстротой преобразуются основные институты, воплощающие в себя вековые принципы европейской культуры, выращенные ею идеи

человѣческой личности, идеи свободы человѣка и его назначенія на землѣ.

Такія преобразованія привлекаютъ общее вниманіе и облекаются въ яркія декларативныя формулы, поскольку они связаны съ перекраской политическаго зданія; но гораздо значительнѣе то, что въ обществахъ наиболѣе устойчивыхъ и держащихся пока что за прежнія формы политическаго быта, хотя и нѣсколько медленнѣе, но происходитъ та же глубокая внутренняя трансформация.

Для задачъ настоящей статьи достаточно нѣсколькихъ примѣровъ.

Не приходится доказывать, что вещныя права со дня на день геряютъ свой абсолютный характеръ. Каждый знаетъ, что собственникъ предпріятія подчиненъ въ наши дни сложной регламентации, опредѣляющей, въ какіе часы онъ можетъ использовать свою собственность, каковы должны быть мѣгоды производства и т. д.

Свобода договоровъ постепенно исчезаетъ. Современная доктрина и юриспруденція приписываютъ судѣ новую роль, заставляютъ его оцѣнивать сдѣлку съ точки зрѣнія общественныхъ интересовъ, и даже съ точки зрѣнія цѣлесообразности, предоставляя возможность отказать въ правовой защитѣ, подъ предлогомъ экономической бесполезности сдѣлки.

Чѣмъ же долженъ руководствоваться судья, выполняя свою новую функцію, которая предполагаетъ энциклопедическую полноту техническихъ и хозяйственныхъ познаній? Гдѣ найдетъ онъ критерій общественной пользы? Очевидно, этотъ критерій будетъ данъ соответственными органами власти, наиболѣе компетентными въ данномъ вопросѣ. Такъ автономія чело-вѣческой воли замѣняется постановленіемъ администраціи.

Съ этимъ связано и новое теоретическое ученіе о договорѣ, по которому правоотношеніе вовсе не создается волей сторонъ; оно всегда есть порожденіе коллектива; стороны лишь прилагаютъ къ конкретному случаю эту волю коллектива.

Логическимъ порожденіемъ новой системы воззрѣній является и теорія о злоупотребленіи правомъ. Повѣтка назадъ еще безраздѣльно господствовала римская максима: *neminem laedit qui suo jure nititur*. Считалось совершенно безсмысленнымъ спрашивать, почему человѣкъ такъ или иначе используетъ свое право. Въ настоящее время, напротивъ, все глубже укореняется ученіе, по которому всѣ права относительны: они даны человѣку для опредѣленной цѣли. Использование права ради анти-соціальной цѣли есть злоупотребленіе. Слѣдовательно,

субъектъ права долженъ отчитываться въ осуществленіи даннаго ему правомочія. Чтобы опредѣлить взаимоотношенія сторонъ, ихъ права на возмѣщеніе убытковъ и т. д., нужно поставить вопросъ не только о томъ, напр., имѣлъ ли собственникъ или наниматель право расторгнуть договоръ о наймѣ, но и о томъ, съ какой цѣлью онъ его расторгнулъ.

Примѣненіе телеологическаго понятія социальности логически приводитъ къ тому, что всѣ границы правовыхъ сферъ стираются. Нѣтъ болѣе твердо очерченнаго пространства, въ которомъ человѣкъ можетъ распоряжаться исключительно по своему разумію. Напротивъ, онъ всегда обязанъ дѣйствовать ради социальныхъ цѣлей, т. е. находится въ неограниченной зависимости отъ тѣхъ, кто опредѣляетъ конкретное содержаніе этихъ цѣлей.

Такимъ образомъ, субъективное право исчезаетъ. У индивида нѣтъ болѣе правъ, а одні лишь обязанности: онъ является обязанностями не по отношенію къ ближнимъ, но къ коллективу, который и становится единственнымъ субъектомъ всѣхъ правъ.

Ни въ чемъ, однако, не сказывается съ такой яркостью новая пролетарско-коллективистическая концепція міра, какъ въ понятіи риска и ответственности.

Индивидуальная свобода означаетъ, что человѣкъ самъ выбираетъ свой путь и несетъ всѣ послѣдствія выбора. Заключивши обязательство, онъ долженъ исполнить его изъ послѣднихъ силъ, хотя бы его рѣшеніе было въ свое время основано на ошибочномъ расчетѣ, на недостаточномъ предвидѣніи будущаго и т. д. Судьба на каждомъ шагѣ подстерегаетъ человѣка, и онъ борется съ ней за свой страхъ и рискъ, самостоятельно переноситъ ея удары. Если случайно погибла вещь, тѣмъ хуже для собственника: *res perit domino*; если случайно пострадалъ человѣкъ, тѣмъ хуже для него: никто не отвѣтственъ за его судьбу.

За послѣдніе десятки лѣтъ эти взгляды подверглись глубокому измѣненію. Нечего и говорить, какъ уменьшилась отвѣтственность за принятія на себя обязательства. Отвѣтственность должника своей личностью кажется намъ далекимъ варварствомъ, хотя всего сто лѣтъ назадъ долговая тюрьма существовала повсюду. Постепенно ограничивается и ослабѣваетъ и имущественная отвѣтственность.

Отказываясь отвѣчать по своимъ обязательствамъ, человѣкъ еще рѣшительнѣе отказывается переносить падающіе на него удары судьбы. Принципъ ответственности за дѣйствія вытѣс-

няется принципомъ возмѣщенія ущерба. Когда машина наноситъ увѣче рабочему, не ставятъ вопроса, произошло ли это по винѣ фабриканта, или же самого пострадавшаго. Рабочій — человѣкъ зависимый, и хозяинъ стоитъ между нимъ и судьбой.

Этотъ принципъ устраненія риска постепенно проникаетъ все общество. Каждая катастрофа должна дать право на возмѣщеніе ущерба. Рискъ въ конечномъ счетѣ падаетъ на общество, путемъ ли всеобщей практики страхованія, или путемъ прямого вмѣшательства власти, приходящей на помощь тѣмъ, кто пострадалъ при наводненіяхъ, пожарахъ, градобитіяхъ и т. п. Страхуваніе комерческой прибыли, допускаемое въ нѣкоторыхъ случаяхъ, есть крайнее и парадоксальное выраженіе этой тенденціи. Рискъ социализируется; человѣкъ переноситъ отвѣтственность за свою судьбу со своихъ плечъ на плечи коллектива.

4.

Хотя и съ различной быстротой, новый правовой порядокъ кристаллизуется повсемѣстно. Нѣтъ болѣе государствъ, которыя оставались бы на почвѣ индивидуализма. Кодексъ Наполеона — этотъ символъ свободнаго гражданскаго общества — отмираетъ даже на своей родинѣ.

«Гражданское право съ каждымъ днемъ исчезаетъ подъ потокомъ отдѣльныхъ распоряженій... Юристы-практики хорошо знаютъ, что гражданскій кодексъ почти не примѣняется болѣе».

«...Чтобы утѣшиться, юристы повторяютъ, что новое право есть право исключительное; профессора его не преподаютъ и въ учебникахъ гражданскаго права о немъ не пишутъ... Но въ то время, какъ они вздыхаютъ о закатѣ великихъ принциповъ, исключительные законы увеличиваются въ числѣ и въ значеніи; они управляютъ всей жизнью. Къ прежнему праву болѣе не вернуться» *).

Какъ въ XIX в. различныя европейскія государства, въ своемъ конституціонномъ устройствѣ, несмотря на нѣкоторыя индивидуальныя особенности, представляли собой различные этапы одного общаго процесса развитія, направленіе котораго

*) Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, 1936

было совершенно очевидно — от абсолютизма къ демократіи; — такъ теперь, по социальной своей организаціи, отдѣльныя государства воплощаютъ различныя фазы единой эволюціи — отъ индивидуализма къ коллективизму.

Новыя начала, входящія въ жизнь, почти не вызываютъ принципиальнаго сопротивленія. Борьба ведется вокругъ групповыхъ и классовыхъ интересовъ, носитъ поверхностный характеръ, не соответствующій глубинѣ и грандіозности происходящихъ переменъ.

Нѣкогда Бенжаменъ Констанъ вѣрилъ, что «деспотизмъ, бывшій возможнымъ у древнихъ, невозможенъ у современныхъ людей», такъ какъ европейцы, предавныя личной свободѣ, стали бы упорно защищать ее. Въ дѣйствительности, отреченіе индивида отъ своей самостоятельности произошло и происходитъ на нашихъ глазахъ безропотно, потому что для большинства людей подлинная жизнь давно уже протекаетъ въ условіяхъ личной зависимости; а можетъ быть въ еще большей мѣрѣ потому, что принципъ свободы давно уже утратилъ свой этический вѣсъ — съ того самаго времени, какъ оказалось, что свобода не спасаетъ бѣдняка отъ голодной смерти.

Современная борьба ведется не противъ начала коллективизма, какъ такового, а вокругъ различныхъ способовъ его осуществленія; тѣ промежуточныя формы, которыя Западная Европа противопоставляетъ надвигающемуся чудовищу, сводятся по преимуществу къ защитѣ привилегій, предоставляемыхъ извѣстнымъ группамъ лицъ прежними институтами, при утратѣ социальнаго смысла, содержащагося въ этихъ институтахъ.

Провозглашеніе собственности «общественной функцией» явилось отвѣтомъ на революціонное требованіе экспроприаціи; но, отрекаясь отъ своей истинной функции свободнаго руководства и связаннаго съ нимъ риска, признавъ относительность своихъ правъ и подчиняясь все болѣе тѣсной регламентаціи, г. е. сдавая свои принципиальныя позиціи, собственникъ только выгадываетъ время. Рокового конца этими средствами все равно не избѣжать. Средневѣковое государство могло предписывать портнымъ и сапожникамъ детали ихъ производства, оставляя ихъ все же хозяевами предпріятій; при современной техникѣ это совершенно бессмысленно. Функции надзора и исполненія гораздо лучше осуществить присланный государствомъ инженеръ. Собственникъ, ограниченный въ правахъ и въ отвѣтственности, неизбѣжно обреченъ на исчезновеніе.

Въ современномъ мірѣ нѣтъ социальнаго идеала, который могъ бы быть противопоставленъ побѣдоносному коллективиз-

чу. Человѣкъ колеблется между различными коллективами, въ особенности между классомъ и націей, но каждый изъ нихъ одинаково поглощаетъ личность до конца. Всего сорокъ лѣтъ назадъ Жоресъ могъ съ полнымъ убѣжденіемъ писать, что «соціализмъ есть логическое и полное завершеніе индивидуализма»; въ настоящее время крики о «расцвѣтѣ личности» въ Сов Союзѣ только подчеркиваютъ, что лишенный субъективныхъ правъ, утратившій юридическую и экономическую свободу, человѣкъ перестаетъ быть самимъ собой, и становится частью общественнаго инвентаря. Явленія, которыя еще вызываютъ въ настоящее время отвращеніе и жгучую полемику, какъ отказъ отъ правила *nulla poena sine lege*, стерилизаціи и вообще начатки принудительной евгеники, принципиальная отмѣна свободной мысли — все это совершенно логическія и необходимыя мѣры для соціальнаго регулированія извѣстныхъ сферъ человѣческаго поведенія съ того момента, какъ индивидъ пересталъ быть самостоятельной личностью и вся отвѣтственность за его судьбу перешла къ коллективу.

Б.

Побѣда коллективизма есть, конечно, слѣдствіе технической революціи, но притомъ вовсе не новѣйшей ея фазы, начавшейся лѣтъ 20-30 назадъ, а тѣхъ великихъ изобрѣтеній, которыя создали промышленность XIX вѣка. Съ того времени, какъ толпы рабочихъ собрались вокругъ машинъ, и общественный строй, основанный на идеалахъ эпохи Просвѣщенія, не могъ найти имъ мѣста, его судьба была рѣшена. Соціально-психическія основы происходящей на нашихъ глазахъ трансформациіи цѣликомъ лежатъ въ прошломъ вѣкѣ.

Однако, благодаря новѣйшимъ достижениямъ техники, коллективистическая идея — этотъ, по выраженію Прудона, «допотопный абсурдъ, ползушій, въ теченіе тридцати вѣковъ, среди общества, какъ улитка среди цвѣтовъ», начинается играть новыми красками. 150 лѣтъ назадъ Бабефъ хотѣлъ посадить человѣчество на солдатскій паекъ; идеальныя общины Кабе или Оуэна, въ серединѣ XIX в., также могли предложить не многимъ больше. Въ настоящее время соблазнъ принимаетъ гораздо болѣе заманчивыя формы.

Какъ извѣстно, группа американскихъ инженеровъ выступила въ 1932 г. съ предложеніемъ осчастливить человѣчество, причемъ ихъ проекты ни въ какой связи не стояли съ исторически развившимися соціальными идеями, а покоились всецѣ-

до на технических наблюдений и расчетах. Они исходили из того, что в технике наступил перелом. До Великой войны машины помогали человеку, со времени войны он стал вытеснять человека. В течение 5.000 лет работник производил в день 450 кирпичей, теперь он производит 400 тысяч кирпичей в день; сто лет назад работник за год производил 25 тонн чугуна, а теперь 4.000 тонн. Значение человеческого труда, человеческого материального усилия с начала XX века, а особенно в последние годы имеет тенденцию сойти к нулю. Физическая сила рабочего населения Соед. Штатов всего 3,6 миллиона HP, действительное же количество энергии, которым располагают Соед. Штаты, — миллиард лошадиных сил. Возникают фабрики, в которых вообще нет применения человеческой силы: они управляются одним человеком, который даже находится не на самой фабрике, а далеко от нее, в конторе, и там нажимом кнопки приводит машины в действие. Возможности индустрии далеко превосходят человеческие потребности. Фабрики, существующие в Соед. Штатах, могут произвести в год 900 миллионов пар обуви, т. е. в несколько раз больше, чем нужно. Приходится принимать ограничительные меры, чтобы избежать бедствий, происходящих от технического богатства. Если бы свободно применять радио, она бы уничтожила шерстяную, бумажную и хлопчатобумажную индустрию, и люди имели бы за гроши всевозможные ткани и бумагу; если бы новые изобретения не подвергались корыстному бойкоту, то вместо обыкновенных ножей для безопасной бритвы, можно было бы изготовить непритупляющиеся ножи, которые стояли бы всего на 20% дороже и служили бы владельцу всю жизнь; можно бы пустить в продажу вечные спички и т. д., и т. д.

Смысл этого нового Евангелия сводился к тому, что достаточно обществу взять в свои руки производство и организовать его рационально, используя все возможности современной техники, чтобы в Соед. Штатах всему населению была обеспечена уровень жизни в 10 раз более высокой, нежели в 1929 г., который был, как известно, кульминационным годом американской prosperity; при этом работать каждому пришлось бы всего 660 час. в год, т. е. около 2 час. в день.

Теория технократов подверглись жесточайшей критикой. В их вычислениях найдены были грубые ошибки. В частности, они исходили из предположения, что промышленность реорганизована по наиболее рациональным методам и целиком снабжена самым усовершенствованным оборудовани-

емъ, но не думали о томъ, гдѣ взять средства для такой ея реорганизациіи.

Эта критика была сокрушительна, поскольку технократы считали свое ученіе программой для немедленнаго дѣйствія; она, однако, не ослабляетъ ихъ основной идеи — освобожденія людей отъ бремени механическаго труда. Ошибаясь въ деталяхъ и забѣгая впередъ, технократы все же создали образъ того, что можетъ дать современная машина при рациональномъ использованіи.

Предоставивши мудрымъ вождямъ всѣ заботы объ устройствѣ жизни, жертвуя свободой и самостоятельностью, человекъ получаетъ взаменъ не койку въ казармѣ, а жилище, снабженное всѣми усовершенствованіями комфорта; не солдатскую похлебку, а произведеніе изысканной гастрономіи; усиліе, которое требуется отъ него, занимаетъ лишь небольшую долю его времени.

Эта заманчивая картина богатства, раскрывающагося при соответствующемъ общественномъ устройствѣ, есть, конечно, новый стимулъ въ сторону коллективизма. Нетрудно замѣтить въ ней, однако, и вѣроятный ключъ къ его преодолѣнію.

Толпы людей, заполняющія въ наше время всѣ столицы міра, марширующія по указкѣ и слѣпо повиனுющіяся своимъ вождямъ, состоятъ изъ людей, привыкшихъ съ утра до ночи слушать машинѣ, воспитанныхъ въ автоматическомъ подчиненіи. Это они вложили свою бездушную, пролетарскую идею въ современное общество и превратили его въ неограничнаго владыку надъ человѣкомъ.

Выйдя изъ-подъ власти машины, т. е. доведя ее до такой степени совершенства, что она перестанетъ поглощать большую часть его жизни, не освободится ли человекъ отъ пролетарской, рабской психики? Не захочетъ ли вернуть себѣ духовную самостоятельность? Примирится ли съ ролью неразсуждающей частицы пѣлаго?

6.

Истинное освобожденіе отъ коллективизма означаетъ не отказъ отъ него и возвращеніе вспять, а его внутреннее преодоленіе. Грандіозное столѣтнее движеніе, подготовившее нынѣшнюю мутацию, имѣло два основныхъ корня: зависть и жалость. Зависть можно удовлетворить только полнымъ поработаніемъ человека, приведеніемъ его къ священному равенству: по Бабефу, тотъ, кто работаетъ за четверыхъ, подлежитъ уничтоже-

нию, какъ заговорщикъ противъ общества. Жалость требуетъ гораздо меньшаго: сохраняя право индивида самому бороться за свою судьбу, смягчить формы этой борьбы, создать тотъ уровень, ниже котораго не упадутъ неудачники.

Ростъ технического могущества открываетъ возможность такого строя, въ которомъ всеобщее и неограниченное удовлетвореніе самыхъ насущныхъ человѣческихъ потребностей вовсе не должно поглотить всѣхъ производительныхъ силъ; послѣ тѣхъ «660 часовъ въ годъ», которые съ такой комической точностью подсчитали технократы, остаются еще тысячи свободныхъ часовъ. Рядомъ съ коллективнымъ, т. е. подневольнымъ хозяйствомъ, остается мѣсто для хозяйства индивидуальнаго, т. е. свободнаго.

Эта свобода, раскрывающаяся по ту сторону коллективизма въ обществѣ, освобожденномъ отъ бремени нищеты, есть настоящее разрѣшеніе дискуссіи о свободѣ, оставшейся незаконченной въ прошломъ вѣкѣ. Но для того, чтобы человекъ, отбывшій свою социальную повинность передъ коллективомъ, былъ въ остальномъ дѣйствительно свободенъ, завтра — какъ и вчера — необходимо будетъ, чтобы онъ являлся субъектомъ абсолютныхъ правъ; чтобы онъ самъ опредѣлялъ свой путь и отвѣчалъ за свои дѣйствія — хотя, конечно, его рискъ былъ бы автоматически ограниченъ наличиемъ неотчуждаемаго пая въ общественномъ хозяйствѣ; необходимо будетъ, чтобы его духовная самостоятельность опиралась на рѣзко очерченную сферу дѣйствія, въ которой онъ являлся бы сувереннымъ распорядителемъ, т. е. хозяиномъ, собственникомъ. Въ этомъ смыслѣ связь свободы и собственности неразрывна и вѣчна.

Какимъ бы рабствомъ ни грозила человѣку современная техника, защита должна заключаться не въ безсильныхъ попыткахъ ограничить ея развитіе и разбить машины, а только въ опытахъ основать свободу на техникѣ.

На рубежѣ XVIII и XIX вѣковъ, въ то время, когда въ шумѣ революціи закладывались основы новаго свободнаго строя, выражавшаго идеи Просвѣщенія, уже изобрѣтены были паровая машина и ткацкій станокъ, которымъ предстояло разрушить этотъ строй; очень можетъ быть, что и теперь, когда закладываются основы рабскаго коллективистическаго строя, выражающаго идеалы прошлаго столѣтія, уже готовы тѣ техническія орудія, которымъ суждено этотъ строй разрушить.

Ю. К. Рапопортъ.

Въ Ленинградѣ

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Ростущая съ годами оторванность отъ своего народа, постепенная утрата живого и конкретного ощущенія Россіи заставляютъ особенно цѣнить изрѣдка доходящіе до насъ «оттуда» голоса подсоветскихъ людей и показанія недавно оставившихъ Россію очевидцевъ. Правда, и такія показанія могутъ по своему грѣшить «односторонностью». Въ задавленной терроромъ странѣ, гдѣ нѣтъ надежныхъ источниковъ освѣдоженія (независимой печати, свободы передвиженій и пр.), при необъятности ея размѣровъ, отдѣльному лицу доступна лишь небольшая, данная ему въ непосредственномъ опытѣ часть советской дѣйствительности; всякія широкія обобщенія въ такихъ условіяхъ неизбѣжно субъективны. И все же, живыя свидѣтельства добросовѣстныхъ очевидцевъ, русскихъ и иностранцевъ, людей разнаго социального происхожденія и неодинаковаго духовнаго склада — незамѣнимы для сужденія о происходящихъ въ Россіи внутреннихъ процессахъ: безъ нихъ мы осуждены довольствоваться лишь казеннымъ советскимъ плакатомъ, рисующимъ счастливую и обожающую свое начальство Россію, да собственными нашими эмигрантскими домыслами о ней.

«Совр. Записки» уже не разъ потому давали мѣсто, à titre documentaire, показаніямъ свидѣтелей «съ того берега», по разному въ основномъ обвиняющихъ советскій режимъ. Въ настоящей книжкѣ журнала мы печатаемъ интересный очеркъ «Въ Ленинградѣ», принадлежащій недавно вырвавшемуся изъ Сов. Россіи иностранцу, А. Цилигѣ. Это — отрывокъ, взятый нами съ необходимыми сокращеніями изъ подготавливаемой авторомъ къ печати книги «Въ странѣ великой лжи». Чтобы уяснить себѣ исходную точку зрѣнія автора въ его сужденіяхъ о Россіи, необходимо нѣсколько остановиться на незаурядной личности и судьбѣ автора.

А. Цилига — хорватъ по происхожденію, сынъ крестьянина изъ Истрии, сначала австрійскій, а послѣ войны итальянскій подданный, челоѣкъ съ высшимъ образованіемъ. Еще молодымъ студентомъ, въ 1918 г., подъ влияніемъ событій въ Россіи, Цилига вступилъ въ социалистическую партію Кроатин, весьма лѣво ориентированную. Въ 1919-1921 гг. онъ уже принималъ участіе въ коммунистическомъ движеніи Югославіи, Сов. Венгрии, Чехословакіи, Итали. 1926-ой годъ застаеъ его въ Вѣнѣ, въ роли члена Балканскаго Бюро Коминтер-

на. Онъ еще полонъ вѣры въ московскихъ вождей мірового пролетаріата и энтузіазма къ осуществленному ими въ СССР коммунистическому идеалу. Но неудачи коммунистическихъ партій въ Зап. Европѣ побуждаютъ его отправиться въ Сов. Россію (осенью 1926 г.), чтобы тамъ, въ успешномъ опытѣ русской революціи, найти поученіе для коммунизма европейскаго.

Обученіе въ образцовой школѣ коммунизма затянулось, однако, долѣе, чѣмъ могъ предвидѣть А. Цилига: только черезъ девять лѣтъ, въ концѣ 1935 г., удалось европейскому гостю вырваться отъ радушныхъ московскихъ хозяевъ. Изъ этихъ девяти лѣтъ послѣдніе пять съ половиной были имъ сплошь проведены — Цилига утверждаетъ, что съ большой пользой для его обученія — въ совѣтскихъ тюрьмахъ, въ Верхнеуральскомъ изоляторѣ, въ сибирской ссылке. Отъ худшей участи Цилига спасла положительно чудомъ. То, чего не могли сдѣлать ни его резонные доводы о необходимости «дать отчетъ пославшимъ его югославскимъ рабочимъ о видѣнномъ въ СССР», ни 23-дневная голодовка протеста, ни даже попытка самоубійства, — то сдѣлало его иностранное подданство: передъ паспортномъ фашистской Италиі, охранявшимъ неприкосновенность двигателя Коминтерна, московскія власти спасовали... Цилига былъ выпущенъ за границу.

Злоключенія Цилиги, конечно, не случайны, — они цѣлкомъ обусловлены эволющей взглядовъ, произошедшей у него въ результатъ всего испытаннаго въ Сов. Россіи. Въ Москву онъ поѣхалъ убежденнымъ сторонникомъ линіи Сталина; принятый немедленно по приѣздѣ въ русскую ком. партію, онъ естественно вошелъ въ привилегированный слой совѣтскаго общества. Но первые же дни пребывания въ Россіи наносятъ жестокой ударъ его идеалистическимъ представленіямъ о «странѣ осуществленнаго социализма» и, главное, о морально-идейномъ обликѣ правящей партіи.

Поразила европейскаго коммуниста прежде всего культурная отсталость и нищета Россіи. Но онъ еще утѣшалъ себя мыслью, что зато страна все же «движется» въ направленіи къ социализму. Тѣмъ болѣе, что и первое впечатлѣніе отъ самого народа было благоприятное: «при всей нищетѣ... чувство молодости жизни, пламенная вѣра, что жизнь вѣдь только начинается, непреклонное, ни передъ чѣмъ не останавливающееся стремленіе занять свое мѣсто подъ солнцемъ». Напряженный ритмъ жизни, подъемъ социальныхъ вызовъ сверху, страстное стремленіе всѣхъ къ учебѣ особенно бросались въ глаза по сравненію со стагнаціей, безперспективностью послѣвоенной Европы. «Содержаніе совѣтскихъ газетъ, книгъ — все говорило о величинѣ самой страны, о величинѣ проблемъ, которыми она живетъ».

Скоро, однако, Цилигѣ открылась и обратная сторона этого повышеннаго самочувствія у поднявшихся въ революцію наверхъ словъ. «Бодрый тѣнь совѣтской жизни полонъ глубокаго имморализма общественнаго. Цѣлыя группы рабочихъ и крестьянъ подымались на всякія хозяйственныя, политическія, административныя должности. Но

эта отрадная линия развитія сопровождалась одной общей отрицательной чертой: обуржуазиваніемъ психологій подымающихся группъ. Какой-то духъ черствого эгоизма, расчета, стремленія устроить себя въ жизни не считаясь съ другими, циничная философія крѣпкого локтя, для достиженія своихъ цѣлей беззащитное приспособленчество и подхалимство въ отношеніи выше стоящихъ: вотъ что сквозило въ дѣйствіяхъ и даже въ словахъ, обычно густо насыщенныхъ революціонной фразеологіей».

Такая психологія характера, впрочемъ, лишь для новаго, единственно выигравшаго отъ революціи, «справящаго слоя», Цилика не разъ подчеркиваетъ, что основная масса народа, рабочіе и крестьяне, осталась еще болѣе безправной и эксплуатируемой, чѣмъ была раньше, — перемѣнились лишь эксплуататоры. И въ этомъ процессѣ обуржуазиванія шли вперед, подавая примѣръ безпартийнымъ, сами коммунисты: «вмѣсто того, чтобы быть лучше другихъ, коммунисты оказывались хуже другихъ. Какой же это авангардъ?» — недоумѣвалъ Цилика.

Ближе присматриваясь къ самой партіи, Цилика могъ убѣдиться, сколь далека она отъ внутренняго единства — и былъ пораженъ методами, примѣнявшимися въ ней въ борьбѣ съ оппозиціей. Идеальные аргументы давно уже, со стороны правительственнаго большинства, уступили мѣсто открытымъ угрозамъ террористическаго порядка. Правда, трусливое поведеніе оппозиціи, неизмѣнно, въ критическіе моменты, спѣшившей отречься отъ исповѣдуемыхъ ею взглядовъ, производило не менѣе гнетущее впечатлѣніе, не говоря уже о томъ, что такая тактика въ конецъ деморализовала самихъ оппозиціонеровъ, которые вскорѣ уже «сами не знали, кто искренне, а кто голько для виду отходилъ отъ оппозиціи».

Убѣжденнаго марксиста и сторонника диктатуры пролетаріата, Цилигу, видимо, не очень смущали ни суровость сов. власти къ остаткамъ буржуазіи («Нэпъ изжилъ себя»), ни даже такая страшная мѣра, какъ массовая коллективизація крестьянскихъ хозяйствъ: осуждая эксцессы жестокости, онъ слишкомъ склоненъ понимать «историческую неизбежность» самихъ мѣропріятій. Но тѣмъ болѣе, естественно, его интересовали взаимоотношенія между «пролетарской» властью и рабочимъ классомъ, сложившіяся въ странѣ «осуществленнаго социализма». Жестокое разочарованіе, ожидавшее его именно въ этомъ, кардинальномъ для его міросозерцанія пунктѣ, предопредѣлило его разрывъ съ правительственнымъ большинствомъ партіи и его переходъ къ оппозиціи.

Въ странѣ социализма, полагалъ онъ, рабочіе являются единственными и полноправными хозяевами фабрикъ и заводовъ, на которыхъ они работаютъ. Его ошеломили поэтому единодушныя свидѣтельства его земляковъ, членовъ югославской ком. группы въ Москвѣ, что «рабочіе совѣтской фабрики — въ такомъ же плѣну у мастера и директора завода, какъ въ странахъ капитализма. Но тамъ рабочей мо-

жесть хотъ протестовать на собранияхъ и въ печати, а здѣсь — ему некуда обратиться. Это не социализмъ, а рабство».

Цилигъ пришлось убѣдиться, что пресловутое «рабочее государство» въ Советской Россіи — фикція, прикрывающая подлинную сущность строя, государственнаго капитализма, основаннаго на беспощадной эксплуатаціи трудящихся въ интересахъ уже не буржуазіи, а самодовлѣющей правящей бюрократіи. Понявъ это, онъ примкнулъ въ 1928 г. къ троцкистской оппозиціи, надѣясь найти у нея болѣе «ленинское» отношеніе къ рабочей проблемѣ. Попытка нелегальной дѣятельности продолжалась однако недолго: подпольный московскій «Центръ» оппозиціонныхъ группъ, съ которымъ онъ установилъ связь, оказался дѣломъ рукъ ГПУ и возглавляяя его, какъ полагаются, провокаторъ. Группа Цилиги была ликвидирована (весной 1930 г.), когда это заблагодарасудилось ГПУ.

Такой же фикціей оказался и «штабъ мировой революціи» — Коминтернъ. Въ общемъ бурномъ потокѣ русской жизни Коминтернъ — «маленькое захудалое учрежденіе 3-го разряда, общественный вѣсь котораго въ Москвѣ значительно ниже, чѣмъ вѣсь любого Наркомата. Это просто иностранная секція агитпропа Ц. К., соответствующаго уровня были и люди въ Коминтернѣ: «никакого размаха въ работѣ, никакой глубины въ охватѣ проблемы, никакой самостоятельности мысли. Я мечтала найти здѣсь великихъ людей, а натолкнулся на презрѣнныхъ лакеевъ».

Дальнѣйшую эволюцію Цилигъ пришлось продѣлать уже въ ссылкѣ, гдѣ онъ оказался вмѣстѣ съ многими видными представителями оппозиціи всевозможныхъ фракцій, ведшихъ между собою на досугѣ оживленную дискуссію. Вѣрный ортодоксальной догмѣ «рабочаго государства», Цилига отказывается видѣть въ советскомъ строѣ какое либо приближеніе къ социализму. На этой почвѣ онъ расходится съ троцкистами, даже съ лѣвымъ крыломъ ихъ. Въ его глазахъ троцкисты — такіе же бюрократы какъ и сталинцы, быть можетъ только болѣе культурные, но принципиально остающіеся въ одной съ ними плоскости, поскольку и тѣ и другіе отказываютъ рабочимъ въ обладаніи орудіями производства. Наиболѣе тяжело достается ему послѣднее разочарованіе — въ самомъ Ленинѣ, но изученіе исторіи партіи не оставляетъ и тутъ мѣста никакимъ иллюзіямъ: это Ленинъ первый, въ эпоху военнаго коммунизма, «снялъ у пролетаріата заводы», что и позволило впоследствии советской бюрократіи «снять у пролетаріата власть». Къ концу ссылки Цилига по своимъ взглядамъ наиболѣе приближается къ такъ наз. «Рабочей оппозиціи», возникшей еще въ 1922 г. и возглавлявшейся Шляпниковымъ, а затѣмъ Мясниковымъ. Советская власть и весь социально экономическій укладъ Сов. Россіи враждебно противостоятъ пролетаріату. Необходима новая политическая и социальная революція, чтобы вернуть пролетаріату отнятые у него бюрократіей фабрики и заводы и тѣмъ открыть путь для дальнѣйшаго социалистическаго развитія.

Мы не можемъ входить здѣсь въ критику политическихъ выво-

довъ автора. Мы согласны съ его уничтожающей характеристикой существа совѣтскаго строя. Конечно, нельзя считать этотъ строй социаллистическимъ-только потому, что въ Сов. Россіи отмѣнена частная собственность и уничтожена буржуазія: «социализмъ» — не фабрики и не машины, а отношенія между людьми, справедливо замѣчаетъ Цилига. Онъ убѣдительно показалъ, что всѣ отношенія между совѣтскими диктаторами и трудящимся населеніемъ построены на террорѣ и рабствѣ. И тѣмъ не менѣе, послѣ такого опыта, онъ все еще остается защитникомъ идеи «диктатуры пролетаріата». Здѣсь — непроходимая пропасть между его мѣросозерцаніемъ и нашимъ. Мы отрицаемъ «рабочее государство» и «рабочую демократію», поскольку они связаны съ ограниченіями общенародной свободы и всеобщаго равенства. Свобода для насъ «недѣлима» въ томъ смыслѣ, что элементарныя права челоуѣка и гражданина или обезпечены равно всѣмъ, или ихъ фактически не существуетъ въ данномъ обществѣ. Всякая диктатура, будь то отдѣльнаго класса, національности или религии, одинаково для насъ неприемлема, ибо она нарушаетъ принципъ равноцѣнности каждой личности, всякая диктатура неизбежно вырождается въ тиранію. И поскольку въ утвержденіи принципа диктатуры сходятся и Сталинъ, и внутрипартийная оппозиція всѣхъ фракцій, мы не видимъ особыхъ основаній дѣлать различіе между отдѣлками одной и той же идеологій: фракціонныя разногласія, домашній споръ родныхъ братьевъ между собою, насъ оставляютъ равнодушными. Но какъ ни отвратителенъ современный режимъ въ Россіи, сколь ни безмѣрны его преступленія передъ русскимъ народомъ, — призывъ къ новому перевороту во имя утопической, на нашъ взглядъ, идеи передачи фабрикъ и заводовъ рабочимъ, былъ бы сейчасъ, съ точки зрѣнія интересовъ Россіи, особенно въ современной международной обстановкѣ, положительнымъ безуміемъ. Не смутнымъ ли сознаніемъ этой опасности объясняется то, что часть самихъ оппозиціонеровъ, по словамъ Цилиги, испытывала страхъ передъ возможностью ихъ собственной побѣды: «Троцкій способенъ завести революцію въ величайшія авантюры». Достаточно дорого, прибавимъ мы отъ себя, заплатила уже Россія за авантюры одного Сталина.

Несогласіе съ политическими выводами автора не мѣшаетъ однако намъ признавать безспорную цѣнность мастерски нарисованной имъ фактической картины совѣтской жизни. Острая наблюдательность и вдумчивый анализъ психологій отдѣльныхъ слоевъ совѣтскаго общества придадутъ очеркамъ А. Цилиги исключительный интересъ для всякаго, стремящагося проникнуть въ тайну происходящей за послѣдніе годы трансформациі Россіи.

На волѣ.

Ленинградъ... Гармоническое сочетаніе грандіозности и красоты множества его дворцовъ придаетъ городу отгѣнокъ великолѣпія. Просторы его площадей, набережныхъ и улицъ внушаютъ почти, физическое ощущение великихъ историческихъ событій, которыя совершались на его территоріи. Огромныя глыбы финляндскаго гранита, сурово обрамляющія большую братскую могилу жертвъ революціи на просторномъ Марсовомъ полѣ, произвели на меня куда большее впечатлѣніе, чѣмъ мавзолей Ленина, прижатый къ стѣнамъ Кремля. Отъ надписей, вырѣзанныхъ на каменныхъ глыбахъ, вѣтъ суровымъ пафосомъ первыхъ лѣтъ Октября. Даже въ названіяхъ улицъ и площадей Ленинграда величіе порыва 17-го года передано несравненно полнѣе, чѣмъ въ названіяхъ московскихъ улицъ. Не сравнено полнѣе, чѣмъ въ названіяхъ московскихъ улицъ.

Властный отпечатокъ городу придаетъ пролетаріатъ. Въ пять часовъ дня послѣ окончанія работъ десятки за десятками тысячъ валютъ они съ разныхъ заводовъ, изъ разныхъ кварталовъ. Какъ вышедшая изъ береговъ 'морская стихія, затопляютъ они улицы, трамваи, весь городъ. Въ темныхъ, запачканныхъ фабричными маслами рабочихъ костюмахъ, съ лицами, закаленными желѣзной пылью мастерскихъ. И, самое примѣчательное, с выраженіемъ гордости и твердости во всемъ своемъ существѣ, какого я нигдѣ въ европейскихъ столицахъ у рабочихъ не замѣчалъ. Ихъ глаза, ихъ лица, ихъ плечи какъ бы говорятъ, что они тотъ отрядъ мірового пролетаріата, который совершилъ самую крупную до сегодняшняго дня рабочую революцію въ мірѣ.

И даже сейчасъ, когда они снова находятся въ кабалѣ и рабствѣ, когда фабрики и заводы давно уже отняла у нихъ бюрократія, «красная буржуазія» — что-то существенное отъ великаго почина 1917-21 годовъ остается жить въ нихъ. И когда шесть лѣтъ спустя, въ далекой и страшной Сибири, я снова встрѣтилъ тысячи ленинградскихъ рабочихъ, высланныхъ въ числѣ 30-40 тысячъ, вмѣстѣ съ женами и дѣтьми, послѣ убійства Кирова во всѣ углы Сѣверной Сибири и вдоль береговъ Ледовитаго океана — въ ихъ сдержанно-молчаливомъ подчиненіи чувствовалась доля презрѣнія къ бюрократической властѣ, въ нихъ жила искра рабочей гордости, затаенная мечта о возмездіи. Они называли себя не «эпиковъцами», а «ленки-

градцами» — это звучало независимо и гордо: они — отряд рабочего класса, а не бюрократической фронды. Ленинградские рабочие постояли и еще постоять за себя.

...Иду к Кирову, в Смольный. В тот Смольный, который навсегда останется в памяти человечества, связанный с Октябрем 1917 года, теми «десятью днями, которые потрясли мир». Гуль тех дней дошел тогда и до меня в провинциальную австрийскую военную больницу... Перед Смольным большой сад. Вхожу в сад и в самый Смольный через арку колонн. На ней надпись: «Здесь заседал первый Совет первой рабочей революции». Перед садом и аркой «Площадь Диктатуры», с которой открывается великолѣпное зрѣлище на Смольный и его окрестности.

Поднимаюсь на 3-й этаж Смольного в корридор и приемную Кирова. Туда, где 5 лет спустя его застрѣлит Николаев. Вхожу в просторный, хорошо обставленный кабинет. Передаю Кирову письма Солнца. Он уже зналъ о моем приѣздѣ. Он зналъ больше, чѣм показывал видъ. Из вѣжливости он спрашивает у меня подробности о фракціонной работѣ в югославской компарти (изъ-за чего я формально и пострадалъ). Хотя я и былъ членомъ Политбюро малой и незначительной партіи, онъ все же, руководясь принципомъ іерархичности, рассматриваетъ меня, какъ члена новаго бюрократическаго сословія, которому разрѣшается даже до нѣкоторой степени грѣшить оппозиціонностью. Договариваемся съ нимъ о моей научной работѣ в Ленинградѣ. По образованію и историкъ и въ вопросахъ исторіи Западной Европы занимался отчасти и въ теченіе минувшихъ 3-хъ лѣтъ въ Москвѣ. Онъ тутъ же звонитъ завѣдующему отдѣломъ агитации и пропаганды, и черезъ два дня я становлюсь лекторомъ-доцентомъ по исторіи Западной Европы Ленинградскаго Коммунистическаго Университета. Онъ звонитъ тутъ же одному изъ техническихъ секретарей, чтобы устроить меня и моихъ товарищей съ квартирами въ Ленинградскомъ Партийномъ Домѣ. Мы, правда, на годъ исключены изъ партіи, но съ нами сейчасъ обходятся въ тысячу разъ лучше, «мягче», чѣмъ когда мы были членами партіи и еще колебались между партией и оппозиціей. Сложна механика бюрократическаго разложенія душъ: сочетаніе терроризированія и подкупа людей, «принужденія и убѣжденія».

Какой удаленностью отъ человѣчески горячаго и уравновѣшеннаго воздуха Октября вѣяло въ кабинетъ Кирова!

Самъ Кировъ, по своимъ манерамъ, по методамъ работы живо напомнилъ мнѣ культурныхъ бюрократическихъ сановниковъ австрийскаго штатгалтерства въ Брюнн, съ которыми мнѣ пришлось имѣть дѣло отъ имени военныхъ бѣженцевъ во время мировой войны. Въ кабинетѣ Кирова, главы Ленинграда 1929 года, чувствовалось, что революція уже осѣдлана, бюрократически канализирована. И позднѣйшій выстрѣлъ Николаева я понималъ, какъ жестъ отчаянія людей старшаго поколѣнія 1917-24 гг., разочарованныхъ въ результатахъ Октября и пятилѣтки и чувствующихъ въ себѣ силы «начать все сызнова». Начать все сызнова смогутъ только свѣжя, физически и духовно, силы Россіи!

Въ Ленинградѣ я прожилъ съ октября 1929 г. до ареста въ маѣ 1930 г. Кромѣ Коммунистическаго Университета, я преподавалъ въ областной Совпартшколѣ и на курсахъ Ленинградскаго заводскаго актива партіи. На ряду съ этимъ работалъ въ исторической секціи ленинградскаго отдѣленія Коммунистической Академіи. Эта преподавательская и научная работа занимала основную часть моего времени. Интересовали тутъ меня три вещи: предметъ, студенты и преподаватели.

Больше всего интересовали меня студенты. Студенты Коммунистическаго Университета представляли своего рода швѣтъ ленинградскаго пролетаріата — молодые, здоровые, энергичные люди отъ 25-30 лѣтъ, почти поголовно въ прошломъ ленинградскіе рабочіе, со значительнымъ стажемъ общественной работы, съ отчетливой общественной шлифовкой, культурные, образованные, умные, «джентельмены отъ пролетаріата». Изъ ихъ среды, казалось мнѣ, должны выйти люди, которые возглавятъ новую борьбу рабочихъ противъ бюрократіи. Ихъ социальное происхожденіе и связи съ рабочимъ классомъ, ихъ интеллектуальный уровень, ихъ молодая энергія, возможность для нихъ всесторонне ознакомиться съ практическимъ и теоретическимъ опытомъ рабочаго движенія — все говорило за это. Но преподавательская работа показала мнѣ, что къ вопросамъ исторіи, социологіи, теоретическимъ спорамъ рабочаго движенія вообще они подходятъ совершенно механически, казенно; они прекрасно заучивали все то, что имъ предписывалось и какъ предписывалось, но ни ихъ запросы, ни ихъ пытливость не шли дальше учебника. Какой яркій образчикъ духовной машинизаціи! Когда я пытался толкнуть ихъ мысль дальше казенныхъ рамокъ, сдѣлать ее болѣе чуткой, критической, они оставались глухими. Въ этомъ было ужь что-то отъ притупленія социальнаго чутья.

Особенно ярко я замѣтилъ это, когда при прохожденіи исторіи послѣ-военной Европы, прочиталъ лекцію всѣмъ группамъ одного курса (200 человекъ) о фашизмѣ. Въ основательно проработанный матеріалъ я постарался включить рядъ характерныхъ моментовъ для аналогій нѣкоторыхъ явленій въ фашистскихъ странахъ и въ тогдашней Россіи (отношеніе аппарата къ рабочей массѣ). Я старался этимъ внушить мысль о томъ, чего не хватаетъ въ Россіи — свободной дѣятельности рабочей массы. Мое намѣреніе не дошло до слушателей; не то чтобы они не замѣтили аналогій. Но они находили, что это въ принципѣ въ порядкѣ вещей: верхи и должны рѣшать, и все дѣло для нихъ заключалось въ томъ, въ какомъ направленіи идутъ директивы. Директивы совѣтскихъ верховъ направлены, молъ, къ благимъ цѣлямъ, директивы фашистскихъ верховъ — къ дурнымъ. То, что въ обоихъ случаяхъ масса была лишь орудіемъ, они считали вполне естественнымъ.

Дѣйствительно, присматриваясь къ ихъ практическому отношенію къ рабочему классу, изъ котораго они не только вышли, но среди котораго и сейчасъ ищались, чтобы не потерять связи, я могъ констатировать, какъ спокойно смотрятъ они на огромныя свои привилегіи по сравненію съ рабочей массой. Шель уже 1929-30 годъ, кризисъ снабженія все углублялся, рабочіе были встревожены, жены ихъ и дѣти оставались безъ хлѣба, масла и молока. Въ то же самое время студенты были прекрасно обеспечены. И вотъ эти учащіеся какъ-то нисколько не страдали душой изъ-за этого. Они находили въ порядкѣ вещей то, что они сами живутъ хорошо, когда рабочіе нуждаются во всемъ необходимомъ, по поводу лишений рабочихъ они отдѣлывались общей фразой: «безъ трудностей социализма не построишь». Какъ по своему социальному положенію, такъ и по своему мироощущенію, они являлись костью отъ кости бюрократіи. Въ итогѣ я долженъ былъ констатировать, что это не цѣлѣтъ рабочего класса, а юнкера бюрократіи, что новое рабочее движеніе должно получить вождей не изъ нихъ, этихъ бюрократическихъ выдвигенцевъ, а откуда-то изъ фабричныхъ низовъ, изъ «темнаго народа». Защищая свои привилегіи, свое господствующее положеніе надъ массой, эти выдвигенцы явятся злѣйшими врагами подлиннаго рабочего движенія, которое не сможетъ не поставить своей задачей уничтоженіе всей бюрократической системы.

Преподаваніе въ комвузѣ было нелегко: изъ года въ годъ мѣнялись программы, историческіе факты и оцѣнки все чаще и чаще фальсифицировались. Это касалось уже не только

исторіи послѣднихъ десятилѣтій революціоннаго движенія Россіи, но и такихъ, казалось бы, удаленныхъ событій, какъ Парижская Коммуна, революція 48-го года, Великая Французская революція. А что ужъ говорить объ исторіи Коминтерна! Каждое новое изданіе книги «Исторія зарожденія и развитія Коминтерна» давало совершенно иной, во многихъ отношеніяхъ противоположный вариантъ этой исторіи. То же самое происходило въ области политэкономіи и философіи.

Профессора, конечно, знали объ этихъ подтасовкахъ и фальсификаціяхъ. Они сами ихъ производили и были достаточно развиты, чтобы понимать разницу между тѣмъ, что говорилось раньше и теперь. Студенты же, какъ я это наблюдалъ по линіи исторіи, объ этихъ перемѣнахъ большею частью не знали, значеніе ихъ не доисъивали, они принимали уже ложь не вполне сознательно, какъ преподаватели, а впитывали ее исподволь, болѣе или менѣе подсознательно, въ процесъ усвоенія матеріала въ согласіи съ общимъ духомъ воспитанія.

Профессора составляли какъ бы три группы. Руководящее положеніе среди нихъ, благодаря лучшей теоретической подготовкѣ, гибкости и живости интеллекта, въ извѣстной мѣрѣ принадлежало группѣ бывшихъ оппозиціонеровъ-капитулянтовъ. За ними по пятамъ, въ смертельной конкуренціи, шла группа молодыхъ, но безупречныхъ и тупыхъ партійцевъ. Третью группу составляли «старіки». По своему партійному прошлому они были люди безъ уклоновъ, но сейчасъ они не обладали достаточной интеллектуальной подвижностью, были тяжеловаты на подъемъ, чтобы играть руководящую роль. Боролись между собой только двѣ группы молодыхъ. Ректоръ университета, заинтересованный въ обѣихъ, старался добросовѣстно ихъ примирить.

Въ областной совпартшколѣ студенты состояли изъ провинціальной партійной молодежи, значительная часть — изъ крестьянъ. Это были настоящіе дѣти народа, еще не отшлифованные и бюрократически не выхолощенные. Любопытно при этомъ, какъ они, отражая встревоженность деревни, все же цѣпко хватались за официальные политическія установки, за политическую линію партіи. Въ нихъ чувствовались будущіе вѣрные унтеръ-офицеры изъ народа для осуществленія господства надъ народомъ. Школа находилась неподалеку отъ Финляндскаго вокзала, въ бывшей семинаріи. И зданіе, и питаніе здѣсь были неважны. По сравненію съ ними комвузовцы жили, какъ студенты Оксфорда. Бюрократія іерархична и въ своей

собственной средѣ, «малые» должны жить надеждами когда-нибудь достичь большаго.

Курсы заводскаго партійнаго актива находились въ Дѣтскомъ селѣ и помѣщались въ бывш. дворецъ графини Палей, большомъ, но неуклюжемъ зданіи. Это были краткосрочные 3-6-мѣсячные курсы для секретарей и отвѣтственныхъ агитаторовъ и пропагандистовъ партійныхъ и комсомольскихъ ячеекъ ленинградскихъ предприятий. Курсанты состояли почти исключительно изъ рабочихъ и работницъ. Одна треть изъ нихъ находилась уже на платныхъ низовыхъ аппаратныхъ должностяхъ, а двѣ трети сочетали еще физическую работу съ партійной и общественной нагрузкой, являясь кандидатами для перехода въ будущемъ въ бюрократическій аппаратъ. Въ этомъ всасываніи значительной части активнѣйшихъ, толковыхъ рабочихъ въ аппаратъ, въ этомъ обезкровленіи рабочаго класса одна изъ тайнъ силы современной совѣтской бюрократіи, ея неограниченнаго господства надъ пролетаріатомъ, какъ классомъ наемныхъ рабочихъ, производственникововъ.

Связь этихъ курсантовъ съ фабрикой была несравненно интимнѣе, чѣмъ у студентовъ коммунистическаго университета. На нихъ отражались тревоги рабочей массы. У нихъ не было самоуспокоенія студентовъ университета. «Какъ тяжело живетъ рабочимъ, ихъ терпѣніе допаетъ, пропаганда среди нихъ идетъ очень тяжело», — такія сѣтованія мнѣ приходилось часто слышать изъ устъ этихъ курсантовъ.

Они интересовались заграничнымъ рабочимъ движеніемъ совсѣмъ иначе, чѣмъ студенты. Послѣдніе смотрѣли на западно-европейское рабочее движеніе свысока: «куда имъ до насъ...» Курсанты же ожидали отъ заграничнаго пролетаріата не то облегченія положенія, не то даже спасенія. Они часто и тревожно спрашивали меня о перспективахъ революціоннаго движенія въ Америкѣ, въ Германіи. Тотъ фактъ, что я былъ исключенъ изъ партіи, усиливалъ, видимо, довѣріе ко мнѣ въ глазахъ одной части этихъ учащихся. Матеріальная обеспеченность курсантовъ была исключительна. Питаніе превосходило все, что мнѣ до сихъ поръ приходилось встрѣчать въ учебныхъ заведеніяхъ, и это было весной 1930 года. Бюрократическіе верхи, повидимому, придавали величайшее значеніе закрѣплению за собой аппарата связей и непосредственнаго вліянія на рабочія массы ленинградскихъ заводовъ.

Интересное размежеваніе, стихійное и, какъ казалось, несознанное, мнѣ пришлось наблюдать въ одной комсомольской учебной группѣ. На первой скамейкѣ перваго ряда сидѣла дѣ-

вушка, учившаяся хорошо и усердно, и смотрѣвшая на весь міръ глазами партійныхъ газетъ, резолюцій и учебниковъ. На послѣдней скамейкѣ первого ряда сидѣла другая дѣвушка, глядѣвшая на все происходящее тревожно, почти мрачно. Она была изъ семьи текстильщиковъ и сама работала текстильщицей. По каждому поводу возвращалась она къ вопросу о тяжелой жизни рабочихъ. Простыми, безыскусственными словами передавала она тѣ или иные факты изъ тяжелой повседневной жизни на заводѣ, дома, въ семьѣ, внося въ эту передачу какое-то большое, внутреннее волненіе. Повидимому, она была очень затронута противорѣчіемъ между реальной жизнью рабочихъ и тѣмъ, что объ ихъ жизни писалось въ газетахъ и книгахъ. «Почему существуетъ этотъ разладъ, почему онъ не исчезаетъ, когда и какъ онъ можетъ исчезнуть, да исчезнетъ ли онъ вообще?» — сквозило изъ ея недоговоренныхъ словъ.

Ея антагонистка съ первой скамейки такъ же инстинктивно и систематически возражала ей. У нея ась «недостатки» и «неполадки» безмятежно укладывались въ схему официального оптимизма и энтузіазма. Все ей казалось прекрасно въ этомъ лучшемъ изъ міровъ... Живыми были для нея только новостроящіеся заводы, машины, герои-руководители; рабочія массы, колхозники, сами трудящіеся превращались въ какія-то тѣни, въ *quantité négligeable*. По ея подходу къ жизни, по ея внѣшности я рѣшилъ, что она либо дочь мѣщанъ, либо служащая. Но, посмотрѣвъ въ личную карточку, я нашелъ тамъ свѣдѣнія о томъ, что она тоже изъ рабочей семьи. Итакъ, въ одной и той же комсомольской группѣ, въ одной и той же комнатѣ, одного и того же соціальнаго происхожденія сидѣли рядомъ юные представители двухъ міроощущеній, двухъ міровъ...

Вспоминаю объ одной молодой работницѣ-комсомолькѣ, женѣ довольно виднаго работника КИМ'а (Коммунистическаго Интернаціонала Молодежи) въ Москвѣ. Это была 19-лѣтняя женщина, красивая, умная, энергичная. Она работала на заводѣ и посѣщала какіе-то вечерніе техническіе курсы. Незадолго до этого она вернулась изъ-заграницы, гдѣ вмѣстѣ съ мужемъ была на комсомольской подпольной работѣ (мужъ ея былъ иностраннымъ комсомольцемъ). Все какъ будто было хорошо — подлинный «авангардъ». Но достаточно было приглядѣться повнимательнѣе, и какая гниль просвѣчивала сквозь показную бѣлизну! Ничего, кромѣ карьеры мужа (а съ ней и ея собственной), не существовало для этой юной женщины. Она умудрялась какъ-то на всѣ вопросы смотрѣть лишь съ точки зрѣнія бюрократической карьеры. Только бы подняться вверхъ,

все выше и выше! Убѣждения, идеи, совѣсть? Это она представляла наивнымъ дурочкамъ. Умные люди пользуются этимъ товаромъ, но не служатъ ему. Откуда взялось такое міроощущеніе у этой молодой работницы, жены работника КИМ'а? Объяснить этого я не умѣлъ. Конечно, на верхахъ, въ ЦК Комсомола и въ Коминтернѣ молодежи находятся самые худшіе, бюрократически развращенные элементы. Но нельзя забывать, что именно эти элементы задаютъ тонъ всей странѣ, они ея знатные люди...

Въ ленинградскомъ отдѣленіи Коммунистической Академіи объемъ работы отставалъ, конечно, значительно отъ Москвы. Но и тутъ жизнь кипѣла. Пятилѣтка нуждалась во всевозможныхъ обоснованіяхъ. Свообразный социальный строй, который росъ въ Совѣтской Россіи, стремился во всѣхъ областяхъ науки создать свою идеологію, соединяя свое новое міропониманіе съ идеологіей старой науки, съ традиціонной марксистской фразеологіей, съ новыми научными данными. Я работала въ исторической секціи комиссіи по исторіи Коминтерна. Это было въ порядкѣ «планового задания». Кромѣ того, по собственной инициативѣ, работала надъ исторіей феодализма у южныхъ славянъ.

Общія рамки работы въ Комкадеміи предписывались, конечно, «сверху», изъ ЦК ВКП(б). Но работа имѣла здѣсь и большія преимущества. Не столько въ матеріальномъ отношеніи, сколько въ общественномъ положеніи и въ возможности научной карьеры, которая открывалась работой въ Коммунистической Академіи. Отдавши «царю цареву», т. е. выполнивши основную работу по заданію бюрократическихъ верховъ, научный работникъ обезпечивалъ за собой блестящее матеріальное и общественное положеніе. Какъ и всѣ другіе господствующіе классы, совѣтская бюрократія хорошо оплачиваетъ своихъ жрецовъ и обезпечиваетъ имъ почетное мѣсто въ общественной іерархіи. Выполнивъ работу по заданію, научный работникъ имѣлъ возможность въ отдѣльныхъ углахъ науки работать и по совѣсти, въ соотвѣтствіи съ дѣйствительнымъ пониманіемъ вопроса. И, наконецъ, всѣ вопросы, рѣшительно всѣ можно было свободно и основательно изучать для себя, для собственнаго образованія и интеллектуальнаго удовольствія. Публично ты долженъ выступать на 99% такъ, какъ этого требуютъ интересы и указанія господствующей бюрократіи, но про себя ты можешь думать, какъ хочешь.

Но, требуя преклоненія передъ новымъ «императоромъ» и высшимъ дворянствомъ коммунистической партіи, совѣтская

наука защищаетъ одновременно интересы и привилегіи всей интеллигенціи, всей бюрократіи, какъ партійной, такъ и безпартійной, не только противъ старыхъ господствовавшихъ классовъ, но и противъ народа, противъ трудящихся. Въ этомъ ея сила, ея пафосъ. Много вращаясь въ кругахъ интеллигенціи, я могъ теперь убѣдиться въ томъ, какими огромными привилегіями пользуется интеллигенція въ СССР, прежде всего партійная, а затѣмъ и прочая, особенно техническая. Различіе уровня разныхъ социальныхъ группъ въ Россіи особо подчеркивается общимъ низкимъ уровнемъ страны. Достаточно посмотреть на квартиры, питаніе, одежду, гигиеническія и культурныя условія жизни интеллигенціи (и бюрократіи) и трудящихся массъ, чтобы ощутить всю бездну различія, которая дѣлитъ эти двѣ части населенія. Тутъ мнѣ стало понятно, почему интеллигенція капиталистическихъ странъ такъ восхищается сегодняшней Совѣтской Россіей: вѣдь здѣсь ея царство, царство интеллигенціи.

По своему матеріальному и социальному положенію я очутился среди «верхнихъ десяти тысячъ». Я имѣлъ возможность наблюдать, изъ-за чего люди приспособляются къ бюрократическому порядку и понять, что съ точки зрѣнія условій личного существованія есть изъ-за чего приспособляться. Я чувствовалъ себя какъ дома въ богатыхъ и просторныхъ залахъ Академіи (помѣщавшейся въ одномъ изъ большихъ дворцовъ на Марсовомъ полѣ), имѣя возможность пользоваться богатой литературой всѣхъ временъ и языковъ, въ томъ числѣ и запретной для обыкновенныхъ смертныхъ и рядовыхъ коммунистовъ — современной заграничной литературой всѣхъ странъ, партій и направлений. Еще лучше, чѣмъ дома, чувствовалъ я себя въ основномъ мѣстѣ своей работы — въ Коммунистическомъ университетѣ, разгуливая по великолѣпнымъ и щедро заново отдѣланнымъ заламъ, корридорамъ и комнатамъ, или сидя тутъ же въ собственномъ кабинетѣ, среди избранной литературы, имѣя возможность за казенный счетъ выписывать все, что пожелаю.

Жилъ я въ чудной, прекрасно обставленной квартирѣ (Партійный домъ, гдѣ я жилъ, помѣщался въ крупнѣйшемъ дворцѣ аристократическаго квартала города). Послѣ служебныхъ занятій оставалось еще довольно много свободнаго времени, чтобы заниматься литературой, языками, социальными проблемами, меня интересующими. Нечего говорить о томъ, что лучшіе курорты Россіи, путешествія и удовольствія, какія пожелаю, были мнѣ доступны. Я былъ на годъ исключенъ изъ партіи. Но стоило

только показать готовность присоединиться къ общему хору, и все настоящее и рядъ будущихъ привилегій были бы закрѣплены партійнымъ билетомъ.

Сдѣлать шагъ въ этомъ направленіи было бы тѣмъ легче, что судьбу русской революціи я считалъ по существу уже рѣшенной, пораженіе оппозиціи окончательнымъ, — дальнѣйшій ходъ событій въ Россіи на нѣкоторое время возможенъ только вправо. Въ Европѣ же, и въ особенности въ Германіи, я ожидалъ усиленія реакціи. Однимъ словомъ, новый 1810, 1849 или 1907 годы; предстояло еще итти внизъ, чтобы потомъ начать новый подъемъ... Эта общая обстановка, это временное безсиліе и пассивность трудящихся массъ заставляли многихъ въ Россіи — не менѣе чѣмъ личныя и групповыя привилегіи или терроръ, — пѣть Осанна бюрократическому бонапартизму. Сталинъ, какъ нѣкогда Наполеонъ, казался спасителемъ возможныхъ еще остатковъ революціи, «меньшимъ зломъ» въ общемъ потокѣ реакціи.

Выбирая лагерь противниковъ торжествующаго бонапартизма, лагерь на опредѣленный историческій срокъ побѣжденныхъ народныхъ массъ, — я зналъ, что теряю и что меня ожидаетъ. Но дѣлалъ я свой выборъ не въ результатъ героическаго усилія, а подчиняясь стихійной силѣ какого-то естественнаго закона. Меня отталкивали всѣ эти большіе и малые совѣтскіе Ригу, Судру, Гоблены, Барресы, Таллейраны, Фуше и Бонапарты. И имъ я оставался психологически и идейно чужимъ, враждебнымъ.

Неужели можно примириться съ новымъ порядкомъ только потому, что на шеѣ русскихъ рабочихъ и крестьянъ сидятъ теперь не буржуи и помѣщики, а бюрократы и интеллигенты и лишь потому, что они при этомъ ссылаются не на Христа, царя и частную собственность, а на Маркса-Ленина, совѣтскій строй и государственную собственность? Тутъ, конечно, что-то было мнѣ непонятно: какъ могъ великій порывъ 1917 года къ освобожденію труда окончиться новымъ рабствомъ, при сохраненіи исходныхъ формъ и лозунговъ того же движенія 1917 года? Какъ это случилось, что по формѣ, на словахъ въ Россіи все какъ будто идеально, а по существу — отвратительно. Неясно еще, какъ нужно дѣйствовать, чтобы въ Европѣ не повторилось то же самое. Пока это оставалось невыясненнымъ, надо оставаться здѣсь. Я вѣдь пріѣхалъ въ Россію, чтобы изучить опытъ Великой Русской Революціи. Я уже чувствовалъ, что моя дорога ведетъ въ другую сторону — въ Сибирь, въ неизвѣстность...

Чтобы удержать меня отъ этой дороги, особенно старались нѣкоторые изъ моихъ друзей, капитулянты-троцкисты. Дѣйствовали они и прямыми уговариваніями и еще больше — косвенно.

«Что дѣлать, — говорилъ одинъ изъ нихъ, — Россія такая нищенская страна, что стоитъ человѣку дать кое-какое сносное и культурное существованіе и этимъ самымъ онъ уже поднимается на высоту аристократіи, этимъ самымъ уже вырывается ровъ между нимъ и массой». Касаясь вопроса общей политики, онъ говорилъ: «Все основное изъ требованій оппозиціи Сталинъ проводитъ. Конечно, Троцкій проводилъ бы это съ блескомъ, не такъ грубо, на первомъ планѣ стояли бы тогда мы, люди болѣе образованные и культурные, чѣмъ сталинскіе кадры, но надо подняться выше личной и групповой амбиціи». Одинъ изъ виднѣйшихъ совѣтскихъ дипломатовъ, добавлялъ къ подобной аргументаціи: «Россія — азіатская страна и чингис-хановскіе манеры Сталина къ ней болѣе подходятъ, чѣмъ барокко-европейскія манеры Льва Давидовича».

На мои рѣчи объ отсутствіи рабочей демократіи другой капитулянтъ возражалъ: «Въ Россіи и разговора не можетъ быть о рабочей демократіи. Рабочій классъ Россіи настолько слабъ, настолько деморализованъ, что дать ему волю, и революція погибнетъ навѣрняка. Если что и можетъ спасти революцію, такъ это только диктатура сознательнаго меньшинства, которая, конечно, должна опираться на рабочую массу, привлекать ее къ себѣ, подымать до своего уровня». Да, дѣйствительно, эти люди капитулировали съ полнымъ основаніемъ. По существу они были лишь другимъ оттѣнкомъ все той же сталинской бюрократіи. Я имъ это — спокойно и полушутя — и говорилъ. Они мнѣ на это отвѣчали, что я смотрю на Россію сквозь очки западно-европейскихъ иллюзій.

Многіе старые большевики, даже не сталинцы, пѣнили въ Сталинѣ руководителя иного, чѣмъ Троцкій. «Это нашъ Иванъ Калита. Онъ сумѣлъ при своихъ недостаткахъ сплотить большевистскіе кадры». — говорилъ про Сталина одинъ видный членъ ЦК, не входившій въ первоначальную сталинскую группировку.

О ту пору имѣлъ я также нѣсколько встрѣчъ съ нѣкоторыми руководителями и активистами зиновьевской оппозиціи. Сегодня эти люди сидятъ въ изоляторахъ, кое-кто и разстрѣлянъ. Тогда они полны были иллюзій: «Сталинскіе кадры не воспитаны для борьбы съ правыми. Поэтому естественно въ процессѣ

этой борьбы руководство ею и отдельными организациями передать в наши руки. Вѣдь даже, чтобы написать резолюцію противъ правыхъ, сталинцы должны въ Ленинградѣ обращаться къ нашимъ людямъ... Они, конечно, считали, что оппозиція была политически права, и что Сталинъ проводить теперь ихъ политику. «Но разъ оппозиція была права, — спросилъ я, — почему же она не побѣдила?» — «Много разъ мы сами задавали себѣ этотъ вопросъ, — отвѣчали они, — но, видимо, мы выступили преждевременно». — «Не наоборотъ ли, — переспросилъ я, — вѣдь если бы вы обратились къ рабочимъ пока аппаратъ не взялъ верхъ, вы бы смогли побѣдить». — «Ничего подобнаго, — возразилъ одинъ изъ нихъ, — не рабочіе рѣшаютъ въ Россіи, а аппаратъ. Русскій рабочий слишкомъ примитивенъ. Аппаратъ рѣшалъ и при Ильичѣ», — закончилъ онъ твердо. Больше я ему уже не возражалъ, настолько былъ застигнутъ врасплохъ его послѣднимъ заявленіемъ о томъ, что и при Ленинѣ не рабочий классъ, а аппаратъ рѣшалъ. Я отказывался ему вѣрить и въ то же время мнѣ было ясно, что люди, пережившіе непосредственно и этотъ періодъ революціи, должны были больше знать, чѣмъ я, и что у нихъ во всякомъ случаѣ не было желанія «кдеветать на Ленина».

Еще болѣе остро, если не болѣе глубоко, задѣло меня другое выслушанное здѣсь сужденіе: «Пожалуй, и лучше, что оппозиція не побѣдила. Вѣдь мы находились въ блокѣ съ Троцкимъ, и въ случаѣ побѣды гегемонія несомнѣнно перешла бы къ Троцкому, а онъ былъ бы способенъ завести революцію въ величайшія авантюры». Впервые довелось мнѣ встрѣтить оппозицію, которая боялась своей собственной побѣды. Отъ всѣхъ этихъ разговоровъ оставалось въ общемъ тяжелое впечатлѣніе. Я не могъ не видѣть въ этихъ людяхъ по существу тѣхъ же бюрократовъ, что и въ сталинцахъ. Что же тогда оставалось отъ Русской Революціи? Тѣ, кто сидятъ въ изоляторахъ и въ ссылкахъ — отвѣтилъ я себѣ.

Эпоха пятилѣтки представляетъ несомнѣнно «героическій вѣкъ» совѣтской бюрократіи. Что при этомъ бюрократія оказывается вся залита — отъ головы до пятъ — кровью и грязью — объясняетъ только дѣйствительный общественный характеръ самой бюрократіи и ея «героическаго вѣка». Доказываетъ только, что этотъ вѣкъ не можетъ имѣть ничего общаго съ героическимъ вѣкомъ свободныхъ трудящихся массъ, съ вѣкомъ подлиннаго социализма. Зато доказываетъ, что у

ѣвка бюрократической пятилѣтки много общаго съ «героическими ѣвками» завоеванія Америки и Индіи, въ эпоху первоначальнаго накопленія.

Сталину несомнѣнно принадлежитъ заслуга сохраненія и закрѣпленія господства бюрократіи въ Россіи. Онъ не случайно сталъ вождемъ и императоромъ этой бюрократіи. Но также несомнѣнно, когда въ Россіи придетъ дѣйствительно день уничтоженія гнета надъ трудящимися массами фабрикъ и колхозовъ, день уничтоженія привиллегій для меньшинства, тогда и самъ Сталинъ и вся система государственно-капиталистической эксплоатации будутъ брошены въ мусорную яму исторіи вмѣстѣ со всѣми другими «великими людьми» реакціи.

Время, которое я провелъ въ Ленинградѣ, показало какъ разъ всю серьезность наступленія бюрократіи на деревню и руководящую въ этомъ наступленіи роль Сталина. Время это вскрыло и весь размахъ индустриализации. Событія не умѣщались въ рамки старыхъ взглядовъ, возникли новые вопросы, нужно было искать новые отвѣты. Кровью и желѣзомъ ковалась новая Россія. Это не былъ социализмъ, это было рабство, а не освобожденіе труда, но что-то новое возникало. Что именно? Вотъ вопросъ, который былъ на устахъ у всѣхъ, который мучилъ и меня. 1929 годъ сталъ дѣйствительно «годомъ великаго перелома» въ политикѣ бюрократіи, годомъ ликвидаціи статусъ кво нэпа, войны противъ технической и экономической отсталости Россіи. При всей косности и жирку, приобретенному въ періодъ нэпа, у бюрократіи еще осталось достаточно подвижности и силъ, чтобы въ моментъ, когда исторія ставила ее передъ выборомъ: или потерять свое господствующее значеніе, или взяться за радикальное преобразование Россіи, рѣшиться на послѣднее.

Великая экономическая революція пятилѣтки совершилась въ пользу того, кто руководилъ всей операцией — въ пользу бюрократіи. Она совершалась за счетъ непередаваемыхъ страданій и жертвъ со стороны тѣхъ, къмъ «руководили», кто въ конечномъ счетѣ оказался орудіемъ и средствомъ, за счетъ трудящихся массъ, закрѣпляя ихъ все больше на положеніи наемныхъ рабовъ капитала, хотя и не частнаго, а корпоративно-бюрократическаго, государственнаго.

Какъ же относятся сами рабочіе къ этой социально-экономической системѣ, которая не является уже частно-хозяйственной и не буржуазно-капиталистической и въ то же время оста-

ется насквозь эксплуататорской и иерархически-классовой, т. е. не социалистической, не безклассовой?

Наблюдения надъ жизнью и настроеніями рабочихъ давали нѣкоторый отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Вотъ что говорилъ, на примѣръ, одинъ высоко-квалифицированный пожилой рабочій съ одного изъ крупнѣйшихъ ленинградскихъ заводовъ: «Мы живемъ теперь хуже, чѣмъ при капиталистахъ; если бы такой голодъ, такія низкія ставки были при старыхъ хозяевахъ, мы бы ужъ тысячу разъ бастовали. Но что будешь дѣлать? Мы сами хотѣли совѣтскую власть. Какъ теперь будешь противъ нея бастовать? Вѣдь надъ нами бы стали издѣваться наши же жены, — вотъ вамъ, моль, ваша совѣтская власть...»

Когда былъ наборъ 25-тысячниковъ въ деревню, этотъ рабочій записался тоже добровольцемъ. Пробылъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ и вернулся, не выдержавъ: «Слишкомъ много несправедливости, не коллективизмъ идетъ тамъ, а грабежъ... Какъ высоко-квалифицированный рабочій, онъ никакой милости отъ правительства не требовалъ, своей квалификаціей онъ уже чувствовалъ себя обеспеченнымъ и какъ бы независимымъ по отношенію къ власти. Онъ былъ безпартийнымъ, но въ гражданскую войну рядъ лѣтъ дрался на различныхъ фронтахъ. Теперешнее его недоумѣніе, растерянность отражали, на мой взглядъ, общія настроенія широкаго слоя коренного пролетаріата: «Шли въ комнату, а попали въ другую»... Въ концѣ пятилѣткі, въ эпоху бюрократической «счастливой жизни» эти слои уже лучше разобрались въ томъ, что это за «комната» — теперешняя социальная система СССР.

Приблизительно въ такомъ же духѣ говорилъ и одинъ иностранннй рабочій-коммунистъ, работавшій на текстильной фабрикѣ. Но онъ былъ южанинъ и говорилъ темпераментнѣе: «Такихъ рабскихъ условій труда, какъ на моей теперешней фабрикѣ, я въ жизни никогда не видѣлъ. Если бы это было въ буржуазной странѣ, я бы давно бросилъ бомбу въ такую фабрику...» А тутъ онъ терпѣлъ, молчалъ, не видѣлъ исхода: и рабочая масса какая-то пассивная, и власть какъ будто своя. Въ отчаяніи онъ добивался возвращенія въ Европу, тамъ онъ зналъ противъ кого и какъ бороться. Поскольку объ отсутствіи у него «энтузіазма къ совѣтскимъ порядкамъ» было извѣстно, ему это удалось только послѣ долгихъ мытарствъ. И сегодня онъ работаетъ, хотя и съ подорванной вѣрой, въ официальной коммунистической партіи: «Ничего лучшаго не придумаешь», — говорилъ онъ мнѣ уже будучи въ Европѣ.

Запомнился случайный разговоръ съ рабочимъ, который производилъ небольшой ремонтъ въ моей комнатѣ. Зашелъ къ нему на домъ, чтобы заплатить за работу. Нашелъ его за чтеніемъ газеты. Мы были едва знакомы. «Что новаго въ газетахъ?» — спрашиваю я. Онъ показываетъ мнѣ на телеграммы, касающіяся ухудшенія социальнаго законодательства въ Германіи, которое въ совѣтской печати было подано, какъ ликвидація страхованія. Передавая газету, онъ добавляетъ: «То же самое, какъ у насъ». Это былъ рядовой, политически не вышколенный рабочий, сѣрый, какъ миллионы его братьевъ. Его спокойная, въ нѣкоторомъ смыслѣ безнадежная, манера разсужденія была сильно этимъ чувствомъ: это не я одинъ, а всѣ мы такъ думаемъ... А дѣйствительно тогда въ Совѣтской Россіи съ ссылкой на то, что безработица, моль, ликвидирована, ликвидировано было и право на пособие на случай безработицы. Ликвидированъ былъ и рядъ другихъ мѣропріятій для защиты труда. Съ другой стороны, въ газетахъ шла травля рабочихъ, которые въ той или иной формѣ давали отпоръ бюрократической эксплуатаціи, какъ «рвачей, лодырей и пьяницъ»... Подъ видомъ «социалистическаго соревнованія» вводилась потогонная система, комбинируемая съ подкупомъ и развращеніемъ небольшой части рабочихъ подъ различными видами выдвигенія.

Очень характернымъ въ этомъ отношеніи было разсужденіе рабочаго, съ которымъ я обсуждалъ вопросъ о возможности подготовки экономической забастовки на заводѣ. Это былъ вдумчивый безпартийный рабочий, коренной пролетарій. Главнымъ препятствіемъ для болѣе широкой работы, какой должна быть, на примѣръ, подготовка забастовки, этотъ рабочий видѣлъ не въ ЦКУ, а въ самомъ состояніи рабочей массы: «Не можешь довѣряться человѣку. Сегодня онъ братъ, а завтра — предатель; работаетъ вмѣстѣ съ тобой, въ томъ же цеху, за сосѣднимъ станкомъ, думаетъ и говоритъ, какъ ты, видитъ обманъ рабочаго, тяжелое его существованіе, тиранію надъ нимъ, а завтра — выдвинули его на какую-нибудь маленькую должность, кинули ему наживку, и онъ уже говоритъ совѣтъ иначе, выступаетъ на собраніи и оретъ, какъ и прочіе бюрократы. А когда оставишься наединѣ станешь его корить за такое поведение, онъ нахально тебѣ отвѣтитъ: «А что-жъ, какъ всѣ такъ и я». ...«Пойди и довѣрься послѣ этого человѣку, погубишь себя, а дѣла никакого не сдѣлаешь». Но одинъ вопросъ мучилъ этого вдумчиваго пролетарія — почему это у рабочаго такая проклятая судьба. Уже сколько революцій онъ сдѣ-

паль, а все на его шеѣ кто-то остается сидѣть, пользуется результатами его труда! Чтобы сообща думать объ этомъ, чтобы сообща искать отвѣтъ на этотъ вопросъ вопросовъ, онъ готовъ былъ рискнуть на связь съ нами, съ моими товарищами и мною.

Съ болѣе сложнымъ случаемъ пришлось встрѣтиться въ Ленинградѣ. На фабрикѣ, гдѣ работало двое троцкистовъ, одинъ изъ нихъ молодой — мало-квалифицированный рабочий — записался вдругъ въ деревню въ 25-тысячники, рассказавъ объ этомъ своему товарищу. Тотъ пытался отговорить его: не слѣдуетъ, молъ, намъ, оппозиціонерамъ, брать отвѣтственность за политику, проводимую Сталинымъ. Онъ сперва возражалъ, такъ сказать, принципиально: мы требовали наступленія на кулака, какъ теперь не помогать въ этомъ дѣлѣ, хотя оно и проводится Сталинымъ. Затѣмъ онъ привелъ уже непосредственные и болѣе близкіе мотивы своего поведенія: «Я человекъ безъ настоящей квалификаціи, зарабатываю мало, при теперешней дороговизнѣ на троихъ — на жену, самого себя и ребенка не хватаетъ — поѣду въ деревню, жена будетъ за меня получать мой полный заработокъ и паекъ, а я въ деревнѣ сверхъ того буду обеспеченъ питаніемъ и деньгами. Послѣ возвращенія профсоюзъ пошлетъ меня на курсы по повышенію квалификаціи или даже въ учебу». — Свое поведеніе онъ не понималъ, какъ отходъ отъ оппозиціи, а просто какъ отсрочку борьбы за оппозиціонное дѣло до болѣе подходящихъ временъ. Пока масса не шевелится, можно подумать о повышеніи квалификаціи.

Объ аналогичномъ случаѣ рассказывалъ мнѣ троцкистъ-капитулянтъ, работавшій инженеромъ на Путиловскомъ заводѣ. Когда одинъ изъ 25-тысячниковъ былъ въ деревнѣ убитъ, на его мѣсто явилось добровольно десятокъ человекъ рабочихъ, въ томъ числѣ и коренные рабочіе старики.

Съ другой стороны, широко распространены были среди ленинградскихъ рабочихъ и такъ называемыя «деревенскія настроенія», т. е. прямо отрицательное отношеніе къ анти-крестьянской политикѣ бюрократіи: «Что намъ эта политика принесла — голодъ и больше ничего», — было часто слышно среди рабочихъ. Слышались и болѣе социальныя аргументы: «Гдѣ же тутъ союзъ съ крестьянствомъ, когда у крестьян все отнимаютъ?» Или: «Кулаковъ пусть преслѣдуютъ, но зачѣмъ идти на всю трудовую массу?»

Близкое знакомство въ Ленинградѣ съ коммунистической бюрократіей завершало въ нѣкоторомъ смыслѣ кругъ социальныхъ наблюдений въ современной Россіи. Мало знать жизнь и положеніе низовъ этого общества — трудящихся массъ, ихъ безправіе и страданія оправдываются тысячами временными и будто объективными условіями и, хотя чувствуешь и видишь во многомъ ложь такихъ объясненій, ты все же неспособенъ вырваться окончательно изъ ихъ плѣна, пока по настоящему не познакомишься и не поймешь условія жизни «положительныхъ героевъ», настоящихъ хозяевъ совѣтскаго общества — бюрократіи.

Среда, въ которой я въ Ленинградѣ оказался, была для такого наблюденія исключительно благоприятна. Я и мои товарищи жили, какъ я уже упомянулъ, въ Партийномъ Домѣ, гдѣ жила вся ленинградская коммунистическая верхушка, начиная съ Кирова, секретаря партійной организаціи, и Комарова, председателя Ленинградскаго Совѣта. Тутъ же жилъ раньше Зиновьевъ со всѣмъ штабомъ, часть котораго жила еще тамъ и въ наше время. Домъ этотъ былъ занятъ ленинградской большевистской верхушкой въ самые дни Октябрскаго переворота. Семья, напримѣръ, въ которой я жила, поселилась тамъ еще въ Октябрѣ 17 года. Необыкновенная просторность дома оставляла достаточно мѣста для старой верхушки даже при вѣздѣ туда новыхъ сановниковъ. Такимъ образомъ, тутъ можно было изучать, какъ въ лабораторіи, «бюрократическую культуру» въ чистомъ видѣ, въ полной преемственности ея развитія за весь періодъ революціи въ ея теперешнемъ обликѣ.

Такъ какъ меня интересуетъ не личное и, тѣмъ менѣе, сенсационная сторона этихъ наблюдений, я и ограничусь здѣсь сообщеніемъ не деталей и лицъ, а социальнымъ и социологическимъ итогомъ этихъ наблюдений.

Весь этотъ кругъ людей, всѣ эти семьи представляли прежде всего что-то общее, одинъ общественно-психологическій типъ. Типъ новой общественной знати, типъ, отчасти напоминающей «нуворишей». Что по существу они являются новымъ привилегированнымъ сословіемъ, это я въ основномъ зналъ и раньше. Но что они сами себя сознаютъ уже новой знатью, что они уже насквозь проникнуты іерархической, кастово-круговой психологіей — это я увидѣлъ только здѣсь. Это было то новое и цѣнное, съ чѣмъ я здѣсь столкнулся во всей убѣдительности факта.

Большинство этихъ семей вышло изъ рабочихъ и масте-

ровъ, во всякомъ случаѣ изъ народа. Въ ихъ разговорной рѣчи, въ ихъ манерахъ, даже въ лицахъ ощущается ихъ прошлое, и какъ холодно, какъ при всемъ этомъ свысока смотреть они на рабочихъ!

Настоящимъ человѣкомъ для нихъ являлся только тотъ, кто занималъ господствующее положеніе въ обществѣ: кто «у насъ» въ Совѣтской Россіи неспособенъ подняться, тотъ значитъ какое-то низшее, мало цѣнное существо. Цѣнность человѣка опредѣлялась курортомъ, на который онъ могъ получить путевку, квартирой, мебелью, одеждой, служебнымъ положеніемъ. Новые привилегированные дѣлились по кругамъ, невидимымъ простымъ глазомъ, но остро ощущаемымъ. Дѣло не ограничивалось только строгой іерархіей. Люди, принадлежавшіе приблизительно къ одному и тому же кругу, дѣлились внутри его еще по различнымъ признакамъ: по времени своего возвышенія, по способамъ, которыми они выдвинулись, по социальной и политической биографіи. У всѣхъ этихъ круговъ существовала солидарность только противъ низшихъ классовъ, внутри же шла открытая борьба, полная ненависти и злопыхательства.

Внутреннее дѣленіе у этой бюрократической верхушки шло еще въ одномъ разрѣзѣ: мужья составляли какъ бы одинъ отѣнокъ, жены — второй, дѣти — третій. Мужья были болѣе дипломатичны, скрытны, они не такъ легко забывали, что нужно держать «связь съ массой», что нужно сохранять видимость пролетарскихъ и революціонныхъ приличій. Ихъ нужно было понимать съ полуслова, съ намёка. У женъ такихъ сдерживающихъ моментовъ не было: онѣ были цѣликомъ въ плѣну желанія блеснуть квартирой и шикарной обстановкой, блеснуть платьемъ въ своей театральной ложѣ, блеснуть поѣздкой на лучший курортъ или поѣздкой за границу. Онѣ считали и ощущали себя «свѣтомъ», «обществомъ», страстно живя его мелкими амбиціями и завистью. Одна изъ нихъ рассказываетъ мнѣ о своей лѣтней поѣздкѣ на Кавказъ, показываетъ фотографическіе снимки. Вотъ она въ вестибюлѣ чудеснаго дворца, въ которомъ жила, снята вмѣстѣ съ Буденнымъ; она омрачается: «Да, здѣсь я только съ Буденнымъ, Ворошиловъ въ тотъ день отсутствовалъ». — Нужно было слышать это «только»... И какъ засіяла она черезъ нѣсколько минутъ, когда мы дошли до фотографіи, гдѣ она снята вмѣстѣ съ Ворошиловымъ! Какъ совершенно въ стилѣ этого «общества» то, что одна изъ нихъ, жена виднѣйшаго наркома, состоитъ въ руководствѣ парфюмернаго треста. Есть среди нихъ и общественницы: онѣ жеманятся на засѣданіяхъ Комитета Мопра (Общества помощи за-

граничнымъ революціонерамъ), какъ когда-то графини и княгини на засѣданіяхъ Краснаго Креста.

Дѣти прежде всего протестовали противъ лицемерія родителей, они хотѣли, чтобы вещи назывались своими именами: мы хозяева, зачѣмъ это скрывать? Почему не одѣваться хорошо всегда и вездѣ, почему одѣваться шикарно только въ одномъ случаѣ, а въ другомъ — нарочито прибрѣдаться? Почему не разъѣзжать въ свое удовольствіе на машинѣ, разъ она имѣется въ гаражѣ? Почему Х. везетъ своихъ дѣтей въ школу на машинѣ, а нашъ папа отказывается намъ въ этомъ? Ихъ тошнило отъ революціонной фразеологіи, отъ склоненія по вѣсѣмъ надежамъ слова пролетаріатъ. Они не боялись пролетаріата, они ничего противъ него «вообще» не имѣли, но это слово имъ надоѣло. Въ пионерскія и комсомольскія организаціи дѣти шли очень неохотно, большинство въ нихъ даже и не состояло. Ихъ отталкивала казенная напыщенность, условность, имъ тамъ было просто скучно. «Я ни за революцію, ни за контръ-революцію, я пацифистъ», — говорилъ мнѣ 15-лѣтній парнишка, покупавшій часто букеты одной ленинградской театральнoй звѣзды. И при всемъ томъ этотъ сынъ стараго большевика, члена ЦИК'а, ЦК, одного изъ перваго десятка ленинградской верхушки, былъ на своей ладъ вдумчивымъ мальчишкой. Сынъ другого, такого же, и, пожалуй, даже еще болѣе извѣстнаго сановника, былъ такимъ ярымъ анти-семитомъ, что школьныя власти, трепеща, должны были все же пожаловаться на него отцу. Десятилѣтній мальчикъ третьяго, споря на дворѣ съ сосѣднимъ мальчишкой, отецъ котораго бюрократъ поменьше, бросаетъ ему презрительно: «Ахъ, что твой отецъ! Онъ даже машины не имѣетъ, а у насъ — двѣ» (служебная и личная).

Мнѣ встрѣтился только одинъ случай, гдѣ оппозиція дѣтей сановниковъ шла какъ будто-бы слѣва. Дочка отказалась вступить въ пионеры: «Вы сами говорите, что Сталинъ мерзавецъ, а въ пионерахъ его надо уважать. Не пойду туда». Отецъ и мать сочувствовали троцкистской оппозиціи, и въ домѣ за семейнымъ столомъ «партийному руководству» и, въ частности, Сталину доставался порядкомъ. Дочка все это слышала и теперь воспользовалась этимъ. Но родители никакъ не могутъ утѣшиться: «Мы двадцать пять лѣтъ состоимъ въ партіи, и наша дочь (она была у нихъ единственнымъ ребенкомъ) чтобы не состояла теперь въ рабочей организаціи?»

Въ политическомъ отношеніи эти круги дѣлились на двѣ основныя группы. Одна — это были остатки сверженной группы Зиновьева, вторую группу составляли пришедшіе послѣ

сверженія Зиновьева къ власти ленинградскіе «правые», настоящіе «сталинцы» попадались среди нихъ рѣдко. На сталинскаго комиссара Кирова въ этихъ кругахъ смотрѣли какъ на чужака, посланнаго Москвою, чтобы мѣшать и не давать воспользоваться до конца побѣдой надъ Зиновьевымъ. Кировъ царствовалъ въ домѣ и въ городѣ, какъ то одиноко, какъ пришлецъ-завоеватель, который не имѣетъ на мѣстѣ ни любви въ массахъ, ни приверженности въ болѣе широкихъ кругахъ аппарата. Это, конечно, не мѣшало Сталину и Кирову расправиться съ ленинградскими правыми, одну часть снимая съ постовъ, а другую переводя изъ ихъ «осиного гнѣзда» въ Москву. Платили они за это Кирову столь же безпомощной, сколь лютой ненавистью.

Больше, чѣмъ факты изъ современной жизни коммунистической бюрократіи, меня поражали факты изъ прошлыхъ лѣтъ, вплоть до первыхъ дней послѣ Октябрьской революціи. А факты были неоспоримые: Я ихъ слышалъ изъ устъ людей, которые жили въ этомъ домѣ съ самаго Октября 1917 года, рассказывались эти факты большей частью случайно и почти всегда съ удовольствіемъ, какъ пріятное воспоминаніе. Оказывается, большевистская верхушка уже съ первыхъ дней Октября особой скромностью не отличалась...

Когда зимой 1930 года были затрудненія съ топливомъ и въ нашемъ домѣ не было нѣсколько дней горячей воды, одна изъ сановницъ возмутилась: «Ну и порядки при этомъ Кировѣ! Зиновьевъ хоть и фракціонеръ, а при немъ центральное отопленіе всегда функционировало и горячей воды было всегда вдосталь. Даже въ 1920 году, когда фабрики въ Ленинградѣ стояли изъ-за недостатка угля, у насъ въ домѣ можно было всегда свободно купаться».

Въ тюрьмѣ.

Послѣ того, какъ я въ теченіе четырехъ лѣтъ имѣлъ возможность жить и путешествовать по Россіи въ положеніи чело-^{вѣ}вѣка изъ привилегированнаго меньшинства, мнѣ пришлось пять съ половиной лѣтъ помытарствовать по совѣтскому подземелью, по безбрежному совѣтскому аду, помытарствовать не въ качествѣ наблюдателя, а въ качествѣ настоящаго жителя этого царства безправія. Не разъ за это время я находился на волосокъ отъ смерти, порой я физически ощущалъ на своей шеѣ холодъ ея косы.

И все-же, не только теперь, когда «все прошло» и я живу свободно въ гуманномъ, Маркъ-Авреліевскомъ режимѣ умирающаго Рима — во Франціи Леона Блюма, — но и раньше, когда еще находился въ имперіи новаго Чингисъ-хана Сталина, подъ угрозой убійства, или когда вынужденъ былъ пойти на самоубійство, какъ на послѣдній протестъ противъ безпредѣльнаго попиранія правъ и достоинства человѣка — и тогда я никогда, ни на одинъ моментъ не пожалѣлъ, что прѣхалъ въ Россію, что очутился въ ея тюрьмахъ. Страстное желаніе узнать до конца эту новую Россію стоитъ всякаго риска.

При террорѣ и тоталитарности режима, которые существуютъ въ Совѣтской Россіи, публичная общественная жизнь, какъ ни страшна и она въ цѣломъ рядѣ своихъ проявленій, все же предстаетъ передъ глазами наблюдателя, особенно иностранца, въ какомъ-то искусственномъ гримѣ. Подлинная, всамдѣльная жизнь отъ публичной видимости безконечно далека. Подлинную жизнь можно узнать по-настоящему только за чертой официальной общественности, за границами легальной жизни, въ станѣ отверженныхъ, въ тюрьмахъ, подъ замкомъ ГПУ. Только тамъ можно дѣйствительно узнать Россію, какова она есть, безъ маски, Россію, какъ ее создали «Богъ и ГПУ».

Кто не побывалъ въ совѣтскихъ тюрьмахъ, концентраціонныхъ лагеряхъ и въ ссылкахъ, гдѣ собрана огромная армія, больше 5 милліоновъ человѣкъ, дарового, невольнаго труда, кто не познакомился съ этими крупѣйшими въ міровой исторіи каторгами, гдѣ люди умираютъ какъ мухи, гдѣ ихъ разстрѣливаютъ какъ собакъ, гдѣ ихъ заставляютъ работать какъ рабовъ, тотъ, мнѣ кажется, не знаетъ, что такое Совѣтская Россія.

Узнавши въ тюрьмахъ настоящую Россію, Россію ужасовъ и самаго настоящаго рабства, я не могъ не ставить себѣ, неизцѣримо острѣе, чѣмъ это было возможно на волѣ, вопросъ: какимъ образомъ могло такъ случиться, что самая смѣлая, самая глубокая социальная революція, какую до сихъ поръ видѣло и совершило человѣчество, заканчивается самой послѣдней формой порабоженія народныхъ массъ? На одномъ этапѣ русская революція — послѣднее слово социальнаго прогресса человѣчества, а на другомъ — послѣднее слово общественной джи, эксплуатаціи и гнета. Откуда берется это сочетаніе такихъ противорѣчій?

Отвѣтъ тѣмъ сложнѣе, что отдѣльные этапы революціи не отдѣлены другъ отъ друга гражданскими войнами или какими-нибудь особо-замѣтными переворотами, наоборотъ, они соеди-

нены какъ бы простой и непримѣтной эволюціей. Революція на всемъ протяженіи остается «побѣдоносной», все время остается какъ бы самой собой! Въ значительной степени остаются на своихъ мѣстахъ тѣ же люди, тѣ же организаціи, и тѣ же люди, тѣ же организаціи, которые возглавляли революцію на ея первомъ, освободительномъ, подъемномъ этапѣ, защищаютъ и насаждаютъ теперь, въ періодъ упадка революціи, рабство и гнетъ! Внѣшне, формально какъ будто никакой перемѣны не произошло, а по существу, по социальной дѣйствительности, произошло полный переворотъ, социальныя отношенія и направленіе ихъ развитія прямо противоположно тѣмъ, во имя которыхъ зѣлалась Октябрьская революція.

Пребываніе въ совѣтскихъ тюрьмахъ не только ставитъ въ упоръ передъ сознаніемъ человѣка эту проблему, но оно даетъ и нѣкоторые элементы для ея разрѣшенія.

Въ тюрьмахъ встрѣчаешь собранныхъ въ одномъ мѣстѣ представителей всѣхъ социальныхъ прослоекъ Россіи. Поскольку тюрьма — единственное мѣсто, гдѣ люди въ Совѣтской Россіи болѣе или менѣе открыто и свободно разговариваютъ межъ собой, цѣнность этого обстоятельства для знакомства съ дѣйствительными настроеніями огромной страны — незамѣнима. Огромное же количество заключенныхъ и преслѣдуемыхъ является достаточной гарантіей противъ случайности индивидуальныхъ высказываній и мнѣній.

Возвращаясь изъ Москвы въ Ленинградъ, я внимательно слѣдилъ за тѣмъ, нѣтъ ли за мной слѣжки. Ея не было, и я успокоился. Но въ Ленинградѣ я вскорѣ сталъ замѣчать что-то подозрительное. У подъѣзда дома, въ которомъ я жилъ, я сталъ встрѣчать какого-то субъекта. Онъ могъ быть приставленъ къ кому-нибудь другому, но я почему-то сразу отнесъ его вниманіе къ себѣ. Въ университетѣ, гдѣ я работалъ, приходилъ справляться обо мнѣ какой-то незнакомый челоувѣкъ и, не найдя меня, пытался получить свѣдѣнія обо мнѣ отъ служащихъ. Онъ даже заглянулъ въ переписку, которая лежала на моемъ письменномъ столѣ. Это обстоятельство говорило уже много. Съ другой стороны, одинъ знакомый, котораго я считалъ секретнымъ агентомъ ГПУ, пересталъ посѣщать меня. Повидимому, внутреннее наблюденіе смѣнилось внѣшнимъ. Я сталъ подумывать о переходѣ на нелегальное положеніе и о возвращеніи въ Европу нелегальнымъ способомъ.

Въ такомъ настроеніи возвращался я къ себѣ домой около полуночи 21-го мая 1930 года. Собирался взять нѣкоторыя ве-

ши и, на всякій случай, нѣсколько дней не ночевать дома. Передъ домою на улицѣ никого не было. Воздухъ, значить, чистый. Но когда мнѣ открыли дверь, я тутъ же въ корридорѣ столкнулся съ чиновникомъ ГПУ въ мундирѣ. «Открылась новая страница моей жизни въ СССР», — подумалъ я. Я не сомнѣвался въ томъ, что у ГПУ имѣются матеріалы о моей причастности къ подпольной оппозиціонной работѣ. Въ такомъ случаѣ обыскъ и арестъ были неизбежны. Но мнѣ было непонятно, откуда ГПУ могло имѣть эти данныя, и поэтому я рѣшилъ не признаваться до тѣхъ поръ, пока ГПУ не предъявить мнѣ доказательства.

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ я. Мнѣ былъ предъявленъ ордеръ на обыскъ и арестъ. Обыскъ наполовину былъ уже сдѣланъ въ мое отсутствіе. Но причина обыска и ареста въ ордерѣ не была указана, и чиновникъ ГПУ заявилъ мнѣ, что никакихъ объясненій по этому поводу онъ дать мнѣ не можетъ. Я заявилъ по этому поводу протестъ. Самъ по себѣ обыскъ меня не смущалъ, такъ какъ никакихъ нелегальныхъ матеріаловъ въ комнатѣ у меня не было.

Тѣмъ временемъ обыскъ кончился. Гепеуры забрали всѣ мои рукописи. Я собралъ всѣ свои вещи, въ томъ числѣ и зиннія. Гепеуры меня увѣрили, что зимнее братъ съ собой не нужно, что я скоро вернусь, но я знаю, чую, что возврата уже нѣтъ, что единственный способъ «возвращенія» — капитуляція, но она для меня отпадаетъ. У подъѣзда насъ ждала легковая машина ГПУ, и мы поѣхали. Вхвать пришлось недолго: до слѣдующаго подъѣзда партійнаго дома. Здѣсь мы остановились, внизу ждалъ еще одинъ агентъ ГПУ съ моимъ товарищемъ, Дедичемъ. Я очень удивился этому, такъ какъ за послѣдніе мѣсяцы Дедичъ такъ разошелся съ нашей группой, что никакого участія въ ней не принималъ. Но мы, конечно, оба обрадовались этой встрѣчѣ, стало какъ-то легче на душѣ, что новый путь нашей жизни начинаемъ не въ одиночку.

Вскорѣ насъ привезли въ тюрьму, въ Домъ предварительнаго заключенія на Шпалерной улицѣ. Не безъ любопытства и даже волненія думалъ я о предстоящемъ. Въдѣ даже тюрьма, тюремный режимъ должны быть въ рабочемъ государствѣ иные, чѣмъ въ буржуазномъ. Не наказаніе, а исправленіе заключеннаго.

Насъ привели въ контору. Обстановка тюремной конторы, голоса и жесты писарей, бездушный механизмъ всего здѣсь совершающагося живо напоминали границу: «То же самое, что и въ буржуазной тюрьмѣ», — шепнулъ я Дедичу. И тутъ же

сдѣлать маленькій практической выводъ: въ виду предстоящаго личнаго обыска, на всякій случай спрятать кусочекъ карандаша, какъ это дѣлалъ въ подобныхъ случаяхъ и въ буржуазной странѣ...

На третью ночь моего тюремнаго пребыванія меня вызвали къ слѣдователю. Это общее правило ГПУ: вызывать заключенныхъ на допросъ ночью; оно какъ-то страшнѣе, да и человѣкъ со сна менѣе собранъ, менѣе способенъ къ отпору. Психологiя — любимая наука гепеуровъ.

Меня привели въ комнату слѣдователя. Имъ оказался тотъ самый чиновникъ, который руководилъ обыскомъ у меня въ комнатѣ.

— Вы знаете, почему васъ арестовали? Нѣтъ? Въ такомъ случаѣ скажите, что вы сами думаете о причинѣ ареста? — были его первые вопросы.

Въ согласiи съ намѣченной мною тактикой, я отвѣтилъ слѣдователю, что причина ареста мнѣ не извѣстна, но что я предполагаю, что она результатъ какой-нибудь интриги со стороны моихъ фракціонныхъ противниковъ по югославской партiи. — «Нѣтъ, нѣтъ», — торопливо возразилъ слѣдователь, — «Коминтернъ насъ не касается, насъ касается только ваша дѣятельность внутри ВКП (т. е. русской коммунистической партiи). Каково ваше отношенiе къ политикѣ ВКП?», — спросилъ онъ уже прямо. Такъ же прямо и — въ согласiи съ принятыми въ Россiи условiями политической борьбы — такъ же лживо я ему отвѣтилъ: «Положительное. Я считаю политику ВКП правильной, у меня съ ней никакихъ расхожденiй нѣтъ». Потомъ добавилъ еще: «Расхожденiя у меня только по линiи Коминтерна — въ Германiи и Югославиѣ». Я еще прибавилъ, что на «капитуляцию я итти не собираюсь». Мои заявленiя, однако, не удовлетворили слѣдователя. Его интересовало ВКП, а не Коминтернъ. Я былъ отправленъ назадъ въ камеру.

Черезъ три дня я вновь былъ вызванъ къ слѣдователю. У слѣдователя я встрѣтился съ однимъ югославскимъ коммунистомъ П. Это былъ рабочiй, профсоюзный работникъ изъ Загреба. Самъ я, будучи тогда секретаремъ коммунистической партiи Кроати, участвовалъ въ его отправкѣ въ Россiю. Въ Москвѣ онъ кончилъ Свердловскiй университетъ. Какъ разъ незадолго до ареста я пытался его вовлечь въ нашу фракціонную работу и уговорить его добиваться энергично права выѣзда за границу. Онъ отнесся къ моему предложенiю отрицательно, мотивируя тѣмъ, что компартiя сейчасъ проводитъ въ жизнь

основныя требованія Троцкого, «да и въ Сибирь не охота», — добавилъ онъ уже искренне.

— Не разговаривай, ни слова! садитесь сюда! — встрѣтилъ меня слѣдователь у входа въ комнату, когда я замѣтилъ сидѣвшаго уже П. Послѣ этого слѣдователь зачиталъ мнѣ обширное показаніе П. Въ немъ была обстоятельно записана вся наша бесѣда съ нимъ, кромѣ словъ о Сибири. Только въ одномъ мѣстѣ показанія моя мысль, высказанная завуалированно, была расшифрована. «Нужно вѣхать за границу, чтобы организовать борьбу противъ Коминтерна», — говорилъ я ему тогда, ибо тогда уже былъ сторонникомъ организации новаго Интернационала. «Въ Россіи вопросъ объ устраненіи бюрократіи будетъ въ конечномъ счетѣ рѣшаться силой. Ибо отъ своихъ привилегій бюрократы добровольно не откажутся». Да, все это я говорилъ, но какъ я могъ такъ разоткровенничаться? П. подтвердилъ прочитанное слѣдователемъ показаніе и тутъ же его подписалъ. Я же заявилъ, что все это ложь и выдумка П.

Слѣдователь велѣлъ отпустить П. домой, а меня отвести обратно въ камеру. Спустя нѣсколько дней я былъ въ третій разъ вызванъ на допросъ. Кромѣ слѣдователя, въ комнатѣ сидѣлъ еще кто-то въ штатскомъ. Этотъ послѣдній предложилъ мнѣ въ письменной формѣ изложить мое отношеніе къ политикѣ ВКП и къ троцкизму. Я вновь подтвердилъ свое первое заявленіе о своей солидарности съ политикой ВКП, включая сюда и ея отношеніе къ троцкизму и прибавилъ, что готовъ передъ партійнымъ органомъ дать всѣ нужныя объясненія, но отказываюсь ихъ давать ГПУ. «Я уполномоченъ Обкомомъ партіи говорить обо всѣхъ партійныхъ дѣлахъ», — заявилъ мнѣ мой собесѣдникъ. — «Въ такомъ случаѣ, — возразилъ я, — отдайте распоряженіе о моемъ освобожденіи изъ тюрьмы ГПУ, и тогда я съ вами буду разговаривать. На положеніи же арестованнаго я отказываюсь съ вами говорить о партійныхъ дѣлахъ».

Послѣ моего отказа меня снова отвели въ камеру. Черезъ недѣлю меня вызвали для того, чтобы предъявить матеріалы обо всей моей дѣятельности въ Москвѣ во время моей послѣдней поѣздки туда въ началѣ мая. Я выслушалъ докладъ о Московскомъ совѣщаніи нашей группы, о попыткѣ переслать коминтерновскіе матеріалы за границу Троицкому и т. д.

— Ваша группа въ Москвѣ вся арестована и всѣ члены ея сознались, нечего и вамъ заператься.

Но показанія моихъ товарищей мнѣ не были показаны, изъ чего я и сдѣлалъ выводъ, что ГПУ знаетъ не все. Мнѣ прочли только показанія представителя оппозиціоннаго центра, съ ко-

торымъ я имѣлъ бесѣду о всѣхъ дѣлахъ и планахъ нашей группы. Представитель центра былъ агентомъ ГПУ: вотъ такъ мы попались! Механизмъ разгрома нашей группы сталъ ясенъ. Изъ предъявленныхъ мнѣ матеріаловъ я видѣлъ, что вмѣстѣ съ арестованными въ Москвѣ товарищами ГПУ забрало рѣшеніе нашей конференціи, часть переписки и т. п.

Запираться не имѣло больше смысла, и я заявилъ теперь открыто, что раздѣляю взгляды оппозиціи. Мнѣ предложено было тогда отиѣтити письменно на два вопроса: 1) изложение моихъ политическихъ взглядовъ; 2) изложение моей подпольной оппозиціонной дѣятельности. Дали чернила и бумагу съ тѣмъ чтобы въ теченіе ближайшихъ дней я представилъ обстоятельную записку. Отъ отвѣта на второй вопросъ, касающійся организаціонной дѣятельности подпольной группы, я отказался.

Свои политическіе взгляды я изложилъ на 20-30 страницъ съ полной откровенностью, перейдя отъ обороны къ наступленію. Основные мысли моего заявленія сводились къ слѣдующему: если первая стадія русской революціи, стадія Ленина, учить насъ тому, что и какъ нужно дѣлать, то вторая — сталинская, какъ разъ обратно — учить тому, чего не слѣдуетъ дѣлать въ революціи... «Пятилѣтка прогрессивное, но не социалистическое дѣло». Если судить по количеству заводовъ, Америка давно социалистическая страна! Социализмъ — не фабрики и не машины, а отношенія между людьми. Эти же отношенія въ СССР ничего социалистическаго въ себѣ не имѣютъ. Коллективизаціи не борьба между социализмомъ и капитализмомъ, а единоборство между крупнымъ государственнымъ капиталомъ и мелкимъ частнымъ. Борьба Сталина съ «справыми» — вся половинчата, носитъ центристскій характеръ. Въ конечномъ счетѣ онъ съ ними уживется, какъ Каутскій ужився съ Бернштейномъ. Разрывъ же его съ лѣвыми окончателенъ, какъ окончателенъ былъ разрывъ Каутскаго съ Розой Люксембургъ и съ Либкнехтомъ. Въ области международной политики я обвинялъ сталинцевъ въ томъ, что они ведутъ рабочее движеніе капиталистическихъ странъ отъ пораженія къ пораженію, что они относятся къ иностраннымъ коммунистамъ и рабочимъ не какъ къ равноправнымъ, не какъ къ братьямъ, а третируютъ ихъ какъ своихъ лакеевъ и слугъ.

Въ этомъ же заявленіи я требовалъ разрѣшенія мнѣ и моимъ югославскимъ товарищамъ свободно вернуться за границу: югославскіе рабочіе послали насъ въ СССР, чтобы мы узнали, что въ немъ творится, мы хотимъ имъ теперь дать отчетъ

обо всемъ видѣнномъ. «Но если, согласно вашей новой палаческой функціи, — такъ приблизительно заканчивалъ я свою записку, — вы вмѣсто того, чтобы послать меня на западъ, отправите на востокъ, гдѣ въ ссылкахъ и въ тюрьмахъ томятся русскіе оппозиціонеры, вы меня не испугаете этимъ. Я знаю, что я тамъ найду братьевъ».

Послѣ этого моего заявленія меня больше не допрашивали. Мое дѣло пошло въ Москву, и я въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ ожидалъ оттуда рѣшенія относительно моей дальнѣйшей судьбы: вышлютъ на западъ, или сошлютъ на востокъ.

Мое заявленіе въ теоретической части, касающейся оцѣнки политической и экономической стороны совѣтскаго строя было болѣе отрицательно, чѣмъ я самъ думалъ обо всемъ этомъ еще мѣсяца два до своего ареста. Оставшись въ тюрьмѣ наединѣ съ самимъ собой, мысль болѣе сосредоточенно и быстро подводила итоги общественнымъ явленіямъ, чѣмъ на волѣ, въ сутолокѣ повседневной жизни. Въ оцѣнкѣ роли Ленина и Троцкого въ революціи я оставался тогда еще на линіи полной «ортодоксинъ». Критическое отношеніе къ ихъ роли возникло только позднѣе.

Въ Домѣ предварительнаго заключенія я просидѣлъ 5 мѣсяцевъ, съ мая по октябрь 1930 года. Первую половину этого срока, до конца слѣдствія я просидѣлъ въ камерѣ № 11, куда меня привели въ первую ночь. Это была небольшая, полутемная камера, какими были впрочемъ и всѣ остальные камеры 1-го этажа. Во время моей сидки свѣта въ ней стало еще меньше, оттого что передъ окнами какъ разъ въ это время поставили «щиты». Нужны были сверженіе царизма и 13 лѣтъ революціи, чтобы въ этой старой тюрьмѣ былъ потерянъ и тотъ клочекъ свѣта, который доходилъ туда раньше. Чтобы читать днемъ, надо было влѣзать на столъ и стоять съ книгой въ рукахъ у самаго верха окна. Мы съ моихъ товарищемъ по заключенію и влѣзали туда поочередно. Прибитіе щитовъ было тѣмъ болѣе жестоко, что окна вовсе не выходили на улицу, а во дворъ, къ тому же еще темный. Въ камерахъ и корридорѣ царилъ могильная тишина. Корридоры выстланы были дорожками, такъ что даже шаги надзирателей были едва слышны. Прогулки наши длились всего 10 минутъ въ сутки. На прогулку выходило одновременно 6 камеръ, т. е. 12 человѣкъ. Каждая пара была удалена другъ отъ друга на 4-5 шаговъ. На такомъ разстояніи въ небольшомъ полукругломъ дворѣ переговариваться можно было только со своимъ созаключеннымъ. Все же мы

успѣвали переброситься нѣсколькими фразами съ парой, гулявшей передъ нами и шедшей за нами, т. е. съ камерой № 10 и 12. Понемногу узнали имена и дѣла всѣхъ гулявшихъ.

Тѣ 11 челоѣкъ, которые одновременно со мной гуляли, во дворѣ, всѣ обвинялись въ шпионажѣ въ пользу какого-нибудь государства — Польши, Эстоніи, Латвіи, Чехословакіи, Англии. Авторитетъ каждаго даннаго заключеннаго опредѣлялся значеніемъ «представляемой» имъ страны. Польскій ремесленникъ, отецъ большого семейства, высокій, худой челоѣкъ, обвинялся въ шпионажѣ въ пользу Польши. Беззаботный челоѣкъ, весь день что-то напѣвавшій про себя, обвинялся въ шпионажѣ въ пользу Эстоніи. По тому же обвиненію онъ недавно отсидѣлъ 3 года въ ссылкѣ въ Центральной Азійи и, вернувшись въ Ленинградъ, былъ вскорѣ вновь арестованъ. Подвижный старикъ латышъ, повидимому опытный конспираторъ, обвинялся въ шпионажѣ въ пользу своего отечества. Молодой, полный, краснощекій и шикарно одѣтый челоѣкъ подозрѣвался въ шпионажѣ въ пользу Чехословакіи. Челоѣкъ, сидѣвшій со мной въ камерѣ, сказалъ мнѣ, что его обвиняютъ въ шпионажѣ въ пользу Англии. Но я ему не вѣрилъ. Я считалъ, что меня посадили къ агенту ГПУ.

Вообще, мнѣ казалось, что гепеуры нарочно посадили меня въ такую среду, чтобы морально меня терроризировать. Сидка была нелегкая. Питаніе скудное, голодное: утромъ кнѣпточекъ и около 400 граммовъ хлѣба на весь день. Къ обѣду горячая вода, въ которой плавало нѣсколько листиковъ капусты, къ этому горстка гречневой каши безъ масла; къ ужину тотъ же «супъ». Въ другихъ, не гепеуровскихъ тюрьмахъ питаніе было еще хуже. Сознаніе превосходства ГПУ надъ остальными органами совѣтской юстиціи требовало своего выраженія во всемъ, вплоть до лучшаго питанія «его» заключенныхъ. Когда позже я попалъ въ общія камеры, мнѣ довелось встрѣтить заключенныхъ, которые были счастливы, что попали теперь въ тюрьму ГПУ! Большею части заключенныхъ моего коридора было разрѣшено пользоваться книгами и покупать газеты. Мнѣ сверхъ того — имѣть при себѣ чернила и бумагу.

Мой сосѣдъ по камерѣ два раза въ недѣлю получалъ передачу съ воли и очень приставалъ ко мнѣ, желая дѣлиться своими передачами. Это только усиливало мои подозрѣнія. Черты душевной доброты, имѣвшіяся у него, я принималъ за ловкіе маневры гепеура. Потомъ, когда въ ходѣ слѣдствія, ГПУ предъявило мнѣ комплектъ московскихъ документовъ нашей группы и доносъ представителя Центра, съ которымъ я велъ перегово-

ры, мнѣ стало очевидно, что ГПУ уже все знаетъ обо мнѣ и ему незачѣмъ посылать ко мнѣ своего агента. Подозрѣнія мои въ отношеніи сосѣда разсѣялись, но остались подозрѣнія въ томъ, что онъ дѣйствительно шпионъ: «Не будетъ же ГПУ невиннаго человѣка даромъ мучить», — думалъ я про себя, слушая рассказы моего сокажюченнаго о его невинности.

Правда, отдѣльные впечатлѣнія и кое-что разсказанное изъ его жизни не укладывались въ представленіе объ англійскомъ шпионѣ. Это былъ отъ природы талантливый, веселый, но теперь запуганный человѣкъ. Онъ любилъ науку, и мы, шутя, прошли съ нимъ физику и химию. Онъ очень любилъ природу и его мечтой было устроиться гдѣ-нибудь въ деревнѣ, имѣть садъ и пчельникъ.

Во время гражданской войны жилъ на югѣ и былъ, какъ онъ говорилъ, насильно мобилизованъ въ денкинскую армію. Онъ безпартійный. Но въ процессъ борьбы между бѣлыми и красными его симпатіи были на сторонѣ Красной Арміи, какъ болѣе народной. Улучшивъ подходящий моментъ, онъ и перешелъ на сторону красныхъ. Послѣ окончанія красной войны онъ былъ демобилизованъ и нашелъ небольшую работу въ Ленинградѣ, въ которомъ жилъ еще до войны. Женился. И жилъ тихо-мирно. И вдругъ начались всѣ его несчастья. Во время не то мировой, не то гражданской войны его сестра, учительница языковъ, познакомилась съ англійскимъ коммерсантомъ Ходжсономъ, вышла за него замужъ и уѣхала съ мужемъ за границу. Когда онъ вернулся въ Ленинградъ, она его разыскала, оказывала ему въ первое время нѣкоторую поддержку. Потомъ Ходжсонъ сталъ англійскимъ повѣреннымъ по дѣламъ посольства въ Москвѣ. Чета Ходжсоновъ пріѣхала въ Россію, и братъ снова встрѣтился съ сестрой. Она навѣстила его, пригласила его на обѣдъ въ ленинградское англійское консульство. Не безъ удовольствія вспоминалъ мой сосѣдъ о хорошихъ винахъ и сигарахъ, которыми тамъ угостила его сестра. Но за эту связь его нѣкоторое время спустя и арестовали, обвинивъ въ шпионажѣ. Это было нѣсколько лѣтъ назадъ. Потомъ его освободили. А теперь арестовали вновь.

Однажды, когда онъ, вернувшись отъ слѣдователя, пересказалъ мнѣ допросъ, я воскликнулъ: «Да вѣдь вамъ предлагаютъ стать гебеевскимъ агентомъ, т. е. совѣтскимъ шпиономъ противъ Англій! Что же другое могутъ означать слова слѣдователя: «Вы имѣете свободный доступъ въ англійское консульство, и вы могли бы быть полезны намъ, и вамъ было бы хорошо!» Мой сосѣдъ былъ явно напуганъ моимъ воскли-

цапемъ и весь въ смятеніи сталъ мнѣ возражать, что это не можетъ быть. Видимо онъ самъ боялся этого рокового предположенія. За свое «непониманіе» этотъ человѣкъ получилъ потомъ 5 лѣтъ концлагеря на Соловки.

Однажды вечеромъ мой сосѣдъ насторожился. — «Въ чемъ дѣло?» — «Развѣ вы не слышите приглушеннаго шума?» дѣйствительно, съ конца корридора доносились какіе-то заглушенные звуки. «Такъ въ чемъ же дѣло?» — недоумѣвалъ я. — «Вѣдь это кого-то пытаются!» Я возмутился: «Ну знаете, если заграницей вѣрятъ всякимъ мелкобуржуазнымъ сказкамъ, распространяемымъ противъ ГПУ, такъ это еще куда ни шло, но вѣрить въ такія расказни здѣсь, въ Россіи — позоръ! Что же вы думаете, ГПУ это царская охрана? Если нужно, ГПУ, конечно, и убиваетъ, оно уничтожаетъ, но не мучаетъ». Сосѣдъ мой посмотрѣлъ на меня странно-потеряннымъ взоромъ, недоумѣвая: что ему со мной дѣлать. Потомъ сказалъ: «Ну, желаю вамъ долго посидѣть въ ГПУ, тогда вы сами увидите, что такое ГПУ. Да, вы, иностранные коммунисты, дѣйствительно ничего не знаете. Если бы мнѣ все это возразилъ русскій коммунистъ, я бы пересталъ съ нимъ разговаривать»...

Къ срединѣ іюля меня перевели изъ флигеля «двойниковъ» во флигель общихъ камеръ. Камеры этого III-го корпуса помѣщались въ главной части зданія надъ центральнымъ входомъ. Второй корпусъ (съ камерами-двойниками) занималъ 3 этажа праваго крыла этого же зданія. Хотя оба корпуса находились по сосѣдству, разница въ обстановкѣ и въ жизни между ними была громадная.

Моя новая камера была оборудована на 23 человѣка. Столько имѣлось въ ней брезентовыя коеки, спускавшихся на подножкахъ со стѣнъ по вечерамъ. Но фактически за 3 месяца, проведенные въ ней, число ея обитателей не опускалось никогда ниже 80-ти. Сплошь и рядомъ было больше 90, а въ нѣкоторые дни число доходило до 110 человѣкъ. Какъ можно было размѣститься намъ? Въ срединѣ камеры было 2 ряда столовъ и одна часть заключенныхъ сидѣла за этими столами, другая сидѣла вдоль стѣнъ на скамейкахъ или койкахъ. Вечеромъ заключенные приносили себѣ матраці изъ особаго помѣщенія, находившагося въ концѣ корридора. Нелегко бывало размѣстить 100 матрацовъ въ нашей камерѣ. 23 человѣка ложились на свои койки, столько же человѣкъ клало свои матраці подъ эти койки, въ срединѣ на столахъ и пристроенныхъ нарахъ тоже раскладывались матрацы, остальные лежали подъ столами, подъ нарами и въ «свободныхъ» углахъ, начиная отъ

уборной, которая помѣщалась въ одномъ углу камеры, и кончая дверью, расположенной въ противоположномъ углу. Мѣста занимались по очереди, по сроку пребыванія въ камерѣ: сперва на полу, потомъ на нарахъ и столахъ и, наконецъ, на койкахъ. Часть населенія камеры, ютившаяся на полу и столахъ, смѣнялась часто. Другая — сидѣла долго, это были обладатели коекъ. За три мѣсяца, которые я провелъ въ этой камерѣ, я такъ и не добрался до койки.

Многочисленное населеніе камеры было очень пестро по своему составу. Всѣ области страны и всѣ классы и социальныя группы были въ ней представлены. Концентрированное знакомство «со всей Россіей» протекало быстро. На 15-минутную прогулку выходило одновременно 4-5 камеръ, такихъ же переполненныхъ, какъ и наша, соответственно увеличивая представительство различныхъ социальныхъ группъ. Наряду съ познаніемъ сотенъ человѣческихъ судебъ и ихъ дѣль, я тутъ же узнавалъ о положеніи десятковъ областей страны и о настроеніяхъ десятковъ различныхъ общественныхъ группъ. Здѣсь этотъ, быстро смѣняющійся, калейдоскопъ отражалъ тревожную, бурную, полную отчаянія жизнь огромной страны. Въ нашихъ камерахъ жило живое эхо массовыхъ возстаній крестьянъ противъ сталинской коллективизаціи, стоялъ еще стонъ массовыхъ разстрѣловъ по всей Россіи.

Тюрьма была переполнена инженерами и всякими другими «вредителями». Недовольные рабочіе, моряки, коммунисты-оппозиціонеры сидѣли рядомъ со спекулянтами и священниками. Изъ нашихъ камеръ часто выводили людей на разстрѣлъ. Никакое путешествіе по странѣ не могло дать при существующемъ въ Россіи режимѣ столько, сколько пребываніе въ теченіе нѣсколькихъ недѣль въ этихъ камерахъ.

Заклученные размѣшались въ камерѣ группками по 3-5-10 человѣкъ по социальному, политическому, культурному или религіозному признаку. Аристократію среди нихъ составляли инженеры и вообще интеллигенція. Часть изъ нихъ даже имѣла отдѣльную комнату, хорошо обставленную и не переполненную. Въ камерѣ, величиной съ нашу, помѣщалось всего 16-18 инженеровъ. Это были инженеры, днемъ работавшіе на различныхъ фабрикахъ, а вечеромъ приходившіе ночевать въ тюрьму. Нѣкоторые изъ нихъ уже имѣли приговоры, другіе находились еще подъ слѣдствіемъ. Питаніе у нихъ было превосходное и къ матеріальнымъ привилегіямъ присоединялась какая-то высоко-моральная оцѣнка. Это «мы инженеры» зву-

чало совѣтъ особенно: въ этомъ было — хотя мы, моль, тоже заключенные, но мы не рядовые совѣтскіе граждане.

Разсказывали, что на нѣкоторыхъ ленинградскихъ заводахъ выстроены особыя тюремныя помѣщенія, гдѣ ночью держатъ осужденныхъ инженеровъ, которые днемъ работаютъ на заводахъ. Разсказывали и о томъ, какъ ГПУ продаетъ осужденныхъ инженеровъ, особенно тѣхъ изъ нихъ, которые намѣнены въ Соловецкіе концлагеря, различнымъ трестамъ и фабрикамъ по всей Россіи. Половина или двѣ трети причитающагося такому инженеру жалованья получаетъ ГПУ, а остатокъ идетъ въ пользу сданнаго въ наемъ инженера. Самое удивительное во всемъ этомъ было, пожалуй, то, что люди мирились съ этимъ безъ замѣтнаго возмущенія, словно говорили: ну что же, и это выдержимъ, какъ-нибудь вывернемся и изъ этой передрыги: безъ насъ вѣдь не обойдутся!

Не привлеченные къ работѣ инженеры размѣшались по общимъ камерамъ, но и здѣсь они выдѣлялись хорошими передачами, лучшей одеждой и предупредительностью со стороны администраціи. Среди нихъ находились и сознавшіеся во вредительствѣ. Медленно, съ большимъ трудомъ мнѣ удавалось узнавать исторію ихъ дѣлъ, исторію сознанія во вредительствѣ.

«Меня держали 5 мѣсяцевъ въ одиночкѣ, — разсказывалъ одинъ изъ сознавшихся, — безъ газетъ, безъ чтенія, безъ курева, безъ передачъ, безъ свиданія съ семьей; я голодалъ, мучился одиночествомъ; отъ меня требовали признанія во вредительствѣ, котораго не было; я отказывался принимать на себя преступленія, которыхъ не совершалъ; но мнѣ говорили: если я дѣйствительно за совѣтскую власть, какъ я это утверждаю, то я долженъ доказать это на дѣлѣ: совѣтской власти нужны мои признанія... за послѣдствія я бояться не долженъ, совѣтская власть учтетъ мое чистосердечное признаніе и дастъ мнѣ возможность работать и работой загладить свой грѣхъ. Я сразу же получу свиданія съ семьей, передачу, прогулки, газеты. Если же я буду упорствовать и отмалчиваться, меня подвергнутъ безпощадной расправѣ и не только я, но и моя жена и дѣти будутъ подвергнуты репрессіямъ... Я мѣсяцами не спавался, но потомъ стало такъ невыносимо одиноко, что, казалось, хуже ничего быть не можетъ; мнѣ во всякомъ случаѣ все стало безразлично. Я подписалъ все, что требовалъ слѣдователь».

Человѣкъ этотъ былъ очень подавленъ поведеніемъ и ходилъ по камерѣ, какъ потерянный. Аналогичный моральный кризисъ пережили многие изъ спасавшихся ложными показаніями о вредительствѣ. Вотъ нѣсколько примѣровъ, случившихся

въ разное время и въ различныхъ мѣстахъ, извѣстныхъ мнѣ отъ прямыхъ участниковъ.

«Я, который всю жизнь посвятилъ дѣлу развитія угольной промышленности, своей собственной рукой подписалъ, что хотѣлъ разрушить эту самую промышленность. Ну къ чему я го- жусь послѣ всего этого? Кто я такой?» — говорилъ въ 1934 го- ду одинъ изъ крупнѣйшихъ инженеровъ Донбасса, попавшій за «вредительство» на 10 лѣтъ въ Усть-Печорскій концлагерь. Тамъ, въ этомъ огромномъ концлагерѣ, оя завѣдывалъ добы- чей угля, налаживалъ новыя шахты...

Молодой совѣтскій специалистъ, отправленный въ тотъ же концлагерь, помѣшался на попыткѣ разгадать секретъ совре- меннаго философскаго камня: какъ можно быть полезнымъ со- вѣтской власти, народной власти, которая стремится къ про- грессу и истинѣ, чтобы оя принялъ на себя преступления, ко- торыхъ не совершалъ, чтобы ложь завѣдомо выдавалъ за исти- ну...

Трагично сложилась судьба одного изъ крупныхъ инжене- ровъ-металлурговъ Донбасса. ГПУ было недовольно его недо- брожелательнымъ отношеніемъ къ современной политикѣ со- вѣтской власти. Оно рѣшило добраться до него. Орудіемъ ГПУ стала жена директора-коммуниста того завода, на которомъ ра- боталъ этотъ инженеръ въ качествѣ технического директора. По совѣту ГПУ и, конечно, за спиной мужа, она сблизилась съ этимъ инженеромъ, разыграла любовь съ нимъ и получила всѣ необходимыя данныя о его настроеніяхъ, разговорахъ и связяхъ съ другими инженерами. Изъ этого матеріала ГПУ смонтиро- вало уже вредительское дѣло, и инженеръ былъ отправленъ на Соловки. Узнавъ правду, оя покончилъ самоудійствомъ.

Деморализация, которую порождали ложныя признанія, до- ходила иногда до цинизма. Въ вагонѣ, въ которомъ ѣхало въ- ссылку нѣсколько агрономовъ-вредителей и коммунистическихъ оппозиціонеровъ, происходить такой разговоръ: «Ну, Влади- мѣръ Николаевичъ, и наговорилъ же я на васъ!» — «Знаете, Иванъ Павловичъ, и я, вѣдъ васъ здорово оговорилъ!»

Послѣ того, какъ я нѣсколько мѣсяцевъ провелъ въ этой обстановкѣ, мнѣ стало совершенно яснымъ, что обвиненія во вредительствѣ въ основѣ своей лживы, что простое недоволь- ство и пассивный отпоръ инженерства систематически превра- щаются ГПУ во вредительство и шпіонажъ. Изъ разсказовъ «сознавшихся» стали мнѣ также ясны и методы подготовки и организаціи вредительскихъ процессовъ. Но лишь позже уяс- нилъ я себѣ политическую цѣль этихъ процессовъ. Это были

превентивный терроръ, средство для деморализации специалистовъ, чей блокъ съ крестьянствомъ въ периодъ сплошной коллективизации и первой пятилѣтки могъ стать опаснымъ для коммунистической бюрократіи. Терроръ этотъ поражалъ не только лживостью обвиненій и признаній, но и матеріальными наградами, которыя предоставлялись «сознавшимся». Просидѣвши многіе мѣсяцы бокъ-о-бокъ съ этими инженерами, мнѣ стало ясно, что рѣчь идетъ не о честномъ, хотя бы и безпощадномъ террорѣ, а о какомъ-то насквозь грязномъ и шантажистскомъ террорѣ... Власть какъ бы говорила своимъ противникамъ: «Сдѣлайте то, что мы хотимъ, продайте свою совѣсть и честь, возьмите на себя преступленія, которыхъ вы не совершили, и вы за это получите всѣ блага міра сего».

Все это казалось какимъ-то кошмарнымъ сномъ. Наблюдая годами за всѣми этими дѣлами, я удивлялся только ихъ какой-то слаженности, естественности. Въ самомъ дѣлѣ: люди тысячами арестовываются, «сознаются», ихъ приговариваютъ, ссылаютъ, потомъ приговоренныхъ и сосланныхъ направляютъ на производство отбывать наказаніе и, наконецъ, ихъ восстанавливаютъ въ правахъ. Нѣкоторая часть по пути этого круга погибаетъ — умираетъ или ее разстрѣливаютъ, но о ней скоро забываютъ: бурный потокъ совѣтской жизни мчится ужъ дальше безъ нея...

Изъ остальныхъ заключенныхъ ленинградской тюрьмы особенно меня шокировала судьба группы, сидѣвшей изъ-за золота. Тогда по всей Россіи шли аресты людей, подозрѣвавшихся въ томъ, что они имѣютъ золото, золотыя издѣлія или цѣнности. Съ ними поступали слѣдующимъ образомъ. При обыскахъ, конечно ночныхъ, агенты ГПУ забирали всѣ цѣнности, найденныя въ квартирѣ, начиная съ серебряныхъ ложекъ и кончая золотой монетой и предметами искусства. Хозяевъ этихъ вещей забирали въ тюрьму, независимо отъ исхода обыска, и требовали отъ нихъ сдачи въ пользу государства спрятаннаго золота и цѣнностей для строительства пятилѣтки. Само по себѣ требованіе цѣлесообразное, но какими способами оно осуществлялось!

Въ корридорѣ слѣдователей, передъ ихъ кабинетами стояли группами эти люди. Ихъ держали тамъ цѣлыми днями, безъ пищи, безъ сна, чтобы такимъ образомъ заставить ихъ сдать скрываемое золото. Какъ-то разъ, будучи вызванъ тоже къ слѣдователю, я самъ видѣлъ эти группы людей. Молодой зубной врачъ, сидѣвшій со мной въ камерѣ, простоялъ такъ въ

ожиданіи къ слѣдователю двое сутокъ. За эти двое сутокъ его цѣлѣущее, красношеекое лицо стало чернымъ, какъ земля. Былъ случай, когда одинъ изъ такихъ людей, стоявшихъ въ корридорѣ, сошелъ съ ума: «Смотрите, кровь!» — кричалъ онъ изступленно, указывая въ конецъ корридора. Но ГПУ и въ этомъ его состояніи продержало еще 24 часа въ корридорѣ, чтобы его присутствіемъ «смягчить» упорствующихъ. Въ одной провинціальной тюрьмѣ одинъ мой товарищъ-троцкистъ видѣлъ слѣдующій способъ выманиванія золота: ГПУ знало, что у цѣлой группы, подозрѣваемыхъ въ утайкѣ золота, на самомъ дѣлѣ ничего не было. Но среди нихъ былъ одинъ, у котораго дѣйствительно имѣлось золото. ГПУ вызвало тогда къ себѣ тѣхъ, у кого ничего не было и убѣждало ихъ повліять на обладателя золота, обѣщая въ случаѣ удачи имъ свободу. Вернувшись въ камеру, эти отчаявшіеся люди начали непрерывно кричать хоромъ: «Иксъ, сдай золото! Сдай золото! Сдай золото!» Послѣ нѣсколькихъ дней такого хорового рева, Иксъ сдался.

Позже въ Сибири я встрѣтилъ людей, большей частью стариковъ и старухъ, которые перенесли по 10-20 сутокъ страшнаго сибирскаго холода, которыхъ морили голодомъ и не давали воды, чтобы добиться отъ нихъ сдачи предполагаемаго у нихъ золота. Послѣ такихъ пытокъ всѣ, у кого хоть что-нибудь имѣлось, сдавали свои цѣнности. Но такъ какъ аресты происходили ошупью — большей частью по доносамъ, — то большинство изъ подвергавшихся пыткамъ никакого золота не имѣли, да вдобавокъ потеряло на этомъ здоровье, а порою и жизнь. Познакомившись съ этимъ сталинскимъ способомъ добычи золота у населенія, я не могъ не вспомнить испанскихъ конквистадоровъ, добывавшихъ аналогичными методами золото у несчастныхъ индѣйцевъ.

Примѣненіе пытокъ и видѣлъ не только по отношенію къ этимъ «золотникамъ». Я былъ свидѣтелемъ того, какъ ГПУ подвергало заключенныхъ конвейерному допросу по 16-24 часа. При этой системѣ заключенный подвергается непрерывному допросу, причемъ одинъ слѣдователь смѣняетъ другого, уставшій — свѣжаго; или нѣсколько слѣдователей одновременно допрашиваютъ заключеннаго. Такіе допросы не обходились и безъ дополнительнаго издѣвательства и разстройства нервовъ заключенныхъ. Вотъ сидящій со мной въ камерѣ сектанта вернулся послѣ такого многочасоваго конвейернаго допроса. Человѣкъ онъ и безъ того слабый и больной, теперь на немъ просто кѣтъ лица. Онъ набрасывается на оставленный ему

объѣдъ, разуваеця и валитя мѣшкомъ на койку, которую ему кто-то уступилъ по такому случаю... Но не пролежалъ онъ и 10 минутъ, какъ раздался стукъ въ двери, и надзиратель вызываетъ его на новый допросъ къ слѣдователю...

То, что мнѣ пришлось здѣсь увидѣть, было для меня страшнымъ ударомъ. До этого я никогда не думалъ, что подобныя вещи творятся и могутъ твориться въ Совѣтской Россіи. Я былъ лучшаго мнѣнія о ГПУ. Я могъ убѣдиться теперь, что вырожденіе совѣтской, когда-то революціонной власти зашло гораздо дальше, чѣмъ я предполагалъ. Я былъ всемъ этимъ настолько возмущенъ, настолько подавленъ, что, воспользовавшись первымъ случаемъ, когда меня вызвали къ слѣдователю, выразилъ ему свой протестъ по поводу всѣхъ этихъ ужасовъ, пытокъ, лживыхъ обвиненій и не менѣе лживыхъ «признаній». «Что вы дѣлаете, — говорилъ я въ возмущеніи, — мы васъ за границей защищаемъ, а вы здѣсь творите такія вещи, въ которыя я бы никогда не повѣрилъ, если-бы не увидѣлъ ихъ собственными глазами! Вы компрометируете революцію и социализмъ, вы такимъ образомъ сдѣлаете то, что крестьянство, городская мелкая буржуазія и безпартийная интеллигенція станутъ смертельными врагами социализма и революціи». Следователь, конечно, не могъ отрицать фактовъ, которые совершались и на его глазахъ. Но отвѣчалъ на нихъ приблизительно такъ: «Къ вамъ нѣдъ мы этого не примѣняемъ и вообще къ революціонерамъ, а противъ мелкой буржуазіи приходится примѣнять, не надо забывать, что страна находится въ періодѣ острѣйшей классовой борьбы». Какъ бы ни была остра классовая борьба, но въ моей головѣ никакъ не укладывалось, что социалистическая и пролетарская власть можетъ употреблять такіе подлые методы борьбы.

Вскорѣ я могъ убѣдиться въ томъ, что эти инквизиціонныя пытки примѣняются и къ рабочимъ. Въ нашу камеру привели изъ одиночнаго заключенія перваго корпуса съ самой строгой изоляціей моряка. Это былъ молодой, статный человѣкъ. Пока онъ сидѣлъ въ одиночной камерѣ, ГПУ добивалось у него признанія въ несуществующемъ участіи въ несуществующемъ заговорѣ противъ Сталина. Добивалось ГПУ этого очень упорно, съ примѣненіемъ инквизиціонныхъ приемовъ. Его нѣсколько разъ вызывали вечеромъ изъ камеры, говоря, что его ведутъ на разстрѣлъ за его преступное упорство, вывели на дворъ, приставляли къ стѣнкѣ, а потомъ снова возвращали въ камеру: «Ты все же рабочій, мы не хотимъ тебя разстрѣлывать, какъ какого-нибудь бѣлогвардейца. Какъ рабочій, ты долженъ че-

стѣно сознаться». Морякъ все же не «сознавался», но отъ этихъ пытокъ онъ наполовину сошелъ съ ума. Тогда его оставили въ покоѣ.

Кромѣ инженеровъ, какъ особая группа въ моей камерѣ выделялись священники и сектанты. Священники и сектанты составляли двѣ самостоятельныхъ группы, вели между собой даже скрытую войну, но въ отношеніи остальной камеры — безбожной или нейтральной — выступали однимъ фронтомъ вѣрующихъ и мѣста въ камерѣ занимали рядомъ. Священники дѣлились прежде всего на сторонниковъ официального руководства митрополита Сергія и сторонниковъ церковной оппозиціи.

Большинство церковныхъ руководителей вели твердо курсъ на сотрудничество и поддержку сталинскаго правительства. Эта группа связывала будущее церкви съ государствомъ, хотя бы и съ совѣтскимъ. Задачей церкви они считали пропаганду въ народѣ, наряду съ вѣрой въ Бога, принципа подчиненія властямъ. Политика принудительной коллективизаціи и возстаніе крестьянъ ихъ съ этого пути не сбивали, наоборотъ, поддерживая власть именно въ ея критическій періодъ, они рассчитывали такимъ путемъ обезпечить себѣ въ будущемъ признаніе церковныхъ правъ... Символомъ этой политики было введеніе въ церкви молитвъ за совѣтскую власть. «Какъ, — ахнулъ я, — вѣдь въ Совѣтской Россіи церковь отдѣлена отъ государства!» — «Да, это такъ, но вѣдь церкви не запрещено по своей инициативѣ молиться за эту власть!» Часть церкви сопротивлялась этой политикѣ сотрудничества и поддержки правительства.

Эта часть находила, что поскольку проведено уже раздѣленіе церкви отъ государства, церкви не можетъ быть дѣла до судьбы правительства, и отказывалась вводить въ церковное богослуженіе молитву за совѣтскую власть. Оппозиція имѣла свои очаги въ разныхъ частяхъ страны, но центръ ея былъ въ Ленинградѣ. Большинство ленинградской церкви высказалось за оппозицію и выбрало ленинградскимъ епископомъ идейнаго вождя церковной оппозиціи епископа Ростовскаго. Меньшинство всероссійскаго церковнаго Снода тоже поддержало оппозицію.

За что были арестованы сидѣвшіе въ камерѣ священники, я не узналъ, они объ этомъ не говорили. Повидимому, они были связаны съ церковной оппозиціей; Нѣкоторые изъ нихъ — типичные батюшки, полные, обрюзглые. Увѣрили, что ни къ одной оппозиціи не принадлежатъ. «Не знаю, почему собственно меня арестовали, — говорилъ мнѣ самый образованный и, какъ

мнѣ казалось, самый неустойчивый изъ нихъ, — я же сторонникъ Сергія». Оппозиціонеры были разныхъ отѣнковъ. Самымъ непримиримымъ среди нихъ былъ молодой монахъ, высокий, тонкій, съ глазами, горѣвшими сдержаннымъ пламенемъ, съ русской длинной бородой; во всей его фигурѣ было много отъ византійскихъ фанатиковъ. Говорилъ онъ мало, но движенія у него были порывистыя. Чувствовалось, что онъ ненавидитъ и презираетъ грѣшное человѣчество. Онъ находилъ, что церковь, которая молится за власть, «изъ храма Божьяго превращается въ храмъ сатаны». Онъ отказывался совершать богослуженіе въ церкви, въ которой хоть разъ была вознесена молитва за власть.

Своеобразную смѣсь радикализма и примиренчества представлялъ одинъ старый батюшка. Сперва я думалъ, что онъ даже не священникъ. Онъ не былъ одѣтъ, какъ священникъ. Потомъ отъ сидящихъ я узналъ, что онъ священникъ, сочувствующій сектантамъ. Поэтому остальные священники, хотя и не исключали его демонстративно изъ своего круга, но все же держались отъ него нѣсколько въ сторонѣ. И дѣйствительно, его мѣсто въ камерѣ было на границѣ между сектантами и священниками. Онъ упорно твердилъ, что онъ не сторонникъ стараго строя, что онъ принимаетъ революцію, такъ какъ она сдѣлана для того, чтобы народу стало лучше, большевики хорошо сдѣлали, свергнувъ царя, помѣщиковъ и капиталистовъ. Когда онъ меня увѣрялъ, что онъ и теперь не противъ большевиковъ, я иронически улыбался. Наконецъ, онъ мнѣ открылся: «Я, знаете, одобряю большевиковъ, что они свергли царя, помѣщиковъ и капиталистовъ, но я вижу, что народу и теперь отъ правительства жизни нѣтъ, правды нѣтъ. Я вижу, что всякая власть несетъ народу насиліе и несправедливость, церковная власть какъ и свѣтская. И вотъ, знаете, мнѣ кажется, что анархисты правы».

За то время, что я сидѣлъ въ камерѣ, приговора по дѣлу священниковъ моей камеры не пришло. Незадолго до моего прибытія въ камеру были вынесены приговоры другой группѣ священниковъ. Они получили концлагерь, а одинъ изъ нихъ — разстрѣлъ. Обвиненіе противъ всѣхъ было одинаково, но наказаніе опредѣлялось дополнительнымъ моментомъ: концлагерь получили всѣ исконные священники, получившій разстрѣлъ былъ до революціи офицеромъ и сталъ священникомъ только послѣ революціи.

Сидѣвшіе сектанты были изъ евангелистовъ и чуриковцевъ. По социальному положенію это были крестьяне, ремесленники,

моряки, бывали среди нихъ и рабочіе. Активнѣе другихъ сектантовъ проявляли себя въ камерѣ чуриковцы. Это своеобразный русскій вариантъ евангелистовъ и анабаптистовъ. Главный ихъ центръ Ленинградъ и его предмѣстья. Говорятъ, что ихъ имѣется нѣсколько сотъ тысячъ. Они имѣютъ свои очаги въ Москвѣ и въ другихъ центрахъ страны. Глава секты — Чуриковъ — сидѣлъ тогда въ Ярославскомъ изоляторѣ. Они говорили, что они тоже за коммунизмъ, но за другой, чѣмъ большевики, что главная задача ихъ общины «творить добро ближнему». Сколько мнѣ удалось выяснить, одной изъ существенныхъ функцій сектантскихъ общинъ являлась довольно развѣтвленная организація взаимопомощи, организація всевозможныхъ курсовъ кройки, шитья, подготовки къ домашней и конторской работѣ. Они охватили ту часть городского въѣзнодорожнаго населенія, которое находилось внѣ поля зрѣнія государства и профсоюзовъ.

Бродячий татаринъ, который сидѣлъ вмѣстѣ съ нами, принадлежалъ къ какой-то сектѣ, радикально отрицательно относившейся къ совѣтской власти. По этому поводу въ камерѣ пошли разговоры и толки о крайнихъ сектахъ. Рассказывали, что есть такія секты, которыя отказываются отъ всякаго сношенія съ властью, вплоть до разговоровъ съ большевиками. Кто-то изъ побывавшихъ на Соловахъ рассказалъ, что одна заключенная сектантка изъ крайнихъ отказывалась расписаться подъ постановленіемъ о собственномъ освобожденіи. Даже тогда, когда ей говорили, что безъ ея подписи ее не выпустятъ, она отказывалась это сдѣлать.

Къ кругу церковниковъ принадлежали еще двое заключенныхъ. Одинъ изъ нихъ, старикъ, являлся членомъ церковной «двадцатки». Мнѣ не совсѣмъ ясно было, въ чемъ онъ обвинялся. Кажется, власти наши, что эти общины ведутъ черезъ чуръ громкую религиозную пропаганду и нѣсколькими арестами ГПУ хотѣло, видимо, просто припугнуть ихъ.

Другой изъ упомянутой «двойки» церковниковъ былъ членомъ среднихъ лѣтъ и состоялъ членомъ правленія еврейской общины при синагогѣ. ГПУ предложило ему давать свѣдѣнія о настроеніяхъ и разговорахъ членовъ правленія. Если бы онъ наотрѣвъ отказался отъ этой новой функціи, возможно ГПУ и оставило бы его въ покоѣ. Но, боясь рѣзкимъ отвѣтомъ навлечь на себя гнѣвъ ГПУ, незадачливый правленецъ далъ уклончивый отвѣтъ, молъ, онъ недостаточно образованъ, чтобы составлять такіе отчеты. Вотъ ГПУ и арестовало его, собираясь въ тюрьмѣ дать ему «недостающее» образованіе.

Только послѣ продолжительнаго времени, проведеннаго въ этой общей камерѣ, я узналъ исторію заключеннаго Козлова, обвинявшагося въ организаціи контръ-революціоннаго террористическаго «Рабоче-крестьянскаго союза».

Организація эта существовала въ нѣсколькихъ деревняхъ Ленинградской области, имѣла свой маленькій центръ въ Ленинградѣ. Козловъ былъ коммунистъ, сынъ мелкаго почтово-телеграфнаго служащаго въ Ленинградѣ, принималъ активное участіе въ гражданской войнѣ. Въ періодъ нѣпа онъ окончилъ Ленинградскій Коммунистическій Университетъ и до ареста занималъ постъ директора одной школы въ Ленинградѣ. Съ начала «сплошной коллективизаціи» онъ примкнулъ къ правой оппозиціи, считалъ себя сторонникомъ Бухарина. Рядъ его знакомыхъ въ Ленинградѣ, а также знакомые и земляки въ деревнѣ были тѣхъ же политическихъ настроеній. Понемногу они всё и стали сплачиваться въ одну группу. Поскольку лидеры правой оппозиціи уже въ 1928-29 гг. отказались отъ активной борьбы со сталинской политикой, Козловъ и его друзья пошли уже своимъ самостоятельнымъ путемъ.

Кромѣ коммунистовъ и безпартийныхъ, къ нимъ стали примыкать элементы, связанные съ эсеровской идеологіей. По словамъ Козлова, его группа все больше начинала проникаться эсеровскими взглядами и раздѣлять особенно ихъ приемы борьбы. Организація росла и развивалась, начиная занимать все болѣе враждебную къ власти позицію. Она готова была уже принять участіе въ крестьянскомъ возстаніи противъ коллективизаціи. На самые рискованные шаги толкала организацію человекъ, который потомъ оказался провокаторомъ. Онъ настаивалъ на томъ, чтобы организація выработала свою программу и уставъ; добившись согласія, внесъ и конкретный проектъ. Тамъ имѣлась формула, что на терроръ правительства противъ народа организація готова отвѣтить терроромъ противъ правительства и т. п. Многие пункты этого устава шли такъ далеко, что натолкнулись на серьезныя возраженія членовъ организаціи и горячо дебатировались въ ея средѣ. Именно въ процессѣ этой дискуссіи члены организаціи и были арестованы. Провокаторъ и авторъ проекта былъ арестованъ вмѣстѣ съ остальными, но вскорѣ освобожденъ. Организація выпустила нѣсколько листовокъ къ крестьянству. Нѣкоторые экземпляры тоже попали въ руки ГПУ. Одна изъ нихъ кончалась возгласомъ: «Да здравствуетъ рабоче-крестьянскій союзъ!» Этотъ политическій лозунгъ ГПУ превратило въ названіе самой организаціи.

Однажды вечеромъ за Козловымъ пришли, велѣвъ взять съ собой всѣ вещи. Онъ уже нѣсколько дней жилъ, предчувствуя это. За дверью ожидать его усиленный конвой съ ноганями въ рукахъ. О группѣ Козлова и его разстрѣлѣ было затѣмъ въ назиданіе сообщено по всей ленинградской партійной организаціи.

Какъ разъ въ мое время сидѣла въ тюрьмѣ и цѣлая группа ленинградскихъ профессоровъ, доцентовъ и академиковъ во главѣ съ профессоромъ Тарлэ и академикомъ Платоновымъ. Ихъ вина состояла въ томъ, что они недостаточно приспособились къ режиму и скептически относились къ пятилѣткѣ. На тюремномъ жаргонѣ всю эту группу называли «академиками». Они находились на особомъ положеніи, которое проявлялось уже въ томъ, что среди неполитическихъ группъ только они получали, напр., политпаекъ.

Въ моей камерѣ сидѣли два представителя этой группы, директоръ Пушкинскаго Дома Бѣляевъ и доцентъ университета по исторіи международныхъ договоровъ С. Бѣляевъ былъ представителемъ старой русской интеллигенціи, ея чисто культурной, строго-академической части. Его интересовалъ Пушкинъ, исторія литературы, жизнь духовной элиты. Ему въ корнѣ было безразлично, какая власть господствуетъ въ странѣ — большевистская или царская, на всякую власть онъ смотрѣлъ, какъ на нѣчто второстепенное, ему глубоко чуждое. Онъ въ своей наукѣ парилъ гдѣ-то высоко надъ грѣшной землей и съ тѣхъ же заоблачныхъ высотъ смотрѣлъ и на народъ. Народъ въ его глазахъ былъ толпой, сбродомъ. Бѣляевъ былъ представителемъ той тонкой прослойки интеллигенціи, которая умудрялась жить въ своей башнѣ изъ слоновой кости гдѣ-то на недосягаемой высотѣ, далеко, страшно далеко отъ жизни своего народа. И сидя въ тюрьмѣ Бѣляевъ перечитывалъ Софокла, Сервантеса, Тэккеря, Дюма, съ заключенными камеры изъ престопадаря онъ не общался вовсе. Онъ и изъ своего угла въ тюремной камерѣ умудрялся создать новую башню изъ слоновой кости. До тюрьмы онъ ѣздилъ неоднократно въ заграничныя командировки и въ сущности могъ бы воспользоваться одной изъ нихъ, чтобы не вернуться назадъ. Онъ этого не сдѣлалъ потому, что свой Пушкинскій Домъ ставилъ выше всякой эмиграціи, какъ ставилъ его выше и всякаго правительства.

Другой представитель «академиковъ» былъ доцентъ С. — человекъ совѣтской формации. Въ его мировоззрѣніи было

все ясно: новый совѣтскій типъ государства въ Россіи онъ принималъ, какъ незыблемый фактъ историческаго развитія. Онъ прекрасно былъ знакомъ съ исторіей международнаго рабочаго движенія. Но при всемъ томъ мнѣ пришлось отмѣтить въ его міросозерцаніи полное отсутствіе того, что мнѣ кажется составляетъ душу социализма: чувство своей кровной связанности съ низшими классами общества. Даже находясь въ тюрьмѣ, С. не былъ враждебно настроенъ къ совѣтскому строю, всѣ его помыслы были сосредоточены на томъ, какъ бы снова занять подобающее ему положеніе въ этомъ новомъ строѣ. С. навѣрное вернулся послѣ пятилѣтки на свое прежнее мѣсто и ходить сейчасъ въ «безпартійныхъ большевикахъ». Изъ такихъ людей рекрутируются самые надежные кадры совѣтскаго бонапартизма. Впрочемъ, и Бѣляевъ снова стоитъ во главѣ Пушкинскаго Дома, и проф. Тарлэ возвращенъ изъ Альма-Атской ссылки (гдѣ онъ преподавалъ въ новомъ киргизскомъ университетѣ) въ Ленинградскій Университетъ и уже успѣлъ выпустить созвучную сталинской эпохѣ книжку «Жизнь Наполеона Бонапарта». Академикъ Платоновъ не вернулся — подъ бременемъ лѣтъ и преслѣдованія онъ скончался. Двѣ дочери Платонова сидѣли также въ нашей тюрьмѣ. Женскій прогулочный дворъ находился подъ окномъ койки Бѣляева, и во время прогулки наши «академики» узнавали всѣ новости. Дочери Платонова получили было 10 лѣтъ концлагеря, уже собрались ѣхать на Соловки. Но неожиданно ихъ задержали. Говорили о томъ, что ихъ дѣло пошло на пересмотръ, и онѣ ожидали смягченія своей судьбы.

Мое положеніе въ камерѣ было особое. Я былъ единственнымъ человѣкомъ среди заключенныхъ, который открыто заявлялъ себя противникомъ правительства, его бичевалъ и обличалъ. Въ первые дни камера отъ меня шарахнулась, какъ пораженная молніей. Помилуйте: сказать публично — какой это коммунизмъ! Рабство это, а не коммунизмъ. вмѣсто старыхъ грабителей, появились новые, вмѣсто старой буржуазіи — новая родилась изъ бюрократовъ — кто можетъ это себѣ позволить въ Россіи? Да еще публично, передъ глазами самой ГПУ. И вѣдь именно потому, что в с я Россія такъ думаетъ, такъ ощущаетъ, эта мысль преслѣдуется беспощадно, и ни кто не смѣетъ ее публично высказать. Развѣ только агентъ ГПУ, провокаторъ. Только медленно, постепенно, вникая въ смыслъ моихъ высказываній, увязывая ихъ съ моими поступками, камера

убѣждалась въ томъ, что я не агентъ ГПУ. Тогда я и приобрѣлъ симпатіи заключенныхъ и ихъ большое довѣріе. Только благодаря ему я и смогъ такъ много рассказать здѣсь объ ихъ судьбѣ.

Лѣто было уже на исходѣ. Я его провелъ въ тюрьмѣ. Когда доведется мнѣ снова провести лѣто на волѣ? Подступала тоска по солнцу, по воздуху. Наступалъ сентябрь. Двадцатиминутныя прогулки подъ дождемъ или въ пронизывающемъ ленинградскомъ туманѣ, въ переполненномъ дворѣ — вызывали во мнѣ отчащеніе.

Съ приближеніемъ осени начиналось обычное, сезонное обостреніе въ странѣ между властью и крестьянствомъ. Шли хлѣбозаготовки, служившія деревнѣ всегда средствомъ для выраженія своего недовольства и своего отпора. Уже 24-го августа «Правда» была въ набатъ: «Быстрѣ темпы хлѣбозаготовокъ», — кричалъ заголовокъ передовицы. «Выполнено только 34% августовскаго плана», а отъ августа остались только считанные дни. Въ сентябрѣ положеніе еще болѣе обострилось. Крестьяне всячески уклонялись отъ хлѣбосдачи, рѣзали скотъ, чтобы не сдавать его въ колхозъ. Отъ вновь арестованныхъ мы узнавали о рѣзкой, а въ нѣкоторые дни прямо катастрофической нехваткѣ хлѣба и мяса въ городахъ, особенно въ Ленинградѣ и въ Москвѣ.

Эта атмосфера передавалась изъ страны въ тюрьму. Дѣла заключенныхъ рѣшались быстрѣ, смертные приговоры участились. Камеры охватила тревога, нервная лихорадка. И вмѣстѣ съ тѣмъ въ камерахъ стало какъ-то тише, еще затаеннѣе — жизнь человѣческая казалась игрой случая. 22-го сентября газеты принесли сообщеніе ГПУ о «раскрытіи контр-революціонной организаціи вредителей рабочаго снабженія». По этому сообщенію выходило, что всѣ органы снабженія были въ рукахъ вредителей — Союзмясо, Союзрыба, Союзконсервъ, Соцсплодоовощъ и всѣ соответствующія звенья ихъ аппаратовъ Наркомвнторга! Подоплека этихъ немовѣрно раздувавшихся сообщений была слишкомъ ясна: за положеніе въ странѣ, за кризисъ снабженія, возникшій какъ слѣдствіе общей политики власти и какъ слѣдствіе борьбы классовъ, виновнымъ объявлялась группа довольно случайныхъ лицъ. Наконецъ, наступила развязка. 25-го сентября газеты опубликовали сообщеніе ГПУ: «Вредители рабочаго снабженія разстрѣляны»...

48 человекъ... Молчаливый ужасъ охватилъ тюрьму. Послѣ прочтенія газетъ, наступила гробовая тишина. Такой еще никогда не было. Всѣ, особенно «лишенцы», словно чувствовали

шелестъ крыльевъ смерти около себя. Вѣроятно, та же атмосфера господствовала во французскихъ тюрьмахъ въ дни кульминаціи террора передъ 9 Термидора.

Двѣ недѣли спустя послѣ этого меня съ Дедичемъ увезли въ политическую тюрьму на Уралъ. Приговоръ былъ на 3 года.

Прощался съ оставшимися, какъ со старыми, хорошими знакомыми. Несчастье сближаетъ. «Теперь, когда приговоръ уже вынесенъ и хуже стать не можетъ, скажите, что вы думаете о ближайшемъ будущемъ?» — спросили меня при прощаніи «академики». Я могъ только еще разъ повторить то, что развивалъ имъ уже не однажды: «Силы революціи — дѣвья силы — исчерпали себя. Это значитъ, что на ближайшемъ историческомъ этапѣ развитіе будетъ идти вправо. Но въ какой формѣ это будетъ происходить, мнѣ самому еще неясно». Надъ этимъ я сейчасъ бьюсь и самъ...

А. Цилига.

Изъ дружеской переписки

9.11.37 г. — Пишу тебѣ усталая и нетворческая — у насъ очень сильные холода, а постройка и печи не для морозовъ. Сегодня утромъ было 2°. Лиза лежитъ подъ грудой одеялъ, но сердцу плохо отъ тяжести... Мнѣ очень нравится стихотвореніе Марины Цветаевой «Отцамъ», хотя я и чувствую, что она заостряетъ славу прошедшимъ противъ «грядущихъ», во мнѣ же это конечно не такъ... Чувствую себя такой грустной и погасшей — конечно, кромѣ холода, душевно устала тоже отъ всего безобразнаго, что вскрылось на процессѣ.

Вотъ напомненныя тобою слова Достоевскаго *) — такія геніальныя, глубоко задѣли меня. Не то, чтобы было сходство — различіе въ самомъ корнѣ отношеніе къ труду — у насъ, какъ къ гордости, чести, творчеству надъ собственной жизнью, а не какъ къ чему-то, что нужно «отдѣлать» и потомъ забываться въ веселіи дозволенномъ... Да, но геніальность Достоевскаго провидитъ что-то глубже самихъ корней, опасности грозящія и намъ — но ч е м у въ жизни не грозитъ опасность уклона — какъ здѣсь, у насъ, уклона въ небытіе... Ахъ, только не приговждать живую ткань жизни разными comparaisons... Я, какъ и себя саму, призываю тебя къ пересмотру всѣхъ привычныхъ понятій, по которымъ такъ легко катится мысль. Ты говоришь: «Ты обходишь самый важный элементъ творчества — свободу». Конечно, творчество всегда рвется къ свободѣ, но это не значитъ, что наибольшія свободы — благопріятнѣйшія условія для него. Напримѣръ, русская литература никогда не была такъ свободна, какъ у васъ въ эмиграціи, такъ какъ имѣть власти, которая налагала бы цензуру. Ты скажешь, что для расцвѣта искусства нужна не только свобода, а еще и другія условія, которыхъ вы лишены. Но дѣло въ томъ, что до сихъ поръ и всегда такъ бывало, что когда была наибольшая свобода, секуляризація общества (напр., Парижъ времени Гюйсманса, когда можно было

*) Изъ «Ведикаго Инквизитора»: «Мы заставимъ ихъ работать, но устроимъ ихъ жизнь, какъ дѣтскую игру» и т. д.

безнаказанно предаваться и черной мессе, и атеизму, и эстетизму, и католическим экстазам) — тогда этих других условий и не бывало. Это тоже была своего рода эмиграция, отрывъ... А вотъ, напр., великое творчество Афинъ IV вѣка или ренессансъ — свободы въ нашемъ смыслѣ тамъ не было — была пафосъ освобожденія, что не совсѣмъ то, пафосъ открытій, новыхъ горизонтовъ... Вотъ это дѣйствительно питаніе необходимое творчеству.

Ты меня слишкомъ знаешь, другъ родной, что я то «за свободу». Я просто ужъ отъ старости наскучила штампами! И къ тому же я, конечно, не считаю, что сегодняшнія условія хороши для литературы, — это торопленіе, подгоняніе, самоподгоняніе писателей: не отстали ли отъ тяжпрома, какъ бы обогнать... такъ не создается большая литература. Но свое служебное дѣло они дѣлаютъ — очищеніе языка, отметаніе мусора ходячихъ понятій, отраженіе быстро мѣняющагося быта и еще важнѣе — мѣняющейся души, которые безъ того остались бы незакрѣпленными. Въ будущемъ наша сегодняшняя литература будетъ интереснымъ документомъ. А когда придетъ большое искусство, изъ какихъ нѣдръ прорастетъ — какъ это учесть! Знаю только крѣпко — будетъ полнота жизни — будетъ и искусство. Вѣсны не круглый годъ — перемежаются долгими періодами скрытой жизни. И мнѣ кажется, что та нота, которая у насъ повторно и авторитарно звучитъ «противъ формализма, противъ натурализма» и которая многихъ современниковъ ой какъ стѣсняетъ и калѣчитъ, — что по существу и для будущаго она вѣрнѣйшая и плодотворнѣйшая. Въ зигзагообразной линіи сегодняшняго искусства я подмѣчаю то удачу, то регрессъ. Напр., въ кино: талантливый режиссеръ, поставившій нѣсколько лѣтъ назадъ прекрасную по простотѣ, подлинно русской, первую звуковую картину, въ этомъ году создалъ первую цвѣтовую — технически болѣе искусную, но вульгарно-тенденціозную. Тоже и другой фильмъ нашумѣвшій — въ немъ и занимательность западныхъ и ура-патріотизмъ. Но, конечно, я знаю, что восторжествуютъ традиціи русскаго искусства. Вспомни 14-ый годъ! А сейчасъ время и грознѣе и отвѣтственнѣе, и художнику ради самой судьбы его творчества нужно опредѣлить, въ какомъ онъ лагерѣ. Думаю, что теперъ никому не придется быть «поверхъ схватки».

28.II.37. — У насъ очень тяжело. Ко всему другому у Лизы сдѣлались невралгическія боли спины, всѣ манипуляціи съ нею усложнились вдсятеро. Бьюсь, бьюсь въ бисилія и безпомощности.

...Читаю ей послѣднюю книжку Пришвина «Жень-Шень». Насъ плѣняетъ его способность изъ наблюденія, вживанія въ мѣръ звѣринный и растительный дѣлать выводы нандуховнѣйшіе. И такъ описывать эту природу Уссурийскую, что точно въявь слышишь всѣ ея запахи, всю ея избыточность. А передъ этимъ были дни пропитанные Пушкинымъ. Задолго, задолго до дней его это ужъ началось. Точно цвѣтокъ какой-то диковинной агавы, который расцвѣтаетъ разъ въ 100 лѣтъ и аромата его хватаетъ на 100 лѣтъ. У насъ передъ крылечкомъ въ лужѣ виѣсть съ утками плещутся ребята — и у каждой подмышкой сказки Пушкина, у кого — по-русски, у кого по-иному... Я сейчасъ вправду люблю его однимъ сердцемъ со всей страной. Эти многократно повторяемые слова о «тунгустынь дикомъ» у насъ дѣйствительно звучать волнующе, плѣнительно.

Хочу еще привести тебѣ изъ письма Л—ва. Для одной задуманной имъ библиографической работы ему пришлось много заниматься въ Литературномъ Музеѣ. «Архивное дѣло собранія у насъ поставлено прекрасно. Вы не можете себѣ представить, какъ много собралъ хотя бы одинъ Литературный Музей. Многое во время революціи погибло. Но безконечно большѣе революція извлекла и вынесла на поверхность изъ чулановъ и сундуковъ. Все это таилось въ нѣмнѣяхъ, часто не было извѣстно и владѣльцамъ, или они имъ не интересовались. Когда знакомишься съ такъ найденнымъ, дивишься глупости ихъ бывшихъ владѣльцевъ, казалось бы культурныхъ людей, дѣности и отсутствію въ нихъ чувства долга передъ отцами и предками. Теперь все собирается, систематизируется, дѣлается доступнымъ изученію, кое-что уже печатается. Матеріала же такъ много, что на это потребуются годы и годы»...

Ты знаешь Л—ва и въ пристрастіи не обвинишь.

9.IV.37. — Сегодня твое письмо принесло такъ много. Прекрасные стихи Вяч. Ив. «Родина» и «Земля» и др. Въ этихъ такихъ прекрасныхъ старческихъ стихахъ Вяч. Ив. мнѣ близокъ, но и онъ не совѣмъ, не абсолютно, и мятушійся, неуспокоенный Толстой мнѣ созвучнѣй, потому что въ каждомъ словѣ — порывъ впередъ, шагъ; падаетъ, встаетъ, идетъ снова — и вотъ это мнѣ такъ драгоценно сейчасъ... Откликнется ли какъ-нибудь Вяч. Ив. о Пушкинѣ? Изъ всего читаннаго мною мнѣ ближе всего (въ этомъ родѣ и до чего думала) то, что приводишь изъ А... Перечитываю твое письмо и тамъ, гдѣ ты меня оспари-

ваешь, французская выписка мнѣ мучительна..., именно потому что я совершенно согласна съ ней. Вспоминаю, что я написала тебѣ въ послѣднихъ письмахъ и неприятное чувство мутитъ меня. Тамъ было и зубоскальство и прекраснодушіе — есть у насъ терминъ — восхищенецъ: для того, кто въ сущности остается въ сторонѣ, не получая толчковъ справа, слѣва, и умиленно восторгается... Все это не серьезно, не самое существенное, не захватываетъ какого-то корня моего отношенія къ современности. Такъ хотѣлось бы хоть одинъ разъ досказать тебѣ до конца, но только начнешь искать подходящихъ словъ — все кажется надуманно, а хочется сказать такъ просто и честно, какъ передъ смертью.

Возвращусь къ нашему спору о свободѣ. Вѣдь весь жизненный процессъ сопряженъ съ мучительнѣйшимъ чувствомъ несвободы (начиная со звѣриной жизни — голодь, страхъ) и преодолевается только краткими вспышками въ творествѣ, въ любви, въ наслажденіи... Да и то нужно быть или гениемъ или очень неприятельнымъ, чтобы переживать свое творчество, какъ полноту свободы! Мы не всегда и называемъ эти страданія несвободой — да и что слова: суть въ томъ, что въ какую-то сторону мнѣ ни дохнуть, ни двинуться, ни расширяться. Единеніе съ человѣческой громадой, чувственно осязаемое въ одномъ порывѣ любви, если хочешь — гордости, негодованія и т. д., и, далѣе — мыслимо — съ большой частью человечества — вѣдь это тоже одно изъ условій полноты свободы. Помнишь, какъ я рассказывала тебѣ о пережитомъ въ юности, до всякихъ даже предчувствій религіозныхъ — видѣніе ли, откровеніе ли того, что я — дѣйствительно я — лишь тогда, когда я въ какомъ-то единственно вѣрномъ сочетаніи съ цѣлымъ, съ космосомъ. Это было такъ потрясающе реально, что зарубка отъ этого осталась неизгладимая на сердцѣ ли, на мозговой ли корѣ. Вывода я изъ этого никакого не сдѣлала. Послѣ, десятки лѣтъ жила асоціально, хотя и съ религіозными переживаніями, хотя и въ экстатическомъ единеніи съ природой, но настоящей полноты не было. И если бы меня не поволокла насильно революція, я такъ бы до смерти не додумалась, что все въ какомъ-то смыслѣ мнѣ не хватаетъ воздуха или сама я для другихъ захлопнутая дверь — но это одно на одно выходить. Дѣло не въ томъ, что я сейчасъ радостно жертвую своей свободой, чтобы миллионы получили наискорѣйшимъ способомъ — нѣкоторую. Мнѣ нужно, чтобы сотни этихъ глухихъ народностей расправили плечи, раскрыли изумленные глаза, — это нужно мнѣ, чтобы расправить

свои плечи, самой вздохнуть вольнѣе. И такъ какъ въ этомъ жестокомъ мировомъ процессѣ рѣзко порванные пути въ одномъ направленіи неизбежно туже затягиваютъ узлы въ другихъ мѣстахъ, то всѣ получившіяся чудовищныя несвободы какъ бы впередъ мною предвидѣнныя и не удивляютъ меня, какъ и не удивляютъ avilissement, вызванное ими въ иныхъ людяхъ. И если я говорю о свободномъ самочувствіи молодежи, то это потому, что увѣрена, что моя субъективная правда совпадаетъ съ объективной, т. е. что освобожденіе вотъ именно въ этомъ — и требованіе и религиозное дѣло настоящаго часа исторіи. Ну посмотри безпристрастно вокругъ, взвѣсь дѣйствующія во всемъ мѣрѣ реальныя силы и ты, я увѣрена, признаешь, что мое утвержденіе небезопасно. При этомъ я не закрываю глазъ на всяческія esclavages и если дѣлюсь съ тобой преимущественно положительнымъ, то именно потому, что оно всякій разъ радостно поражаетъ, всякій разъ неожиданно. Но и тутъ я не преувеличиваю значенія его (какъ тебѣ можетъ казаться по моимъ неизбежно краткимъ и одностороннимъ письмамъ).

Вотъ, напр., одинъ фактъ. Говорятъ, будто перепись показала во всей нашей области количественное преобладаніе въ-рующихся надъ невѣрующими. Не знаю, такъ ли это въ дѣйствительности и во всякомъ случаѣ никакихъ положительныхъ выводовъ изъ этого не дѣлаю, такъ какъ, зная этихъ «върующихся», вижу, что они лишь по традиціи, безъ всякаго духа живого плетутся старой дорогой. Но вотъ что меня обрадовало: то, какъ нѣкоторые изъ нихъ, въ разговорѣ со мной, мотивировали свое самоопредѣленіе: «по новой конституціи, молъ, не могутъ запретить намъ вѣровать». Съ чувствомъ гордости. Вотъ эта гордость, это уваженіе къ свободѣ (внушаемая можетъ быть самимъ звучаніемъ слова свобода) — вотъ это для меня реальность, на которой строю свои пока скромныя надежды. И въ этомъ же смыслѣ (какъ и во многихъ другихъ) не устаешь благословлять Пушкина, какъ воспреемника новорожденныхъ народовъ. Не раньше какъ черезъ поколѣніе можно будетъ учесть все значеніе его. Тягостные роды, надъ которыми звучало: «Весной, при кликахъ лебединыхъ»..., эти водшебнѣйшія изъ всѣхъ мировыхъ словъ! А осуществляются ли строки на памятникѣ — этого ни отъ кого ждть нельзя, это задание, которому можетъ, которому долженъ служить каждый изъ насъ, каждый изъ васъ на любой точкѣ земного шара, всякій по своему разумнію, по своей совѣсти... Не могу сейчасъ, дорогая, объ этой волнующей меня темѣ...

По поводу «вѣрующихъ» я хотѣла давно разсказать тебѣ объ одномъ довольно типичномъ случаѣ и безвыходномъ. Наша помощница по хозяйству и при Лизѣ, 21 года, съ дѣтства сирота, вмѣстѣ съ другими дѣвочками попала къ матушкамъ, уже изгнаннымъ изъ монастыря и ютившимся по станицамъ. Церкви онѣ сторонились, но у себя правили старый молитвенный уставъ и дѣвочки въ этомъ участвовали. Руководилъ ими старецъ — преемникъ непосредственный тѣхъ, о которыхъ разсказывалось «На горахъ Кавказа» — помнишь имяславскую эту книгу? Наша дѣвушка такое, напр., разсказывала о старцѣ: послѣ общей исповѣди онъ начиналъ говорить, приписывать себѣ совершенный какой-нибудь и затаенный грѣхъ: «а я вотъ, сегодня лакомылся яблокомъ» (до Спаса) или «осуждалъ» и т. д. И вотъ потрясенная матушка-ли, или кто изъ дѣтей, рухнетъ ему въ ноги въ слезахъ: это я сдѣлала, батюшка! — Сиротъ тянули въ школу, матушки отбивали ихъ, заставляли притворяться припадочными, дурочками, внушали имъ такой ужасъ передъ школой, что онѣ и вправду дурѣли. При этомъ сами онѣ ихъ не обучали не только грамотѣ (можетъ быть, изъ-за тревожныхъ лѣтъ), но и смыслу православной вѣры, смыслу праздниковъ, напр. Наша дѣвушка чудовищно невѣжественна во всемъ, зато складъ неисчерпаемыхъ суевѣрій, примѣтъ. Ей было 13 лѣтъ, когда тѣхъ увезли, и она осталась брошенной въ непонятномъ, проклятомъ мирѣ. Пошла по людямъ. Скоро годъ она у насъ. Хорошенькая, жадная къ жизни, внутренне изломанная — мажетъ губы, жаждетъ «кавалеровъ», шелковыхъ платьевъ — это все, что восприняла она отъ современности. И наряду съ этимъ: «болитъ душа» и томить сладостно воспоминаніе объ этихъ блѣднѣяхъ при одной свѣчѣ, о черныхъ мантияхъ, о добрыхъ и строгихъ матушкахъ, объ усталости до экстаза. Молитвъ ни одной не знаетъ, но начнетъ пѣть: «духовное», и слова выплываютъ, выплываютъ... Когда я ее убѣдила пойти въ церковь, она вернулась разочарованная до отчаянія. Примирить же ее съ современностью — нѣтъ возможности. Единственное, что мы могли ей дать — научили грамотѣ, но и тутъ книги духовныя ничего не говорятъ ей, чужды. Вотъ какъ безвыходно сейчасъ положеніе тѣхъ, которые когда-то прикоснулись къ сладости и умилению православія. Хотя конечно ея случай не общій, а исключительный.

19.V.37. — Лиля съ жадностью вбираетъ все встрѣчающееся, но все явственнѣй опредѣляются у нея интересы литературные и гуманитарные. Вотъ про жизнь ихъ 10 класса: «На нѣмец-

комъ мы теперь читаемъ отрывки изъ Фауста и сравниваемъ переводы Брюсова, Холодковского, Луначарскаго. Вчера я съ 6 до 9 провела въ Третьяковской. Одинъ аспирантъ приглашалъ по очереди, по одному, желающихъ изъ нашего класса. Онъ повелъ меня въ комнату, закрытую для публики, гдѣ было только 6 картинъ: пейзажи, портреты, историческія. Самъ молчалъ, а я должна была говорить все, что приходитъ въ голову. Я вѣдь такъ необразована въ живописи, но не знаю откуда притъ взялась и я ему много наговорила. Онъ записывалъ и потомъ сказалъ, что интересно. Потомъ показывалъ выставку Сурикова... Юра цѣлыя письма посвящаетъ какимъ-нибудь своимъ спеціальнымъ медицинскимъ вопросамъ. Часто возвращается къ несостоятельности медицины, пока нѣтъ синтеза всѣхъ знаній о человѣкѣ, о природѣ и о духѣ. Характерно для нашего юноши, что онъ «не мыслить этого синтеза въ однихъ рукахъ — должны измѣниться представленія у всѣхъ людей, и у врачей, и у паціентовъ... то, что доступно единицамъ, должно стать доступно всѣмъ». Можетъ быть это нежеланіе идти одинокимъ, пока еретическимъ, путемъ и будетъ тормозить его научныя достиженія, — можетъ быть. Но мнѣ дорога эта воля во что бы то ни стало быть со всѣми и въ этомъ вижу мощь нашей молодежи и значить нашего завтра. Надо знать его Юрину тонкости, самобытность, чтобы чувствовать, что это не стадность въ немъ, не повтореніе чужихъ словъ, а внутренней императивъ of religious nature.

...Какъ разъ сегодня въ «Извѣстіяхъ» фельетонъ Файхтвангера — его романы я не люблю, но онъ очень трезвый, осторожный, чуждый восторженности «соглядатай» и потому къ нему стоитъ прислушаться. Я согласна съ нимъ, что молодежь СССР самый большой его активъ.

...Упоеніе у нашихъ дѣтей: не быть исключеніями, не быть единицами, не быть избранными... Это надо понять глубоко: для полноты моего творчества мнѣ нужно творчество всѣхъ другихъ. Увѣряю тебя — это вино новое... И какъ я счастлива, что говорю это тебѣ и въ тебѣ нахожу какой-то откликъ. Никогда можетъ быть не была у меня такъ сильна потребность дѣлиться съ тобой самымъ дорогимъ. А вѣдь каждое письмо можетъ быть послѣднимъ — смерть, катастрофа неличнаго характера! Близость ея я очень чувствую. Не тревога во мнѣ, нѣтъ — большая тишина предбурная. Только нужно во всемъ спѣшить...

Тема Пушкина продолжаетъ жить во мнѣ и тревожить. Имъ измѣрять, передъ лицомъ его судить и «оправдать» сим-

вблизи». Пушкинъ не далъ никакого отвѣта на запросы духа, нѣ зналъ ихъ. И вотъ дальше — Толстой, Достоевскій съ ихъ религиознымъ осмысливаніемъ, наконецъ, символизмъ. Но «земля», которую далъ намъ увидѣть, ощупать, обонять Пушкинъ, включая и исторію ея, какъ онъ ее чувствовалъ, такъ многогранна, какъ не знаетъ ее ни одинъ другой народъ, и вотъ куполь, который возвели символисты (Вяч. Ивановъ) — тотъ ли, котораго ждетъ та к а я земля? Охватилъ ли онъ ее в с ю? Все ли цвѣтшее здѣсь процвѣло тамъ? Нѣтъ. Кажется, что нѣтъ... А если нѣтъ, то нельзя замыкать купола. Это ужъ я говорю не въ планѣ художественномъ, а въ планѣ духа вообще. Впрочемъ одно не отдѣлимо отъ другого. И кажется мнѣ, что неслучаенъ сейчасъ — и для малыхъ и для самыхъ большихъ — возвратъ къ Пушкину: — еще разъ копнуть тамъ, гдѣ стоялъ онъ, гдѣ видѣлъ онъ... Изъ всего, что у насъ сдѣлано пушкинистами, пожалуй, дѣйствительно всего значительнѣй открытіе все новыхъ и новыхъ показателей обостренности пушкинскаго «гражданскаго» чувства, не только въ молодые бунтарскіе годы (напримѣръ, новые мемуары кишиневскаго періода), но и въ самыя послѣдніе годы (материалы къ Пугачеву, его критическія замѣтки на книгахъ) — неугасимая гнѣвная жажда, чтобы народъ сталъ свободенъ, а для себя не насытнотной свободы личности. Поучительно и для насъ и для васъ — одно обусловлено другимъ...

Нѣтъ, мнѣ не чуждо все, что ты приводишь изъ Толстого — если не такъ, то все же мысли о послѣднемъ и о с м ы с лѣ все время встаютъ. Только я отвѣтила бы на нихъ не въ духѣ буддизма, нирваническаго, т. е. «освобожденіе въ разоблаченіи духа отъ его матеріальнаго одѣянія» и т. д. Я сказала бы, что духъ освобождается совершая какой-то рѣшающій актъ именно в ъ о б л а с т и л и ч н а г о — подвигъ ли во имя любви, героизмъ во имя научнаго достиженія... Какъ *im Anfang war die That*, такъ же и завершается и путь человѣка или отрѣзокъ пути въ нѣкой *That* хотя бы незримой. Но конечно это не противорѣчитъ Толстому, это и есть Толстой и потому онъ такъ дорогъ, только терминологія, — его, или буддѣйская, — мнѣ сейчасъ чужда. То-есть, я противъ отгѣнка презрѣннѣй къ «сличному», матеріальному. Это, какъ если-бы художникъ презиралъ свой матеріалъ — мраморъ, краски, слово, — вѣдь все земное и есть наше «орудіе производства» вѣчнаго.

6.VI.37. — Читали эти дни о Полуюсь; потомъ перескакивали въ Парижъ и читали о выставкѣ. Писала ли тебѣ Д. о замѣчательной Дворцѣ изобрѣтеній и съ какимъ чувствомъ была на нашемъ отдѣлѣ?

Изъ Москвы мнѣ написала одна пріятельница очень требовательная въ искусствѣ, о томъ, какой удивительный праздникъ — узбекская музыкальная драма: игра ихъ по тонкости и вмѣстѣ съ тѣмъ естественности не уступаетъ художественному театру и въ то же время самобытна. Откуда эти въ 2-3 года создавшія свои артистическія формы!

Читаю Лизѣ Маяковского и мы объ цѣнимъ не только его рѣчевыя дерзанія, но и огромную требовательность его къ человѣческому духу — какъ ни у кого изъ современныхъ поэтовъ.

19.VII.37. — Получила твои 2 открытки и съ грустью узнала о пропавшихъ письмахъ твоихъ. Безконечно мнѣ жаль этихъ невозвратимыхъ страницъ. Съ пріѣздомъ нашей Лили много новыхъ дѣлъ и рѣшеній встало передъ нами — конечно, и радость большая отъ нея, все такъ же льнушей къ намъ, очень красивой, но и мятушейся, какъ и должно быть, когда уже 20 лѣтъ, а еще не найденъ свой путь, с вои люди. Трудно ей, бѣдной, по многимъ причинамъ и больше всего изъ-за всегда нависшей надъ ней болѣзнью матери, изъ-за сознанія, что она должна взять ее на себя. Сейчасъ весь ея лѣтній отдыхъ уходитъ на уходъ за ней, въ то время, какъ всѣ ея пріятельницы ѣдутъ въ горы, въ природу — увлеченіе альпинизмомъ. Сама-то она на это не жалуется нисколько, но невольно сравниваешь ихъ судьбы. Съ пріѣздомъ Лили у насъ было непривычно много людей—все проѣздомъ въ горы. Кузина Катя, проживъ три дня, уѣхала въ горы къ Б. Ей 50 л., она уже получаетъ пенсію учительницы, но сама сейчасъ со страстью отдалась своей любви къ живописи, неутоленной всю жизнь; какъ студентка проходитъ Институтъ живописи и графики. Это конечно очень хорошо, но она больше прежняго глуха ко всему, что не она, ко всѣмъ встрѣчнымъ душамъ, и потому горестно одинока, несмотря на свои «общественныя» убѣжденія.

22.IX.37. — Провель у насъ двѣ недѣли Юра. Мы были очень счастливы, говорили безъ конца. Онъ докторски помогъ Лизѣ. Онъ невыразимо миль и заново слился не только со мной, но и съ Лизой и Лилей. Пишетъ теперь горячія пись-

ма. Ему особенно нужна сейчас женская нѣжная дружба. Увлеченъ изученіемъ старинной живописи, привезъ книги Фромантэна, Вельфлина, разглядывалъ всѣ фотографіи, которыя у насъ нашель. Но конечно охотно переходитъ на болѣе глубокія философскія темы. Онъ читаетъ очень мало и медленно — онъ однодумъ, но все глубоко и подлинно. Сейчас провожаемъ Лилю (всѣ математики она выдержала) — трудности ея въ томъ, что плечеть ее изученіе только литературы. Между тѣмъ, такъ какъ учительницей не хочетъ быть — и навѣрное будущее литературовѣда съ соперничествомъ въ издательствахъ совсѣмъ не по ней и вотъ она, бѣдняжка, мучается. Все, о чемъ ты упоминаешь, мнѣ безконечно интересно, такъ же и письмо А. Буду безутѣшна, если пропадетъ твое о Блокѣ и др.. И прости мнѣ, что я такъ плохо писала тебѣ это время. Я спокойна, не поддаюсь никакимъ уныніямъ и ты не грусти обо мнѣ, о насъ, — вѣрь, какъ вѣрю я во все свѣтлѣющую жизнь.

X.

Завтрашній день

(Письма о русской культурѣ).

1.

На чемъ основано убѣжденіе многихъ изъ насъ, что на другой день послѣ революціи русская культура должна пережить небывалый расцвѣтъ? На анализъ настоящаго, на историческихъ аналогіяхъ? Или на любви, которая «всему вѣритъ», которая живетъ миеами — миеами прошлаго и будущаго?, на вѣрѣ въ чудо, которая одна, для слабыхъ душъ, способна дать силы жить?

Кажется, довольно мы жили иллюзіями и дорого заплатили за нихъ. Если всѣ пережитыя испытанія, гибель нашей Россіи и нашей Европы не способны излѣчить насъ отъ иллюзіи, значитъ, аря мы были приглашены на «спирь небожителей». Ничего не забыли, ничему не научились. Иллюзіи двигаютъ міромъ? Да, безспорно. Но на его погибель. Сейчасъ, куда ни посмотришь, видишь марширующіе милліоны, готовые поджечь міръ съ четырехъ концовъ, и уже начавшихъ грандіозное разрушеніе во имя соблазнительной и лживой мечты. Они всѣ въ бреду великихъ иллюзіи, во власти маніи величія. Конечно, истина тоже нуждается въ батальонахъ, которые сражались бы и умирали за нее. Но вѣра, движущая ея бойцовъ, иного качества. *Jehnesse catholique* чѣмъ-то въ духовномъ складѣ, а не только въ содержаніи *credo*, отличается отъ молодежи коммунистической или фашистской. На кого же будетъ похожа наша, національная и православная молодежь, которая приметъ участіе въ строительствѣ Россіи? Это вопросъ рѣшающій для ея будущаго. Россія ждетъ отъ насъ врячей, трезвой любви. Къ тому же трезвость — одно изъ лучшихъ качествъ великоросса, москвича, который сейчасъ, какъ мы старались показать въ предыдущемъ письмѣ*), становится хозяиномъ русской жизни.

Итакъ, историческія аналогіи, анализъ настоящаго? Что ка-

*) «Русскія Записки» № 3, 1938.

сается аналогій, я боюсь, что насъ еще дразнить болотный огонекъ французской революціи. Видя блестящій расцвѣтъ французской культуры съ 20-ыхъ годовъ 19 вѣка, мы склонны объяснить его вліяніемъ пережитой катастрофы. Мы говоримъ: революція освобождаетъ скованныя силы. Старый режимъ, не будучи, можетъ-быть, столь жестокимъ, какъ думали революціонеры, своей инерціей, дѣнью и сословными привилегіями глушила народныя силы. Освобожденіе гражданина стало освобожденіемъ и таланта. Съ другой стороны, тѣ героическія страсти, которыя революція разбудила въ своихъ сынахъ, не потухли безплодно: онѣ, сублимируясь, «переключили» въ высшія сферы: романтической поэзіи, исторіи, социологін.

Боюсь, что это представленіе поконится тоже на иллюзіи.

Между революціоннымъ пожаромъ и культурнымъ расцвѣтомъ эпохи реставраціи лежитъ духовная пустыня: Имперія. При Наполеонѣ литература была скована такъ, какъ никогда въ старой монархіи. Свободой воспользовался собственникъ и предприниматель, а не мыслитель и художникъ. И, что, пожалуй, еще хуже, страна и не ощущала потребности въ иной свободѣ: поэзія и мысль, за ничтожными исключеніями, какъ будто были парализованы. Если отвлечься отъ грома военныхъ побѣдъ, Франція жила внутренними процессами буржуазнаго накопленія. То были безличныя, сѣрые будни, въ которыхъ «трудились» разные Горіо и Гранде.

Воскресеніе французской культуры было связано совсѣмъ не съ революціонной бурей, а скорѣе съ ея отрицаніемъ — съ той огромной духовной реакціей противъ 18-го вѣка, которая носитъ общее имя романтизма. Чтобы быть совсѣмъ точнымъ, своеобразіе и сила французскаго 19-го вѣка заключается въ борьбѣ и синтезѣ идей реакціи и революціи, романтизма и просвѣщенія. Уже Сень-Симонъ (и его ученикъ Контъ) выступаютъ съ планомъ синтетической конструкціи, гдѣ рационализмъ 18 вѣка уживается съ преклоненіемъ передъ католичествомъ и «органическими» основами средневѣковья. А дальше новая волна, тоже двухсоставная: революціонный романтизмъ, Гюго, Ламеннэ... Но почти всѣ революціонеры 30-ихъ годовъ начинали съ «ультра»-романтической и католической реакціи. Именно она дала имъ ту пламенность, которой была лишена потухшая и превратившаяся въ бытъ революція.

Нѣтъ, аналогія французской революціи не за насъ. Ну, а сама русская дѣятельность? Что говорить анализъ настоящаго въ смыслѣ возможныхъ прогнозовъ?

Было время, когда дѣятельность давала вѣскія основа-

нія для надеждъ. Въ самый разгаръ гражданской войны и свирѣпѣйшаго террора въ странѣ горѣла духовная жизнь. Въ эпоху Нэпа это напряженіе вылилось въ значительную литературу, можетъ-быть, переоцѣненную нами, но которая, конечно, не имѣетъ себѣ равной въ революціи французской. Поэты старой Россіи и новые писатели, вышедшіе изъ народа, сливались въ общемъ мажорномъ ощущеніи жизни. Буря событій захватила ихъ, какъ діонисическое опьяненіе. Жизнь казалась чудесной, все обѣщающей. Весело шагали по трупамъ — навстрѣчу какому-то сіяющему будущему. За литературой, театромъ — вставали массы, жадно рвущіяся къ просвѣщенію, наполнявшія залы популярныхъ лекцій, аудиторіи рабфактовъ. Жизнь была неприглядна, голодна и дика, насиліе торжествовало повсюду, но, глядя на эти честныя, взволнованныя лица молодыхъ и стариковъ, впервые дорвавшихся до культуры, хотѣлось вѣрить въ будущее. Увы, теперь отъ этихъ надеждъ мало что осталось.

Уже въ годы Нэпа волна пошлости и стяжанія нахлынула, затопляя безкорыстный идеализмъ «свѣта и знанія». Но во второе, сталинское десятилѣтіе, отъ этого идеализма уже ничего не осталось. Сперва онъ былъ переключенъ на техническое поле строительства, на военный энтузіазмъ, на парашютничество, полярный мѣлъ и проч. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше романтизмъ техники уступаетъ мѣсто дѣлячеству, устройству личной карьеры. Лозунгъ «счастливой жизни» отразилъ второе спаденіе идеалистической волны, которое кажется окончательнымъ. То, что наступило потомъ, — массовый терроръ, ликвидация коммунистической идеологіи, всеобщее подхалимство и рабство — какая культура возможна въ этомъ отравленномъ воздухѣ? И мы видимъ: совѣтская литература кончается, удрученная, обезкровленная, за отсутствіемъ какой бы то ни было свободы и творческой воли къ жизни.

Что это? Неужели Сталинъ, одинъ Сталинъ сумѣлъ такъ изгадить, засорить всѣ ключи жизни, заболотить всѣ революціонныя воды? Какъ бы ни была велика личная вина этого отверженнаго человѣка, позволительно выразить убѣжденіе, что и безъ Сталина этотъ результатъ былъ предопредѣленъ характеромъ русской революціи и ея господствующей идеологіи.

Свобода никогда не была основной темой русской революціи. Въ большевизмѣ она превратилась въ ея прямое отрицаніе. Французская революція могла на годы, на десятилѣтія тиранически попирать свободу, сперва въ ярости, потомъ въ утопленіи гражданской войны. Важно было то, что она ее провоз-

гласила. Именно пафосъ освобожденія вызвалъ во Франціи, да и во всей Европѣ, на рубежѣ 19 вѣка, тотъ духовный взрывъ, который былъ однимъ (однимъ только!) изъ элементовъ культурнаго возрожденія начала вѣка. Соціализмъ исходитъ изъ частичнаго отрицанія свободы — свободы экономической. Его тема — не свобода, а организація, то-есть порядокъ. Русский большевизмъ вообще понялъ социализмъ какъ тоталитарное огосударствленіе жизни. Свобода была и остается для него главнымъ, смертельнымъ врагомъ. Поэтому то октябрьская революція оказалась не освобожденіемъ, а удушеніемъ культуры.

Вначалѣ это могло казаться не такъ. Массы, участвовавшія въ революціи, дѣйствительно переживали прарадникъ освобожденія. Ихъ свобода была двусмысленна и не имѣла никакого отношенія къ свободѣ мысли, слова, культуры. Это свобода отъ господъ, отъ самаго существованія господъ съ оскорбительнымъ сознаніемъ социальнаго неравенства. Говоря по-русски, воля, а не свобода. Но воля, какъ стихійное буйство разлившейся жизни — она была, и она несла, какъ буря на парусахъ, тѣхъ, кто ей отдавался, кто могъ, какъ Блокъ, «слушать революцію». Отсюда вѣщая значительность конца десятихъ и культурный подъемъ двадцатыхъ годовъ въ Россіи Нэпа. Но постепенно большевизмъ осуществилъ свои потенціи: прибралъ къ рукамъ, «организовалъ» все духовное хозяйство. Съ 1922-23 года марксизмъ становится обязательнымъ въ наукѣ, съ 30-тыхъ годовъ — сталинизмъ въ литературѣ. Тамъ, гдѣ организація побѣждала, наступала медленная смерть отъ удушенія. И сейчасъ Россія — духовная пустыня. Такой результатъ неизбеженъ во всякомъ тоталитарно-тираническомъ государствѣ, какова бы ни была идея, положенная въ его основу. Въ Россіи такой идеей оказался марксизмъ. Я сомнѣваюсь, чтобы марксизмъ, даже въ условіяхъ наиболѣе благоприятныхъ, въ обстановкѣ совершенной свободы, могъ лечь въ основу значительной культуры. Какова бы ни была его ограниченная значимость въ политической экономіи и въ социологіи, въ немъ совершенно отсутствуетъ тотъ воздухъ, въ которомъ можетъ дышать человѣческая личность. Марксизмъ культурно невозможенъ, какъ прививка къ чему-то иному: даже у Маркса — къ его классическому и гегельянскому гуманизму. Страна, всерьезъ сдѣлавшая марксизмъ единственной основой воспитанія, превращается въ «собачью пещеру», гдѣ могутъ выживать только высокіе ростомъ.

Я не закрываю глазъ на то, что русскій большевизмъ, въ особенности сталинизмъ, весьма далеко уклонился отъ настоя-

шаго марксизма. Чрезвычайно огрубляя его, ленинизмъ, съ другой стороны, ассимилировалъ его съ иными, чуждыми ему, хотя столь же элементарными идеями: съ философскимъ волюнтаризмомъ, съ культомъ вождей — въ послѣдней редакціи, даже съ великорусскимъ націонализмомъ. Это дало возможность дышать и въ собачьей пещерѣ, — но все же какимъ спертымъ воздухомъ! Жизнь возможна и въ Россіи, но какая убогая! О культурномъ расцвѣтѣ въ странѣ марксизма нельзя и мечтать.

Но марксизмъ былъ и сойдетъ. Много ли уже сейчасъ отъ него осталось? Онъ отравилъ духовнымъ туберкулезомъ одно поколѣніе — лѣтъ на 15, — но это поколѣніе еще не вся Россія. Правда, это поколѣніе первенцевъ революціи, самое горячее, активное — ему ли, казалось, не лѣпить, не оформлять податливой, пластичной массы, растопившей всѣ старыя формы быта и жаждущей новыхъ? Новое творчество жизни оказалось бездарнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ лживымъ и порочнымъ весь духовный профетизмъ революціи. — Да, но это для перваго поколѣнія. Освободившіяся, или освобождающіяся отъ марксизма октябрыта революціи — они-то могутъ уже работать. — Нѣтъ, ибо за смѣной всѣхъ идеологій русской революціи — бывшихъ и будущихъ — остается ея фонъ: тоталитарной несвободы. Въ этомъ удушающемъ рабствѣ, въ той легкости, съ которой народъ это рабство принялъ (онъ называлъ его въ первое время свободой), не одинъ лишь общій законъ революціоннаго процесса: отъ анархін — къ деспотизму. Здѣсь сказывается московская привычка къ рабству, культура рабства въ московскія и петербургскія столѣтія исторіи. Въ свободѣ нуждалась, свободой жила интеллигенція, которая, вмѣстѣ съ дворянствомъ, была выжжена революціей. Москвичъ, пришедшій ей на смѣну, никогда не дышалъ свободнымъ воздухомъ: состояніе рабства — не сталинскаго, конечно, — является для него исторически привычнымъ, почти естественнымъ.

Мы часто говоримъ о націонализациі русской революціи. Но что это значитъ? Это значитъ, что въ ней побѣдиль не Ленинъ и не Бакуининъ, боровшіяся другъ съ другомъ первые годы, а Иванъ Грозный. Сталинъ и есть переводъ его на современность.

2.

Духовная безкрылость, бездарность русской революціи можетъ доставлять злорадное удовольствіе всѣмъ ея врагамъ. Но это фактъ глубоко печальный для русскаго народа и его бу-

душаго. Потому что это будущее кипитъ въ котлѣ революцій. Потому что долго еще поколѣнія, идущія намъ на смѣну, будутъ нести ея печать. Не легко будетъ стереть ее — да можно спросить себя, удастся ли это когда-нибудь до конца?

Ну, а какъ обстоитъ дѣло съ нашей реакціей? — съ тѣмъ другимъ духовнымъ источникомъ, который долженъ питать наше будущее. Потому что нельзя забывать: реакціи бываютъ жизненныя, глубокія, плодотворныя. Общественныя реакціи какъ бы существуютъ для того, чтобы духъ, утомленный и разочарованный злой суетой настоящаго, могъ произвести свой *examen de conscience*, углубиться въ себя и выносить въ своихъ нѣдрахъ новую творческую идею грядущаго. Въ борьбѣ этой идеи съ торжествующей, но уже изношенной идеей настоящаго и заланъ духовный контрапунктъ эпохи.

Наша реакція? Нельзя не удивляться и не огорчаться ея духовнымъ безсиліемъ. Насъ не удивляетъ бездарность революціи: чего и ждать отъ учениковъ Ленина? Но здѣсь, въ эмиграціи, собраны — мы любимъ повторять — лучшія силы русской интеллигенціи. Вся ихъ энергія сосредоточена на одномъ помыслѣ — на отрицаніи революціи. И эта революція такъ уязвима: ея неправда и ложь самоочевидны. Почему же критика едва поднимается надъ уровнемъ злобы дня? А тамъ, гдѣ она рѣшается на обобщенія, она не выходитъ изъ повторенія обихихъ мѣстъ.

Мнѣ кажется, разгадка этой безкрылости русской реакціи заключается именно въ томъ, что она давно уже сказала свое слово и теперь ей остается лишь повторять самое себя. Парадоксальность положенія состоитъ въ томъ, что у насъ реакція предшествовала революціи, противъ которой она направлена. Это оказалось возможнымъ потому, что замысль революціи былъ выраженъ задолго до ея осуществленія. И не только замысль, но и революціонное движеніе. Въ этомъ огромное наше отличіе отъ революціи французской, совершенно импровизированной, творимой по вдохновенію и страсти. У насъ революціонная мысль исчерпала себя задолго до возможности воплощенія. Подобно романтической дѣвочкѣ, истощившей всѣ свои силы въ книжной, вымышленной любви, русская революціонная интеллигенція растратила свое вдохновеніе задолго до рѣшительнаго часа исторіи. Ея зенитъ падаетъ на 70-ые годы. Но то же самое можно сказать и о ея отрицательномъ спутникѣ. Зенитъ реакціи падаетъ на 80-ые годы. Она была далеко не бѣдна духовно, наша реакція. Отъ Тютчева (и даже Пушкина), черезъ Достоевскаго къ Леонтьеву и Розанову — мы

имѣемъ блестящій рядъ мыслителей, каждый изъ которыхъ далъ свой отвѣтъ на замысль, если не на дѣйствительность, русской революціи. Эти отвѣты — мы ихъ знаемъ наизусть. Съ начала XX вѣка русская интеллигенція, даже революціонная, совершила надъ собой чудо самоотреченія. Она воскресила своихъ враговъ и приняла въ свое сердце большую долю ихъ стрѣлъ. Значительная часть контръ-революціонной критики давно уже вошла въ само революціонное сознание — за исключеніемъ большевиковъ, конечно. Вотъ почему нашему поколѣнію, несмотря на всѣ ужасы, которые мы видимъ своими глазами, по существу отрицанія революціи уже нечего сказать.

Я не забываю, что кое-что эмиграція все-таки дала. — Намъ приходится говорить только объ эмиграціи, такъ какъ реакціи внутри-россійской мысли мы не знаемъ. — Это новое исчерпывается нѣсколькими книгами религіозной философіи и — евразійствомъ. Впрочемъ, религіозная философія наша представляетъ прямое продолженіе дореволюціонной традиціи, слишкомъ рѣзко оборванной грубой рукой: т. е. и это не совсемъ новое. Евразійство — явленіе, дѣйствительно новое. Теперь, когда оно, какъ политическое теченіе, умерло, можно безпристрастно оцѣнить тотъ вкладъ въ науку о Россіи, который оно внесло. Даже не сочувствуя вполне его слишкомъ прямолинейнымъ сужденіямъ и прямымъ историческимъ ересямъ, нужно признать значительность новыхъ проблемъ, поставленныхъ имъ. Но, если евразійство — единственный отвѣтъ русской реакціонной мысли на революцію, — то это, все же, немного: это не соответствуетъ грандіозности историческаго феномена революціи, хотя, конечно, и превышаетъ на много культурное убожество этого феномена.

Русская революція и русская реакція — обѣ были разогрѣтымъ блюдомъ, явленіями запоздалыми, давно уже изжитыми русскимъ самосознаніемъ. Даже специфическая идеологія большевистской революціи — марксизмъ — была сплона изжита въ 90-ые годы, когда русскій марксизмъ далъ дѣйствительно много цѣнныхъ теоретическихъ трудовъ и вообще былъ самымъ творческимъ секторомъ социалистической Европы. Старая болѣзнь русской интеллигенціи — разорванность бытія и сознанія, жизнь въ двухъ планахъ, которая раньше создавала гамлетовъ и доктринеровъ, теперь отомстила за себя безмысліемъ и безкультурностью политическаго дѣла.

Но это было бы съ полбѣды, если бы политика оставила культуру въ покоѣ; мудрецы могли бы на время предоставить

историческую авансцену бандитамъ и удалиться «въ катакомбы, въ пещеры». Однако тоталитарная политика преслѣдуетъ ихъ и подъ землей, тащить на площадь, требуетъ отъ нихъ всенароднаго униженія истины: не только предательства, но и пошлости. Демагоги требуютъ отъ интеллигенціи изготовления отвратительныхъ помоевъ, которыми они кормятъ обращенныхъ въ свиней обитателей счастливыхъ острововъ Цирцеи. Одни ли большевики? Увы, эта духовная болѣзнь (въ Германіи она называется «политизаціей») оказывается чрезвычайно заразной; идя съ Востока, какъ чума, она захватила поль-Европы. Но, можетъ быть, сама Россія, заразивъ весь міръ и перестрадавъ свое, приобрететъ иммунитетъ? Можетъ-быть, освободившіяся отъ большевиковъ поколѣнія отшатнутся отъ всякихъ формъ тоталитарнаго насилія надъ духомъ, возжаждатъ свободы? Это большой вопросъ, можетъ-быть, самый основной вопросъ русской судьбы. Не имѣя на него точнаго отвѣта, мы можемъ искать лишь элементовъ рѣшенія.

Оглянемся вокругъ насъ. Мы живемъ среди людей, слѣлавшихъ изъ отрицанія большевизма свое *profession de foi*. Людей, которые надѣются принять участіе въ строительствѣ русской культуры — сами или въ лицѣ своихъ дѣтей. И что же? Политизація свирѣпствуетъ вокругъ, быть можетъ, съ не меньшей силой, чѣмъ въ Россіи или въ Германіи. Люди живутъ идеей — *idée fixe* — политической борьбы съ большевизмомъ, подчиняя всѣ остальные цѣнности, даже самую духовную, этой борьбѣ. Въ политическомъ утилитаризмѣ мы не уступаемъ шестидесятиникамъ. Какое тамъ! Въ сущности, многіе изъ насъ вполне готовы къ тоталитарному строю — только, конечно, не коммунистическому. Для многихъ важнѣе не свобода, а символы, во имя которыхъ попирается свобода. Они предпочитаютъ символу націи символу пролетаріата, двуглавый орелъ — серпу и молоту. Вотъ и все. Въ этомъ смыслѣ 1933 годъ, пришествіе къ власти Гитлера, былъ для русской эмиграціи суровымъ испытаніемъ. Приходится сознаться, что въ цѣломъ она его не выдержала. Тотъ восторгъ, съ которымъ многіе слѣдятъ за успѣхами Гитлера, еще болѣе широкая популярность Муссолини доказываютъ, что не свобода привела въ изгнаніе сотни тысячъ эмигрантовъ. Борьба идетъ не за свободу, и даже не за Россію, а за свою Россію, Россію своихъ воспоминаній и грезъ — противъ Россіи сегодняшняго дня. Поразительно, что съ тѣхъ поръ, какъ Сталинъ объявилъ себя русскимъ націоналистомъ и принялся казнить большевиковъ, онъ приобрѣлъ даже популярность среди части, — правда, немногочисленной, —

русской эмиграции. Та необычайная по гнусности атмосфера, которая сейчас царитъ въ Россіи, не прекратила тяги къ возвращенію. Молодые «патріоты», для которыхъ принципиально нѣтъ ничего выше націи, ѣдутъ, или готовы ѣхать, въ царство опричнины, не смущаясь кровавымъ насиліемъ, которое тамъ составляетъ законъ обыденности.

Мы не знаемъ, что происходитъ тамъ, въ самой Россіи, въ глубинѣ задавленныхъ человѣческихъ душъ. Но не будетъ слишкомъ смѣлымъ предположить, что и тамъ невыносимыя страданія и безсиліе вызываютъ тѣ же реакціи. И тамъ должны быть люди, мечтающіе о Гитлерѣ — своемъ или чужомъ — не освободителѣ, а мстителѣ. Повторяющіе старую, такую русскую, хотя и въ украинской транскрипціи, поговорку: «хотъ гірше, та инше». Пусть большинство не желаетъ — навѣрное, не желаетъ — никакого тоталитаризма, пресытившись однимъ до тошноты. Но едва ли оно, воспитанное въ рабствѣ, сумѣетъ дать отпоръ меньшинству, которое пожелаетъ навязать ему «иншій» видъ тоталитарнаго рабства. Не нужно забывать, что совѣтскій активъ не знаетъ, и не хочетъ знать никакихъ формъ свободной культуры; что для него невообразима сама идея открытаго противорѣчія, борьбы взглядовъ: что даже для бѣглецовъ изъ ада европейская свобода печати кажется непонятной и почти отирательной. О свободѣ въ Россіи томятся многіе. Говорятъ даже, что теперь это единственное объединяющее всѣхъ настроеніе. Но говорящіе сейчасъ же прибавляютъ: впрочемъ, это самая скромная свобода, бытовая. Хотятъ имѣть увѣренность, засыпая, что не проснутся подъ чекистскимъ ноганомъ, хотя бы имѣть возможность покупать хлѣбъ и продавать издѣлія своего личнаго труда. Быть спокойнымъ за жизнь своихъ близкихъ, за завтрашній день. Всѣ эти вождельнія такъ легко осуществить въ любомъ тоталитарномъ режимѣ, чуть-чуть полегче сталинскаго. Для этихъ людей гитлеровская Германия должна казаться раемъ.

Я знаю, что, говоря о политическихъ условіяхъ русской культуры, мы имѣемъ уравненіе со многими неизвѣстными. Многое зависитъ отъ того, въ какой формѣ произойдетъ ликвидація большевицкаго періода русской исторіи. Война, возстаніе или эволюція режима? Въ случаѣ насильственной развязки смѣна одного тоталитаризма другимъ представляется весьма вѣроятной. Многіе скажутъ: фашизмъ придетъ на смѣну сталинизму, и это уже огромный шагъ впередъ. Я отвѣчу: сталинизмъ есть одна изъ формъ фашизма, такъ что этотъ исходъ равнозначенъ укрѣпленію выдыхающагося фашизма съ обно-

влениемъ его идеологии. Новая идея вдохнуть новую энергію въ работу опричниковъ-организаторовъ. Перемена личного состава лишь усилитъ ихъ злобность: новая метла чище мететь... Что касается эволюціоннаго исхода, то какъ уменьшаются за послѣдніе годы его шансы! Сталинъ позаботился о томъ, чтобы отрѣзать себѣ и своимъ всѣ пути къ мирному отступленію.

Но пусть даже, вопреки вѣроятностямъ сегодняшняго дня, отступленіе окажется возможнымъ, и сталинскій режимъ сможетъ эволюционировать — въ сторону, скажемъ, нормализациі. Это не увеличиваетъ шансовъ свободы для завтрашняго дня. Позволяю себѣ повторить написанное мною когда-то: «Поколѣніе, воспитанное Че-Ка, не можетъ рассчитывать на свободу. Свобода можетъ быть удѣломъ только его дѣтей». Сейчасъ, черезъ десять лѣтъ ягудо-ежовскаго воспитанія, можно только повторить, съ еще большей увѣренностью и большей горечью, эти слова.

Нѣтъ, рѣшительно нѣтъ никакихъ разумныхъ человѣческихъ основаній представлять себѣ первый день Россіи «послѣ большевиковъ» какъ розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется надъ Россіей послѣ кошмарной революціонной ночи, будетъ скорѣе то туманное «сѣдое утро», которое пророчилъ умирающій Блокъ. И какими же другимъ можетъ быть утро послѣ убійства, послѣ оргіи титаническихъ потугъ и всякаго идейнаго дурмана, которымъ убійца пытался заглушать свою совѣсть? Утро расплаты, тоски, первыхъ угрызений... Послѣ мечты о міровой гегемоніи, о завоеваніи планетныхъ міровъ, о физиологическомъ безсмертіи, о земномъ раѣ — у разбитаго корыта бѣдности, отсталости, рабства — можетъ быть, національнаго униженія. Сѣдое утро...

3.

Но довольно каркать. Не оказались ли и мы во власти контръ-революціонныхъ настроеній, рисуя эти мрачныя картины? Сегодняшній застѣнокъ Сталина не долженъ парализовать у насъ зрѣнія и слуха, обращенныхъ къ созидательнымъ процессамъ революціонной Россіи. Достиженія есть: глупо отрицать или недооцѣнивать ихъ. Индустриализація Россіи. Ея почти поголовная (или приближающаяся къ таковой) грамотность. Рабочіе и крестьяне, обучающіеся въ университетахъ. Новая интеллигенція, не оторванная отъ народа: плоть отъ плоти и кость отъ кости его. Въ результатѣ — огромное расшире-

ние культурного базиса. Книги издаются — и читаются — в неслыханных раньше количествах экземпляров. Не только для беллетристики, но и для научной популяризации открыт широкий рынок. Удовлетворять проснувшиеся культурные запросы масс не успевает советская интеллигенция, несмотря на огромный рост ее кадров. Кажется, надолго России, в отличие от стран старой Европы, не угрожает безработица и перепроизводство интеллигенции.

Правда, в настоящее время эта огромная экстенсификация культуры покупается, в значительной мере, за счет понижения ее уровня. Мэрия масштабом старой России или новой Европы, приходится сказать, что в СССР, в сущности, нет настоящей ни средней ни высшей школы. Никто не умеет грамотно писать, мало кто чисто говорит по русски. Неужество в области истории, религии, духовной культуры вообще — потрясающее. Ученые, даже естествоиспытатели, жалуются на отсутствие смелости. Новая академическая молодежь явно неспособна справляться с работой стариков. Обнаруживается опасный разрыв между поколениями... Но это не страшно. Это дѣло поправимое. Можно нажить и грамотеев и ученых: была бы охота, а охота есть. Нужны молодые ученые? Можно воспитать их за границей. Поднять уровень школы? Нет ничего невозможного. Конечно, если рассчитывать не на годы, а на десятилетия. Область научно-образовательной культуры во всем подобна культуре хозяйственно-технической. Все то, что изменяется количеством, может быть нажито энергией и трудом. По вычислениям Пражского Экономического Кабинета русский рабочий живет сейчас хуже, чем до революции. Кто виноват в этом? Глупость хозяйственных руководителей? Органический порок хозяйственной системы? Или просто давление военной опасности, истощающей все силы народа в работе на оборону. И то, и другое и третье (даже коммунистическая система) — факты переходящие, допускающие изменение. При огромности производительных сил России, с ее почти полной автаркией, возможности ее хозяйственного роста неограничены. Изживется так или иначе ложная система, уйдут головотяпы, откроется дорога, пусть для медленного, но постоянного и, в принципѣ, безграничного хозяйственного роста. То же и с просвѣщеніем. Медленно, очень медленно, разлившіяся воды достигнут предѣла, и начнется подъем уровней. Если низовая тяга къ знанію, хотя бы только техническому, достаточно велика — а в этом пока нет при-

чинъ сомнѣваться — это обѣщаетъ въ будущемъ грандіозный подъемъ цивилизаціи. Все то, что можетъ быть достигнуто средствами внѣшней, научно-технической цивилизаціи, въ Россіи будетъ достигнуто. И здѣсь формула Блока: «Новая Америка». Мечта Ленина объ электрофикаціи Россіи — его убогая предсмертная мечта — конечно, осуществима. Для десятковъ миллионovъ людей въ Россіи, для большинства нашей молодежи въ эмиграціи — это все, о чемъ они мечтаютъ. Съ такой мечтой нетрудно быть оптимистомъ. Все дѣло лишь въ требовательности по отношенію къ жизни, къ своему народу, къ Россіи. Чего мы ждемъ отъ нея, чего для нея хотимъ?

Вотъ здѣсь-то и сказывается, что всѣ мы — я говорю объ остаткахъ, или «остаткѣ» русской интеллигенціи — глубоко разойдемся въ вопросъ о томъ, что должно считать истинной или достойной цѣлью культуры. Многие изъ насъ остаются вѣрны понятію «цивилизациі», господствовавшему въ Россіи шестидесятихъ годовъ. Бокль, котораго кое-кто изъ насъ читалъ въ дѣтствѣ, остается и сейчасъ для многихъ учителемъ. Его цивилизація слагается изъ роста техническихъ и научныхъ знаній + прогрессъ социальныхъ и политическихъ формъ. Въ основѣ этого пониманія культуры лежитъ завѣщанная утилитаризмомъ идея счастья или, вѣрнѣе, удовлетворенія потребностей. Человѣческая жизнь не имѣетъ другого смысла, и комфорта, матеріальный и моральный, остается послѣднимъ критеріемъ цивилизаціи. Всѣ мы помнимъ отчаянную борьбу противъ такой идеи цивилизаціи, которую повели въ Россіи Достоевскій и Толстой, въ Европѣ — возрожденіе философіи и «модернистскаго» искусства. Съ легкой руки нѣмцевъ, мы теперь противопоставляемъ культуру цивилизаціи, понимая первую, какъ іерархію духовныхъ цѣнностей. Цивилизація, конечно, включается въ культуру, но въ ея низшихъ этажахъ. Культура имѣетъ отношеніе не къ счастью человѣка, а къ его достоинству или призванію. Не въ удовлетвореніи потребностей, а въ творчествѣ, въ познаніи, въ служеніи высшему творится культура. Въ дисгармоніи она рождается, протекаетъ нерѣдко въ трагическихъ противорѣчійхъ, и ея конечное стремленіе къ гармоніи остается вѣчно неудовлетвореннымъ. Но высшее напряженіе творчества народа (или эпохи), воплощенное въ его созданіяхъ или актахъ, одно оправдываетъ его историческое существованіе.

Еще недавно, въ довоенной Россіи начала XX вѣка, послѣднее, духовное и качественное пониманіе культуры, казалось, побѣждало, если не побѣждало окончательно; утилитарное

въ количественное. Съ тѣхъ поръ мiръ пережилъ страшную реакцію. Въ войнѣ, въ революціяхъ, въ экономическихъ кризисахъ и катастрофахъ снова, съ необычайной мощью, заявили о себѣ низшія, элементарныя стихіи культуры. Вопросъ объ оружіи и вопросъ о хлѣбѣ — вытѣснили сейчасъ всѣ запросы духа. Даже социальныя проблемы, переживаемыя съ большой остротой, рѣшаются теперь не въ терминахъ свободы или справедливости, а въ терминахъ хлѣба и оружія, т. е. національной экономики и мощи. Въ то же время война вскрыла глубокій кризисъ въ самой идеѣ гуманистической культуры. Тупики, къ которымъ она пришла во многихъ своихъ областяхъ — нагляднѣе всего въ искусствѣ — вызвали глубокое разочарованіе въ самомъ смыслѣ культуры. Умы, самые утонченные и передовые, возжаждали грубости и простоты. Въ спортѣ, въ техникѣ, въ политикѣ ищутъ спасенія отъ вопросовъ духа. Сплошь и рядомъ эти жизненныя установки совмѣщаются съ религіозной — въ религіи авторитарной и искусственно примитивной, въ которой вытравлено все гуманистическое и культурное содержаніе. Современный фашизмъ и коммунизмъ именно поэтому оказываются соблазнительными для многихъ тонкихъ умовъ, ренегатовъ гуманистической культуры.

Отсюда понятно, что перспектива индустріальной, могущественной, хотя и бездушной или бездуховной Россіи не всѣхъ пугаетъ. Старые демократы и молодые фашисты могутъ объединиться въ безоговорочномъ оптимизмѣ по отношенію къ Россіи завтрашняго дня.

Послѣднимъ оговориться. Есть уровень нищеты, беззащитности, матеріальныхъ страданій, передъ которыми должны умолкнуть всѣ вопросы о смыслѣ культуры. Хлѣбъ становится священнымъ въ рукахъ голоднаго и даже праша въ рукахъ Давида, вышедшаго на Голиафа. До тѣхъ поръ, пока народъ въ Россіи ведетъ полуголодное существованіе, лишены самыя насущныя вещи — одежды, бани, лѣкарствъ, бумаги, я не знаю еще чего — только снобы могутъ отфыркиваться отъ экономики. Сейчасъ цивилизація — самая низменная, техническая — имѣетъ въ Россіи каритативное, христіанское значеніе. Вопросъ объ оружіи сложнѣе. Россія, конечно, не Давидъ, но и не Голиафъ — пока. Во всякомъ случаѣ, не она угрожаетъ, а ей угрожаютъ враги, могущественные, безжалостныя. Постольку оправдана, отчасти, и военная тенденція ея индустріализма.

Все это скоро должно измѣниться и даже превратиться въ свою противоположность. Хлѣбъ можетъ быть священнымъ сим-

воломъ культуры, комфортъ никогда. Но импульсъ техническаго энтузіазма, сейчасъ вызываемый необходимою, будетъ дѣйствовать долго въ силу инерціи. Накопленіе богатствъ въ социалистическихъ формахъ не болѣе почтенно, чѣмъ погоня за богатствомъ буржуазнымъ. Если этотъ идеаль станетъ главнымъ содержаніемъ жизни 1/6 части земного шара, то слѣдуетъ сказать: эта страна потеряна для человѣчества, этотъ народъ зря гадитъ (а онъ не можетъ не гадить) свою прекрасную землю. Его историческая цѣнность меньше цѣнности любого крохотнаго племени, затеряннаго въ горахъ Кавказа или въ Сибирской тайгѣ, которое сохранило, по крайней мѣрѣ, свои пѣсни и сказки, художественныя формы быта и религиозное отношеніе къ міру. Россія — Америка, Россія — Болгарія, Россія «Пошехонье», раскинувшееся на полъ-Европы и Азіи — это самый страшный призракъ, который можетъ присниться въ нашъ вѣкъ кошмаровъ. Что же сказать, если этотъ счастливый пошехонецъ окажется вооруженнымъ до зубовъ Голіафомъ, воплощающимъ въ себѣ опасность для всего міра? Голая, бездушная мощь — это самое послѣдовательное выраженіе каніновой, проклятой Богомъ цивилизаціи.

Пусть мы горсть, окруженная къ тому же со всѣхъ сторонъ предателями, пусть насъ останется хоть три человѣка, но мы никогда не примиримся съ такимъ будущимъ Россіи. Въ своемъ великомъ прошломъ она дала міру инныя поруки. Въ пору материалистическаго усыпленія Запада, совсѣмъ недавно, она горѣла костромъ изумительной духовности. Она была «звана Христовой». Она была въ числѣ немногихъ великихъ націй — Греція, Франція, Германія — которымъ попеременно принадлежала духовная гегемонія человѣчества. Вознесшаяся такъ высоко, она такъ низко пала. Можетъ-быть, сейчасъ она утратила свои права на первородство. Ей предстоитъ долгій и трудный путь искупленія. Но отказаться совсѣмъ отъ своего лица, отъ своего мучительнаго боренія съ Богомъ — ради культуры танковъ и двухспальныхъ кроватей — никогда! Можно отказаться отъ великодержавности политической, смириться передъ силой, забыть честолюбивыя мечты... Но нельзя забыть о великомъ призваніи. Ибо призваніе — это не слава, а жертва, не притязаніе, а долгъ. Рѣчь идетъ не о томъ, чтобы раждать геніевъ. Земля можетъ устать родить, а мы не можемъ «прибавить себѣ росту, ни на одинъ локоть». Рѣчь идетъ о томъ, чтобы трудиться, мучиться, искать, чѣмъ утолить нашъ духовный, не физическій только голодъ. Въ сущности, всего лишь о томъ, чтобы не обманывать этого голода и не заглушать его въ себѣ

анастезирующими снадобьями. Испанія, давно, конечно, не мечтает о міровой имперіи: времяъ Карла V. Но она никогда не забудетъ о легендарныхъ дняхъ Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега. Въѣками будетъ она жить въ воспоминаніяхъ и, если аскетическій трудъ подготовить удобренную почву, почему не настать тому дню (Испанія можетъ надѣяться), когда таинственная, непокупаемая благодать, *gratia gratis data*, не опоситъ дождемъ ея изжаждавшуюся землю?

Советъ Шпенглера — рѣшительно отказаться отъ непосильной больше культуры ради легкой, дающейея въ руки цивилизаціи — есть отступничество, лишь прикрытое маской стоицизма. Если современная Германія приметъ этотъ советъ, отступничество сдѣлается національнымъ. Германія ради владычества надъ міромъ, предастъ свою душу. Неужели Россіи итти по этому малодушному пути?

Что же, не запутались ли мы въ бесплодномъ противорѣчій? Съ одной стороны, трезвый анализъ запрещаетъ возлагать чрезмѣрныя надежды на близкое будущее русской культуры. Мы ждемъ сѣдого утра и безрадостнаго дня. Съ другой, отказываемся примириться съ этой перспективой. Сердце какъ будто бы тутъ не въ ладу съ головой. Должны, но не можемъ. Идемъ, но не хотимъ итти.

Конечно, это обычное трагическое противорѣчіе исторіи — между необходимостью и долженствованіемъ. Оно мучительно: неразрѣшимо лишь на высотахъ метафизической мысли: въ проблемѣ предопредѣленія и свободы. Въ жизненной дѣйствительности оно никогда не дано намъ въ такой остротѣ. Лишь долженствованіе дано во всей абсолютности. Необходимость историческая всегда относительна. Это лишь потокъ, теченіе событій, насъ увлекающее. Нужно плыть противъ теченія. Вотъ и все.

Но нужно сказать себѣ со всею твердостью — сказать всѣмъ мечтающимъ о строительствѣ русской культуры, всѣмъ молодымъ энтузіастамъ, младороссамъ, пореволюціонерамъ, христіанскимъ націоналистамъ: противъ теченія! Иначе мы предадимъ Россію, самое святое ея души.

Оглядываясь на прошлое, мы приходимъ къ убѣжденію, уже болѣе утѣшительному. Было ли это когда-нибудь иначе? Всѣ поколѣнія русской интеллигенціи, какъ до нихъ строители Имперіи — не шли ли противъ теченія, противъ косности или противъ традиціи русской жизни. И чѣмъ глубже взрываютъ почву, чѣмъ духовнѣе трудъ и подвигъ, тѣмъ сильнѣе сопротивленіе, тѣмъ неизбежнѣе одиночество. Какъ страшно оди-

ночество Достоевскаго! И все же побѣда приходитъ — быть можетъ, поздно, посмертная побѣда и относительная, конечно, — въ ту мѣру, въ которой историческая матерія способна вмѣстить идею. Но побѣды возможны. Только пути къ нимъ ведутъ не черезъ языческое подчиненіе стихіямъ жизни, какъ хочетъ внушать намъ снова и снова органической (или революціонной) консерватизмъ, а противъ потока, въ преодоленіи инерціи и тяжести земли. Подъ знакомъ креста.

Еще одно, послѣднее. Спрашиваютъ: на что ставить? То есть, помимо нашей собственной вѣры и воли, на какіе объективные моменты русской жизни можно опереться въ работѣ для будущаго? Безъ этой точки опоры наши упованія рискуютъ оказаться скорѣе грезами, а строительство только жертвой. Эти опорныя точки не должны пріобрѣтать преувеличенныхъ очертаній въ нашихъ глазахъ, превращаться въ миражи. Но онѣ должны быть.

Ну, такъ вотъ. Всѣ надземныя, открытыя сейчасъ теченія русской жизни не за насъ. Я говорю и больше: всѣ побѣдоносныя завтра — тоже противъ насъ. Но должны быть и тѣ, что съ нами. Не можетъ ихъ не быть тамъ, если они есть, хотя и слабы, здѣсь, за рубежомъ Россіи. Тотъ страшный прессъ, который давить въ Россіи все живое — онъ сплющиваетъ въ листъ слабыхъ — т. е. почти всѣхъ. Но сильные, немногіе, подъ этимъ давленіемъ сохранившіе духъ, должны выростать въ святыхъ и героевъ. И мы положительно знаемъ, отъ надежныхъ свидѣтелей, что герои и святые тамъ есть. Будемъ строги, и произведемъ отборъ. Герои и святые вообще не очень жалуютъ культуру, это правда. Хотя изъ ихъ жизни и смерти выростааетъ вполнѣдствіи и культура, для нихъ нечаянная. Но есть и герои культуры, есть и святые культуры. О нихъ мы тоже знаемъ. Многіе изъ героевъ живутъ отрицательными импульсами борьбы: изъ нихъ выйдутъ большевики новой идеи, побѣдители завтрашняго дня. Это не наши. Но, за вычетомъ всѣхъ чужихъ, видится ясно тотъ чудесный «остатокъ», въ которомъ живетъ сейчасъ Россія, и который завтра начнетъ актуализироваться въ ея культурѣ. Это наше противотеченіе представляется намъ сильнымъ не количествомъ, а качествомъ. Одинъ кристаллъ цвѣтной соли можетъ замѣтно окрасить стаканъ воды. Въ строеніи химическаго тѣла присутствіе малаго количества вещества имѣетъ конструктивное значеніе. Въ материалистическую и имперіалистическую Россію завтрашняго дня войдетъ, какъ жало въ плоть, нѣчто совсѣмъ иноприродное, кажущееся чужимъ, на самомъ дѣлѣ самое свое, русское изъ

русского. Его присутствие вызоветъ противорѣчіе, борьбу, кристаллизацию силъ. Уинссона не будетъ, одностежной, тоталитарной, усыпляющей одногласицы. Культура Россіи, даже и завтрашняго дня, будетъ контрапунктической. Слабая сегодня, даже завтра, духовная элита будетъ расти. У нея есть могущественный союзникъ: русское прошлое. Къ этому прошлому уже обращаются всѣ, какъ къ источнику силъ: одни къ Писареву, Чернышевскому, другіе къ Суворову и Николаю I. Но этимъ сталинскимъ отборомъ героевъ не исчерпать русскаго наслѣдія. Шила въ мѣшкѣ не утаишь, Толстого не спрячешь. Великіе усопшіе, вѣчно живые, будутъ строить, вмѣстѣ съ нашими дѣтьми, духовную родину, которая оказалась не по плечу нашему поколѣнію.

А передъ нами, живыми, есть скромная, но необходимая, аскетическая задача. Приготовленіе земли для будущихъ посѣвовъ. Въ культурѣ не все отъ генія, многое отъ труда, дисциплины и расчета. Есть много конкретныхъ проблемъ организаціи культуры, національнаго воспитанія, культурной пропаганды, которыя мы можемъ ставить для себя уже сейчасъ, которыя, во всякомъ случаѣ, должна ставить для себя наша молодая смѣна. И, прежде всего, мы должны прояснить для себя два основныхъ вопроса: какой мы хотимъ видѣть русскую культуру? И какія препятствія надо преодолѣть на путяхъ къ ея созиданію?

Г. Федотовъ.

Въ послѣдній разъ

(Памяти Ф. И. Шаляпина).

За двадцать минутъ пришли на вокзалъ встрѣчать Шаляпина. Всѣ были въ какомъ-то советѣмъ особенномъ настроеніи, — въ иномъ, чѣмъ передъ встрѣчами съ другими русскими знаменитостями. Передъ вокзаломъ я еще забѣжалъ посмотрѣть вънокъ, заказанный дрезденскими организаціями «седиственному Федору Шаляпину». Денегъ не дожались и вънокъ вышелъ не по нѣмецки грандіознымъ. Лавры, а на нихъ дрянная живыхъ цвѣтовъ; нѣчто вроде консерваторскаго значка, въ размѣрахъ провинціального русскаго радужія. Разумѣется, національныя ленты и надпись золотомъ.

Въ чемъ дѣло? Почему мы такъ ждали Шаляпина? Не думаю, чтобы все объяснялось только его всемірнымъ именемъ. Было въ этомъ ожиданіи и нѣчто иное, — какая-то особая радость и какая-то особая надежда: нѣкое предчувствіе свиданія съ Россіей.

Въ своей книгѣ «Маска и душа» Шаляпинъ дважды признается въ томъ, что чувство тоски по родинѣ, которымъ болѣютъ многіе русскіе люди за границей, ему не свойственно. Не оттого-ли, что самъ онъ не зналъ этой тоски, онъ съ такою магическою силой разгонялъ ее въ насъ, заговаривалъ своею пѣсню. Въ зарубѣжьи много замѣчательныхъ русскихъ людей, великихъ духомъ и талантами. Исключительность Шаляпина въ томъ, что онъ былъ не только великимъ русскимъ человѣкомъ, но сверхъ того еще и самой Россіей. Всякій русскій человѣкъ въ разлукѣ съ родиной долженъ хотя-бы временами исходить тоской по ней; Россія-же о Россіи тосковать не можетъ — онѣ неразлучны.

Не потому, конечно, Шаляпинъ не зналъ тоски по Россіи, что привыкъ скитаться по земному шару, а потому, что всюду возилъ Россію съ собою и всюду собиралъ ее вокругъ себя. Гдѣ-бы въ эмиграціи Шаляпинъ ни пѣлъ, и гдѣ-бы его ни слу-

шали, всюду происходило одно и то же: какое-то почти вѣшнымъ чувствамъ доступное сгущеніе русскости между пѣвцомъ и его соотечественниками, минутами же и полная денационализація его иностранныхъ слушателей.

Это можно было наблюдать даже въ Дрезденѣ, гдѣ небольшая горсточка русскихъ къ концу концерта окончательно «журсила» переполненный залъ.

Думаю, что эта ворожба объясняется не только геніальностью Шаляпина, но и особенностями того искусства, которому онъ служилъ. Искусство актера, — а Шаляпинъ и на эстрадѣ былъ прежде всего актеромъ, — гораздо тѣснѣе связываетъ сверхличное творчество художника со всею его психо-физическою личностью, чѣмъ всякое иное. Будучи актеромъ (прежде всего исполнителемъ ролей русскаго репертуара) и изумительнымъ пѣсенникомъ, Шаляпинъ «жилъ» на концертной эстрадѣ не только мастеромъ своего искусства, но и живую видимую и слышимую плоть Россіи, его породившей и имъ неустанно отвѣтно творимой. Причемъ непередаваемо-обаятельная, до вѣсѣхъ мелочей походки, повадки и постава головы, съ раннихъ лѣтъ знакомая плоть этого, на рѣдкость удавшагося верхней Волгѣ царственнаго сына, словно зерно прорастала вѣсми созданными имъ образами русской реальной и легендарной исторіи. Такъ получалась единственная полнота эстрадныхъ выступлений Шаляпина...

Поѣздъ съ грохотомъ влетаетъ въ вокзалъ. Большое зеркальное окно перваго класса, вздрогнувъ, останавливается прямо противъ насъ. Въ немъ сразу-же появляется фигура Шаляпина, во всемъ благотворно отличная отъ остальной публики вагона: синее пальто, мастерски таящее въ себѣ мотивъ поддѣвки съ двумя малыми красными пуговицами, мягкая шапка съ бровнымъ околышемъ и котиковымъ дномъ, вокругъ шеи небрежный шарфъ. Лицо, если не обольщаться мимическими пріемами его авансены, улыбками и словечками опытѣйшаго режиссера своей жизни, усталое и далекое, какъ бы тронутое «духомъ унынія». Движенія очаровательно медлительны, пластичны и музыкальны.

Въ вестибюль нарядной гостиницы Шаляпинъ входитъ вродѣ какъ на сцену. Пока «его люди» хлопочутъ у швейцарской конторки, онъ, высоко поднявъ голову, медленно оглядываетъ

ся кругомъ, ловить ухомъ далекій звукъ ресторанной скрипки и съ особою «шалапинскою» грустною раздумчивостью произносить: «а вѣжливо играетъ молодой человекъ». Гдѣ во всемъ этомъ игра, гдѣ жизнь — различить трудно. Все переличато. Въ громадномъ лифтѣ Шалапинъ передъ всѣми нами, какъ передъ публикой, въ лицахъ разыгрываетъ со своимъ импрессарио еврейскій анекдотъ. Осматривая ванну роскошнаго номера, онъ неожиданно говоритъ нѣчто весьма игривое, дабы не сказать не вполне пристойное, но говоритъ это такъ, зря. Внутреннее, тайное лицо его лица остается все время печальнымъ. Прошаемся до вечера.

На эстраду Шалапинъ не выходитъ, а какъ-бы взлетаетъ: стремить себя на свиданіе съ любезною его сердцу публикой: у рампы онъ одною рукою пожимаетъ другую руку. Одна рука — его рука, другая — локтемъ въ залъ — рука публики. Не открывъ еще рта, Шалапинъ уже братается съ заломъ. Его лицо свѣтится побѣдоносною улыбкою. Глаза радостно обѣгаютъ хоры. Триумфаторъ помнить, что наверху сидятъ тѣ «низы», изъ которыхъ онъ вышелъ и которые всегда горячѣе привѣтствуютъ артиста, чѣмъ разряженный и культурно перекормленный партеръ. Гдѣ во всемъ этомъ расчетъ, гдѣ инстинктъ, гдѣ геній мимического общенія, гдѣ искренняя любовь къ людямъ, которые черезъ часъ — онъ это вѣрно знаетъ — всѣ поголовно будутъ отъ него безъ ума, сказать нельзя. Все до конца передничато.

Оваціи стихаютъ. На солнечное лицо Шалапина ложатся легкія тѣни тревоги, раздумья, вдохновенья. Онъ отходитъ къ роялю и спиною къ публикѣ какъ-бы выбираетъ по репертуарной книжкѣ, съ чего начать (начнетъ онъ, конечно, какъ почти всегда начинается, съ «Пророка»). Назвавъ номеръ вещи, онъ очень искусно создаетъ минуту медитативнаго молчанія. Этою минутою публикѣ внушается вѣра въ творческую подготовку артиста: Шалапинъ какъ бы собираетъ вниманіе публики на происходящемъ въ немъ процессѣ сосредоточенія, который онъ выстукиваніемъ руки по рояльной крышкѣ передаетъ въ залъ. За это же время дисциплинированная нѣмецкая публика успѣваетъ прочесть переводный текстъ очереднаго номера. Когда Шалапинъ подходитъ къ рампѣ, всѣ дѣйствительно готовы его слушать, всѣ исполнены вниманія и полны довѣрія.

До конца аккомпанимента Шалапинъ мастерски удержива-

еть на всемъ своемъ обликѣ напечатлѣніе той роли, которую онъ только-что исполнялъ безъ грима. Съ послѣднею ногой рояля онъ эту роль сразу-же сбрасываетъ съ себя, всегда однимъ и тѣмъ-же пѣсельно-деревенскимъ колѣнцемъ и сразу-же начинаетъ благородно стремить себя влѣво и вправо, потирая руки, снова пожимая ихъ, какъ-бы раздавая всего себя публикѣ. Ласковое лицо его сияетъ; онъ безконечно счастливъ и всѣ вѣрятъ ему, что онъ пѣлъ такъ хорошо, какъ уже давно не пѣлъ. Вѣдь ликующее счастье возможно для артиста только послѣ очень большой удачи. Помимо пѣнія и игры одно поведеніе Шаляпина на эстрадѣ есть величайшее произведеніе искусства, основанное къ тому-же на тончайшемъ интуитивномъ знаніи законовъ человѣческой души.

Для знатоковъ и старыхъ цѣнителей шаляпинскаго искусства не могло быть, конечно, никакихъ сомнѣній, что онъ не тотъ, что прежде. Голосъ сдать. Объединѣн звукомъ и чувствомъ шаляпинскіе разливы печали и удачи, ослабѣли и речитативныя вспышки гнѣва и страсти. Тѣмъ не менѣе, не скажу, чтобы два послѣднихъ концерта произвели-бы на меня, меньшее впечатлѣніе, чѣмъ раньше слышанные. Мнѣ кажется, что въ связи съ убылью голоса въ Шаляпинѣ развилось Сальвиніевское искусство намека, нѣкогда поразившее меня во время репетиціи въ Маломъ театрѣ, когда Александръ Павловичъ Ленскій въ домашнемъ пиджачкѣ и какъ бы подъ сурдинку намеками наигрывалъ большую костюмную трагическую роль. Такимъ-же живымъ чудомъ были и послѣдніе концерты Шаляпина. Образы гренадеровъ, Наполеона, титулярнаго совѣтника, князя Галицкаго, донъ Базилію, гнусавой смерти, кружащей вокругъ головы человѣка, ласковаго солнышка, зеленого бережка, полночи съ такою силою и нѣжностью возникали передъ глазами и въ душахъ слушателей, что кромѣ остраго желанія вернуть время, вернуться въ свое и шаляпинское прошлое, не было никакихъ основаній требовать отъ пѣвца прежняго голоса. Впрочемъ, нельзя забывать, что если у Шаляпина послѣднихъ лѣтъ и не было прежняго шаляпинскаго голоса, то голоса на нормальный масштабъ у него было еще очень много.

На послѣднемъ Дрезденскомъ концертѣ были всѣ свободныя въ этотъ день силы дрезденской оперы. Онъ слушали пѣвца, «пятьдесятъ лѣтъ», какъ онъ самъ любилъ говорить, «волновавшаго міръ», съ благоговѣйнымъ вниманіемъ и... «учились

пѣть». И дѣйствительно, было чему учиться. Нѣкоторыя ноты разносились по залу не только съ прежнею красотой, но и съ почти прежнею силой, доказывая, что мощь звука представляеть собою не абсолютное, а весьма относительное начало, зависящее прежде всего отъ мастерства его усиленія. Совершенно замѣчательно звучало еще скользящее и длительно замирающее піано артиста. Но больше всего какъ всегда потрясали особенныя, чисто шаляпинскія интонаціи, его знаменитыя «интонаціи вздоховъ».

Я ушелъ съ концерта глубоко потрясенный и какъ-то даже не хотѣлось идти на фрачный званный ужинъ со знаменитымъ гостемъ въ богатый дрезденскій особнякъ.

О самомъ главномъ, о тѣхъ силахъ Россіи, которыя породили и вскормили Шаляпина, этого величайшаго и руссѣйшаго актера-художника съ сѣвернымъ лицомъ не то воина викинга, не то пастора», какъ было сказано въ одной нѣмецкой газетѣ, говорить пока трудно, скажу потому лишь мимоходомъ и какъ-бы начерно, что значительность шаляпинскаго творчества объясняется по моему тѣмъ, что въ его природѣ и талантѣ весьма счастливо переплелись три главныя темы Россіи: Ломоносовская, Пушкинская и, говоря до нѣкоторой степени условно, Кольцовская.

Ломоносовскою темою въ Шаляпинѣ я ощущаю его горячую жажду знанія, культуры, свѣта, просвѣщенія, волевого продвиженія впередъ и ввысь. Однимъ словомъ, все то, что его уже въ первые годы работы на театрѣ связало съ Ключевскимъ, съ Мамонтовымъ, съ Врубелемъ, Стровымъ и Коровинымъ. Этотъ голодъ по культурѣ былъ, какъ мнѣ кажется, въ Шаляпинѣ чѣмъ-то совсѣмъ инымъ, чѣмъ въ душѣ его друга, Горькаго. Въ Шаляпинѣ, которому самъ Горькій совѣтовалъ не вступать въ партію, а оставаться артистомъ, никогда не было того интеллигентски-просвѣщенскаго лафоса, которымъ грѣшили и которымъ въ извѣстномъ смыслѣ и раскультиривались многіе передовые люди Россіи. Поклонникъ Европы, Горькій, при всей своей европейской извѣстности, никогда не былъ европейскимъ писателемъ и никогда имъ и въ будущемъ не станетъ. На его большомъ дарованіи и на его искреннемъ общественно-политическомъ служеніи съ начала и до конца лежала печать интеллигентски-русскаго провинциализма. Косовороточный-же въ юности Шаляпинъ съ легкостью сталъ европейскимъ и американскимъ художникомъ. И дѣло тутъ не только въ природѣ того искусства, которому онъ служилъ, а въ

принципіальной и глубокой разницѣ между домоносовскою темою русской культуры и интеллигентскою темою западническаго просвѣщенства.

Отъ духа Пушкина въ Шаляпинѣ было то, чѣмъ только и держится высокое искусство: «предустановленная гармонія» между безмѣрнымъ восторгомъ въ душѣ и каноническимъ чувствомъ мѣры въ рукѣ и взорѣ творящаго художника. Все сценическое и эстрадное творчество Шаляпина было чудомъ благодатнаго примиренія діонисійской безмѣрности и аполлинической мѣры. Въ сущности это значить лишь то, что Шаляпинъ былъ величайшимъ мастеромъ эластической формы. Всякая роль, всякая арія, простѣйшая пѣсня, превращались въ его исполненіи въ архитектурное произведеніе. Въ ихъ звучаніяхъ у Шаляпина звучали не только ноты и мелодіи, но и почти-что пространственно аримья соотношенія отдѣльныхъ смысловыхъ, звуковыхъ и ритмическихъ единствъ. Съ этимъ ощущеніемъ архитектурности музыки, тождественнымъ Гётевскому ощущенію музыкальности архитектуры, связана единственная скульптурность Шаляпина какъ опернаго и эстраднаго пѣвца. Иначе объясняется и особенность шаляпинскаго жеста, очень далекаго отъ той реалистически-психологической жестикюляціи, которую Шаляпинъ такъ цѣнилъ въ искусствѣ О. О. Садовской. На драматической сценѣ шаляпинскій жестъ и шаляпинская скульптурность были-бы неправдивы и невозможны. Садовская и на сценѣ жестикюлировала какъ въ жизни. Шаляпинъ и за столомъ дѣлалъ сценическіе жесты. Въ этомъ отношеніи въ немъ было нѣчто исконно романское. Высказанная Шаляпинымъ въ его книгѣ мысль, что «имперія сгорѣла потому, что ни у русскаго помѣщика, ни у русскаго министра, ни у русскаго царя не было надлежащаго жеста», какая-то скорѣе римская, чѣмъ русская мысль.

Упомянуемъ о Кольцовѣ мнѣ хочется лишь подчеркнуть ту сверхсловную народность пѣсельнаго, пѣвческаго и мимического дара Шаляпина, которую онъ въ своемъ пролетаризированномъ подѣ влияніемъ эпохи сознанія какъ-то не вполне правильно въ себѣ ощущалъ. Не съ пролетарскаго «дна» и не изъ-подъ отцовскаго кулака вынырнуть въ «культуру» долговязый парень по прозвищу «скважина» (въ книгахъ Шаляпина немало социологической стилизаціи), а изъ благоуханныхъ, въ концѣ концовъ крестьянскихъ нѣдръ російскихъ, богатыхъ «Думами» и «Пѣснями», вышелъ онъ на вольный свѣтъ Божій. Въ Шаляпинѣ была очень сильна, хотя и сильно искажена нѣкоторыми обстоятельствами его жизни, жажда крѣп-

каго домостроительства, въ немъ была крѣпка хозяйская жила и мѣтокъ хозяйскій глазъ. Всѣмъ своимъ существомъ, несмотря на «Дубинушку», онъ защищалъ не коллективно-колхозную, а индивидуалистически-собственническую базу русской культуры.

Шаяпинъ такъ великъ, что преувеличивать его достоинства излишне, а потому да будетъ мнѣ позволено сказать, что всѣ три величайшія темы Россіи, о которыхъ шла рѣчь, были въ немъ снижены стилемъ той жизни, въ которой на «рубежѣ двухъ столѣтій» кипѣла значительная часть интеллигенціи въ объѣмку съ артистическою богемой. Въ этой жизни, богатой мыслями, чувствами и порывами, но мало серьезной и въ общемъ праздной, поблекло немало большихъ дарованій, погибло много творческихъ замысловъ. Шаяпинъ, которому въ молодости всѣ моря силы по колѣно, безудержно растрчивалъ себя по всѣмъ дружескимъ кружкамъ и ночнымъ ресторанамъ пирующей Москвы. Щедрости, съ которою онъ пѣлъ, когда пѣлось, съ которою раздаивалъ налѣво и направо свой голосъ и свой геній, не было конца. Еще въ 1910 году въ Нижнемъ-Новгородѣ о пѣвческомъ восторгѣ и человѣческомъ буйствѣ Шаяпина ходили поистинѣ былинныя рассказы.

Ясно, что такая жизнь не могла не отразиться какъ на объемѣ шаяпинской работы, такъ и на духовной строгости его творчества. Эти слова не упрекъ Шаяпину: лишь знакъ преклоненія передъ безмѣрностью тѣхъ даровъ, которые были отпущены этому волшебному человѣку.

Въ роскошномъ нѣмецко-американскомъ домѣ, хранящемъ въ качествѣ лирической реликвіи рукописную тетрадку русскихъ романсовъ въ старинномъ письменномъ столѣ, съѣхалась на званый ужинъ небольшая компанія почитателей Шаяпина. Рассказывать объ этомъ вечерѣ, затянувшемся до разсвѣта, я подробно не буду. Хотя на немъ и веселился самъ Федоръ Ивановичъ, который много пилъ, много пѣлъ и даже въ шутку плясалъ, вечеръ вышелъ не очень веселымъ. Съ «далекаго» лица Шаяпина ни на минуту не сходила тѣнь безразличія, печали и унынія, хотя авансценная мимика любезнѣйшимъ образомъ занимала себя и гостей тѣми рассказами и анекдотами, на которые Шаяпинъ былъ такой несравненный мастеръ.

Въ этотъ для меня лично глубоко трагическій вечеръ я впервые воочию увидѣлъ страшную тайну старѣющаго Шаяпина: его біологическую ненависть ко всѣмъ восходамъ жизни, его инстинктивное отрицаніе того неотмѣнимаго закона жизни, согласна которому она и тогда течетъ впередъ, когда мы сами

истекаемъ ею. Несправедливая страстность, съ которою Шаляпинъ клеймилъ двухъ молодыхъ нѣмецкихъ пѣвцовъ, которые «не модясь позволили себѣ распѣвать Мусоргскаго (я подходилъ къ искусству какъ къ причастію) только потому, что имъ Богъ далъ громкую глотку», до сихъ поръ звучатъ у меня въ душѣ такъ же, какъ и мастерскіе по блеску и юмору разномыслия публики и критики, которыми съ чисто эстетической точки зрѣнія нельзя было не любоваться. Въ свою послѣднюю бесѣду съ Шаляпинымъ я безповоротно понялъ, что ему не осилить своего заката, такъ какъ всякій не только благодатный, но и просто благородный закатъ жизни не возможенъ безъ того «коперниковскаго» поворота въ душѣ, который ставитъ человѣка спиною къ самому себѣ и лицомъ къ вѣчности.

Шаляпинъ всю жизнь мечталъ создать свой театръ. По его мнѣнію ему не удалось осуществить своей мечты только потому, что жизнь выбросила его изъ Россіи и разлучила съ Пушкинскою скалою въ Крыму, которую онъ пріобрѣлъ въ собственность, чтобы воздвигнуть на ней театръ Шаляпина. Боюсь, что если бы наша общая судьба и не оторвала Шаляпина отъ Россіи, онъ своего театра все-же бы не создалъ. Всякое духовное учительство и водительство требуетъ того самоотреченія, того блаженнаго «стоянія надъ землей», которое Шаляпинъ дважды испыталъ въ своей жизни: одинъ разъ, когда онъ пѣлъ на Пасхальной заутренѣ, другой — когда впервые запѣвалъ «Дубинушку» на рабочемъ концертѣ. Увѣренъ, что и помимо этихъ двухъ мгновений, о которыхъ Шаляпинъ самъ рассказывалъ намъ, были въ его жизни озаренія, безъ которыхъ необъяснимо его творчество. Тѣмъ не менѣе мнѣ трудно повѣрить, что Шаляпинъ, если-бы ему Богъ послалъ болѣе долгую жизнь, нашелъ бы въ себѣ силы превратить вдохновенные миги своего творческаго прошлаго въ опорныя точки безкорыстнаго педагогически-соціального служенія. Для такого служенія въ немъ было слишкомъ много страстнаго спора съ жизнью въ защиту себя самого.

Быть можетъ его преждевременная для всѣхъ насъ смерть была ему послана во время. Онъ ушелъ изъ жизни нисѣмъ не вытѣсненный изъ благодарной памяти человѣчества и не утратившій великолѣпнаго жеста своей царственной жизни. Его оплакиваетъ весь міръ и прежде всего та нѣмая Россія, которая не смѣетъ о немъ плакать.

Федоръ Степунъ.

Письма А. И. Герцена къ дочери

ПРЕДИСЛОВІЕ.

12 сентября 1936 г. скончалась въ Лозаннѣ въ преклонномъ возрастѣ — почти 92 лѣтъ — старшая дочь Герцена, Наталья Александровна, женщина выдающаяся по уму и душевнымъ качествамъ, пользовавшаяся общимъ уваженіемъ и любовью ея знавшихъ. Духовно наиболее близкая отцу, Наталья Александровна была послѣ его смерти естественной хранительницей и распорядительницей обширнаго и цѣннѣйшаго архива Герцена. Памятный многимъ русскимъ домъ Blanc Castel на Avenue Florimont въ Лозаннѣ, въ которомъ Наталья Александровна почти безвыѣздно прожила болѣе тридцати лѣтъ (съ 1905 по 1936 г.), привлекалъ къ себѣ не только обаятельной личностью дочери Герцена, — это былъ въ то же время и подлинный музей самого Герцена. Здѣсь все было проникнуто особой «герценовской» атмосферой, оживляемой романтикой «Былого и Думъ»: по стѣнамъ — семейные портреты, въ томъ числѣ родителей Герцена, И. А. Яковлева и Л. И. Гаагъ, самого Герцена, одиѣ работы художника Н. Ге, другой — одновременно написанный Натальей Александровной; ея же кисти портретъ Терезы Герцень, жены А. А. Герцена; картина художника Боголюбова, изображающая символическій «Колоколъ»; на столѣ — чернильница Герцена, и пр. Вдали отъ взоровъ постороннихъ сохранялись реликвіи особаго рода: выщѣпшіе дагерротипы сына Герцена Коля и его гувернера Шпильмана, погибшихъ, вмѣстѣ съ матерью Герцена, во время кораблекрушенія въ 1851 г.; посмертная маска Герцена; вахонецъ, вещь потрясающей трагической силы — набросокъ акварелью, изображающей жену Герцена, Наталью Александровну, тогдашнюю послѣ кончины (2 мая 1852 г.), на смертномъ ложѣ, усыпанномъ цвѣтами...

Но главной цѣнностью собранія въ Blanc Castel было, конечно, хранившееся тамъ литературное наслѣдство Герцена, представлявшее собой совершенно исключительную по богатству коллекцію рукописей и писемъ. Даже послѣ того, какъ съ разрѣшенія Натальи Александровны М. К. Лемке широко использовалъ семейный архивъ для своего 22-томнаго собранія сочиненій и писемъ Герцена (гдѣ впервые были опубликованы и V томъ «Былого и Думъ»), имѣются всѣ основанія полагать, что среди множества рукописныхъ матеріаловъ, на-

ходившихся въ Blanc Castel, осталось немалое количество еще не опубликованной до настоящаго времени переписки Герцена, которой хватало бы, вѣроятно, не на одинъ дополнительный томъ. Какова будетъ судьба этого драгоценнаго собранія — сейчасъ трудно сказать. Можно только горячо пожелать, чтобы въ будущемъ литературное наследіе Герцена, послѣ неизбежнаго въ современныхъ условіяхъ его распыленія, было вновь собрано для храненія тамъ, гдѣ ему естественно быть надлежитъ — въ свободной Россіи.

Печатаемая здѣсь неизданная письма Герцена къ его дочери Натальѣ Александровнѣ являются частью архива Герцена, перешедшаго по наследству отъ Натальи Александровны къ ея сестрѣ, младшей дочери Герцена, Ольгѣ Александровнѣ Моно. Письма эти относятся къ годамъ 1867-1869, послѣднимъ въ жизни Герцена († 21 янв. 1870 г.). Почему Наталья Александровна, предоставляя въ свое время Лемке пользование архивомъ, не сочла возможнымъ сообщить ему эти письма, — мы не знаемъ: въ соответствующихъ томахъ его изданія имѣется всего лишь одно письмо Герцена къ дочери Натальѣ Александровнѣ, относящееся къ этой эпохѣ. Лемке знать, конечно, о существованіи оставшихся ему недоступными этихъ и другихъ писемъ Герцена. Недаромъ въ одномъ изъ примѣчаній въ XXI томѣ своего вышедшаго въ свѣтъ уже при большевикахъ изданія онъ какъ бы указываетъ — въ формѣ осторожной и совѣтски-вѣроподобнической — на этотъ пробѣлъ эмиграции: «Надо надѣяться, что теперь, когда на Западѣ живетъ масса русской интеллигенціи безъ всякаго дѣла, найдутся люди, которые сумѣютъ, хотя бы въ пику Совѣтской Россіи, освѣтить заграничную жизнь А. И. Герцена за послѣдніе 5-6 лѣтъ».

У насъ, чтущихъ дорогую намъ память Герцена, достаточно собственныхъ мотивовъ заботиться о сохраненіи для Россіи каждой строки имъ написанной. Возможностью опубликованія въ «Совр. Запискахъ» большаго количества (всего 66) до сихъ поръ неизвѣстныхъ писемъ Герцена и тѣмъ пріобщенія ихъ къ обширнымъ Негзепіана, ранѣе изданнымъ въ Россіи трудамъ Гершензона, Лемке и др., мы всецѣло обязаны сочувственному отношенію къ нашей задачѣ дочери Герцена Ольги Александровны Моно и внучки Герцена г-жи Жерменъ Ристъ. Считаемъ своимъ долгомъ высказать имъ здѣсь за нашу глубокую благодарность.

Немалый трудъ по расшифрованію и перепискѣ съ оригиналовъ писемъ Герцена выполненъ А. Ф. Родичевой. Примѣчанія и комментарии подъ текстомъ принадлежать пишущему эти строки.

Годы 1867-1869, послѣдніе годы жизни Герцена, отмѣчены печатью особаго трагизма. Судьба и раньше не скупилась на тяжкіе удары своему избраннику. Но вмѣстѣ съ тѣмъ на его жизненномъ пути Герцену дано было извѣдать и яркое личное счастье, и преданную дружбу лучшихъ изъ современниковъ, а въ литературной и политической дѣятельности его встрѣчали общее признаніе и гром-

кая слава. «Закатъ» Герцена начался раньше, чѣмъ потеряли какой-либо ущербъ его могучія творческія силы, а конецъ жизни проходить для него подъ знакомъ крушенія всѣхъ надеждъ, общественныхъ и личныхъ, и гнетущаго одиночества. «Не жду ничего путнаго и въ этомъ году», — писалъ онъ Огареву 1 янв. 1867 г. «Есть особенно горькое чувство — сознание, что жизнь уходитъ, что человекъ могъ бы быть свѣтлымъ и освящать... могъ бы жить не только *schwärmerisch* въ фантазіи, но дѣятельно на большой сценѣ — знать это и чувствовать, что попалъ въ какую-то мышеловку и дверь захлопнута... Это можетъ довести до отчаянія. Припомнимъ, что Герцену, когда онъ писалъ эти строки, еще не исполнилось 55 лѣтъ, что тѣмъ же блескомъ отличаются написанныя имъ въ эту эпоху статьи въ «Колоколѣ», главы изъ «Былого и Думъ», «Aphorismata Тита Левіаанскаго» и совсѣмъ незадолго до смерти — замѣчательныя «Письма къ старому товарищу» (Бакунину). Причины душевной подавленности надо искать внѣ самого Герцена, — въ измѣнившихся для него условіяхъ общественной дѣятельности и въ мучительно-сложной семейной жизни.

Герценъ не могъ не переживать тяжело утрату своего вліянія въ Россіи, которымъ онъ заслуженно пользовался еще недавно, въ годы 1856-1862. Провозглашенная имъ въ № 1 «Колокола» программа «освобожденіе крестьянъ отъ помѣщиковъ, слова — отъ цензуры, податнаго сословія — отъ лобознъ» цѣлкомъ отвѣтила жаждѣ обновленія, которой было издавна охвачена тогда вся Россія. Отсюда безпримѣрный успѣхъ «Колокола» и высокой моральной авторитета Герцена въ Россіи, повсюду — въ императорскомъ дворцѣ, въ комитетахъ по подготовкѣ земельной реформы, въ массѣ русской интеллигенціи. Свободное пламенное слово Герцена, обращенное къ разуму и совѣсти всѣхъ, вызывало энтузіазмъ. Кавелинъ «плакалъ надъ его статьями, зналъ ихъ наизусть», Шевченко, впервые послѣ ссылки увидѣвшій газету Герцена, «поцѣловалъ ее благоговѣнно». Даже враги, какъ Катковъ, не могли не признавать: «Колоколъ — власть въ Россіи». За границу въ «Колоколѣ» шель потокъ корреспонденцій, къ Герцену тянулись вереницы паломниковъ.

Сейчасъ, въ 1867 году, все это было уже въ прошломъ. Причинъ утраты Герценомъ его исключительнаго положенія было нѣсколько. Прежде всего, осуществленіе, хотя бы и въ урѣзанномъ видѣ, крестьянской реформы и постепенное смягченіе цензурныхъ условій для печати въ самой Россіи, вообще значительно ослабляли надобность въ такомъ органѣ, какъ зарубежный «Колоколъ». Еще болѣе отразился на руководящей роли «Колокола» провозвѣщенный послѣ 19 февраля распадъ былаго единства въ прогрессивномъ лагерѣ: въ то время какъ «отцы» были склонны удовлетвориться достигнутымъ и уйти въ органическую работу, вѣри обѣщаніямъ правительства, — болѣе, нетерпѣливыя «дѣти», подъ впечатлѣніемъ берущей въ правительство верхъ реакціи, уже ставили въ порядокъ дня политическую и социальную революцію. Герценъ, не способный по широтѣ

своего міросозерцанія примкнуть полностью ни къ одному изъ разошедшихся фланговъ, оказывался равно чужимъ и для прежнихъ своихъ друзей либераловъ, и для революціонной молодежи. Окончательный же удар популярности Герцена въ Россіи нанесла принятая имъ въ 1863 г., подъ влияніемъ Бакунина и Огарева, позиція въ польскомъ вопросѣ, ошибочность которой онъ самъ впоследствии признавалъ. Увлеченный сочувствіемъ къ порабожденному народу, Герценъ далъ обойти себя польскимъ делегатамъ, согласившимся поддержать въ «Колоколѣ» ихъ далеко, по тому времени, шедшія требованія, въ томъ числѣ претензіи на возстановленіе Польши въ такъ наз. «историческихъ» границахъ 1770 г., т. е. съ отторженіемъ отъ Россіи украинскихъ и литовскихъ областей. Умѣло использованная реакціонной печатью, ошибка эта оттолкнула отъ Герцена широкіе круги русскаго и украинскаго общества.

Въ результатѣ всего этого — гибель «Колокола», тяжело пережитая Герценомъ, для котораго съ журналомъ было связано столько героическихъ воспоминаній и столько еще несбывшихся надеждъ. Перенесенный въ 1865 г. въ Женеву, «Колоколъ» вовсе захирѣлъ: прекратился притокъ корреспонденцій, совѣмъ исчезъ спросъ на журналъ въ Россіи. Въ июль 1867 г., въ десятую годовщину съ основанія, «Колоколъ» пришлось закрыть. Безнадежная оказалась и попытка выпускать взамѣнъ французское изданіе, — «чтобы говорить не съ Россіей, а о Россіи — Западу»: ему также суждено погнѣбнуть отъ всеобщаго равнодушія. Въ послѣднемъ его номерѣ, выпущенномъ осенью 1868 г., Герценъ открыто признаетъ свое поражение: «Наша мельница остановилась, ручьи текутъ въ другомъ направленіи... Новое поколѣніе идетъ своимъ путемъ, оно не нуждается въ нашихъ словахъ, оно достигло совершеннолѣтія и знаетъ это».

Новое поколѣніе. — это уже идущіе на смѣну идеалистамъ и романтикамъ 40-хъ годовъ реалисты шестидесятники, «разночинцы», убѣжденные революціонеры. Разрывъ между Герценомъ и учениками Чернышевскаго произошелъ въ началѣ 60-хъ годовъ въ самой Россіи. Прокламация «Молодой Россіи» свысока третируетъ «либеральничашающаго» Герцена за его «отвращеніе къ кровавымъ дѣйствіямъ, которыми однимъ можно что-либо сдѣлать» и порываетъ съ нимъ отъ имени «республиканской» партіи (въ которой, кстати, было всего три челоѣка). Съ представителями, очевидно, не изъ лучшихъ, этого новаго поколѣнія Герцену пришлось столкнуться въ Женевѣ. Несмотря на искреннія попытки Герцена сойтись съ ними, женевская группа молодыхъ эмигрантовъ (Элпидинъ, бр. Утины, А. Серно-Соловьевичъ, Николадзе и др.) относились къ нему съ явной враждебностью. Правда, культурный и моральный уровень ихъ былъ не высокъ. «За весьма рѣдкими исключеніями это были люди крайне раздраженные, озлобленные на все и на всѣхъ, они ссорились между собой безъ всякой причины, занимались мелкими интригами и пр.», — такъ характеризовалъ ихъ старый эмигрантъ Г. Н. Вырубовъ, — чтобы не цитировать болѣе рѣзкихъ отзывовъ о нихъ раздраженнаго Герцена.

Его самого молодые эмигранты считали, разумеется, безнадежно «отсталымъ». Требовали отъ него передачи ихъ «коллективу» редактированія «Колокола», а также распоряженія такъ наз. Бахметьевскимъ фондомъ; отдѣльные изъ нихъ не останавливались и передъ шантажированіемъ Герцена. Этой средѣ, конечно, былъ ближе по духу фанатикъ Нечасъ, появившійся въ тѣ годы на женевскомъ горизонтѣ чѣмъ гуманный идеалистъ Герценъ. Но и зная имъ цѣну, Герценъ все же болѣзненно переживалъ свой отрывъ отъ молодого поколѣнія. Къ тому же и старые его товарищи — не только Бакунины, который никогда не былъ ему до конца близокъ, но и другъ юности Огаревъ — все болѣе ориентировались на крайнія радикальныя настроенія въ Россіи. Герценъ оставался въ общественномъ отношеніи совершенно одинокъ.

Для Герцена всю жизнь служеніе идеѣ, челоѣчеству, Россіи было на первомъ планѣ, и лишь на второмъ стояла личная жизнь, семья. Теперь, когда окончательно рушилась связь съ Россіей, естественно обострялась у него жажда семейнаго покоя и гармоніи — давали къ тому же себя знать и жизненная усталость, и приближеніе старости. И обнаружившаяся въ 1867 г. болѣзнь, диабетъ, сведшая его черезъ два съ половиною года въ могилу. Все чаще въ письмахъ къ Огареву онъ жалуется на «дрянную, узкую, неустроенную жизнь», на тоску по «своей» комнатѣ, книгамъ, столу. «Ты не повѣришь, какъ я усталъ отъ вагабондажа, но гдѣ сесть? Домъ бы, домъ поудобнѣе, съ полемъ — и на отдыхъ» (1868). О безпрерывности этого вынужденнаго бродяжничества можетъ дать представленіе хотя бы календарь передвиженій Герцена. Вотъ, напр., смѣна мѣстъ его жительства въ 1867 г.: январь — Ницца, февраль — Флоренція, мартъ — Ницца, апрѣль-июнь — Женева, июль-сентябрь — Ницца, октябрь — Женева, Ницца, ноябрь — Флоренція, декабрь — Флоренція, Ницца. То же происходило и въ 1868-1869 гг.: съ конца 1864 г. я не могу нигдѣ пристроиться», жалуется онъ.

Это указаніе на 1864 г., какъ начало скитальческой жизни, не случайно: именно въ этомъ году окончательно распалась кое-какъ до того державшаяся семья Герцена и три упомянутыхъ выше пункта его «свѣдлости», Ницца, Женева и Флоренція, — это преимущественное въ тѣ годы мѣстопребываніе трехъ осколковъ семьи, которые Герценъ до конца жизни мучительно, но тщетно все старался какъ-нибудь скленть.

Мы не можемъ здѣсь пытаться даже въ сжатомъ видѣ рассказать исторію личной и семейной жизни Герцена, какъ она сложилась послѣ 1852 г., — этой большой и сложной темы трудно касаться мимоходомъ. Ограничимся лишь самой краткой схемой, чтобы только напомнить читателямъ печатаемыхъ ниже писемъ роль главныхъ дѣствующихъ въ нихъ лицъ. Въ примѣчаніяхъ подъ текстомъ писемъ приведены, въ нужныхъ случаяхъ, дополнительныя свѣдѣнія и выдержки изъ документовъ.

Роковыя событія 1851-1852 гг. явились гранью, расколовшей на-

двое личную и семейную жизнь Герцена. Въ эти годы обрушились на него одинъ за другимъ три страшныхъ удара: личная драма его съ женой, гибель въ морѣ его матери и маленькаго сына Коля, и, наконецъ смерть самой Натальи Александровны. Это было время, когда, назаодъ, «все рухнуло — общее и частное, европейская революція и домашній кровъ, свобода міра и личное счастье».

Прошло пять лѣтъ: «Общее» еще разъ улыбулось Герцену, — въ начавшемся обновленіи Россіи ему выпала огромная историческая роль. Но частное, личное — обернулось злымъ миражемъ, отравляющимъ жестокими страданіями остальную жизнь ему самому и близкимъ ему людямъ: Въ 1856 г. къ нему въ Лондонъ пріѣхали изъ Россіи Огаревъ съ женой Натальей Алексѣвной, урожденной Тучковой. Н. А. Огарева, раньше близкая съ покойной женой Герцена, ѣхала съ твердымъ намѣреніемъ — замѣнить мать его дѣтямъ. Сложилось все иначе. Внезапно вспыхнувшее у Огаревой страстное чувство къ Герцену, на которое тотъ имѣлъ слабость отвѣтить, явилось причиною катастрофы; мучительный, ревнивый и необузданный характеръ Огаревой сдѣлалъ особенно гибельными ея послѣдствія для всѣхъ.

Пострадали прежде всего ни въ чемъ неповинныя дѣти. Ревнуя Герцена къ нимъ, Огарева проникается болѣзненной неприязнью къ дѣтямъ. Совмѣстная жизнь Герцена съ ними становится невозможной, особенно послѣ того, какъ у Огаревой родился (въ 1858 г.) отъ Герцена свой ребенокъ, дочь Лиза. Старшаго, уже юношу, Александра, пришлось отправить въ Швейцарію, двухъ младшихъ, дѣвочекъ Тату и Ольгу, Герценъ поручилъ ихъ воспитательницѣ и своему другу Мальвидѣ Мейзенбургъ. Въ свою очередь, Огаревъ, великодушно устранившійся и мечтавшій сохранить братскія отношенія съ Герценомъ и Н. А., тоже вынужденъ былъ отдалиться, изъ-за ревности Н. А. къ его дружбѣ съ Герценомъ. Оскорбленный въ лучшихъ чувствахъ, ямученный, Огаревъ селится отдѣльно, онъ все чаще ищетъ забвенія въ винѣ; въ своихъ скитаніяхъ онъ встрѣчается съ вѣковой М. Суперландъ, дѣвушкой съ улицы, и въ концѣ концовъ сходится съ нею.

Но несчастна и сама Огарева. Она отдаетъ себѣ отчетъ, что въ вѣдѣннхъ Герцена къ ней нѣтъ подлинной любви, какая была у него къ покойной женѣ; сознаетъ она и все зло, причиненное ею Герцену, его дѣтямъ, Огареву, но не можетъ справиться съ владычущими ею темными страстями или быть можетъ душевными недугомъ: «Я ядъ, я вредъ, я зло жизни — смерть, смерть, простыраю руки къ тебѣ, какъ къ единственной защитницѣ, — помоги, успокой меня, усыли меня» (Дневн. 1858 г.). Самъ Герценъ давно, вѣроятно съ первыхъ же дней, понавляя свою роковую ошибку, но сознание своей вины, чувство жалости къ Огаревой и страстная любовь къ дочери Лизѣ заставляютъ его мириться съ невыносимымъ положеніемъ.

Перенесемся теперь къ 1867-му году. Лондонъ уже оставленъ, типографія Герцена и «Колоколъ» перенесены въ Женеву. Жизнь пре-

жде единой семьи Герцена и Огарева теперь протекает по тремъ русламъ. Самъ Герценъ съ Огаревой и Лизой обосновался въ Ниццѣ. Лизѣ уже 9 лѣтъ, она считаетъ себя дочерью Огарева, а Герцена зоветъ «дядей». Огаревъ, изъ-за «Болокола», поселился подлѣ Женевы, вмѣстѣ съ М. Сутерландъ и ея сыномъ Генри. Съ ними живетъ также четверклѣтній Тутсъ (Александръ), сынъ Ал. Герцена отъ связи съ Ш. Гетсонъ, англичанкой, — въ 1867 г. трагически покончившей съ собой въ Женевѣ. Наконецъ, во Флоренціи живутъ старшія дѣти Герцена, Александръ, 28 лѣтъ, Наталья, 23 л. и Ольга, 17 л., вмѣстѣ съ воспитательницей Ольги, М. Мейзенбургъ, замѣнившей ей мать. Ольга еще ничего не знаетъ о семейной драмѣ.

Отношенія между Герценомъ и Огаревой попрежнему мучительны. Подозрѣвая всѣхъ во враждебномъ къ себѣ отношеніи, она въ дѣйствительныхъ или мнимыхъ страданіяхъ находитъ поводъ терзать другихъ: «несчастнѣйшее существо, забивающее себѣ иголки подлѣ ногги, чтобы обвинить другихъ въ боли», говоритъ о ней Герценъ. А между тѣмъ она по своему горячо любила Герцена, и была способна на добрые порывы, — самоотверженно, напр., ухаживала за Татой во время тяжелыхъ ея заболѣваній, заботилась объ Огаревѣ. Но какъ ни скромны были желанія Герцена: «немного досуга мысли, немного гармоніи вокругъ, покоя, этого *poli me tangere* устали и старости», — домашняго покоя и гармоніи онъ такъ и не узналъ до конца. Часто, возвращаясь изъ побывки у дѣтей въ Ниццу, ѣдетъ туда «какъ на казнь». Впрочемъ, и самъ видитъ въ настроеніи своей семейной жизни возмездіе за прошлое: «Зачѣмъ я, зная по страшнѣйшей исторіи 1851-1852, дерзко и необдуманно бросился на увлеченіе? Зачѣмъ не пожалѣлъ дѣтей? За это я униженъ и страдаю». «Надо было доносить трауръ 1852 г. ...какъ месть за безхарактерность, меня преслѣдуетъ ненависть Н. къ дѣтямъ покойницы. Выхода нѣтъ» (1857).

Какъ ни печальна роль, которую суждено было сыграть Н. А. Огаревой въ жизни Герцена и его семьи, было бы несправедливо на нее одну возлагать за все отвѣтственность. Страданія же, которыми она искупала свою вину, кажется, превышаютъ все, что пришлось испытать остальнымъ. Ея несчастія не окончились съ потерей Герцена. Уже послѣ смерти его, ее ожидалъ страшный ударъ: погибла въ 1875 г., покончивъ жизнь самоубійствомъ, дочь Лиза; и впереди предстояло еще мучительно долго нести бремя тяжелыхъ воспоминаній и новыхъ ударовъ судьбы (†1913 г.).

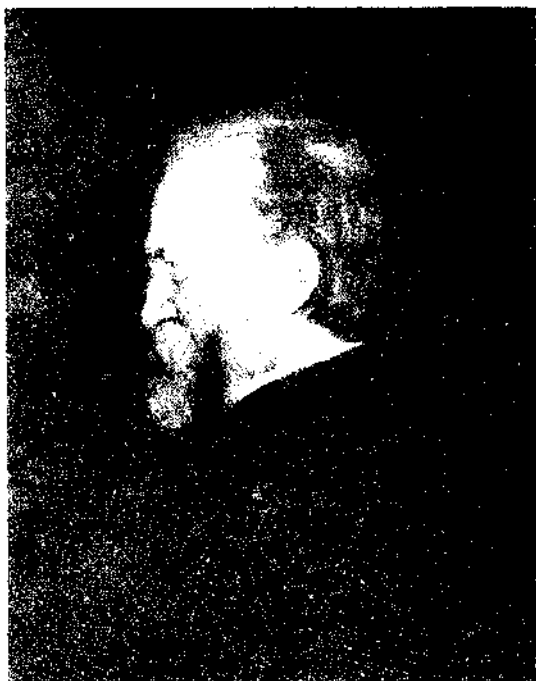
Въ заключеніе нѣсколько словъ о той, кому адресованы эти письма.

Герценъ, прекрасный семьянинъ, горячо любилъ своихъ дѣтей, всѣхъ одинаково, какъ Лизу, такъ и старшихъ, не дѣлая между ними въ своемъ отношеніи никакой разницы. Это не мѣшало ему однако неодинаково оцѣнивать ихъ характеры. Старшая дочь, Тата, въ его глазахъ «самое свѣтлое и прекрасное существо изъ всей семьи»

въ ней онъ находилъ наибольшее духовное сходство съ покойной женой. Несмотря на свою смелость и шероховатость, она ближе всѣхъ подошла къ отцу въ послѣдніе годы, понимала всю тяжесть его положенія и, какъ могла, старалась облегчить его: терпѣливо сносила неровности характера Огаревой, пыталась привязать къ себѣ Лизу. Неудача была не по ея винѣ. Съ другой стороны, видя въ Татѣ задатки собственной талантливости, онъ возлагалъ на нее большія надежды, мечтая о томъ, что она вернется въ Россію и тамъ продолжитъ его дѣло. Онъ особенно цѣнилъ въ Татѣ ея «крускость», утрату которой съ глубокимъ огорченіемъ наблюдалъ у другихъ дѣтей. Онъ не только любилъ Тату, но и вѣрилъ въ ея будущее. Вотъ почему было для него поистинѣ ужаснымъ ударомъ, несомнѣнно подорвавшимъ его послѣднія силы и ускорившимъ кончину, какое-то психическое заблѣваніе, къ счастью, кратковременное, случившееся съ Татой въ концѣ 1869 г.: помимо естественнаго безпокойства за здоровье дочери, оно колебало его вѣру въ ея значеніе. Холоднымъ отчаяніемъ проникнуто его письмо къ Огареву по этому поводу: «Мнѣ страшно, саго шію... Знаю, что теперь наконецъ я — прошедша е... Все идетъ, какъ шестерка лошадей, привязанныхъ къ дышлу, но безъ возжей, что иногда закрываю глаза. Я пью, и жалѣю, что не могу пить какъ ты». Герценъ умеръ (21 янв. 1870 г.), когда Тата еще не совсѣмъ оправилась отъ болѣзни.

Наталѣ Александровнѣ не было суждено осуществить надежду Герцена на ея возвращеніе въ Россію, — всю свою жизнь она провела за границей. Но и здѣсь, ставши добрымъ гениемъ двухъ поколѣній молодыхъ Герценовъ, неизмѣнно стараясь внести больше гармоніи и покоя въ обширную семью, Нат. Александровна, всѣми любимая « tante Tala », въ какомъ-то смыслѣ тоже выполняла завѣтъ ея отца.

В. Рудневъ.



А. И. Герцень
Съ портрета 1867 г. работы его дочери
Наташи Александровны

1867-й годъ.

Всѣмъ. 1867. 22 февраля.

Albergo Reale.

Венеція, пятница.

Нѣтъ карты, которая лучше бы, нагляднѣе передавала Венецію, какъ та, что на этомъ листѣ, — большія зданья на маленькихъ прессъ-папье, опущенныхъ въ воду.

Суббота.

На этомъ мнѣ помѣшали русскіе сосѣди, которые очень хорошіе люди и одинъ знаетъ Тату и видѣлъ даже ея копію съ Тиціана въ Римѣ. Сынъ поэта Жуковского. А между тѣмъ при-

шло письмо съ описаньемъ бала. Изрѣдка, несмотря на Гюго, не Виктора, а Шифа ¹⁾, можно (...) ^{1а)}.

Здѣсь карнавалъ растеть не по днямъ, а по часамъ, — толпы, маски, прыгаютъ, иногда дерутся, но все выстѣ еще ничего, скорѣе глупо.

Завтра и въ среду — самые рѣшительные дни — увидимъ завтра. Я не думаю, чтобы я остался до среды, вѣроятно приѣду во вторникъ, или вечеромъ, или въ среду утромъ.

Какимъ образомъ попасть Гарибальди во Флоренцію? И надолго ли? Ужъ не сюда ли ѣдетъ? Саша ²⁾ могъ бы явиться къ нему и сказать, что я въ Венеціи, что стремлюсь его видѣть — и не видѣть Онагра. Я боюсь встрѣчи съ нимъ, то-есть съ Гарибальди — по поводу польскихъ сплетенъ ³⁾. Господи. Что за неисправимая нація, я здѣсь встрѣтилъ экземпляръ — удивительнѣйшій. *Lasciate ogni speranza*.

Ты спрашиваешь, продолжаетъ ли Венеція нравиться, я уже писалъ Мейзенбугъ ⁴⁾, что жить здѣсь безумно, но приѣхать

1) Гюго Шифъ, сынъ нѣмецкаго эмигранта Мориса Шифа, профессора-медика во Флоренціи, съ которымъ Герценъ поддерживалъ дружескія отношенія. Гюго Шифъ неудачно сватался въ 1869 г. къ дочери Герцена Натальѣ Александровнѣ.

1а) Слово не разобрано. Въ дальнѣйшемъ всѣ оставшіяся неразобранными мѣста будутъ обозначаться такъ же — многоточьемъ въ скобкахъ (...).

2) Саша — сынъ Герцена, Александръ Александровичъ (1839-1906), въ то время ассистентъ у проф. Шифа во Флоренціи. Впослѣдствіи (1881-1906) профессоръ физиологій въ Лозаннѣ.

3) Предполагаемая встрѣча съ Гарибальди произошла въ Венеціи черезъ нѣсколько дней. «Сегодня въ шестомъ утра былъ у Гарибальди», писалъ 27 февраля Огареву Герценъ: «онъ обрадовался мнѣ и одного меня расцѣловалъ». Безпокойшія расцѣлованія — опубликованный польскими эмигрантами протестъ противъ статьи Огарева въ «Колоколѣ» (№ 223 за 1866 г.) по поводу экспроприаціи русскихъ правительствомъ помѣщичьихъ земель въ Литвѣ.

4) Баронесса Мальвида Амалия фонъ Мейзенбугъ (1816-1903), нѣмецкая писательница, принимавшая участіе въ освободительномъ движеніи своего времени, авторъ трехтомныхъ «Мемуаровъ идеалистки», горячая поклонница и другъ Герцена. Ей Герценъ въ 1853 г. поручилъ, послѣ смерти его жены Натальи Александровны, воспитаніе своихъ дочерей, восьмилѣтней Таты и двухлѣтней Ольги, искорѣ впрочемъ въ виду противодействія со стороны Н. А. Тучковой-Огаревой, прекратившееся (въ 1856 г.). Неудачно затѣмъ сложившаяся семейная жизнь Герцена послѣ его сближенія съ Тучковой-Огаревой привела къ тому, что въ 1862 г. младшая дочь, Ольга, вновь была отдана Мейзенбугъ. Съ тѣхъ поръ О. А. уже постоянно, вплоть до своего заму-

Ех. гр. ⁴⁴⁾ осенью, или въ началѣ лѣта на мѣсяцъ, даже ца два, если есть деньги, — очень хорошо. Венеція захватываетъ своей странной красотой и необычайнымъ богатствомъ зданій, своей рѣчной оригинальностью. Венецію, внѣ Венеціи, понять нельзя, особенно прошедшую. Она должна была быть аристократической республикой — дворцы и внизу, какъ слизняки льнушіе къ скаламъ, бѣдные, задавленные плебеи. Размѣры всего колоссальны, отъ *Academia Bella Arti* свербитъ въ глазахъ, такъ много. Мелкихъ неудобствъ миллионъ: 1) народъ, искаженный австрійскимъ гнетомъ и туристами, — подло обманываетъ на каждомъ шагѣ; 2) тупое правительство — какъ будто на смѣхъ себѣ — дозволяетъ величайшій сунбуръ въ деньгахъ, — ходятъ деньги серебряныя, австрійскія, ассигнацій тосканскихъ не принимаютъ, промѣнныхъ денегъ, или франковыхъ бумажекъ, почти нѣтъ или не у всѣхъ. Мѣнялы, пользуясь, берутъ франкъ со ста — за маленькія ассигнаціи. Казна не беретъ ничего, кромѣ 5-ти франковъ. — Купцы-нѣмцы, жида-срывщики *vous sarez* хохочутъ и говорятъ: А вотъ во время Австріи деньги ходили просто.

Если Мальвида желаетъ, Вы можете всё сѣздить къ Гарибальди.

При въѣздѣ изъ Венеціи по желѣзной дорогѣ, осматриваютъ всё чемоданы и ящики — это все противъ табуку, и (...) здѣсь та же.

Если бы я былъ генералъ Аугъ ⁵⁾, я бы перемѣнилъ все это.

Не поплыветъ ли онъ съ Гарибальди сюда, за этимъ я бы остался день лишній.

Былъ на вечерѣ у книгопродавца Мюнстера (второе больше всѣхъ Лешеровъ и Бренеровъ у васъ) — все нѣмцы, нѣмцы и для вариации, нѣмки. Если бы не давали сандвичей, я бы очень скучалъ, къ тому же былъ во фракѣ. NB. Извѣстно ли вамъ, что здѣсь всё картавятъ и пришепетываютъ, что впрочемъ, очень мило.

жества въ 1873 г., жида съ Мейзенбургъ, горячо къ ней привязавшейся и фактически замѣнившей ей мать.

⁴⁴⁾ Ех. гр., сокращенное *exempli gratia* — наприимѣръ.

⁵⁾ Эрнестъ Гаугъ (Haug), эмигрантъ, быв. австрійскій офицеръ, перешедшій во время борьбы итальянцевъ за освобожденіе на сторону Гарибальди. Глубоко преданный Герцену, Гаугъ принималъ горячее участіе въ событіяхъ, связанныхъ съ личной драмой Герцена и его жены Н. А. въ 1851 г. Впослѣдствіи, по неровности своего характера, Гаугъ отдался отъ Герцена.

Письмо Кине ⁶⁾ о нѣмцахъ, chef-d'œuvre, привезу тебѣ.

Отъ Огарева два письма — все забѣдаетъ.

А каковъ Петръ Влад. ⁷⁾?, сынъ его дѣлалъ химическіе опыты, обжогся и сильно — онъ телеграфировалъ въ III отдѣленіе и черезъ нѣсколько часовъ получилъ увѣдомленіе, что «ему лучше». Это прелесть. Какъ же они его боятся. Прошайте, переведите Мальвидъ письмо. Мопод ⁸⁾ выговоръ за болѣзнь, Levier ⁹⁾ за то, что не починилъ его. Лизѣ ¹⁰⁾ лучше. Съ понедѣльника начиная, ни писемъ, ни газетъ не посылайте, развѣ можетъ по первой почтѣ, то-есть до 12 часовъ утра.

Ольгѣ ¹¹⁾ доношу слѣдующее — ровно въ два (часы на башнѣ бьютъ два чугунныхъ арапа) голуби со всѣхъ сторонъ летятъ на Маркову площадь, закусывають и улетаютъ на 24 часа — это очень оригинально. Посылаю ей видъ берега Schiavoni съ нашими отелями. Она увидитъ, что крыса съ крыльями здѣсь спать никому не мѣшаетъ, потому что ее держатъ на столбу. Прощайте.

⁶⁾ Эдгаръ Кинэ (1803-1875), извѣстный французскій историкъ, участникъ революціи 1848 г., относившійся къ Герцену съ глубокимъ уваженіемъ и симпатіей.

⁷⁾ Князь Петръ Владиміровичъ Долгоруковъ (1816-1868), эмигрантъ, авторъ французской книги о Россіи «La vérité sur la Russie». Сотрудничалъ въ «Колоколѣ». Герценъ никогда не былъ близокъ съ нимъ, но считалъ своимъ долгомъ поддерживать его какъ борца за свободу. Герценъ не могъ, разумѣется, знать того, что впоследствии историкъ П. Е. Щеголевъ будетъ съ большою степенью вѣроятности приписывать П. Д. Долгорукову авторство извѣстнаго анонимнаго письма, послужившаго поводомъ для роковой дуэли Пушкина съ Дантесомъ.

⁸⁾ Габріэль Моно (1849-1912), французскій историкъ. Въ 1873 г. женился на дочери Герцена Ольгѣ Александровнѣ.

⁹⁾ Докторъ Левье.

¹⁰⁾ Лиза — дочь Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой (1858-1875). Живая, очень способная, но избалованная и унаслѣдовавшая неуравновѣшенность своей матери, Лиза Герценъ-Огарева погибла трагически, уже послѣ смерти Герцена. Шестнадцатилѣтней дѣвушкой она полюбила человѣка немолодого и семейнаго — Шарля Летурно, извѣстнаго французскаго социолога. Отчаявшись въ возможности счастья, она покончила съ собой во Флоренціи въ 1875 г.

¹¹⁾ Младшая дочь Герцена Ольга Александровна. Род. въ 1850 г. Въ 1873 г. вышла замужъ за Габріэля Моно. Здравствуетъ понынѣ, живетъ во Франціи. См. также примѣчанія 4 и 8.

Вездѣ ли шенокъ Таландые ¹²⁾ гадить — и стала ли брать Ольга уроки у Раз-порту.

1867. 18, понедѣльникъ. Венеція.

Вотъ я въ двухъ шагахъ отъ святого Марка и грѣшнаго льва. Нѣтъ города, который бы такъ порожалъ — наружный видъ до того оригиналенъ, изященъ и великолѣпенъ, что бѣдная Флоренція соулѣе.

Я проспалъ до Болоньи, въ девять былъ уже въ гондолѣ, въ отель де л'Еропъ не нашелъ путной комнаты и отправился въ Alb. reale.

Жаль, что туманъ и сѣрый день. Что же при солнцѣ?

Иду на почту.

Я забылъ мои золотыя пуговицы отъ рубашки, Ольга видѣла, гдѣ онѣ — сыщите и приберите.

Всѣхъ обнимаю и цѣлую.

Видѣть Венецію необходимо, такъ какъ Неаполь — чело-вѣкъ не полонъ безъ этого.

Не знаю, каково жить. Отели дороги и набиты.

21 апрѣля, 1867. Женева.

Письмо ко мнѣ и потомъ, ко мнѣ и Гарегу получены. Ну, что же Саша былъ у Гарибальди? Зачѣмъ онъ во Флоренціи, ужъ эта Марья — славная вонительница, а его не бережеть, онъ въ парламентъ можетъ только fiasco сдѣлать.

Моя статья о Венеціи вышла очень хороша — но боюсь печатать — она разсердитъ всѣхъ — Наполеона, Бердушека, Онагра и самого Осипа Ивановича ¹³⁾.

Насчетъ исторіи философій, я тебѣ говорилъ, что серьезной книги ты не одолѣешь, а поверхностное знанье даетъ фальшивую увѣренность и идетъ лучше для внутренней прически, чѣмъ для дѣла.

Есть у васъ мои письма объ изученіи природы и диллетантизмъ въ наукѣ — могу прислать. Попробуй. Разумѣется, я во многомъ ошибался. Перечитай у Гете въ Фаустѣ, что Мефистофель говоритъ студенту о метафизикѣ и Collegium logicum. Ну что жъ ты хочешь дѣлать съ полковнымъ штабъ лекаремъ

¹²⁾ Таландые Альфредъ, французскій литераторъ. Былъ очень привязанъ къ Герцену и пользовался его дружбой.

¹³⁾ «Осипъ Ивановичъ» — такъ Герценъ въ шутку звалъ Джузеппе Гарибальди (а также и Дж. Мадзини). Бердушекъ — знакомый М. Мейзенбургъ. Статья о Венеціи — повидимому «На площади св. Марка», помѣщенная въ № 238 «Колокола» за 1867 г.

Шилеромъ, за то, что у него донъ-Карлосъ Нѣмецкій студентъ, Фіско студентъ, а студентъ Мооръ — разбойникъ. Шиллеръ былъ великій пропагандистъ и дѣлалъ пропаганду изъ всего. Конечно Шекспира трудно было уличить, что его лица несогласны съ исторіей.

Ищи Гамлета
Ищи Макбета
Ищи Лира.

Гдѣ они? Есть ли портреты, хоть у Фортинбраса.

А если ты хочешь читать историческія драмы Шиллера, то ихъ двѣ и обѣ chief-d'œuvres: Wilhelm Tell и Wallenstein. Принимайся за нихъ сейчасъ, если прежде ужъ читала, тѣмъ паче.

У насъ тишина, ко мнѣ почти не ходитъ никто. Сегодня иду къ Долгорукову¹⁴⁾, обѣдать 1-ый разъ. Огаревъ съ нимъ не въ ладахъ и онъ все-таки безконечно скученъ. О Ницѣ я тебѣ писалъ подробно, къ концу юня я буду навѣрное тамъ, если ничего не случится, раньше второй половины мая ѣздить нечего, а можетъ и совсѣмъ не придется. Я пространно писалъ тебѣ отсюда, получила ли.

Къ 1-му мая я не съѣду, Банку все равно.

Теперь комиссія:

Я очень серьезно прошу сейчасъ мнѣ отвѣчать на слѣдующее:

1. Саша пусть мнѣ напишетъ рецептъ мази съ Iodium, противъ шишки, она опять сильно растеть и я боюсь, что соревнованьемъ съ Монбланомъ, сравняетъ ее съ Луи Бланомъ.

2. Чернецкій¹⁵⁾ проситъ, что бы Желѣзновъ¹⁶⁾ ему отвѣчалъ, какъ можно скорѣе, начать ли печатать 2-ой части Вавари (которую я привезъ), у него нѣтъ работы.

3. Тхоржевскій¹⁷⁾ проситъ Аделаиду или Гаэтану или Коно или Самдриліона изъ Спекулы, написать, въ чемъ секретъ отъ него, что Тата скрываетъ (несмотря на нѣсколько вопросовъ), должна ли она какому башмачнику 18 франковъ.

¹⁴⁾ Долгоруковъ — кн. Петръ Владиміровичъ. см. примѣчаніе 7.

¹⁵⁾ Чернецкій Людвигъ, польскій эмигрантъ. Завѣдовалъ Вольной Русской Типографіей съ самаго ея основанія въ Лондонѣ въ 1853 г., позже — въ Женевѣ.

¹⁶⁾ Желѣзновъ — наборщикъ въ типографіи Герцена.

¹⁷⁾ Тхоржевскій Станиславъ, польскій эмигрантъ, завѣдовавшій издательствомъ Герцена. Былъ своимъ человѣкомъ въ семьѣ Герцена, которой былъ очень преданъ.



Екатерина Александровна Герцена,
дочь А. И. Герцена и Л. Я. Фотеевой, 1873 г.

4. Не хотите ли что печатать у Черненкаго по французски Ex. gr. (....) онъ беретъ безъ бумаги 57-59 фр. съ листа. Объ этомъ прошу отвѣчать сейчасъ.

У меня Zahn'овъ меньше, вчера выдернули. Я радъ, что и у васъ уѣхалъ Zahn. Меньше нѣмцевъ. Лучшій нѣмецъ Мальвида и единственный. Ихъ ненависть къ славянскому и русскому доходить до комизма.

Что то будетъ послѣ коллизіи Франціи съ Preussen, столкновење съ Славянскимъ міромъ неминуемо.

Кланяйтесь Monod, Schiff, Levier, Domangé¹⁸⁾.

Ольга, амазонствуй съ осторожностью. Всѣхъ цѣлую и обнимаю. Здѣсь былъ романъ (....) élément tragique. Когда со-всѣмъ узнаю, напишу.

¹⁸⁾ Доманже Жозефъ, французскій эмигрантъ, дававшій уроки дочерямъ Герцена.

9 мая 1867. Женева.

Тата и Саша,

Я къ вамъ съ короткими письмами, но очень важными. Обдумайте на всѣ стороны, что слѣдуетъ дѣлать.

Недѣли двѣ тому назадъ я получилъ отъ Лугинина¹⁰⁾ довольно длинное письмо, очень дружеское, печальное — и отвѣчалъ на него. Сегодня онъ пишетъ мнѣ вдругъ, что онъ рѣшился ѣхать во Флоренцію и объясниться рѣшительно съ тобой. Его отецъ прїѣдетъ черезъ два мѣсяца и онъ рѣшилъ возвратиться, въ случаѣ, если ему нѣтъ надежды. Въ Россіи, — отецъ пишетъ, — его сошлютъ, но онъ спасетъ имѣнье. Оставаясь здѣсь, отецъ ему не дастъ ничего, кромѣ 320.000, что за (...).

Я написалъ длинное письмо, сначала, что ты ѣдешь въ Ниццу — что не лучше ли ему писать, предлагалъ самъ писать (хоть и сказалъ, что по моему надежда плоха). Итакъ, на всякій случай, скажи мнѣ всю мысль, все, что на сердцѣ. Подумай съ Сашей и отвѣчай въ ту же минуту. Посовѣтуйся и съ Мальвидой — ей было бы больно, если бы ты не сказала.

Теперь я съ своей стороны скажу въ первый разъ одно слово въ пользу Лугинина — меня больше всего трогаетъ постоянство его чувства къ тебѣ — и глубокая грусть его писемъ. Это съ одной стороны, съ другой безъ взаимной любви двойная нелѣпность. И затѣмъ *liberté complète*.

Когда ты ѣдешь въ Ниццу, я вѣроятно къ 15 июня уѣду отсюда.

¹⁰⁾ Лугининъ Владиміръ Федоровичъ, эмигрантъ, бывш. артиллерійскій офицеръ, примыкавшій къ первой организаціи «Земли и Воли». Помогалъ Герцену въ организаціи доставки его изданій въ Россію. Неоднократно, но безуспѣшно домогался руки Наталіи Александровны. Герценъ считалъ Лугинина «честнѣйшимъ, чистѣйшимъ человекомъ, настоящимъ рыцаремъ». Въ 1867 г. Лугининъ получилъ разрѣшеніе возвратиться въ Россію. Выдающийся ученый, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ русскихъ химиковъ. Лугининъ до 1906 г. былъ профессоромъ въ Моск. Университетѣ.

Мечтой Герцена всегда было возвращеніе дѣтей въ Россію съ именемъ, которос я имъ приобрѣлъ. Онъ огорчался, видя, какъ одинъ за другимъ его дѣти уходять въ иностранную среду. «Ты первый отошелъ», писалъ онъ въ 1869 г. сыну, женившемуся на итальянкѣ. «Ольга, по милости Мейзенбургъ, иностранка». Поэтому онъ былъ противъ брака Нат. Алекс. съ нѣмцемъ Г. Шифомъ, а хотѣлъ, чтобы она вышла замужъ за русскаго, — Лугинина или за кн. А. М. Мещерскаго: «ея потерю я буду считать однимъ изъ тяжелыхъ ударовъ».

7 іюня, 1867. Пятница.

Храни это письмо въ тайнѣ.

Милая Тата, твоимъ письмомъ я очень доволенъ и цѣлую за него отъ души. Что ты права насчетъ Лизы, въ этомъ нѣтъ сомнѣній. Но главное, что надобно, это имѣть вліяніе на Наталю ²⁰⁾. Я тебѣ скажу съ полнѣйшей откровенностью — фондъ дурного въ ея натурѣ идетъ изъ двухъ источниковъ: ревность и необузданность. Она можетъ любить людей — и изъ ревности дѣлать надъ ними Богъ знаетъ что. Если бы я не видалъ явно, что главное чувство въ ней — привязанность ко мнѣ (въ какой бы формѣ она ни выражалась) — многое было бы иначе. Если ты можешь настолько побѣдить ее, чтобы имѣть вліяніе на Лизу — это великое дѣло. Но я думаю врядъ ли это нужно теперь оставаться — можетъ лучше возвратиться зимой, если Н. дѣйствительно въ томъ положеніи. Я думаю, что мы, толкуя много о новыхъ воззрѣніяхъ, такіе же старыя люди, какъ и тѣ, которые не толкують. Выше всѣхъ насъ головою Огаревъ — и онъ всего дѣльнѣе говорить, что скрывать поздно и глупо (не афишировать и не скрывать).

Я хочу съ тобою быть совершенно откровеннымъ. Когда Огаревъ замѣтилъ у Наталы сильную любовь ко мнѣ — ему не пришлось еще сказать слова, какъ она ему все сказала — и тогда же сказала мнѣ. Это былъ поступокъ честный и смѣлый. Огаревъ былъ — такъ всегда безконечно благороденъ — и не имѣя больше съ своей стороны особенной страсти — сказалъ, что онъ свободно передаетъ мнѣ Наталю — и остается ея братомъ ²¹⁾.

²⁰⁾ Наталья Алексѣевна Тучкова-Огарева (1829-1913), вторая жена Н. П. Огарева (1814-1877). Въ 1857 г. оставила мужа и сблизилась съ Герценомъ. Ея «Воспоминанія» (наиболѣе полное изданіе — въ серіи «Academia», Ленинградъ, 1929) доведены до 1871 г. Въ 1887 г. она получила разрѣшеніе возвратиться въ Россію. О послѣдующихъ годахъ ея жизни см. статью М. О. Гершензона «Н. А. Огарева» въ «Русской Мысли», 1914 г. кн. 4.

²¹⁾ Повидимому, увлеченію Н. А. Огаревой Герценомъ предшествовалъ начавшійся еще до пріѣзда въ Лондонъ надломъ въ ея отношеніи къ Огареву. По крайней мѣрѣ, впоследствии (въ 1859 г.), вспоминая это время, она писала Герцену: «Я любила Ог. страстно, но я пріѣхала измученная его себялюбивымъ одиночествомъ, его эгоистическимъ пьянствомъ, которое губило его и унижало меня». Была и еще одна тѣнь на ея семейномъ счастьи съ Огаревымъ: неудовлетворенная жажда материнства: «Отчего не было между мною и человѣкомъ, котораго я такъ страстно любила, того, что такъ нераз-

Все дурное вышло не из этого, а из сумасшедшего нрава и необузданности, Капризы отдалили Огарева, капризы отдали-

рывно спавипеть и продолжать какую-то серьезную любовь даже и за гробомъ?» — писала она своей сестрѣ Е. А. Сатиной въ 1856 г. «Я не знала этого счастья, но я безумно, въ тайнѣ думала о немъ, желала узнать, выстрадать материнское чувство». Герценъ, какъ только почувствовалъ новый отбѣнокъ, появившійся въ нѣжномъ дружескомъ расположеніи къ нему Н. А. Огаревой, не замедлить предупредить объ этомъ Огарева: «...Я замѣтилъ въ дружбѣ Н. ко мнѣ больше страстности, нежели я бы хотѣлъ», — писалъ онъ ему въ концѣ 1856 г. «Я люблю ее отъ всей души, глубоко, горячо, но это вовсе не страсть, для меня она — ты же, вы оба — моя семья и, прибавивъ дѣтей, — все, что у меня есть. Я сначала отдалялся, она меня не поняла и такъ этимъ огорчена, что я, разумѣется, спѣшилъ утѣшить ее. ...Въ моей чистой близости съ твоей подругой быть для меня новый залогъ нашего трио. Но когда я опять увидѣлъ, что она увлечается, я все это считалъ результатомъ ея пылкаго характера и непривычки владѣть собой. Наконецъ, она видятъ во мнѣ Наташу, — защитника ея за гробомъ, твоего друга, брата. ...Смѣло, чисто я стою передъ тобой, другъ моей юности, но еще шагъ — и новая привѣсть откроется подъ ногами. Я хочу васъ сохранить себѣ и себя вамъ... Нѣтъ въ мнѣ силы, страсти, которая бы оторгла тебя отъ меня. Что Н. сильно любитъ меня, это такъ и быть должно, но извѣстный характеръ любви не приходится мнѣ... Въ дальнѣйшемъ Герценъ и самъ поддавался слабости, не устоялъ отъ увлеченія Огаревой, которое потомъ до конца жизни считалъ роковой ошибкой — столько тяжелаго горя принесло оно ему самому, дѣтямъ, Огареву. Вотъ какъ сама Н. А. Огарева пишетъ объ этомъ времени въ своемъ дневникѣ въ 1857 г.: «Когда я прѣѣхала сюда, Н. (Н. А. Герценъ) какъ живая предстала передо мной; вездѣ я ее видѣла... ея дѣти были чѣмъ-то религиозно-дорогимъ для меня и онъ (Герценъ) тоже съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе входилъ въ мою любовь къ Н. ...Я чувствовала, что безконечное чувство любви къ нему захватываетъ меня, сначала я не понимала всего значенія его, потомъ — было поздно. ...Когда я увидѣла, что побѣжденный моей страстной любовью Г. тоже меня полюбилъ, я вдругъ бросилась къ Огареву, разомъ поняла его боль... я ни шагу болѣе не шагнула, не узнавши, какъ О. смотритъ на все. Такъ принять, какъ онъ принялъ, такъ безконечно широко понять, ни одинъ, да, я это смѣло говорю, ни одинъ человекъ не могъ бы, онъ это сдѣлалъ съ какимъ-то простодушіемъ, свойственнымъ его нѣжной и широкой натурѣ, и тогда я все поняла и полюбила его еще больше... и я искала его руки, чтобы окончательно побѣдить страстную привязанность къ Г. Но... онъ не хотѣлъ жертвовать... Главное страдающее лицо въ этой драмѣ, Огаревъ оказался на наибольшей духовной высотѣ изъ всѣхъ ея участниковъ. Онъ несомнѣнно тяжело переживалъ уходъ жены, но жертвовалъ собою для

ли васъ—страшнѣйшее бѣдствіе въ Парижѣ^{21а)}—все идетъ изъ одного источника. Но Лиза стала тутъ великой связью — и я понималъ мой долгъ къ ней, не одну мягкую, но и жесткую сторону его. Переѣздъ изъ Буассьеры доложилъ новую черту. Огаревъ переѣхалъ въ (...) и вся наша жизнь какъ бусы, у которыхъ шнурки порваны, рассыпалась. Если бѣ кто-нибудь сумѣлъ ихъ собрать. Сумѣй ты.

Береги это письмо. Это моя исповѣдь.

Къ Лугинину теперь писать не стану, я жду еще отвѣта отъ него. Пусть онъ ѣдетъ въ Россію — кажется теперь онъ подойдетъ подъ амнистію, — потомъ можетъ прѣхать снова съ своими вопросами. Думаешь ли ты, что тогда примешь его предложеніе. Огаревъ полагаетъ, что онъ очень ревнивъ, а почему не знаю. Прощай. Цѣлую тебя какъ ближайшаго друга. Отчего не ѣхать въ Геную на зиму. Мнѣ теперь отъ 1-го іюня до 1-го декабря свободно.

друга, оставаясь братомъ для Н. А. и утѣшаясь мечтой «соединенія трехъ въ одну любовь». И Огаревъ же потомъ, когда увлеченіе Герцена обернулось для него жестокими мученіями, склоненъ былъ еще винить себя въ происшедшемъ: «Мысль, что я невзначай внесъ въ твою жизнь страсти и страданія, безъ которыхъ ты была бы свѣтлѣе — меня преслѣдуетъ. Почему я не уѣхалъ съ нею?» — писалъ онъ въ 1860 г. Герцену. «...Да не изъ равнодушія ли я допустилъ все, не имѣлъ ли я темнаго чувства, жажды личной свободы?» Сама Н. А. Огарева тогда же вѣрно почувствовала и поняла, что вызванное ею у Герцена чувство не есть подлинная любовь, какою онъ любилъ единственно свою первую жену. «Нѣтъ силъ сознаться себѣ самой, я разила свою жизнь изъ-за призрака, я ошиблась», продолжаетъ она размышлять въ цитированномъ выше дневникѣ. «Герценъ не виноватъ, онъ не любилъ меня, вообще для него любовь дѣло второстепенное, если не меньшее... «есть дружба и снисхожденіе, больше сердце худшей обиды». «Мнѣ вѣтъ холодомъ отъ этой любви; если бѣ я могла пересоздать отношенія... ему это бы воротило свободу, о которой онъ часто и теперь жалѣеть».

21а) Въ 1861 г. у Н. А. Огаревой и Герцена родились близнецы Алексѣй и Елена, или какъ ихъ звали въ семьѣ, Леля-доу и Леля-дигі. Н. А. Огарева вкладывала въ материнское чувство къ нимъ, особенно къ Леля-girl, совершенно исключительное, страстное обожаніе. Гибель обоихъ маленькихъ Лелей въ 1864 г. въ Парижѣ — они въ нѣсколько дней были унесены дифтеритомъ — была для Н. А. Огаревой такимъ страшнымъ потрясеніемъ, которое окончательно подорвало ея неустойчивую психику и быть можетъ явилось толчкомъ для душевнаго заболѣванія.

Знай, что ты имѣешь право ѣхать, когда хочешь. Пора бы сдѣлать свиданье съ Ольгой и ей сказать обо всемъ ^{21b)}.

1867, въ Декабрѣ.

Тата (...) — но нѣсколько замѣчаній скажу. Вы очень разсѣиваете силы и средства, это разъ. Другое — я никогда не выбралъ бы для подарка серьги — пустыя вещи, поддерживаютъ пустые вкусы — не лучше было бы купить или материн, или что-нибудь на плечи, но объѣдомъ доволенъ (хоть только завтракаю), но погода ужасная. Бѣгу въ Геную. — О деньгахъ писалъ.

Получилъ длинное посланье отъ Тургенева о Колоколѣ. Онъ противъ, но очень любезенъ ^{21c)}. Вамъ всѣмъ кланяется.

Напомни Домангаю ²²⁾, что онъ хотѣлъ писать возраженье — это для насъ очень полезно. Огаревъ пишетъ, что поляки не ждутъ, то-есть многіе говорятъ, «это вовсе несносно», какъ говорилъ Зонненбергъ ²³⁾.

Получилъ отъ Тхоржевскаго длинное письмо и отъ Огарева извѣщенье, что онъ будетъ писать и что ему некогда — получены и вторыя газеты — а первыя? Что ихъ сжегъ Муций Сцевола, или извела на папильотки (...)? Или ихъ бросилъ

^{21b)} Ольга Александровна Герцень, которой въ то время шель уже семнадцатый годъ, оставалась въ невѣдѣніи отношеній ея отца и Н. А. Огаревой. Свое намѣреніе сообщить ей обо всемъ Герцень осуществилъ позднѣе, въ іюль 1868 г.

^{21c)} Рѣчь здѣсь идетъ о французскомъ изданіи «Kolokol», пришедшемъ на свѣту прекратившему незадолго передъ тѣмъ (въ іюль 1867 г.) существованіе знаменитому русскому «Колоколу» (1857-1867). Выпуская въ декабрѣ 1867 г. первый номеръ французскаго «Kolokol», Герцень такъ опредѣлялъ его задачу: «Мы должны быть защитниками нашей Россіи, Россіи надеждъ и юныхъ силъ, передъ судьями стараго міра». Тургеневъ на это писалъ Герцену: «По моему понятію, ни Европа не такъ стара, ни Россія не такъ молода, какъ ты себя представляешь... и никакого за нами «спеціальнаго» новаго слова не предвидится». — Французское изданіе не оживило упавшаго къ этому времени интереса къ «Колоколу». Всего вышло за 1868 г. 15 номеровъ «Kolokol» и 6 русскихъ приложений къ нему; въ 1869 г. — одно «Supplément de Kolokol».

²²⁾ Шутливое прозвище Доманже. См. прим. 18.

²³⁾ Зонненбергъ Карлъ Ивановичъ, нѣмецъ изъ Ревеля, одинъ изъ приживальщиковъ въ домѣ отца Герцена. «Это вовсе несносно», — обычное выраженіе Зонненберга, когда онъ, выведенный изъ себя придирками И. А. Яковлева, время отъ времени покидалъ свою нелегкую службу у него («Был. и Думы» т. I).

Саша, или ихъ забыла ты — прошу прислать Генуя, до востребованія. Довольно.

Въ утѣшеніе Мейзенбургъ скажи, что и у меня кашель усилился отъ дождя. Сегодня прочищается, то два дня ливня лиль дождь и стояли стѣны тумана. Если въ Генуѣ будетъ такъ же скверно, поѣду можетъ 24 декабря въ Ниццу.

А что скажете о новой (....)? они послѣ тюрьмы сдѣлали опытъ, взорвать что-то въ City. Не хотѣли люди революцію Гарибальди — вотъ имъ идетъ Египетская (я думаю, ты слышала о бабѣ-Егѣ и о Гаугѣ (...)). Представь себѣ нашъ Савичъ²⁴⁾ и другіе капиталы дрожать — въ своихъ конторахъ.

1867. 18 декабря. Среда. Миланъ.

Кто говоритъ о Миланѣ, тотъ говоритъ о соборѣ, но я уже почтенной представительницѣ Гессенъ-Кассель²⁵⁾ на него жаловался — а тебѣ скажу, что я здѣсь видѣлъ превосходную гравюру той картины (....), о которой говорилъ Усп. Дѣйствительно замѣчательно хорошо, въ джиготковскомъ вкусѣ. Если гдѣ-нибудь въ лавкѣ во Флоренціи есть, постарайся посмотреть. Онъ отошелъ назадъ на нѣсколько вѣковъ, чтобы быть настоящимъ христіанномъ и удалось. Это уже не Овербеку чета и всей компаніи Крапаховъ съ лукомъ и пр. — Иду сегодня въ музей и взглянуть на Леонардо да Винчи вечеромъ. Затѣмъ пойду въ Scala взглянуть Ромео Гуно и залу и затѣмъ баста. Ничего не хочется смотреть, городъ à propos, шире, богаче и больше Флоренціи — новая галлерей, или пассажъ между соборомъ и la Scala необыкновенно изящна и грандіозна. Вотъ чего требуетъ нашъ вѣкъ отъ зодчихъ (....), такой галлерей и въ Парижѣ нѣтъ.

Письмо Огарева, пересланное тобой, получилъ и изъ Париза тоже, тамъ все готово, а потому я въ пятницу ночью или въ субботу поутру туда поѣду и оттуда въ Геную. Тамъ пробуду дня три — а можетъ и больше. Особенно важнаго туда не посылайте — а лучше прямо въ Ниццу — а тамъ что-нибудь черкните — именно, чтобы моя безграмотница Ольга написала обо всѣхъ, сверхъ васъ самихъ. Разсчитъ немудренъ.

Письмо это придетъ 19-го утромъ. Если Вы тотчасъ напишете, то я здѣсь или въ Туринѣ получу — если же напишете

²⁴⁾ Савичъ Ив. Ив., братъ Ник. Ив. Савича, члена Кирилло-Мефодіевскаго Общества. Былъ одно время учителемъ дѣтей Герцена. Въдствовавшій вначалѣ, И. И. Савичъ разбогатѣлъ впоследствіи на поставкахъ угля русскимъ пароходамъ.

²⁵⁾ Мальвида Мейзенбургъ.

въ Геную до востребованія, черезъ сутки, то я получу тамъ Газетъ, о которыхъ пишетъ Огаревъ, еще не получалъ. Мое письмо вѣроятно дошло. Затѣмъ всѣмъ бенедикціи и кому слѣдуетъ поклонъ. Огаревъ пишетъ, что уже о Кол. шумятъ. Та-та должна помнить, что ея рожденіе не 25 декабря, а конечно 6 января.

Книгу Наке я прочиталъ — плохо, бѣдно и угловато. Зато смѣло. Я ее пришлю Сашѣ изъ Швейцаріи. Саша, совершенно свободный въ сферѣ науки и теологій, далеко не такъ свободенъ въ понятіи о семьѣ, да и о практической жизни вообще. Наме не сдѣлаетъ переворота, онъ во многомъ вретъ, но расшатаетъ и заставитъ подумать. Мысль, что семья, такъ же, какъ Государство, форма и притомъ необходимая для развитія — но, что она должна быть перейдена, заставляетъ подумать. Книга о работникахъ Бевера — очень полезна, я ее пришлю.

1867, 23 декабря, Генуя, Отель Федеръ.

Я съ 1852 года былъ много разъ въ Генуѣ и никакъ не попадалъ въ тотъ отель, гдѣ были тогда съ Тессе и съ Сашей ²⁶⁾. Наконецъ - то добрался до него. Тотъ же корридоръ и старинные переходы, массивныя лѣстницы — чуть ли даже не тѣ же комнаты — въ которой Медичи у меня на постели поймалъ скорпіона (прочти въ «Быломъ и Думахъ», вѣроятно въ той же главѣ, гдѣ объ Орсини ²⁷⁾), къ тому же Записки Орсини такъ и воскресили давно прошедшее. Ты съ Ольгой были тогда въ Парижѣ у Марьи Каспаровны ²⁸⁾. Кстати, записки Орсини я за-

²⁶⁾ Весной 1852 г., потрясенный смертью своей жены Н. А., Герценъ уѣхалъ изъ Ниццы вмѣстѣ съ сыномъ Александромъ въ Геную. Тессе дю Мотэ, французскій эмигрантъ, очень преданный Герцену, сопровождалъ его сюда. Итальянскіе друзья, въ томъ числѣ Медичи и Орсини, соподвижники Гарибальди, окружили Герцена самыми «блжннмъ вниманіемъ». Нѣсколько недѣль, проведенныхъ съ Медичи въ Генуѣ, сдѣлали мнѣ большое добро», писалъ впоследствии Герценъ («Сб. и Д.» т. III).

²⁷⁾ Орсини, гр. Феличе (1819-1858), итальянскій революціонеръ, соратникъ Гарибальди. Казненъ въ 1858 г. во Франціи послѣ покушенія на Наполеона III, которому мстилъ какъ врагу освобожденія Италіи.

²⁸⁾ Марья Каспаровна Рейхель, урожд. Эрнъ (1823-1916). Въ юности жила въ домѣ отца Герцена, И. А. Яковлева, а затѣмъ въ семьѣ Герцена. Въ 1847 г. вмѣстѣ съ Герценами уѣхала за границу, въ качествѣ воспитательницы Коли, глухонѣмого сына Герцена. Была замужемъ за извѣстнымъ музыкантомъ, Ад. Рейхелемъ. Послѣ смерти

втра вамъ пошлою — читайте ихъ съ Ольгой, очень интересны — жаль, что онъ увлекается тогдашней злобой на Мац.

Воздухъ здѣсь мягче — видимо, что насъ балуетъ сыроватый, морской воздухъ и сыроватый на свой манеръ. Въ Миланѣ и Туринѣ безъ огня нельзя было сидѣть; здѣсь я еще не топились и кашель кажется уменьшается.

Письма еще ни отъ кого не получилъ — можетъ поѣду завтра или въ Рождество. И море тихо и дилижансы для Рождества пустой — еще не рѣшилъ. А старыя-то времена — изъ отеля посылаются паспорта во Флоренцію. Безъ визы рѣшительно не пропускаютъ черезъ французскую границу. *Avant de partir, je vous informerai, et certainement à l'adresse de l'honorable Olga, représentante de Mme Bakoffen.*

Ну что же Мещерскій²⁹⁾ пропалъ?

Если не будетъ контръ-ордера, пишете въ Ниццу 27 Мнѣ досадно, что я нагружилъ себя туристскими бумажками — это ужасно мѣшаетъ двигаться, франкировать и пр. Надобно лучше прикладывать *papier payé*.

Мальвидѣ поклонъ отъ меня и переводъ отъ васъ.

1867. 27 декабря. Ницца.

Проспавши цѣлую ночь на пароходѣ, безъ малѣйшей качки я прибылъ въ Ниццу. Свѣтло, ярко и не холодно. Я возвращаюсь къ прошлому письму, что итальянскіе города — памятники, ихъ надобно изучать, уважать, а жить — въ такихъ трактирахъ, какъ Ницца.

Подарки всѣ вручилъ. Лиза хлопочетъ о репетиціи для меня Сандрильоны. Все по старому. Мою кричитъ, Крафтъ³⁰⁾ стягиваетъ лицо, Висконти³¹⁾ (....).

Казино открыто, подъ почетнымъ предсѣдательствомъ Баварскаго короля... Экой старый шутъ. Завтра возьму билетъ на мѣсяць.

Колоколь франц. идетъ и Георгъ³²⁾ взялъ уже сверхъ

въ 1852 г. Н. А. Герценъ, обѣ дочери ея, Наталья и Ольга, жили первое время у М. К. Дружескія отношенія связывали семью Герцена съ М. К. Рейхель всю ея жизнь (см. М. К. Рейхель «Отрывки изъ воспоминаній». Москва. 1909).

²⁹⁾ Вѣроятно — кн. Александръ Николаевичъ Мещерскій. См. прим. 19.

³⁰⁾ Крафтъ — русскій эмигрантъ, бывш. студентъ, одинъ изъ обвиняемыхъ по процессу 1860 г.

³¹⁾ Книгопродавецъ въ Ниццѣ.

³²⁾ Книгопродавецъ въ Женевѣ.

обыкновенного числа 400 экземпляровъ. Виск. все продать бы по дорогѣ и русс. за цѣлый годъ. Засимъ, поздравляю съ Новымъ Годомъ.

Мальвида Филиппевна,

Матушка и Милостивая Государыня — поздравляю Васъ съ Новымъ Годомъ, который вѣроятно будетъ хуже всѣхъ предшествовавшихъ. Читаете-ли Вы объ ужасахъ въ Лондонѣ отъ (...): — Войну ждутъ, почти всѣ. Игнатъ еще не назначенъ на мѣсто Горчакова. — Русскихъ здѣсь тысячи. — Посылаю, когда же у васъ подпишутся.

Послѣ обѣда. Всѣ окна открыты, теплый день какъ лѣтомъ, я снова надѣлъ лѣтнее пальто. — Всѣхъ обнимаю, Нефталъ³³⁾ почти совсѣмъ ослѣпъ.

Je charge spécialement Olga de me faire un rapport sur la présentation du (...) Zabiela³⁴⁾ à Schiff, Effet, Speech...

Tu ajouteras mes félicitations. Je salue tout spécialement la petite Schiff — elle a été indisposée, lorsque j'ai quitté Florence.

У Огарева опять невралгія надглазнаго нерва, спроси у Левье рецептъ, нѣтъ ли какого, хинину онъ дуесть, но она не помогаетъ.

1868-й годъ.

17 января, 1868. Пятница. Ницца.

Вчера я послалъ тебѣ Кромвеля. Совѣтую прочесть со вниманьемъ. Особенно послѣднія главы. Все одно и то же. Людей ничѣмъ не научишь. Что за величественныя лица всѣхъ главныхъ участниковъ англійской революціи, что за сила и энергія и возстановленный король шалопай и воришка, дрянъ и папистъ, казнить ихъ и бѣгать, какъ мухъ хлопущей — и стадо народа стоитъ и смотритъ. Человѣчество вырабатываетъ на миллионъ негодяевъ, разъ въ сто лѣтъ одного порядочнаго человека. Кто же уроды — они, или стадо?

Только, что я дочиталъ Кромвеля, взялъ «Les Derniers Montagnards» — par Jules Claretie.

³³⁾ Доктѣрь Нефталъ, выходець изъ Россіи, познакомившійся съ Герценомъ въ 1861 г. въ Лондонѣ, затѣмъ обосновавшійся въ Америкѣ.

³⁴⁾ Забѣлло Пармень Петровичъ, скульпторъ, близкій знакомый Герцена. Ему принадлежитъ проектъ памятника, впоследствии поставленнаго на могилѣ Герцена въ Ниццѣ.

Это возмущеніе трехъ преріа (....)⁸⁵⁾ и процесъ Ромма и др. мы читали у Мишло вкратцѣ и это тоже — да совершенно тоже — я и ее пришло. Мишлэ говорить въ концѣ о Ж. Зандѣ. Вѣроятно онъ недоволенъ Колоколомъ. Онъ напечаталъ *La Montagne*. Надобно выписать.

Ницца какъ полная чаша, такого сезона давно не было, да и погода блестящая. Всѣ окна настежь. На променады — толпа въ блескахъ и шелкахъ. Русскихъ бездна. Суворова ходитъ въ бѣлой грузинской одеждѣ въ башлыкъ на головѣ. Если-бъ не такъ напоминала театръ, то ничего, даже хорошо.

А на-дняхъ Евгенийъ и Владимірова⁸⁶⁾. Вотъ что значитъ молитвы Батанова. У нея разболѣлась грудь и Устиновъ спрашивалъ, какимъ путемъ ее везти во Флоренцію и оттуда на югъ. Я сказалъ Нищей и совѣтовалъ ѣхать въ Пизу. Рекомендовалъ остановиться у Адельгейды и ее предупредить, отъ твоего имени. Помни, что Тхоржевскій на нее жалуется за паризмъ, консерватизмъ и полонофагію. Ты ее постroje прими въ передѣлъ. Это ничего, что коса длинная, — напротивъ, русская пословица говорить «у бабы волосъ дологъ, а умъ коротокъ». Пусть же она покажетъ, что у нея оба длинные. Будто гдѣ-то на гуляньѣ съ ней поговорилъ Государь — такъ и «очаровалъ» ее. Это zu lakeisch. Вотъ и все.

Въ Россіи новый журналъ «Современное Обозрѣніе» — старый на новый ладъ «Отечест. Записки» — я подписался.

А «Дымъ» прочти, за нимъ остается копоть и чадъ^{87a)}.

⁸⁵⁾ Возмущеніе 3-го Преріаля 1795 г. Роммъ — одинъ изъ шести присужденныхъ къ гильотинѣ «последнихъ монтаньяровъ», заколовшихся стилетомъ при чтеніи судебного приговора.

⁸⁶⁾ Евгенийъ — повидимому Евг. Исаак. Утинъ, одинъ изъ недоброжелательно къ Герцену относившихся молодыхъ эмигрантовъ въ Женевѣ. Владимірова Екатерина — сибѣтская дама, проживавшая за границей и стремившаяся сблизиться съ семьей Герцена. Герценъ не любилъ ее и опасался вреднаго ея вліянія на дочь. Устиновъ — помѣщикъ, женатый на сестрѣ Владиміровой. Батановъ — нижегородскій дворянинъ, арестованный за открытое чтеніе «Колокола» на волжскомъ пароходѣ.

^{87a)} Герценъ весьма неодобрительно отнесся къ новому роману Тургенева и особенно къ тому, что «Дымъ» появился у Каткова въ «Русск. Вѣстникѣ». Дружескія отношенія съ Тургеневымъ не помѣшали Герцену помѣстить въ «Колоколѣ» (майскій номеръ 1868 г.) рѣзкій отзывъ о романѣ: «А дѣды болтаютъ себѣ безъ конца и сляян, да кальянъ покуриваютъ, а продымленную воду сливаютъ въ передникъ Каткову». Тургеневъ добродушно принялъ жесто-

1868. 10, Воскресенье.

Милая Тата,

«Дымъ» мнѣ дѣйствительно не нравится, но въ русской литературѣ Тургеневъ все же не такой доженикъ, чтобы повольительно было не знать его сочиненій. «Кромвеля» вѣроятно ты получила.

Сегодня я пошлю вамъ «Liberté», тамъ для Мальвиды письмо Персиньи³⁷⁾, для Саши о Тессье — а для тебя букетъ, отъ котораго я съ утра прыгаю — это распоряженіе берлинскаго совѣта^{37а)} о высылкѣ всѣхъ поляковъ, которые не представляютъ 1.500 обезпеченія, или не хотятъ натурализоваться и за 800 фр. Я подлѣ мало видѣлъ дѣль. Читая это, почувствовалъ, что еще не совсѣмъ состарился. Я выписываю текстъ — ну ужъ заплачу «кобюргерамъ» моимъ. Мошенники.

Завтра должна прѣхать «Владиміровна», какъ ее называетъ Тхорж. — Ольгу цѣлую, она никогда не выйдетъ изъ простуды, если будетъ грѣться своей печью и не выходить, или мало. Очень прошу Мальvidу.

Дѣло маленькой Жираръ^{37б)} — все разыгрывается больше и больше, она умоляетъ ее спасти, хочетъ бѣжать и Богъ знаетъ что. Мать грозитъ ее запереть. Власть надъ mineur'ами страшная, а ей только 18 лѣтъ. Я долженъ былъ остановить и человѣческое чувство и Нат. Хоть бы мать ее отпустила куда-нибудь ѣхать въ Швейцарію — она, то-есть дочь, готова на все. Это кончится тѣмъ, что она однимъ прекраснымъ утромъ бросится въ море. Вотъ изверги-то.

Леони учится — она съ этой Сандрильоной хороша.

Отецъ страдаетъ и не смѣетъ защитить, а маленький братъ по части шпионства — доносить матери. Меня это занимаетъ,

кую критику Герцена. «Единственная вещь, которая меня самого грызетъ, это мои отношенія съ Катковымъ», писалъ онъ Герцену, и признавался, что его извиненіе — болѣе высокій гонораръ въ «Русск. Вѣсти.» — «не совсѣмъ твердо на ногахъ».

37) Герцогъ Персиньи — въ то время министръ внутр. дѣлъ во Франціи.

37а) Не бернскаго ли? Въ Берлинѣ совѣта не было; и дальше Герценъ, принявшій, какъ извѣстно, швейцарское подданство, выражаетъ негодованіе по адресу согражданъ, «кобюргеровъ».

37б) Въ семьѣ Жераръ, знакомыхъ Герцена по Нишцѣ, одна изъ дочерей, Луиза, была нелюбима матерью. Н. А. Огарева очень волновалась по поводу участія «Сандрильоны» и безуспѣшно пыталась ей помочь. Ср. ея «Воспоминанія» гл. XV.

какъ разсѣченъе собаки Шифомъ. До чего человекъ золь и мерзокъ.

Скажи Сашѣ, что Тургеневъ получилъ отъ меня вторую лекцію — въ восторгѣ онъ всѣмъ доволенъ, емкостью, свѣжестью и пр. Онъ ему и всѣмъ кланяется. Прощайте.

Сейчасъ получилъ отъ Огарева. Смерть Касатк.³⁸⁾ его перевернула и онъ имѣлъ обморокъ на улицѣ. Жена Кас. въ отчаяніи. Онъ вечеромъ здоровый ходилъ въ городъ — легъ спать и не просыпался.

Татѣ. 1868. 27 янв. Понедѣльникъ. Ницца.

Вотъ что здѣсь было. Дня четыре тому назадъ, въ десять часовъ вечера прѣехала М-мъ Гар.³⁹⁾ заплаканная съ Нини, — сказала, что съ отцемъ ея, что-то случилось на охотѣ въ Санъ-Ремо, и поскакала съ мужемъ туда — Нини осталась у насъ. Гар. воротился черезъ два дня. Старикъ 60 лѣтъ, въ минуту меланхоліи — застрѣлился. Дочь очень огорчена. Нини мила, смѣется. Лиза все слышала — и не проговорила ни однимъ словомъ (это семейная черта насъ всѣхъ и очень хороша).

О Влад. писать больше не хочу, отдѣляйтесь отъ нея. Я ея совершенно недоволенъ. Спроси подробности у Саши и письмо Тхорж. — Требую твердости. Я писалъ Ольгѣ, что фортопьяны ваши общіе — я ихъ купилъ по совѣту Мейзенбурга для Ольги, но не то, чтобы въ частную ея собственность.

О Германіи я только потому не писалъ — отвѣтъ, — что твое письмо пришло позже, — и я всегда отвѣчаю послѣ второго, а не прежде. Съ Волод. я писалъ. Выдумай планъ, комбинацію, что-нибудь, а то кажется, такъ взять да и ѣхать, въ Канеленбогенъ или въ Кривинель.

Я Н. предлагаю все же весной (то-есть въ маѣ) ѣхать въ Альзасъ, хоть посмотрѣть школы. Развѣ тогда что-нибудь придумаетъ.

Сегодня пишу мало. Лучшее, что можешь сдѣлать съ Влад., возьми выкройку башлыка и сдѣлай себѣ.

Что она скажетъ о голосѣ Ольги? Прощай. До слѣдующаго письма. Напиши что-нибудь Лизѣ, она все ждетъ. Я нахожу,

³⁸⁾ Касаткинъ Викт. Ив., эмигрантъ, одно время (въ 1865 г.) жившій съ семьей Герцена на дачѣ, въ такъ наз. *Côteau de Boissière*, около Женевы.

³⁹⁾ Госпожа Гарибальди, жена двоюроднаго брата Джуз. Гарибальди. Нини — ея дочь.

что она себя ведетъ лучше. У дѣтей бывають полосы, необъяснимыя физиологій.

Романы Ж. Зандъ читать нельзя — скучны.

Татъ. 3 февраля 1868. Ницца.

Не знаю, что за полоса — но всякое письмо начинается у насъ дурною вѣстью. Третьегодни ночью умеръ отецъ Мари Дональди ⁴⁰⁾ отъ аневризма. Онъ былъ боленъ, ему стало лучше и вдругъ умеръ 43 лѣтъ.

Ты такъ неясно пишешь, что я до сихъ поръ не понялъ, гдѣ Тагарин ⁴¹⁾, у вась или на квартирѣ. Напиши, если у вась, я отпишу объ этомъ Устинову.

Страшная исторія съ дѣвочкой Жираръ — продолжается, но что она будетъ дѣлать у Вол. Развѣ только для начала.

Громоръ ⁴²⁾ пишетъ мнѣ, что подрядился издать нѣсколько частей переводовъ съ русскаго для *Biblioth. du Chemin de Fer*. Я предложилъ отрывки изъ Былого и Думы (Сашинъ переводъ) тамъ будутъ (....) рассказы и «Кто виноватъ».

Ольгу цѣлую. Я читалъ съ Лизой «Дѣтство» Толстого, что это за прелесть. Кстати, Лиза на мои глаза много лучше себя ведетъ и мнѣ кажется, что ты не попала въ тактъ, когда была здѣсь. Затѣмъ прощайте. — Я весь распростужень.

J'ai écrit une longue réponse à Michelet ⁴³⁾. S'il m'autorise de l'imprimer — cela sera une bonne fortune. Je me (....) sans polémique. Il n'y a rien de plus ennuyeux que le monologue. Figurez-vous que dans le petit trou de Nice et de Cannes on vend le Kolokol admirablement.

1868. 18 февраля. Вторникъ.

Твоя послѣдняя записочка ко мнѣ, была отъ 5-го февраля. Я съ тѣхъ поръ писалъ, а ты спрашиваешь въ письмѣ Лизѣ, почему я не отвѣчаю. Къ тому же и вопроса не было. Развѣ одно твое письмо пропало?

Далѣе, не могу сказать тебѣ, чтобы быть особенно доволенъ

⁴⁰⁾ Виноторговецъ въ Ниццѣ.

⁴¹⁾ ? — установить не удалось.

⁴²⁾ Громоръ, переводчикъ и издатель по французски русскихъ классиковъ въ Парижѣ.

⁴³⁾ Мишле Жюль (1798-1874), знаменитый французскій историкъ, съ которымъ Герцена связывали давнія дружескія отношенія. Критикъ взглядовъ Мишле на Россію посвящена известная работа Герцена «Русскій Соціализмъ» (1859).

твоей излишней близостью съ Волод., она пустая и дрянная — ты хотѣла быть серьезной. Къ тому же у васъ явился, ей подь пару, дряннѣйшій Утинъ⁴⁴⁾ — онъ хуже своего брата, одинъ изъ затаенныхъ враговъ нашихъ. Онъ здѣсь ни разу не былъ у меня — и зашелъ наканунѣ отъѣзда. Я прошу быть очень осторожной съ ними и при немъ. Неужели Мещерскій не раскусилъ его? Что же при всемъ этомъ дѣлаетъ докторъ Герценъ?⁴⁵⁾ (онъ съ мѣсяцъ мнѣ не писалъ).

Отдай ему приложенный отрывокъ изъ *Liberté*. Мнѣ кажется, что Шифъ годъ тому назадъ дѣлалъ подобныя опыты — не мѣшало бы это написать въ *Liberté* — а можетъ для этого надо прочесть весь отчетъ Клода Бернара. Кланяйся кстати Шифамъ. 1-го марта въ Кол. будетъ отъ меня булавка *Temps* — подь заглавiемъ *L'imbroglio*.

Отправлены ли деньги за фортепiано (т. е. первая половина) — если нѣтъ, то когда нужно посылать вторую — что дѣлать? Въ маѣ можно послать и все съ вычетомъ у васъ. — Тебѣ я что-нибудь пришлю къ празднику. Начинаю подумывать о Женевѣ. Можетъ лѣтомъ и Н. поѣдетъ.

А что же Ольга тоже не пишетъ? Мейзенбургъ прошу быть здоровой. У насъ здѣсь все идетъ тихо и покойно. Дѣти ходятъ учиться. Мадамъ Гарибальди бонится думать о нашемъ отъѣздѣ, она опять въ Парижѣ. Крупъ, бродящій здѣсь, навелъ тучу.

Если Саша обдосужится, я его прошу написать мнѣ, я его прошу написать подробный рапортъ о вашемъ житьѣ-бытьѣ.

23 февраля 1868. Воскресенье.

Вотъ вамъ мой первый рапортъ объ Огар. — пишу почти слово въ слово, что написалъ въ Ниццу.

На первый случай, бѣда кажется миновала. Огар. свернулъ

⁴⁴⁾ Братья Утины, Евгений, Николай и Яковъ Исааковичи, русскiе эмигранты-снигилисты, принадлежавшiе къ молодому поколѣнiю эмиграци въ Женевѣ. Когда въ 1867 г. А. Серно-Соловьевичъ, пѣ то время уже полупомѣшанный и впоследствiи покончившiй самоубiйствомъ, издалъ противъ Герцена злобную и клеветническую брошюру «Наши домашнiя дѣла», Герцену, при посредствѣ бр. Утинныхъ и Николадзе, была предложена сдѣлка: С.-С. готовъ уничтожить брошюру, если ему будетъ уплачена соответствующая сумма. Правда, позже, раскаявшись, С.-С. на колѣняхъ просилъ у Герцена прощениа. Н. Утинъ въ 1877 г. унизиельно просилъ правительство о помиловании и получилъ разрѣшенiе вернуться въ Россiю.

⁴⁵⁾ Докторъ Герценъ — сынъ Герцена Александръ Александровичъ.

себѣ ногу и сломалъ кость наз. tibia, онъ долженъ пролежать два мѣсяца неподвижно, и потомъ три лежать просто. Маіоръ ⁴⁶⁾ боится одного — припадка въ первый періодъ. Но для этого принята діета. Levier не нужно.

Теперь о самомъ происшествіи. Съ привычками Огарева и его упрямствомъ предупредить дѣла было невозможно. Онъ постоянно бродилъ по вечерамъ одинъ. 19-го числа онъ былъ у Чернецкаго и въ четверть 11-го пошелъ домой. Чернецкій умолялъ его остаться, хотѣлъ идти съ нимъ — нѣтъ — онъ отказался — вѣроятно, по обыкновенью, онъ завернулъ въ свой кабачекъ — и по дорогѣ домой, возлѣ сумасшедшаго дома — упалъ въ обморокъ. Вставши онъ пошелъ цѣликомъ (....), забрелъ куда-то, запнулся и упалъ — хотѣлъ встать — и не могъ отъ боли. Это было въ 12 часовъ ночи — и онъ пролежалъ же не в с к у ю, февральскую ночь — всю до 7 часовъ утра. Разъ издали шелъ человекъ, тотъ подумалъ, что это сумасшедшій, бѣжавшій изъ больницы, и ушелъ. Наконецъ два итальянца, съ которыми Огаревъ выпивалъ въ кафе, замѣтили что-то на полѣ, привели карету, бросились за Маіоромъ. Когда они подошли къ нему, онъ спокойно курилъ трубку, говоря, что не можетъ встать. Мало этого, онъ рукой разорвалъ по эластикѣ ботинку и снялъ съ больной ноги.

Нравственно онъ совершенно покоенъ — и если бы не боль, онъ опять бы сидѣлъ въ своемъ кабачкѣ.

Тхоржевскій во всемъ этомъ выше всякой похвалы, бѣгалъ по нѣскольку разъ въ Lapsu, распоряжался и пр. Онъ спросилъ Маіора — телеграфировать ли — и Маіоръ совѣтовалъ, все приготовить — и при этомъ всегда «въ высочайшей степени» ворчить.

Ну что у васъ, пишете, я пробуду здѣсь дней десять.

Колок. и все въ конфузіи, бездна ошибокъ. Если еще нужно вамъ для подарковъ, напишите. Ольгу цѣлую — прощайте.

Chère Malvida, Faites-vous traduire cette horrible histoire, je suis fatigué — et c'est déjà mon second rapport! C'est le 20, qu'on m'a télégraphié — et le 22 à 4 j'étais déjà à Genève. Addio.

1868. 26 февраля. Среда.

Иалеченье Огар. быстро идетъ впередъ. Маіоръ только дивится его гигантскимъ силамъ и его способности выносить. Онъ говоритъ, что срокъ, когда ему можно снять бинты, будетъ ско-

⁴⁶⁾ Докторъ Маіоръ, женевскій хирургъ, лечившій Огарева.

рѣе и что мѣсяца черезъ три онъ будетъ становиться на ногу. Хромизны будетъ мало, но останется *gaideur*.

Телеграмму вашу я отдалъ Огареву, разумѣется онъ былъ ею очень тронутъ — до слезъ. Но дѣйствительно теперь ѣздить незачѣмъ. Вотъ развѣ лѣтомъ другое дѣло — мы съ Тхоржевскимъ думаемъ Огарева перевести въ Паки и тамъ найти домъ мѣсяца на три, для того, чтобы и Саша и ты могли приѣхать и Н. съ Лизой (вмѣстѣ или врозь, какъ вы хотите) насчетъ Ольги не знаю — она могла бы можетъ въ это время занять нашу квартиру въ Ниццѣ. Сдѣлай объ этомъ совѣтъ — напишите мнѣ проектъ — а я его здѣсь разберу, въ общемъ собраніи.

Aphorismata

по поводу психіатрической теоріи Д-ра^а медицины и хирургин
С. И. Крупова
сочиненье

Тита Левіафанскаго прозектора и анатоміи адъютанта профессора.

Поступаетъ въ печать, сначала по русски, потомъ по французски ^{16a}). Спроси Шифа — приятно ли ему будетъ, если Титъ Левіафанскій напишетъ: *Dédié au Professeur Maurice Schiff*.

Непремѣнно спроси Желѣзнова, печататъ ли тетрадь, которую онъ далъ мнѣ привезти — и сообщи ему, что я нашелъ въ кассѣ Колокола, какъ говорить Тхоржевскій, 71 франкъ за продажу Вазари.

Отъ Таландье письмо — всѣмъ, всѣмъ кланяется — съ любовью. Съ тѣхъ поръ какъ я здѣсь, солнца я не видалъ. Хорошо еще, что не очень холодно и бизы нѣтъ. Я встрѣтилъ одного швейцарца, который былъ въ Петербургѣ во время 40-41° мороза по Реомюру — *c'était du progre*.

Теперь вотъ что тебѣ — Тата — я скажу, что я нѣ отвѣчалъ *au projet Volkmar*, потому что принялъ его за *Château en Espagne au bord de la Spose* ^{16b}). Какіе же смыслы, кромѣ желанья двигаться? Какая спеціальность у тебя, которой особенно соотвѣтствуетъ Берлинъ. Если ты хочешь зани-

^{16a}) Въ 1847 г. въ «Современникѣ» была напечатана повѣсть Герцена «Докторъ Круповъ». «Aphorismata», написанное черезъ 20 лѣтъ (въ 1867 г.) послѣсловіе къ повѣсти, проникнуто характернымъ для настроенія Герцена въ эту эпоху крайнимъ пессимизмомъ.

^{16b}) Вмѣсто *Spose* надо вѣроятно читать *Sprée*: рѣчь идетъ о проектѣ поѣздки Н. А. въ Берлинъ (на рѣкѣ Шпрее).

маться чѣмъ бы то ни было — то еще во Флоренціи и въ вашемъ кругѣ (исключая владимірскихъ утятъ⁴⁷⁾ — пойдеть дѣло. Мало ли какія поѣздки хороши Ex. gr. въ Парижъ и Нью-оркъ. This is my humble opinion. Кстати, въ твоихъ милѣйшихъ письмахъ, ты слишкомъ много употребляешь изъ битыхъ выраженій (то, что я Сашѣ упрекалъ въ произношеніи). Это только безобразить слогъ — надобно быть genuine и говорить своими словами, а не чужими. Вотъ тебѣ и ораторское наставленье.

Милая Ольга,

Нигдѣ ни Plein, ни Palais, ни № 7, ни Женева, ни Тхоржевскій твоего письма не получили — или ты послала, кто носиль на почту Аск (....) или Ка (....)?

Напиши еще разъ Лизѣ, она всегда въ восторгѣ отъ писемъ. Объ Ага⁴⁸⁾ ты все знаешь. Прощай. А propos — *Domagé — le plus fécondement stérile* изъ смертныхъ, не хочеть дать статьи, такъ какъ не хотѣлъ возражать Шифу. Но пусть посылаетъ на Мишле, я не хочу печатать эту полемику. Итакъ, требуй его статьи.

1868 въ февралѣ.

Милая Тата,

Твое письмо отъ 17-го получилъ, сегодня 22-ое, то-есть на пятый день, или у васъ лежать они долго — или это странно. Вѣтеръ такой. Ты знаешь, что я съ мнѣньемъ Мальвиды и Саши согласенъ.

• Ты видишь, что не я одинъ о Флоренціи такъ думаю. Я и въ томъ согласенъ, что нѣмецкое движеніе интереснѣе узнать. Но что же можно думать о поѣздкѣ — развѣ лѣтомъ? Я полагаю, что лѣтомъ буду въ Швейцаріи (и Н.) — увидимъ тогда.

Je prie beaucoup Malvida de s'occuper de l'arrangement ultérieur à prendre — pour Mme Volodimiroff — c'est dommage, mais évidemment impossible de rester chez vous sur quoi nous sommes d'accord avec M. Oustinoff.

Въ мартѣ. 1868. 15, суббота.

Любезная Тата, милая Ольга и докторъ Герценъ.

Переписка съ вами очень затруднена отсутствіемъ отъ васъ писемъ — или полученьемъ отъ васъ записочекъ вродѣ Огаревскихъ, въ которыхъ вы извѣщаете о томъ, что писать некогда.

⁴⁷⁾ Владимірова и бр. Утины.

⁴⁸⁾ Такъ звали Н. П. Огарева въ семьѣ Герцена.

Неужели это слѣдствіе пріѣзда Володиміровой? А потому съ письм. прощайте.

Здѣсь умерла русская дѣвочка 9 лѣтъ отъ крупа — и ей дѣлали операцію, да возлѣ умеръ англичанинъ 20 лѣтъ, тоже отъ крупа. Н. испугалась и есть чѣмъ.

Въ Россіи голодъ страшный. Кстати, пишутъ, что я скоро увижу Кельсіева ⁴⁰⁾ che cosa che, какъ говорятъ французы. Какъ идетъ Кромвель?

Письмо во Флоренцію 40 сент., а не 30, какъ Тата поставила.

1868. 23 марта, понедѣльникъ.

Милая Тата,

Получилъ отъ Саши сегодня нотификаціи, что онъ 25 или 26 ѣдетъ — и какую-то экспликацію насчетъ худого устройства почтъ вообще и въ отношеніи Левѣ въ особенности. Если онъ еще во Флоренціи, то скажи ему, что письма, которыя посылаютъ — иногда, и то очень рѣдко (1 на 10.000) пропадаютъ, а тѣ письма, которыя не пишутся, никогда не доходятъ.

Переписка съ Флоренціей тягостна, потому что вы отвѣчаете по заказу, черезъ недѣлю, черезъ двѣ — сейчасъ съ 9 на 10 у Огарева былъ обморокъ.

Я писалъ 11-го

Писалъ 13-го Ольгѣ.

Писалъ 16-го Сашѣ.

Наконецъ Саша рѣшился самъ привезти отвѣтъ. А такъ какъ онъ могъ во время не написать, то Левіафанскій явится безъ посвященія Шифу. А Огаревъ напрасно мучился узнать мнѣнне Шифа. Ты видишь, что я гораздо больше довѣряю почтѣ, чѣмъ вамъ, хотя вы и почтенные люди. Поѣздка Саши лѣтомъ была бы лучше. Но бѣды нѣтъ. Отдалъ ли онъ тебѣ 100 фр. не въ счетъ абонеента?

У Огарева черезъ недѣлю послѣ перваго обморока былъ второй, нога опять осталась цѣла. У него сдѣлалось lumbago (колотье въ поясницѣ) и такъ какъ онъ отъ маленькихъ болѣй деморализуетъ столько же, сколько большими не занимается, то ему и плохо — вѣроятно по лицу, что и третій обмо-

⁴⁰⁾ Кельсіевъ Вас. Ив. (1835-1872), эмигрантъ. Совмѣстно съ Герценомъ издавалъ матеріалы о расколѣ въ Россіи, а также приложене къ «Колоколу» — «Общее Вѣче». Въ 1862-1865 гг. неудачно пытался устроить коммуну среди казаковъ-некрасовцевъ въ Турціи. Въ 1867 г. добровольно отдался русскимъ властямъ. Сотрудничалъ загѣмъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» Каткова.

рокъ будетъ не нынче, завтра. Наконецъ Сатинъ⁵⁰⁾ прислалъ ему денегъ 10.000 фр. Посылаю тебѣ портретъ Св. Юста, здѣсь появилось нѣсколько карточекъ съ портретовъ Версальской галереи — революціонныхъ людей 1792 года, въ слѣдующемъ письмѣ будетъ Ольгу дѣлюю, Мейзенбургъ жму руку. Прошай.

Отъ Огарева записка Сашѣ, я ее оставилъ. Какъ же у васъ понравился Левіафанъ?

2-го апрѣля — 1868. Четвергъ.

Письмо пришло. Я начинаю собираться, вѣроятно 7-го или 8-го уѣду, можетъ и Саша со мной. Завтра мы подымаемъ Огарева въ первый разъ. Иногда эти вещи и здоровымъ не обходятся безъ обморока. Черезъ недѣлю, онъ будетъ ходить въ комнату на костыляхъ — черезъ мѣсяцъ, можетъ первый разъ выйти. — Въ Женеву тебѣ нѣтъ ни малѣйшаго удобства прѣхать — да и нужды нѣтъ. — Самое лучшее держаться стараго плана — и прѣхать во вторую половину мая въ Ниццу. Потомъ въ Лозанну или въ Эвианъ. — До тѣхъ поръ можно сговориться.

Дѣло Саши рѣшено, остается (...). Сначала онъ будетъ доволенъ, потомъ боюсь многого, помимо денежнаго недостатка. Выучите Терезину⁵¹⁾ поскорѣе по французски, да и танцовать бы слѣдовало.

Да, Тага, мало что-то свѣта впереди. Огаревъ падаетъ силами и все глубже втягивается въ свою душную жизнь, Генри⁵²⁾ принесетъ ему много печали. Саша уйдетъ въ свою се-

⁵⁰⁾ Сатинъ Ник. Мих. (1814-1873), другъ юности Герцена и Огарева, женатый на сестрѣ Н. А. Тучковой-Огаревой. По договору, заключенному въ 1849 г., Сатинъ, за уступленное ему Огаревымъ имѣніе, обязался выплачивать Огареву ежегодно крупную сумму, но условленные платежи производились неаккуратно.

⁵¹⁾ Тереза Феличе (1849-1930?), молоденькая (18 л.) работница-итальянка, на которой въ 1868 г. женился Ал. Ал. Герценъ, къ немалому огорченію отца. См. также прим. 56b.

⁵²⁾ Генри — сынъ Мэри Сутерландъ, англичанки, игравшей большую роль въ жизни Огарева, послѣ расхожденія его съ женой. Потрясенный семейной катастрофой, Огаревъ, всегда страдавшій пристрастіемъ къ вину, сталъ чаще пропадать въ кабакахъ. Здѣсь, на лондонскомъ днѣ, произошла въ 1859 г. его встрѣча съ М. Сутерландъ, проституткой... Случайная связь превратилась въ прочную привязанность, длившуюся до самой смерти Огарева, вырвавшего молодую женщину изъ омута и замѣнившаго отца ея сыну Генри. Мучительную исторію своего сближенія съ М. Сутерландъ Огаревъ съ без-

мѣнную жизнь — тоже не вѣчную... Мнѣ иногда становится страшно за всѣхъ насъ. Куда поѣдетъ Мальвида, въ Спецію, С.-Теренцо?

Посылаю портретъ А. Шенье. Ты напрасно думаешь, что портреты натянуты, они брали тогда эту позу, — кстати съ портретами, какъ идетъ копія съ портрета Ге?

Саша все бѣгаетъ и благодаря разстоянью отъ Ланси мы его почти не видимъ. Сегодня онъ пишетъ Фогту³³) — мирное предложеніе и вѣрно сдѣлаетъ ему мигрень. Прощай.

пощадной откровенностью повѣдалъ въ письмѣ къ Герцену (1859 г.): «Давно я собираюсь поговорить съ тобою, Герценъ, и все какая-то не могутъ, и не ловко, и стыдно, и языкъ не ворочается. Хочется начать смѣясь и шуточно... и что то претитъ; чувствуется, что шутка своротится въ серьезъ и комедія выкажетъ свои трагическія черты... Когда N. сказала о любви къ тебѣ, можетъ ты и замѣтилъ, что я не сразу подался... Я на нѣкоторое время увлекся любовью къ тебѣ и къ ней, я повѣрилъ въ мечту соединенія трехъ въ одну любовь... но ревнивый элементъ у нея сталъ брать такой верхъ, что я скоро разубѣдился въ мечтѣ... Разъединеніе началось. Я чувствовалъ себя обиженнымъ въ святая святыхъ сердца... Оскорбленный и измученный, я не зналъ, куда дѣваться, и чѣмъ жестче были отношенія N. къ тебѣ, къ дѣтямъ и скоро ко мнѣ, тѣмъ сильнѣе хотѣлось хоть минуту побыть въ какой нибудь кроткой обстановкѣ жизни, чтобы вздохнуть свободно. Fансу (иллюзія) вѣроятно помогла... я, какъ дуракъ, врѣзался въ погибшее, но милое созданіе. И стыдно, и смѣшно за самого себя... А между тѣмъ, мнѣ хорошо; положимъ, что это все fансу и ложь, а у меня на сердцѣ стало легче... на долго-ли? Мнѣ откликнулось какимъ-то мягкимъ женскимъ обращеніемъ со мной. Больше я ничего и не думаю, любить меня, въ мои лѣта, существу неразвѣтому, съ виду простодушному, хотя тамъ чертъ знаетъ, можетъ и хитрому, невозможно. Въ другомъ письмѣ того же времени Огаревъ повторяетъ: «Видя N. и тебя, видя васъ — я страдаю какъ каторжнѣй, — а тамъ я отдыхаю... Ошибусь — не заплачу, а ребенка спасу — это рѣшено». Совмѣстная жизнь Огарева съ Мэри началась только въ 1865 г. въ Женевѣ. Послѣ смерти Герцена Огаревъ возвратился въ Лондонъ, гдѣ прожилъ съ Мэри до своей кончины въ 1877 г. Мнѣнія о личности Мэри знавшихъ ее не одинаковы. Н. А. Огарева, врядъ ли въ данномъ случаѣ объективная, относилась къ ней рѣзко отрицательно. Т. П. Пассекъ, видѣвшая Мэри въ 1873 г., пишетъ о ней: «Мэри мнѣ понравилась — добрая, простая, она заботилась о постоянно больномъ Никкѣ». Переписка Огарева и М. Сутерландъ, опубликованная недавно въ Сов. Россіи («Архивъ Огаревыхъ», Госиздатъ, 1930), свидѣтельствуетъ о ихъ искренней и серьезной взаимной привязанности.

³³) Проф. Карлъ Фохтъ, известный нѣмецкій зоологъ; эмигрировалъ въ 1848 г. изъ Германіи; въ Швейцаріи былъ профессоромъ зо-

Прочтите съ большимъ вниманьемъ мою статью въ отвѣтъ Мѣрославскому^{53а}) въ Кол.

Цѣпочку и промѣняю. — Въ Швейцар. (...) 30 сент., а не 40, зато во Францію 40, а не 30.

1868. 28 марта. Суббота.

Ждемъ сего дня въ 9 часовъ вечера Сашу на желѣзной дорогѣ нога идетъ хорошо, Маюръ общаетъ 2-го апрѣля попробовать привстать — затѣмъ костыли — а черезъ мѣсяцъ можетъ и выйти на костыляхъ. Онъ ослабъ, маленькія болѣзни его сердятъ — вообще теперь видно, что силь-таки потрачено. О Сашѣ не заботься, все будетъ, какъ ты писала.

Ну и такъ.

1868. 13 апрѣля, понедѣльникъ. Марсель. Gr. Hôtel Londres.

Вотъ я и въ Парижѣ побывалъ и дѣла всѣ устроилъ и сегодня ночевалъ здѣсь — черезъ два часа ѣду въ Ниццу и буду тамъ около 7-ми часовъ. Нат. все жалуется на болѣзнь, да и на тебя, что ты не пишешь. Съ Волод. она какъ-то подружилась и В. даетъ уроки Лизѣ.

Если ты въ самомъ дѣлѣ Ольгѣ полезна — то врядъ ли нужно тебѣ торопиться. Обдумай все хорошо. Мнѣ жаль, что Саша не хочетъ сдержатъ обѣщанья и ждать до Нового года. Радоваться его судьбѣ я не могу — она ничѣмъ впередъ не обусловлена. И трудно пойдетъ его жизнь именно во Флоренціи. Нельзя же ей бросить своихъ родителей — и все это падетъ Сашѣ на плечи. Но я не вижу больше силъ остановить. Такъ какъ мало ихъ вижу — въ томъ, чтобы остановить житье Огарева и черныя фантазіи Нат. Жизнь трудна, сложна и тому только хорошо, кто вводитъ больше разума въ нее и меньше увлеченій.

ологин въ Женевѣ. Его отецъ, профессоръ-медикъ Ад. Фохтъ, былъ профессоромъ въ Бернѣ. Съ семьей Фохтовъ Герценъ всегда подерживалъ тѣсныя дружескія отношенія.

^{53а}) Мѣрославскій Людвигъ, польскій революціонеръ, участникъ возстаній 1831 и 1863 гг. Въ своей статьѣ («Kolokolъ», апрѣль 1868 г.) Герценъ энергично протестовалъ противъ ложнаго утвержденія Мѣрославскаго, будто въ переговорахъ 1862 г. съ делегатами Варшавскаго Комитета Герценъ и Огаревъ, вмѣстѣ съ Бакунинымъ, согласились принять на себя «верховное руководство польскимъ возстаніемъ».

Мнѣ иногда кажется, что ты на опытѣ докажешь это. На чьей-нибудь судьбѣ надобно бы остановиться съ улыбкой.

Я не совсѣмъ вѣрю, чтобы Ольгѣ очень нужно было одиночество — успѣхи ея (кромѣ музыки, о которой судить не могу) такъ же плохи, какъ и прежде. А такъ какъ Огареву теперь ухоть никакой не нуженъ — то и надобно все обдумать. Нат. только и пишетъ о пансіонѣ, о пансіонѣ — это фантазія. Саша тебѣ, вѣроятно, отдасть цѣпочку, нравится ли? — Холодъ ужасный и мистраль — вотъ тебѣ и Марсель. — Прощай, цѣлую тебя.

Гартманъ⁵⁴⁾ кланяется и Степанъ Араго⁵⁵⁾ тебѣ, въ Парижѣ всѣ были очень милы, наши акціи опять поднялись — благодаря франц. Колоколу.

Я встрѣтился съ Рубинштейномъ⁵⁶⁾ — онъ въ (...) въ Парижѣ. Ничего, даже выпили за твое здоровье à la gusse.

1868. 20 апрѣля. — Понедѣльникъ.

Милая Тата,

Твое письмо къ Нат. навело меня на разныя думы. Оно показываетъ, что ты не лѣтами, а и духовно вступила въ совершеннолѣтье и начинаешь разсматривать шероховатую сторону жизни. Это понимаешь на тебя кладезь отвѣтственность и потому я былъ правъ, говоря тебѣ въ прошломъ письмѣ, что можетъ на твоей судьбѣ улыбнется намъ свѣтлый закатъ. Дѣло Саша я считаю проиграннымъ — онъ три (а можетъ и больше) раза шелъ на гибель упрямо и притомъ холодно-влюбчивымъ характеромъ. Симптомы были тѣ же — онъ говорилъ съ маленькой, пустой Уриксъ^{56а)} — такъ какъ Мейзенбургъ объ Оль-

⁵⁴⁾ Гартманъ Морисъ, нѣмецкій писатель и поэтъ.

⁵⁵⁾ Араго Этьеннъ, французскій журналистъ и драматургъ, участникъ революцій 1830 и 1848 гг.

⁵⁶⁾ Или одинъ изъ двухъ братьевъ Рубинштейнъ, знакомыхъ Герцена по Москвѣ еще съ дѣтства, или Ант. Рубинштейнъ, знаменитый пианистъ, также встрѣчавшійся съ Герценомъ въ Парижѣ.

^{56а)} Бракъ А. А. Герцена и Терезы Феличе, оказался, вопреки опасеніямъ отца, прочнымъ, на всю жизнь и, повидимому счастливымъ. Урика — Эмма Урихъ, внучка проф. Ад. Фохта, съ которой А. А. Герценъ познакомился въ Бернѣ въ 1859 г.; но бракъ съ нею, на который Герценъ далъ согласіе скрѣпя сердце, отложенный на годъ, такъ и не состоялся. Кто была Берта — мы не знаемъ. Трагически окончилось увлеченіе А. А. Шарлоттой Гетсонъ, англійской двуш-

гѣ — онъ мнѣ писалъ о Бергѣ, что она геній. Съ Урикой онъ былъ нѣмцемъ и все мѣшанское, нѣмецкое отстаивалъ, съ Бертой — enlightened gentleman и теперь защитникъ массъ и работниковъ — проповѣдующій противъ танцевъ. Какъ миновали Урика и Берга, ты знаешь. Большой надежды на прочность нѣтъ — а когда цѣпь будетъ на шеѣ, она останется. Вотъ, Тата, тутъ и учись, что несчастье почти всегда простое послѣдствіе, люди это называютъ наказаньемъ, — а это просто силлогизмъ. Ты промочила ноги, у тебя насморкъ отъ мокрыхъ ногъ — то пенять нечего и ты виновата передъ собой. Я хотѣлъ остановить Сашу только на время, онъ нашелъ это справедливымъ, а исполнить не хочетъ. Мнѣ страшно, я отворачиваюсь, и не могу, мнѣ это сосетъ подъ ложкой.

Точно такъ — все нестройство жизни моей и Огарева — послѣдствіе, но совсѣмъ иныхъ элементовъ. Для насъ семейная жизнь была на второмъ планѣ, на первомъ наша дѣятельность. Ну и смотри — пропаганда наша удалась, а семейная жизнь пострадала. Избалованные окружающимъ, въ борьбѣ съ міромъ традицій — мы были такъ сказать дерзки, думали, что все сойдетъ съ рукъ, были ужасно самонадѣяны — ну и сорвались — должны были срѣзаться, такъ, или иначе — это неважно. Наприм., Огаревъ могъ не ломать ноги, или сломать руку, но несчастье его совершенно послѣдовательно и чувство этого прибавляетъ къ горечи торечи. Больно мнѣ было слышать отъ Саши обвиненье въ настоящемъ сумбурѣ (и я на его мѣстѣ не сдѣлалъ бы можетъ его) — но онъ правъ. Все это ведетъ къ вопросу — гдѣ же выходъ?

Конечно, одинъ изъ самыхъ натуральныхъ — это если бы ты вышла замужъ — Ольга жила бы съ тобой и мы могли бы

кой, съ которой онъ сблизился въ Лондонѣ въ 1862 г. Послѣ того какъ у Ш. Гетсонъ родился (въ 1864 г.) ребенокъ (Александръ, или Тутсъ, какъ его звали въ семьѣ Герцена, о которомъ будетъ рѣчь дальше) — А. А. охладѣлъ къ ней. Въ годы, къ которымъ относятся эти письма, Тутсъ жилъ въ Женевѣ у Огарева. Сюда въ 1867 г. прѣхала Ш. Гетсонъ; будучи не въ силахъ перенести разрывъ съ А. А., она покончила съ собой, бросившись въ рѣку Рону въ Женевѣ. Тѣло ея, унесенное теченіемъ, было найдено лишь три года спустя, въ 1870 г. Гибели Ш. Гетсонъ Огаревъ посвятилъ свое стихотвореніе, начинающееся строками:

«Безлунною ночью плылъ трупъ по рѣкѣ.
Увязъ, зацѣпившись въ подводномъ пескѣ,
И годы лежалъ онъ на этомъ погостѣ,
Покуда остались голыя кости»...

всѣ географически сдвинуться. Но не я стану тебя подталкивать. Если-бъ Нат. рѣшительно и рѣзко хотѣла завести школу въ Швейцаріи — черезъ годъ можно было бы прикнуть къ ней и тебѣ. Но для этого надо психическое сближеніе, котораго нѣтъ. Здоровье Н. плохо, Лиза опять одна и тотчасъ больше шалить. До сихъ поръ ты ей не была полезна и выкинувъ въ дѣло, я виню тебя.

Ты бралась кель тель учить, ходить, — бросила (какъ все, что ты дѣлаешь), забывала и дѣйствовала ироніей. Когда къ этому прибавить раздраженіе Нат., то это почти все, что надо для порчи ребенка. А потому для воспитанья нуженъ тебѣ трудъ самовоспитанья.

Сѣдемся лѣтомъ — пожалуй, позже, въ іюль, августъ — въ Швейцаріи и посмотримъ, что можно. Мнѣ кажется, что во Флоренціи вамъ жить будетъ трудно. Это не конецъ, продолженіе послѣ твоего отвѣта. Прощай.

Р. С. Владимірова оставила мнѣ прекрасную книгу для Ольги о звѣряхъ и тебѣ рубашку, шитую шелками. — Какъ ихъ переслать, не знаю. То-есть книгу-то легко (я ее читаю съ Лизой), но рубашку нѣтъ. Благовъ оставилъ Драпера (Алеф. Бѣклъ) — тебѣ было бы полезно. — Прочтите вмѣстѣ статью Вельме.

Ольгѣ буду писать слѣдующее письмо. Обнимаю ее. Когда же она начнетъ учиться медицинѣ? Саша могъ бы приготовлять.

(Окончаніе слѣдуетъ).

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Андрей Бѣлый

Смерть обрѣкает человѣка, придаетъ ему ту послѣднюю черту, которая нужна для законченности образа. Живой ускользаетъ, сбывая насъ случайными выкриками, смѣною настроеній, мимолетными словами и жестами, всей своей устремленностью въ будущее. Мертвый остановленъ: обращенный къ прошлому, онъ самъ становится прошлымъ. Онъ даетъ приглядѣться къ себѣ безъ торопливости: изъ зыбкой фигуры смерть выдѣлываетъ твердый, недвижимый образъ, которому суждено сохраняться безъ измѣненій. Эту работу, своего рода снятіе гипсовой маски, мы производимъ надъ ушедшимъ почти безсознательно. Льются воспоминанія, застывающія недвижною массой, укрупняются отдѣльныя выбранныя черты, наизываются слова и поступки; все, мѣшающее цѣльности отливаемой фигуры, отбрасывается въ забвеніе.

Когда Андрей Бѣлый исчезъ, тотчасъ стали собираться для «отливки», осколки словъ, обрывки встрѣчъ, частныя его вещи: но собранное снова осыпалось, будто не имѣя общаго ствола. Въ памяти онъ остался «будто живой»: такой же зыбкій и противорѣчивый, какимъ видѣлся въ послѣдныя берлинскія встрѣчи.

Колеблющійся въ полутьмѣ комнаты, самъ полутемный, окутанный тѣнями; усталый голосъ, слегка понурое тѣло, нити тонкихъ свѣтлыхъ волосъ, желтая тихость узката лица. Весь какъ будто издали, несмотря на пламень словъ, рѣшительность утвержденій, настойчивость желаній. Изъ сохраненнаго памятью невозможно сдѣлать лица «навсегда». И кажется вся трудность жизни Бѣлаго, вся мука, на которую онъ не уставалъ жаловаться, заключалась въ этомъ отсутствіи единственности лица: онъ былъ «тотъ, кого не было».

«Знаю: душа, сбросивъ тѣло, впервые читаетъ, какъ книгу, свою біографію въ тѣлѣ: и видитъ, что кромѣ біографіи въ тѣлѣ, еще существуетъ другая, которая есть біографія - собственная. писалъ онъ въ «Московскомъ Альманахѣ». Эту «біографію - собственную» онъ старался отразить въ стихахъ и въ прозѣ, подчеркивая, что матеріаломъ всѣхъ его художественныхъ произведеній является пережитое лично.

«Знаю, что въ жизни моей есть двѣ біографіи: біографія насморковъ, потребленія пищи, сваренія, прочія естественныхъ отвлеченій, считать біографію эту — моей — все равно, что счи-

тати биографією биографію этихъ воть брюкъ». Бѣлый ранѣе пытался написать биографію подлинную: «она безпричинно вторгается снами въ бессонницу бдѣній». Въ Россіи же онъ написалъ «биографію этихъ воть брюкъ». При сопоставленіи «На рубежѣ двухъ столѣтій», «Начало вѣка» и «Между двухъ революцій»*) съ автобиографическими прежними писаниями Бѣлаго, эта разница очевидна: недаромъ онъ предупреждалъ о существованіи «двухъ биографій».

Даже привычные составители совѣтскихъ предисловій вынуждены были эту разницу отмѣтить: «Эти мемуары обращены къ совѣтской современности. Поэтому это не столько объективная исторія истекшихъ событий, сколько попытка объясниться съ современностью, оправдаться передъ нею, попытка посмотрѣть новыми глазами на собственную биографію». У Бѣлаго «модернизация» биографіи пошла настолько далеко, что Цезарь Вольпе разъясняетъ въ предисловіи: «однако въ дѣйствительности дѣло обстояло конечно не такъ». «Оправдаться» Бѣлому не удалось и его со всеми остальными заставляють раздѣлять «свойство буржуазнаго сознанія въ эпоху империализма». Попытка отмежеваться отъ символизма, создать себѣ единое лицо правовернаго марксиста, которая составляетъ основной смыслъ книги «Между двухъ революцій», встрѣчаетъ, какъ оправданія тургеневскаго Паклина, жесткій от-

вѣтъ: «шепчи, шепчи, не отшепчешься».

Прежде всего Бѣлый «отшепчивается» отъ соловьевскаго дома и отъ Александра Блока. Расхождениемъ съ нимъ Бѣлый пытается придать политическій характеръ: «я сталъ отдаваться бесѣдамъ съ социаль-демократами, ориентация Блока жъ эсеровская». Появляются неожиданныя параллели: апо мѣрѣ отхода отъ Блока, первоначально я социальнымъ протестомъ», «въ миги, когда зарылись искры того, что привело къ разрыву съ поэтомъ, былъ убитъ Плева и бомбою разорвали великаго князя Сергѣя», «въ моментъ перваго столкновения съ Блокомъ вспыхнуло возстаніе на броненосцѣ Потемкинѣ». Сложная психологія любви къ Щ. (единственное обозначенное инициалами и не раскрытое полностью имя въ книгѣ) сворачивается на отношеніе къ капитализму: «чтобы понять, надо кричать какъ меня обманули, что значило: назвать имена Щ. и чудища, скрытаго въ нѣдрахъ капитализма». Но по собственнымъ прежнимъ его воспоминаніямъ, «чудищемъ» было двойственное чувство Щ., колебавшейся между Бѣлымъ и Блокомъ и многократно «обманывавшей» поэта неоправдавшейся надеждой: связь съ «капитализмомъ» не можетъ быть изобрѣтена даже съ натяжкой. Созданная искусственную связь словами, путая прежнія показанія, Бѣлый настойчиво хочетъ навязать себѣ и другимъ это новое свое «я»: обличителя капитализма, проповѣдника «Эрфуртской программы», всегда ощущающаго «ненависть ко всему режиму, а не къ дырамъ его, въ Пе-

*) Андрей Бѣлый. Между двухъ революцій. Изд. Писателей в Ленинградѣ. 1937.

рижѣ читавшаго только Юманн-та, и въ самомъ символизмѣ видѣвшаго лишь «диалектической материализмъ». Бѣлый проводитъ параллель между теоріей символизма своихъ «Арабесокъ» и тѣмъ, что черезъ двадцать пять лѣтъ писалъ Ф. В. Гладковъ. Въ Берлинѣ, излагая въ «Воспоминаньяхъ о Блокѣ» свое идеологическое развитіе, онъ этой связи съ Гладковымъ не замѣчалъ. «Я», которое онъ тогда пытался опредѣлить въ «Сумасшедшемъ», было не марксистское; — его «я» чувствовало себя «чащей, Граалемъ, въ который спускается духъ», человеческое «я» онъ отождествлялъ съ Христомъ и вѣрило, что «она родилъ, въ русской землѣ, мое тѣло взорветъ все, что есть; и огромной атмосферой свѣта поднимется надъ городами Россіи; глава дымовая моя приметъ «Я» или Солнце, которое свергнется; Ея, гряди Господь». Тогда онъ «припадалъ къ себѣ самому» и не думалъ, что надо припадать къ Гладкову, клясться Эрфуртской программой и объяснять свои статьи 1907 г. близостью къ Жоресу, съ которымъ въ Парижѣ завтракалъ въ одномъ пансюнѣ, не заводя политическихъ съ нимъ разговоровъ и не бывая на политическихъ его выступленияхъ. Перекрашивая въ единый марксистскій цвѣтъ всю многокрасочную свою биографію, Бѣлый, всегда столь точный, допускаетъ грубую ошибку: вмѣсто «Новой Жизни» Минскаго онъ называетъ газетой, въ которой сотрудничалъ Ленинъ, меньшевистское «Начало», тѣмъ выдавая, что на самомъ дѣлѣ въ тѣ времена мало интересовался политическими партийными вопросами.

Заграницей со смертью Блока «собривалась пѣсня пѣсней» и «въ созвѣздіи (Пушкинъ, Некрасовъ, Фетъ, Баратынскій, Тютчевъ, Жуковскій, Державинъ, Лермонтовъ) вспыхнуло: Александръ Блокъ». Въ Россіи же: «не была я — чортъ возьми — идиотомъ, чтобы отношеніе къ революціи измѣривать Баокампъ». Самъ же Блокъ юношескихъ встрѣчъ видится «точкомъ, переполненнымъ всяческими традиціями неизжитого барства, туюкъ этотъ надо «субрать съ дороги». Надо прежде всего, не дать «изъ докихотства», «чтобы онъ блестялъ какъ самоваръ». Берлинскія воспоминанія о Блокѣ становятся препятствіемъ и Бѣлый спорить съ прежнимъ собою: «воспоминанія, напечатанныя въ берлинскомъ журналѣ «Эпопея» въ 1921-22 годахъ, продактованы горемъ утраты близкаго человѣка: въ нихъ образъ «сѣраго» Блока непроизвольно мной вычищенъ: себѣ на голову; чтобы возблистала Блокъ, я вынужденъ былъ на себя навязать колпакъ». Теперь онъ хочетъ «напялить колпакъ» на Блока, но и тутъ «не попалъ въ цѣль, ибо новый тусклый Блокъ, лишенный прежняго блистанія, еще «не готовъ» у Бѣлаго. И вмѣсто живого образа, начертаннаго въ Берлинѣ, Бѣлому удается подставить лишь пустую «біографію брюкъ», скучную повѣсть всяческаго соперничества, мелкой злобы, и вѣдливой зависти. «Боренька росъ гадкимъ утенкомъ, а Сашенька лебеденочкомъ», дѣтство у Блока «подало книгой его тетушки маршанновыми бомбониками въ опрятненькой бомбоньерочкѣ», «Сашеньку улагодворяли до вспыхиванья чувственности, Боренька

жизнь отказомъ отъ себя», хотъ Саши мысли не требовали, поклонились мудрости его всякаго вякз», а Боря долженъ былъ таить-ся отъ родителей, подставляя вмѣсто себя «фабрикаты». Блокъ спокойно шелъ къ славъ, и во время роста имени Блока «Андрей Бѣлый къ концу 1909 г. стоялъ едва ли не за порогомъ литературы», въ газетахъ 1908-1910 гг. упоминались всѣ имена «за исключеніемъ Бѣлаго», а въ памяти Бѣлаго застрялъ рѣзкій отзывъ въ 1907 г. и негодобрительная фраза Теффи. Переходы изъ одного изданія въ другое, смѣны друзей опредѣляются личными мелкими обидами, уколами чувствительнаго самолюбія обиженнаго «Бореньки», ибо не всѣ идеологическія разногласія тогдашнихъ дней можно было бы подвести подъ «Эрфуртскую программу» и «вліяніе Жореса». Образъ самого Бѣлаго тускнѣветъ, подергается корчамъ обидъ, покрывается досадной лѣтсенью личной мелочности: Блокъ въ рѣдкія минуты, когда Бѣлый отдается чистому воспоминанію, снова «блеститъ какъ самоваръ», вопреки авторскому заданію «напаялить коллакъ». Даже въ мучительной исторіи съ Щ. тихость Блока, избѣгающаго объясненій, отказывающагося отъ безцѣльной дуэли, лѣнясь правдою, наряду съ толчками настроеній Бѣлаго, который считаетъ всю свою позднѣвшую болѣзнь лишь слѣдствіемъ тогдашнихъ нравственныхъ мученій; неискренность и двойственность Щ. привели къ гнойному нарыву, чуть не повлекшему зараженія крови, и къ «проливію крови подъ ножомъ хирурга».

Если бы можно было признать у Бѣлаго наличіе такой зависимости физиологической жизни отъ душевной, то книга «Между двухъ революцій» объяснила бы причину ранней его гибели. Все во внѣ и внутри него темно въ этой жуткой книгѣ, которую трудно читать подрядъ: жить въ такой темнотѣ невозможно, долженъ быть выходъ въ прозрѣніе или въ смерть. Передъ отъѣздомъ въ Россію Бѣлый былъ увлеченъ мечтою о Храмѣ: «въ полночи, остановившись въ виднѣи Храма, низвегнуться снова и строить себѣ новый Храмъ». Онъ вѣрилъ тогда: «моя родина-братство народовъ». Онъ спѣшилъ туда, «гдѣ стоитъ пустой храмъ», куда «спойдетъ Онъ», «Богъ сошедшій изъ неба, среди насъ воплощенный» и утверждалъ: «Знаю Его». Въ «Моей биографіи» онъ опускается въ «невнятицу», какъ въ хаосъ передъ твореніемъ новаго міра. И вотъ: «Соединеніе съ космосомъ совершилось во мнѣ: мысли міра спустились до плечъ: лишь до плечъ «Я» свой собственный, съ плечъ поднимается куполъ небесный. Я собственный черепъ, снявъ съ плечъ, поднимая, какъ скипетръ, рукою моею». Во вступительной статьѣ къ «Эпопее» онъ поясняетъ свою мысль внятно: «Я», которое въ «Сумасшедшемъ» отождествляется съ Христомъ, «Я», покидающее тронъ сознанія, чтобы просвѣтить разумомъ всѣ мірады клѣточекъ, для него «Чело въѣка», единственный смыслъ бытія. «Пролетарская культура естественно завершится культурою «Я», индивидуума, преодолевшаго личностью общество: въ Интеръ-Индивидуаль, преодолевающимъ Интеръ - Националь».

Ему видится «герой Интеръ-Индивидуала середины XX - го и XIX - го вѣка: то «Я» Чела вѣка, то «Я» выходящего вѣка, въ которомъ не «Я» личное, а — Христосъ. Второе пришествіе (въ «Я») — совершается. Для тогдашняго Бѣлаго совершающееся въ Россіи лишь предвѣстіе подлиннаго: «впереди пролетарія — герой будущаго; ояъ — герой предстоящей трагедіи, выходящій къ вершинамъ необходимаго перевала». Перевалъ видѣлся ему близко: въ 33-емъ году: «такіе герои намъ открываются вскорѣ: до 33-го года нельзя еще видѣть ихъ», до 33-го года, повторяетъ ояъ, можно лишь «замѣчать», послѣ же все станетъ отчетливо видно. Это настойчивое упоминаніе года, ставшаго лично для него «переваломъ» къ смерти (или къ послѣдней «зрѣчести» въ окончательной свободѣ), поражаетъ въ его давнихъ писаніяхъ: въ со- вѣтскихъ тоски о «зрѣчести» уже нѣтъ, все заволокла глубокая тьма, среди которой прыгаютъ, дергаются «подвѣщенные, на чуждыхъ «растопыркахъ» наскоро подобранныхъ «программъ», чьи-то «брюки» въ «біографіяхъ».

У всѣхъ, воспоминающихъ по страницамъ воспоминаній Бѣлаго какимъ-то макабернымъ галопомъ, сталкиваясь, расклавываясь въ бойкой кадрѣ, и вновь исчезая, вынута все внутреннее содержание и оставленъ какой-либо случайный признакъ, по которому, какъ группы, можно ихъ «опознать». Все существенное исчезло въ этомъ: «со стула вакааетъ Бальмонтъ», «Мейерхольдъ — носъ на цыпочкахъ», лорнетка Гиппиусъ, чонмартрскіе кабачки, по которымъ водить Минскій. Въ бара-

къ, гдѣ дергаются эти обезкровленные куклы, вдругъ сквозя щель видно подлинное, описанное съ писательскимъ даромъ Бѣлаго: парижская ночь, небо или вѣтви, на которыхъ качается Ася, возвращаютъ насъ въ міръ живого и тогда еще мертвеннѣе и глуше кажется въ законопаченномъ баракѣ, гдѣ «jeu de massacre» производится надъ фигурками бывлыхъ друзей и идейныхъ соратниковъ. Густой слой метафоръ, какъ пыль, покрываетъ описанія въ этой «портретной» части: и это лишній разъ напоминаетъ, какъ опасенъ для писателя методъ метафоръ, въ какую глушь можетъ завести неосторожное обращеніе съ нимъ. Отъ повтореній, отъ наизванныхъ эпизетовъ вниманіе притупляется: кто это: Х. или У.? всѣ кажутся одинаковыми въ «яркомъ», но быстро примелькавшемся жанрѣ. Взятомъ Бѣлымъ для своихъ каррикатуръ. Будто нарочно сдерживать покровъ идейныхъ споровъ, духовныхъ сближеній и разногласій: обнаженъ скелетъ сверженныхъ кулисъ, личныхъ ощущеній, которыя будто бы двигали тогда Бѣлымъ при внутреннихъ смѣнахъ. Попадающіеся портреты совѣтскихъ современниковъ рѣзко отличаются по стилю; особенно отмѣчена встрѣча съ Маріэттой Шагиняной; Алексѣй Толстой юношескихъ лѣтъ превращенъ въ Ленскаго: кто помнитъ его въ годы переписки о «трехъ обезьяннихъ хвостахъ», врядъ ли считалъ его Ленскимъ. Художники проходятъ у Бѣлаго «со стайкой молоденькихъ женщинъ, которыя вдругъ принимались порхать пестротой изъ изсиня сѣрыхъ стѣнахъ: какъ колибри». И дамы, вы-

ходя изъ «соблака кисей», подбигаютъ мужей на покровительство искусствамъ лишь изъ личнаго плеченія къ одному изъ искусниковъ. Въ этой суетѣ живо написанныхъ шаржей, въ этой легкости «напяливанія колпака» метафоръ чудится къ одному знакомое: не тотъ ли принципъ взять Хлестаковымъ въ письмѣ, которое читать почтмейстеръ? Можетъ быть и теперь кто-либо изъ «описанныхъ» Бѣлымъ также недоумѣнно разведетъ руками: «и неостроумно. Свиныя въ ермолкѣ! Гдѣ же свиныя бываетъ въ ермолкѣ?» Для Гоголя почтмейстерское письмо вовсе не неседлая шутка, недаромъ передъ тѣмъ Сквозникъ-Дмухловскій пораженъ внутренней слѣпотой: «ничего не вижу, вижу какія-то свиныя рыла вмѣсто лица, а больше ничего». Бѣлый тоже, запутавшись въ самозванствѣ «ревизоровъ», передъ которыми открывалъ свой «внутренній городъ», почувствовалъ эту тѣму слѣпоты: «ничего не вижу, вижу какія-то свиныя рыла вмѣсто лица, а больше ничего» — и именно такъ, свиными рылами, изобразилъ весь окружавшій его когда-то міръ.

Бѣлый постоянно близилъ себя съ Гоголемъ: «Да вы — Гоголь!» — восклицаетъ у него Эфросъ, «ну — Гоголекъ, но иная-ка московскую хроникку», — киваетъ ласково В. Ивановъ. И самъ онъ въ «Сумасшедшаго» дважды предупреждаетъ читателя о своей близости къ Гоголю: «Прощу я читателя воспринимать эти строки — ну такъ, какъ воспринимаетъ онъ «Записки Сумасшедшаго» Гоголя, и снова, черезъ нѣсколько строкъ: «воспринимайте «Я» такъ, какъ воспринимаете вы «За-

писки Сумасшедшаго» Гоголя». Въ «Запискахъ Чудака» сходство показано и въ заглавіи. Родствомъ съ Гоголемъ Бѣлымъ дорожилъ и всячески старался подчеркнуть его.

Раскрывая творчество автобиографически, Бѣлый долженъ былъ самъ войти въ міръ гоголевскихъ персонажей. Не будучи Хлестаковымъ, по всему своему внутреннему строю будучи противоположенъ хлестаковской «легкости мыслей», онъ все же на себѣ чувствовалъ ту же роковую черту Хлестакова: отсутствіе подлинной единой личности, отсутствіе твердаго бытія. Онъ былъ, подобно самозванному путнику, «тотъ, кого не было». И въ каждомъ новомъ мѣстѣ своей духовной жизни онъ составлялъ желаемую имъ личность, съ Эрфуртской программой, Жоресомъ, «диалектическимъ матеріализмомъ» и не обманувъ другихъ, обманывалъ себя, мучительно томаясь рожденіемъ въ себѣ этого нового, чуждаго «Я».

Возвращаясь въ Россію послѣ заграничныхъ антропософскихъ увлеченій, Бѣлый утверждалъ: «я для васъ бросилъ храмъ, гдѣ подъ куполомъ ставалъ съ молоткомъ, подъ рѣзной пентаграммой». Рѣзная пентаграмма должна была, думалось ему, оградить отъ искушеній на новомъ пути. По первымъ извѣстіямъ это казалось несомнѣннымъ: Андрей Бѣлый до конца не смѣшался съ другими, до конца остался своимъ и неповторимымъ. Своимъ, но собою ли? Гоголевскій Хома Бруть, подобно Фомѣ евангельскому, погибъ отъ невѣрія въ силу заклятія своимъ «чтеніемъ», умеръ отъ страха. Мертвая вѣдьма не пугала Бѣлаго, какъ и гоголевскаго Хо-

му, онъ въ первые дни твердо ограждать себя очерченнымъ кругомъ идей. Быть можетъ и ему, какъ гоголевскому герою, подсказывалъ внутренний голосъ: «не гляди», но жажда убѣдиться, узнать заставила взглянуть на Віа, которому «поднимають рѣсницы» тысячъ чудищъ, и вотъ уже тѣмъ вѣва обступила поэта, который «считаетъ совѣмъ не то, что писано въ книгѣ»; близкіе обернулись чудищами, и когда желѣзный лѣкъ сталъ ему виденъ, онъ палъ бездыханнымъ въ запущенномъ храмѣ; созданныя его воображеніемъ жуткія чудища, «ски-

ныя рыла», застряли въ дверяхъ и окнахъ храма, въ которомъ нѣкогда онъ видѣлъ свое «Я» солнцемъ, дающимъ жизнь мірамъ и гдѣ «подъ куполомъ станвалъ съ молоткомъ, подъ рѣзной пентаграммой». Это страшное зрѣлище внутренняго храма, заполненнаго оборотнями - чудищами, съ бездыханнымъ поэтомъ, лавшикомъ отъ непереносимаго вѣва взора, встаетъ со страницъ трагической книги, въ которой «биографія брюкъ» пытается замѣнить «биографію-собственно».

Ю. Сазонова.

„Событіе“ В. Сирина въ Русскомъ театрѣ

Репертуаръ эмигрантскаго театра (не только Русскаго театра, нынѣ поднимающагося въ Парижѣ, но и его предшественниковъ) являетъ собою довольно печальное зрѣлище. Основнымъ образомъ онъ распадается на двѣ части. Во-первыхъ, ставятся отечественные классики—Гоголь, Островскій, Сухово - Кобылинъ, Чеховъ, принимаемые публикой отчасти по долгу уваженія къ культурному наслѣдію, отчасти, такъ сказать, въ мемуарномъ порядкѣ: для оживленія дорогихъ воспоминаній о прошлой жизни вообще и о театральномъ прошломъ въ частности. Во-вторыхъ, — въ большемъ количествѣ идутъ пьесы либо почерпнутыя изъ допотопнаго провинціально - коршевскаго архива, вроде какой-нибудь «Генеральши Матрени», или «Дамы изъ Торжка», либо новыя, совѣтскаго или зѣшняго изготавленія, но всегда — такъ называемаго легкаго содержанія.

Попытки Михаила Чехова ставить Шекспира, Стриндберга — закончились неудачей, которую, казалось, приходится объяснить не только дефектами постановокъ, но и настроеніемъ зрителей. Успѣхъ «Дней Турбиныхъ» былъ не театральнымъ, а политическимъ. «Каменный Гость» и «Скупой Рыцарь», поставленные Рошиной-Исаровой въ 1927 году, собрали около сорока человекъ зрителей.

Все это какъ будто давало основанія для неблагоприятныхъ заключеній о нашей публикѣ, о низкомъ уровнѣ ея вкуса и требованій. Но вотъ — въ Парижѣ поставили «Событіе», новую пьесу В. Сирина, — и оказывается, что такое отношеніе къ публикѣ слѣдуетъ измѣнить или, крайней мѣрѣ, внести въ него нѣкоторыя поправки. Нельзя сказать, что «Событіе» было встрѣчено всеобщими похвалами. Нѣтъ, были и голоса осуждающіе (изъ числа которыхъ, впрочемъ, не

сѣдуетъ считаться съ голосами пристрастными). Но интересенъ и въ хорошую сторону показателенъ тотъ фактъ, что пьеса вызвала очень живой, порой темпераментный обмѣнъ мнѣній, и что въ дни ея представлений залъ наполнялся людьми, явно пришедшими не ради того, чтобы убить время. Есть, значитъ, и у нашихъ зрителей потребность въ театрѣ, репертуаръ котораго держался бы на серьезномъ художественномъ уровнѣ. Даже если такіе зрители не составляютъ большинства, то все же, значитъ, нѣкоторый довольно внушительный контингентъ ихъ имѣется, и это уже угѣнительно. Конечно, можно задать вопросъ: почему-жь этотъ контингентъ не поддерживалъ Михаила Чехова, почему отсутствовалъ на спектаклѣ пушкинскомъ? Отвѣтъ: очевидно, потому, что уровень постановокъ въ этихъ случаяхъ слишкомъ не соответствовалъ уровню и самому стилю репертуара. Культурный зритель отчасти убѣдился, отчасти сумѣлъ предвидѣть, до какой степени нестерпимъ смотрѣть Шекспира и Пушкина, разыгранныхъ въ условіяхъ матеріальной и художественной бѣдности нашего театра. Но лишь только ему предложили пьесу, не требующую столь непосильнаго напряженія и въ то же время художественно доброкачественную, — онъ явился въ достаточномъ количествѣ и проявилъ къ спектаклю тотъ интересъ, который даже при несогласіи частныхъ оцѣнокъ и мнѣній уже составляетъ несомнѣнный успѣхъ пьесы и постановки. Притомъ — успѣхъ **доброкачественный**, ибо основанный не на безпринципномъ угожденіи

обычнымъ вкусамъ, а на попыткѣ театра разрѣшить нѣкую художественную задачу. Какъ ни странно и ни печально, такая попытка нынѣ впервые сдѣлана за все время эмиграции. До сихъ поръ и плохія, и хорошія пьесы ставились «по старинкѣ», даже какъ бы съ нарочитымъ стремленіемъ ни въ чемъ не отступать отъ російскаго провинціального шаблона, никакимъ новшествомъ или намекомъ на «дерзаніе» не позволять низового зрителя. «Русскій» театръ впервые рискнулъ показать пьесу новаго автора — въ болѣе или менѣе своеобразныхъ приемахъ игры и постановки. Это — явная и неотъемлемая заслуга театра, которую необходимо подчеркнуть и запомнить. Съ этой точки зрѣнія постановка «Событій» есть дѣйствительное событіе нашей театральной жизни. Другой вопросъ — знаменуетъ ли оно начало новой эры, окажется ли театръ въ силахъ бороться съ рутинной зрительскаго большинства.

Всячески привѣтствуя новый курсъ, взятый или хотя бы намѣченный театромъ, мы тутъ же, однако, принуждены сдѣлать существенную оговорку, относящуюся къ данному спектаклю. Мы очень далеки отъ принципиальнаго осужденія тѣхъ приемовъ, въ которыхъ была поставлена пьеса Сирина. Сами по себѣ они вполне приемлемы и законны. Даже новизна и смѣлость ихъ весьма относительны, потому что вполне новы они только на эмигрантской сценѣ. Но — позволительно усомниться въ законности ихъ примѣненія именно при постановкѣ «Событій». Мы далеко не увѣрены въ томъ, что внутренній

смысл сириной пьесы дает истинный повод ставить ее так, как она была поставлена.

Назвавъ свою драматическую комедию «Событіемъ», авторъ, конечно, руководился разумнымъ желаніемъ не раскрывать ея содержаніе въ самомъ заглавіи. Однако, по своему содержанію могла бы она называться «Страхъ». Въдь вся она построена какъ разъ на томъ, что «событія» никакого нѣтъ, оно не происходитъ и не должно произойти, грозный Барбашинъ не только не намѣренъ убить Трощѣйкина, но и не собирается появиться на его горизонтъ. Страхъ, внушаемый имъ Трощѣйкину (и отчасти, хотя далеко не въ равной степени, его женѣ и ея любовнику Ревшину), отнюдь не воплощается въ реальную опасность. Такимъ образомъ, весь Барбашинъ есть не что иное, какъ призракъ, фантазмагорія, болѣзненное порожденіе трощѣйкинскіи души (которая своимъ страхомъ заражаетъ души Любови Ивановны и Ревшина). Появленіе, развитіе и внезапное исчезновеніе этого страха и образуютъ основную сюжетную линію пьесы. (То обстоятельство, что страхъ Трощѣйкина достигаетъ высшей точки къ концу второго акта, а весь третій посвященъ лишь торможенію сюжета передъ всеразрѣшающимъ появленіемъ Мѣшаева, составляетъ, кажется, нѣкоторый архитектурный недостатокъ пьесы).

Съ цѣлымъ рядомъ оговорокъ и поправокъ на разницу въ міросозерцаніяхъ Гоголя и Сирина, «Событіе» все же можно бы разсматривать, какъ вариантъ къ «Ревизору»: Трощѣйкинъ съ такимъ же ужасомъ ждетъ Барбашина,

послѣдняго судію своей жизни, съ какимъ городничій ждетъ ревизора. Тотъ фактъ, что гоголевская комедія кончается грознымъ извѣстіемъ о прибытіи ревизора, у Сирина же, напротивъ, Трощѣйкинъ узнаетъ, что Барбашинъ навсегда уѣхалъ за границу, мнѣ кажется, слѣдуетъ истолковать, какъ признакъ пронзительнаго сиринаго пессимизма: все въ мірѣ пошло и грязно, и такъ останется: ревизоръ не придѣтъ, и можно его не бояться: «Барбашинъ не такъ ужъ страшень». Дѣло, однако, не въ различіи, а въ сходствѣ, или, лучше сказать, въ обратномъ подобіи: принявъ Хлестакова за ревизора, городничій обрѣтаетъ не только покой, но и нѣкое иллюзорное счастье; разоблаченіе Хлестакова и извѣстіе о прибытіи настоящаго ревизора повергаетъ его въ ужасъ предъ неминуемой катастрофой, на которую авторъ опускаетъ послѣдній завѣсъ; у Сирина Трощѣйкинъ, наоборотъ, передъ послѣднимъ завѣсомъ успокаивается, узнавъ, что Барбашинъ не явится; на всемъ же протяженіи пьесы онъ находится въ состояніи того ужаса, который поражаетъ городничаго въ концѣ. И вотъ, оказывается, что страхъ, поражающій обоихъ, имѣетъ общее дѣйствіе: подъ его влияніемъ дѣйствительность не то помрачается, не то, напротивъ, проясняется для Трощѣйкина и его жены такъ же точно, какъ для городничаго: помрачается—потому что въ ихъ глазахъ люди утрачиваютъ свой реальный обликъ, и проясняется — потому что сама эта реальность оказывается мнимой, и изъ-за нея начинается сквозить другая, еще болѣе реальная.

болѣе подлинная. Этогъ мигъ полупрозрачнѣя и полупомраченія не случайно совпадаетъ у городничаго и Трощѣйкина съ моментами величайшаго страха: у сиринаскаго героя — въ концѣ второго акта, у гоголевскаго — въ приближеніи къ концу пятого, когда разоблаченіе Хлестакова вновь ставитъ его передъ мыслію о надвигающемся настоящимъ ревизорѣ. И когда Трощѣйкинь говоритъ, что «родные и знакомые», собравшіеся вокругъ, суть хари, намадеваннѣя его воображеніемъ (его страхомъ), — этотъ моментъ вполне соответствуетъ волнѣ ослѣпшаго или прозрѣвшаго городничаго: «Ничего не вижу: какія-то свиные рыла вмѣсто лицъ, а больше ничего»...

Теперь представимъ себѣ, что постановщикъ «Ревизора» съ самаго начала комедіи вывелъ бы на сцену окружающихъ городничаго въ свиноподобныхъ маскахъ. Въ сущности, смысла пьесы онъ не нарушилъ бы, онъ бы даже не погрѣшилъ противъ ея реализма, ибо этотъ реализмъ слагается изъ вовсе не реалистическихъ частныхъ, но онъ слишкомъ рано и слишкомъ грубо вскрылъ бы то, что должно быть вскрыто постепенно и что должно оставаться скрытымъ не до конца — для того, чтобы сохранилась внутренняя двусмысленность комедіи.

Въ сиринаской пьесѣ мотивъ «свиныхъ рылъ» играть еще болѣе важную роль: онъ въ ней занимаетъ почти центральное мѣсто, тогда какъ въ комедіи Гоголя онъ отодвинутъ въ сторону. Режиссеръ, ставившій «Событіе» и не пожелавшій назвать себя на афишѣ, прекрасно разобрался въ пьесѣ. Онъ вполне правъ, когда

дѣлать всѣхъ персонажей на двѣ части, отнеся къ одной — чету Трощѣйкиныхъ, къ другой — всѣхъ прочихъ, какъ бы порожденныхъ или видоизмѣненныхъ трощѣйкинскимъ ужасомъ. (Можетъ быть, къ Трощѣйкинымъ надо бы присоединить и Ревшина, чтобы не разрушать адюльтернаго треугольника, и еще потому, что Ревшинъ самъ отчасти пораженъ страхомъ: недаромъ онъ и приноситъ первое извѣстіе о появленіи Барбашина). По отношенію къ общему смыслу пьесы режиссеръ правъ и въ томъ, что Трощѣйкинымъ придаетъ характеръ болѣе бытовой, реальный, нежели всѣмъ остальнымъ, трактованнымъ въ фантастическихъ и гротескныхъ тонахъ. Тутъ же кстати скажу объ актерахъ: всѣ они оказались на высотѣ, всѣ хорошо справились со своими, подчасъ очень трудными, ролями. Въ частности надо отмѣтить А. Богданова — Трощѣйкина, а изъ «гротескныхъ» персонажей — Елиз. Кедрову, блеснувшую настоящимъ мастерствомъ, Евг. Скоканъ, В. Мотылеву, В. Субботина. Самый характеръ гротеска превосходно, съ большимъ вкусомъ и очень въ сиринаскомъ духѣ найденъ режиссеромъ и выдержанъ исполнителями. Весь вопросъ только въ томъ, надо ли было вообще вводить этотъ гротескъ? Не вступилъ ли тутъ режиссеръ именно такъ, какъ выше сказано о режиссерѣ, который надѣлъ бы на персонажей Гоголя свиные маски? Намъ кажется, что онъ это сдѣлалъ, то-есть слишкомъ раскрывъ, до конца обнажилъ то, что не подлежало такому раскрытію. Было бы художественно питательнѣе — упростить постановку, со-

хранить для всех действующих лиц более реалистические черты, заставить зрителя только угадать и почувствовать, как окружающий мир мѣняется и уродуется въ потрясенномъ сознаниі Троцкѣйскихъ, нежели прямо показывать это измѣненіе въ готовомъ видѣ. Пусть бы зрителю пришлось продѣлать болѣе сложную работу по проникновенію въ пьесу, то-есть болѣе активно участвовать въ авторскомъ и актер-

скомъ творествѣ. При данной же постановкѣ театр въявно рѣшилъ смысловую задачу пьесы, но сдѣлалъ это слишкомъ открыто, слишкомъ поспѣшно подсказалъ рѣшеніе зрителю, тѣмъ самымъ отнявъ у него то творческое соучастіе, которое составляетъ одинъ изъ самыхъ существенныхъ элементовъ всякаго искусства — въ томъ числѣ театральнаго.

Владиславъ Ходасевичъ.

Проблемы философской антропологии

(Обзоръ новыхъ книгъ).

Антропология всегда стояла въ центрѣ философскихъ исканій и размышленій, но особую значительность приобрѣла она въ новое время. Это сказалось прежде всего въ интензивномъ и даже чрезмѣрномъ развитіи гносеологии, въ которой человекъ по истинѣ становится «мѣрой вещей». Въ меньшей степени это проявляется въ различныхъ опытахъ «философій духа»: не Богъ, не горняя сфера, а именно человекъ является въ новое время главной основой при изслѣдованіи духовнаго бытія. Появленіе такъ наз. «экзистенціальной» философіи является однимъ изъ выраженій этого процесса. Но сталъ ли самъ человекъ понятнѣе за это время? Философскій антропоцентризмъ принесъ ли разъясненіе «загадки» человека? Безъ сомнѣнія, развитіе философскаго и научнаго изслѣдованія обогатило насъ массой частичныхъ истинъ о человекѣ — это относится въ одинаковой мѣрѣ ко всему тому, что да-

ло естествознаніе, что принесло съ собой развитіе психологій во всемъ многообразіи различныхъ ея вѣтвей. Разработка вопросовъ социологій и социальной психологій, ростъ криминологій и психопатологій, даже развитіе языкознанія, а тѣмъ болѣе историческихъ дисциплинъ — все это принесло съ собой огромное количество отдѣльныхъ истинъ о человекѣ. Въ этомъ невозможно сомнѣваться, — но основная загадка человека, его одновременная принадлежность къ міру природному и сверхприродному, а въ то же время подлинная цѣлостность и внутреннее единство всего «состана» въ человекѣ остаются и до сихъ поръ проблемой, тревожащей нашу мысль. Попытки «автономно» поставить темы философской антропологии, т. е. освободиться отъ предпосылокъ, идущихъ какъ отъ естествознанія, такъ и отъ богословія — настолько были неудачны, что они только яснѣе подчеркнули старое по-

тоженіе, что человекъ стоитъ на грани двухъ міровъ. Человекъ включенъ въ космосъ, въ потокъ природнаго бытія, — но въ то же время онъ дышитъ горниомъ воздухомъ, глядится въ міръ иной, запредѣльный, загораясь его вдохновеніями и озареніями... Обзоръ современной литературы по философской антропологии въ полной мѣрѣ подтверждаетъ мысль, что центральность философской антропологии вовсе не означаетъ возможности ставить тему о человекѣ независимо отъ натурфилософій и философій духа. Мы дадимъ здѣсь краткій обзоръ наиболее интересныхъ и цѣнныхъ работъ по философской антропологии*), и читатель самъ сдѣлаетъ указанный выводъ...

Мы начнемъ нашъ обзоръ съ тѣхъ книгъ, въ которыхъ естествоиспытатели и натурфилософы трактуютъ тему о человекѣ. Наиболее цѣнной книгой, безъ сомнѣнія, является вышедшая еще въ 1928 г. книга *Helm. Plessner*'а: «Die Stufen des Organischen und der Mensch». Плесснеръ выдвинулся давно своей работой: «Die Einheit der Sinne» (1923) — цѣнной и для психолога и для натурфилософа и физиолога. Плесснеръ борется противъ того игнорирования космологии, которое такъ сильно проявляется въ экзистенціальной философій (Heidegger, Jaspers); для него пробле-

*) Міръ извѣстенъ только одна небольшая книга, дающая обзоръ современной литературы по философской антропологии, а именно *Fr. Seifert: Die Wissenschaft vom Menschen in der Gegenwart*. Leipzig. 1930.

мы антропологии не могутъ быть правильно поставлены внѣ включенія человекъ въ систему природы. Въ этомъ вся основная тема его книги, которая въ главной части и посвящена «ступенямъ органическаго бытія». Но Плесснеръ отклоняетъ тему о происхожденіи человекъ, вѣрнѣе отклоняетъ обычное натуралистическое трактованіе этой темы — какъ въ отношеніи тѣлесной природы человекъ (дарвинизмъ и неодарвинизмъ), такъ и въ отношеніи психической его природы. Плесснеръ отклоняетъ и чисто спиритуалистическое трактованіе этой темы, — для него вопросъ о «происхожденіи» во всякомъ случаѣ связанъ съ сферой социальности. Чистое описаніе различныхъ «ступеней» въ развитіи органическаго міра приводитъ Плесснера къ признанію непереходимой границы между человекомъ и животнымъ міромъ, и эта граница дана въ наличности «духовной» сферы въ человекѣ. «Человекъ лишь наполовину принадлежитъ природѣ», пишетъ Плесснеръ. Даже въ социальномъ своемъ бытіи человекъ радикально отличенъ отъ аналогичной социальности въ животномъ мірѣ. Эти страницы, посвященные анализу человѣческой духовности и социального бытія — одни изъ лучшихъ въ его книгѣ. Для Плесснера (какъ для ряда современныхъ философовъ) исходнымъ пунктомъ въ антропологии никакъ не можетъ быть отдѣльное «я», а лишь «мы»: человекъ всегда связанъ съ *Mitmenschen* (герминъ Авенариуса), что очень приближается къ той позиціи, какую, напр., занимаетъ С. Л. Франкъ (въ книгѣ «Духовныя основы общества»). Плес-

нерь отказывается базировать философскую антропологию на самознании, именно в силу того, что основное понятие духа получает тогда одностороннее и неправильное истолкование. Отсюда принципиальное отвержение введенного еще Гегелем различения «субъективного» и «объективного» духа: понятие духа есть понятие существенно связанное с социальной сферой, а руководящая указания о природе духа, по Плеснеру, можно получить лишь при связывании человека с миром природы: человек для него есть «ступень» в живой природе, но не в смысле генетического выведения человека из природы, а в смысле его существенной, хотя и не всецелой сопринадлежности к миру природы.

Несколько иначе ставить тему антропологии *Hans Driesch* в своей книге «*Der Mensch und die Welt*» (1928). Для него также основополагающим для антропологии является понятие духа, но он не противопоставляет его природе. «Эта книга, пишет он в предисловии, связывает человека со всем космосом и не знает понятия духа, как чего-то «чуждого» природе: для нас духовное начало пронизывает природу». Разбирая в одном месте пессимистическое утверждение *Th. Lessing* (недавно погибшего талантливого философа) о «гибели земли благодаря духу». Дриш пишет: «да, земля может погибнуть благодаря духу, — но вовсе не должна непременно погибнуть. Ведь дух самъ есть высшее цветение жизни». В последних словах очень типично и ярко выражена вообще натурфилософская пози-

ция в учении о человеке. «Человек всецело принадлежит миру, пишет Дриш в одном месте: в познании человека мир познает самого себя, в его действиях действует мир... Человек есть самое богатое проявление мира... и если истинное «искупление» невозможно в пределах жизни (т. е. в пределах телесной жизни по Дришу), если человеку невозможно создать на земле царство «чистого» духа, то... ему дано осуществлять его хотя бы частично».

Я минуя фантастические, хотя и интересные построения *E. Davaqué* (см. особенно его книгу *Urwelt, Sage und Menschheit*) и упомяну еще из натурфилософской литературы лишь о книге известного ученого (Нобелевского лауреата) *H. Carrel: L'homme et l'inconnu* (Paris, 1936). Книга эта очень напоминает известные «Этюды о природе человека» Мечникова, но написана в ином духе. Ее основная тема — «*La reconstruction de l'homme*»: «пришло время, говорит в одном месте Каррель, начать работу нашего обновления... Для философской антропологии книга Карреля интересна не этим в известном смысле «евгеническим» мотивом, а тем, что в ней с чрезвычайной силой и научной убедительностью показана неразрывность «тайны» человека. С одной стороны Каррель хочет дать в краткой форме синтез того, что наука знает о человеке (что в значительной степени удалось сделать Каррелю), с другой стороны вся книга его пронизана мыслью, что «наше невѣдѣние человека чрезвычайно велико». Именно эта

сторона книги поднимает ее отъ общаго типа «соборовъ» до философской высоты. Каррель строитъ даже проектъ особаго института по изученію человѣка (стр. 351), взятаго въ полнотѣ и единствѣ его физической, психической, социальной и духовной жизни. Въ книгѣ Карреля люду чувствуется и дурной натурализмъ, недостаточное ощущение самобытности, а главное — всей силы духовной сферы въ человѣкѣ; въ ней есть въ этомъ смыслѣ и наивныя и досадныя странички, но самое появление ея чрезвычайно знаменательно, какъ опытъ сближенія естественно-научной антропологии съ общей темой о человѣкѣ, какъ она ставится въ философіи.

Отъ предшественниковъ чистаго естествознанія умѣстно перейти къ другому крылу современнаго философскаго натурализма — къ тѣмъ, кто подходитъ къ разрѣшенію загадки человѣка отъ изученія его души. Школа Фрейда съ ея позднѣйшими отвѣтвленіями Адлера и Юнга (создавшими свои собственныя, очень вліятельныя направленія) является самымъ яркимъ и значительнымъ выраженіемъ этого течения въ философской антропологии. Недавно вышла въ свѣтъ работа одного изъ послѣдователей Юнга — *Gerh. Adler* подъ заглавіемъ «*Entdeckung d. Seele*» (Zürich, 1934), которая даетъ очень ясный и вразумительный обзоръ указанныкъ направленій и очень помогаетъ разобраться въ томъ, что они вносятъ въ разрѣшеніе проблемъ антропологии. Конечно, наиболѣе цѣнными являются построенія Юнга съ его ученіемъ о томъ, что «я» не является цент-

ромъ души (настоящимъ центромъ по Юнгу является «*Selbst*» — «самость»), съ его ученіемъ о личномъ и коллективномъ безосознательномъ въ человѣкѣ. Последнее ученіе имѣетъ особенно важное значеніе для социальной психологии, для пониманія личнаго и сверхличнаго въ человѣкѣ. Юнгъ создалъ цѣлый рядъ новыхъ понятій въ ученіи о внутреннемъ мірѣ человѣка, пока еще мало вошедшихъ въ обиходъ, но намѣчающихъ несомнѣнно важныя и существенныя различія. Знаменитое его ученіе о двухъ коренныхъ типахъ въ процессахъ саморегуляціи души (интро- и экстра-вертированный типъ) не представляется мифъ удачнымъ. Но и для Юнга и для Адлера и Фрейда характеренъ **психологическій натурализмъ**, ограниченіе внутренняго міра человѣка его влеченіями, либо «коллективнымъ безосознательнымъ». Если последнее понятіе, созданное Юнгомъ, можетъ быть названо «полу-метафизическимъ», то все же у всѣхъ названныхъ авторовъ **нѣтъ настоящей метафизики человѣка**. Углубленіе въ психическія и коллективно-психическія глубины не открываетъ подлинной и творческой силы духа въ человѣкѣ... Извѣстный, очень популярный и вліятельный нѣмецкій писатель *Klayes* — большой противникъ «духа» въ человѣкѣ — во всякомъ случаѣ считаетъ, что такое духъ. Онъ считаетъ (какъ и многіе нѣмецкіе авторы), что наше время страдаетъ отъ избытка сознания; какъ и Юнгъ, *Klayes* рѣзко противопоставляетъ Логосъ и Бѣосъ, «духъ и душу». Правда, у Юнга изъ этого противопоставленія вырастаетъ задача «саморегуля-

ции», — самоисцеления и самоосуществления, тогда как для Клягеса никакого выхода из борьбы духовного и душевного начала нет, кроме преодоления духа. Для всего этого психологизирующего направления чрезвычайно характерно недоверие к духу и потребность подчинить его «жизни». Среди представителей этого «бицентрического» направления в философской антропологии следует однако выделить одного писателя (психиатра по специальности) *Fr. Künkel*'я. Будучи учеником Адлера, Кюнкель постепенно вышел на путь самостоятельных построений и приобрел исключительную популярность: достаточно указать, что некоторые его книги за 15 лет вышли уже десятимь изданиями. Причина этого лежит, конечно, не в антропологии Кюнкеля, а в его «психагогике», в тех живых и очень удачных практических указаниях, которыми полны его книги. Лучшей его книгой следует считать книгу «Die Arbeit am Charakter» (10-е изд. 1935), основная часть которой посвящена развитию принципов антропологии и ее «витальной диалектики». В сущности, и здесь все развито в рамках «психологизирующего натурализма», только Кюнкель (очень напоминающий в ряде положений идеи нашего русского мыслителя Кавелина в книге «Основы этики») глубже смотрит на самую природу человека. В глубинах человеческого духа, по его мнению, есть живое и творческое устремление к некоему (для каждой личности своему) идеалу, который составляет характер «руководящего образа» (*Leitbild*);

этот идеал, всегда изнутри направляющий жизнь человека, постоянно однако приходит в конфликт с внешними влияниями, — и эти конфликты приобретают особую силу там, где человек неправильно понимает самого себя и залутывает внутренние процессы, из чего и рождаются уродства в характере, психоневрозы и т. д... В различных формах всего этого течения лежит, как видим, положение в основу человека динамики влечений (*Triebe*), что с особенной силой развили Фрейд и его последователи, но что вообще находят много последователей в современной психологии. Мысль Фрейда, что «влечения и их превращения есть последнее, что может открыть психоанализом», тяготеет над психологизирующей антропологией, мешая этому направлению видеть в духе, а не во влечениях основную «сущность» человека*).

Если обратиться к тому направлению в философской антропологии, которое видит основную ее тему в анализе духа, то конечно и хронологически и по существу первое место принадлежит здесь рано умершему, высоко талантливому *Максу Шелеру* (*M. Scheler*). Почти все книги Шелера посвящены в сущности философской антропологии, но

*) Очень хороший анализ взглядов этой школы дает *Fr. Schmidt* в посвященном специально вопросам философской антропологии номере журнала *Zeitschrift für Theologie und Kirche* (1933. Н. 2).

въ сжатой формѣ Шелеръ изложилъ свое пониманіе проблемъ философской антропологии въ небольшой, но исключительно цѣнной книгѣ (вышедшей въ свѣтъ въ 1928 г., незадолго до смерти автора) «Die Stellung des Menschen im Kosmos». Будучи философомъ *par excellence*, Шелеръ свободенъ отъ натурализма; задачи философской антропологии онъ видитъ въ томъ, чтобы опредѣлить «цѣлостную идею чело­вѣка» или, какъ говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — раскрыть «сущность» чело­вѣка, а не заниматься выясненіемъ связи чело­вѣка съ животнымъ міромъ. «Новый принципъ, читаемъ въ указанной книгѣ, который дѣлаетъ чело­вѣка чело­вѣкомъ, стоитъ внѣ всего того, что мы можемъ назвать «жизнью», т. е. въ его внутреннемъ мірѣ, возвышающемся надъ жизнью». Этотъ принципъ есть начало духа, какъ носителя разнообразныхъ «актовъ». Главная функція духа есть самосознаніе, что и отличаетъ чело­вѣка отъ животного и что «прорываетъ окно въ Абсолютное», по слову Шелера. Духу свойственно устремленіе къ безконечности: «чело­вѣкъ въ сравненіи съ животнымъ, пишетъ онъ, есть «вѣчный Фаустъ», *bestia spirituosissima legitur pavatim*, существо, не знающее покоя, вѣчно томящееся жаждой выйти за предѣлы міра». Именно въ силу этого — и только этого — чело­вѣку и свойственна функція «сублимации» — преобразованія энергій влеченій въ высшія формы духовной жизни *): «че-

ловѣкъ одинъ способенъ поднимать черезъ сублимацию энергію влеченія къ духовной дѣятельности». Но какъ разъ въ этой точкѣ построенія Шелера принимаютъ нѣсколько неожиданный характеръ. Онъ рѣшительно возста­етъ противъ ученія о «силѣ» духа, который для него есть «ак­туальность», но не «активность», система «актовъ» (имѣющихъ характеръ «пассивнаго созерцанія»), но не «дѣйствій». «Потокъ силъ и дѣйствованія въ мірѣ, пишетъ Шелеръ, идетъ не сверху внизъ, а, наоборотъ, — снизу вверхъ». «Духъ по существу не имѣетъ въ себѣ никакой энергій... энергія исходить отъ другого начала — отъ слѣдующихъ (!) центровъ силы — это есть начало порыва и силы фантазіи, ему присущей и гворящей формы бытія...» Именно потому, по Шелеру, невозможно на прямая борьба «чистой» воли съ влеченіями. Даже Богъ, какъ высшая форма духовнаго начала, не обладаетъ никакой творческой силой — жизнь космоса лишь потому и есть «самоосуществленіе Божества», что въ этой жизни возникаетъ взаимопроникновеніе безсильнаго духа и слѣплой силы бытія... Если спросить себя, чѣмъ объясняется все это странное ученіе о «бессилии духа» *), то разгадку это слѣдуетъ видѣть въ несомнѣнномъ влияніи Клягеса на

рижъ, 1932. — цѣнный вкладъ въ философскую антропологию.

*) Хорошій разборъ этого ученія Шелера можно найти въ книгѣ G. Gourvitch: «Les tendances actuelles de la philosophie allemande» (Paris, 1930), гдѣ большая глава посвящена какъ разъ Шелеру.

*) Этой темѣ посвящена книга проф. Б. П. Вышеславцева: «Этика преобразованнаго зрѣса». Па-

Шелера: повидимому, Шелеръ признавалъ реальность противопоставленія «жизни» и «духа» (см. выше) именно въ смыслѣ Клагеса, только онъ склонялся не къ «преодоленію», а къ утверженію духа — и видѣлъ философскій путь къ этому въ ученіи о «бѣзсиліи» духа, который и не можетъ быть поэтому признанъ «разрушительной» силой. Въ одномъ мѣстѣ Шелеръ пишетъ: «человѣкъ, его самость и его сердце, есть то «мѣсто» въ которомъ самосущее Бытіе достигаетъ черезъ міръ своего самоосуществленія... ибо впервые въ человѣкѣ два основныхъ атрибута самосущаго Бытія (духъ и «порывъ») встрѣчаются въ жизненномъ единствѣ». Мы не можемъ входить въ настоящей замѣткѣ въ анализъ и оцѣнку построеній Шелера, но справедливость требуетъ отмѣтить огромное влияние его на возрожденіе и развитие философской антропологии за послѣдніе два десятилѣтія.

Изъ чисто философской литературы по антропологии за послѣдніе годы останавимся на книгѣ *P. Landsberg: «Einführung in die philosophische Anthropologie»* (Frankfurt am M. 1934). Книга эта очень интересна и цѣнна именно, какъ «введеніе» въ вопросы философской антропологии. Она даетъ сжатую, но вѣрную критику натурализма въ антропологии, но при этомъ впадаетъ (какъ Шелеръ и другіе философы) въ отверженіе существенной связи человѣка съ природой. Выясненіе «сущности» или «идеи» человѣка не даетъ вѣдь никакихъ серьезныхъ основаній къ спиритуалистическому трактованію этой сущности... Замѣтимъ тутъ же,

что надлежащее выпрямленіе темы о духѣ безъ разрыва съ темой космоса удается лишь на религиозной основѣ — въ частности при поставленіи идеи «образа Божія» во главу угла. Но у Ландсберга есть немало очень цѣнныхъ мѣстъ въ его книгѣ. Критика Декарта (въ его антропологии и основанной на ней гносеологии), выясненіе внутренней связи чисто натуралистической антропологии съ атеизмомъ развиты очень хорошо. Особенно слѣдуетъ подчеркнуть признаніе «конститутивного» значенія момента оцѣнки въ антропологии, существенную неустранимость того «субъективного» метода, который Н. К. Михайловскій развивалъ въ социологии (куда входили у него и проблемы философской антропологии). Подъ влияніемъ Хейдеггера, Ландсбергъ склоненъ видѣть въ страданіи условіе раскрытія «человѣчности» въ человѣкѣ («страданіе есть условіе рожденія «я»; только человѣкъ является творческимъ и страдающимъ существомъ», пишетъ онъ). Ландсбергъ высказывается прогивъ богословскаго освѣщенія антропологии и твердо отстаиваетъ возможность чисто философскаго ея обоснованія при помощи анализа данныхъ самосознанія... Съ полной силой этотъ послѣдній тезисъ развитъ въ новѣйшихъ работахъ Ясперса. Ясперсъ написалъ раньше нѣсколько книгъ по психопатологии, которая является его специальностью, но въ 1932 г., онъ выпустилъ трехтомный трудъ, посвященный «экзистенціальной философіи», которая является для него ничѣмъ инымъ, какъ антропологіей. Философія должна исхо-

диль изъясненіи челоѣвческаго бытія, — а это и есть антропология. Здѣсь не мѣсто входить въ анализъ системы Ясперса — она слишкомъ сложна для того, чтобы говорить о ней въ краткой замѣткѣ, обращу только вниманіе на то, что Ясперсъ признаетъ всю неустранимость сферы трансцендентнаго въ челоѣвкѣ: «челоѣвкъ, пишетъ онъ, всегда стремится за предѣлы самого себя... Я не существую «самъ по себѣ»... «существованіе» неотдѣлимо отъ трансцендентной сферы». Связывая самую «сущность» челоѣвка съ трансцендентнымъ бытіемъ, т. е. съ Богомъ, Ясперсъ отстраняетъ примать и основное значеніе философіи, отъ которой нѣтъ никакого перехода къ богословскому умозрѣнію. Какъ правильно отмѣтилъ одинъ критикъ*), философская позиція Ясперса, хотя не позитивистична, не отрицательна реальности Бога, но принципиально и существенно антитеологична. Это, конечно, связано не съ философской антропологіей, какъ таковой, а съ общей философской позиціей Ясперса. Отмѣтимъ еще одно у него: выясненіе того, что существованіе всякаго «я» неотдѣлимо извнутри съ «ты», иначе говоря — что невозможно изолировать личность или дѣлать ее исходнымъ пунктомъ. Въ «экзистенціального общенія», какъ выражается Ясперсъ, невозможно мыслить отдѣльнаго челоѣвка**).

*) См. статью R. Winkler въ упомянутомъ выше сборникѣ журнала Zisch, f. Theologie und Kirche (1933, N. 2).

**) Въ русской философіи эту позицію защищаетъ нынѣ Н. А.

Но означаетъ ли это «самонахождение» я въ нѣкоемъ «Ты» простую социальную эмпирическую обусловленность нашего самосознанія или здѣсь скрыто болѣе глубокое, вѣстннѣ метафизическое начало въ челоѣвкѣ? Если философскій эмпиризмъ всякаго рода стоитъ на первой позиціи (см., напр., очень интересный этюдъ Piaget: *L'Individu et la formation de la raison* въ книгѣ «L'Individualité», Paris, 1933), то, наоборотъ, въ раскрытіи второго тезиса заключается тотъ существенный вкладъ, какой вноситъ въ философскую антропологию богословіе. Его общій тезисъ заключается въ утвержденіи, что «сущность» челоѣвка не можетъ быть постигнута ни изъ его самосознанія ни изъ его связи съ социальной средой, ни изъ его связи съ природой, что внѣ связи съ трансцендентной сферой существенная тайна «духовности» и «цѣлостности» челоѣвка не можетъ быть понята. Съ другой стороны богословіе (христианское) всегда обращаетъ вниманіе на проблему «я» въ челоѣвкѣ. Поэтому основныя идеи богословской антропологиі сводятся къ ученію объ образѣ Божіемъ въ челоѣвкѣ и къ ученію о «я», въ частности къ ученію о «первородномъ грѣхѣ». Изъ различныхъ исповѣданій антропологіей болѣе всего занимался католичество и протестантизмъ; православная антропология въ новое время развивалась очень медленно и кроме известной книги проф. Несмѣлова «Наука о челоѣвкѣ»

Бердяевъ (см. особенно его книгу «Я и мѣръ объектов»).

очень мало уделяла внимания вопросам антропологии*).

Из протестантской литературы на первом месте следует поставить большую книгу *E. Brunner's* «*Der Mensch im Widerspruch*» (Berlin, 1937). По полноте материала, по богатству идей эта книга заслуживает самого серьезного внимания, а ее основная мысль о различении «истинного» и «действительного» человека (*Der wahre und der wirkliche Mensch*) дает очень удачное выражение присущего христианству дуализма (без усвоения которого невозможно понять всю значительность учения о «первородном грѣхѣ»). Однако Брунеру больше удалось учение о злѣ въ человѣкѣ, чѣмъ объ образѣ Божіемъ, — что вообще типично для протестантскаго подхода къ человѣку. Другая, тоже замѣчательная книга — это сборникъ «*Imago Dei*» (книга посвященная 70-лѣтію *G. Krüger*) — изданная въ 1932 г. (Giessen). Въ книгѣ есть нѣсколько чрезвычайнo цѣнныхъ (не только съ богословской, но и философской точки зрѣнія) статей; отмѣтимъ статью *Bultmann* (антропология ап. Павла), *Bornkamm* (антропология Лютера), *Schumann* (*Imago Dei*), *Adolph* (антропология Шелера). Изъ католической литературы достойная быть отмѣчена небольшая, но очень живо написанная книга *Th. Häcker*: «*Was ist der Mensch*» (Leipzig,

1933). Хотя она принадлежит къ распространенному нынѣ виду христіанской публицистики, но въ ней есть немало цѣнныхъ и глубокихъ замѣчаній по общей антропологии — напр., критика антропологическаго «своинализма» (отрицающаго реальность «человѣчества», какъ живого единства — «*Wirsein*» по терминологіи Плеснера); интересна и удачна критика Шелеровской антропологии. Другой книгой, очень большой по объему и очень оригинальной по замыслу, является книга виднаго католическаго мыслителя *P. Wast* (*Dialektik des Geistes*, Augsburg, 1928). Въ книгѣ три основныя части: 1) Природа и духъ (очень много цѣннаго о понятіи личности). 2) Метафизика личнаго бытія (много оригинальныхъ, хотя по существу не новыхъ построений). 3) Единство человѣчества (чрезвычайно цѣнные изслѣдованія о единичномъ и «объективномъ» духѣ, о личности и историческомъ бытіи). Отмѣтимъ еще очень цѣнные не только въ богословскомъ, но и философскомъ отношеніи статьи въ «*Dictionnaire de théologie catholique*», а также небольшую, но освѣдомленную книгу *A. Verrièle* (*Le Supernaturel en nous et le péché originel*, Paris, 1932).

Мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о православной антропологии. Послѣднія десятилѣтія отмѣчены появленіемъ ряда трудовъ — о. С. Булгакова, Н. А. Бердяева; труды эти достаточно извѣстны, чтобы о нихъ говорить здѣсь. Но не могу не указать на появившійся въ прошломъ году коллективный трудъ «*Kirche, Staat und Mensch*» (из-

*) По исторіи христіанской антропологии можно указать только книгу *Wheeler Robinson*: *The Christian doctrine of Man*, Edinburgh (Первое изданіе въ 1911, третье — 1920 г.).

данный Женевскимъ центромъ по подготовкѣ къ Оксфордскому экуменическому съѣзду). Половина книги посвящена вопросамъ антропологии (статья о Булгакова, Бердяева, Вышеславцева, автора настоящей замѣтки).

Этотъ краткій библиографическій обзоръ новыхъ книгъ имѣлъ своей цѣлью подчеркнуть все основное значеніе антропологии какъ для натурфилософій, такъ и для общей философіи. Конечно, ко всемъ книгамъ относится заглавіе, какое далъ Каррель своей книгѣ (*L'homme est incornu*), но предпосылкой раздѣлія антропологии какъ разъ и является чет.

кое сознаніе «загадки» человѣка. Въ человѣкѣ природа и духъ не просто «прикованы» другъ къ другу, но образуютъ живое и цѣлостное единство; въ человѣкѣ его духовный міръ не можетъ быть оторванъ отъ «природы» въ немъ, какъ и природное бытіе въ человѣкѣ, хотя и родственно всему «естеству», тѣмъ не менѣе не внѣшне, а изнутри соединяется съ духомъ въ единую жизнь. Два начала, но одна жизнь, существенное различіе двухъ началъ, но живая ихъ цѣлостность — это и есть «загадка» человѣка, основная тема философской антропологии.

В. В. Зъньковский.

Морисъ Равель

Истекшій годъ былъ тяжелымъ для музыкальной Франціи, какъ впрочемъ и всѣ послѣдніе годы. За сравнительно краткій срокъ Франція лишилась всей своей руководящей музыкальной элиты — тѣхъ авторовъ, которые составляли ея гордость, славу и обезпечивали ей мировую музыкальную гегемонію. Послѣдняя потеря была можетъ существовавшая для французскаго музыкальнаго престижа, но для самой музыки Равель уже давно представлялъ, какъ извѣстно, величину нейтральную. Онъ много лѣтъ фактически пересталъ быть властителемъ думъ, появивъ музыкальныя теченія встали скорѣе въ извѣстный антагонизмъ къ его музыкальному стилю — парфюмерно-изысканному и пряному, полному звуковыхъ очарованій и лишенному всякихъ намековъ на глубину и

даже на желаніе глубины. Кромѣ того послѣдніе годы Равель былъ уже серьезно боленъ и въ сущности уже не былъ Равелемъ — серьезная психическая болѣзнь удалила его отъ міра.

Но все же мы не можемъ не признать, что въ его лицѣ сошла въ могилу крупная и очень характерная для французской музыки и для музыки начала вѣка вообще фигура. Перевернулась страница музыкальной исторіи, въ которую были вписаны безусловно цѣнные и интересныя письма. Дебюсси и Равель, эти два имени одно время доминировали надъ сознаніемъ передовыхъ музыкантовъ — они были знаменемъ новой музыкальной свободы и неизвѣданныхъ горизонтовъ въ творчествѣ. Правда, изъ этихъ двухъ Равель безусловно былъ скорѣе эпигономъ — типомъ высоко ода-

реннаго подражателя — не онъ создалъ эти пряные и ароматные звуковыя міры. Не онъ даже основалъ эту изысканную эстетику «верхнихъ 10.000», которые наслаждались острыми и изысканными ощущеніями и боялись панически того, что могло наводить на мысль о глубинѣ и значительности. Изъ музыкальныхъ эманаций знаменитаго литературнаго «салона Маллармэ», гдѣ возникали и вращались эти авторы, сплеленные въ одинъ клубокъ съ поэзіей французскаго символизма — Дебюсси былъ фигурой «ведущей», Равель — водимой. Между ними примѣрно то же отношеніе, какъ между Глинкой и Даргомыжскимъ, или Чайковскимъ и Рахманиновымъ — отношеніе гениа созидателя стиля и почти гениальнаго эпигона; — притомъ надо имѣть въ виду, что болѣе молодой по возрасту (моложе на 10 лѣтъ) Равель былъ **менѣе** смѣлъ въ своихъ исканіяхъ и нахожденіяхъ. Онъ былъ болѣе «соглашателемъ» сравнительно съ Дебюсси и его музыка болѣе связана съ французскою культурой Сень-Санса и Бизэ. Форма его болѣе академична, вообще онъ лояльнѣе и не хочетъ быть анархистомъ, каковымъ думалъ себя мнѣ въ конечномъ счетѣ необычайно приличный и мирный Дебюсси. Оба эти поклонника русскаго музыкальнаго анархиста Мусоргскаго на своемъ примѣрѣ доказывали, какъ много значитъ культурная преемственность и погруженіе въ извѣстную атмосферу. Мусоргскій ничего не желалъ нарочно, у него само собой выходило нѣчто мощно-анархическое. Салонные анархисты Дебюсси и Равель могли считаться таковыми

лишь въ утреннемъ, нѣсколько сладкомъ освѣщеніи начала нашего вѣка и на фонѣ необычайно тупой академической рутинны — теперь ясно видно, какими прочными витями ихъ творчество прикрѣплено ко всей музыкальной культурѣ Франціи, начиная съ Куперена и Рамо.

Для Россіи и русскихъ Равель имѣетъ особую значимость — именно въ русскомъ молодомъ поколѣніи начала вѣка онъ имѣлъ непрекращаемый авторитетъ и вліяніе. Любопытно и немного забавно видѣть, какъ творчески перекликались между собою два полюса музыки — русской и французской — ультра европейскій западъ и ультра-востокъ, какъ они нѣжно любили другъ друга (Дебюсси и Равель обожали Мусоргскаго, Римскаго - Корсакова, Бородина, въ особенности перваго; русскіе авторы, какъ Крейнъ, Гнѣсянъ, ранній Стравинскій, масса второстепенныхъ композиторовъ обожали Равеля и Дебюсси) и какъ они трагически и глубоко **не понимали** другъ друга, какъ органически были чужды взаимно. Въ особенности было сильно вліяніе Равеля на молодую группу еврейско - русскихъ національныхъ авторовъ. Для музыканта не бесполезно прослѣдить, какъ приемы Мусоргскаго и манеры Римскаго - Корсакова, безусловно впитанные Равелемъ, подъ его перомъ обращались въ какіто звуковыя безплотныя эманации, лишались тѣла и психологін и какъ обратно — душистыя гармоніи Равеля въ русскомъ климатѣ сыѣли, тяжелѣли, обростали плотью и насыщались дотолѣ невѣдомой имъ горячей эмоціей. Возможно, что даже и Скрябинъ не избѣгъ

формального вліяння гармоническаго міра Равеля. Во всякомъ случаѣ эти взаимныя вліянія были совершенно безопасны для цѣльности индивидуальностей и той и другой стороны. Давній музыкальный романъ Россіи съ Франціей имѣетъ въ этомъ эпизодѣ одну изъ своихъ характерныхъ страницъ (последняя страница — и курьзная — это первоначальный романъ Стравинскаго съ Франціей, кончившійся его упокоеніемъ на лонѣ романо-латинской культуры) и лишній разъ показываетъ, что крайности все-

гда притягиваются другъ къ другу.

А пока что, во Франціи — получилась творческая пустота — поколѣніе, Равелевское, ушло въ исторію, а слѣдующее, уже достигшее почтеннаго возраста (Мильо, Онеггеръ, Пуленкъ, Фрикъ), не сказало особливо вѣскаго слова, третье же, молодое въ тѣсномъ смыслѣ слова, трагически отсутствуетъ вовсе. Одинъ изъ нихъ похожъ на композитора: Мессіа — но одна ласточка весны не дѣлаетъ...

Л. Сабанъевъ.

Цензура и писатель въ СССР

Многоруская цензурная машина, дѣйствующая у Сталина на двадцатомъ году революціи, содалась не сразу. Именно поэтому первые годы октябрьской революціи (годы военного коммунизма, не говоря уже о годахъ Нэпа) были въ смыслѣ подавленія мысли и слова куда болѣе легкими по сравненію съ теперешними временами.

Вспоминается анекдотическій фактъ изъ сов. цензуры недавняго и въ то же время далекаго прошлаго. Это было въ началѣ Нэпа, въ 1921 г. Цензура тогда была уже введена, но все еще было въ порядкѣ становленія и дѣломъ цензуры вѣдали «отдѣлы печати» мѣстныхъ Совѣтовъ. И вотъ тогда председатель отдѣла печати Московскаго Совѣта, получивъ для цензуры какое-то литературное произведеніе, остановился на выраженіи «совѣтскій жиденькій чай». Въ сочетаніи этихъ двухъ прилагательныхъ «жиденькій» и «совѣтскій» цензоръ усмотрѣлъ

тѣкое порицаніе власти и предложилъ автору выбросить либо первое, либо второе. Рассказываютъ, что цензоръ мотивировалъ свой разговоръ такъ:

— Пусть будетъ «жиденькій», — говорилъ онъ, — или пусть будетъ «совѣтскій», но нельзя создавать въ читателѣ увѣренность, что «совѣтскій» чай долженъ быть непременно «жиденькимъ», развѣ это не является попыткой дискредитации совѣтскаго хозяйства?

Этотъ фактъ вызвалъ тогда разговоры, толки, возмущенія и наконецъ нѣкоторые литераторы отправились къ тогдашнему председателю Московскаго Совѣта Л. Б. Камневу, любившему принимать позу либеральнаго защитника литературы.

Пришедшіе напомнили Камневу о временахъ императора Николая Павловича, когда цензоръ изъ поваренной книги выкинулъ выраженіе «вольный духъ», на который хозяйкамъ рекомендова-

лось ставить пироги, чтобы они лучше доходили; пришедшие к Каменеву литераторы утверждали, что в истории российской цензуры «жиденький советский чай» имѣет полное право занять мѣсто рядомъ съ древнимъ и знаменитымъ «вольнымъ духомъ». Говорятъ, что Каменевъ не защищалъ своего подчиненнаго, былъ даже смущенъ и только сказалъ, что отвѣтственность за «головоушибство» маленькаго советскаго работника нельзя возлагать на всю советскую власть.

Съ тѣхъ поръ прошло шестнадцать лѣтъ. Коммунисты владѣютъ государственнымъ аппаратомъ какъ никакая другая власть. Но какими райскими должны казаться советскимъ писателямъ тѣ времена, когда дѣло цензуры творилось еще кустарно и вниманіе цензоровъ сосредотачивалось главнымъ образомъ на «советскомъ жиденькомъ чаѣ», да еще въ дѣтскихъ хрестоматіяхъ вмѣсто «птичка божія не знаетъ ни заботы, ни труда» коммунистическіе цензоры предлагали измѣнить «птичку божію» на «птичку милую»; а переиздавъ запрещенныя въ царское время книги стараго революціонера Стенника - Кравчинскаго, советскіе цензоры вездѣ повычеркивали въ нихъ восклицанія «Господи!» и «Боже мой!».

Но кустарныя времена — въ прошломъ. За двадцать лѣтъ коммунистическая партія выстроила грандіозную машину подавленія слова и мысли, какая и не снилась никогда ни советскимъ писателямъ, ни, можетъ быть, даже самимъ коммунистамъ.

Слово «цензура» въ советскомъ обиходѣ, правда, отсутствуетъ. Строя новую жизнь въ СССР во-

обще не любятъ пользоваться старыми терминами, а будучими неприятыя ассоціаціи въ особенности. Но въ данномъ случаѣ отказать отъ «старорежимнаго» термина «цензура» являлѣсь правильнѣе и логичнѣе, ибо онъ и въ отдаленной степени не передаетъ того содержанія, какое въ СССР вкладывается въ понятіе «организация литературы».

Сложная система этой «организации литературы» — явленіе со-всѣмъ особаго порядка.

1. Главлитъ.

Официальный надзоръ за всѣмъ печатнымъ словомъ въ СССР выполняется Главлитомъ, т. е. Главнымъ Управленіемъ по дѣламъ Литературы, центръ котораго находится въ Москвѣ, а съѣзды этого громаднаго учрежденія раскинуты по всему Союзу и чиновники его сидятъ во всѣхъ областяхъ, во всѣхъ городахъ и во всѣхъ захолустныхъ мѣстечкахъ СССР.

Главлитъ — первое, но не самое важное звено въ общей системѣ надзора за литературой, хотя и это учрежденіе обладаетъ такой компетенціей, какой дореволюціонное Главное Цензурное Управленіе не обладало.

Извѣстно, что дѣятельность цензуры въ царской Россіи шла по линіи постепеннаго суженія круга изданій, подлежащихъ **предварительной** цензурѣ. Медленно, но все же вѣрно цензура превращалась изъ органа предварительнаго просмотра всего предлагаемаго къ печатанію матеріала въ карающій органъ надзора за уже вышедшими изданіями.

Такъ, при императорѣ Николаѣ I-омъ, когда цензурныя строгости

достигали апогея, от предварительной цензуры все-же освобождены издания некоторых учебных учреждений: Академия Наук, Университетов и др. Бывали случаи, что такие издания уничтожались цензурой (как это было с известными записками Флетчера «О государстве русском», изданными московским университетом и затѣмъ сожженными цензурой), но представлять их на предварительный просмотр ученые учреждения обязаны не были. Помѣтка «печатаю по распоряженію ученаго секретаря Академіи Наукъ» была равносильна помѣткѣ цензора.

Въ 1865 году отъ предварительной цензуры были освобождены книги, превышающія двадцать печатныхъ листовъ.

Въ 1906 году предварительная цензура вообще была упразднена.

Въ февраль 1917 года революція уничтожила всякую цензуру, но ненадолго, ибо октябрьская революція цензуру возстановила, а съ годами довела ее до небывалыхъ размеровъ.

Сейчасъ въ СССР предварительная цензура требуется для всѣхъ безъ исключенія печатныхъ изданій, какого бы характера и объема они ни были (хоть въ сто печатныхъ листовъ!) и къмъ бы они не издавались (хотя бы Академіей Наукъ!). Но не только Академія Наукъ, даже сама Коммунистическая Академія, даже Институтъ Ленина при ЦК ВКП(б) и Партиздатъ — все равно — обязаны представлять въ Главлитъ на предварительную цензуру всѣ свои рукописи, будь то книга, брошюра, научный журналъ, политическая газета или даже будь то простое объявленіе и цирку-

лярное письмо. Ни одна типографія въ СССР, подѣ страхомъ самой тяжкой кары вплоть до «вышей мѣры наказанія» не выпуститъ ни одной напечатанной строчки безъ разрѣшающей помѣтки чиновника — цензора изъ Главлита.

Небезинтересно знать, кто руководитъ Главлитомъ?

Основателемъ и долгодѣйнымъ руководителемъ Главлита былъ старый большевикъ П. И. Лебедевъ-Полянский, еще до революціи писавшій по вопросамъ «пролетарской культуры», а послѣ революціи ставшій однимъ изъ столповъ «пролеткультовскаго» движенія. Во главѣ Главлита онъ стоялъ десять лѣтъ (съ 1921 по 1931) и только въ 1931 году оказался недостаточно пригоднымъ Сталину, который замѣнилъ его Волинымъ.

Б. М. Волинъ — тоже большевикъ дореволюціоннаго періода, бывшій подпольщикъ, эмигрантъ. Этотъ господинъ примѣняется ко всякимъ условіямъ и отличается крайней беззащитностью въ дѣланіи карьеры. Во время гражданской войны онъ дѣйствовалъ въ тыловыхъ чека, а въ годы Нэпа пошелъ по литературной линіи, смѣнивъ наганъ на стило. Въ частности, именно онъ былъ организаторомъ и теоретикомъ журнала «На посту», выполнявшаго въ эпоху Нэпа функціи добровольной литературной чека. Здѣсь Волинъ игралъ на «лѣвизну», но при всей этой «лѣвизнѣ» удержался на своемъ посту даже тогда, когда мода на нее прошла и когда его ближайшіе сотрудники Авербахъ, Киришонъ, Чумандринъ и др. оказались «псами международнаго фашизма» и были кто раз-

стрелянь, а кто посаженъ въ тюрьму. Волинъ же повернулъ руль Главлита, сблвавъ свое учрежденіе совершенно послушнымъ Сталину, а большаго отъ него и не требуется.

Формально Главлитъ является учрежденіемъ, компетенція котораго распространена на РСФСР, но фактически онъ руководитъ цензурой во всемъ Союзѣ. Известная автономія на Украинѣ или въ Закавказьи, конечно, существуетъ. Тамъ есть собственныя однозначныя учрежденія — Укроголовлитъ, Заглавлитъ и пр. Но фактически въ отношеніи цензуры московскія директивы Главлита такъ же обязательны въ Харьковѣ и Тифлисѣ, какъ и московскія директивы по линіи ГПУ. Назначенія руководящихъ чиновниковъ въ Главлитахъ совѣтскихъ республикъ производится только по соглашенію съ Главлитомъ московскимъ.

Ставъ наследникомъ Главнаго Цензурнаго Управленія, Главлитъ однако совершенно перестроилъ всю организацію и работу этого учрежденія. Въ Главное Цензурное Управленіе, во времена, когда существовала предварительная цензура, редакторы и издатели были обязаны представлять рукописи на просмотръ и получали соответствующій отвѣтъ цензора. Особенностью же современной организаціи главлитовской сѣти является, такъ сказать, производственный принципъ: — коммунисты-чиновники Главлита сидятъ во всѣхъ редакціонныхъ коллективахъ, во всѣхъ издательскихъ коллегіяхъ.

Про Госиздатъ нечего и говорить, къ нему приписанъ рядъ уполномоченныхъ Главлита; но

«своихъ» цензоровъ имѣютъ всѣ остальные издательства, начиная отъ Партиздата до издательства «Советскій писатель»; тутъ такъ же, какъ въ редакціяхъ всѣхъ газетъ и всѣхъ журналовъ, сидятъ свои цензоры, и всѣ эти цензоры, въ частности, оплачиваются предпріятіями, въ которыхъ они ведутъ свою работу; въ совѣтскихъ издательскихъ калькуляціяхъ наряду съ редакторомъ, секретаремъ, бухгалтеромъ и машинисткой фигурируетъ всегда и цензоръ; безъ кого другого, а ужъ безъ цензора совѣтское издательство не существуетъ.

Какъ велика сѣть чиновниковъ Главлита, можно себѣ представить хотя бы потому, что нѣтъ такого мѣстечка въ СССР, гдѣ бы была типографія, чтобы тамъ не было и чиновника Главлита.

Власть чиновника Главлита безапелляционна вездѣ, за рѣдкимъ исключеніемъ только столичныхъ крупныхъ партійныхъ органовъ, такихъ, какъ «Правда». Здѣсь, въ «Правдѣ», эта роль является только ролью «добавочнаго корректора», ибо помимо редакторовъ, назначенныхъ Оргбюро, въ «Правдѣ» есть еще специальное «око Сталина»; до послѣднихъ дней имъ былъ бывший его личный секретарь Мехлисъ, который фактически и цензуровалъ газету; сейчасъ его замѣнилъ Никитинъ.

Во всѣхъ же другихъ изданіяхъ, а особенно въ провинціальныхъ, чиновникъ Главлита—царь и Богъ! Правда, официально отвѣтственнымъ является редакторъ — коммунистъ, назначенный центромъ, но если въ газетѣ обнаруживается какой-либо «уклонъ» или «загибъ», то вмѣстѣ съ редакторомъ отвѣчаетъ за это и

представитель Главлита, ибо он обязан следить за правильностью выполнения директивы центра в данный момент.

В книгоиздательствах каждая намеченная к печати рукопись представляется цензору Главлита в трех переписанных на пишущей машинке экземплярах. Он может наложить на рукопись «вето», может потребовать изменений, сокращений, добавлений, а может и разрешить к печати. В случае разрешения один экземпляр рукописи с пометками и резолюцией цензора поступает в издательство и только по нему может производиться набор. Вторым экземпляром рукописи с копией всех пометок и поправок остается у чиновника Главлита, он сверяет по нему сделанный набор и только после сверки ставит разрешительную пометку, получив какую-то, типография уже может книгу верстаить и выпустить в свет. Третий же экземпляр рукописи отсымается в Литконтроль ОГПУ.

Вот в общих чертах первое «прокрустово ложе» российской литературы и журналистики — Главлит. Как я уже сказал, это советское учреждение является ничем иным, как Главным Цензурным Управлением царского времени, но с гораздо более расширенной компетенцией, с гораздо большим штатом чиновников и с гораздо меньшим либерализмом в своей работе.

2. Культпроп.

Вторым органом коммунистической цензуры является Культпроп ЦК ВКП(б), т. е. культур-

но-пропагандистский отдел Центрального Комитета Коммунистической партии.

Одним из давних и ярких актов деятельности Культпропа было еще в 1924 году проведенное изъятие из всех библиотек СССР сочинений и биографий Платона, Декарта, Канта, Маха, Спенсера, Шопенгауера, Ницше, Рескина и других философов идеалистического направления; из русских философов Культпроп изъяс из библиотек сочинения Вл. Соловьева, Льва Толстого, Лопатина, Лосского, Челпанова и других.

Культпроп руководит культурной жизнью СССР.

Если Главлит имеет дело с произведениями уже написанными и ставит своей задачей только недопустить появления в свет вещей, видам диктатуры коммунистической партии не соответствующих, то Культпроп ставит себя целью вполне позитивную: поставить всю литературу на служение делу диктатуры коммунистической партии.

Первое, что для этой цели делается Культпропом, это подбор надежного состава редакторов для газет, журналов, книгоиздательств. На территории всего СССР лица, редактирующие журналы, газеты, политические брошюры, переводные романы, технические справочники или ведомственные издания, не могут занять своего поста без утверждения их Культпропом.

Формально власть Культпропа распространяется только на членов партии, но не член партии занять место редактора и не может. Если иногда для специальных изданий в редакционные

коллегии и входят «спецы», то рядомъ съ ними тутъ же назначаются со-редакторы - коммунисты, являющіеся политическими контролерами. Так, напр., дѣлается въ издательствахъ художественной литературы: берутъ писателей - беллетристовъ съ хорошими именами и рядомъ съ ними сажаютъ коммунистовъ съ хорошей партійной биографіей.

Такимъ образомъ всѣ редакторскіе функции во всѣхъ безъ исключенія газетахъ, журналахъ и книгоиздательствахъ на территории всего Союза находятся въ рукахъ коммунистовъ, подчиненныхъ Культпропу и обязанныхъ выполнять его директивы.

В дореволюціонныя времена, какъ правило, редакторъ и писатель вмѣстѣ боролись съ цензурой, теперь же картина измѣнилась: редакторъ - коммунистъ и цензоръ - коммунистъ вмѣстѣ борются съ писателемъ, они сотрудники - чиновники въ общемъ дѣлѣ использованія литературнаго творчества въ интересахъ диктатуры коммунистической партіи.

Если Главлитъ располагаетъ арміей чиновниковъ-цензоровъ, то Культпропъ располагаетъ параллельно дѣйствующей арміей чиновниковъ - редакторовъ. Но на этихъ въ достаточной мѣрѣ пассивныхъ позиціяхъ Культпропъ не останавливается. Уже давно Культпропъ съ большой энергіей перешелъ въ наступленіе на писателя, стремясь превратить и его въ «литературнаго чиновника» диктатуры, пусть, если не за совѣти, то хотя бы за страхъ.

Въ 1934-мъ году этотъ планъ Культпропа и Литконтроля ОГПУ былъ окончательно осуществленъ. Въ маѣ этого года съ широкой

рекламой былъ созданъ Всесоюзный Съездъ Писателей, увеличившійся организаціей «Союза Совѣтскихъ Писателей», основное положеніе устава котораго гласитъ: «Писатели Союза Совѣтскихъ Соціалистическихъ Республикъ, стоящіе на позиціяхъ еднѣтельной власти, желающіе активно участвовать своимъ творчествомъ въ классовой борьбѣ пролетаріата и въ социалистическомъ строительстве, рѣшили объединиться въ единый союзъ совѣтскихъ писателей».

Въ Союзъ Совѣтскихъ Писателей приняты около 2.500 членовъ.

Что это значитъ? Это значитъ, что создаемъ «Союзъ Писателей» послѣдніе остатки какой-то «свободы», какой-то возможности для писателя какъ-то пытаться увертываться отъ лапъ коммунистической власти уничтожены. Диктатура націонализировала формально еще свободнаго совѣтскаго писателя, превративъ его въ свободно гуляющаго чиновника вѣдомства государственной пропаганды. Ибо при коммунистическомъ строеѣ будучи внѣ Союза Писателей писатель не можетъ ни работать, ни жить. Такой «свободный» писатель выброшенъ изъ жизни и, какъ писатель, онъ не существуетъ; у него не будетъ ни хлѣба, чтобъ быть сытымъ, ни даже бумаги, чтобъ писать. Ибо при постоянномъ бумажномъ голодѣ въ СССР бумагу писатели получаютъ изъ казенныхъ учреждений и «неорганизованный» писатель ея получить не сможетъ.

Культпропъ слѣднѣ за писателемъ не только безпартійнымъ, но, конечно, и партійнымъ; въ Культпропѣ ведутся досѣ всѣхъ редакторовъ и сотрудниковъ па-

зеть и журналовъ. За коммунистами Культпропъ зорко слѣдитъ, дабы выявлять «уклоны», «загибы», «перегибы», вообще возможность зарожденія какихъ-нибудь оппозиционныхъ взглядовъ. Въ этихъ случаяхъ отъ Культпропа исходятъ предупрежденія, выговоры, смѣщенія, наконецъ, устраненія и ошала. Кары Культпропа безапелляционны и безпощадны, тутъ царить «тоталитарная» дисциплина.

Во главѣ Культпропа стоитъ сравнительно молодой коммунистъ А. И. Стецкий. На фигуру его стоитъ задержаться. Стецкий — интеллигентъ, ученикъ школы Бухарина, одно время связанный съ группой его учениковъ, въ которой возникла оппозиція по отношенію къ политикѣ Сталина. Но въ то время какъ многие изъ этихъ молодыхъ экономистовъ (Марескій, Айхенвальдъ, Слѣповъ и др.) поплатились за свою оппозиционность то ссылкой, то тюрьмой, а кто и жизнью, Стецкий какъ разъ сдѣлалъ карьеру на томъ, что первый донесъ Сталину на своего бывшего учителя Бухарина, когда тотъ написалъ извѣстныя «Записки экономиста». Благодаря этому Стецкий, не будучи одаренъ другими талантами, выдвинулся въ первую линію совѣтскихъ сановниковъ.

Центральный аппаратъ Культпропа въ Москвѣ не менѣе громаденъ, чѣмъ аппаратъ Главлита. Здѣсь получится вся совѣтская и мировая печать; все проробатывается коммунистическими чиновниками по директивамъ Стецкаго, ведущаго работу въ контактѣ съ еще болѣе виднымъ сталинцемъ, Лазаремъ Кагановичемъ.

Насколько великъ аппаратъ

Культпропа, можно приблизительно судить по такимъ цифрамъ. Только въ Москвѣ на фабрикахъ и заводахъ выходятъ болѣе 500 газетъ, такъ называемыхъ, «стѣнныхъ» и всѣ онѣ дѣлаются чиновниками Культпропа. У одной только московской газеты «Извѣстія» — 600 провинциальныхъ корреспондентовъ, зорко слѣдящихъ за настроеніями провинціи и дѣйствующихъ по директивамъ Культпропа. Къ 1-му января 1934 года на Сѣверномъ Кавказѣ политотдѣлами моторно-тракторныхъ станцій издавалось, напр., 240 газетъ и 52 газеты издавались политотдѣлами совхозовъ. Въ 1935 году въ торжественномъ собраніи въ Домѣ Союзовъ самъ Стецкий опредѣляетъ въ СССР количество бригадныхъ газетъ на предпріятіяхъ, въ колхозахъ и частяхъ Красной Арміи въ полмилліона названій. И весь этотъ «опумъ» для народа изготовляется чиновниками Культпропа, не пропускающими, разумеется, ни одной строки, которая расходилась бы съ директивами Стецкаго.

Армію коммунистическихъ чиновниковъ Культпропа надо считать тысячами.

3. Литконтроль ОГПУ.

При этихъ двухъ линіяхъ коммунистической цензуры (Главлитъ и Культпропъ) казалось бы, что всякое движеніе свободной мысли коммунистической властью уничтожено и безпокоиться ей нечего. Однако существуетъ и «третья линія» наблюденія за писателями и удушеній ихъ.

Это — Литконтроль ОГПУ.

Во главѣ Литконтроля ОГПУ долгое время стоялъ извѣстный чекистъ Яковъ Аграновъ, въ свое

время вынесший смертный приговор поэту Н. С. Гумилеву и разстрелявший много представителей русской интеллигенции.

Задача этой организации не контролировать то, что написано (это дѣло Главлита), не давать директивы пишущимъ (это дѣло Культпропа), а—слѣдить за тѣмъ, что могло бы быть написано: то есть персонально освѣщать всѣхъ совѣтскихъ писателей, поэтовъ, журналистовъ, пусть даже самыхъ преданныхъ режиму. И Литконтроль ОГПУ освѣщаетъ всѣхъ писателей не только безпартийныхъ, но и партийныхъ; онъ слѣдитъ за тѣми же Стецкимъ и Волинымъ, за всѣми ихъ чиновниками Главлита и Культпропа въ зависимости отъ ихъ высокаго или низкаго положенія. Это, такъ сказать, особая цензура даже надъ цензорами и особая слѣжка даже за сыщиками.

Изъ всѣхъ трехъ упомянутыхъ организаций эта организация, быть можетъ, самая страшная, хотя бы потому, что работаетъ она тайно. Помимо немногихъ явныхъ чиновниковъ ОГПУ сотрудниками Литконтроля является совершенно безчисленная армія тайныхъ агентовъ, вербуемая изъ среды гдѣхъ же писателей, журналистовъ, ихъ семей, и лицъ близкихъ къ питеаторамъ и литературѣ.

Писатели Запада не могли бы даже приблизительно представить себѣ атмосферу провокаціи, слѣжки, шпіонажа, шантажа, угрозъ, въ которой живутъ совѣтскіе писатели. Если когда-нибудь откроются архивы Литконтроля ОГПУ, картина порабощенія литературы этими мѣрами превзойдетъ, вѣроятно, самое пылкое воображеніе.

Приведу хотя бы одинъ примѣръ. Казалось бы Максимъ Горькій — близкій режиму и крупный человекъ? И все же онъ жилъ всецѣло опутанный сплошной паутиной ОГПУ. Съ одной стороны, для него же создавались «потемкинскія деревни» на мѣстѣ концентраціонныхъ лагерей, съ другой — Горькій въ жизни не могъ ступить шагу безъ приставленныхъ къ нему агентовъ ГПУ Авербаха и Крючкова, которые по своему усмотрѣнію, однихъ людей къ Горькому пускали, а другихъ не допускали и эти люди увидѣть Горькаго никогда не могли. Подъ старость впавшій въ крайнее слабозоліе Горькій часто хотѣлъ уѣхать за границу, но его не пускали. А его статьи съ панегириками коммунистическому террору писались начерно тѣмъ же безсмѣнно дежурившимъ при Горькомъ Авербахомъ.

Въ этой же атмосферѣ сыска и шпіонажа задохнулся и застрѣлся еще болѣе близкій режиму поэтъ В. Маяковский. Положеніе же писателей болѣе удаленныхъ отъ «сферы» даже трудно описать. Тутъ шупальцы ГПУ такъ глубоки, количество литературныхъ сексотовъ столь невѣроятно и ими настолько насыщена литературная жизнь, что состояніе совѣтскаго писателя лучше всего характеризуетъ распространенная въ Москвѣ мрачная шутка: стоитъ совѣтскій писатель передъ зеркаломъ и грустно подмигивая своему изображенію говорить: «одно изъ двухъ, либо ты агентъ ГПУ, либо я».

А другой анекдотъ таковъ: у писателя должны собраться товарищи на вечеринку, но такъ какъ въ СССР частныя собранія

запрещены, то писатель пошелъ въ ГПУ спросить разрѣшеніе. Тамъ, просмотрѣвъ списокъ приглашенныхъ, чиновникъ ГПУ, улыбаясь, говоритъ: «въ такомъ составѣ можете устраивать вечеринки ежедневно». Оказывается, кромѣ хозяина, всѣ остальные были сексоты Литконтроля ОГПУ.

Литконтроль ОГПУ вербуетъ своихъ агентовъ съ необычайной циничностью. Такъ, напр., извѣстные совѣтскіе писатели получили просто-напросто черезъ милицію повѣстку явиться по дѣлу въ ГПУ. И тамъ за «стаканомъ чая и папирсой» начинался разговоръ по душамъ о преданности писателя, имя рекъ, совѣтской власти, и о томъ, что эту преданность хорошо бы засвидѣтельствовать въ формѣ непосредственнаго контакта съ литконтролемъ. Черезъ эти «душевные разговоры» въ Литконтроль ОГПУ прошли буквально всѣ видные писатели. Покойный Е. И. Замятинъ рассказывалъ мнѣ, какъ въ ГПУ былъ вызванъ даже извѣстный юмористъ М. Зощенко, проведенный тамъ за «чашкой чая» около шести часовъ и прѣхавшій оттуда совершенно разбитымъ.

Надо понять психологическое состояніе совѣтскихъ писателей, живущихъ долгіе годы подъ давлением Главлита, Культпропа и Литконтроля ОГПУ, съ сознаниемъ всегдашняго окруженія сексотами изъ своихъ же собратьевъ, и тогда станеть болѣе яснымъ, почему и какъ происходитъ присоединеніе голосовъ совѣтскихъ писателей къ резонирующимъ-требованіямъ казней разнообразныхъ «вредителей», «предателей», «шпіоноловъ», «диверсантовъ».

Не ошибемся, если скажемъ, что сопрогивляющихся требованіямъ власти среди писателей нѣтъ. Въ СССР остались писатели, блюдушіе мѣру своихъ словесовій, и ее не блюдушіе, вотъ и вся разница. Пытающихся еще мечтать о какой-то «свободѣ» творчества власть давно выбросила изъ литературной жизни и они замолчали.

Въ ленинградской тюрьмѣ сидитъ критикъ Ивановъ - Разумникъ, преданный литературными сексотами, состряпавшими о немъ какое-то «фашистское» дѣло. На сѣверѣ Россіи три года тому назадъ отъ невыносимыхъ условий жизни покончилъ самоубійствомъ сосланный туда поэтъ В. Пясть. Изъ старыхъ литераторовъ не живутъ, а вѣрнѣе доживаютъ свой вѣкъ на свободѣ, но безъ возможности печататься, Клюевъ, Ахматова. Но молчатъ сейчасъ не только они, но и многіе изъ болѣе молодыхъ, подлинно совѣтскихъ писателей; они не то обезсильли, не то у нихъ заткнутъ ротъ.

Къ чести русской литературы надо сказать, что все-таки даже при всемъ этомъ татарскомъ игѣ она не только еще живетъ, но даже иногда (очень-очень рѣдко) находитъ въ себѣ силы поиронизировать надъ литературной и нелитературной политикой власти. Такъ, напр., журналистъ Э. Кроткій, работавшій раньше у Горькаго въ «Новой Жизни», года три тому назадъ написалъ довольно ядовитую басню «У лукоморья дубъ зеленый», за что и былъ схваченъ ГПУ и высланъ въ Сибирь, какъ только басня пошла по рукамъ въ спискахъ. То же самое произошло съ талантлив-

вымъ драматургомъ Николаемъ Эрмандомъ (авторомъ пьесы «Мандатъ», шедшей у Мейерхольда). Эрмандъ написалъ сатирическую пьесу «Самоубійцы», гдѣ персонажи — коммунисты и писатели — ведутъ такіе разговоры. — «Выпьемъ за идею», — говорить коммунист писателю. — «Отчего же за нее не выпить, если она хорошо кормитъ», — отвѣчает писатель. Свѣта рампы эта пьеса, конечно, не увидѣла и Эрмандъ получилъ изъ Культпропа предупрежденіе. Но когда Культпропъ пустилъ въ оборотъ литературную директиву о томъ, что въ голодной и задущенной терроромъ странѣ писатели должны дать произведенія веселаго смѣха и совѣтскаго юмора, Эрмандъ написалъ сатирическую пьесу «Засѣданіе о смѣхѣ». Тутъ ужъ, несмотря на заступничество Горькаго, Эрмандъ поѣхалъ въ ссылку въ Сибирь. Грѣхъ былъ истиннѣ великъ: Эрмандъ попробовалъ посмѣяться не на ту тему, главнымъ персонажемъ въ «Засѣданіи о смѣхѣ» подъ именемъ «веселящейся единицы» былъ введенъ никто иной, какъ самъ великій инквизиторъ литературы начальнижъ Культпропа сановникъ Степкій. Къ тому же, Эрманду приписывалось и авторство ходившей по рукамъ «Баллады о Сталинѣ», диктатору не понравившейся.

Такъ въ СССР кончаютъ всѣ писатели, пробуящіе писать не на заданныя Культпропомъ темы.

Зато, если писатель заданія Культпропа выполняетъ хорошо, то онъ хорошо и вознаграждается. Такихъ писателей власть умѣ-

еть одѣлять. Сейчасъ чрезвычайно удачно выполнять заказы самого Сталина гр. Алексѣя Толстой и годовые гонорары этого галантиванаго писателя исчисляются чуть ли ни въ миллионы рублей, а кромѣ того, въ видѣ особой ласки, Толстой получаетъ отъ правительства видлу подъ Ленинградомъ «съ собственностью и автомобилемъ». За Толстымъ идутъ другіе мейсе крупныя, по тоже хорошо выполняющіе задачи Культпропа писатели: В. Катаевъ, Павленко, Вс. Ивановъ и другіе, составляющіе теперешнюю верхушку совѣтской литературы.

Прекрасно понимая значеніе литературы въ жизни страны, коммунистическая партія при посредствѣ своихъ чиновниковъ изъ Главлита, Культпропа и Лигконтроля ОГПУ давно захватила литературу въ свои руки. Верхушка литераторовъ давно оторвана ими отъ жизни гождныхъ совѣтскихъ обывателей и связанной съ этимъ психологіи враждебности къ власти.

Всѣ видные писатели такъ же, какъ коммунистическая знать, прикрѣплены къ самымъ сытнымъ, самымъ лучшимъ кооперативамъ ГПУ, гдѣ получаютъ недоступныя совѣтскому обывателю продукты; имъ даютъ возможность ѣздить на курорты, даже за границу; съ полуголодной враждебно настроенной обывательской массой писатели не общаются; они общаются съ довольнымъ и сытымъ коммунистическимъ чиновничествомъ. И рублемъ и дубьемъ власть завоевала литературу и «взяла ее въ плѣнъ».

4. Четвертая инстанция — Сталинъ.

Но въ литературной жизни СССР есть и еще одна, четвертая, инстанция цензуры и всяческих окончательных литературных рѣшеній. Она, собственно, неизбѣжна при диктатурѣ, это — Сталинъ. Въ случаяхъ особо важныхъ, когда между Главлитомъ, Культпропомъ и Литконтролемъ возникаетъ неувязка и разнобой, дѣло восходитъ до Сталина и здѣсь рѣшается его словомъ.

Такъ, Сталинъ самъ «снялъ вето» съ автора «Дней Турбиныхъ» Булгакова, данъ ему работу театрѣ и разрѣшивъ постановку его вещей. Этому предшествовало непосредственное обращеніе Булгакова къ Сталину. До Сталина доходили рукописи многихъ романовъ, вызывавшихъ сомнѣнія и разногласія въ цензурныхъ вѣдомствахъ. Обращался непосредственно къ Сталину преслѣдуемый коммунистическими критиками писатель Пильнякъ, а также покойный Е. И. Замятинъ. Но самымъ характернымъ для нравовъ совѣтской цензуры былъ, пожалуй, случай съ изданіемъ трудовъ знаменитаго покойнаго академика И. П. Павлова.

Извѣстно, что академикъ, бережное отношеніе къ которому выразилъ еще Ленинъ — «сохранить пролетариату Павлова» — былъ въ СССР единственнымъ человекомъ, открыто высказывавшимъ свои анти-коммунистическіе и анти-совѣтскіе взгляды. И долгое время, несмотря на всѣ угрозы, Павловъ, напр., не соглашался, чтобы его труды были изданы Госиздатомъ. Подъ конецъ

все-таки ближайшіе сотрудники уговорили Павлова. Но, говорятъ, совершенно умышленно академикъ пожелалъ, чтобы въ первомъ томѣ его сочиненій была напечатана фотографія, изображающая Павлова ребенкомъ съ своимъ отцомъ — священникомъ; а другой томъ своихъ сочиненій академикъ посвятилъ памяти своего сына (погибшаго въ бѣлой арміи).

Разумѣется, ни главлитчики, ни культпрошники взять на себя какое бы то ни было рѣшеніе по этому дѣлу не могли. Оно пошло на личное усмотрѣніе Сталина, который освѣдомившись объ абсолютной категорическомъ требованіи Павлова «или печатать такъ, какъ онъ хочетъ, или совсѣмъ не печатать», разрѣшилъ напечатать и посвятить и фотографію.

Но иногда совершенно неожиданно Сталинъ по прочтеніи какого-нибудь уже напечатаннаго произведенія обрушивается сразу противъ всѣхъ трехъ цензурныхъ инстанцій и можно представить себѣ, что тогда происходитъ и съ авторомъ и съ чиновниками всѣхъ трехъ занятыхъ литературой вѣдомствъ. Такъ было, напр., съ повѣстью талантливаго писателя Платонова, изображавшей коллективизацію и напечатанной въ журналѣ «Красная Ночь». Сталинъ нашелъ повѣсть возмутительной и контр-революціонной и Платоновъ, разумѣется, сразу же послѣ этого замолчалъ. Гдѣ онъ? Что съ нимъ? Мы не знаемъ.

Извѣстно, что у Сталина собираются избранные изъ верхушки совѣтскихъ писателей; изъ

нихъ Сталинъ особенно выделяетъ двухъ дѣйствительно талантливыхъ писателей — Толстого и Шолохова.

О теперешнемъ положеніи литературы въ СССР одинъ советскій писатель сказалъ такъ: «Мы порабощены коммунистической партией и сами прекрасно знаемъ, что ничего крупнаго создать не можемъ. Въ лучшемъ случаѣ мы явимся удобреніемъ для какихъ-то будущихъ поколѣній писателей. Писать мы не можемъ, потому что коммунистическая власть умышленно оторвала насъ отъ страны, мы не живемъ

ея жизнью, мы насильно взяты властью на ея коммунистическій корабль и плывемъ вмѣстѣ съ нею въ неизвѣстномъ направленіи. Куда мы плывемъ? Сказать не берусь. Но если эта власть потерпитъ крахъ, это отразится навѣрное и на всѣхъ къ ней приближенныхъ. Въ этомъ случаѣ не будутъ вѣдь спрашивать, что ты думалъ и даже что ты писалъ, а спросятъ, что ты ѣлъ въ то время, когда мы голодали? А ѣдимъ мы, увы, изъ кооператива ГПУ и пишемъ то, что отъ насъ хотятъ».

Романъ Гуль.

КРИТИКА И БИБЛОГРАФИЯ

Монахиня Марія. Стихи. Петропольскъ, 1937.

Сборникъ этотъ раздѣленъ на 2 отдѣла: «о жизни» и «о смерти». Стихи обоихъ отдѣловъ книги, написанной монахиней — стихи религиозные.

З. Гиппиусъ обмолвилась какъ-то, что стихи — это молитвы. Хотя поэзія близка къ религіи, поскольку она исходитъ изъ очень глубокихъ и тайныхъ духовныхъ истоковъ и хотя религія полна поэзіи, — все же нѣтъ ничего неблагодарнаго, чѣмъ религиозная поэзія. Какъ это ни странно, но сама глубина и «поэтичность» темы является для поэта не подспорьемъ, а грузомъ. Читатель ждетъ отъ такихъ стиховъ глубокихъ эмоций, какія даетъ религія и, не находя, разочаровывается. Можетъ быть и сами поэты, касаясь религиозныхъ темъ, склонны преувеличивать глубину и торжественность своихъ переживаній. Но и подлинная религиозность еще не является залогомъ подлинной поэзіи. Прекрасные религиозные стихи рѣдки даже у большихъ поэтовъ.

Монахиня Марія не новичекъ въ литературѣ. Она выпустила интересную книгу стиховъ еще въ довоенномъ «Цехѣ Поэтовъ», а вторую, «Руфь», въ годы войны. Въ послѣдней были уже намѣчены ея религиозныя темы. Потомъ она надолго замолкла, какъ поэтъ. Въ послѣдніе годы ея имя стало извѣстно широкимъ кругамъ эмиграціи, какъ имя человека практическаго религиознаго дѣла. И теперь, раскрывая ея новую книгу стиховъ, читатель невольно ищетъ не только поэтическихъ эмоций. Помимо поэтическихъ достоинствъ и недостатковъ, она прежде всего свидѣтельство о чѣмъ-то большомъ и подлинномъ, комментарий къ религиозному труду и подвигу. Монахиня Марія, принявъ постригъ, осталась въ міру и не отвернулась отъ жизни и стихи ея «о жизни» — самый интересный отдѣлъ ея книги. Жизнь она знаетъ подлинную, страдающее эмигрантское дно. Эта жизнь кажется ей «воронкой въ адъ», а иногда и прямо адомъ. Въ вонскахъ преображенія и оправданія этой жизни она порой почти гнѣвно упрекаетъ Бога, обновляя вѣчную тему Іова:

«Убери меня съ твоей земли,
Съ этой пьяной, нищей и бездарной.
Отъ любви и горя говорю —

Иль пошли мнѣ ангельскія рати.
Или двери сердца затворю
Для отъфренной такъ скупо благодати».

Но чаще она винить не Творца, а самое себя. «Чужое страданіе жжетъ». «Что ему я за братьевъ отвѣчу?» говоритъ она и, однажды, употребляетъ другое сравненіе. Люди для нея не братья, а дѣти:

«О, Господи, не дай еще блуждать
Имъ по путямъ, гдѣ жизнь многообразна.
Ты далъ мнѣ право — говорю, какъ мать,
И на себя приемлю все: соблазны».

И материнской жалостью болѣетъ она за самыхъ несчастныхъ, за оставленныхъ безпризорныхъ дѣтей. Она вѣритъ, что и эта горчайшая несправедливость будетъ исправлена, что явится Ангель и поведетъ этихъ «безпризорныхъ Ванекъ»:

«Туда, гдѣ домъ, постель и столъ».

и она радуется, что

«Тамъ, на небѣ, высоко,
Не помня о земномъ соблазнѣ,
Небеснымъ пьяны молокомъ
Мы съ Ваньками устроимъ праздникъ».

Это звучитъ почти наивно (какъ звучатъ иные стихи на ту же тему Вильяма Бляка), но есть, разумеется, въ этомъ и «капля яда». Не все логически сходится въ образахъ мон. Маріи, есть въ нихъ противорѣчія. Но въ важна не логика, а внутренняя правда. Она говоритъ, что «миръ еще въ лѣсахъ», что Богъ — архитекторъ, подымающій бичъ на нерадивыхъ (но какъ же Ваньки?). Она сама хочетъ быть кирпичемъ въ Божьихъ рукахъ и восклицаетъ: «строй изъ меня, непостижимый Зодчій». Она хочетъ быть Божьей «свѣчей» и «палицей» и «мечемъ». Это — не выраженіе наивной, неискушенной вѣры, это стихи теологически образованной монахини, и поэтическая, сильно прочувствованная, Теодицея.

Стихи о смерти въ той части, гдѣ она говоритъ о смерти вообще и даже о своей, воображаемой, смерти нѣсколько холоднѣе и не лишены отгѣнка дидактизма. Но стихи о смерти дочери полны громаднаго напряженія боли. И они снова возвращаютъ насъ все къ той же темѣ, къ тѣмъ же вѣчнымъ вопросамъ Юва объ оправданіи зла и смерти.

М. Цетлинь.

В. Смоленскій. Наединѣ. Изд. «Совр. Записки», Парижъ, 1938.

Позволю себѣ начать съ «критики» — дальше будетъ видно, почему. (Любовь) «надъ твоею душой ...расцвѣтаетъ..., разгораясь надъ сердцемъ...» «...Моли, душа ...привыкай ...и сердце пріучи...» Сердце въ этихъ контекстахъ не органъ тѣла, а синонимъ души. Здѣсь, зна-

чить, да и тогичи, причеъ по второмъ случаѣ тавтологія — въ ущербъ логикѣ. «Никому не скажешь, скроешь, спрячешь» — опять тавтологія. «Копи надежды и мечтаныя...» Копить можно мечту, а не мечтаныя: мечтаные — отглагольное существительное, выражающее дѣйствие, а не его результатъ. Обѣ эти категории промаховъ сводимы къ одной: невнимательное отношеніе къ прямому и точному смыслу слова, приблизительность рѣчи, готовность пожертвовать очень многимъ ради рѣзвы, размѣра, иногда — «чувства». Въ этомъ, общемъ, грѣхѣ современной русской поэзіи повиненъ, по всей вѣроятности, главнымъ образомъ Блокъ (у В. Смоленскаго, во всякомъ случаѣ, блоксовскія реминисценціи на каждомъ шагѣ). Впрочемъ, въ большей или меньшей степени, это приложимо едва-ли не ко всей русской поэзіи послѣ Пушкина, Баратынскаго, Тютчева. Исключенія: Анненскій, Ахматова; сейчасъ — если ограничиться новымъ поколѣніемъ въ эмиграціи, — Червинская, Штейгеръ. Здѣсь, значитъ, сила нѣкоторой традиціи, нѣчто постоянное, что надобно откинуть, для того, чтобы судить о поэтѣ. Дѣло сводится, слѣдовательно, къ тому, насколько поэтъ способенъ побороть въ себѣ этотъ «прародительскій» грѣхъ. Залогомъ этого служить, конечно, только одно: воспринимается-ли, незвизрая на эти недостатки, каждое данное стихотвореніе какъ поэзія, т. е. какъ выраженіе того, что въ предѣлѣ невыразимо, «неизъяснимо»? Производитъ-ли оно впечатлѣніе чего-то **реальнаго**, существующаго, а не просто набора словъ? Подводитъ-ли оно читателя къ поэту — въ отличіе отъ фабриката, за которымъ мы не видимъ — и не имѣемъ нужды видѣть — мастера? Этому требованію стихи В. Смоленскаго всецѣло удовлетворяютъ. Болѣе того: нѣкоторыя его стихотворенія вполне свободны отъ неточностей, отъ излишествъ, отъ всего, что нарушаетъ чуждость впечатлѣнія. Таковы, въ особенности, «Огромный міръ...» и «Вызывая ужасъ и смѣхъ...» Въ первомъ удивительно хорошо смѣлое, идущее въ разрѣзъ съ «поэтическими» условностями, построеніе рѣчи второго четверостишія («...въ которомъ я... вода, въ которой отражается...»), строго соответствующее темѣ «многопланности» бытія. Начало этого стихотворенія — реминисценція тютчевскаго «Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной». Второе — отголосокъ «Дѣвнадцати» Блока (по идейному содержанию оно, какъ и еще одно, тоже весьма удачное, «Медленно бредеть людское стадо...», вариация на тему «Легенды о великомъ инквизиторѣ»), но формально очень напоминаетъ Анненскаго (въ особенности послѣднія строфа). Не служить-ли это доказательствомъ, сколь благотворны вліянія, исходящія отъ подлинныхъ классиковъ? Это поддается и обратной проверкѣ. Стихотвореніе «Кричи не кричи...», — «блоксовское» по всѣмъ отношеніямъ. И потъ въ немъ есть упоминаніе о «небесныхъ очахъ Россіи! Этотъ шаблонъ цыганскаго романа — и то-же примѣнительно къ Россіи — могъ-бы оказаться и у Блока.

П. Бицилли.

Леонидъ Зуровъ. Поле. Изд. «Парижскаго Объединенія Писателей». 1938.

Леонидъ Зуровъ принадлежитъ къ «молодымъ» эмигрантскимъ писателямъ. Наиболее характеренъ для произведеній этихъ «молодыхъ» — интимный монологъ, съ устраненіемъ всѣхъ социальныхъ и бытовыхъ условій существованія. Возникновеніе этого литературнаго рода не случайно въ условіяхъ оторванности отъ полноты непосредственнаго участія въ коллективной жизни. И все же Зуровъ, несмотря на его многолѣтнее «сидѣніе на Монпарнасѣ», писатель идущій совсѣмъ по другому пути. Даже у многихъ «старшихъ» эмигрантскихъ писателей, сложившихся еще въ Россіи, не найти такой силы чувственнаго воспріятія, такого органическаго ощущенія «плоты» жизни и міра, какъ у Зурова. Зуровъ не только не оторванъ отъ земли и отъ тѣла своего народа, но сильнѣе, чѣмъ кто-либо изъ современныхъ эмигрантскихъ писателей, чувствуетъ глубокія, слитыя съ силами природы, биологическія начала роевой человѣческой жизни, все древнее, родовое, славяно-языческое, еще живое въ крови и въ под-
сознаніи народа.

Читая его новую книгу «Поле», съ необыкновенной живостью чувствуешь чудо существованія описываемаго имъ озера, его сіяніе и глубину. И въ предыдущихъ книгахъ Зурова было много прекрасныхъ описаній земли и неба, деревьевъ, снѣга. Но никогда еще, кажется, Зурову не удавалось передать съ такой силой визушенія свое чувство русской земли, какъ въ этомъ описаніи «болотныхъ и дѣсныхъ краевъ». Онъ создаетъ русское «чувство озера», какъ, по мнѣнію одного французскаго изслѣдователя, Руссо создалъ «чувство горы», то-есть изъ элементарныхъ, близкихъ къ физическимъ, впечатлѣній, производимыхъ пейзажемъ, сотворилъ новое полненіе, новое чувство человѣческаго сердца.

Такъ же, какъ въ «Древнемъ пути», въ «Полѣ» разсказывается о народѣ, ушедшемъ на войну, на смерть и возвращающемся послѣ большевистской революціи домой. Зуровъ не разсказываетъ объ отдѣльных, игравшихъ историческую роль, лицахъ. Онъ видитъ и описываетъ ту сторону событій, которую Толстой считалъ главной — стихійное, какъ перелетъ птицъ, движеніе огромныхъ массъ людей. Идущая обратно съ фронта солдатская рѣка смыкаетъ всѣ сложившіяся вѣками условія жизни. Пожары, убійства, воздухъ новой страшной Россіи — «словно впервые изъ-подъ всѣхъ одеждъ и вѣковъ освобождалась, рождалась она, чтобы умереть или расцвѣсти небывало». Въ этихъ словахъ опредѣленіе и темы и «героя» «Поля» и всѣхъ предыдущихъ книгъ Зурова, являющихся какъ бы фрагментами одной задуманной имъ повѣсти — «Россія. Ея поле. Ея небо, дыханіе».

Центральный эпизодъ въ книгѣ — бѣгство отъ красныхъ пограничниковъ богатаго и набожнаго мужика Ермолая. Раненый, почти умирающій, вмѣстѣ съ женою онъ прячется въ дѣсу. «Но земля была холодна, и трудно было на ней иззябшему, раненому, бѣжавшему отъ людей, потерявшему много крови человѣку, и единственно, что

можно было дблать, это грбться на этой землѣ другъ другому, челоѳьческой, единственной, живой, родственной теплотой. И она молчали, прижимаясь плотнѣй, и молчали, а временами забывались, — то готъ, то другой.

А потомъ дождь пересталъ. Съ березовыхъ листьевъ еще падали капли, но тамъ, за полемъ, рѣкой, надъ лѣсною хвоей, очистилось небо, и въ немъ возникали освѣщенные уходящимъ солнцемъ бѣлые облака, — какая-то теплая, блаженная обитель, гдѣ проходить все — и усталость, и холодъ, и боли, и скорбь.

Какъ странно сравнить это чувство молчаливой, звѣриной, и въ то же время почти уже неземной, блаженной близости къ другому челоѳьку, — съ тѣмъ, проникающимъ всѣ наиболѣе характерныя произведения эмигрантской «молодой» литературы, отчаянемъ одиночества, которое нашло яркое выраженіе въ словахъ героя Сирниа, Цинцината — «Нѣтъ въ мѣрѣ ни одного челоѳька, говорящаго на моемъ языкѣ; или короче: ни одного челоѳька, говорящаго; или еще короче: ни одного челоѳька». Но если въ этихъ словахъ, какъ часто вообще у Сирниа, чувствуется утверждение «соллиписизма», то, наоборотъ, нѣкоторыя другія произведения «молодыхъ» говорятъ о трагическихъ попыткахъ найти въ челоѳьческой близости выходъ изъ «необитаемости» одиночества. И на этомъ пути Зуровъ, какъ будто бы самый не эмигрантскій изъ молодыхъ писателей, оказывается вмѣстѣ съ тѣмъ изъ нихъ, душа которыхъ, въ отличіе отъ сиринскаго героя, стремится, несмотря на все нечелоѳьчное, одновременно и связывающее и развѣдняяющее людей, сблизиться съ такимъ же («Цинцинатомъ» въ другомъ челоѳькѣ.

В. Варшавскій.

В. Федоровъ. Канареечное счастье. Ч. I. Ужгородъ, 1938.

Извѣстно «табу», наложенное современной критикой: нельзя, послѣ Пруста, писать такъ, какъ писали до Пруста. Однако, прочитавъ «Канареечное счастье», я убѣдился, что можно. Правда, «герой» романа постоянно обращается къ прошлому, но совѣтъ не по-прустовски: не для вскрытій «комплексовъ», а потому, что онъ выбитъ изъ колеи. Но и въ настоящемъ, какъ и въ прошломъ, онъ живетъ полной жизнью, не разщепляясь на «агента» и «созерцателя». Въ томъ, что объ основномъ сюжетѣ романа повѣствуется въ формѣ воспоминанія «героя» о немъ, также — ничего по существу прустовскаго: въ этой формѣ романисты пользовались постоянно съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ романъ. Повѣствованіе, при этомъ, ведется отъ лица автора, а не «героя» — послѣдній всегда упоминается въ третьемъ лицѣ — и это даетъ автору право нерѣдко замѣщать «героя» и тѣмъ самымъ отодвигать жизненную ткань, о которой повѣствуется, на извѣстную дистанцію, однако, опять-таки, такъ, что ощущение жизненности не утрачивается: авторъ участвуетъ вмѣстѣ съ «героемъ». въ переживаемомъ имъ, не отождествляясь тѣмъ не менѣе съ «героемъ». Этимъ опредѣляется наличие юмора, что у Пруста и его вѣр-

ных, разумеется, исключено. Юмористическое отношение къ жизни создаетъ весь тонъ повѣствованія: іерархія цѣнностей послѣдовательно нарушается, но не въ силу того, что всѣ онѣ убиты «кироніей» и «маллэомъ» — смерть равняетъ всѣхъ — а, напротивъ, потому, что для юмориста все *живетъ*, и это во всѣхъ цѣнностяхъ для него — самое главное. «Онъ помнитъ» поле съ вороньими парламентами на дымящихся кучахъ навоза, мокрые собачьи слѣды вдоль выбѣленной лясемъ лужайки, хохлатыхъ поситюховъ, припадавшихъ передъ взлетомъ къ землѣ, и таинственную предель стараго кладбища, гдѣ онъ бродилъ съ учебникомъ геометріи среди мраморныхъ ангельскихъ статуй». Примѣровъ такого сочетанія образовъ у автора можно было-бы привести множество. Какъ кажется, въ томъ, что относится къ использованию словесныхъ средствъ для достижения этой стилистической цѣли, здѣсь сказалось плодотворное вліяніе Сирина. Какъ съ этой жизненностью автора совмѣстить одну особенность его книги? Федотъ Федосѣвичъ во всѣхъ отношеніяхъ чисто-диккенсовскій типъ; Ляпуновъ гоноритъ языкомъ капитана Лебядюна, и его письмо къ римскому Папѣ тоже какъ-будто написано какимъ-нибудь «мимическимъ персонажемъ Достоевскаго; изобрѣтатель «канареичнаго счастья» — сплавленъ изъ персонажей ихъ обоихъ, и Достоевскаго и Диккенса; эсеръ Петръ Ивановичъ могъ-бы найтись у Чехова — не въ разсказахъ, а въ Записной книжкѣ или въ Письмахъ, а носхитительный паразитъ Топорковъ у Петрони, у Аретино, у Бенъ-Джонсона. Послѣдній примѣръ надо отвести: этотъ типъ «принадлежитъ вѣчности». Но остальные, создающіе, будучи взяты вмѣстѣ, впечатлѣніе *разностности*, не нарушаютъ-ли они тѣмъ самымъ *жизненности* повѣствованія? Если вдуматься, окажется, что нѣтъ, и что эта разностность — приемъ очень тонкій и какъ разъ удовлетворяющій требованіямъ реальности, поскольку дѣло идетъ объ изображеніи нашей нынѣшней дѣйствительности. Вѣдь мы сами, послѣ той чудовищной «мутации», которая была пережита нами, воспринимаемъ все, что уцѣлѣло отъ стараго міра — и самихъ себя — пусть и безсознательно, уже въ стилизованномъ видѣ; и для насъ люди, принадлежащіе въ сущности къ прошлому и еще живущіе, на фонѣ современности, являясь живыми анахронизмами, рисуются какъ *типы*, и смотря по тому, къ какимъ бытовымъ пластамъ мы мысленно ихъ относимъ, мы ихъ подвергаемъ, такъ сказать, той или иной литературной обработкѣ, пользуясь тѣми образами, гдѣ каждый изъ этихъ типовъ нашелъ свое самое яркое выраженіе. Мало того: эти люди, когда они пытаются участвовать въ новой жизни, сами себя стилизуютъ, — въ силу необходимости, сами въ сущности лишь «играютъ роль», какъ у автора правый «общественный дѣятель», Данилевскій, или г-жа Грушко.

Жизнь протекаетъ въ двухъ планахъ. Люди влюбляются, женятся, заботятся о хлѣбѣ насущномъ — это планъ вѣчности. Все остальное относится къ плану исторіи. Поскольку мы *участвуемъ* въ жизни, мы не различаемъ этихъ двухъ плановъ. Но какъ быть, когда въ результатъ «мутации» человекъ *выключенъ* изъ исторіи и обреченъ на

то, чтобы въ планѣ историческомъ только «играть роль»? Какъ въ такомъ случаѣ, принимаясь за повѣствованіе о жизни, соблести требованіе единства, сліянія обоихъ плановъ? Какъ избѣжать той фальши, въ какую обычно, вслѣдствіе этого, впадаютъ авторы «историческихъ» романовъ? Автору удалось разрѣшить эту задачу благодаря присущему ему чувству юмора, Юмористическимъ колоритомъ окрашены у него оба плана. Его Наденька — олицетвореніе «вѣчно-женственного» начала; но оно у автора не возвеличено, не превознесено, а скорѣе, пожалуй, снижено. Наденька — обыкновенная, ничуть не «идеальная» женщина. Она влюбляется въ «героя», но не «безумно», а такъ, что сразу-же подумываетъ о томъ, какъ ей съ нимъ «устроиться»; ко всему она относится съ выдержкой, трезво, съ житейской мудростью, умѣряя пылъ «героя» и подсмѣиваясь надъ его романтичностью. Въ сущности это будничность, трезвость, умѣренность женщины — это и есть самое «вѣчное» въ ней, и самое жизненно-важное. Въдѣ этимъ-то держится жизнь (Толстой, какъ никто, понималъ это). При такомъ подходѣ къ обоимъ планамъ жизни авторъ свободно и легко сочетаетъ ихъ, эпизоды, относящіеся къ каждому изъ нихъ, чередуются у него такъ, что повѣствованіе движется ритмично, какъ сама жизнь, и художественное единство ни разу не нарушается. Въ этой правдивости книги В. Федорова, состоящей въ строгомъ соответствии содержанія и формы, ея главное достоинство и особая ея привлекательность.

П. Бицилли.

Д. Е. Скобцовъ-Кондратьевъ. Гремучій Родникъ. Парижъ, 1938.

Когда я прочелъ нѣсколько первыхъ страницъ этой книги, я сталъ ждать появленія Странника и «стремящагося къ свѣту» Юноши, — до такой степени она на первый взглядъ кажется близка къ этому специфически - русскому литературному роду, такъ сказать, *ethnographie romanesque*. И дѣйствительно, нашлись и эти оба персонажа и традиционная молодая жена, у которой мужа взяли въ армию и которая «впадаетъ въ грѣхъ». Но Странникъ ничуть не воплощеніе народа-богоносца, а стремящійся къ свѣту Юноша «не пошелъ обычнымъ путемъ юныхъ революціонеровъ того времени (начало нашего вѣка), приклеивавшихъ себѣ ярлыкъ той или другой нелегальной партіи и начинавшихъ тѣмъ кичиться, какъ начинали они кичиться, смѣнивши гимназическую фуражку на студенческую, а эту послѣднюю затѣмъ на — чиновничью». Онъ становится «философомъ» и общается развиваться въ Оленина изъ толстовскихъ «Казаковъ». И его романъ съ пивной половной носитъ тотъ-же характеръ, что и романъ Оленина съ Марьяной, и приводитъ къ тому-же исходу, которымъ (его отъѣздъ изъ родной станицы) такъ же, какъ и «Казаки», завершается книга. Этотъ романъ съ его развязкой у автора имѣетъ то-же символическое значеніе, что и у Толстого: дѣлается «философомъ», начиная «понимать», герой становится чуждымъ, «непонятнымъ» первобытному міру казачьей станицы. Цѣнность книги Скоб-

цова-Кондратьева въ томъ, что, заимствуя множество элементѣвъ и у «бытовиковъ», и у Толстого, и у Лѣскова (рѣчь сельскаго духовенства, странниковъ»), онъ сочетаетъ ихъ самостоятельно, по новому, съ тонкимъ расчетомъ. Прежде всего, никакой идеализации. Коллективный «дядя Ершакъ» совершенно очищенъ отъ примеси Жань-Жака, какой немало у толстовскаго. Зато очень послѣдовательно и продуманно раскрыто то, что гениально было увидѣно Толстымъ какъ составляющее сущность міра «добраго дикаря», основу его прочности, слаженности, устойчивости: это его **практицизмъ**, неразличеніе категорій «прекраснаго» и «полезнаго», — и отсюда «роевое» (по терминологии Толстого) — не **сознаніе**, а **чувство**: отношенія мужчины къ женщинѣ, сосѣда къ сосѣду, хозяина къ своему огороду, своимъ быкамъ, — **одной природы**. Рой вовсе не **рай**, — какъ хотѣлъ заставить себя повѣрить Толстой, хотя, повторяю, онъ былъ близокъ къ тому, чтобы увидѣть его такимъ, каковъ онъ есть, — и примитивная «сборность» весьма далека отъ славянофильской; и все-же это «роевое» начало, парадоксально проявляющееся въ различныхъ скандалахъ, ссорахъ, дракахъ, на почвѣ любовныхъ и всякихъ другихъ отношеній, является глубоко **человѣческимъ**, сколь-бы ни были эти проявленія его присущъ элементъ животности. Человѣческимъ, а значитъ, **религиознымъ**: «Человѣкъ любить жить, какъ привыкъ, какъ считаетъ должнымъ, со своей радостью, со своимъ неизбѣжнымъ грѣхомъ, со своимъ высокимъ перывомъ... Со своимъ сосѣдомъ человѣкъ часто ссорится, доходитъ до крайняго озлобленія, но безъ сосѣда жить трудно. За воротами своего двора нуженъ другой человѣкъ. Черезъ другого человѣка, черезъ этого видимый міръ человѣкъ хочетъ приобщиться къ тому, къ другому міру... Плечомъ къ плечу, одинъ за другимъ со своимъ обрывкомъ вѣры, со своимъ позывомъ узанать Бога..., приблизиться къ Нему, быть можетъ, часто прячась за чужую спину... и такъ сообща стать передъ Нимъ...» Этими словами начинается глава о томъ, какъ станичники собрались посоветоваться насчетъ постройки новой церкви и какъ тотчасъ-же началась грызня между старостой и кандидатомъ въ строители, — примѣръ, достаточный для уясненія общаго замысла и соответствующаго ему тона этой умной и правдивой книги. Пониманіе несоответствія между идеаломъ и дѣйствительностью и вмѣстѣ съ тѣмъ — оправданности, потому что естественности, этого несоответствія переводятъ иронію въ юморъ. Юмористическій тонъ повѣствованія поддерживается мастерскимъ использованиемъ особенностей говора персонажей («гляди, какъ онъ рюжкой руководствуетъ...» и т. п.). Въ соответствии съ общимъ, трезво-юмористическимъ тономъ и стилемъ находится и композиція, въ отличіе отъ традиціонныхъ композиціонныхъ формъ «бытового» романа съ его обстоятельностью, приближающаяся къ «фильмовой»: быстрое, легкое мельканіе эпизодовъ, то смѣшныхъ, забавныхъ, то печальныхъ. Человѣкъ Скобцова, въ сущности современный героямъ Иліады, не вѣдающій противоположности ни между Я и не-Я, ни между «внутренней» и «внѣшней» жизнью, и слишкомъ здоровый, чтобы онъ не могъ справиться съ любимымъ ду-

шевыиъ потрясеніемъ, былъ-бы показанъ фальшиво, если-бы изображающій его вдался въ сколько-нибудь углубленный анализъ его переживаній, или въ подробное описаніе чего-либо случившагося съ нимъ. Авторъ, однако, идетъ въ этомъ отношеніи чересчуръ, кажется мнѣ, далеко. Эпизоды и лица смѣняются въ такомъ изобиліи и съ такою быстротой, что порою рябитъ въ глазахъ и не всегда помнится, появлялся-ли какой-нибудь персонажъ, показанный на экранѣ, уже раньше. И этотъ приемъ легкаго касанія къ жизни восходитъ къ Толстому. Но у Толстого соблюдена мѣра. Напомню гениальный финалъ «Казаковъ». Мы такъ и не знаемъ, выживетъ-ли Лукашка. Въ «эрою» смерть одного человѣка не такъ ужъ важна. Нѣтъ никого, кто былъ-бы незамѣнимъ, неповторимъ. И все-же: въ «Казакахъ» всѣ персонажи такъ или иначе индивидуализированы, — и не смѣшиваются въ нашемъ сознаніи въ одну кучу, уже по тому одному, что ихъ не слишкомъ много. Важно, впрочемъ, то, что, знакомясь, въ изображеніи автора, съ этимъ міромъ, отъ котораго, съ точки зрѣнія философіи исторіи, насъ, «понимающихъ», отдѣляютъ тысячелѣтія, мы не сомнѣваемся въ его реальности. Это — залогъ правдивости повѣствованія. И самъ собою навязывается вопросъ: что отъ этого міра, просуществовавшаго какимъ онъ сложился, Богъ вѣсть, когда, вплоть до нашихъ дней, осталось *сейчасъ*? Въ какой мѣрѣ удержались эти его начала жизненной энергіи, крѣпости, духовнаго здоровья, цѣлостности, реалистичности? Вѣдь весь вопросъ о Россіи, о ея бытіи сводится, думается, къ этому.

П. Бицилли.

Бѣлградскій Пушкинскій Сборникъ. Изд. Русскаго Пушкинскаго Комитета въ Югославіи. Бѣлградъ, 1937.

Этотъ интереснѣйшій и разнообразный по содержанію Сборникъ долженъ быть особо отмѣченъ въ исторіи пушкинскихъ юбилейныхъ дней. Осуществленіе такого изданія оказалось возможнымъ благодаря поддержкѣ Предсѣдателя Совѣта Министровъ Югославіи, д-ра Стоядиновича и акад. А. И. Белича, «напутственнымъ словомъ» котораго открывается Сборникъ.

Книга состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: 1) «Пушкинъ и Югославія». 2) «Иныя статьи по пушкиновѣдѣнію». Первый отдѣлъ вводитъ читателя въ мало до сихъ обследованную область отношеній Пушкина къ югославской литературѣ и исторіи его вліянія на эту литературу. Изъ статьи П. А. Миронаша «Раніе отзывы о Пушкинѣ въ сербской печати» мы видимъ, что сербы познакомились съ Пушкинымъ уже въ 1826 г., когда о немъ еще ничего не слышали ни поляки, ни чехи, ни болгары. Кн. Н. С. Трубецкой, извѣстный специалистъ по изученію метрики русскаго стиха, въ статьѣ «Къ вопросу о стихѣ Пѣсенъ западныхъ славянъ Пушкина» даетъ тщательный анализъ того размѣра, которымъ Пушкинъ написалъ большинство этихъ пѣсенъ, и рѣшаетъ вопросъ, почему Пушкинъ (а раньше Востоковъ) избралъ этотъ размѣръ для передачи сербскихъ эпическихъ пѣсенъ.

Въ статьѣ много тонкихъ замѣчаній о сербскомъ стихѣ и воспріятіи его русскимъ слухомъ. А. В. Соловьевъ въ «Югославянскихъ темахъ въ произведеніяхъ Пушкина» выясняетъ хронологію и психологію интереса Пушкина къ славянамъ, а Вс. Прокофьевъ и Дим. Атряскингъ въ статьѣ «Пушкинъ въ югославянской литературѣ» останавливаютъ вниманіе на мало изслѣдованномъ вопросѣ объ отношеніи сербскихъ поэтовъ къ Пушкину. Авторы доказываютъ, что интересъ сербскихъ поэтовъ къ Пушкину возрастаетъ до конца 60-хъ годовъ, въ 70-ые же годы, въ связи съ увлеченіемъ идеями Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева; совершенно ослабѣваетъ, уступая мѣсто влиянію Гоголя. Въ 80-ые годы началось общее и горячее увлеченіе Пушкинскимъ. Статья, ограничиваясь 19-ымъ вѣкомъ, очень убѣдительно и прекрасно документирована. Ее дополняютъ «Пушкинъ въ хорватской литературѣ» К. Римаричъ-Вояныскаго и «Пушкинъ у Словенцевъ» Н. Преображенскаго. Въ этомъ же отдѣлѣ находится небольшая статья В. Ходасевича объ Аврорѣ Шериваль, устанавливающая, между прочимъ, годъ ея рожденія (1808, а не 1813, какъ до сихъ поръ считалось).

Отдѣлъ статей по пушкиновѣднію открывается статьей С. Л. Франка «О задачахъ познанія Пушкина». Авторъ правильно отмѣчаетъ, что наше пушкиновѣдніе попало на опасную дорогу, безцѣрно и безцѣльно останавливаясь часто на такихъ мелочахъ, которыя для познанія Пушкина никакого значенія не имѣютъ, и что усердное собираніе фактическихъ матеріаловъ можетъ быть оправдано только ихъ необходимостью для постройки какого-либо синтетическаго цѣлага». И С. Л. Франкъ намѣчаетъ нѣсколько основныхъ задачъ при изученіи и познаніи Пушкина. Напоминая объ извѣстной работѣ Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина», С. Л. Франкъ указываетъ на другую, болѣе важную, — изслѣдовать «духовное хозяйство» Пушкина, уяснить универсализмъ его духа и его поэзіи, не тотъ универсализмъ, о которомъ говоритъ Достоевскій, а «универсализмъ духовнаго міра самого Пушкина». При этомъ авторъ не безъ основанія полагаетъ, что отыскиваніе у Пушкина **опредѣленнаго** міросозерцанія, основаннаго на какомъ-либо одномъ принципѣ, безнадежно. И. И. Шапкинъ разсматриваетъ «трагическое въ произведеніяхъ Пушкина». Этотъ вопросъ онъ разрѣшаетъ въ свѣтѣ общаго міровоззрѣнія Пушкина, отношенія поэта къ понятіямъ рока, судьбы и связаннаго съ ними случая, свободной воли и необходимости, къ идеямъ совѣсти, преступленія и эстетизма. Источники чувства трагическаго онъ находитъ въ жизни и творествѣ Пушкина. Одна изъ главъ этой большой статьи анализируетъ технику пушкинской трагедіи. Театру въ творествѣ Пушкина посвящена статья Е. Аничкова. Очень интересна статья П. Бицилли о «Путешествіи въ Арзрумъ», представляющемъ собою, какъ справедливо говоритъ авторъ, своего рода психологическую загадку. Сравнивая вѣдущую форму «Путешествія» съ другими современными литературными памятниками того же рода, П. Бицилли приходитъ къ выводу, что это произведеніе «заставляетъ взглянуть по-новому на основную проблему искусствовѣдѣнія, проблему художественнаго совершенства».

Изъ остальныхъ статей «Сборника» обращаетъ на себя вниманіе своею глубиной и методологической цѣнностью работа П. Б. Струве «Духъ и Слово Пушкина». У Пушкина Слово таинственно-неразрывно связано съ Духомъ, ключъ къ Духу Пушкина въ его Слово: «Самыми любимыми словами, т. е. обозначеніями и признаками вещей, событий и людей, у Пушкина оказались прилагательныя: ясный и тихій и всѣ производныя отъ этихъ или имъ родственныя слова», говоритъ П. Б. Струве. Эти слова сопровождаютъ мысль и чувство Пушкина на всемъ пространствѣ его творчества. И П. Б. Струве даетъ въ своей статьѣ не только тщательный обзоръ употребленія этихъ словъ (а также слова «нѣнзбъясимый») у Пушкина, но ставитъ ихъ въ связь съ преемственностью русской словесной традиціи. У насъ нѣтъ работъ по исторіи русскаго языка, подобныхъ классическому труду по исторіи французскаго языка Ф. Брюно; статья П. Б. Струве даетъ образецъ для будущей такой работы по исторіи русскаго языка.

Если отмѣтить еще статьи К. Тарановскаго «Пушкинъ и Мицкевичъ», И. Голенищева-Кутузова «Роза въ поэзіи Пушкина», Вл. Топоръ-Рабчинскаго «Эническое сознаніе Пушкина» и Глѣба Струве о найденныхъ имъ въ Британскомъ Музеѣ новыхъ пушкинскихъ матеріалахъ, то легко представить себѣ все богатство Бѣлградскаго Сборника и его научную значительность. Онъ вышелъ позднѣ другихъ пушкинскихъ юбилейныхъ сборниковъ, но долженъ занять среди нихъ первое мѣсто.

Centenaire de Pouchkine. 1837-1937. Exposition Pouchkine et son époque. Paris.

Заканчивая списокъ замѣтокъ, посвященныхъ пушкинской юбилейной литературѣ, нельзя не остановиться на одномъ специальномъ изданіи, появившемся въ началѣ «пушкинскихъ дней». Это путеводитель по выставкѣ «Пушкинъ и его эпоха». Въ эмигрантской обстановкѣ выставка эта была если не чудомъ, то своего рода подвигомъ, чѣмъ мы обязаны С. М. Лифарю, его благоговѣйному преклоненію передъ Пушкинымъ.

С. М. Лифарь предполагалъ организовать выставку въ Национальной Библіотекѣ, но по обстоятельствамъ, независящимъ отъ его воли, этому плану не суждено было осуществиться. Тѣмъ не менѣе, выставка, открытая въ неофициальномъ помѣщеніи, оказалась блестящей: эпоха Пушкина была представлена очень широко картинами знаменитыхъ русскихъ художниковъ (Боровиковскаго, Кипренскаго, Брюлова, Венеціанова и др.), великолѣпнымъ фарфоромъ, серебромъ, мебелью, коврами и т. д. Все это давало живое представленіе о пушкинской эпохѣ и изумляло иностранцевъ, посѣщавшихъ въ большомъ количествѣ выставку: высота, своеобразие, разнородность русской культуры его лѣтъ тому назадъ была для многихъ настоящимъ откровеніемъ.

Но, конечно, центромъ выставки былъ самъ Пушкинъ: портреты, рукописи и первыя изданія его произведеній, разнаго рода реликвіи, начиная съ его печати и кончая пистолетами, на которыхъ онъ

стрѣлся съ Дантесомъ 27 янв. 1837 г., и т. д. Одно перечисленіе главныхъ отдѣловъ выставки можетъ показать всю важность и значеніе ея: 1) Пушкинъ; 2) его родные, друзья и противники, современныя ему писатели; 3) пушкинская эпоха; 4) изданія произведеній Пушкина на иностранныхъ языкахъ; 5) Пушкинъ и русское искусство послѣ него; 6) изданія, появившіяся по случаю 100-лѣтія со дня его смерти во Франціи, въ Совѣтской Россіи и въ другихъ странахъ.

Всѣ подробности объ этой замѣчательной выставкѣ, имѣвшей громадный, и вполнѣ заслуженный, успѣхъ, читатель можетъ найти въ отмѣчаемой нами книгѣ, которая издана С. М. Лифаремъ чрезвычайно изящно въ обложкѣ А. Бенуа и украшена прекрасными иллюстраціями. Это не просто путеводитель по выставкѣ, а интереснѣйшій матеріалъ для чтенія.

Н. Кульманъ.

Прот. Георгій Флоровскій. Пути русскаго богословія. Парижъ, 1937.

На этой значительной книгѣ, гдѣ впервые поставлена и разработана тема русскаго религіознаго сознанія, необходимо остановиться. Но ее надо принять и понять въ томъ планѣ, въ какомъ она задумана. Авторъ не скрываетъ своей позиціи. Съ самаго начала онъ зоветъ насъ вернуться къ истокамъ, встать на забытый узкій путь отеческаго богословія: не для реставраціи византизма какъ историческаго типа, а для творческаго синтеза патристическихъ ученій, для возрожденія омертвѣлой православной мысли. Въ глазахъ о. Флоровскаго Преданіе тотъ камень, который долженъ быть положенъ во главу угла. Истина не искомое, а данное и вмѣстѣ заданное русской Церкви, для полноты раскрытія традиціонныхъ догматовъ на основаніи соборнаго опыта. Вести и учить должна она. Вотъ почему авторъ всюду обличаетъ то, что онъ называетъ «романтизмомъ», т. е. всѣ виды «дрелести», какъ разлагающей духъ игры воображенія. Ей противопоставляется исконное на Востокѣ «трезвеніе». Борьба ведется не во имя ортодоксинъ съ человѣчностью, какъ это кажется Н. А. Бердяеву*), не съ повышенной чувствительностью и совѣстливостью, а съ ложной сентиментальностью, которая въ мечтаніи своемъ не хочетъ видѣть трагической антиноміи человѣка: падшей твари, призванной отражать образъ Божій, по коему она создана, но его не отрицающей въ порядкѣ естества. Отсюда отверженіе «романтиками» аскезы, непріятіе очистительнаго искуса, долженствующаго предшествовать дѣйствию и бѣгъ котораго невозможно даже срѣтеніе правды соціальной. Последняя мысль, въ книгѣ не высказанная, въ ней подразумевается всегда. Лишь собранность воли и «умнаго сердца» можетъ строить цѣлостную христіанскую культуру: точно такъ же, прибавимъ, какъ она одна могла выковать цѣльную личность подвижника. Ибо святость въ хаосѣ непросвѣтленныхъ эмоцій неосуществима.

*) См. Путь, № 53, 1937.

Голосъ о. Флоровскаго — давно неслышанный нами голосъ церковнаго, и притомъ вселенски-національно-православнаго сознанія. Авторъ, одновременно священникъ-богословъ и специалистъ историкъ, находитъ причину неудачъ и проваловъ нашего прошлаго въ томъ, что «вспоминающій родства» народъ порвалъ преемственную связь съ духовной родиной. Порвалъ ее изначально не ради самостоятельнаго творчества, а отъ «соблазна бытомъ», отъ органическаго индифферантсма къ умозрѣнію вообще.

Въ XVI-омъ вѣкѣ, когда созидалось царство, съ рожденія своего прозившее церковной свободѣ, уже торжествуетъ это бытовое начало (Домострой) и «въ Московскій охранительный снѣтъ» не входитъ лучшее изъ византійскихъ преданій — созерцательная мистика и аскетика. Очень остро и ново то, что о. Флоровскій говоритъ о Юсифляцкѣ, отнесенныхъ имъ къ тому же прагматическому типу религіозности. — Монашество для нихъ житейское служеніе народу, культурный тупикъ. Заволжское движеніе, напротивъ того, «несравненная школа духовнаго блѣнія». Нервъ его именно уходъ изъ міра «къ правдѣ умнаго дѣланія» и нестяжаніе есть отказъ отъ прямого религіозно-соціального дѣйствія. Расколъ только характеризуется какъ «апокалиптическая утопія, первый припадокъ русской безпочвенности, отрывъ отъ соборности» — въ ожиданіи разрыва въ самомъ церковномъ сознаніи: между прививаемой подъ «латинскимъ» влияніемъ ученостію и подлиннымъ духовнымъ опытомъ. И развитіе подражательной схоластической школы странно сочетается съ растущей подозрительностію къ монашеству, какъ несоответствующему ни идеаламъ морализующаго піетизма, ни тѣмъ паче утилитарной тенденціи секуляризованнаго Петербургскаго государства.

Въ итогъ Просвѣтительнаго XVIII-го вѣка, вѣка Петровой реформы и «вавилонскаго плѣненія» Россійской церкви, — богословіе на сваяхъ, по мѣткому выраженію автора. Сперва, подъ жесткимъ давленіемъ Феофана Прокоповича, разложене православія антропологическимъ пессимизмомъ лютеранства; затѣмъ сладкая отравка «единой религіи сердца», масолство, которое оболъщаетъ не одно свѣтское общество уже съ дней Екатерины. Въ народной массѣ, неудовлетворенной обрядовымъ благочестіемъ, этому своеобразному гностицизму «съ тигрой къ разволноченію» отвѣчаетъ возникновеніе основныхъ русскихъ сектъ. «Въ Александровскую эпоху оба потока, верхній и низовой, многообразно скрещиваются». И тамъ, и тутъ, побѣда душевнаго, порой стихійно-плотскаго, надъ духовнымъ, то эстетическій, то экстаическій безблагодатный мистицизмъ. На этомъ смутномъ фонѣ мерцаетъ семинарское богословствованіе «по Макарію», лишенное корней и жизни...

Несправедливо на нашъ взглядъ приписывать автору сверхславнофильское презрѣніе къ Западу, встрѣчу съ которымъ онъ на самомъ дѣлѣ считаетъ «неизбѣжнымъ этапомъ», предостерегая не укрываться въ запретахъ отъ идейныхъ опасностей. Прямое осужденіе охранительной политики «сферъ» — начиная съ борьбы противъ русской Библии -- завершенной Побѣдоносцевымъ. Не противъ

западной — вѣрнѣ западныхъ — культуръ, какъ таковыхъ, возста-
еть о. Флоровскій. Онъ сѣтуетъ объ утратѣ нами своего умственно-
го лица, о подмѣнѣ его масками, въ искушеніи чужимъ и забвеніи не-
опѣвненнаго роднаго. Съ этимъ спорить трудно. Рисуемая авторомъ
картина новаго времени также довольно безотраднѣ, несмотря на
счастливыя посѣвы скудной русской нивы: на «сердечное богословіе»
Филарета и его послѣдователей, на успѣхи исторической школы, на
крѣпящую идею соборности (Хомяковъ). Всѣ эти предзнаменования
грядущаго истинно-русскаго христіанства такъ и не сбылись. Пробле-
матика дореволюціоннаго религіозно - философскаго ренессанса съ
его профетическимъ пафосомъ внушаетъ о. Флоровскому мало довѣ-
рія. Остріе его критики направлено противъ блужданія умовъ и сер-
децъ по окольнымъ вѣсямъ: Федоровъ, Мережковскій, Розановъ, Со-
ловьевская эротика. Самый фактъ пробужденія метафизическаго инте-
реса къ христіанству въ церковномъ его аспектѣ, конечно, привѣтству-
ется.

Мы не станемъ упрекать о. Флоровскаго за то, что въ его рели-
гіозной концепціи — отнюдь не статической — интеллектуальный эле-
ментъ преобладаетъ надъ эмоциональнымъ. — Учительствующая Цер-
ковь прежде всего хранительница неприкосновеннаго Символа Вѣры
— depositum fidei. Скажемъ о другомъ. Хотя авторъ чтитъ экспери-
ментальную духовность по святоотеческому образу — Нилъ Сорскій,
Пансіей Величковскій, Серафимъ Саровскій, — но его лично притяги-
ваетъ положительное богословіе болѣе, чѣмъ апофатическое, отъ этой
мистики однако неотъемлемое. Здѣсь онъ ближе къ «раціональному»
католическому Западу, къ томизму, чѣмъ къ завѣтамъ восточной те-
огнозіи, особенно позднѣйшей Византіи (пневматика Симеона Новаго
Богослова, Никиты Стифата, исихастовъ), ибо чувство непостижимой
тайны — онтологическій центръ всего православія. Еще нельзя не за-
мѣтить, что о. Флоровскій, увлеченный историзмомъ, какъ бы сужива-
етъ перспективы христіанской реальности, которыя, находясь полъ
знакомъ эсхатологіи, чѣликомъ въ исторію не вмѣщаются. Не говоря
о томъ, что величайшія достиженія духа, подвигъ молитвенный, видѣ-
ніе — вѣдѣніе — неисторичны, ибо внѣ времени. Этого само собою
о. Флоровскій не забываетъ; только при его устремленности къ тво-
римой дѣйствительности (исторія какъ «отвѣтъ человека Богу») онъ
дѣлаетъ выборъ, для насъ показательный, въ накопленномъ богатѣй-
шемъ матерьялѣ. И тутъ не все договорено: недаромъ, многоточіе у
него любимый знакъ препинанія!

Во всякомъ случаѣ безпристрастный читатель долженъ быть бла-
годаренъ протоіерею Г. Флоровскому за трудъ обильной жатвы; за
то совершенно заново продуманное, первостепенно-важное для позна-
нія нашего длительнаго кризиса, что дадутъ въ тонко и сильно написан-
ныхъ очеркахъ Пути русскаго Богословія.

М. Лоть-Бородина.

S. M. Ginsburg. Historische Studien. Тl. I-III. New-York, 1937.

С. М. Гинзбургъ, одинъ изъ лучшихъ знатоковъ исторіи евреевъ въ Россіи, основатель и долгодѣтній редакторъ первой газеты на разговорно-еврейскомъ языкѣ (идишъ) въ Россіи, нынѣ проживающей въ Америкѣ, имѣлъ возможность ознакомиться, передъ своими отъѣздомъ изъ Совѣтской Россіи, съ многочисленными до сихъ поръ неизвѣстными документами, касющимися евреевъ и находящимися въ Россіи въ архивахъ Государственнаго Совѣта, Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, Департамента Полиціи, Третьяго Отдѣленія Е. И. В. Канцеляріи, разныхъ правительственныхъ комиссій по еврейскимъ дѣламъ и пр. Въ его распоряженіи оказались и коллекціи писемъ и воспоминаній нѣкоторыхъ видныхъ еврейскихъ писателей и общественныхъ дѣятелей. Дополняя этими архивными документами матеріалъ, уже ранѣе использованный въ русско-еврейской исторической литературѣ, С. М. Гинзбургъ въ вышедшихъ на идишъ томахъ своихъ «Историческихъ очерковъ» даетъ яркую картину жизни евреевъ въ Россіи въ первую половину прошлаго вѣка.

Въ эту эпоху, въ царствованіе императоровъ Александра и Николая Павловичей, было создано то особое законодательство о евреяхъ, которое въ общемъ, за исключеніемъ періода нѣкотораго расширенія правъ евреевъ въ царствованіе Александра II, сохранилось до февральской революціи 1917 г. и опредѣлило положеніе евреевъ среди народовъ, входившихъ въ составъ Россійской имперіи.

До раздѣловъ Польши Россія въ сущности еврейскаго вопроса не знала и только тогда, когда въ присоединенныхъ къ Россіи частяхъ Польши оказалось весьма значительное количество евреевъ, русскому правительству пришлось рѣшать совершенно новую для него еврейскую проблему. Законодательство о евреяхъ, выработанное при Павлѣ, Александрѣ и, въ особенности, при Николаѣ I, исходило изъ представленія, что евреи — масса, вредная для окружающей ее христіанской среды, что это является, прежде всего, результатомъ власти Талмуда и содержащихся въ немъ «суевѣрій», безраздѣльно господствующихъ надъ евреями. Необходимо, слѣдовательно, заставить евреевъ отказаться отъ своей религіи и духовно слиться съ окружающей средой, для чего надо побудить ихъ перейти въ христіанство. Въ этомъ основной смыслъ тѣхъ многочисленныхъ исключительныхъ мѣръ, направленныхъ противъ евреевъ, въ частности въ царствованіе Николая I, напр., жестокаго примѣненія къ нимъ законовъ о рекрутчинѣ, сдачи малолѣтнихъ евреевъ въ кантонисты и т. д. Это, такъ сказать, миссіонерскія тенденціи законодательства о евреяхъ той эпохи подтверждаются, между прочимъ, запиской, обнаруженной С. М. Гинзбургомъ въ архивѣ «Третьяго Отдѣленія» и имъ теперь впервые опубликованной. Она озаглавлена: «Записка объ обращеніи евреевъ къ пользѣ Имперіи черезъ постепенное привлеченіе ихъ къ исповѣданію христіанской вѣры, а, слѣдовательно, чрезъ сближеніе и, наконецъ, совершенное смѣшеніе съ прочими подданными». Записка предлагаетъ ввести рекрутскій наборъ съ евреевъ въ двойномъ, въ срав-

неинъ съ прочимъ населеніемъ, размѣръ, предполагая, что эта мѣра побудитъ евреевъ къ перемѣнѣ религіи. Лишенные возможности соблюдать въ рядахъ войска предписанія своей вѣры, подчиненные срочной дисциплинѣ военной службы, евреи-солдаты начнутъ постепенно отказываться отъ своихъ «суетвѣрій». Сыновей евреевъ-солдатъ Записка предлагаетъ крестить и сдавать въ кантонисты, а дочерей опредѣлять въ воспитательные дома, гдѣ онѣ должны были быть обращены въ православіе, обучены хозяйственнымъ работамъ и затѣмъ выдаваться замужъ «за поселенцевъ въ Сибири и другихъ мѣстностяхъ Россіи».

Это же стремленіе побудить евреевъ къ переходу въ православіе опредѣляло отношеніе Николая I къ еврейскимъ кантонистамъ. С. М. Гинзбургу удалось найти въ архивахъ Синода множество неизвѣстныхъ до сихъ поръ документовъ по исторіи кантонистовъ и посвященныя кантонистамъ главы принадлежатъ къ наиболѣе интереснымъ частямъ III тома. Царь принималъ чрезвычайно близко къ сердцу крещеніе кантонистовъ, награждалъ начальниковъ ихъ тогда, когда они не останавливались передъ самыми жестокими способами воздѣйствія на несчастныхъ мальчиковъ, и, наоборотъ, выражалъ свое неудовольствіе, когда акты обращенія въ православіе происходили въ недостаточномъ количествѣ.

Насколько сильно было желаніе Николая I обратить евреевъ въ христіанство, показываетъ обнаруженный С. М. Гинзбургомъ въ архивѣ Св. Синода курьезный проектъ, возникшій у императора въ 1845 г. 5 іюня того года оберъ-прокуроръ Св. Синода графъ Протасовъ; сообщилъ письменно Синоду, что Е. И. В. благоутодно было приказать учредить при одной изъ церквей города Бердичева православное богослуженіе на разговорно-еврейскомъ языкѣ съ цѣлью лучшаго ознакомленія евреевъ съ христіанской религіей. Протасовъ и предложилъ Синоду принять мѣры къ осуществленію Высочайшей воли. Несмотря на очевидную несообразность этого плана, Синодъ не могъ просто оставить его безъ вниманія. Поэтому Синодъ постановилъ обратиться къ митрополиту кievскому Филарету съ соответствующимъ запросомъ. Спустя нѣкоторое время Филаретъ представилъ Синоду подробное донесеніе по этому вопросу. Митрополитъ указывалъ, что прежде всего нужно было бы перевести православные молитвенники на еврейскій языкъ. Далѣе нужно было бы подготовить священнослужителей, которые были бы въ состояніи говорить и отправлять богослуженіе по-еврейски. Затѣмъ, необходимо было бы заранѣе приготовить, для присутствованія при этомъ богослуженіи, евреевъ, изъявившихъ готовность перейти въ православіе. Когда, въ январѣ слѣдующаго года, эти соображенія были представлены на Высочайшее благоусмотрѣніе, Николай самъ убѣдился, очевидно, въ неосуществимости своего проекта и приказалъ ограничиться пока переводомъ православныхъ молитвенниковъ на еврейскій языкъ.

Можно пожалѣть, что интересные очерки С. М. Гинзбурга появились на языкѣ, понятномъ лишь части евреевъ, для русскихъ же читателей вовсе недоступномъ.

И. О. Левинъ.

B. Nicolaiewski et O. Maenchen-Helfen, Karl Marx, Edit. Galimard, Paris, 1938.

Литература о К. Марксѣ разрослась уже въ цѣлую библіотеку и появленіе новаго труда о немъ находитъ себѣ оправданіе при условіи использованія новыхъ данныхъ или освѣщенія вопроса съ новой точкой зрѣнія. Работа о Марксѣ извѣстнаго историка революціоннаго движенія Б. Николаевскаго удовлетворяетъ этимъ двумъ требованіямъ въ разной степени. Новая работа Б. Николаевскаго отличается большими достоинствами, присущими всѣмъ его работамъ — обиліемъ и тщательною обработкою фактическаго матерьяла, зачастую впервые вовлекаемаго въ научный оборотъ: Помимо использованія всего печатнаго матерьяла, Б. Николаевскій обследовалъ для своей работы архивъ нѣмецкой социаль-демократической партіи и государственные архивы Берлина и Дрездена и извлекъ изъ нихъ много интереснахъ новыхъ данныхъ. Сюда относятся прежде всего главы, посвященные политической стратегіи Маркса въ сороковыхъ годахъ, во время парижской Коммуны и перваго Интернаціонала. По всей книгѣ разбросаны, даѣе, отдѣльныя цѣльныя детали, которыя намъ до сихъ поръ не встрѣчались въ литературѣ. Сюда надо отнести, напр., любопытное сообщеніе о роли, которую сыграло русское правительство въ закрытіи знаменитой «Рейнской Газеты», гдѣ сотрудничалъ Марксъ. Очень любопытно сообщеніе о меморандумѣ, который Энгельсъ представилъ секретарю Гамбеты, содержащемъ планъ освобожденія Парижа отъ нѣмецкой блокады. Душеприказчики Маркса, Бебель и Берштейнъ, не только не опубликовали влослѣдствіи этотъ любопытный планъ, но изъяли его изъ архива, чтобы нѣмецкое правительство, даже исторически, не могло обвинить социаль-демократію въ отсутствіи патриотизма.

Привлеченіе свѣжаго архивнаго матерьяла, помимо достоинствъ самой книги, вполне оправдываетъ опубликованіе новаго труда о Марксѣ. Читатель, желающій ознакомиться съ біографіей Маркса и его политическими взглядами, найдетъ въ книгѣ Николаевскаго исчерпывающій и прекрасно обработанный матерьялъ. Но современный читатель въ новой книгѣ о Марксѣ, конечно, будетъ искать отвѣта на живые современные вопросы и оцѣнки ученія Маркса для разрѣшенія этихъ вопросовъ. Съ этой стороны книга Б. Николаевскаго не удовлетворитъ читателя, такъ какъ авторъ сознательно ограничилъ свою задачу характеристикой позиціи Маркса, не давая ей оцѣнки и не затрагивая вопросовъ о ея значеніи для нашего времени. Авторъ отказывается отъ обобщеній и выводовъ даже въ такихъ главахъ, гдѣ приводимый имъ матерьялъ самъ на эти обобщенія направляется. Такъ, напр., въ главѣ о коммунистической позиціи Маркса, не споримо свидѣтельствующія о томъ, что отношеніе Маркса къ коммунистамъ было очень двойственнымъ. Марксъ относился къ коммунистамъ съ несомнѣннымъ отрицаніемъ, но преклонялся передъ героизмомъ коммунаровъ и относился съ отвращеніемъ къ торжествующей реакціи, Марксъ подавалъ полное выраженіе своего взгляда. Но теперь объ этомъ вѣдь и мож-

но и должно говорить съ полною опредѣленностью. Однако, и по этому вопросу Б. Николаевскій говоритъ очень скупю и сдержанно.

Послѣвоенныя событія въ Россіи съ ея виѣшнимъ торжествомъ «марксизма», и въ фашистскихъ странахъ, съ ихъ яростною борьбою противъ марксизма, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ несомнѣннымъ вовлечениемъ значительной части пролетаріата въ ряды фашизма, да и социальная эволюція демократическихъ странъ заставляютъ и марксистовъ пересмотрѣть теорію Маркса не только въ отношеніи ея примѣненія къ нашимъ условіямъ, но и со стороны ея общей оцѣнки. Можно ли, въ самомъ дѣлѣ, передъ грозюю и бурей событій, развернувшихся въ Сов. Россіи, въ Германіи, Италіи и даже въ Сѣв. Америкѣ, говорить о соотношеніи между экономикой («фундаментъ») и политикой («надстройкой») такъ, какъ это дѣлалъ Марксъ или Энгельсъ въ Анти-Дюрингѣ? Можно-ли говорить о роли личности въ исторіи, о роли государства, о роли насилія, о роли среднихъ классовъ такъ, какъ это дѣлалъ Марксъ въ свое, совершенно иное и отъ нашего рѣзко отличное, время? Всякое новое изслѣдованіе о Марксѣ, казалось бы, должно было устроить ученію Маркса очную ставку съ новѣйшими социальными-политическими условіями, которыя Марксъ не предвидѣлъ и предвидѣть не могъ. Это тѣмъ болѣе казалось бы необходимо, что Б. Николаевскій говоритъ о Марксѣ не какъ о философѣ и социологѣ, а исключительно какъ о «стратегѣ борьбы классовъ», какъ онъ выражается. Не можетъ ли стратегія борьбы классовъ не считаться съ обстоятельствомами времени и мѣста, опредѣляющими и образъ дѣйствія политической стратегіи? Позволимъ себѣ указать на то, что въ нашей книгѣ о Марксѣ, опубликованной въ 1908 году и явившейся одною изъ первыхъ биографій Маркса, намъ уже тогда приходилось указывать, что каждый изслѣдователь Маркса долженъ отдѣлать у него омертвѣвшія части, обусловленныя преходящими условіями времени, отъ живыхъ частей, сохранившихъ свою роль и въ наше время. Послѣ же нынѣшнихъ идеологическихъ и социальныхъ катастрофъ, эта задача стала еще неотложнѣе для всякаго биографа Маркса.

Едва ли можно согласиться съ Б. Николаевскимъ, когда въ предисловіи къ своей очень цѣнной работѣ онъ говоритъ, что «почти всѣ партіи Соціалистическаго Интернаціонала и всѣ коммунистическія партіи всѣхъ странъ исповѣдуютъ марксизмъ». Если даже нынѣ всѣ партіи социалистическія и коммунистическія формально исповѣдуютъ марксизмъ (это и формально не вѣрно), то во всякомъ случаѣ существуетъ огромное различіе не только между марксизмомъ (если о немъ можно говорить) большевиковъ и марксизмомъ Второго Интернаціонала, но и, скажемъ, между марксизмомъ Отто Бауэра и марксизмомъ англійской или американской социалистической партіи. Все пережитое и передуманное нами въ послѣвоенную эпоху заставляетъ всѣхъ, въ томъ числѣ и послѣдователей Маркса, не только пересмотрѣть ученіе Маркса примѣнительно къ рѣзко измѣнившимся условіямъ, но и ретроспективно иначе понять и оцѣнить основныя политическія положенія Маркса.

П. Берлинъ.

Ст. Ивановичъ. А. Н. Потресовъ. Опытъ культурно-психологическаго портрета. Парижъ. 1938.

Книга Ст. Ивановича очень интересна. Ея задание, уточненное въ подзаголовкѣ, — нарисовать культурно-психологическій портретъ покойнаго А. Н. Потресова. Но смыслъ книги шире и глубже. Жизненная судьба А. Н. и продоланный имъ политическій опытъ, частично совпавшій съ опытомъ автора книги, дали послѣднему поводъ и материалъ на конкретномъ примѣрѣ затронуть и общую проблему — или трагедію — политическаго одиночества или отщепенства, изъ всѣхъ видовъ одиночества, можетъ быть, наиболѣе тяжкаго и невыносимаго по внутреннему несоотвѣтствію политики («соборной» въ своемъ существѣ) и одиночества (индивидуальнаго).

Въ книгѣ двѣ темы, которыми соотвѣтствуютъ и двѣ манеры или стили. Нѣсколько иконописное изображеніе житія А. Н. Потресова признательнымъ и вѣрнымъ ученикомъ и сподвижникомъ, не только субъективно искренне, — оно и объективно правдиво: кого не поражала вышній обликъ А. Н. Потресова — его классически красивое лицо, благородная посадка головы, стройная фигура? Биографъ не ограничился, однако, однимъ лишь «портретомъ» А. Н.: отъ культуры и психологін А. Н. онъ перешелъ къ его «дѣлу» и отъ защиты послѣдняго къ прямымъ нападкамъ — на фракціонно-партийныхъ противниковъ своихъ и А. Н.

Въ этомъ можно видѣть смѣшеніе стилей или смѣшеніе темы. Но это же дѣлаетъ книгу актуальной: вводитъ въ самую гущу политическихъ споровъ, и по сей день волнующихъ опредѣленные группы и течения. Книга не только воскрешаетъ вопросы, идеи, цѣли, ради которыхъ жилъ, боролся и страдалъ покойный Потресовъ, — она какъ бы приобщаетъ его самого къ незаглохшимъ «нашимъ разногласіямъ», которыя составляли все содержаніе его жизни и по сей еще день ждутъ примиренія или рѣшенія въ окончательномъ приговорѣ исторіи.

Вмѣстѣ съ Плехановымъ, Ленинымъ, Аксельродомъ и Мартовымъ, Потресовъ былъ основателемъ россійской социаль-демократической партіи и всю жизнь оставался — по крайней мѣрѣ, считалъ себя — марксистомъ, «партийцемъ», преданнымъ прежде всего пролетариату и его интересамъ. Рамки историческаго материализма, марксизма, социаль-демократіи, можно сказать, предопредѣляли узость мышленія, догматизмъ и правотворіе. Подвигъ А. Н. — идеологическій и политическій — заключался въ томъ, что онъ сумѣлъ прорваться черезъ нависшія ему міросозерцаніемъ тѣснины и, вопреки материализму, несмотря на марксизмъ, въ отличіе отъ социаль-демократіи, взглянуть на политическій міръ по своему, по иному. И міръ и политическая дѣйствительность предстали передъ нимъ не такими, какими они казались — и продолжаютъ казаться — его бывлымъ единомышленникамъ и соратникамъ. Потресовъ сталъ болѣе дальнозоркимъ.

На примѣрѣ А. Н. можно лишній разъ убѣдиться въ томъ, что никакое «міросозерцаніе», даже самое «цѣлостное» или формально

законченное, не въ силахъ ничего предупредить или отъ чего-либо оградить. Несмотря на свою социально-философскую систему и историсофию, А. Н. сохранилъ внутреннюю свободу духа, и категоріи «гражданинъ», «демократъ», «патріотъ», «интеллигентъ», «соціалистъ», «человѣкъ» фактически оказались доминирующими надъ всѣми другими установками и цѣнностями. Именно этимъ объясняется, что до послѣдняго своего часа А. Н. былъ и остался страстнымъ и непримиримымъ противникомъ торжествующаго большевизма и какого-либо соглашенія съ нимъ.

А. Н. Потресову пришлось пережить много политическихъ трагедій, — нѣкоторыя изъ нихъ стали и его личными трагедіями. Трагедіей была идейная близость съ Ленинымъ, начавшаго съ работы съ Потресовымъ, а кончившаго — соглашеніемъ съ Людендорфомъ и апелляціей къ Дыбенкамъ («мы пойдемъ въ такомъ случаѣ къ марросамъ»), какъ рѣшающему въ послѣднемъ счетѣ политическому фактору. Трагедіей была обреченность на подпольное и эмигрантское существованіе, когда все въ А. Н. влекло къ открытой, просвѣтительской, политически-воспитательной работѣ въ цѣляхъ пріобщенія илюзовъ къ культурѣ и гуманизму. Трагедіей было ощущеніе, что съ разрушеніемъ стараго порядка силы творческаго сиблленія безнадежно отстали отъ разрушительнаго разложенія. Трагической безнадежностью отдавало, наконецъ, сектантски-упорное непониманіе даже самыми, казалось, независимыми марксистскими умами всей габубности большевизма и совѣтской диктатуры — для русскаго пролетаріата, русскаго народа, Россіи, демократіи, социализма, международнаго мира, всей недопустимости соглашательской въ отношеніи къ большевикамъ политики со стороны какъ разъ тѣхъ, кому дороги всѣ эти цѣнности.

При чтеніи книги Ст. Ивановича невольно возникаетъ вопросъ: какъ долженъ дѣйствовать политическій дѣятель, цѣнящій партійную дисциплину и сознающій вредъ партизанскихъ дѣйствій, при своемъ расхожденіи во взглядахъ съ большинствомъ партіи?

Непреодолимо и извѣчно расхожденіе между вождями и массами, хотя бы потому, что темпъ политической эволюціи и развитія послѣднихъ въ силу самой ихъ «массивности» не можетъ не отставать отъ темпа эволюціи или развитія передовыхъ «одиночекъ». Какъ долженъ въ такомъ случаѣ дѣйствовать политикъ, впавшій въ «уклонъ» раньше, чѣмъ менѣе поворотливое партійное большинство санкціонируетъ, легализуетъ и, можетъ быть, слѣдуетъ своимъ отступленіе отъ прежней политической линіи? Слѣдуетъ ли ему за партіей во что бы то ни стало — «права или не права партія, но это моя партія» — или, если при извѣстныхъ обстоятельствахъ морально-обязателенъ бунтъ противъ «собственнаго» правительства, обязательенъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ и «бунтъ» противъ собственной партіи?

Конечно, истина или то, что человѣкъ принимаетъ за нее, — высшая цѣнность. Но какъ осуществить индивидуальное пріятіе истины съ свободнымъ пріобщеніемъ къ ней своихъ единомышленниковъ вче-

ра, и можетъ быть, завтра, но сегодня — разномыслящихъ. Не въ каждой партіи имѣются Гюгресовы, но во всякой крупной и дѣйственной партіи не могутъ не возникать время отъ времени передъ тѣмъ или другимъ лицомъ вопросы, мучившіе сознание и совѣсть А. Н.

Книга Ст. Ивановича читается съ все возрастающимъ интересомъ. Ея большимъ недостаткомъ является засоренность изложенія совершенно невозможными неологизмами и некорректностями въ отношеніи къ русской рѣчи. «Моглось», «распеканція», «страха ради большевистска», удостовѣреніе «подписомъ», «страстотерпчество во времена оны», «пропадай моя телѣга на всѣ четыре колеса» и пр., и пр. не только не «оживляютъ» изложенія, но воздвигаютъ совершенно излишнія преграды — лингвистическія и литературныя — къ усвоенію цѣнной и поучительной работы.

М. Вишнякъ.

Библиографія русской революціи и гражданской войны (1917-1921).

Изъ каталога библиотеки Рус. Загр. Ист. Архива въ Прагѣ. Составить зав. библиотекъ Архива С. П. Постниковъ. Подъ редакціей директора Р. З. И. Архива Яна Славика. Прага, 1938.

Истинный подарокъ для тѣхъ, кто въ эмиграціи интересуется исторіей «революціи и гражданской войны» въ Россіи, сдѣлалъ пражскій Русскій Загр. Историческій Архивъ, выпустивъ въ печатномъ видѣ часть систематическаго каталога своего богатѣйшаго книжнаго фонда. Подборъ книгъ въ библиотекѣ Архива производится съ такой тщательностью и съ такимъ знаніемъ дѣла, что трудно указать какіе-либо существенные пробѣлы даже въ отношеніи къ собранію книгъ, вышедшихъ въ Россіи. За 15 лѣтъ своей работы библиотека сосредоточила у себя не только почти всю текущую литературу по данному вопросу въ Россіи и въ эмиграціи, но и все важнѣйшее, что вышло за первые пять лѣтъ въ Россіи. Честь и слава Архиву, такъ какъ подборъ въ эмиграціи литературы за первые годы представлялъ исключительную трудность. Пожалуй, можно указать лишь единичные пропуски въ разныхъ отдѣлахъ — и то книгъ или второстепеннаго значенія или имѣющихъ характеръ библиографическихъ рѣдкостей. Если въ Россіи имѣются свои книгохранилища, то для эмигрантской литературы пражское учрежденіе является единственнымъ. Поэтому будущее поколѣніе принесетъ особую благодарность руководителямъ Архива. Однако, составители каталога какъ будто склонны нѣсколько преждевременно оцѣнивать достигнутые результаты въ смыслѣ полноты подбора эмигрантской литературы. «Какъ видно изъ напечатаннаго каталога, — говорится въ предисловіи, — чаще всего отсутствуютъ тамъ книги серійнаго содержанія или же отдѣльные номера журналовъ». Между тѣмъ даже по своему довольно все-таки случайному собранію я могъ бы отмѣтить десятокъ-другой брошюръ, которыхъ нѣтъ въ библиотекѣ Пражскаго Архива. Заранѣе впрочемъ

согласаюсь, что то, чего нѣтъ въ библиотекъ Архива, за малымъ исключеніемъ, не имѣеть большого значенія.

Имѣется въ каталогѣ одно значительное упущеніе, явившееся, очевидно, результатомъ только случайнаго технического недосмотра. Среди журналовъ и сборниковъ пропущены 6 т. историческихъ сборниковъ «Историческ. Современника» (Берлинъ 22-24 г.), «Пути революцій» (Берлинъ, «Скифы» 23 г.), «Лѣтопись революцій» (изд. Гржебина 23 г.), 7 кн. «Русскій Лѣтописи» (изд. «Русскаго Очага» 21-25 г.). Эти книги, несомнѣнно, имѣются въ пражской библиотекѣ. На мой взглядъ, слѣдовало бы отмѣтить и общіе эмигрантскіе журналы, тѣмъ болѣе, что аналогичные журналы въ 17 г. въ каталогѣ попали (возможно было бы отмѣтить тѣ № №, гдѣ имѣются статьи по исторіи революцій). Самъ Архивъ признаетъ, что его очередной задачей является «болѣе тщательное пополненіе отдѣла «россики», собираніе которой не входило въ первоначальныя задачи». Въ этомъ отдѣлѣ можно было бы отмѣтить значительныя пробѣлы.

Самъ по себѣ фактъ, что Р. З. И. А. въ настоящее время располагаетъ такимъ цѣннѣйшимъ книжнымъ кладомъ, имѣеть для насъ первостепенное значеніе. Съ опубликованіемъ каталога достигаются и большія практическія цѣли. Не разъ приходилось отмѣчать въ эмигрантскихъ историческихъ трудахъ, посвященныхъ революціи и гражданской войнѣ, недостаточное знакомство съ литературой, ускользавшей отъ вниманія изслѣдователей въ силу ненормальныхъ условій работы. Въ этомъ отношеніи каталогъ библиотекы Р. З. И. А. является незамѣнимымъ пособіемъ. Имѣя въ виду практическія цѣли, составитель соответственно распредѣлялъ въ книгѣ и матеріалъ. Вопросъ о расположеніи матеріала очень субъективенъ и слѣдовательно легко можетъ быть оспариваемъ. Во всякомъ случаѣ расположеніе матеріала въ каталогѣ таково, что имѣ, въ общемъ, легко пользоваться, особенно при наличіи именнаго указателя авторовъ.

Нѣкоторая коллизія между читателями и составителемъ, пожалуй, неизбежна, ибо съ разныхъ точекъ зрѣнія и тѣ и другіе иногда практически будутъ оцѣнивать цѣли изданія. Вотъ что говоритъ по этому поводу предисловіе: «...невозможно было удержаться въ рамкахъ періода, точно опредѣленнаго годами революціи, 1917 г. и гражданской войны (до 21 г. — подчеркиваетъ предисловіе). Поэтому естественно въ каталогъ вошло значительно больше матеріала». Читатель можетъ считать неуклюжимъ баластомъ ту полноту, которая не имѣеть прямого отношенія къ «библиографіи русской революціи и гражданской войны». Какое въ самомъ дѣлѣ отношеніе къ предмету изданія могутъ имѣть книги о «народномъ праздникѣ по случаю коронаціи (96 г.), или «путешествіи» царской семьи по Россіи и заграничій (97 г.) и т. п. Многимъ, вѣроятно, покажется совершенно излишнимъ и тотъ приоритетъ, который получили авторско-коммуны въ смыслѣ перечня ихъ сочиненій на разнообразныя темы. Да, Луначарскій писалъ о Радищевѣ, о Чернышевскомъ и философскія статьи, сочинялъ пьесы; Покровский былъ историкомъ; Радекъ написалъ о Либкнехтѣ... Но надо ли все это вводить въ специальную библиографію

о революціи 17 г. и послѣдовавшей за ней гражданской войнѣ? Такихъ же сомнѣній у читателя вызвать и полнота «агитаціонной» литературы 17 г. Лишь съ большой натяжкой можно внести въ отдѣлъ «библіографіи русской революціи» всякаго рода популярныя брошюры о зап. европ. революціяхъ XIX в. и пр. — тѣ изданія, которыя въ чрезмѣрномъ даже изобиліи заполняли книжныя полки въ 17 г. и отвяли очень много печатныхъ страницъ въ каталогѣ Р. З. И. Архива. Для читателя будетъ и прямой «ущербъ», ибо изъ-за получившагося объема книги пришлось «библіографію газетъ» оставить для отдѣльнаго выпуска. Въ цѣляхъ той же экономіи мѣста, составители отказались отъ «употребленія частыхъ ссылокъ» при распредѣленіи матеріала по отдѣламъ. Такая экономія въ поясненіяхъ создала на практикѣ и нѣкоторыя неудобства при пользованіи каталогомъ.

Надо признать, что въ отношеніи ссылокъ въ каталогѣ проявлены нѣкоторыя невыдержанность и непослѣдательность. Напримеръ, письма имп. Ал. Фед. въ одномъ и томъ же отдѣлѣ отмѣчены дважды — и подъ именемъ и подъ фамиліей. Маленькая компилятивная книжонка Якушкина объ интервенціи, вышедшая въ совѣтской серіи, отмѣчена въ трехъ отдѣлахъ, а большія книги нерѣдко проходятъ одинъ разъ, хотя и затрагиваютъ нѣсколько вопросовъ. Могу иллюстрировать на примѣрѣ своей собственной книги о дѣятельности Н. В. Чайковского въ годы гражданской войны. Она отнесена составителями въ спеціальныи отдѣлъ: «Сѣверная область». Правда, Ч. былъ председателемъ Архангельскаго правительства, но Сѣверной области въ сущности въ книгѣ посвящена небольшая глава. Едва ли не половина книги посвящена дѣятельности русской общественности за границей въ годы гражданской войны. Аналогичныхъ примѣровъ можно было бы привести много и они какъ будто бы свидѣтельствуютъ о необходимости еще большей детализаціи, чѣмъ та, которая проведена въ каталогѣ. Какъ-то само собой почти органически напрашивается введеніе въ отдѣлъ гражданской войны, разбитой по областямъ, группы, въ большевистскихъ изданіяхъ именуемой «вооруженной борьбой внутри Совѣтской Россіи». Теперь литературу о возстаніи лѣвыхъ с.-р. надо смотрѣть подъ рубрикой «партія лѣвыхъ с.-р.»; похищеніе Капланъ слѣдуетъ искать въ рубрику «Ленинъ», а убійство Урицкаго въ «разныхъ организаціяхъ». Особо стоитъ «ярославское возстаніе» и т. д. Правильнѣе было бы эту хроніку борьбы въ 18-19 гг. объединить въ одномъ мѣстѣ.

Но суть дѣла все же не въ указанныхъ небольшихъ редакціонно-техническихъ дефектахъ (по крайней мѣрѣ на мой взглядъ), а въ той задачѣ, которую ставитъ себѣ каталогъ. Читательская критика должна однако пасовать, нередъ основнымъ заданіемъ, преслѣдуемымъ публикаціей каталога. — «Главной задачей Архива, — свидѣтельствуютъ предисловіе, — привести бібліотеку «въ состояніе по возможности идеальной полноты». Можно пожелать только успѣха въ продолженіи столь плодотворной и блистательно до сихъ поръ выполняемой функціи Архива.

С. Мельгуновъ.

Eugene Lyons. Assignment in Utopia. George G. Harrap. London, 1937.

На совѣсти у Е. Лайонса много смертныхъ грѣховъ. Шестъ лѣтъ, съ 1928 по 1934 г., онъ работалъ въ СССР главнымъ корреспондентомъ *United Press*, и за это время ни разу начисто не сказалъ ни того, что видѣлъ, ни того, что думалъ. Случайно вылетѣвъ оттуда, онъ выжидаетъ еще года два-три, пробавляясь легкими, описательными исторійками, какъ «Московская карусель» и изданіемъ совѣтскихъ вѣсть, пока онъ не убѣдился, что возврата къ этой выгодной «командировкѣ» ему нѣтъ. По его собственнымъ словамъ, иностранные корреспонденты должны быть прежде всего въ дружескихъ отношеніяхъ съ властями, затѣмъ со своимъ собственнымъ начальствомъ, а потомъ уже думать о «правдѣ» и о томъ, какъ ее передать. Такииъ онъ и былъ. Не хуже и не лучше большинства журналистовъ.

Его книга «Командировка въ Утопію» — блестящій, щедрый выкупъ за этотъ многолѣтній оппортунизмъ.

Издатель и рецензенты, забывъ о прошломъ, подогнали его подъ формулу — «коммунистъ, разочаровавшійся въ коммунистическомъ опытѣ». Но если по-человѣчески прочесть то, что онъ написалъ — а онъ включилъ въ свое повѣствованіе и себя, такого, какъ онъ есть, неселаго, живого, съ аппетитомъ и къ «чарочкѣ», и къ икоркѣ, и къ хорошиимъ людямъ — то совершенно ясно, что онъ, прежде всего, не коммунистъ и вообще не послѣдователь какой-бы то ни было программы. Въ Америкѣ такихъ людей называютъ «идеалистами». Но существу-же дѣло въ томъ, что онъ родился въ бѣдной еврейской семьѣ, эмигрировавшей изъ русскаго Западнаго края въ Нью-Йоркъ и не разбогатѣвшей тамъ. Выбивался онъ самъ, но американски, энергично работая локтями и несомнѣнно талантливыми мозгами. Въ такихъ условияхъ не могло сложиться ни нѣжныхъ чувствъ къ «хозяевамъ»-буржуямъ и капиталистамъ, ни презрѣнія къ благамъ жизни. На зарѣ своей жизни онъ выучился лѣтъ «Интернаціональ», узналъ про К. Маркса, принималъ участіе въ какихъ-то забастовкахъ (съ драками и безъ дракъ) и написалъ книжку о Сахко и Ванцетти, въ защиту которыхъ онъ велъ горячую и искреннюю переписку. Потенциально, все это сдѣлало его другомъ Совѣтскаго Союза, но никакъ не политикомъ. Это плюсъ, большой плюсъ.

Въ СССР онъ пріѣхалъ полный желанія правильно освѣтить факты и разсѣять заблужденія относительно русской революціи. Онъ рвался въ бой, стремился обсуждать политическіе вопросы (гдѣ-же ихъ и обсуждать?) и работать во славу революціи (революціи вообще, преимущественно мировой). Все, что ему нравилось въ Сов. Россіи — театр (включая бывш. Императорскую оперу), музыка (включая Чайковскаго и Мусоргскаго), литература (включая Толстого, Достоевскаго и Чехова) — онъ относилъ за счетъ революціи. Такъ поступаетъ огромное большинство, вѣрнѣе говоря, почти всѣ иностранцы; и Е. Лайонсъ правъ, говоря, что русская культура завербовала больше сторонниковъ СССР, чѣмъ всѣ чудеса пятилѣткіи. На счастье,

онъ былъ живымъ человѣкомъ, и параллельно съ его «лѣвыми» увлеченіями и профессионализмомъ журналиста, онъ видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ и, можетъ быть, помимо своей воли, собралъ запасъ простыхъ, но острыхъ впечатлѣній, благодаря которымъ книга его сразу стала въ рядъ съ немногими, лучшими книгами о Россіи.

На первыхъ же порахъ его поразило, что въ отвѣтъ на свой энтузіазмъ онъ получалъ отъ русскихъ лишь кисло-флегматичный откликъ; если, конечно, мѣстомъ дѣйствія не былъ торжественный банкетъ или юбилейное засѣданіе. Онъ былъ разочарованъ, что публика готова была говорить о чемъ угодно, особенно пропустить нѣсколько рюмокъ водки: о театрѣ, о женщинахъ вообще и балеринахъ въ частности, о сплетняхъ, о погодѣ, но ни въ коемъ случаѣ не о политикѣ. Газеты могли захлебываться отъ потрясающаго восторга или гнѣва, декреты могли угрожать и карьерѣ и жизни, но то, что было у всѣхъ на умѣ, никогда не было на языкѣ.

Иностранцы коммунисты, которые бѣжали изъ странъ, гдѣ ихъ преслѣдовали за идейную борьбу, потрясли его еще больше. Это были кремлевскіе «бѣдные родственники», приживалы, кормившіеся за счетъ русской революціи. Изъ гонимыхъ, они превратились въ опекаемыхъ полиціей и сыскомъ, по долгу передъ чистотой революціи не спускавшихъ съ нихъ недреманнаго ока. Большинство изъ нихъ было въ упоеніи отъ близости къ настоящей власти — власти, которая распоряжалась и жизнью и деньгами, которая была крѣпка и войскомъ и флотомъ и полиціей.

Ради нея они готовы были на любое лизоблюденіе и подхалимство. Женщины считали особой честью, если могли служить хотя бы прихоти этихъ великихъ, настоящихъ коммунистовъ; мужчины третптали, чтобы не впасть въ ересь. Кто почестнѣе и попроще, задыхался отъ бездѣлья и ненависти къ самодержавной системѣ безличныхъ жестокостей, съ которой они уже лишены были возможности бороться, такъ какъ податься имъ было некуда. Грусть брала смотрѣть на этихъ «революціонеровъ», которымъ ничего больше не оставалось, какъ смотрѣть, какіе опыты диктатура производитъ надъ пролетаріатомъ.

Иностранные специалисты зато процвѣтали, потому что самый захудалый изъ нихъ превращался изъ техника и подрядчика въ инженера, командовалъ и чувствовалъ такое превосходство надъ русскими, подкрѣпляемое обладаніемъ валютой, на кого онъ никогда и гдѣ-бы не могъ-бы по чести расчитывать. Иностранные туристы блаженствовали: каждому что-нибудь было по вкусу. Капиталистамъ нравились фабрики, на которыхъ ни сдѣльщина ни сверхурочные ни нищенская оплата не вызывали забастовокъ; филантропамъ — образцовыя тюрьмы и дѣтскія сады для тѣхъ, у кого было благополучное «соціальное происхожденіе»; передовымъ дамамъ — свобода любви, абортъ и проч. Никому изъ нихъ не возбранялось развивать при этомъ свои теоріи, такъ какъ темная, жестокая и жалкая жизнь катилась на почтительномъ разстояніи отъ туристовъ.

«Любовь слѣпа и глуха, но не вѣчна», говоритъ Е. Лайонсъ, и, покинувъ въ Советской Россіи года два, онъ, несмотря на весь свой страхъ «измѣнить революціи», сталъ приходить къ совершенно нежелательнымъ для самого себя выводамъ. Его ослѣпило, напримеръ, что майскіе и октябрьскіе парады — это не проявленіе народнаго энтузіазма, а демонстрація организованной, дисциплинированной власти, что это смотръ силъ, счетъ вѣроподданныхъ головъ. Онъ убѣдился, что пресса — это не общественный органъ, а правительственная аген-тура на предметъ проведения официальной пропаганды и подгонки всѣхъ умовъ лодъ одинъ ранжиръ. Судь, особенно Шахтинскій процессъ, такъ изволновалъ его циничной инсценировкой, едва прикрывающей суть поистинѣ канноваго дѣла, что онъ далъ въ его описаніи совершенно изумительныя по яркости и убѣдительности страницы, можетъ быть лучшія изъ всего, что было написано о такого рода «поставкахъ».

Такимъ образомъ, когда пришла «пятилѣтка», Е. Лайонсъ могъ уже воспринять происходившее съ точки зрѣнія населенія, а не правительствъ и сдѣлать тотъ шагъ, безъ котораго нельзя понять советской дѣйствительности — именно: отдѣлить дѣйствія правительства отъ революціи и отъ интересовъ населенія.

Суть пятилѣтки, говоритъ онъ, свелась не къ превращенію отсталой аграрной страны въ авангардъ индустриализаціи, а къ утвержденію советскаго тоталитарнаго государства и диктатуры Сталина. Въ странѣ, гдѣ всѣ средства жизни, трудъ, мысль, развлеченія, награды и наказанія, все монополизировано государствомъ, гдѣ нѣтъ никакихъ сдерживающихъ демократическихъ тормазовъ, это превратило машину власти въ орудіе угнетенія. Населеніе попало въ тиски страха и полного, безгласнаго молчанія.

1930-ый годъ — годъ арестовъ и разстрѣловъ, реорганизациі ГПУ въ новыяхъ гигантскихъ масштабахъ, и вообще выкидыванія за бортъ всѣхъ революціонныхъ идеаловъ, довели Е. Лайонса до выплада, который и сейчасъ звучитъ страстно, потому что то, противъ чего онъ возражалъ, осталось въ полной силѣ. Онъ пишетъ:

«Я не возражаю противъ работы заключенныхъ. Я только спрашиваю, можно-ли считать признакомъ «революціонности» то, что правительство считаетъ своихъ заключенныхъ милліонами, что оно заставляетъ ихъ работать въ самыхъ ужасныхъ, безчеловѣчныхъ условіяхъ? И я спрашиваю, нужно-ли строить социализмъ руками рабовъ?»

Что-же касается экономическихъ результатовъ первой «пятилѣтки», которую правильнѣе было-бы называть «планированнымъ хаосомъ», то Е. Лайонсъ резюмируетъ ихъ такимъ образомъ: общее разореніе страны, возвратъ къ крѣпостному хозяйству, выкидываніе средствъ на никому ненужные «гиганты» промышленности, а въ общемъ принесеніе въ жертву всѣхъ жизненныхъ интересовъ голой системѣ, нужной только для укрѣпленія диктатуры.

Вторая пятилѣтка, начавшаяся разстрѣломъ 35-ти агрономовъ по-

слѣ объявленія о стопроцентныхъ успѣхахъ, и дѣломъ англійскихъ инженеровъ (Викерсъ), послѣ побѣды индустриализаціи, двинулась тѣмъ-же путемъ, но по укатанной, расширенной колеѣ. Ея задачей является окончательная ликвидація революціи и, прежде всего, всѣхъ, кто имѣлъ хотя-бы отдаленное касательство къ ней. Обезсиленная нація, запертая, какъ въ ловушкѣ, внутри границъ, заплетенныхъ колючей проволокой, прихлопнутая сверху декретами, регулируемыми каждою мыслью и преслѣдующими умственную любознательность, какъ ересь, не имѣетъ никакой надежды выбиться при наличіи режима, изъ котораго можно извлечь только одну пользу — понять, какъ не надо дѣлать революцій.

Т. Чернавина.

Юрій Иваскъ. Сѣверный Берегъ. Варшава, 1938.

Первое стихотвореніе этого маленькаго сборника посвящено Баратынскому. Къ Баратынскому, преимущественно, восходитъ, какъ кажется, вся поэзія Иваска: та-же «философическая» направленность, тѣ-же «гамлетовскіе» вопросы о смыслѣ жизни и смерти, о значеніи и правахъ разума, та-же тоска о какомъ-то «разрѣшеніи всѣхъ загадокъ», о томъ, что могло-бы примирить сознание съ дѣйствительностью. И лучшія стихотворенія въ сборникѣ («Сосны», «И въ ноябрь они бывають») звучатъ какъ-то «по Баратынскому». Отъ Баратынскаго, вѣроятно, и пристрастіе къ «тяжелымъ» по своей звуковой оболочкѣ, выражающей «тяжесть» мысли, словамъ — «Бѣлый тусклъ полусвѣтъ»... («Баратынский»), «...И зываю средь волнъ и толпъ...» («Ставы и величія вечеръ...»). Вообще, чувство таинственнаго сродства между формою слова и его смысломъ, повидимому, у Иваска очень повышено — и въ этомъ отношеніи онъ идетъ значительно дальше, чѣмъ поэты классическаго періода, предшественники символистовъ, каковыми были Баратынский и Тютчевъ, — подчасъ, на мой по крайней мѣрѣ взглядъ, черезчуръ далеко, ападая въ увлеченіе своего рода упражненіями въ словесной магіи. Примѣромъ является стихотвореніе «Вождь...» Но съ другой стороны это внимательное отношеніе къ звуковой оболочкѣ слова нерѣдко обуславливаетъ у Иваска несомнѣнныя удачи — напримѣръ, пользованіе пріемомъ аллитераціи въ послѣдней строфѣ стихотворенія («Въ сумеркахъ поконь...», гдѣ всѣ слова начинаются съ С и гдѣ создающееся такимъ образомъ впечатлѣніе свиста зимней мятели подкрѣпляетъ впечатлѣніе возникающее изъ смысловаго сочетанія словъ («Скоро въ снѣгъ и слѣдъ Синіе сіяя снѣга Сѣверъ слобода саванъ Смерти суровой сонъ»), и гдѣ все это вполнѣ гармонируетъ съ намѣреннымъ нарушеніемъ привычнаго синтаксиса (это подчеркнута и отсутствіемъ знаковъ препинанія), что тоже всецѣло мотивировано: рѣчь идетъ о послѣднемъ свершеніи, о переходѣ въ другой, загробный, планъ бытія, гдѣ уже нѣтъ законовъ логики. Для умонастроения автора очень характерно его стихотвореніе: «Нѣтъ, не родина, родной языкъ Счастья одинокаго дорожекъ», особенно заключительныя строки: «И

все ближе и прекраснѣй — строже Тайна сказанныхъ когда-то словъ»
Мнѣ, однако, представляется, что съ зѣвимъ влеченіемъ къ сказаннымъ
когда-то словамъ связанъ одинъ недостатокъ у автора — иристра-
стіе къ архаизмамъ въ томъ, что относится къ словарю и къ по-
строенію рѣчи. То, что для Баратынскаго было, въ языкѣ, еще впол-
нѣ современно, нами иной разъ воспринимается уже какъ отжившее,
и значить само по себѣ останавливающее вниманіе, т. е. выпадающее
изъ словесной ткани. «Лѣзя-ли сѣмени потомствъ...» или еще: «Но
души безсмертной славу Зрѣть по слухамъ довелось Тихому сему
по нраву Золотое древо сквозъ». Такой порядокъ словъ, какъ въ
последней строкѣ, обычный во времена Хераскова и Кострова, уже
въ эпоху Баратынскаго высмѣивался какъ устарѣлый и потому не-
законный.

П. Бицilli.

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ»

- «Русскія Записки», апрѣль, май. Парижъ, 1938.
«Путь», № 55. Изд. религ.-фил. академіи. Парижъ, 1938.
«Третья Россія», № 8. Парижъ, 1938.
«Наше Слово», № 9. Парижъ, 1938.
«Новая Россія», № № 37-46. Парижъ, 1938.
«Соціалистическій Вѣстникъ», № № 1-8. Парижъ, 1938.
Бюллетень Экон. Кабинета проф. Прокоповича. Прага, 1938.
«Законъ и Судъ», № № 1-4. Рига, 1938.
Временникъ Общ.друзей русской книги. Т. IV. Парижъ, 1938.
В. Смоленскій. Наединѣ. Вторая книга стиховъ. Изд. «Совр. Зап.». Парижъ, 1938.
З. Гиппиусъ. Сіянія. Стихи. Изд. «Совр. Зап.». 1938.
Ю. Крушинская. Стихи. Парижъ, 1938.
В. Буличъ. Стихи. Гельсеншфорсъ, 1938.
В. Федоровъ. Капареичное счастье. Романъ. Ужгородъ, 1938.
Д. Скобцовъ-Кондратьевъ. Гремучій родникъ. Романъ. Парижъ, 1938.
Н. Берберова. Борозниъ. Изд. Петрополисъ. 1938.
Вл. Крымовъ. Обрывки мысли. Изд. Петрополисъ. 1938.
К. Юктонъ. Исторія военного инвалида еврея. Парижъ, 1938.
С. Лифаръ. Тавецъ. Парижъ, 1938.
Проф. К. I. Зайцевъ. Основы этики. Вып. I. Харбинъ, 1937.
Свят. А. Елчаниновъ. Записи. Второе изд. YMCA-Press. Парижъ, 1938.
Сергій, митроп. Японскій. Двѣнадцатница св. Апостоловъ. YMCA-Press. Парижъ, 1938.
А. Ф. Карповъ. Платонъ. Парижъ, 1937.
В. Бурцевъ, «Протоколы сіонскихъ мудрецовъ» — подлогъ. Парижъ, 1938.
Ст. Ивановичъ. А. Н. Потресовъ. Парижъ, 1938.
С. П. Постниковъ. Библиографія русской революціи и гражданской войны. Прага, 1938.
Л. М. Сухотинъ. Къ пересмотру вопроса объ опричнинѣ. Бѣлградъ.
Л. М. Сухотинъ. Еше къ вопросу объ опричнинѣ. Бѣлградъ, 1937.
Le Monde Slave. Janvier, Février 1938. Paris.
L'Europe Centrale, N° N° 1-20. Prague, 1938.
Le Courrier graphique, N° 14. Paris, 1938.
B. Sokoloff. Le bonheur est là! Ed. Rieder. Paris, 1938.
V. Lenin et I. Staline. La Révolution Russe de 1917. Ed. Soc. Int. Paris, 1938.
B. Butskus. URSS. Libr. de Médecis. Paris, 1938.
A. Baschmakoff. Cinquante siècles d'évolution ethnique autour de la Mer Noire. Paris, 1937.
Milan Hodza. La nouvelle situation de l'Europe. Ed. Orbis. Prague.
I. Lapchine. La synergie spirituelle. Prague, 1938.
I. Lapchine. La phénoménologie de la conscience religieuse dans la littérature russe. Prague, 1938.

Из-во „Современныя Записки“

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).
И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.
И. А. Бунинъ: Божье древо.
И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).
М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).
М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).
М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.
М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.
Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.
Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы).
Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).
Гал. Кузнецова: Прологъ.
А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).
Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена.
В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. биографія).
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой.
Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Юва.
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.
П. Н. Милюковъ: Очерки по исторіи русск. культуры т. I ч. 1.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.
М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).
Ст. Ивановичъ: Красная армія.
Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.
Н. Лосскій: Типы міровоззрѣній.
Н. А. Бердяевъ: О назначеніи чедовѣка.
Ф. И. Шалаяпинъ: Воспоминанія.
М. В. Вишнякъ: Всероссійское Учредительное Собраніе.
М. О. Цетлинъ: Декабристы.
В. В. Сиринъ: Подвигъ (Романъ).
Л. Ф. Зуровъ: Древній путь.
Д. М. Олинецъ: Возникновеніе госуд. строя у восточн. славянъ.
Софія Прегель: Солнечный произволъ (Стихи).
Галина Кузнецова: Оливковый Садъ (Стихи).
В. Смоленскій. Наединѣ. (Стих.).
Зинаида Гиппиусъ. Сіянія (Стих.).

Заказы принимаются въ конторѣ издательства.

Общественно-политический и литературный журналъ

19-й годъ
изданія

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ

19-й годъ
изданія

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. Н. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,
А. И. Гуковскимъ (+), В. В. Рудневымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: М. Алданова, Л. Андреева, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, А. Бълаго, Б. Вышеславцева, Г. Газданова, Г. Гребенщикова, Юр. Данилова, Г. Евангулова, Е. Замяткина, Л. Зурова, Б. Зайцева, Г. Иванова, А. Куприна, Д. Мережковского, С. Минцлова, П. Муратова, М. Осоргина, Г. Пескова, А. Ремизова, Н. Рощина, В. Сирина, Д. Скобцова, И. Соколова-Микитова, Ф. Степуна, И. Сургучева, Б. Темирязева, Гр. А. Толстого, С. Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикова, И. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго и др. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амарі, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, М. Волощина, А. Герцыкъ, И. Голенищева-Кузузова, А. Головиной, Вяч. Иванова, Георгія Иванова, Д. Кнута, Г. Кузнецовой, А. Ладинскаго, С. Маковского, Ю. Мандельштама, Н. Оцуна, Б. Поплавскаго, Г. Раевского, В. Сирина, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Аллегро), Ф. Соллогуба, Ю. Софьева, Ю. Терапіана, Тэффи, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Л. Червинской и др. — Дневники и воспоминанія: И. Билибина, Е. Брешковской, О. Грузенберга, Е. Джанумовой, кн. П. Долгорукова, К. Ельцо-вой, В. Зензинова, А. Керенскаго, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Ръпина, Ал. Толстой, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Ф. Шаляпина, Н. Шкляевой и др. — Статьи по вопро-самъ литературы, искусства, философіи, политики, экономическимъ и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, Г. Адамовича, М. Алданова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, А. Бема, Н. Бердяева, П. Биццли, М. Брайкевича, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Воловозова, кн. С. Волконскаго, В. Войтинскаго, М. Гершензона, С. Гессена, В. Гейдлинга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуковскаго (А. Свѣрова), К. Гулькевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Дюнео, В. Ельяшевича, С. Загорскаго, С. Завадскаго, К. Зайцева, В. Зѣньковскаго, Ст. Ивановича (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсавина, А. Карташева, С. Карцевскаго, К. Качаровскаго, А. Керенскаго, А. Кизеветтера, С. Кобыкова, А. Койранскаго, В. Короленко, С. Корфа, А. Крайняго, М. Кроля, К. Крофты, Н. Кульмана, Е. Кусковой, А. Левинсона, З. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловцкаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, А. Мандельштама, С. Маслова, С. Мельгунова, Н. Мельни-ковой-Папоушекъ, С. Метальникова, П. Милюкова, Н. Минскаго, В. Миркина-Гецевича, А. Михельсона, К. Мочульскаго, П. Муратова, Б. Мякотина, С. Николаева, бар. Б. Нольде, А. Орлова, Д. Олища, М. Осоргина, Я. Папоушекъ, А. Петрищева, П. Пильскаго, С. Полюкова-Литовцева, А. Пысхонова, Ф. Родичева, В. Рябушинскаго, М. Ростовцева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святополкъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, Н. Ульянова, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, Л. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Цвѣтаевой, М. Цетлина, Т. Чернавиной, Б. Шап-каго, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шледера, Е. Юрьевскаго и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 30 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6, Rue Daviel, Paris (XIII^e).

Téléphone: Gobelin 48-87

Imp. Union, Paris, 13, rue Méchain.

Le gérant: Chailf.